

В. С. Платонов

**СИБИРЬ –
ЛЮБОВЬ МОЯ,
НЕРАЗДЕЛЁННАЯ**

**Книга I "Пять лет в КГИ"
1950-1955 годы**

**Книга II "Междуреченск"
1956-1959 годы**

**«Созвездие Гончих Псов»
Барселона
2012**

UDK 82(1-87)-94
BBK 84(4Rus)-8
P-82

Vladimir Platonov

"The chronicle of one life"

Volume II

1946-1955 years

and

Volume III

1956-1960 years

ISBN 5-699-11446-7
10987654321

Typeset in Nimrod and Arial
by Tradespools Ltd., From
Printed in Greece

Оглавление

1950 ГОД	7
1951 ГОД	63
1952 ГОД	283
1953 ГОД	331
1954 ГОД	367
Приложение к 1954 году	427
Письмо	427
* * *«В кружева сплетая свет и тени...»	428
1955 ГОД	429
Приложение к 1955 году	487
* * *«Померк снова блеск неразгаданных глаз...»	487
* * *«Не любила, значит...»	487
* * *«Ужель остаток дней своих...»	487
* * *«Напрасно у её дверей...»	488
* * *«Горько добру молодцу...»	488
* * *«Как разыгравшийся ручей...»	488
* * *«В чём жизни смысл...»	489
* * *«Мы пили третий день токай...»	489
Предисловие к книге II.....	331
1956 ГОД	333
1957 ГОД	383
1958 ГОД	463
1959 ГОД	589
Э П И Л О Г	645
1960 год	645
1963 год	647
1964 год	651

Список иллюстраций

<i>Рис. 1. Нет, я не Штирлиц – я другой.</i>	6
<i>Рис. 7. Больше половины нашего 10-го класса</i>	19
<i>Рис. 8. Георгий Каракулин и я</i>	31
<i>Рис. 9. Первокурсник</i>	61
<i>Рис. 10. 1959 год. Кемеровский горный институт</i>	62
<i>Рис. 11. Морис Рейнгольдович Глиер и Леночка Липовецкая</i>	70
<i>Рис. 12. Людмила Володина</i>	81
<i>Рис. 13. Студент второго курса КГИ</i>	120
<i>Рис. 14. Стандартный городок</i>	330
<i>Рис. 15. Дом Стандартного городка, переданный горному техникуму. В таком доме со 2-го курса находилось и женское общежитие КГИ</i>	330
<i>Рис. 16. Прокопьевск. Это не горы, это шахтные терриконы</i>	366
<i>Рис. 17. Красноярск в начале 3-го тысячелетия</i>	393
<i>Рис. 18. Приенисейская часть Красноярска</i>	393
<i>Рис. 19. Красноярск. Остров посреди Енисея</i>	394
<i>Рис. 20. Красноярские столбы. Перья</i>	394
<i>Рис. 21. Справа шахта "Томь-Усинская" № 1-2 в 1955 году</i>	453
<i>Рис. 22. Слева от моста через У-су насосная станция гидрокомплекса</i>	480

Предисловие

"Сибирь – любовь моя, неразделённая" – это II и III тома книги "Хроника одной жизни", на которые приходится мои воспоминания о пятидесятых годах XX века в Сибири, об учении в Кемеровском горном институте, лагерных сборах в Юрге и за Красноярском, начале работы в юном городе Междуреченске, работы, закончившейся полным крахом по независящим от меня обстоятельствам, как и безответная любовь моя к сибирячке.

С первых страниц этой книжки появятся не представленные читателю люди, но терять время на знакомство читателя с ними я не считаю необходимым, в дальнейшем они читателю практически не встречаются. С середины 1950 года все действующие лица вводятся в повествование естественным образом, и эта трудность сама собою исчезнет.

Видимо, уже почти некому будет прочитать о себе, но живы дети тех, о которых упоминал, их внуки и правнуки, им может быть любопытно взглянуть на те времена, когда жили их предки, и чем они занимались.

Такие дела.

В. Платонов

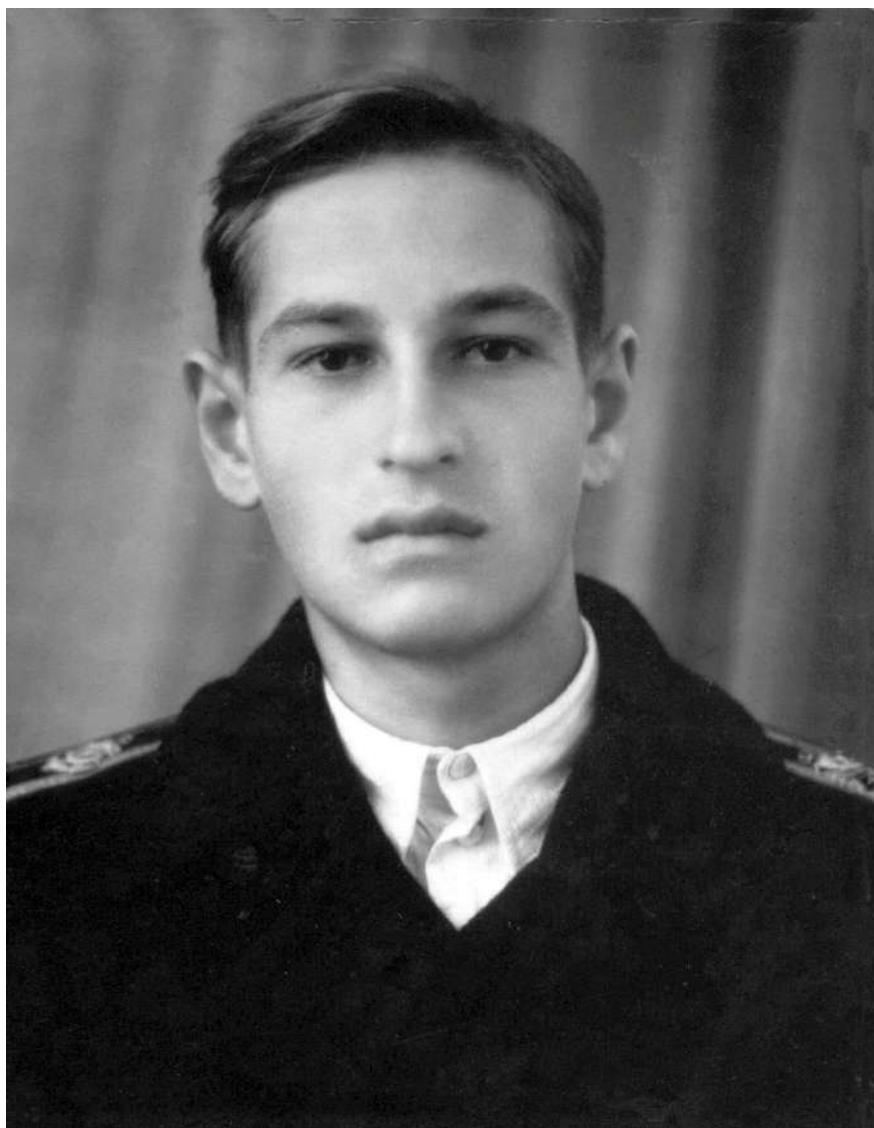


Рис. 1. Нет, я не Штирлиц – я другой.

Прощай же, море, не забуду
Твоей торжественной красы,
И долго-долго слышать буду
Твой шум в вечерние часы.

Александр Пушкин

Есть несколько рецептов устоять перед
соблазном, но самый верный – трусость.

1950 год

... Снег не стаял ни первого, ни второго, ни третьего января. Второго числа, сговорившись со своими одноклассниками Ростиком Козловым и Боровицким Ефимом, мы взяли лыжи в школьной кладовой (каким образом их в Крым занесло – объяснить невозможно!) и отправились кататься в Рабочий Уголок. Накатавшись там вволю по окрестным горам, мы к концу дня засобирались обратно, решив сократить путь и перевалить через гору между Уголком и Алуштой у дачи писателя Сергеева-Ценского. Поднимаясь лесенкой в гору и чертовски устав, я помянул, что здесь где-то должна жить Лена Полибина и, быть может, нам стоит к ней завернуть и немного передохнуть.

– Да, верно. Давай к ней заедем, – подхватили товарищи моё предложение.

... Дом Лены отыскался довольно легко, он стоял на горе на отшибе как раз чуть выше дачи писателя. Лена весьма удивилась неожиданному нашему появлению, но вида не подала, то есть вида не подала, что удивилась, зато сам вид её свидетельствовал, что ей это приятно. Она и её мама, Клара Михайловна, пригласили нас в дом, и мы, оставив лыжи во дворе, вошли в странную комнату, остеклённую от пола до потолка, как мне показалось, со всех четырёх сторон. Нет, вместо четвёртой, конечно, был коридор. Тут же на столе явились и чашечки с кофе, которого я, должно быть, до этого и не пробовал никогда, и что-то к нему.

... посидев немного с этими милыми женщинами и поболтав бог весть о чём, мы попрощались и скатились на лыжах в Алушту уже в сумерках.

... Зимние каникулы пролетели так быстро, как всегда пролетает беззаботное время. Начались рабочие будни. По вечерам я зачастил к соседу своему Кроку. Мы вместе с ним делали уроки по математике, ну, и болтали о школьных делах. Виталий мне открылся, что пишет стихи, и прочитал большое стихотворение о пограничниках, охраняющих рубежи... Складное стихотворение, но особого впечатления не произвело. А вот то, что у Крока есть такая способность, было узнать интересно. У меня такой способности не было.

... в один из вечеров нам пришла в голову мысль пошутить над своей одноклассницей Ханиной Верой, девушкой миловидной, но полной сверх всякой меры. Мы засели писать ей стихотворение, которое как-то само собой приобрело фривольный оттенок. Причём я весьма деятельно участвовал в сочинении, помогая застрявшему Кроку подыскать подходящую рифму, а то и целую строчку придумать. Стихотворение вышло длинное, на целую страницу, из него приведу лишь последние строчки:

Чтоб ты сама мене сказала:
Давай, мой миленький, ещё.

Я не случайно выделил здесь слово "мене". "Поэты" мы были настолько беспомощные, что не сообразили: это несуразное безграмотное "мене" при сохранении смысла и ритма легко заменить пристойным "бы мне". Это "мене" и позволило адресату заподозрить в авторстве Крока. В этом Вера призналась мне несколько лет спустя. Крок, оказывается, не вполне правильно говорил (а я этого и не замечал!), и это самое "мене" употреблял в своей речи. Я, разумеется, о своём участии в составлении опуса застенчиво промолчал.

... но доказательств нашего авторства не было никаких. Под стихотворением, переписанным нейтральным чертёжным почерком, красовалась собственноручная подпись Ефима Боровицкого. На него, естественно и обрушился удар разгневанной Веры Ханиной.

... Подпись Ефима скопировал я, хотя скопировать её было не просто: очень витиеватый был почерк. Но я дока по части подделывания подписей (упаси вас Боже подумать, что я это где-то использовал – просто так, из любви к искусству освоил я это занятие).

... на другой день, на перемене, улучив момент, когда в классе, то бишь в физкабинете, в котором размещался наш класс, не было никого, мы сунули своё сочинение в Верин раскрытый портфель между страницами учебника.

В тот ли день или в один из ближайших, записка и обнаружилась. Войдя в класс, я увидел возле Веринной парты всех наших девочек и с ними Ефима, багровое лицо которого выражало крайнюю степень растерянности, недоумения и негодования. Шло возмущённое обсуждение нашего "лирико-эротического" послания. В гаме множества девичьих голосов выделился голос Ефима, повторившего несколько раз: «Подпись моя, но письма я не писал, не подписывал».

... что-то в ту зиму мы зло шутили над Боровицким, хотя я к нему не только зла, но и малейшей недоброжелательности не испытывал, он был моим хорошим товарищем. Видно, энергии нашей нужен был выход, и он находился в далеко неблагоприятных поступках,

в глупых небезобидных дурачествах. А может, меня подбивал Крок?.. Во всём он выступает активным началом. Я начала эти охотно поддерживаю и участвую в них, но инициатор-то он.

... однажды, узнав, что Ефим по какой-то причине задержится в школе до позднего вечера, мы с Виталием помчались домой. Он натянул на себя кожух, вывернутый наизнанку, мехом наружу, и такую же лохматую шапку нахлобучил на голову. Я тоже облик свой как-то преобразил, и, прихватив с собой игрушечный браунинг, который ни формой, ни величиной не отличался от настоящего, притаился с Кроком в неосвещённом глухом переулке возле каменной лестницы, зажатой в узком проходе меж стен. Лестница крутыми ступеньками спускалась сверху от улицы с магазинами, церковью, поликлиникой и милицией вниз к речке Улу-Узень возле городской бани. Здесь Ефим кратчайшим путём ходил из дому в школу и из школы домой.

Ночь была ветреной, сырой, нехорошей. Мы иззяблись, топчась на месте в ожидании Фимы. Наконец, в слабом свете верхнего уличного фонаря замаячила высокая фигура Ефима. Когда он поравнялся с площадкой, где мы поджидали его, прижавшись к стене, мы выскользнули к нему словно тени на ногах полусогнутых, чтобы себя ростом не выдать, загородив спуск Ефиму.

– Сколько времени? – спросили мы изменёнными сиплыми головами (Ефим был единственным в классе, у кого были ручные часы).

Ефим подтянул рукав кожаного пальто:

– Тут темно, рассмотреть невозможно, – сказал он. Голос его был напряжён.

– Снимай часы, мы рассмотрим, – проблеяли мы и для острастки направили на него наган.

– Да, что вы, ребята, – заговорил Ефим, и в голосе его был уже настоящий испуг.

... Послышались шаги человека, спускавшегося сверху по лестнице, – мы быстро юркнули в темноту узкого извилистого переулка. Разумеется, мы не собирались грабить Ефима, хотели просто дурака повалить, но не продумали, как будем выпутываться из этой истории. Что бы мы делали, если бы он отдал нам часы? Непредусмотренные шаги легко всё разрешили... Надо сказать, что Фима не крикнул и на помощь себе не позвал. Впрочем, помощь могла не прийти: возможно, топала какая-либо девчушка.

... нас Ефим не узнал. Наутро в классе мы с Кроком с интересом ожидали его рассказа о ночном нападении, но он не сказал об этом ни слова. Само собой, благоразумно промолчали и мы.

... С приходом третьей четверти на меня обрушилась напасть – я стал заикаться. Причём очень сильно, как прежде никогда не бывало. В разговорах с товарищами всё было нормально, но стоило выйти к доске отвечать, как я начинал безбожно б-б-бекать и м-м-мекать. С чего это вдруг? До сих пор не пойму, уроки я знал, отвечать не боялся. Семь потов сходило с меня, пока я, н-н-наконец, договаривал фразу. Учителя слушали меня терпеливо, иногда останавливали: «Достаточно», и ставили очередную пятёрку. Но какой это был стыд для меня заикой стоять перед классом, и какая же мука! Промучился я этак месяца два, а к началу весны заикание само собою незаметно пропало, – будто и не было ничего, оставшись кошмарным воспоминанием.

Весной мне стали сниться сны об отце. Будто он приходит домой невредимый, в сером бумажном костюме, высокий, худой, но живой, а мы-то думали, что он умер. Несказанная радость охватывает меня. Вот он, мой папа, стоит рядом со мной, я могу дотронуться до него, и он такой добрый, хороший. Кто же уверил нас, что он умер? Просто он был далеко-далеко, откуда и письма не доходили.

Этот сон повторялся через неделю, и каждую неделю я был счастлив во сне оттого, что папа мой жив, жив, жив – так, очевидно, мне его не хватало.

И вдруг мне приснился сон очень странный, цветной, но впервые в жизни не радостный, как это было с цветными эротическими снами, а зловещий. Будто мы с мамой и тётёй Любой ночью в нашем деревянном доме на хуторе на Кубани. Мама и тётя укладывают штабелями в комнате красное мясо, нарезанное аккуратно ровнёхонькими квадратными пластами, какими бывает нарезан дёрн для газона или свиное сало с бледно-коричневой кожицей.

Я со стороны наблюдаю за их спокойной работой: комната до половины заполнена жуткими кровоточащими кусками, а они всё носят и носят с улицы новые и новые пачки, деловито ровняя их на полках. Никто не произносит ни слова, но мне почему-то известно, что алое мясо – не что иное, как человечина. Во мне застыл ужас, тошнота, рвота подступают к самому горлу...

Я просыпаюсь, сердце колотится так, словно хочет вырваться из груди. И сразу осознаю – это ведь сон, только сон и не больше, и я не на хуторе, а в Алуште. К чему бы это? А, вроде, и ни к чему. Но, возможно, это было предвестие болезни, которая в мае и началась, а перед этим – ни с того, ни с сего – заикание. Говорят же: во сне видеть мясо – к беде. Впрочем, в вещие сны я не верю.

... Ещё с началом зимы я стал часто бывать в интернате, где жили мои одноклассники из окрестных сёл Тремпольц, Лисицын и Турчин. Против школы через дорогу был двор, огороженный каменной стенкой и покоем построенными длинными смыкавшимися домами. Слева – часть в полтора этажа, в ней внизу находились подсобки, а вверху – за открытой верандой – школьный клуб или, иначе, актовый зал. Прямо – в один этаж – интернат. Что было справа – не помню. Может, и не было ничего, а была глухая стена алуштинской церкви или глухая ограда.

За сплошной застеклённой верандой интерната сквозь стекло угадывалось членение дома на комнатки с дверьми и окошечками. В них жили ученики старших классов. Наши жили втроём в такой комнатке. Были они весьма мне любопытны, достаточно начитанны, и, придя к ним, я сразу втягивался в обсуждение "философских" вопросов. Об искривлении пространства, как это и что? И сразу решал для себя: «Нужно заняться изучением геометрии Лобачевского» – и действительно изучал. Часто спорили мы о таких категориях, как случайность, необходимость, приходя к единому мнению лишь на простейших примерах. Кирпич ни с того, ни с сего на голову с крыши не упадёт, но с полуразрушенной крыши он упадёт обязательно рано или поздно, ему некуда деться, ему просто необходимо будет упасть, когда последняя подпорка истлеет. Так что падение кирпича есть необходимость в данных условиях. А вот то, что вы в этот момент подставили под него свою голову, есть случайность чистейшей воды. Если не верить, конечно, в предопределённость божественную, но тогда всю философию с логикой вместе надо выбросить к чёртовой матери... Я в Бога интуитивно не верю, бытие Божие (как, впрочем, и небытие) доказать невозможно. Но даже если принять существование Первичного Разума, то, по-моему, смехотворно надеяться, что он будет движения каждой букашки предопределять. И коль скоро такие букашки Вселенной, как люди, творят неопишуемые безобразия и бесчинства, то придётся признать, что очень плохо Творец управляется с делами своими. Скорее уж он самые общие законы движения установит, а движение каждой песчинки само выльется из столкновения миллиардов причин. Тогда, безусловно, всё на свете предопределено, и то, что мы называем необходимостью, есть не более, как знание безусловных причин, вызвавших действие, а случайность – полное незнание всех их из-за их несчётной бесчисленности. И вот тут философия с логикой и психологией (она ведь тоже логика – поведенческая) к месту в познании нашего мира точно так, как кинетическая теория

газов, позволяющая судить о процессах в больших их объёмах, не касаясь движения каждой отдельной молекулы (и даже не зная о ней).

Иногда в разговорах своих мы переходили на литературные темы, дух творчества был нам не чужд, двое из нас (я в это число не вхожу) хорошо рисовали, и как-то так вышло, что мы сами выпустили стенную газету с юморесками на собратьев по классу и с карикатурами на них и себя. Дух спайки, товарищества у нас был высок, выделяться никто не хотел, и мы подписали свой номер общим для всех псевдонимом Трелистурплат, псевдонимом, надо сказать, очень прозрачным. Его мигом расшифровали, не прилагая усилий.

Математик наш, Елизавета Андреевна Новосельцева – в тот год она стала классным руководителем, – начинание наше одобрила и на классном собрании предложила избрать редколлегию, куда всех нас и избрали. Вероятно, для нашего возраста и состояния газета была интересной, потому что ученики с нетерпением ждали каждого понедельника, когда мы поутру рано вывешивали свежий номер газеты, толпились возле него, похохатывая. А между этими и школьными делами и приготовлением домашних заданий, которые я выполнял с увлечением – решал не только заданное к уроку, но всё подряд, без единого пропуска, одну главу задачника за другой и по алгебре, и по тригонометрии, и по стереометрии, и по физике, химии, астрономии, – я начал самостоятельно изучать геометрию Лобачевского, понимая ход рассуждений и не понимая нисколечко сути, то есть, не понимая тогда, для чего нужна геометрия Лобачевского.

Ни тогда, ни сейчас, когда я кое-что знаю о пространствах и Римана, и Лобачевского, я не мог, не могу согласиться с утверждением, что параллельные линии где-то пересекаются. Они не могут пересекаться по самому определению своему, иначе они, скажем так, не совсем параллельны, как меридианы Земли. Пятый постулат для меня по-прежнему аксиома. Если, разумеется, говорят о действительно идеальной плоскости, а не об искривлённой поверхности в искривлённом пространстве, где евклидово определение параллельности попросту невозможно. Там должна быть своя геометрия. И нельзя говорить, что Евклид был не прав потому, что в реальном пространстве не существует абсолютно плоской поверхности. Математика – вещь сугубо абстрактная и поэтому именно логикой чистого разума создала поистине изумительный аппарат для познания. Практическое применение этого аппарата в каждом случае требует внесения необходимых поправок в зависимости от условий, в которых рассматривается изучаемый нами реальный объект. Только и всего.

... пока я разбирался со своим Лобачевским, Лёня Тремполец безнадежно влюбился в стройненькую худенькую и вертлявую Гризу. Он крутился возле неё, где только мог: в школе, на улице, дома. Гриза снисходительно принимала знаки внимания, но была с ним холодна, а порой и пренебрежительна. Мы все переживали за Лёню: и надо же было ему влюбиться, чёрт знает в кого! Ну, не было в ней решительно ничего, ни обаяния, ни красоты, ни ума. Но от факта не уйти никуда: Лёня пал жертвой неразделённой любви.

... бедняга.

... я, свободный от любовных переживаний, всё в новых и новых занятиях проявлял деятельную сторону своей натуры. В школе у нас сохранились великолепнейшие физический и химический кабинеты, где приборы и препараты накапливались с царских времён. С ними мы могли проводить любые эксперименты, упоминавшиеся в учебниках и не упоминавшиеся в них. Нас поражала самоотверженность старых учителей, сумевших сберечь это богатство и в революцию, и при гитлеровском нашествии. Ничего подобного у людей, которых я встречал в жизни, в школах не было. А наглядный опыт так помогает человеческому, мыслительному развитию!

Все опыты в классе мне удавались отлично, и химичка, Клавдия Алексеевна Полякова, предложила мне провести в школьном клубе "Вечер чудес", а, если он будет удачен, то и ряд таких вечеров. Не ограничиваясь одной только химией, я и физику подключил. И "чудеса" начались:

... на сцене, на столе, накрытом праздничным красным сатином, стоят два тонких прозрачных стакана, наполовину заполненные "чистой" водой. Я из тьмы сцены подхожу к освещённому столу (зал в полутьме), беру в руки стаканы и объявляю:

– Я знаю магические слова, заклинания, которые превращают воду в вино.

Я бормочу под нос загадочные слова, развожу в стороны руки, описываю стаканами замысловатые дуги, круги и "восьмёрки", и переливаю "водичку" из одного стакана в другой. И, о чудо! В стакане искрится вино, прозрачное на просвет, неподражаемо красное с примесью янтаря. Я приподнимаю стакан к электрической лампочке, свисающей с потолка над столом, чтобы все могли оценить и прозрачность вина, и его божественный цвет. Для достоверности пригубив стакан (в малых дозах раствор безопасен), я с восхищением восклицаю:

– Как вкусно! А какой цвет, аромат! – и, заговорщицки подмигнув сидящим в зале ученикам, понизив голос, доверительно добавляю: – Я непременно с удовольствием выпил бы весь этот стакан перед вами, но, – выдержав паузу, – в зале учителя, – тут я притворно вздыхаю, – а школьникам пить запрещается. – И соорив гримасу страдания, я выплёскиваю "вино" в ведро, стоящее под столом, и ополаскиваю стакан водой из графина: улики нельзя оставлять.

Ученики в зале, внизу, дружно мне хлопают, а учителя довольно посмеиваются.

Следуют дальнейшие чудеса – успех грандиозный, и вечера продолжаются.

... чистый лист ватмана я разворачиваю перед залом и прошу убедиться, что на нём нет ничего, но «по желанию моему огонь напишет на нём, что угодно». Тут я чиркаю спичку о борт коробка и язычком жёлтого пламени тычу в еле заметную точку на листе. Она вспыхивает золотистой искоркой, и искорка эта, превратившись в красный кружочек, витиевато бежит по листу, оставляя чёрный след обожжённой бумаги, слагающийся в обращение:

**ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ПРОЩАЯСЬ С ВАМИ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЫ,
Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ
И ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ ОТЛИЧНЫХ ОТМЕТОК!
ДЕД МОРОЗ**

Пожелание Деда Мороза встречается аплодисментами. Ученики средних классов, ещё не знают премудростей, которым обучены мы. А хитрого здесь нет ничего. Текст был мною написан заранее прозрачным насыщенным раствором селитры без отрыва плакатного пера от бумаги; естественно, связи меж буквами я делал ребром пера, чтобы они не были очень заметны. Вода высохла, селитра осталась, и огонёк побежал по её тоненькой плёночке, кислородом своим поддерживавшей горение бумаги до конца последнего слова.

Я вообще способен на многое. Могу без пороха или пружины выстрелить шариком вверх из игрушечной пушки-зенитки. Я приглашаю всех убедиться, что ствол пуст внутри, затем опускаю в него стальной шарик, и... он по команде летит вверх к потолку. Его вытолкнуло магнитное поле, когда я незаметно ногой под столом нажал кнопку, замкнувшую электрический ток. На "ствол" замаскировано по спирали намотана проволока – он просто-напросто электромагнит.

... Я показываю небольшой виток медного провода, концы которого припаяны к лампочке от карманного фонарика. «Как видите, – говорю я, – никакого источника электропитания лампочки нет, тем не менее, я зажгу эту лампочку». Я прошу погасить свет надо мной, делаю сложные "пасы" и проношу виток над столом. Лампочка вспыхивает, хотя источника тока нет. Но под столом у меня – укрытый скатертью мощный излучатель электромагнитных волн, и, когда виток их пересекает, в нём наводится ток, достаточный, чтобы накалить волосок моей лампочки.

И... новое чудо.

– При каком напряжении электрический ток может убить человека? – спрашиваю я у притихшего зала.

– Двести двадцать вольт, – слышатся голоса.

– Верно, – соглашаюсь я с ними, – а вот я заколдован, и никакой ток меня не берёт. – Я ставлю на стол закрытый прибор (катушку Румкорфа) с торчащими из него электродами-остриями и продолжаю. – Этот прибор вырабатывает ток напряжением два миллиона вольт, проверьте, пожалуйста... – А теперь я поднесу пальцы свои к электродам, и этот ток пройдёт сквозь меня и ничего мне не сделает.

Гаснет свет. Зал замирает. Я приближаю руку к катушке Румкорфа, и из её острия сыплются к пальцам моим снопы длинных изломанных молний. «Видите», – говорю. В самом деле, я не чувствую ничего, сила тока в разрядах чрезвычайно мала, мощность тока ничтожна. Эти разряды хотя и эффектны, но от них никакого вреда.

... Слава богу, в математике, физике, химии – тишина (о кибернетике мы пока и слыхом не слыхивали), зато в биологии – бой не на жизнь, а на смерть с буржуазными вейсманистами-морганистами. "Учение" Лысенко-Мичурина кажется нашим неокрепшим и неискушённым умам правильным и логичным, мы с юным азартом крушим бастионы буржуазной биологической науки (и невдомёк нам, что наука, если это наука, может быть только наукой без всяких эпитетов), высмеиваем идеалистическое учение о наследственном веществе, так гены в учебниках называли (материалисты, "горе-философы", не могли мы понять, что большего материализма, чем гены, придумать нельзя, но в верхах-то нашего безбожного государства какие должны были быть идиоты?!).

Совпало с этой борьбой и клеймение безымянных безродных космополитов и низкопоклонников перед Западом. Эти последние меня мало трогали, и всё же и в отношении их я был настроен воинственно. На уроках литературы мы задалбливаем постановление ЦК

партии (сорок восьмого года), доклад Жданова, где Зоценко – злобный клеветник на нашу действительность, а Ахматова – великая блудница. Ни того, ни другой мы не знаем, но раз партия говорит...

Нет, к этой травле я совсем равнодушен, слишком всё это далеко от забот моих, моей жизни. Впрочем, в сорок восьмом году, когда доклад Жданова напечатали, и я его прочитал, а в нём рассказ Зоценко "Приключения обезьяны" был упомянут, во мне разыграло ретивое, и я на перемене помчался в городскую библиотеку. Там, по счастью, "кромольную" литературу ещё не изъяли – приказ, видимо, запоздал, – и я в читальном зале этот рассказ прочитал, не найдя в нём ни очернительства, ни даже насмешки. Речь, помнится, шла об обезьяне, удравшей из цирка (или из зоопарка, быть может). На воле встретился ей овощной магазин, где продавали морковь, и поскольку она была голодна, то решила чуточку подкормиться. Очередь была так велика, что к дверям магазина ей было никак не пробиться, и тогда обезьяна, вскочив на головы людям, зажатым в толпе, по ним и добралась быстренько до прилавка. Скучный рассказ, не смешной, но в рассказе всё правда. Очереди были везде (и, похоже, всегда). А ирония писателя, если она и была, вполне объяснима, очереди эти не радовали никого, даже меня, со времён войны в них не стоявшего. Неприятия Зоценко не возникло.

То ли в том же докладе, то ли где-то ещё, стихотворные строчки пародии на "Евгения Онегина", приписываемые чуть ли не той же Ахматовой (на деле написанные Хазиним Александром), привели меня в настоящий восторг.

Собственно, это и не пародия даже, а смещение героя из девятнадцатого в бурный двадцатый век:

В трамвай садится наш Евгений,
О, бедный, милый человек! –
Не знал таких передвижений
Его непросвещённый век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдалило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор.
Полез в карман, но кто-то спёр
Уже давно его перчатки.
За неимением таковых
Смолчал Онегин и притих.

И ещё строчки запомнились, не знаю, из того же постановления или другого:

Бразды пушистые взрывая,
Бежит студент быстрее трамвая,
А на пальто его давно
В Европу прорвано окно.

... Весь первый квартал был отголоском празднования семидесятилетия Сталина. Конечно, Сталина мы – я то уж точно – боготворили, и всё-таки странно было ежедневно прочитывать в "Правде" из месяца в месяц по две (четыре нынешних) страницы перечислений названий заводов, училищ, строительных управлений, правительств, колхозов, королей, институтов, компартий, консерваторий, министерств, совхозов, президентов, горсоветов, учреждений, академий, фабрик, МТС, организаций, шахт, флотов, обкомов, горкомов, райкомов, театров, трестов, училищ, парламентов, флотилий, рудников, облисполкомов, леспромхозов, комбинатов, военных округов, школ, кораблей, приславших поздравления к юбилею вождя... Кому это нужно? Тем не менее, я пробегал глазами по строчкам: «Кто там поздравил ещё?»

... На уроках современной истории мы штудировали брошюру Сталина "О Великой Отечественной войне" – сборник его речей и докладов, все их я слушал, читал во время войны. С тех пор и запомнил характерный акцент его речи. Не только запомнил, но мог с точностью и воспроизвести. И вот теперь на перемене, став перед классом у учительского стола, сталинским голосом я начинал:

– Товарищи! Братья и сестры! Рабочие и колхозники! Красноармейцы и краснофлотцы! Командиры и политработники! К вам обращаюсь я, друзья мои.

Одноклассники в восторге бурно мне аплодировали. Это было весьма приятно, всегда приятно быть объектом дружеского внимания, но вот что внимание может быть иного рода совсем, мне не приходило и в голову. Хорошо, что в классе у нас все были людьми с неплохими человеческими наклонностями, ну, валяли иногда дурака, ну, допускали выходки необдуманные – с кем этого не бывает, но в целом мы были порядочными людьми и уж никак не доносчиками. Правда, могли и случайно проговориться – у Козлова Ростика, например, отец был завуч, историк, парторг. Но, видно не проговорились, а может быть, и проговорились, да никто значения не придал... Могли бы мне приписать, что я пародирую Сталина, хотя, видит бог, я этого в уме не держал. А если бы придали значение? Тогда бы строчки эти написаны не были.

... такие были тогда времена.

... С наступлением тепла на переменах все выбегали во двор и, став вкруговую, начинали играть в волейбол. Мне игра очень нравилась, но играл я из рук вон как плохо. Если взять мяч и передать его удачно партнёру я ещё мог, то резать над сеткой мячи, забивать "гол" противнику я не умел совершенно. Это меня угнетало, тем более что все ребята из класса играли неплохо, а Ростик Козлов просто великолепно. Из девчонок отлично играла Лена Полибина. Была она очень гибкой и ловкой в игре – загляденье просто. Характер у неё был замечательный, лёгкий, добрый, весёлый. И лицо у неё было приятным и привлекательным, хотя красавицей она не была. И, любуясь игрой её, гибкостью тела, блеском глаз на разгорячённом лице, я стал всё чаще и чаще засматриваться на неё. Она нравилась мне всё больше и больше.

... и тут я увлёкся неожиданно фотографией. В физкабинете был фотографический аппарат, допотопный, громоздкий. Я выпросил его на время у физика, Василия Леонидовича Шерстобитова, в магазине купил фото-пластины, и, имея смутные представления о времени выдержки и никаких о глубине резкости изображения, я начал снимать своих одноклассников. Как ни странно, скажу, забегая вперёд, у меня получились удачные снимки. Но сейчас мне предстояло после съёмок проявить пластинки с эмульсией, и, если что вышло на них, напечатать на фотобумаге. Всё, что нужно для этого я купил в магазине, но нужна была ещё затемнённая комната. При том положении с жильём, что было тогда, никто не мог мне её предоставить.

Выход из положения сам собой напросился. Я обратился к Василию Леонидовичу: «Нельзя ли мне ночью заняться фотографией в классе, в физкабинете?» Василий Леонидович всегда отличал меня, возможно, даже любил, и вот, ни слова не говоря, он достал связку ключей от кабинета и всех шкафов в нём и отдал её мне.

Вася Турчин вызвался помогать мне в этом деле, и с наступлением темноты мы прокрались с ним в школу, отпёрли класс – в нём на окнах были даже сверху опускающиеся шторы из плотной чёрной бумаги, и шторы эти мы опустили, отградившись от внешнего мира.

В физкабинете было всё, что нам нужно: и красный фонарь, и ключеты для фоторастворов, и рамка для прижатия пластины к бумаге при контактной печати. Мы развели химикаты в воде и, проявив пластины при свете красного фонаря, убедились, что на негативах всё хорошо получилось. Вся эта церемония заняла порядочно времени, и, оставив пластины сушиться и убрав всё за собой, мы ночью выскользнули из

школы. Пробравшись тихо домой и поспав часа три, я ранёхонько до занятий прибежал в школу и забрал пластинки с высохшей эмульсией.

Несколько следующих ночей мы провели с Турчиным за печатанием. Печатали фотографии с негативов, положенных на фотобумагу и прижатых к ней стеклом рамки. На несколько секунд включали лампочку для засветки, после чего проявляли бумагу. И так снимок за снимком. Фотографии неожиданно получились хорошими, резкими, проработанными в деталях.

Напечатав контактным способом снимки для всех, мы в последнюю ночь решили один из них увеличить. Никакого увеличителя не было и в помине, посему мы попробовали приспособить для этой цели проектор, пластинки наши к нему подходили. Серьёзной загвоздкой было лишь то, что проектор, стоя на столе, давал изображение лишь на вертикальном экране. Подвесить его над столом мы не могли, приходилось выкручиваться по-другому. Заложив негатив свой в проектор и, двигая тот по столу, мы подогнали размер изображения на стене под четверной лист фотобумаги (двенадцать на восемнадцать), с наивозможнейшей точностью установили резкость картинку и отметили точками её уголки. При свете красного фонаря прижали стеклом в намеченном месте лист фотобумаги, на миг включили лампу нашего аппарата и торопливо начали проявлять. Снимок вышел нерезким. И как мы ни бились – лучшего нам не удалось получить. Разрешение камеры, (число точек на сантиметр) было, видимо, невысоким.



Рис. 7. Больше половины нашего 10-го класса

На вышеприведённом снимке: Ефим Боровицкий, Василий Лищицын, Ростислав Козлов, Виталий Крок, Владимир Платонов, Гриза, Елена Полибина. Василий Турчин по ту сторону фотокамеры.

На этом тогда и закончилось моё увлечение фотографией, впрочем, с некоторыми последствиями. На другой день после последнего ночного занятия, выбежав из класса на перемену, я увидел своего дядю Ваню, выходящего из учительской. Ничто на свете не могло поразить меня больше. Чего это его туда занесло? Оказалось – справку навёл, где это я пропадаю ночами? Чем занимаюсь? Хотя всё это я с самого начала объяснил тётё Наташе – не поверила... Не иначе, как по её наущению дядя Ваня явился в учительскую... Вот дела-а, вышел я из доверия совершенно.

... а я вскоре загорелся новой идеей. Что если к репродуктору подвести ток через повышающий напряжение трансформатор. Будет ли он громче орать? Задача была в том, где взять трансформатор. Ответ опять-таки сам собою нашёлся: в физкабинете. Но попросить его на время у нашего физика я постеснялся, или быть может заранее решил, что домой он не даст. Оправдав доверие Шерстобитова ночью, днём я его обманул, не выдержав соблазна в борьбе с собственной совестью. Я трансформатор из физкабинета украл. Украл, понимая, что всю жизнь буду себя упрекать и стыдиться такого поступка. Желание нетерпеливое, срочное прорвало границу нравственного закона, и я его преступил.

... На последней перемене, когда все выбежали из класса во двор, и я остался один, я открыл дверцу шкафа, набитого трансформаторами на любой вкус и цвет. Мелкие – я отринул с порога, полагая, что нет нужной мощности в них, чтобы заставить орать репродуктор. Крупные – были весьма велики для портфеля, который я в этот день, готовясь к дежанию, грессбухами не загрузил. Всё же один трансформатор мне удалось в него втиснуть – при этом бока его раздулись чрезмерно, после чего, как ни в чём не бывало, я уселся за парту в ожиданье звонка.

... после уроков, выждав немного, пока все разойдутся, чтобы никто не заметил мой растолстевший портфель, я унёс его из физкабинета домой. Там я вытащил репродуктор из комнаты на веранду, подключил его к трансформатору проводами, а тот включил в радиосеть. Репродуктор взвыл, оглушая всю улицу рёвом, превзошедшим все мои ожидания. Превзошедшим настолько, что я тут же

выдернул провода, не на шутку перепугавшись, что всполошу жителей окрестных домов и раскрою себя. Нестерпимое любопытство было удовлетворено, трансформатор был мне больше не нужен.

Теперь предстояло вернуть украденный трансформатор. Кажется очевидным, это можно сделать тем же способом, каким уносил. Но волнение моё, беспокойство почему-то были гораздо сильнее сейчас. Прав, тысячу раз прав Михаил Афанасьевич Булгаков: «Украсть не трудно. На место положить – вот в чём штука». Перед открытием школы всегда перед ней толпились ученики. А необычно раздутый портфель привлёк бы внимание непременно. Так и не помню, проделал ли путь назад мой трансформатор, или я струсил и его не отнёс, побоявшись попасться. И это очень смущает меня. Очень не хочется чувствовать себя вором. И не важно, что не было в этот раз ключей у меня, и что шкаф был не заперт, и что трансформатор тот был не нужен никому совершенно, и что, если он и не вернулся на место, то его всё равно никогда никто не хватился, и, что учителя моего давно нет на свете, а вот совесть всё жложет меня, и хочется верить, что я всё же как-то отнёс его в школу.

... С приходом тепла нами всерьёз озаботился военкомат, мы становились допризывниками. Сначала прошли медкомиссию. Боже, какой это стыд голенькими предстать перед женщинами-врачами, сидевшими за столом. Но это ещё полбеды. Женщины пожилые, их взгляд можно стерпеть. А вот ужас весь где: – у стенки, подпирая её, стоят молоденькие медсёстры из знакомых семей. И они смотрят на нас, не стесняясь. Мы, смущаясь, краснея поворачиваемся к женщинам боком, прикрывая ладонями низ живота, но безжалостные врачи заставляют руки убрать, смотрят, щупают место, которое мы от них закрываем. Дальше – большее унижение: молоденькая врачиха, приказав согнуться и руками ягодицы растянуть, заглядывает туда, куда никому заглядывать ни к чему. И не сделаешь ничего, и не спрячешься, как когда-то от укола, в какой-нибудь школьной кладовке.

... все мы были признаны годными к строевой.

Раз в две недели после признания этого нас стали вызывать в военкомат и водить на учения за город. Чаще всего это была стрельба из боевой винтовки. Стреляли из положения: лёжа с упора. В ста метрах от нашей позиции насыпан был вал, мишени расставляли вплотную к нему. И тут взял я реванш за все свои физкультурные неудачи. Оказалось – стреляю я лучше всех. Все пули мои ложились кучно, две трети и больше – в десятку, ну, а треть – в девятку возле неё...

... однажды вместо винтовок в поле привезли мотоцикл и начали обучать нас вождению. Тех, кто умел на велосипеде кататься. Как ни странно, трое из наших ребят не умели. Я умел и оказался в числе счастливой четвёрки. После краткого объяснения, где "газ", где сцепление, где тормоза, начали ездить. Когда очередь дошла до меня, я, взявшись руками за руль, где на рукоятках – "газ", сцепление и тормоз ручной, резким толчком ноги по торчащему рычагу завёл мотоцикл, вскочил в седло, дал полный газ и выжал рычаг сцепления. Мотоцикл рванул с места с такой неожиданной прытью, что я не успел довернуть руль и вместо ровной дороги помчался по вспаханному полю с большими глыбами закаменевшей земли. Мотоцикл перескакивал через них, я взлетал от толчков над седлом, рискуя при приземлении в него не попасть. От перепуга во мне мгновенно сработали все системы защиты. Вмиг сбросил газ, зажал ручки сцепления, ручного тормоза и выбросил вперёд свои длинные ноги, тотчас упёршиеся в две глыбы земли. Мотоцикл встал, как вкопанный, точно на стенку наткнулся. Ко мне, смеясь, подбежали соклассники и военрук: «А мы думали, что тебе вот-вот конец. Ну и реакция у тебя! Моментальная. Только ногами вот зря рисковал, есть ножной тормоз для этого». Да, в горячке бешеной скачки я про главный тормоз забыл. Я хотел повторить попытку, чтобы лихо промчаться по гладкой дороге (какой же русский не любит быстрой езды!), но мне больше мотоцикл не доверили.

Эти совместные походы в военкомат необычайно сблизили нас, ребят, мы уже не делились на группки, чувствуя себя частью большой единой семьи. Возвращаясь с нашего "полигона" домой затемно, мы шли по проезжей части шоссе, обнявшись за плечи, шеренгой и пели, и пели:

Летят перелётные птицы в осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой,
А я остаюсь с тобою, родная на веки страна,
Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.
Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду,
Но, если ты скажешь мне слово, я снова всё это пройду.
Надежды свои и желанья связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой.

Впереди была прекрасная жизнь в прекрасной стране...

... В начале мая единокровная сестра моя Шура, бывшая замужем за лейтенантом-строителем Константином Ивановичем Муравицким и жившая в Ялте, пригласила меня к себе в гости. В ближайшую субботу я собрался и поехал к ним... Вид Ялты меня удивил. С

суши ограждена она была сплошной скалистой стеной высоченного плоскогорья (Крымская Яйла), сузившего её горизонт до предела. Она словно бы задыхалась от нехватки пространства и по живописности проигрывала Алуште. Не было этих гор, что в Алуште, лесов на горах, не было великолепных скалистых вершин – Демерджи, Чатыр-Дага и Роман-Коша, не было перевалов, долин между горами. Словом, Ялта мне не понравилась.

Шура с Костей жили за окраиной Ялты, в селе Ущельном, близ закрывавшей полнеба стены плоскогорья. У них была одна комнатка над землёй, вход в неё шёл по крутой деревянной лестнице с вытертыми ступеньками, а под ней была ниша в пол-этажа. Вместе с молодыми жила и мать Шуры, Горбанёва Татьяна Ивановна, первая жена моего отца, бросившая его за то, что не захотел променять хлебопашество на высокий заработок забойщика в угольной шахте. Я необходимый ей паспорт.

... в Ялте я пробыл до вечера воскресенья и уехал, не помня ничего, кроме автобуса и дороги.

Весна шла с любовным томлением, воздух будто сгустился над нашими головам, горяча их, туманил, пьянил. После уроков ребята и девочки из нашего класса стали собираться у Веры Ханиной в её комнатке, которую ей в Алуште снимала мама её – главврач санатория "Утёс", что у самого моря ниже села Малый Маяк по дороге в Гурзуф и на Ялту. Шли туманные разговоры, бог знает о чём, с недомолвками, с недосказанностями. Все млели от близости тел, сгоравших от страстных желаний. Не хватало лишь искры, чтобы вспыхнул пожар. Но искра не проскочила.

... кто-то свёл всю нашу компанию с двумя сёстрами, девушками-еврейками. Неизвестно откуда они появились в Алуште с собственной комнатой, чем занимались. Обе они были весьма милы, но мне не понравились. Обе были похожи одна на другую, и звали их тоже похоже: Динэрой – старшую, и младшую – Эрой. У Эры с Динэрой так же сгущалась вокруг нас атмосфера страстных намёков, недоговорённостей, любовной истомы, неутолённых желаний. Но и эти "собрания" закончились без результата, ничем.

... Я и сам не заметил, как начал по вечерам провожать домой Лену Полибину. Жила она далеко, дальше всех, выше всех. После заезда к ней на лыжах зимой я, пожалуй, и стал на Лену заглядываться, старался быть всё время возле неё, "невзначай" касаться руки её и плеча, это так было приятно.

Объяснения у нас с ней не было никакого, один раз увязался её проводить, и так повелось. Мы поднимались мимо санатория метростроителей, сворачивали с асфальта на узкую боковую тропинку, взбирающуюся на гору, слева оставляя тёмную кипарисовую аллею, заслонявшую свет санатория и фонарей, так что тьма под ногами становилась почти абсолютной. Шуршат только угловатые камни, осыпаясь из-под наших подошв, да в траве на склоне горы оглушительно лязгают своими ножницами цикады, почему-то их раньше я их никогда не слышал, а тут вдруг услышал.

Оттого, может быть, что не знал, о чём надо с ней говорить – мне и без слов хорошо и приятно, – я почти всю дорогу молчал от стеснения. Иногда мы шли молча, иногда Лена что-то рассказывала. Моё молчание поначалу не угнетало меня, но когда я начинал понимать, что оно неприлично затягивалось, я начинал разговор. Но, глупец, не о ней говорил, не о чувствах, которые испытывал к ней, хотя бы намёком, а о школьных делах и товарищах...

В иные ночи нам дорогу подсвечивала луна. Тогда было совсем романтично: впереди стройная девушка с русыми волосами в белом платье легко идёт в гору, а вокруг всё переливается светом и серебрится. Но порой при луне становилось тревожно, когда тучи несутся, бегут, и луна торопливо мелькает в разрывах...

У дверей дома Лена приглашала меня зайти, я заходил. Клара Михайловна, подвижная, быстрая, с поразительной для её возраста белизной гладкой кожи лица, оживлённой будто природным румянцем, перехватывала меня, вела к раковине, где я с мылом мыл руки, и усаживала за стол в той самой стеклянной комнате, служившей и прихожей, и гостиной одновременно. Угощали меня сладким кофе с молоком и бутербродами с листочками солёного свиного сала. Необычное сочетание это вначале сильно меня удивило, но я вовремя вспомнил: «Папа любил мёд с солёными огурцами», и попробовал угощение. Оно оказалось приемлемым. Поклонником кофе в сочетании с салом я не стал, но пил и ел с удовольствием, тем большим, что пил, ел у девушки, нравившейся мне всё сильнее. Попав на свет, в комнату, я становился окончательно молчаливым, большей частью женщины разговаривали между собой. Станным образом повторялась знакомая мне с раннего детства картина: я молчу и сижу, любуюсь милым лицом.

... из мимолётных своих разговоров с ними я всё же узнал, что до Германской войны четырнадцатого года первый муж Клары Михайловны, инженер Красовский, спроектировал постройку железной

дороги от Симферополя через Алушту до Ялты через тоннели, которые предстояло пробить в Крымских горах. Тогда он и купил этот участок земли на пригорке, где собирался построить большой и красивый дом для семьи, но успел возвести только времянку, которая волей судьбы (а, скорее, волей "товарища" Ленина и стечением обстоятельств) стала его жене постоянным жильём. Октябрьский переворот похоронил и проект железной дороги. О судьбе инженера Красовского не говорили. «Умер», – было сказано глухо. Где? Как? При каких обстоятельствах?

... Несмотря на свою любознательность и чрезвычайное любопытство, я никогда не пытался узнать больше того, что люди мне о себе говорили. Я очень боялся бестактным или нежелательным для человека расспросом поставить его в неловкое положение, заставив замолкнуть или начать лгать, изворачиваться. Наивный, я полагал, что если человек хочет и может, то он сам всё и расскажет без наводящих вопросов. От этого ошибочного воззрения я многое потерял. Часто ведь и сам человек хочет с кем-либо чем-то глубоким в нём поделиться, сам ждёт, чтобы его расспросили, надо только тонко, умно и осторожно подвести его к этому, располагая к себе. Я этого не понимал

... Лена Полибина родилась от второго мужа Клары Михайловны. Кто он? Где? Куда подевался? Тоже умер? Ничего об этом не говорили.

... я сидел в обществе этих двух женщин, при взгляде на одну из которых у меня замирало сердце, и мне не хотелось уходить от них никуда. Проходил час, второй... К концу третьего часа положение становилось совсем нестерпимым. Мочевой пузырь разрывался от боли, но не мог же я сказать, что мне надо выйти и помочиться. Вот плоды дурацкого воспитания; воспитывать-то меня было некому, некогда – безотцовщина, и мама в постоянных трудах, чтобы добыть пропитание. Я бы сгорел от стыда, если бы у женщины справился, где у них туалет. А если эта женщина нравится очень?! Вот и приходилось прощаться.

Возвращался домой я далеко за полночь. Дверь на веранду запиралась на ключ, но что стоило мне обернуться вокруг столбика под крышей: веранда была открытой, не застеклённой. С веранды я на цыпочках проходил в свою комнату (кухню), раздевался бесшумно впотьмах, и, не разбудив никого, валился к себе на кровать, засыпая мгновенно. Тётя Наташа терзалась в догадках, когда же я прихожу, и, наконец, придумала способ, как меня вывести на чистую воду. В одну из ночей, пробираясь к кровати, я налетел на стул посреди комнаты,

где он никогда не стоял. Стул с грохотом опрокинулся, переполошив всю квартиру. В тёткиной комнате загорелся свет, я был пойман с поличным. Тётя прочитала нотацию, что, впрочем, не помешало мне и дальше прodelывать то же, только с большею осторожностью.

А в голове песенки, строчки из кинофильма "Весна":

Приходит время,
Люди голову теряют,
Снеговые горы тают,
Называется – весна!

И:

Текут ручьи.
Поют скворцы.
И каждый день
Приносит счастье...
И каждый день –
Счастливый день.
Весна идёт, весне – дорогу!

Так и прошла вся весна. Я не решался на действие, даже на поцелуй. Лена ни словом, ни жестом не поощряла и не отталкивала меня, и я застыл в состоянии радостной ровной спокойной влюблённости, довольный тем, что мои робкие ухаживания (а о том, что ежедневные провожания не могли быть ничем, кроме ухаживания, не догадаться было нельзя) принимаются. Лена была старше меня года на два, но у неё не было никого: на заезжих курортников наши девушки не "клевали", а все Ленины сверстники разъехались кто куда. Впрочем, и в девятом классе у неё не было никого.

... Со мной стали происходить странные вещи. Обычное дело – выпьешь стакан газировки на набережной и закусишь его пирожком. И, вдруг, сильная тошнота, рвота, резь, боль в желудке и слабость, так что идти невозможно. Забьёшься в какой-нибудь уголок потаённый, благо их тогда было в Алуште немало, и свалишься на скамейку. Смотришь, через час-полтора – всё прошло, и снова я на ногах. За весну случилось такое со мной раза три. Но приступы были так кратковременны и проходили так без всяких последствий, что я значения им не придавал никакого, даже тётке о них не сказал. Так и не знаю, что это было.

... А ведь это был, пожалуй, тоже сигнал!

За неделю, за две до начала экзаменов у меня вдруг от дичайшей боли раскололась вся голова. Отчего? Почему?.. Все давалось мне очень легко и, как видели выше, я не особо занятиями себя утруждал,

не уставал никогда. Я делал, порой, больше, чем нужно, но это получалось так быстро, без всякого напряжения, что об утомлении смешно говорить... Боль была настолько сильна, всеобъемна, всепоглощающа, что, видимо, рассказав о ней тётке Наташе, я вынужден был пойти в поликлинику. Там сразу направили меня к "ухо-горло-носу" – слова "отоларинголог" в ходу тогда не было. Женщина-врач без всяких исследований, без рентгена поставила мгновенно диагноз: гайморит. Поставив, походя, этот диагноз, врачиха выписала капельки в нос – протаргол, который я тут же купил и начал закапывать. Через несколько дней боль утихла, но осталось в голове нечто неосоздаемое, но мешающее, несвежесть какая-то, зачумлённость. Я старался на это внимания не обращать, но оно во мне оставалось.

Это теперь я понимаю, что жизнь моя сломалась в те дни. Не будь их – всё было бы по-другому.

... О моих головных болях узнали каким-то образом в школе, может быть, я уроки последние пропустил, получив освобождение у врача. Учителя ко мне проявили внимание, участие приняли, иные – своеобразное очень. Клавдия Алексеевна, например, предложила перенести госэкзамены мне на осень. Очень был бы я ей благодарен за это! Военкомат сразу бы руку на меня наложил, что равносильно бы было самому её на себя наложить. Иронично рассыпавшись словами признательности за заботу, я решительно её предложение отклонил и сказал, что буду сдавать вместе со всеми.

... Будучи с любимой крайне стеснительным в школе я умел быть находчивым, метким, та же Клавдия Алексеевна не раз говорила: «Ну и язва же ты, Платонов».

... Накануне экзаменов тётя и дядя повели меня в магазинчик, покупать мне костюм. Семьсот рублей на него мама оставила тётке в свой приезд в прошлом году. Костюм был хорош, шерстяной (шевиот ли, бостон – в этом мало я разбираюсь), цвета тёмно-стального и сидел, как ни странно, на мне хорошо (долговязая нескладная фигура моя подходила редко к чему) и стоил семьсот рублей ровно. Я радовался ему – красно-коричневые штаны и к ним такая же куртка, в которые я был обряжен, мне порядочно поднадоели (подозреваю, что то была пижама для офицеров не высокого ранга из дома отдыха Академии бронетанковых войск, где работала тётя), – однако ра-

дость моя была преждевременной. Одобрив костюм, тётя Наташа почему-то его не купила. Я был сильно обижен, но унынию предавался недолго, не судьба, значит, мне в красивом костюме пощеголять.

... а пощеголять так хотелось. Помню, как-то я выпросил китель с погонами у захавшего к нам Муравицкого Константина и помчался в нём в школу покрасоваться. Ну, и зря, – одноклассники и учителя, сделав вид, что никто ничего необычного не заметил, «дурачок», – подумали, верно.

... После этого случая я старался вести себя посolidнее, сдержанно, не выражать никогда удивления и вообще чувств никаких, равнодушно цедить в разговоре слова (но не с Леной Полибиной), изображать из себя человека, в жизни повидавшего многое. Очень дорого мне обходились до этого непосредственность, живость и эмоциональность моя.

... Между тем дела в школе складывались для меня неприятно. Директор школы, ещё осенью позапрошлого года предлагавший мне возглавить ученический комитет, после моего отказа на меня озлобился, и теперь его неприязнь сыграла не на руку мне. В первых двух четвертях я схватил три четвёрки, во втором полугодии я положение исправил, по всем предметам получал только пять и надеялся, что последние две четвертные пятёрки по трём дисциплинам перевесят две прежних четвёрки, и я получу по ним за год пять. Увы, четвёрки мне не повысили, хотя и могли, и я полагаю, что настоял на этом директор. Поскольку на медаль я вроде не выходил – хотя госэкзамен мог это поправить, – то меня и не срезали ни на чём, даже на письменной литературе, несмотря на враждебное директорское ко мне отношение. Впрочем, оно проявилась в другом. Все экзамены я сдал отлично, в том числе сочинение и немецкий, но годовые четвёрки мне опять не повысили, и они пошли в аттестат. А я без медали остался.

... до конца срока подачи заявления в институт оставалось чуть больше месяца, но я никак не мог определиться, куда мне поступать. Меня влекла физика, математика, манило синее море. Я перебирал "мореходку", Ленинградский кораблестроительный институт, Московский университет, но по невежеству своему ни на чём остановиться не мог.

От университета меня отвратило чьё-то внушение о том, что от туда направляют в школы работать учителем. А учителем я быть не хотел. "Мореходка"? Но не стану же сразу я капитаном, а иным

быть – неинтересно... Корабли строить? Дело рутинное, а мне хотелось что-то новое узнавать, открывать. Дядя Ваня предлагал поступать в Симферополь, в торговый или винодельческий техникум, но это я отвергал. Виноделие и торговля обещали сытую жизнь, но разве в этом смысл жизни? Да, и техникум – для меня оскорбительно мало. Я способен на большее. Только где, как способности свои проявить? Я не знал, и никто не мог мне посоветовать.

Вот, что значит среда...

... не вспомню, что такое случилось, что стряслось, что я срочно, не дожидаясь выпускного вечера, получил документы и из Ялты морем выехал на Кубань. Накануне я встретился только с Леной на набережной и получил фотографию, которую у неё попросил.

Перед отъездом тётя Наташа подарила мне вместо костюма демисезонное пальто чёрного цвета, с рукавами покроя дотоле мне неизвестного – реглан. По-всему, тоже из дома отдыха. Сей "подарок" восторга не вызвал, но я безропотно принял его.

... в шесть часов следующего утра палубным пассажиром теплохода "Адмирал Нахимов", так трагически погибшего спустя сорок лет, я отчалил из Ялты на Черноморское побережье Кавказа, на Туапсе. Впервые я плыл морем на большом корабле (раньше только на катерах доводилось). Но что-то смазало мои впечатления. Без сомнения, этим что-то явилась тревога, возникшая в полдень на корабле из репродуктора корабельного радио. Напряжённо-торжественный голос диктора возвещал:

– Вчера утром... войска Южной Кореи... напали на территорию Корейской Народно-Демократической Республики. Силами армии КНДР нападение отбито. Войска КНДР, перейдя демаркационную линию, преодолевая ожесточённое сопротивление противника, стремительно продвигаются на юг Корейского полуострова...

Конечно, я не могу дословно по памяти восстановить передачу, но отлично помню, что на корабле воцарилась зловещая тишина: «Неужели снова война?» Все мы знали, что у нас с КНДР договор, Южная же Корея – за Соединённые Штаты. И во что это может вылиться, не представляли...

Перипетий международных событий после войны были мне в чертах общих известны. Но всё это было вне моей жизни, было фоном далёким, не касавшимся вроде бы нас, а тут вдруг так касаясь близко:

«Война!» Оттого и нет других впечатлений ни от моря, ни от "Нахимова", ни от Туапсе, ни от встречи с мамой в станице Костромской...

Там я встретился с другом детства, Жорой Каракулиным, разговор наш происходил в темноте возле штакетника у выхода из подросткового парка, насаженного стараниями мамы. Мы стояли под деревьями, чуть освещённые лампочкой над входом в церковь. В парке и вокруг нас было много и парней молодых, и девушек, и это как-то связывается у меня со свадьбой Жорика и молоденькой школьной учительницы.

Он тут же в парке подвёл меня к ней – тоненькое миловидное создание. Мы познакомились, но её окружили и увлекли в сторону подружки. Рядом промелькнула сестра его, Катя. Тут Жорик и предложил мне обратить внимание на неё: «Ты посмотри, какие у неё плечи, – говорил он, – и подкладок не надо». В самом деле, у милой Кати от физической работы плечи были весьма развиты, только Жорик отстал, подкладки под плечи в женских платьях и блузках, популярные в первые послевоенные годы, вышли из моды. И, по правде сказать, они женщин не украшали. Это была дань войне, когда многие женщины носили погоны.

... к жизни очнулся я в комнате старого приятеля, Генки Мишучкина. За столом сидели двое ребят и две девушки: Дударева и... Женя Васильева, в которую был когда-то безумно влюблён, проявившая живейший ко мне интерес. Женя окончила первый курс Краснодарского пединститута и приехала домой на каникулы. Была она очень милой, приятной и обаятельной, и ямочки на щеках её были по-прежнему хороши, но любовного чувства к ней не возникло, не прервалось дыхание при виде её, и пути наши, пересёкшись, сразу и разошлись. Я был независим, ровен, спокоен и деланно равнодушен, как человек, повидавший в жизни немало. Когда все ушли, и мы с Геней остались вдвоём, он сказал мне:

– Брось ты эту манеру, Володька! Будь самим собой. Лучше, когда чувства и мысли отражаются в голосе и в лице.

Как ни странно, но я его послушался сразу. Расхохотавшись, я стал рассказывать ему что-то голосом своим, не искусственным.

– Ну, вот и хорошо, – резюмировал он, дослушав рассказ.

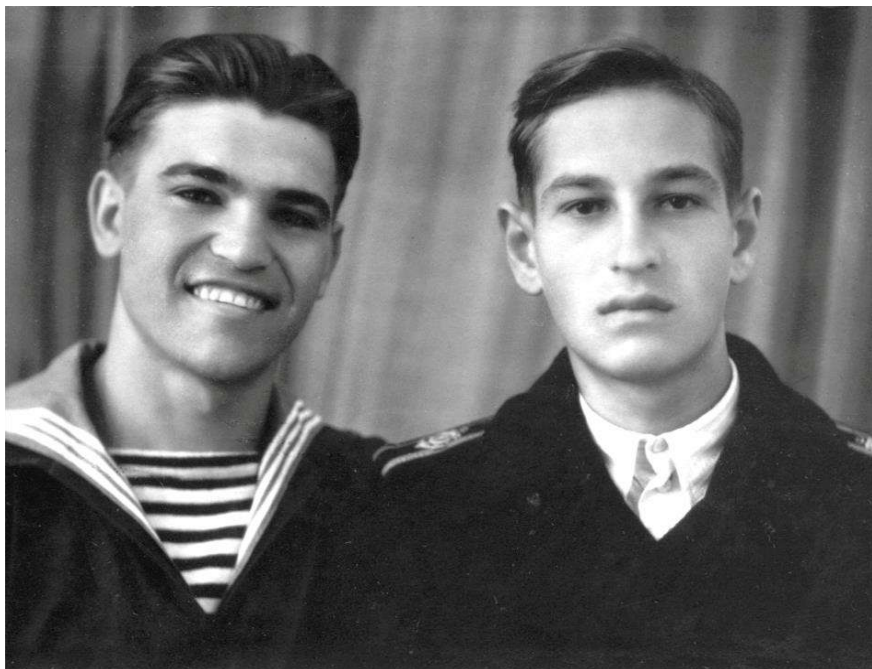


Рис. 8. Георгий Каракулин и я

Но не всё было так хорошо. Я, по-прежнему, не знал, куда же податься. Генка увлекал меня радиотехникой и увлѣк таки её перспективами¹. Мы оба послали свои заявления в Москву, в Энергетический институт имени товарища Маленкова, на радиофакультет.

... Из месяца, что провёл я в Костромской, помню только, что мама была очень огорчена тем, что тѣтя Наташа костюм мне не купила, да что очень сильно запаздывали газеты, по которым следил я за корейской войной... Реляции шли оттуда победные, это наполнило сердце моё ликованием: «Мы побеждаем!» Вот уже и вся Южная Корея в течение нескольких дней в руках Ким Ир Сена. У американского ставленника Ли Сын Мана только порт Пусан² на самой оконечности полуострова. Ещё маленькое усилие, и его вышвырнут в море, и вся Корея станет социалистической страной.

... да, гладко было на бумаге.

¹ Сбывшимися, надо сказать, с точностью, превзошедшей все ожидания.

² Фусан, в другом написании.

... случилось немыслимое, невероятное для всех тех, кто не знал о диких провалах сталинской дипломатии (я только год спустя, сопоставив все действия и шаги наших правителей, пришёл только в этом одном частном случае к такому вот выводу, но, понятно, помалкивал). В Совете Безопасности ООН накануне конфликта США, Англия, Франция провалили (применив вето) советское предложение об изгнании из ООН чанкайшистского представителя, о замене его представителем КНР. Тогда, в знак протеста (нашли перед кем протестовать!), представитель СССР в этом Совете покинул заседание и вылетел в Москву (по указанию Сталина, ясно, без него никто б не посмел). И вот, с началом Корейской войны, собрался Совет Безопасности и при единогласии членов его (место советского представителя пустовало, некому против было голосовать) объявил Северную Корею агрессором¹ и принял решение о посылке туда войск ООН для отражения нападения. И эти войска спешно начали формироваться.

... Разумеется, мы тут же стали вопить, что решение неправомерно, но ответ получили очень резонный: кто виноват, что вас не было на заседании?! Вы добровольно в заседании не участвовали, право вето своё не использовали, все присутствовавшие были "за"... Разумеется, мы тут же вернулись в ООН, в пустой след руками махать.

... пока танковые дивизии КНДР катили стремительно к южной оконечности полуострова, спешно создавались силы ООН, в основном из американских военных соединений при символическом участии ряда стран (батальон, полк, бригада) из американского блока. Высадив внезапно с моря десант севернее Сеула, американцы вмиг перерезали полуостров, главные силы КНДР были отрезаны и обречены. Но внезапным удар была не для всех, не для всех, но об этом чуть ниже.

... Получив вызовы из института, мы очутились в Москве, в Лефортово, в МЭИ в первый день жаркого августа.

Комната в общежитии – четырёхэтажном здании постройки тридцатых годов с ленточными окнами вдоль этажей – была совсем небольшой. В ней – две двухъярусные кровати, между ними узкий проход к окну от дверей и небольшой стол со стульями у окна. Мне досталось место внизу, слева от входа, Генке – справа. Надо мной поместился славный малый, Женька Феськов, а над Генкой какая-то бесцветная личность, следа не оставившая.

¹ Как позже выяснится, так оно в самом деле и было.

... узнав в институте расписание экзаменов и номера групп куда, мы попали, а попали мы все в разные группы, мы начали с утра до ночи набивать головы знаниями из учебников, прерываясь, когда надо было перекусить. Где перекусывали – я не помню, но иногда варили на кухне картошку. Кто-то из нас оказался запасливым и приехал с кастрюлей средних размеров, и кастрюля та оказалась подспорьем бесценным в наших бесхитростных развлечениях после занятий по вечерам, когда начинались хождения "в гости". Мы подвешивали кастрюлю с водой над дверным косяком, привязав к одной ручке её бечёвку, другой конец этой бечёвки закреплялся на ручке двери. Дверь, как и положено, открывалась внутрь комнаты. Когда её стремительно открывали, а её именно так всегда открывали – стремглав, так как молоденькие девушки, парни не умели ходить – они мчались, бежали, летели, врывались, – так вот, когда дверь рывком открывали, бечёвка, потянув вниз ручку кастрюли, враз опрокидывала её, обрушив три литра холодной воды на влетевшую горячую голову. Ошарашенный и подмоченный посетитель валил с хохоту на кровати всю нашу четвёрку. Забаву эту быстро в других комнатах переняли, так что и нам пришлось пострадать от собственной выдумки, посему мы к соседям входили теперь осторожно, после стука дверь рукой приоткрыв, пережидали пока выплеснется сверху на пол вода.

... пример, называется, подали.

... Одурев от чтения, днём мы давали себе передых, запуская с третьего этажа из окна своей комнаты бумажные самолётики. Описав плавно дугу, самолётик красиво снижался, скользил по зелёной лужайке двора и в траве застревал. Увлечение это стало повальным. Отовсюду и с нашего, и с вышележащего этажа, кружа, летели во двор самолёты, превращая его во двор зимний и белый. Так длилось два дня. На третий, пустив очередной свой самолёт, я заметил, как из-за угла вышла группа мужчин. Я мигом спрятался за стеклом, наблюдая за ними. Мужчины, задрав головы вверх, равнодушно смотрели на облака и на летящие из окон самолёты. Постояв минут пять, любовавшись на небо, они молча, спокойно ушли. А спустя полчаса, под надзором этих самых мужчин, строители самолётов, коих мужчины те за запуском засекли, были выведены во двор, и, к восторгу нашему беспредельному, заставили их граблями, мётлами очищать двор, лужайку от самолётного мусора. Ах, как весело было смотреть на попавшихся простаков, на их работу, на прощание с ними надсмотрщиков. Им ни много, ни мало пообещали не допустить их к экзаменам, если ещё хоть один летательный аппарат покусится на девственную чистоту дворового газона.

... самолёты перестали летать.

... Первым экзаменом во всех группах был экзамен по русской литературе. В большой светлой комнате нас рассадили по двое за столами, а на доске написали три темы, каждый волен одну из них выбрать по вкусу себе. Первые две касались, кажется, Горького и Салтыкова-Щедрина. Третья тема – свободная. Смысл её – мы за мир во всём мире.

Прочитав названия первых двух тем, я понял, что путного не напишу. Оставалась свободная тема. Я взялся за неё, и вдохновение меня понесло. Вступление я начал с того, что нам наша победа и мир достались дорогой ценой. Причём как-то ловко ввернул совершенно ненужную, на мой нынешний взгляд, цитату из выступления Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Обосновав разрушениями войны и лишениями, перенесёнными советским народом, особую надобность мира для нас, для улучшения жизни людей, для выполнения планов, которые на это направлены: строительство гидроэлектрических станций на Волге, великий сталинский план преобразования природы в Европейской части Союза и всё остальное, я с искренним восторгом писал, что все эти планы советский народ осуществляет по замыслам великого Сталина и под его руководством, недаром стройки эти в народе зовут сталинскими стройками коммунизма. Для всего этого нам нужен мир, и советское правительство прилагает неимоверные усилия для сохранения мира. И я перечислил все многочисленные предложения и действия правительства СССР, направленные на сохранение мира.

Конечно, я сейчас не могу так широко и свободно, логично, слогом отнюдь не избитым эту тему развить. Но тогда меня, говорю, понесло.

Проверив текст и знаки препинания в нём, я сдал сочинение, не ожидая, впрочем, ничего хорошего от него.

По заведённой традиции день после экзамена освобождал меня от забот, я был совершенно свободен и мог делать всё, что хотел. И я на трамвае поехал хотя бы пока из окна посмотреть на Москву, иногда вылезая из вагона там, где что-то заинтересовало меня. Трамвай кружил по незнакомым мне улицам, где были одноэтажные деревянные домики с поленовскими двориками, травой, крыжовником, яблонями, липами, тополями – этими остатками старой купеческой Москвы, невообразимыми в столице социалистической Родины. Но и она появилась огромным многоэтажьем домов, трамвай выкатился на площадь, где был ЦК комсомола, и в этом было что-то значительное для меня.

Вроде знака на будущее. Я вышел на площадь, но ничего особенного в высоком здании не нашёл. Вечерело. Окна в домах вспыхнули ярким электрическим светом, осветившим сумрачный сквер, и это было красиво, но за этими стёклами текла жизнь для меня совершенно чужая, и ей до меня не было дела... Возвращаясь, я соскочил на ходу с подножки вагона на повороте, где трамвай замедлял ход близ сада имени Баумана. В небольшом, но с густыми деревьями парке на помосте, играл духовой оркестр, и трубы нарядно поблёскивали золотистой латунью. На танцплощадке кружились пары под звуки томной мелодии. Всё было так мне знакомо и недоступно, и приступ грусти, тоже давно мне знакомой, охватил меня, стало жалко себя, своей незадавшейся юности без девичьей ласки, любви.

Добравшись до вечернего общежития, я увидел свалку возле красного уголка. В дверях толпились абитуриенты, которых не мог вместить переполненный зал. А там, как сказали, чудо невиданное – телевизионный экран. Мне тоже захотелось взглянуть на него, и я с превеликим трудом втиснулся в зал. Там, на столе стоял большой ящик, втрое больше ящиков из-под папирос или водки, а в нём маленький, малюсенький смехотворно, экран, чуть больше папиросной коробки "Казбека". Перед экраном, чуть-чуть увеличивая его, была укреплена на кронштейнах пузатая линза, и вот её-то размеры меня поразили, никогда подобной не видел. В увеличенном линзой экране мелькали серые изображения, как в чёрно-белом кино, потом крупным планом появилась некрасивая дикторша, стала о чём-то вещать. Всё это не показалось мне занимательным, и я выбрался из душного зала.

Пора было спать, завтра надо готовиться к следующему экзамену – письменной математике. Не надо думать, однако, что в дни подготовки я из общежития не вылезал. Бывало, обалдев от занятий, выскочишь на часок, проедешь несколько остановок, соскочишь на повороте, где трамвай замедляет ход, тормозя, и пешком прогуляешься, зайдя по пути в магазин купить что-то поесть. Это вот помню, а о столовой следа в памяти нет, хотя в институте она должна была быть. При Сталине было много столовых, да и при Хрущёве ещё, это при Брежневке они стали таять, как снег, превращаясь в непомерно дорогие с невкусной едой рестораны. Но тогда, занятый мыслями об экзаменах, при полном равнодушии к съедаемым блюдам, я столовую не запомнил, зато помню солнечный день, скамейку у входа в сад Баумана, я уминаю свежую булочку и запиваю её газированной сладкой водой из бутылки. И тут меня вдруг замутило, затошнило, как весной в Алуште.

Я вырвал в рядом стоявшую урну и свалился обессиленный на скамейку. Вид мой, вид, как я думаю, позеленевшего после рвоты лица привлекал внимание женщин, проходящих мимо меня, они подходили ко мне, участливо спрашивали, не вызвать ли скорую помощь, но я отказывался: «Спасибо, не надо, мне нужно только отлежаться немного». Часа через два я поднялся вновь полный сил и зашагал в институт. Это был последний приступ неизвестной болезни, неожиданно-негаданно неизвестно откуда и почему свалившейся на меня.

... через день в институте вывесили отметки за сочинение. Против своей фамилии я увидел пятёрку. Это было неплохое начало, и нечего говорить, как на душе у меня отлегло. Генка получил за сочинение двойку, для него в МЭИ всё было кончено, в то время как я был полон надежд – самое трудное миновало. Математика для меня чепуха.

... Гена до конца экзаменов жил в общежитии, работу искал, строил планы, как год перебиться.

Феськов получил по литературе четвёрку, у него тоже были высокие шансы.

... экзамен по математике. В прежней аудитории нас по-прежнему рассадили по двое за столами. С доски сдёрнули покрывало, и перед нами предстали два варианта примеров, задач. Их было пять, этих примеров, и они были неприлично для вуза легки. Я решил их мгновенно, всё так хорошо упростилось, что я, не проверив, сдал работу задолго до срока. Должен сказать, что не всем даже лёгкость такая была по плечу. Всё время сзади высовывалась голова и, заглянув в мой листок, тут же скрывалась, чтобы через минуту появиться опять. Списывал некто.

... Да, всё было так просто, я сдал лист свой первым, не удосужившись проверить его, позабыв старую истину: «Поспешишь – людей насмешишь». Вышел гордый собой и довольный, как-никак два экзамена с пятёрками позади.

... заноза тревоги возникла лишь к вечеру, когда я, вернувшись с шатания по Москве, узнал, что в группе Феськова были такие же варианты, и ему достался такой же, как мне. Четыре ответа у нас с ним сошлись, в пятом обнаружилось расхождение. Я стал лихорадочно вспоминать выражение, а затем начал преобразования с ним. И тут обнаружил опisku. Дикую. Нелепее не придумать. Вместо $\lg 100 = 2$ я написал единицу. Ребёнок знает, что только десять, помноженное на десять, даст сто в результате, а десять, взятое один только раз, так десяткою и останется. Как могло это со мною случиться? До сих пор не пойму. Ко

всему, выражение так легко упростилось, что и тени сомнения возникнуть не могло у меня. Простой результат усыпил мою бдительность, и я в этот час на собственном опыте убедился, чем потеря бдительности грозит. Да, настроение моё резко упало, хотя я понимал, что двойки не будет, и втайне надеялся на четвёрку (из пяти четыре решил правильно ведь, да и в пятом не ошибка – описка). К тому ж и на устном экзамене можно улучшить своё положение. Ещё три пятёрки у меня впереди: математика устная, физика и немецкий. Блажен, кто верует.

... Ну, а теперь вернёмся к тем счастливым часам, что провёл я после легчайшего в мире экзамена. Я поехал в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Там, на лодочной станции возле большого пруда, сдав паспорт в залог и уплатив тридцать копеек, я взял лодку на час. Бросив вёсла и ключины в лодку, я отомкнул цепь от столбика пристани и, держа её в правой руке, ступил левой ногой на скамью лодки между носом её и кормой. От толчка лодка сдвинулась, отошла от причала, а я завис широко над водой с расставленными ногами в положении неустойчивом, в равновесии, так сказать, динамическом. Одна нога в лодке у борта, вторая – на крае настила причала. Стоило мне любой ногой шевельнуть, как лодка, качнувшись, выказывала угрожающее стремление отринуть от берега. Тогда бы ноги мои, левая ль, или правая, или обе совместно, соскользнули б с опор, и я рухнул бы вниз. Оттолкнуться от пристани и рывком броситься в лодку я не мог, не успел бы мгновенно сместить в лодку центр тяжести тела – весьма далеко – и оказался б в воде. И от лодки я не мог оттолкнуться, чтобы вспрыгнуть на пристань, так как борт от малейшего шевеления норовил рвануть от меня, и я снова бы шлёпнулся в пруд неминуемо – вот что значит отсутствие в воде должного трения!

Трудно представить отчаянность моего положения, я ведь, вдобавок, боялся не только воды, но и паденья меж лодкою и причалом, мог бы, я думал, и голову, ударившись, проломить. Мысль моя работала лихорадочно, я искал выхода, но его невозможно было найти. Не было ни одного человека в округе, не было никого, кого можно было бы на помощь позвать, кому мог протянуть бы я руку или кто лодку бы к берегу подтянул.

Цепь носовая всё время была в руке у меня. Я сам попробовал было за неё потянуть, и нос ко мне повернулся, но корма-то, корма... Лодка крутилась, и её корма, и злополучный борт с моею ногою стремились удрать от меня. Я уж и так почти на "шпагате" держался.

Правда, от цепи и польза была. Цепь, если её не дёргать, не беспокоить, не давала своевольничать лодке, но сколько я мог так продержаться? Рухну, в конце концов, в пруд ко всеобщему веселию публики, которая, будьте покойны, уж тут непременно появится.

... так я тосковал, над водою распятый, но всё ещё не сдавался. Едва заметным шевелением пальцев в ботинке, молекулярным движением ноги, покоившейся на доске за бортом, я старался подвинуть борт этот к берегу. Увы, бесполезно! Только чудо могло спасти меня от падения. Только оно! И чудо свершилось таки. Вдруг в напряжённых ногах я почувствовал едва заметное облегчение, и я понял, что лодка послушалась и на один-то, пожалуй, всего миллиметр приблизилась к пристани. Но это был золотой миллиметр. Он решил всё. Не дыша, осторожно подтягивал я одеревеневшую ногу и лодку с нею, конечно. Вот просвет меж ногами уже невелик, я решаюсь и, резко склонив тело к настилу, вырываю ногу из западни. От толчка лодка мгновенно отшвыривается чёрт знает куда, но ноги там моей уже нет, обе ноги мои на опоре незыблемой. У-ух!.. Вздых облегчения.

Теперь подлая лодка в моей полной власти, я подтягиваю нос её цепью к себе, с носа влезая в неё, перебираюсь на середину и плюхаюсь на поперечную доску сиденья. Остаётся вставить в дырки уключины, вложить вёсла в них, взмахнуть вёслами, пронеся их назад низенько над водой, и, погрузив их легко в воду без всплеска, напрячь бицепсы для гребка. Лодка неслась, и наслаждению моему не было никакого предела. Ведь скольжение сродни полёту, и я летел над водой, посылая лодку сильными гребками вперёд, на ходу разворачивал её круто на месте резким разводом вёсел в противные стороны или останавливал сходу, табаня, и снова мчался без устали. Есть наслаждение в труде. В труде, доставляющем удовольствие. Укрощённая лодка чутко отзывалась на все посылы мои, выполняя всё, что хотел.

Всласть накатавшись и, наконец, изрядно устав, я отправился к себе в общежитие, где столкнулся с уже описанной неожиданной неприятностью.

Следующие дни прошли в подготовке к устному экзамену по математике.

На экзамен пошёл я в числе первой пятёрки, вытянул билет, взял со стола чистый лист бумаги с круглой гербовой печатью в углу, сел у окна за столик готовиться. Ответы на вопросы билета я знал превосходно, задачи решил быстро и первым вызвался отвечать. Но, вопреки ожиданию, экзаменатор, молодой ещё человек,

спрашивать меня по билету не стал и даже мельком не взглянул на решённые мною задачи, а стал листать экзаменационную ведомость. (Тогда я этому значения не придавал, а сейчас полагаю, что это была непорядочность – составлялось предвзятое мнение). Найдя там то, что искал, он сокрушённо вздохнул:

– Письменный экзамен вы сдали неважно. С таким баллом у нас трудно пройти. А вот сочинение, смотрите, вы написали отлично. Это такая редкость. Вам бы, наверное, лучше было в гуманитарный вуз поступать.

Я робко заметил, что по математике я занимался лучше, чем по литературе. (Как я был неразвит в общении! Ну к чему эта фраза? Чем она могла мне помочь? Лучше попытался бы рассказать об ошибке – по ведомости её не узнать! – убедить, что это описка, нелепая, дикая, тогда, может быть, он отнёсся ко мне снисходительнее, ведь оценку по письменной работе можно было опротестовать. Этого тогда я не знал).

– Ну, что ж. Я дам вам пример. Если вы решите его, тогда может выйти в среднем хороший балл по результатам двух экзаменов.

Он написал на листе довольно громоздкое выражение с секансами и косекансами и предложил мне его упростить, но не отпустил меня от себя, что, конечно, мешало сосредоточиться. Я терпеть не могу, когда кто-то смотрит на то, что пишу, нервничаю, начинаю спешить, торопиться.

Написанное экзаменатором выражение несколько не испугало меня: нечто подобное мы в школе решали, к тому ж и все формулы тригонометрии я знал на зубок. Я смело приступил к преобразованиям. Однако дело сразу же не заладилось, выражение изменялось, но не упрощалось несколько. Видно, я сразу не сделал нужной замены. Надо бы было бросить его и начать всё сначала, но под нетерпеливым взглядом экзаменатора я не мог на это решиться и продолжал бессмысленные замены, не дающие результата, уже холодея от мысли, что время проходит, а я всё не могу решить не бог весть какой трудный пример.

Наконец, мой мучитель сказал: «Достаточно», – и поставил в экзаменационную ведомость тройку.

Нечего и говорить, как я был огорчён и расстроен. Если я не был убит, то лишь от надежды, что пятёрками от следующих экзаменов я наберу проходной бал. (Как же я заблуждался! Раненым не подадут руку помощи, их добивают).

После экзамена я поехал побродить по улице Горького. Затеявшись в толпе, я спустился по ней вниз к Охотному ряду. Здесь на

углу по правую руку был уютенький магазинчик под вывеской "Московские сухари", и сухарики в нём были отменны. В очень чистом небольшом помещении тонко пахло сладостью и ванилью, а на полках вдоль стен в лоточках лежали вкусные сухари десятков сортов. Я до того перепробовал их немало (не первый раз заходил в магазин) и остановился окончательно на ванильных. Я купил большой кулёк сухарей, и вновь побрёл по улице Горького, теперь уже вверх, разгрызая сладкие рассыпчатые сухарики...

... В общежитии мы жили по-прежнему вчетвером. Генка не спешил покидать первопрестольную, где-то пропадал целыми днями, всё ещё пробовал устроиться на работу, но не находил ничего. Настроение у обоих было подавленное. Денег не было, и мы упражнялись в открытии честных способов добывания их.

Кто-то всерьёз рассказал: в медицинских вузах не хватает скелетов для обучения и для опытов, так как родные предпочитают хоронить покойников целиком, не отдавая на растерзанье анатомам. Ввиду этой нехватки мединституты заключают договоры с живыми обладателями скелетов, дабы заполучить эти скелеты после смерти их обладателей. Причём сразу платят наличными сто рублей.

Мы кинулись по Москве искать все учреждения, где можно было заложить свой посмертный скелет, но, к сожалению, таких не нашли.

... Из Алушты мне переслали адрес тётки Лены Полибиной в Ташкенте, у которой была сейчас Лена (она поступала в тамошний мединститут), и я стал посылать ей (Лене, не тётке) после каждого экзамена длинные (на многих листах) письма, описывая наше житьё-бытьё, пересыпая написанное грустным, печальным юмором... Да, я писал ей грустные, но забавные письма. Её тётушке мои письма так нравились, что она их читала знакомым... И куда всё ушло?

... Наступил экзамен по физике. Я взял билет, подготовился – ничего там трудного не было, решил все задачи и пошёл отвечать. К ответам по билету претензий не было никаких. Начались дополнительные вопросы. Один, второй, третий, ..., десятый. Я безукоризненно ответил на все.

– Довольно, – сказал экзаменатор и поставил четвёрку в экзаменационный листок.

Это было несправедливо. Я понял, что из-за тройки по математике меня бессовестно режут. Сейчас бы я спросил: «Почему?», а тогда несмелый, неопытный, молча проглотил эту подлость.

Да, с теперешним опытом я бы действовал по-иному. После письменного экзамена по математике пошёл бы в приёмную комиссию и доказал бы, что у меня не ошибка, а описка, могу заново сегодня же с любой группой экзамен сдавать. В крайнем случае, дошёл бы до директора и министерства. Точно так же после экзамена по физике, указав на предвзятость преподавателя, потребовал бы экзамена перед комиссией. Но, увы, ничего этого я тогда не знал, не умел.

... с двойками отсеивалось очень много абитуриентов, и я ещё мечтал пройти в институт.

... И вот, последний экзамен. По немецкому языку.

Билет попался лёгкий совсем, вопросы по грамматике и текст – биография Бетховена, которую я знал наизусть. Отвечал я отлично, точно рассказал о правилах по грамматике, безупречно перевёл текст и бойко пересказал содержание. Я был в ударе, мгновенно отвечал на вопросы, не получил ни одного замечания, ни одной поправки. И, тем не менее, "немка" поставила мне четвёрку. Было больно и горько от такой нечестности взрослых людей.

Через два дня в институте был вывешен список прошедших по конкурсу. Меня в списке не было. Проходной балл на наш факультет составил 19,5. Мне не достало полбалла. Если бы физик и "немка" или кто-либо один из них оказались порядочными людьми, то я бы поступил в институт непременно. Сделали они своё злое, чёрное дело.

Я был в полной растерянности. Генка Мишучкин закончил бесполезные поиски и укатил в Ригу к тётке, зовя с собой и меня, но мне в Риге было нечего делать.

В приёмной комиссии, где толпились бедняги, получавшие назад свои документы, ко мне подошёл представитель Ивановского энергетического института: у них недобор, и меня сразу зачислят студентом. Но в Иваново ехать мне не хотелось: у меня была тройка, и до сессии я оставался совсем без стипендии. Ради Москвы можно было решиться на четырёхмесячное без денег житьё, но в Иваново... И я отказался. Словом, повёл себя как последний дурак, как безмозглое существо, а не мыслящий человек. Кто ждал меня в других вузах Москвы?... А без них меня ждала радостно армия.

Без денег бы и в Москве, разумеется, не прожил, как и в Иваново – ну что там, на разгрузке вагонов, заработать я мог?! Значит, надеялся на мамину помощь, да и тётки, если бы попросил, думаю, рублей по пятьдесят согласились бы выкраивать до января. Но в Иваново был бы студентом, учился, а, закончив с отличием первый

курс, преспокойно мог бы перевестись и в Москву?.. Да и в Иваново мог доучиться, если б понравилось.

Вот в таком положении я по глупости своей оказался. О возвращении домой не могло быть и речи – я сгорал от стыда. Год надо было как-то прокантоваться. Несчастливцы, вроде меня, но в большинстве гораздо слабее меня, кинулись группами и в одиночку по институтам Москвы: может где недобор? Я метался со всеми. Побывал в Темирязевке и в институтах Стали, Цветных металлов и золота, и в Гидромелиоративном, и где-то ещё. Не было нигде недобора.

... Делать всё же что-то надо было немедленно. От кого-то из соотарищей по несчастью я узнал, что есть приём в лесной техникум на станции Правда, по Северной дороге в двадцати километрах от Москвы..

... в солнечный день первого, кажется, сентября я приехал на станцию. Почерневшие срубы бревенчатых двухэтажных домов и одноэтажного, но обширного техникума не показались мне мрачными в золотистых лучах тёплого осеннего солнца. Сдав документы, я был сразу зачислен учащимся третьего курса техникума, куда никогда не стремился и где не собирался долго задерживаться. Лишь бы зиму как-нибудь перебиться. Но и это было делом нелёгким: стипендия – всего сто рублей. Не хватит на хлеб и на молоко. Будущее ничего хорошего не сулило, кроме, авось, не пропаду как-нибудь. Мысль, согласитесь, не ободряющая... Вот результат того, что первому порыву поддался. Иваново тебе не хорошо! Сидел бы сейчас там, как у бога за пазухой. Взвесить все последствия поступка своего не сумел.

... да, стипендия была всего сто рублей, но об этом как-то не думалось. Начались занятия в техникуме, унылые, скучные. Пошли дожди, такие же скучные и унылые, как и занятия, – серые, грязные, глинистые. Всё помрачнело и наводило тоску беспросветную: и просторные классы с безликими серыми тенями вместо преподавателей и учащихся, с которыми не было ничего общего у меня, и большая комната в общежитии, где нас было восемь или двенадцать. Ребята все были крепкие, плотные, все физически гораздо сильнее меня, и чувствовали себя они здесь спокойно, уверенно. А я впервые остро ощутил свою худобу, нескладность и слабосилие, хотя никто меня не обидел ни словом, но никто и не замечал. Они жили отдельной от меня привычной для них жизнью. И ни одного лица я не запомнил.

... в голове моей по-прежнему висела невидимая завеса перед глазами или за ними, отделяя то ли меня, мозг мой, от внешнего мира, то ли мир от меня неприятным досадливым отчуждением. Поликлиника

оказалась с техникумом по соседству, и я решил проверить, действительно ли у меня воспаление этих самых придаточных полостей или пазух. Меня всё-таки беспокоило это последствие перенесённого в мае в Алуште приступа дикой головной боли. Сейчас боли не было никакой, но вот эта преграда... Она не мешала мне общаться с людьми, не отразилась ни на моих способностях, ни на трудоспособности вообще. Но от неё было как-то нехорошо, точно всё вне меня происходило в аквариуме за незаметным, но постоянно присутствующим стеклом. Это было даже немного мучительно, и я пошёл к врачу на приём.

Врач – пожилая участливая женщина – внимательно выслушала рассказ о перенесённой болезни, о том, какой и как был поставлен диагноз, о моём теперешнем самочувствии и направила меня на рентген. Снимок показал, что придатки мои чистые совершенно, никакого воспаления нет. Но от этого мне легче не стало.

... я ещё кое-как тянул на оставшиеся денежки, сократив питание до хлеба и молока, но они, проклятые, всё-таки таяли. Не лучшее положение было и у других. Более предприимчивые ребята искали способ подзаработать, я же и искать не умел, не представлял, как это делать, то есть я знал, как устраиваться на работу, но ведь здесь надо было найти работу на день или час.

В одну из суббот после занятий один из наших парней, самый высокий, плечистый, войдя в комнату, сказал, обращаясь ко всем: «Леспромхозу нужны люди на ошкуровку брёвен. Расплачивается в тот же день. Кто пойдёт завтра со мной?» Вызвались все.

В воскресенье с утра мы отправились к железной дороге, где лежали штабеля неошкуренных брёвен. День выдался ясный, но после прошедших накануне дождей было сыро, на чёрной грунтовой дороге там и сям лежали плоские озёрца маленьких лужиц, в них весело отражались блики всходившего солнца. Солнечный блеск и ожидание заработка повысили настроение, и уже всё в округе не казалось таким беспросветно безрадостным.

... нам дали скребки – остро заточенные лезвия, слегка выгнутые дугой, с деревянными ручками по краям, обращёнными в сторону остря. Работа оказалась нехитрой: сев у края на неошкуренный ствол задом к его восьмиметровому продолжению, заводишь скребок под кору с торца и, отъезжая назад по бревну, тянешь рывками ленту коры, отделяя её от скользкой, клейко сверкающей древесины свежей сосны. Солнце вызолачивает оголённый ствол, густой запах смолы одуряет, и растёт в сердце неумённая радость и от

воздуха, солнцем пронизанного, и от лёгкого напряжения этой приятной работы. Поворачивая бревно, играючи сгоняешь ленту за лентой и, очистив его от коры, переходишь к другому.

... Да, работа не трудная, но к концу дня я сильно устал: ну-ка руками туда-сюда, туда-сюда, хотя и легко, хотя лезвие будто само и скользит, а всё ж целый день...

... заплатили нам до смешного мало, не помню уже, хватило ли на обед.

... Назавтра начались снова дожди, подавляя своей безысходностью. С вымытых крыш вода лилась по отмытому дереву стен на дощатые мостки возле дома, стояла лужами на земле, текла по кюветам возле дороги, сеялась завесою и спереди, и с боков, и сзади, и в окнах комнаты стекала снаружи косыми полосами по стеклу.

... в такой вот безрадостный день, войдя в свою комнату, я увидел четвёрку жильцов собравшихся между кроватями. Один из них, Рынденков, взволнованно говорил:

– По радио передавали, в Кемерово открывается горный институт, документы принимают в Московском горном.

Я прислушался. Полезная всё-таки вещь радио!

– Стипендию там дают даже с тройками, – продолжал говоривший.

Последнее обстоятельство и решило мою судьбу. На другой день я уже был в МГИ. Да, всё было именно так, как рассказывал Рынденков. Работала приёмная комиссия, принимала документы и, если отметки не были слишком посредственными, сразу зачисляла в студенты. Занятия в Кемерово должны были начаться первого ноября.

Всё это было весьма хорошо, хотя я и понятия не имел, где это Кемерово, но возникала задача, как извлечь документы из техникума. И ещё я очень боялся, что потребуют возврата стипендии, сто рублей мы только что получили, и я начал их тратить. К счастью всё обошлось. Документы мне мирно вернули, с неудовольствием, правда. О деньгах и не заикнулись.

В МГИ я несколько растерялся. О горном деле не знал ничего, а там было три факультета: горный, горной электромеханики и шахтостроительный. Для меня всё это звучало равно бессмысленно. Так куда же подать заявление?

... кто-то сказал, что у горняков зарплата выше, чем у механиков, и механики подчиняются горнякам. И я решил идти в горняки (и этим сузил поле возможной работы).

Я написал заявление с просьбой принять меня на горный факультет, сдал аттестат и экзаменационную справку МЭИ, и тут же получил ответную справку о том, что я зачислен студентом первого курса горного факультета Кемеровского горного института и должен прибыть в институт к началу занятий 1-го ноября 1950 года.

Если б вы знали, какая гора у меня спала с плеч: я буду учиться на инженера и стипендию больше трёхсот рублей получать... и угроза армии миновала. Впрочем, и в техникуме не было этой угрозы...

... вот пример роли случая в жизни. Войди я в комнату двумя минутами позже, я бы ничего не узнал, и, бог знает, куда бы моя судьба повернулась. Так-то вот, рядом, в Иваново, в энергетический институт не поехал, а теперь...

После месяца тоскливого отчаяния на станции Правда я бы теперь с радостью в любой институт и к чёрту на кулички помчался.

... а где это Кемерово, я и в самом деле не знал. Представлял, где-то далеко на востоке, в Сибири, но того, что это главный город Кузбасса, что вообще он в Кузбассе, понятия не имел – вот тебе и отличник по экономической географии.

... Итак, дела мои в Москве завершились, хотя и не лучшим образом, но и не так уж плачевно. Столица меня отвергла, но студентом я всё-таки стал. Осталась одна забота, повидаться с Боровицким Ефимом. Из переписки с Алуштой я знал, что он с Лёней Тремпольцем поступил в Московский технологический институт пищевой промышленности, снимал с ним в Москве комнатуху. И адрес его мне прислали.

Поздно – начинали вползать в город синие сумерки – я отправился на поиски своих одноклассников. Миновала вся каменная Москва, пошли обветшалые одноэтажные деревянные домики, кривые узкие улочки с белыми пятнами свежевывавшего снега – такого, что растает к утру, а местами уже и растаял. В закоулке, тускло освещённом редкими фонарями, на покосившихся деревянных столбах, я нашёл нужный мне дом. Дом был по облику деревенским, приземистым, с маленькими окнами и на них наружными ставнями, которые были прикрыты. Сквозь щели в них пробивался электрический свет, стало быть, кого-то я в доме застану. Комната, где жили ребята, оказалась малюсенькой, запечной какой-то, и мне кажется, я не погрешу против истины, если скажу, что они спали на одной кровати валетом. А, может быть, и не спали, может, две кровати стояли – не помню.

Я рассказал Ефиму и Лёне о том, как сложились дела и о том, что завтра уезжаю на три недели к матери на Кубань. Ефим тут же сказал, что мои проводы надо отметить, и мы сговорились завтра встретиться вечером у кафе "Мороженое" на улице Горького.

Вечером следующего дня мы встретились в назначенном месте. Я с Лёней были в куценьких пиджачках, Ефим в своём длинном – до пят – пальто из кожи. Между прочим, такие пальто завезли в сорок третьем, сорок четвёртом годах из Америки вместе с "Фордами" и "Студебеккерами" как спецодежду шофёров. Такая роскошь, разумеется, до наших армейских шофёров дойти не могла. В неё приоделось начальство среднего ранга, а где даже и высшего, да и низшего иногда. Это в сорок пятом году приводило к конфузу, когда стали часты встречи с союзниками. Американцы весьма удивлялись: «Почему среди вас так много шофёров?» Вот примерно такое пальто было и у Ефима – плевать нам на то, что думает о нас за граница! – да и то, в нищей голодной стране кожаное пальто – это сокровище... А о мнении за границы кто внутри страны знал?

Прогулявшись по улице, яркой, нарядной, вверх, вниз, мы вошли в одно из лучших, нет, в единственное в своём роде в Москве кафе. Там подавали только мороженое, но зато десятков сортов, ну и, естественно, газировку в бутылках к нему и некреплёные вина.

... мы вошли в кафе, но сначала была гардеробная в сиянии бра и блеске лакированных морёного дуба панелей, ограждения и перил. Мы тронулись в зал, но швейцар, в синем мундире с жёлтыми лампасами, обшлагами и галунами, остановил Ефима и предложил сдать пальто в гардероб. Гардеробщик, одетый в такую же кичливую униформу (генерал услужливых войск!), принял у Ефима пальто, вышел из-за барьера, почистил костюм щёткой и spraysнул одеколоном. Пока он совершал эти действия, и Ефим получал номерок, мы с Лёней неспешно прошли гардеробную и вошли в ослепительный зал высоты преогромной, где на длинных подвесках с потолка свисали большие люстры, брызжущие снопами света, изломанного в их хрустале. В простенках окон лучились хрустальные бра с золотым окаймлением, на крахмальных скатертях столиков стояли в высоких искрящихся вазах свежие розы и переливался огнями хрусталь вазочек и фужеров. Публика в зале выглядела нарядно: мужчины – в дорогих костюмах при галстуках, женщины – в длинных платьях разных цветов, кое-где с *décolleté*.

... Мы нашли незанятый стол, сели, тут же к нам подсел и Ефим. Официантки с подносами сновали меж столиками, а мы, в

ожидании, когда к нам подойдут, озирали великолепии, невиданное дотоле. На улицу зал выходил пятью окнами, размахом чуть ли не в три этажа, и сверху по каждому из них от потолка и до пола спускался тюль и, по сторонам, перевязанные внизу шёлковые белые шторы. Напротив, над залом протянулись широкие антресоли с марморной балюстрадой. За нею виделись мужские и женские головы.

Оглядывая зал, мы и не заметили, как появилась официантка в белом фартучке и с маленьким белым блокнотом в руке, и очнулись от её вопроса:

– Что желаете заказать? – после чего, быстро летая карандашом над страничкой, принялась записывать наш заказ.

Мы заказали по четыре порции мороженого "ассорти" и по бутылке "крем-сода" на брата.

... мы ахнули, когда всё это нам принесли. Двенадцать вазочек, и в каждой – по восемь крупных шариков белого, кремового, розового (с клубникой), шоколадного, лимонного и бледно-кофейного цвета, и к ним четыре откупоренные бутылки сидро, вспененного исходившими со дна пузырьками. Мы принялись ложечками разрушать цветные пирамидки из шариков, запивая мороженое сладким колючим сидро. Просидели мы около часа, ведя ничемный, пустой разговор – всё важное сказано было вчера. Управившись с лакомством, мы поднялись и пошли к выходу. Мы с Лёней вышли на улицу, Фима отправился за пальто.

Мы медленно двигались по улице вверх в ожидании, пока Ефим нас догонит. Ушли мы порядочно, а Ефима всё не было. Мы остановились, обернувшись, смотрели в толпу. Ефима не было в ней. Наконец, он появился, красный, запыхавшийся, и без пальто. Сбивчиво, торопясь, он сказал, что его перехватила в гардеробе официантка. Оказывается, мы ушли, с нею не расплатившись. Машинально встали, ушли...

За пальто с Ефима потребовали расплаты. Ну, буквально, не за пальто, а за то, что мы съели.

– Ну и заплатил бы. Что бы мы тебе не отдали? – сказал я. На это Фима ответил, что у него не хватило денег за всё заплатить, и он вынужден был гнаться за нами. Но не будем гадать, хватило бы или нет – дело прошлое. Вполне могло и хватить, деньги-то у студента всегда при себе, а цены в те времена в ресторанах, кафе были сносными, чуть дороже столовских, даже вина и водка были в них без всяких наценок. Лишь Хрущёв после краха своей пятилетки их ввёл,

но в терпимых пределах. Это Лёня Безбрежнев сделали хорошие рестораны для простых людей недоступными.

... но вполне могло не хватить. Кто считал?!

Мы порылись в карманах и выложили свои доли Ефиму. Он побежал в кафе, расплатился и вернулся обратно в пальто. Тут, нестати, стал накрапывать дождь, мы нырнули в метро "Маяковская" и там распрощались. Они поехали к себе на квартиру, я покатил на Курский вокзал.

... была глубокая ночь. Поезд увозил меня на Кубань.

Этот приезд в Костромскую не запомнился совершенно, и вот я уже в окне лабинского поезда, отправляющегося в Курганную. На перроне мама, такая жалкая, шупленькая, такая родная, что горло сжимается судорогой. Будто я, уезжая, теряю её навсегда. Всю дорогу до самой Курганной этот камень на сердце, эта тоска... В Курганной и далее станционные, поездные заботы тоску эту заслонили собой, а в голове моей начала разрастаться тревога о будущем.

... В Москве я оказался в гулкой толчее Казанского вокзала. Зал был высок и огромен, но заполнен людьми до отказа, как говорится – битком. К кассам пришлось пробираться через толпу. Протиснувшись, я отыскал глазами окошечко, где продавали билеты на моё направление, и встал в хвост довольно длинной очереди к нему. В очереди, в отличие от очередей к другим кассам, в основном стояли молодые люди моего возраста. Из отрывочных слов, различаемых в шуме и гаме вокзала, я мог догадаться, что эти люди студенты нового института, набранные в Москве и едущие, как и я, в Кемерово, но постеснялся об этом спросить.

... у меня плохая моментальная память на лица. Я редко сразу запоминаю людей, виденных мною мельком или тех, с кем недолго общался. Если лица эти, само собой разумеется, не чересчур выдающиеся. Я совершенно не помню, с кем стоял в очереди, с кем четверо суток в вагоне тащился до Кемерово. Но на вокзале два лица мгновенно впечатались в память мою. Первое – невысокого крепыша с кожей пористой, грубой и носом необъятных размеров. Затрудняюсь сравнить его с чьим-нибудь носом. У Гоголя был выдающийся нос, но к концу утончавшийся; этот же был непомерно массивен. Второе лицо было миловидным округлым лицом девушки-коротышки. Оно бы могло показаться даже красивым, если бы не было чересчур велико. Носителя феноменального носа, как позже узнаю, звали Львовичем Изей. Девушку – Галиной Шпитоновой.

... Через четверо суток на исходе месяца октября в двенадцатом часу ночи поезд прибыл на станцию Кемерово. Я и соседи мои беспокоились, как найти в темноте институт, где скоротать остаток ночи, если вокзал небольшой.

Вокзал, и вправду, оказался маленьким очень, таким, как в Курганной, но все тревоги наши рассеялись, едва мы вышли из поезда на слабоосвещённый перрон. По радио объявили, где собраться студентам горного института, прибывшим этим поездом из Москвы. Мы – человек сто, если не больше – собрались в указанном месте. Там нас построили по четыре в колонну, объяснив, что идти далеко, после чего посланцы из института повели нас по городу. Городская часть путешествия довольно скоро закончилась, и мы очутились на пристани у широкой и быстрой реки, в чёрной воде которой метались береговые огни. Это была Томь. Через несколько минут подошёл небольшой теплоходик, мы погрузились, он отчалил, забирая вдоль берега влево против течения.

Пройдя таким образом сколько ему было нужно, теплоход отвернул к противоположному берегу и поплыл в крест течению. Река быстро сносила его, но снесла ровно настолько, что он точно причалил к пристани на том берегу.

На берегу нас снова выстроили колонной и вывели на грунтовую разъезженную колеями дорогу, поднимающуюся в лес извивами по ложине. Лес начинался сразу же на склонах её, сосновый, высокий, густой: тьма стояла непроницаемая. Лишь иногда сквозь кроны с чёрного неба просвечивала звезда; а наш странный отряд, потерявший форму всякого строя, брёл по этой разбитой дороге вытянутой толпой, представлявшей, видимо, фантастической стороннему наблюдателю. Одеты кто во что, в пиджаках и пальто, в плащах и шинелях, с кепками на головах, платками, шапочками и шляпами, с чемоданами, баулами, рюкзаками, свёртками, узлами и сумками мы походили скорее на беженцев или на жителей, угоняемых в гитлеровскую неволю, чем на передовой отряд молодёжи – студенчество. Но это я так считал. Официально авангардом был комсомол.

... путь через лес был долгим и утомительным, но это всегда так: путь, проходимый впервые, кажется длиннее, чем он есть в самом деле, после он становится заметно короче.

... в конце концов, лес всё-таки кончился, колонна выползла из него, миновала несколько белевших по левую руку типовых двухэтажных домов (справа не было ничего) и вышла к двум зданиям на отшибе,

стоявшим друг против друга через дорогу. За ними проглядывала уже совершенная пустота, и в эту пустоту уходила дорога. Между объявленными зданиями нас на минуту остановили, сказали, где что.

... Слева сиял всеми окнами покоем построенный корпус четырёхэтажного институтского общежития, справа был сам институт: трёхэтажное неосвещённое здание. Оно также стояло покоем, но фасад его смотрел в тёмное поле, и входа там не было. Одно крыло его обращено было к дороге и к общежитию. Вход в здание был со двора в этом самом крыле сразу за его торцом, туда нас и повели. У распахнутых двустворчатых дверей слабо светилось одно окно, зато ярко освещена была вся длинная лента сплошного стекла в переплётках на втором этаже здания между двумя его крыльями.

... Всё было организовано чётко, хотя шёл уже, пожалуй, третий час ночи. В вестибюле нас рассортировали по факультетам. По широкой парадной лестнице мы поднялись оттуда на второй этаж, где в разных комнатах заседали комиссии во главе с деканами факультетов.

... Вызывали к деканам по очереди, по алфавиту. Когда выкликнули мою фамилию, я со своим чемоданом вошёл в большую комнату, поперёк которой стоял обширнейший стол, обтянутый зелёным сукном. На столе лежали кипы папок, вороха бумаг, за ними лица слева и справа. Посреди, за свободной частью стола, восседал декан горного факультета Западинский Арнольд Петрович, средних лет плотный мужчина с лицом суровым, изрезанным морщинами.

Я подошёл к нему, поздоровался. Он уже смотрел моё личное дело. Держа мой экзаменационный лист и просмотрев в нём отметки, он поднял на меня глаза и твёрдо сказал, сделав ударение на "вы": «Вы будете у нас учиться». После этого мне вручили пропуск в общежитие с указанием комнаты, где я должен был поселиться, предупредив, что эту ночь придётся переночевать на кровати с голой сеткой, матрасы, подушки, одеяла и постельное бельё выдадут завтра.

... мне досталась большая комната на третьем этаже в правой части фасадной стороны дома. В комнате, справа и слева от дверей, у боковых стен стояло по две кровати с тумбочками между ними. Пятая кровать притулилась под окном у радиатора отопления. В центре комнаты – квадратный стол и пять стульев.

Жить можно.

Поскольку в комнате не было никого, и все кровати были свободны, я, оценив обстановку, выбрал себе кровать в левом дальнем углу: и от дверей подальше, и не под окном, засунул под неё чемодан

и, выключив свет, не раздеваясь, а, только скинув ботинки, прямо в пальто завалился на жёсткую сетку кровати. Сон пришёл без задержки.

... Утро разбудило светом и голосами. Комендант общежития выдавал матрасы и подушки, вернее, их разноцветные полосатые оболочки, и, указывая в поле на стоявшие там копны сена, направлял всех студентов набивать этим сеном полученное добро, дабы превратить его уже в настоящие матрасы с подушками.

... день был нежарким, но солнечным, ясным, и с сеном возиться было сплошным удовольствием. Вместе с другими ребятами я подошёл к копне и, выдёргивая из неё охапки сена, стал засовывать их в свой наматрасник. Ни у кого из нас не было опыта изготовления сенников, и поначалу мы набили их очень туго, так что они округлились. На таком матрасе не улежать – мигом скатишься на пол. Надо часть сена вытаскивать. Надо-то надо, но сколько? Мало вытащишь – будешь с кровати сползать, много – сетка будет на рёбра давить. В общем, вытащил сена я на глазок, на авось, полежал: земной тверди вроде не чувствую и с матраса не скатываюсь, не сползаю – и стал набирать сено в подушку.

... возвращение предстало красочной картинкой: по полю, сходясь к общежитию, ползли десятки разноцветных вялых полосатых колбас – аэростатов воздушного заграждения.

Ох же и намучались мы с сенниками своими в тот год! Сено сбивалось комками, сваливалось то на одну сторону, то на другую, приходилось матрасы ежедневно взбивать, чтобы выровнять их хоть немного. Но надолго ли?!

... К концу этого дня моя комната полностью заселилась. Вместе со мной в ней стало пять человек, четверо горняков – все из разных групп – и один шахтостроитель. Двое из горняков, Морозкин и Стародумов, были старше нас, остальных. Местные, они окончили горный техникум и сколько-то успели поработать на шахте. Из моих сверстников горняком был высокий слегка заикающийся Толик Попов, второй, Виктор Федотов, – учился на шахтостроительном факультете. Как-либо доверительно я ни с кем из этих ребят не сошёлся. Отношения были ровные, дружелюбные, но не более. А после зимних каникул мне ни разу не пришлось заговорить с кем-либо из этой четвёрки или встретится где-либо, кроме как в коридоре общежития, института или на лекциях. Поселение пока шло хаотически, по прибытию. В следующем году в комнату селили студентов из одной группы.

"Старички" наши держались особняком, свысока поглядывая на нас, "салажат", но отнюдь не враждебно.

... В институтской библиотеке нам выдали учебники по всем предметам, упомянутым в расписании, и первые занятия начались. Мне они запомнились серостью, сумеречностью, тускло накалёнными нитями лампочек в нашей столовой, испускавшими мерзкий свет грязно-жёлтого цвета. Вся эта сумрачность подавляла меня, чувствовалась противная пустая завеса перед глазами. Мне было худо, иногда казалось, что эти странные ощущения могут довести до потери рассудка. И эта возникающая боязнь ненормальности больше всего угнетала меня. Днём это как-то не замечалось, но вечером в меркнувшем освещении институтской столовой, подобном гнусному свету, что был неотъемлемой частью провинциальных вокзалов, послевоенных пассажирских общих вагонов и общественных советских уборных, мне становилось нехорошо. Но всё проходило в нашей комнате, убого обставленной, но залитой светом двухсотваттной лампочки. Состояние это продержалось около месяца и само собою рассеялось, но уже никогда в жизни я по утрам не просыпался бодрым и свежим, как до злополучного дня мая этого года, ошеломившем меня головной болью почти нестерпимой.

Из безрадостного хаоса первого месяца стали медленно проступать люди, занятия. Сначала прорисовались уроки аналитической геометрии. Лекций по этой дисциплине не было, в группах занятия проводил невысокий, крепко сбитый старичок Виноградов. Объяснял он на редкость бездарно, косноязычно, невнятно, но я следил по учебнику и всё понимал. Только скучно это было до зевоты. Мука сплошная...

Что-то странное происходило у меня с начертательной геометрией. Худошавый высокий подтянутый мужчина лет сорока, Евстифеев Анатолий Владимирович, в лекционном зале чертил цветными мелками на чёрной доске красивые чертежи, говорил о следах пересечения линий и плоскостей, но я ничегошеньки из слов его не воспринимал. Вероятно, я пропустил что-то мимо ушей в начале занятий, и всё остальное, логически связанное с предыдущим, представлялось мне несусветной абракадаброй.

... но тут повезло. Меня выручил случай.

Я простудился, температура подскочила до тридцати девяти, и в институтском медпункте мне дали справку, освободив на неделю от посещения занятий. Я болел, лёжа в постели, глотал выписанные лекарства и от нечего делать листал учебник Гордона по начертательной геометрии. Идя от страницы к странице, разбирая все чертежи и

внимательно вчитываясь во все объяснения, я, к удивлению, обнаружил, что ничего сложного, а тем более непонятного, в начертательной геометрии нет. Придя после болезни на лекцию, я сразу вошёл в курс объясняемого, следил без труда за мыслью преподавателя и радовался тому, что всё на лету понимаю. Но многие из студентов продолжали, как недавно я сам, тупо смотреть на доску и считать "начерталку" невероятно трудным предметом, просто боялись её.

Изменилось и положение на занятиях по аналитической геометрии. Престарелого отца заменил его сын, приглашённый из Томского политехнического института профессор Виноградов Юрий Петрович. Отличный знаток своей дисциплины, он вёл занятия с таким блеском, что воодушевлял и меня, и я с большим удовольствием переводил язык чертежей теорем на язык алгебраических формул.

... всё же по форме своей самыми интересными были лекции Евстифеева по начертательной геометрии. Прервав объяснения, он рассказывал смешные истории, случавшиеся с ним в лыжных походах или во время охоты зимой на медведя. Дав отдохнуть нашим мозгам, он продолжал лекцию, потом снова прерывал её какой-нибудь занимательной байкой или анекдотом. Запас их у него был потрясающий. Вообще, был он остроумен необычайно и, большей частью повернутый к залу спиной, когда чертил на доске сложные чертежи, он ухитрялся зорко следить за всем тем, что происходило в большом лекционном зале. Реакция его была моментальной, резко сорвавшись со сцены, он стремительно шагал по проходу между рядами. Враз оставившись у нужного ряда, он совал под пюпитр, над которым низко склонились две головы, поглощённые чтением до полного отключения от действительности, свою руку и вытаскивал из рук ошеломлённых читателей "Блеск и нищету куртизанок" Оноре де Бальзака. Быстро среагировав на комизм положения, он тут же бросал насмешливую едкую реплику, и весь зал валился от хохота. Очень наблюдателен был Евстифеев, миг подмечал забавную ситуацию в зале и делал блестящий выпад, всегда попадавший в цель, обескураживая виновников положения и вызывая всеобщий восторг остальных... Быть на его лекциях было для меня, и не только, сплошным удовольствием, но, к великому моему сожалению, задыхаясь от смеха, я не додумался до того, чтобы тут же и записать все его рассказы и реплики, замечания и уколы. А теперь вот по прошествии лет в памяти ничего, кроме названия книги знаменитого француза-писателя.

Начав разбираться в пройденном материале, я стал высовываться на практических занятиях по начерталке, которые вела не пожилая ещё, но и не первой свежести аспирантка с кафедры Евстифеева, Исакова Тамара Васильевна. Я задавал массу вопросов, докапываясь до сути многих задач, которые она излагала нечётко, чем, к моему изумлению, (об этом я позже узнал) произвёл на неё впечатление непроходимого болвана, законченного тупицы, ученика крайне отсталого, хотя мои безукоризненно выполненные этюры вынуждена была оценивать отличной оценкой.

... огромное наслаждение доставляли мне прекрасные лекции по химии профессора Стендера. Невозможно было не восхищаться обширностью знаний его, ясностью логики изложения, его лекторским талантом, великолепным владением языком. Тут, пожалуй, впервые поразился я дивной красоте русского языка в устной речи даже в изложении такого прозаического материала, как химия.

... Директор института, доктор технических наук, вскоре ставший профессором, Горбачёв Тимофей Фёдорович, вёл по группам ознакомительный курс горного дела, где практически составлялось у нас первое представление о шахте, горных выработках и работах и происходило приобщение нас к профессиональной терминологии.

... В нашей группе, номер четыре, мы уже знали друг друга в лицо, хотя знакомства за пределами аудитории не поддерживались ещё: жили все в разных комнатах. Было нас в группе человек, как мне кажется, двадцать, одни только ребята. Девушек вообще было мало на курсе, не больше дюжины, вроде. Это из трёхсот человек на всех факультетах.

Недели через четыре после начала занятий незаметно в нашей группе появилась девица, то есть, поначалу, она никакого впечатления не произвела. Так, мелькает время от времени существо женского пола... Садилась она позади, с кем-то из ребят разговаривала, но для меня её не было.

... после лекций я шёл в столовую, ту самую, с противным светом. Приземистое здание её стояло как раз напротив торца крыла института; в проход между ними мы и входили первой ночью во двор, только столовую я тогда не заметил. Из столовой, перебежав только улицу, я попадал в общежитие, где и проводил в комнате всё своё время, никуда не ходил, читал книги или, если было задание, чертил красивые красочные чертежи. Кстати, нехитрой науке поль-

зваться рейсфедером, тушью меня научили в первый же день. Чёрную тушь готовили сами, растирая твёрдую её палочку о дно блюда с водой. Цветная тушь во флаконах появилась в продаже неделей позже. Черчение для меня стало очень приятным занятием, и я отдавался ему с большим прилежанием, когда за него принимался. Вопрос только в том, как заставить себя взяться за дело? Однако же брался. И ещё я играл в шахматы с товарищами по комнате.

Из "взрослых" студентов тот, что лежал у окна рядом с моею кроватью (Морозкин), был шахматистом незаурядным, имел первый разряд. Его обыграть мне ни разу не удалось. Он решительными неожиданными ходами вскоре после начала партии легко разделялся с каждым из нас. С другими жильцами был я на равных: иногда выигрывал, иногда проигрывал. Счёт был примерно ничейный. Играли мы в тот семестр с увлечением и подолгу, после такого уже не бывало. Перворазрядник подсказал мне, что для хорошей игры надо почитать и теорию, и я этим советом тут же воспользовался. Найдя в библиотеке книжицу об обучении шахматам и прочитав не более двух десятков листов, правда, внимательно и с разбором примеров, я вдруг обнаружил, что начинаю партию, не думая, просто автоматически и легко приобретаю преимущество над своими товарищами.

... потом почему-то я изучение теории прекратил; возможно, лень одолела.

Как видите, интересы мои за пределы нашей комнаты не выходили. Товарищи по группе меня не занимали несколько, никто внимания моего не привлёк, я с ними общался лишь на занятиях. Во внешнем мире захватывала меня только международная обстановка, а она становилась нерадостной. После блестящего броска танковых дивизий КНДР на юг полуострова, о чём я ранее написал, силы ООН, высадившись у Сеула, мощным ударом перерезали полуостров и (оставив барахтающиеся в тылу кимирсеновские дивизии, где их, расчленив, не торопясь, добивали) повернули на север, захватили Пхеньян и к декабрю вышли к границам СССР и Китая, овладев всей Кореей. Это была катастрофа...

Как узнал я позднее, Сталин знал о подготовке американской эскадры с десантом и созвал совещание военных и конструкторов советских ракет. У нас уже было пятьдесят мощных точно наводящихся ракет, способных уничтожить всю эскадру на подходе к Ко-

рее, и Сталин решил это сделать. Но тут прозвучал предостерегающий голос, разнести-то их мы разнесём, но ведь американцы тотчас нанесут самолётами ядерный ответный удар по Москве, а мы не сможем уничтожить их на подлёте. От заманчивой мысли проучить зарвавшихся янки пришлось отказаться...

... Итак, вся жизнь моя протекала внутри нашей комнаты, из неё я выбирался лишь в институт, столовую, баню и ещё в длинный деревянный сарай во дворе общежития, разделённый на две неравные части: мужскую, на двадцать очков, и женскую – в ней очки я не считал. Туалетов и в общежитии было достаточно, но до самого конца пятилетнего обучения там нам были доступны лишь писсуары и умывальники, двери кабинок – крест-накрест забиты. Но к чему развивать эту тему? Разве так занимательно наблюдать, кто из студентов резво так побежал к временному строению?!

И, тем не менее, из комнаты не выходя, я впервые столкнулся лицом к лицу с девушкой, учившейся в одной группе со мной. Я знал – не был я так уж несведущ, – что зовут её Людмила Володина, что она местная, кемеровчанка, что она поступила в Московский горный институт, но месяца через два-три перевелась к нам, ближе к дому. Вероятно, она была деятельной особой, вдруг оказалась в числе активисток, хотя комсомольской организации у нас ещё не было, общественная жизнь текла за кулисами, в глубокой от меня тайне.

... в один из обыденных вечеров, когда мы всей комнатой сгруппировались над очередной шахматной партией, в нашу дверь постучали, и в ответ на наш рык: «Войдите!» – в комнату вошла группа мальчишек во главе с ней, Людмилой Володиной. В руках у всех были разграфлённые бланки, и был у них всех вид людей ответственных, деловых.

– Мы подписная комиссия, – сказала юная дева, и тут она показалась мне прехорошенькой. – Надо подписаться на заём до конца года, – продолжала она.

Мы предложили ей стул – все остальные стояли. Она села как раз напротив меня.

– Ну, Платонов, на сколько же ты подпишешься? – обратилась она ко мне первому.

На этот вопрос отвечать я не был готов. Не знал, не думал, что надо подписываться. Я смутился и растерялся от неожиданности вопроса. Я знал, of course, что в начале каждого года людей подписывают на заём в размере месячного оклада. Но это делалось в январе,

и впереди двенадцать месяцев не очень заметных вычетов из зарплаты. Но мы то всего два месяца на учёбе! Надо бы посчитать, но заниматься расчётами перед красивой девушкой неудобно, да и меркантильным казаться мне не хотелось. Назвать слишком малую сумму нельзя, но и перехватить тоже опасно: на что-то надо и жить. Стипендия у меня – триста восемьдесят пять рублей. Я лихорадочно соображал, на сколько же можно уменьшить её, не соображая ничего ровно и от неожиданного вопроса, и от страха за жизнь, и оттого, что пауза слишком затягивается и я выгляжу дураком перед девушкой, которая вдруг мне очень понравилась. Я краснел, я бледнел...

... Выручил меня наш разрядник:

– Рублей на семьдесят, наверное, надо...

– Подписывайте на семьдесят! – решительно сказал я, испытав огромное облегчение, и впервые поднял глаза на подписчицу. «Да она и в самом деле очень хорошенькая», – подумал я, и странная мысль неожиданно вырисовалась в мозгу: «Я Володя, она Володина. Чья? Во-ло-ди-на. Не моя ли?» Не с этого ли всё началось, хотя тогда и подозрения не возникло: мало ли на свете красивых, хороших?! Вот Шпитонова в своём роде тоже хорошенькая. Но что из того?

... заполнив строчку в ведомости и дав мне расписаться, Володина больше внимания на меня не обращала и, подписав остальных жильцов, со всей компанией удалилась.

... Снег выпал первого ноября, и сразу же установились морозы. Празднования Октябрьской годовщины не помню, но вскоре после неё, когда зима предстала во всей снежной красе, опушив белым снегом поля и деревья, случай снова свёл нас с Володиной и даже оставил наедине. Было всё весьма прозаически. На предыдущем занятии по физкультуре в спортзале, где я, как обычно, увиливал от упражнений на "перекладине" (так турник велено было именовать), на "коне" и на брусьях из-за своей неловкости боясь показаться смешным, преподаватель предупредил нас, чтобы на следующий урок мы пришли в лыжных костюмах: заниматься будем на лыжах на улице. Проблемы с костюмами не было: у многих лыжный костюм был повседневной одеждой.

... получив в зале лыжи с мягким креплением (на ремешках) и выбрав по размеру ботинки, мы тут же переобулись и, неся лыжи с палками на плече, вышли во двор. За двором лежала равнина чуть покатая вправо к углу тёмного леса, которым мы шли в ночь приезда. Снег сиял, золотился искрами от края поля до края, мороз окрасил румянцем сразу же щёки, было празднично на душе и от величия

красоты, раскинутой перед нами, и от предстоящего наслаждения скольжением на лыжах.

Физкультурный преподаватель выстроил всю нашу группу шеренгой фронтом к упомянутому углу, скомандовал: «Лыжи надеть!» – и, после того как мы справились с ремешками: – «Смир-рна!» – и – «Марш!»

Все рванулись вперёд, распавшийся строй, удаляясь, стекался в клин. Первые выходили уже на накатанную лыжню, я же, скользя, остался на месте. У меня-то, завязанного лыжника из Архангельска, и тени сомнения не было, что помчусь вместе с другими, но лыжи почему-то меня не послушались. На укатанном снегу двора одновременно с лыжей, выдвинутой вперёд, вторая лыжа – настолько же ровно – соскальзывала назад. Попытки вернуть удравшую лыжу кончались тем, что передняя возвращалась в исходное положение. Так я и елозил на месте.

Я попробовал сильнее упираться лыжными палками, но и это не помогло. «Что же случилось? Да ведь уже в этом году я ходил в Алуште на лыжах!» – размышлял я и тут вдруг заметил, что так же смешно, как и я, дёргается на месте ещё одна незадачливая фигурка. Это была Людмила.

... переступая в её сторону, я подобрался к ней и, смеясь, но и с долей досады, рассказал, что когда-то сам жил в Архангельске и неплохо бегал на лыжах, но за шесть лет пребывания на юге, получается, разучился.

Пока мы, пыхтя, с трудом отвоёвывали у ускользящего пространства сантиметры и метры, я продолжал: «В войну, зимой сорок первого, привезли к нам в Архангельск красноармейцев-южан, одели их в маскхалаты, поставили на белые лыжи и командуют: "Марш!" А они, как и мы, с места съехать не могут. Как коровы на льду! Вот уж мы, пацаны, насмехались над ними – чего тут уметь?! Никогда и подумать не мог, что сам в такое дурацкое положение попаду». Потом, обернувшись к моему невольному товарищу по несчастью, спросил: «Ну, меня юг, допустим, подвёл, разучился. Но ведь ты здесь живёшь?!» Не помню, что она мне на это ответила, и ответила ли вообще. И тут я сообразил: «Никогда не видел девочек я на лыжах в Архангельске или в Энсо. Видно, не женский это вид спорта».

... постепенно наши судорожные усилия стали давать результаты, мы начали медленно продвигаться вслед, нет, уже навстречу

нашей команде, которая возвращалась обратно. О реакции товарищей на скоростной бег нас с Володиной я умолчу. Не думайте, что реакции не было.

... Этот случай, когда мы вроде бы познакомились ближе, ничего между нами не изменил. Мы стали здороваться, столкнувшись нос к носу, и проходили друг другу чужие.

Я жил своей обособленной жизнью, неосведомлённый о том, что делается вокруг. А вокруг развивались события. Начиналась война. Война с горным техникумом.

До нашего появления техникум был в нашем здании, вернее, разумеется, было б – в своём. Мы отняли здание у него. И новое общежитие также было выстроено для техникума. Но теперь под техникум и его общежития приспособили несколько двухэтажных домов Стандартного городка, или, проще, Стандарта, точно таких же, что виделись мне, когда мы в первую ночь вышли из леса. Только дома эти находились чуть дальше и в другой стороне, перед посёлком со странным названием Герард, у дороги от института в центр нашего (Рудничного) района города Кемерово.

За это техникумовцы зло на нас затаили и по ночам начали нападать на студентов, ходивших этой дорогой. А её многие уже проторили, ибо вела она и в пединститут, и далее, в медицинский. А зачем туда ходят студенты, известно... Не все такие домоседы, как я. Есть и более энергичные.

Конечно, нападения эти даром не проходили... Влетает избитый студент в общежитие – и, враз, шум, гвалт и вопли по коридорам. Хлопают двери, срываются с вешалок шапки, пальто, и до сотни молодых с истошным криком: «Наших бьют!» мчится на помощь (а если она запоздала – в отмщение!) в сторону Стандартного городка. Там тоже, естественно, не дремали, и там приходила подмога, и начиналось побоище. Возвращались наши вояки с синяками, кровоподтёками на лице, с расквашенными носами, но довольные: «Загнали врага в его логово»; иногда же – злые, расстроенные: пришлось удирать.

... к нам никто не врывается, мы люди спокойные, тихие, а наши опытные, наделённые недюжинной силой товарищи в драки советовали не ввязываться: «Зачем вам это нужно?»... В самом деле, зачем? Мы и не ввязывались...

Но, пожалуй, месяца два, по крайней мере, еженедельно клич «Наших бьют!» поднимал на ноги общежитие.

Слухи о ночных происшествиях дошли до директора... и мир был восстановлен (не без помощи милиции, думаю). В следующем году нападений и драк уже не было.

... раз в неделю в институте показывали кино в актовом зале (он же и лекционный). Одного из студентов ставили у дверей (вторые были заперты изнутри), он продавал выданные ему билеты ценой в один рубль и пропускал в зал.

В канун Нового года дежурить выпало мне. К делу отнёсся я добросовестно, безбилетников в зал не пускал. Вдруг появилась Володина с Юлей Садовской, девушкой из пятой группы, с которой жила в одной комнате. Обе девицы так подружились, что всегда на лекциях рядом сиделись, и вместе разгуливали по коридору в перерывах меж лекциями.

... и вот обе, вывернувшись с площадки от лестницы, идут к дверям на проход, будто билеты брать им не нужно, будто меня вообще и нет у косячка с пачкой билетов.

– Стоп! – говорю я, выбрасывая руку вперёд и загораясь до рогу. – Ваши билеты?!

– Какие билеты? – притворно недоумевает Людмила.

– Билеты в кино, – отрезаю я ей, помахая пачкой синих узких длинных листочков. – Без билетов не пушу, – говорю я им твёрдо.

Обе фыркают, поворачиваются и уходят, как ни в чём не бывало. Свет гаснет, сеанс начинается, и я закрываю дверь. Но я не уверен, что Володиной и Садовской нет в зале. Эти проныры могли пробраться и через дверь за кулисами, хотя та и должна быть заперта. Но это меня уже не волнует. Свой долг я исполнил... Болван!

Ну, а в ночь наступления Нового года, мы, салаги, оставшись втроём в своей комнате – "старички" разъехались по домам, – открываем бутылку водки (впервые в жизни пробую её вкус), банку рыбных консервов и банку баклажанной икры, режем хлеб, разливаем водку в стаканы и с последним скачком часовой стрелки к двенадцати и ударом "курантов" (репродуктор включён у нас постоянно) залпом опрокидываем стаканы с отвратительным горьким напитком: «С Новым, тысяча девятьсот пятьдесят первым годом, товарищи!»



Рис. 9. Первокурсник



Рис. 10. 1959 год. Кемеровский горный институт

1951 год

Закусив, мы отправились в зал. Он почти свободен от кресел. Ряды их сдвинули вплотную к задней стене, составили в три этажа. Посреди зала – ёлка под потолок. Льётся музыка из репродукторов, в вальсе кружатся пары. Много девушек из пединститута. Гаснет свет, горят ёлочные огни.

... по стенам мечутся тени.

Мы становимся у стены: никто из нас танцевать не умеет. Грустно, мне так хочется танцевать, а тут ещё душещипательная мелодия танго:

В этот вечер в танцах карнавала
я руки твоей коснулся вдруг,
и внезапно искра пробежала
в пальцах наших встретившихся рук.
Где потом мы были, я не знаю,
только помню, где-то в тишине
ласково шепнувшими губами
на прощанье ты сказала мне:
Если хочешь – приди,
если хочешь – найди,
этот день не пройдёт без следа.
Если ж нету любви, ты меня не зови –
всё равно не найдёшь никогда.

Я проторчал в зале до трёх часов, захлёстываемый волнами тоски о желанной любви, которой не было у меня. Лена Полибина на письма мои из Кемерово не ответила, и память о ней незаметно из моего сердца ушла.

... объявили:

– Белый танец. Дамы приглашают кавалеров.

Мне так захотелось, чтобы какая-нибудь девушка ко мне подошла и пригласила на танец. Почему бы и нет? Я – об этом мне всю жизнь говорят – миловиден, даже красив, высок ростом, только очень худой, вес после голода в годы войны не набрал, хотя не страдаю от отсутствия аппетита. Вот что плохо – бедно одет. Чёрные брюки, вельветовая курточка с "молнией".

Не выйдет ли как в непритязательной песенке:

Хороша я, хороша,
Да бедно я одета.
Никто замуж не берёт
Девушку за это.

И всё же: А почему бы и нет?

Скорее всего, мне пришлось бы отказаться за неумением, но всё равно бы было приятно, что кто-то на меня глаз положил, я кому-то понравился. А вдруг она предложила бы: «Давайте попробуем, я вас поучу, быть может, получится...»

... никто не выбрал меня. Да, вид у меня затрапезный: брюки выглаженные, но не новые и курточка простенькая. Вот когда я пожалел о костюме. «По одежке встречают, а провожают по уму», – пословица говорит. Но встречают-то всё-таки по одежке, а без встречи, как ум свой покажешь?

... Наконец мне печаль моя до чёртиков надоела, и я ушёл спать. Шёл первый день второй половины столетия. Утро его омрачилось трагедией.

... юный студент по фамилии Строков не сумел правильно по части спиртного свои возможности оценить и впал в беспамятство, а, попросту говоря, "отключился" прямо в зале. Товарищи по проживанию в комнате подхватили его, оттащили в общежитие, бросили на кровать и вернулись на танцы. Придя в комнату на рассвете, они нашли его мёртвым: уткнувшись в подушку, он задохнулся в собственной рвоте. И невозможно его сотоварищей в беспечности обвинить. Кто б мог подумать?! Только после этого случая все осознали, что ни в коем случае пьяного в стельку бросать на кровать, да ещё на подушку, нельзя. Надо на полу оставлять. Ничто не будет препятствовать вылиться блевотине изо рта.

... Ну, тут же дали знать декану, директору, и утром телеграмма ушла родителям Строкова.

Второе января началось траурным маршем, а к обеду чёрная лента студентов потянулась за красным гробом и убитыми горем родителями в сторону кладбища. Я смотрел на процессию из окна. Чёрный изгиб длинной ленты на белом снегу выглядел мрачно, нехорошо. Я на похороны не пошёл. Не любил тогда я покойников. Это не значит, что я теперь их люблю, отношусь к ним спокойно и безразлично: труп, он и есть труп, а не человек, и чувств никаких я к нему не испытываю и не понимаю людей, жалеющих умерших. Жалеть нужно живых, а мертвецу всё равно, ему на всё наплевать, в том числе и на горе наше, страдания. Больно смотреть на родных, на

близких покойного, вот им каково?! ... Строчков умер, а пятого января началась экзаменационная сессия. Ловко он от неё увернулся.

Экзаменов было много, едва ли не семь. Студенты трусили почему-то, боялись идти в самом начале – шпаргалки, наверно, труднее передавать, – посему мне всегда удавалось в первую пятёрку попасть. Дались мне первые экзамены в институте необычайно легко, но не все мне запомнились.

... войдя первым в аудиторию, где экзамен по аналитической геометрии принимал Виноградов, я взял билет, назвал номер, сел за стол, быстро набросал на бумаге решения и, на вопрос: «Кто готов отвечать?» – вызвался: «Я!»

Я сел к Виноградову. Помнится, он сидел за столом спиной к окну, свет падал мне в глаза, и мне трудно было рассматривать выражение лица его, что при ответе немаловажно. Впрочем, я был абсолютно уверен; ответил на вопросы билета, показал решение задач и собирался увидеть, как профессор мне ставит пятёрку в зачётку, как он неожиданно задал мне новый вопрос, причём один из самых простейших: «Напишите уравнение прямой, проходящей через две точки».

И тут в голове у меня что-то заклинило. Я этого уравнения вспомнить не мог. Холодея, я почувствовал приближение московской истории, и тогда меня бросило в жар. Но московской ошибки не повторил.

– Простите, – поколебавшись секунду, сказал я, – уравнение вылетело из головы. Но я могу его вывести.

– Выводите, – сказал Виноградов.

Я вмиг набросал на листочке чертёж, штрихами снёс координаты на оси и написал уравнение. Виноградов на всё это смотрел и, когда я закончил, ни слова не говоря, взял зачётку и вывел в ней чётко: «Отлично», и расписался.

Оценил: не зубрю, понимаю.

Экзамен по химии я сдавал профессору Стендеру. Мне попался билет с трудным первым вопросом о сплавах олова с медью. На сплавах многие студенты из других групп погорели, путаясь в сложности происходящих процессов. Я сделал чертёж со всеми линиями фазовых переходов и чётко и точно изложил суть превращений при разных температурах и концентрациях обоих металлов. По лицу Стендера я увидел, что он был в восторге, и, не спрашивая ответы на остальные вопросы билета, он записал в зачётке «Отлично!»

С минералогией мне пришлось повозиться перед экзаменом. Все процессы я знал, но вот все минералы по признакам (ну, там

твёрдость – черта, цвет, излом) определить я с уверенностью не мог. И вот те минералы, что представляли мне трудность, я запомнил по форме их – ведь все куски были различны. И "определил" безошибочно на экзамене предложенные мне образцы.

... но самым оригинальным был экзамен по начертательной геометрии. Экзамена этого многие очень боялись. В группах, что сдавали начерталку до нас, до половины студентов с двойками выходили. Немудрено, что перед экзаменом кой у кого поджилки тряслись.

Когда я вошёл в кабинет Евстифеева, он потребовал сразу зачётку и внимательно её рассмотрел. Затем, вероятно, отчеством моим несколько необычным заинтересовавшись, стал зачётку с ведомостью сличать.

– А в ведомости написано: Платонов Владимир Степанович, – сказал он.

– Там ошибка, – сказал ему я. – Правильно должно быть Стефанович.

– Так кто же вы? – глядя в упор на меня, спросил Евстифеев. – Платонов Владимир Стефанович или Платонов Владимир Степанович?

– Платонов Владимир Стефанович, – отвечал я.

– А паспорт у вас есть? – поинтересовался неожиданно Евстифеев.

– Есть.

– Покажите.

– Он в общежитии.

– Ну, так принесите его скорее, – воскликнул мой недоверчивый экзаменатор, хотя я уже понимал, что он, как обычно, дурачится.

– Сейчас, – ответил я, вышел из кабинета и побежал в общежитие. Через две минуты с паспортом в руках и сильно запыхавшись, я влетел в кабинет:

– Можно?

– Да, да, заходите.

... обстановка тем временем в кабинете переменилась. За экзаменационным столом сидела не наша девица (очевидно, пересдавала), краснела, на вопросы отвечала сбивчиво, путано и умолкала на полуслове. Евстифеев укоризненно качал головой... Наконец ему вся эта канитель надоела:

– Вот что, милая, – сказал он, – возьмите вот этот графин, – он глазами указал на пустой графин на столике в стороне, – пойдите, наберите в него в туалете воды и полейте цветочки, – взгляд его устремился на горшки с цветами на подоконниках.

Девушка встала, взяла графин и вышла из кабинета.

Я предъявил Евстифееву паспорт, он его изучил, сделал исправление в ведомости и сказал:

– Берите билет.

Я взял билет, пошёл к столикам, вплотную стоявшим к стене, так что сбоку и со спины ты виден экзаменатору – тут уж на колени книжку или шпаргалку не выложишь! – и сел готовиться отвечать, рисуя чертёжики на листках, ибо без чертежей начерталка не была б начерталкой. Подготовился я моментально и тут же вызвался отвечать: девушка с наполненным водою графином ещё только что вошла в кабинет. Евстифеев смотрел, как она поливает цветы, не обращая на меня никакого внимания, хотя я уже сидел перед ним.

– Ну, а теперь идите сюда, – сказал он юной представительнице прекрасного пола, закончившей поливку цветов и поставившей опустевший графин на прежнее место.

Придвинув её зачётку к себе и вписывая в неё своим каллиграфическим почерком отметку «Удовлетворительно», он заметил:

– Вот вам за хорошую работу.

Девушка взяла зачётку и вышла.

А я восхитился...

Тогда Евстифеев обратил свой взгляд на меня. Я начал: «Билет номер...», – но он меня перебил:

– Давайте ваши бумаги! – и вынул у меня из руки пачку исчерченных мною листов. Просмотрев их, он молча пододвинул мою зачётку к себе и вписал в неё уже становящееся привычным «Отлично».

– Идите, – сказал он мне, вручая зачётку. Я вышел. Меня обступила толпа ещё не сдававших ребят нашей группы и толпа уже сдавших болельщиков: «Как?» – «Отлично».

... когда студенты сообщили Тамаре Исаковой, преподавательнице, проводившей с нами практические занятия, что Платонов сдал Евстифееву начерталку отлично, её чуть удар не хватил: «Не может этого быть!» Мне о её реакции рассказали, и мне сделалось неприятно и одновременно смешно: я был о ней лучшего мнения.

Остальные экзамены я тоже сдал превосходно, и неожиданно-негаданно стал круглым отличником, которых на триста студентов оказалось всего лишь одиннадцать. Из горняков им стал ещё только Саша Романов, остальные были механики и шахтостроители.

Моральная удовлетворённость получила и материальное подкрепление. Я стал получать повышенную стипендию, что составило

четыреста восемьдесят рублей против прежних трёхсот восьмидесяти пяти. Но я не заметил, чтобы от этого как-то сильно моё благополучие изменилось.

... Впереди были каникулы, и предстояло подумать, как и где их провести. Но вопрос этот за всех нас решил Тимофей Фёдорович Горбачёв. Вызвав всех к себе в кабинет, он сказал, что премирует первых отличников КГИ недельной поездкой в Новосибирск в оперный и другие театры.

... В сопровождении преподавателя, которому Горбачёв поручил заботы о нас, я и ещё шесть студентов выехали в командировку в Новосибирск. Поезд за ночь довёз нас до цели. Выйдя из поезда, мы обошли весь огромный голубо-белых тонов новосибирский вокзал, достроенный в годы войны. Слава о нём от Урала гремела к востоку до Тихого океана. В Европе – так европейскую часть Союза из Сибири мы называли, – правда, об этом было ничего неизвестно...

Залы ожидания были светлы, высоки – в них до стеклянного переплёта крыши поместилось бы не менее двух этажей обыкновенного дома. Обок этих зал поднимались вверх лестницы, ведущие в бельэтаж в крыльях этого здания. Там помещались комнаты отдыха, кинозал, ресторан. Поражало обилие лепнины и необычные цвета для вокзала, как было сказано – белое с голубым.

... От вокзала трамваем мы поехали к центру города. И тут город меня поразил. Долго ехали мы мимо маленьких домиков, черневших старыми срубами на белом снегу, мимо заборов между домами, где из штакетника, а где из набитых на слегу сплошную досок. Это обилие частных домов меня удивило. Всё же это не Кемерово – Новосибирск. Население его подбиралось к миллиону, а вот по части многоэтажных кирпичных домов он, по мнению моему, уступал двухсот восьмидесятитысячной столице Кузбасса. Каменный центр оказался совсем небольшим. Вокруг площади группировались все крупные здания: госучреждения, универмаг, драмтеатр, институт по проектированию шахт... На неё же поодаль выходил грандиозный – тоже гордость почти всей Сибири – театр оперы и балета с куполом размеров невиданных. Кстати, тоже достроенный в сорок четвёртом году.

... нас поместили на первом этаже четырёхэтажного дома, с Гипрошахтом, кажется, рядом. Там вдоль длинного коридора были комнаты для приезжающих в институт.

... Первый день занял осмотр центра города. Со второго вечера началось чудо, сказка. Опера и балет.

... колоссальный амфитеатр перекрыт был куполом без единой поддерживающей колонны. Ряды кресел, снова же белых с голубым окаймлением и позолотой, крутыми уступами от самого купола спускались вниз, охватывая зал почти по полному кругу, чуть срезанному впереди лишь красным бархатом тяжёлого занавеса, скрывавшего сцену. Уступы были так высоки, что ноги сидящих в верхнем ряду упирались бы в спины людей нижнего ряда, если бы не барьер выше голов их, тоже белый и голубым бархатом крытый. Отовсюду было видно, слышно отлично.

Мы сидели на лучших местах в центре зала как раз против сцены и обозревали ошеломивший меня необычностью, размерами и великолепием зал. Сцена была задёрнута бархатом, но под ней нам сверху хорошо видна была оркестровая яма, плечи и головы музыкантов, раструбы жёлтым золотом зеркально сияющих труб, лебединые шеи грифов виолончелей и скрипок и взмывающие смычки. Головы музыкантов время от времени склонялись друг к другу, будто переговаривались о чём-то; из ямы неслись обрывочные, нестройные звуки, извлекаемые смычками.

... И разом всё стихло. Стала меркнуть бронзовая многоярусная люстра, спускающаяся в зал из чаши купола, сверкающая бесчисленным хрусталём на многочисленных её разветвлённых отростках; потускнели у основания купола бра. Зал утонул в полной тьме, и только горел и мерцал красный бархат, подсвеченный софитами сверху и изнутри. Поились в таинственной красноватой темноте и наполнили зал звуки дивной глинковской увертюры к его опере "Руслан и Людмила". Звуки плавно захлёстывали меня, строя в лад с ожиданьем чего-то прекрасного.

... и вот звук иссяк, полотнища занавеса поползли в стороны, и зал разразился аплодисментами. Я тотчас сообразил, что хлопают декорациям, то есть художнику, сотворившему перед нами диво древнего Киева.

... и всё внешнее тут же исчезло, музыка, пение вошли внутрь меня, как я вошёл в действие сказки, и я в них растворился.

... волшебство кончилось, я очнулся, когда занавес сомкнулся и отградил сказку от зала.

... стояла долгая тишина, напряжённая тишина в тёмном замершем зале, на котором лежал загадочный отблеск красноватого бархата.

... И разом тишина взорвалась, разрядилась бурей нескончаемых аплодисментов.

Я до этого в опере не был, и теперь музыка, зрелище, голоса произвели на меня впечатление потрясающее.



Рис. 11. Морис Рейнгольдович Глиер и Леночка Липовецкая

На другой день мы смотрели балет советского композитора Глиера "Красный мак". Балет мне, в общем, понравился, музыка была хороша, но глинковской уступала, танцы тоже мне приглянулись, но осталось лёгкое ощущение чего-то ненастоящего в нём, хотя, прямо скажем, сюжет был куда натуральней, чем в либретто "Руслана". Словом, в восхищение он меня не привёл, как вчерашняя опера или в будущем "Лебединое озеро", "Раймонда" и подобные им.

По возвращении в Кемерово мы застали опустевшее общежитие, две трети студентов разъехались по домам, не уехали лишь "европейцы", кто жил вдали на западе, за Уралом. И дороговато ехать для студенческого кармана и половина каникул уйдёт на проезд. Ни в институте, ни в целом в стране важных событий за наше отсутствие не произошло, лишь регулярно шли сводки с корейской войны. После того, как великий вождь Ким Ир Сен драпанул из Южной Кореи, и силы ООН вышли к границам СССР и Китая, "дружественный" китайский

народ бросил на них миллион "добровольцев". СССР выступил с грозными заявлениями, но войск своих не послал, а направил через Китай самолёты и лётчиков, хотя всё это категорически отрицалось. наших лётчиков "рядили" корейцами, давали им "корейские" имена. И "корейские" лётчики отличились в боях, сбив немало самолётов ООН, американских то бишь. Об одном из таких лётчиков, Ли Си Цыне (Лисицыне) весть докатилась до нас. С его лёгкой руки мы и наших товарищей, с подходящими для этого дела фамилиями, причисляли к великому братству корейских пилотов, называя фамилии их по слогам. Так студент третьей группы Горлушин не именовался иначе как Гор Лу Шин.

"Добровольцы" зимой, зарываясь в снег, подползали, выжидали, замерзая, часами, и враз, в едином броске впрыгивали во вражеские окопы, сметая всё на пути, наводя ужас на американских солдат и их английских союзников. В несколько недель отшвырнули китайцы силы ООН до тридцать восьмой параллели, до исходных, как говорят, рубежей, по пути взяв Пхеньян, разумеется, но от соблазна не удержались и в порыве захватили Сеул. Там, однако, закрепиться надолго им не удалось. Дней через пять американцы их вышибли кулаком и гнали, опять же, до той, тридцать восьмой, параллели, где и стали, восстановив статус-кво. Там война заморозилась, но не закончилась, шли нескончаемые бои. Бой на месте, как бег. Дальше тридцать восьмой параллели американцы наступать почему-то не захотели, и китайцы, со своей стороны, перестали усердствовать. Видно, поняли те и другие, что ни одна сторона на уступки ни за что не пойдёт. Тем не менее, сводки шли непрерывно об ожесточённых боях на очумевшей, заколдованной параллели. Это было так постоянно, что по странной ассоциации навело кого-то на мысль прозвать наш временный сарай-туалет (ничего нет более постоянного, чем временка, – советская мудрость гласит) тридцать восьмой параллелью. Бежит, бывало, знакомый студент вниз по лестнице в общежитии, спросишь его, куда он торопится, и получаешь в ответ: «На тридцать восьмую».

... В январе в переполненном актовом зале шла подписка на заём нового года. На трибуну поднимались преподаватели, профессора и называли числа для меня сногшибательные: шесть, восемь, десять тысяч рублей. Всех превзошёл Горбачёв – восемнадцать тысяч сказал. Число это просто меня ужаснуло, неужели столько он получает за месяц?! Даже если предположить, что от своих больших денег он подписался на двухмесячную зарплату, всё равно она была

чёрт знает как впечатляюща. И предположить я не мог, что в Советском Союзе люди могут так зарабатывать. Две тысячи – три казались мне пределом мечтаний.

Секретарь, сидевший в президиуме за столом, записывал в ведомость эти суммы.

... Где подписывали нас на наши рубли, я не помню. Ну, зачем им была наша мелочь? А для нас сорок лишних рублей (у меня теперь пятьдесят) были подспорьем существенным. Не следует забывать, что из стипендии вычитали и подоходный налог (тринадцать процентов), так что жили мы очень скудно. Хорошо хоть на время учёныя освобождали студентов от налога на бездетность (шесть процентов ещё, и всё с полной суммы стипендии). Денег едва хватало на питание в нашей столовке, где еда была отвратительной и не насыщала совсем. Перед едой ели хлеб, намазывая горчицей. В животе в первый год у меня постоянно урчало, иногда до неприличия громко в самый неподходящий момент (когда, например, я к девушкам приходил). Кишечник мой долго не мог привыкнуть к общепитовской пище.

... но ко всему приспосабливается человек.

Так же бедно, как я, жило и большинство приезжих студентов, за исключением дюжины человек – отцы их, полковники, присылали им по пятьсот рублей в месяц. Местным было полегче. На воскресенье они разъезжались по домам и привозили оттуда масло, картошку, капусту солёную и по мешку молока, замёрзшего в форме тарелок. Мешки с молоком вывешивали за форточку на мороз, и каждый день оттуда "тарелочки" доставали. С нами они ничем не поделились ни разу. А мне так хотелось попробовать мёрзлого молока, оно мне было в диковинку. Но до просьбы не опустился ни я, ни другие товарищи.

... В этом году проходили выборы в российский Верховный Совет и меня назначили агитатором.

Закрепили за мной двухэтажный дом в Стандартном городке. Было в том доме два подъезда и, как минимум, восемь квартир. В задачу мою входило беседовать с их обитателями и агитировать за кандидата блока коммунистов и беспартийных. Принял я поручение без всякой охоты, но за дело взялся всерьёз. Я был робок, застенчив в общении с людьми незнакомыми – ну о чём я с ними мог говорить? Да и стыдно как-то входить в чужие квартиры, отвлекать людей от отдыха или от занятий по дому. Но я себя всё же переломил – ну, не ударят меня, что я теряю? А ровнёхоньки ничего.

... я обошёл все квартиры, составил список жильцов, договорился в какой день недели и где будем мы собираться для проводимых мною бесед. Осложнение возникло вначале лишь с "где". Люди – рабочие с шахты "Центральная" – жили тесно в маленьких двухкомнатных квартирках без всяких удобств, к тому же и проходных. Но мне подсказали, что в одной из квартир живёт разведённая молодница с отцом, у них в горнице просторнее. Туда и будут в назначенный день и условленный час приходить все со своими стульями.

Я спросил у хозяев квартиры. Они были не против того, чтобы у них собирались.

... Подготовившись и страшно волнуясь, я пришёл на беседу о внешней и внутренней политике правительства СССР. Я опасался, что никто не придёт, однако почти все жильцы были в сборе, а другие вскорости подошли, тихо подсаживаясь к нашему кругу. Слушали внимательно, а когда я закончил свой короткий рассказ, начались вопросы ко мне. Быстро, как это почти что всегда и бывает, от вопросов сторонних перешли к близким, своим, бытовым. Жаловались, что действующий депутат (председатель городского совета) не выполнил ни одного своего обещания, и настаивали, чтобы он выступил перед ними с отчётом. Говорили о том, что вóвремя не завозят уголь для отопления (да и еду готовили на плите, что топилась углём, и воду грели на ней же), что двор дома стал проходным, и прохожие ломают кусты и деревья, что неплохо бы было огородить его штакетником, тогда бы насаждения сохранялись, и можно было бы цветы разводить. Словом, высказывались самые незамысловатые пожелания неприсотливых людей, и не выполнить их было бы стыдно.

... и я со всем пылом принялся за их выполнение.

Первым делом я записал обо всех предложениях в книгу, лежавшую в агитпункте. Нас уверили, что обо всём записанном в ней незамедлительно докладывается властям, и те принимают надлежащие меры. Я и записал все пожелания и стал ждать результатов, известив своих подопечных.

... Но дни шли за днями, но ничего не менялось. Я не мог даже дознаться никак, кто за выполнение предложений избирателей отвечает или хотя бы за ответы на них.

И тогда я, робея до ужаса, но, настроив себя смотреть на поступки свои как бы со стороны, будто действует кто-то другой, а я

любопытствую, что из этого выйдет, пошёл по начальственным кабинетам, волнение тщательно скрыв, говорил ровно, спокойно, как с равными равный. Но в одних кабинетах, меня выслушав и что-то пообещав, обещаний своих не держали, до других не допустили совсем. В кабинет председателя горсовета я не попал.

Разозлившись, я отослал письмо в ЦК ВКП(б), письмо гневное, резкое, где с возмущением писал об отказе депутата отчитаться перед избирателями, чем он грубо поправ статью (номер я указал) Конституции. Указал я и на нарушения ещё ряда статей Основного Закона Союза...

... Новым кандидатом в депутаты Верховного Совета по нашему избирательному округу выдвинули нашего директора, Горбачёва Тимофея Фёдоровича. Воспользовавшись этим, я решил обратиться к нему. Секретарши в приёмной не оказалось, и я, постучав в дверь кабинета, чуть её приоткрыл. Увидев в щель, что в кабинете, кроме директора, нет никого, я открыл дверь пошире и спросил: «Можно?»

«Заходите», – раздался голос директора. Я вошёл. Тимофей Фёдорович пригласил меня сесть за приставной столик и спросил, что меня к нему привело. Я сказал, что пришёл к нему как агитатор, который не может дать ответ избирателям на их вопросы. Не касаясь отчёта прежнего депутата, я передал просьбу завезти жителям уголь и оградить штaketником двор дома. Тимофей Фёдорович дружелюбно посмотрел на меня и сказал, что постарается помочь своему агитатору. Я поблагодарил его, и на этом наша беседа закончилась.

... через неделю моим жильцам завезли уголь, а вскоре во дворе я увидел груду заострённых столбов и штабель плетей набитого на поперечные слeги штaketника. Оставалось только дожидаться тепла, чтобы в оттаявшей земле вырыть ямы, и, поставив столбы, прибить к ним готовые плети. Это могли сделать и сами жильцы. Нечего и говорить, как возрос авторитет мой в глазах моих избирателей, они были довольны, и собрания наши проходили успешно.

Неожиданно перед самыми выборами кто-то из вожаков комсомольского комитета поймал меня в коридоре и предупредил, что меня вызывают в горком партии, чтобы завтра в шестнадцать часов я прибыл в кабинет третьего секретаря горкома. Я даже опешил: «Я? В горком партии?» «Да». «Но зачем?» «Не знаю. Позвонили, тебя вызывают». Я ломал себе голову: «Зачем я нужен горкому, и кто там мог обо мне что-либо знать?» – но так ни до чего не додумался.

На следующий день в назначенный час я был в горкоме партии в указанном кабинете. Не могу сказать, чтобы стены обителi власти

привели меня в трепет, но смутное беспокойство я испытал. Мужчина в комнате, куда я вошёл, объяснил, что он пригласил меня в связи с моим письмом в ЦК партии.

– Ах, вон оно что! – подумал я, и сердце моё учащённо забило: «Что же они скажут мне? – А подспудно: – Что же они теперь со мной сделают?»

Мужчина продолжил:

– Нам поручено ответить на вопросы, поставленные в вашем письме. То, о чём вы пишете, действительно имело место. Товарищ, он назвал фамилию председателя горсовета, не отчитался перед избирателями, но он очень занятой человек, он не мог выкроить время для встречи...

«Но ведь он нарушил закон, Конституцию!» – я возмутился в душе, но вслух возмущение высказать побоялся. А позднее, гораздо позднее сообразил, что никакой меры ответственности за нарушения Конституция не предусматривала. В таком же духе вёлся и весь остальной разговор, на всё находились причины. Говорил он со мной вежливо, но твёрдо парировал все мои возражения тем, что бывают чрезвычайные обстоятельства, особые случаи, и я постепенно сникал под напором неубедительных доводов.

Наконец, ему, видимо, надоело меня убеждать, и он, придвинув ко мне бланк с отпечатанным текстом и, ткнув пальцем в строчку внизу: С данными мне разъяснениями (далее было пустое место), сказал: «Вот здесь напишите "согласен" или... "не согласен" и распишитесь».

Мне очень хотелось написать: «Не согласен, – но я смалодушничал, струсил, вывел: – согласен», – расписался и вышел, до предела презирая себя. Но ведь кому охота навлекать на себя неприятности, если победить нет надежды.

Закончилась предвыборная кампания, настал день выборов в Верховный Совет. Я в кабинке для тайного голосования пишу на обратной стороне бюллетеня восторженные слова благодарности товарищу Сталину, партии и правительству за то, что могу выбирать высший орган государственной власти и прочую чепуху, которой до отказа забита тогда была доверчивая моя голова... В людях я видел только хорошие стороны, плохие старался не замечать, считая их отклонением от нормы. Хорошо, что хватило ума не подписать это глупое изливание чувств. Разумеется, опус мой можно было использовать для пропаганды: вот как советский студент оценивает нашу систему, какой взрыв благодарных

эмоций вызывает она у него! Но, скорее всего, могло быть иначе. В избирательной комиссии люди с опытом жизни, которых я очень ценил и добрым их ко мне отношением дорожил, несомненно, подумали бы: «Ну, какой же Платонов, в сущности, идиот», и я навсегда лишился бы их уважения. Уважения, которого они от меня не скрывали.

Идиотский порыв мой, без сомнения, был спровоцирован тем, что о подобных надписях на бюллетенях с восторгом писали газеты, вещало радио. Ну как же было мне, с пелёнок воспитанным изливавшейся из них пропагандой – иных источников получения сведений не было: родители, взрослые, понимавшие, что происходит в стране, запуганные террором, пребывавшие в страхе ареста за каждое правдивое слово, никогда не говорили о власти, о нашем общественном строе, – как же было мне не восхищаться вождём, создателем самого справедливого строя, обеспечившего людям все права и свободы. И в самом деле, Конституция у нас была хороша!

В ней все провозглашённые права
Наполнены глубоким содержанием
Зовут на подвиги, на труд и на дерзание
Нас Конституции чеканные слова.

... В общежитии я впервые узнал, что значит быт. Себя, оказалось, надо обслуживать. Когда ворота моих светлых рубашек потеряли первозданную свежесть и чистоту, я понял, что их надо стирать. Мама всю жизнь оберегала меня от этих забот, но я видел, как она это делает: тёрла пальцами в мыльной воде замоченное бельё, полоскала, выкручивала.

... я так и сделал. Купив большой кусок серого мыла, выпросил тазик у хозяйственных девушек, согрел на кухне воды и энергично принялся за стирку. Я тёр на согнутых пальцах намыленные рубашки, но скоро почувствовал нестерпимую боль: костяшки пальцев были растёрты до крови. Рубашки я достирал, но кожа фаланг долго не заживала.

Позже мне подсказали, что тереть бельё надо не пальцами, а кулаками, меж подушечек у основания ладоней. Я попробовал, с непривычки это показалось мне неудобным, зато ссадин на моих пальцах больше не появлялось.

... носки стирали все очень-но редко, пока они не начинали в ботинках скользить и липкими становились настолько, что, будучи подброшены к потолку, там прилипали. «Дозрели», – смеялись мы и принимались за стирку. Всё потому, что запаса не было, кроме второй пары носков. И покупка новых носков превращалась в событие.

... баня.

... Раз в неделю, по воскресеньям – и день этот почти пять лет оставался священным для всех нас – мы шли мыться в баню, она была в десяти минутах спокойной ходьбы. Там нам открылось, что при бане есть прачечная. Причём за стирку кальсон, маек, трусов и рубашек брали недорого, копеек по десять-двадцать за штуку. Это было приемлемо, экономило время и силы и позволяло сохранять "элегантность" при этих походах. Однажды сдав грязное бельё в стирку, ты уже не таскаешься в баню со свёртками. В наступившее воскресенье получаешь в прачечной свежестырированное выглаженное бельё, а, помывшись, сдаёшь туда с себя снятое грязное. Это в социализме мне до крайности нравилось. Три шкуры не драли. Тридцать шкур драли в другом. Взять хоть заём. Это для красного словца я сказал, зачем им наши гроши. Из грошей ста миллионов полунищих работников и складывался огромный заём, тысячи рублей высокооплачиваемого руководства в нём были маленькой каплей.

Но вернёмся назад, то есть к бане. Она была самой обыкновенной со знакомыми деревянными шкафчиками в раздевалке, со скамьями и тазиками в самой бане, в тазики набирали холодную воду и кипятки из двух медных кранов.

Была и парная. Мы парились в ней, залезая на самый верхний полóк, где от жара дышать невозможно, и волосы на голове начинают потрескивать, от чего спасались холодной водой, обливая расклённое тело из тазиков.

... но зато как хорошо было выйти чистым из бани, ощущая свежесть отглаженного белья, как хорошо погасить в теле жар кружкой холодного жигулёвского пива...

... идёшь после бани, раскрасневшийся, по морозцу с товарищами, и так радостно и легко, будто с грязью и горести свои в бане оставил.

... в четвёртом семестре появились новые дисциплины: математический анализ, физика, что-то ещё; навсегда канула в лету, блистая, начертательная геометрия, её заменило скучное машиностроительное черчение. Продолжилось обучение иностранному языку. С самого начала нам предложили на выбор два языка: английский или немецкий. Побаиваясь, что немецкий меня заставят продолжать, опираясь на школьные знания, кои были шатки весьма, я выбрал английский: в школе точно его почти никто не учил, и начнём его мы сначала. Немецкий с французским я достаточно "знал".

Всё вышло, как я полагал. Английский начали с азов, и проблем у меня с ним не было – сплошь пятёрки и знания систематические, а не эклектика, как в тех двух языках.

... после зимних каникул в институте начали создавать систему управления комсомольцами, другими общественными организациями. Комитет комсомола мы избрали на общем комсомольском собрании. Секретарём его стал Юрий Корницкий, студент-электромеханик. Он был старше нас и, как выяснилось потом, успел поработать секретарём в Моршанском горкоме комсомола в Тамбовской области.

Невысокого роста, стройный, подтянутый, не красавец, но с лицом, внушавшим симпатию, он был по призванию вожаком. Вокруг него всё кипело, крутилось. Ко всему у него и голос был певческий – это тоже многое значило.

Отчётно-выборное собрание тянется обычно уныло и скучно. И хотя отчётной части у нас быть не могло – некому и не за что было отчитываться, но доклад небольшой всё же был, и с критикой выступали. Далее началось выдвижение кандидатур, обсуждение, отводы, самоотводы, голосование за включение в список, печатанье бюллетеней, голосование за включённых, подсчёт голосов, ожидание результатов, утверждение их, – скуки, однако же, не было. В каждый очередной перерыв Юра поднимался на сцену (и аккордеонист вместе с ним) и предлагал: «Давайте споём!» Его бурно поддерживали и пели всем залом песни прошедшей войны, революции и гражданской войны, и лирические, и о любви, и всё это так здорово было, рождало чувство единой семьи. Это было сильное чувство – стоять друг к другу плечом, ощущать мощь коллектива и себя, как часть этой мощи, с единомышленниками, друзьями...

Если бы так было в жизни!

... вскоре нас всех чохом приняли в профсоюз горнорабочих. И там начали создавать управленцев.

... На факультетском собрании комсомола какой-то студент при выдвижении кандидатур выкрикнул мою фамилию, и, хотя я пытался кандидатуру свою отвести, меня избрали членом бюро факультета. Не скрою, мне это польстило. Но на состоявшемся тут же заседании бюро я был расстроен: мне поручили сектор учёта, безделье, никому ненужную чепуху – кого и что я был должен на факультете учить? Я предпочёл бы сектор учебный, там я знал, что

надо делать, как помогать отстающим студентам. Но спорить и добывать себе "пост" мне было неловко. А поскольку я активности не проявлял, то мне и сунули для отвода глаз ерунду.

... делать мне было решительно нечего. На учёт не становился никто, а если бы и становился, то в комитете. Комитет собирал и членские взносы. Он же "вылавливал" неплательщиков взносов, бывали такие.

Бюро наше после распределения обязанностей не собралось ни разу, никто никаких поручений мне не давал, ничего и не требовал. Я даже забыл, кто в нём секретарь. И, натурально, ничего и не делал, отчего гордость моя к весне потускнела и сникла. Бездельником себя ощущать тяжело.

... в группе тоже избрали своих "вожаков". Старостой – татарина Шамсеева, комсоргом – Людмилу Володину, профсоргом – хроменького Савоськина, еле сдавшего сессию, но общительного, умевшего быстро сойтись с кем ему было нужно. И ещё избрали физоргом маленького подвижного Дергачёва, все "должности" эти, кроме старосты, и в особенности последняя, были просто для смеху, для того, чтобы было с кого-то за что-то спросить. Но, вообще говоря, если бы тот Дергачёв почитал бы журналы по физкультуре и самбо, нашёл способ наращивать мышцы, увеличивать силу и мне хотя бы, о том рассказал – от него бы польза была и немалая. Но никто ничего не делал, понимали, что это всё для профформы, как в бирюльки игра, и за безделье не спросят.

Вал шумной общественной деятельности поднялся, прокатился, затих. Всё стало на место, как у всех, как всегда.

... Практически в институте что-то заметное делала лишь редколлегия комсомольской сатирической газеты "Ёж". Газета приобрела популярность. При появлении свежего номера возле неё сразу собиралась толпа – не протиснуться – студентов и преподавателей между ними.

... организация коммунистов мириться с таким положением не могла – у неё своей газеты-то не было. Спешно была избрана редколлегия из коммунистов, но от этого выходить газета не стала. Рутинной работой заниматься никто не хотел, материалов не было никаких, писать было некому, да и не о чем. Тогда партком решил в помощь привлечь комсомольцев, стал нажимать на комсоргов, чтобы те в своих группах для институтской газеты корреспондентов назначили: сведения для неё собирать, писать в газету заметки о происшествиях в группах.

... наш треугольник (староста, комсорг и профорг) ревностно принялся выполнять поручение, но нисколько в этом не преуспел. Собкором газеты никто быть не хотел, все, как чёрт ладана, боялись этого назначения.

... меня наши лидеры обходили сначала, у меня обязанность-то была – как-никак член бюро факультета, – но затем и ко мне подкатились. Я подумал и – для них неожиданно – согласился (многое я тогда всерьёз принимал).

... Сам не знаю, как и с какого месяца для самого себя незаметно я всё чаще стал заглядываться на Володину. Она нравилась мне непосредственностью, решительностью, умением сходитья с людьми, словом, тем, чего мне так не хватало. К тому ж шла весна, а она была так юна, так мила и такой была прехорошенькой! Я хотел с ней ближе сойтись, быть с нею накоротке, как другие ребята, но это мне не удавалось никак. Я боялся, я стеснялся, я не знал, чем её бы привлечь, как разрушить её ко мне полное равнодушие.

Все ребята из группы держались с ней запросто и беспечно. Я же с нею не мог так говорить, и она со мною держалась официально: чем-то я в глазах её не походил на других. Впрочем, все друг на друга мы не походим, но я чем-то уж особенно от других, видимо, отличался и не в пользу свою.

... но ничего с собой я поделать не мог. Меня сильнее и сильнее к ней тянуло, хотелось видеть её ежечасно, любоваться её свежим нежным лицом. Я стал придумывать поводы, один неуклюжей другого, чтобы в её комнату заглянуть.

Первый раз я зашёл в воскресенье часов в десять или начале одиннадцатого, слишком рано по их понятиям, видно; все они вылёживались в постелях. В комнате стоял дух неприятный, тяжёлый, ну, чуть полегче трупного запаха. Это меня поразило, это так не вязалось с чистотой их лиц, лёгким румянцем, тронувшим их после сна. Белые плечи, перетянутые бретельками, высунувшись из-под одеял, так и веяли свежестью. Красота эта могла только благоухать. И вдруг «...и смертный душный плоти запах».

... В этом несоответствии внешнего вида и физиологии было нечто оскорбительное для человека.

... я понял, что не ко времени и быстро ретировался.

После я заходил всегда вовремя, когда комната была проветрена, прибрана, и тонко пахло пудрой, духами. Кроме Людмилы жила там

Юля Садовская, я о ней уже говорил, и Наденька Ставер, воздушное прямо создание. Лицо её было бы очень красиво, если бы не печать уныния, постоянно на нём пребывавшая. Глаза её всегда были тоскливо грустны, отчего лицо её часто казалось плаксивым, будто Наденьку очень обидели. Это умаляло её привлекательность.



Рис. 12. Людмила Володина

... мои посещения не отличались разнообразием: зайду что-то спросить или что-нибудь попросить – мне ответят или дадут, и делать здесь больше мне нечего, пора уходить, и я ухожу, раздосадованный собою, унося в сердце горечь.

... Однажды я тактику свою решил изменить. Я попытался пересказать исторический анекдот, вычитанный в романе, но не подумал, что для динамичного двадцатого века он не годился. Мне бы просто зайти к девушкам и прочитать смешной этот отрывок, а я решил сам его пересказать.

... зайдя вечером к ним и застав всех троих, после обычных – вопрос и ответ, я спросил: «Хотите, я расскажу анекдот?» «Хотим», – восторженно они и изобразили внимание.

И я пересказал анекдот длинно скучно. Ещё не закончив его, я видел, что провалился. Ни смешка, ни улыбки, лица вытянулись в недоумении, будто на идиота смотрели. А я не знал, куда себя подевать и как из их комнаты побыстрее убраться. «Болван, бестолочь, олух», – вихрем пронеслось у меня в голове, и конца определением не предвиделось. А тут ещё в моём животе заурчало, да громко так, с переливами.

Почему я не провалился под пол?! Не помню, как я сбежал, ведь для бегства предлог тоже выдумать нужно, а, поди, в таком состоянии, выдумай!

... больше я в их комнату не заглядывал.

... Дела в нашей группе шли ни шатко, ни валко. Прошедшую сессию группа сдала весьма плохо. Много двоек – "хвостов", но хвостисты от них не торопятся избавляться. На практических занятиях многие выказывают полнейшее незнание элементарных вещей. Разумеется, были малоспособные, слабые, но угадывались и такие, у которых был в прошлом пробел, ликвидируй его – зашагает студент в ногу со всеми, станет хорошо заниматься. Но до этого дела не было никому, прежде всего, им самим, но и сектор учебный ими не занимался. У меня был опыт вхождения в колею, но навязываться я не мог, не любил и, к тому же, стеснялся. Если бы мне поручили, вменили в обязанность, я бы тогда осмелел: долг есть долг, и его я привык выполнять, несмотря ни на что, и застенчивость тут не могла проявиться.

... В первых числах апреля секретарь партбюро даёт мне поручение как соббору газеты написать заметку о делах в нашей группе. Неприятное поручение. О снижении цен с первого марта я бы с удовольствием написал. Но о группе...

... я пишу, и не получается у меня ничего: размазня какая-то кислая. Рву написанное на клочки, через день сажусь снова. И опять

ничего не выходит: лишь расхожие клише и казёнщина. Не могу заметочку написать.

... и тут странная вещь со мной происходит. Нахожу себя не в большой нашей комнате, а в маленькой на своём этаже, но в крыле как раз над Люськой Володиной. Может, нас после сессии расселили по группам? А я этого не заметил?.. Вечер... Сумерки... Посреди комнаты я за столом спиною к окну и лицом к входной двери, соответственно. Мне темно, но света не зажигаю. Передо мною листки, авторучкой исчириканные, но путного в них нет ничего, нет ни строчки, одни загогулины и лепящиеся друг к другу квадраты и треугольники, сплетающиеся в бессмысленный бесконечный узор, моей рукой начертанный машинально. Я ищу, с какой фразы начать мне заметку, я измучен, но ничто не приходит на ум. Я досадную, вскакиваю, нервно хожу, сумерки меня угнетают, но и света я не хочу. Сажусь снова за стол – лезут одни газетные штампы: трескотня и корявость. Я так писать не могу – это было бы для меня унижительно. Это было бы признанием своей полной несостоятельности.

... открывается дверь. Входит Коленька Николаев. Низенький, приятный на вид, похож на грека с копной жёстких чёрных, как смоль, непокорных волос. Коля середнячок, но необыкновенно умён и необыкновенно проницателен. С таянием снега мы с ним сблизились, вместе бродили по весеннему лугу, говорили о многом, спорили, философствовали.

Коля спрашивает: «Как дела?» – имея в виду мою писанину. Я жалуясь, что ни слова из меня не идёт. Коля достаёт из кармана начатую пачку папирос "Беломор", спички, кладёт их на стол. «Покури», – говорит и уходит. Я вытряхиваю одну папиросу из надорванной пачки и закуриваю, затягиваясь. Раньше, дурачась, я закуривал иногда, но никогда дым в лёгкие не впускал. Теперь же курю я по-настоящему. Но от этого ничего не меняется. В голове, по-прежнему, пустота. Я выкуриваю вторую папиросу, третью, ..., шестую. Мне противно, меня уже мутит, но голова проясняется. Я сажусь и начинаю писать. Мысль течёт и легко отливается в безупречные предложения, накрепко стройной логикой связанные. Рассказав всё о группе человеческим языком, я пытаюсь найти исток слабостей наших и то, что, по-моему, помогло бы избавиться от недостатков. Достаётся и нашей "блистательной тройке", не занимающейся ровно ничем даже от случая к случаю. Не щажу я ни Шамсеева, ни Володину, ни Савоськина.

Я не помню написанного, но, по отзывам, оно было живо, эмоционально и по существу. Главное, не казённо. Перечитанная наутро, заметка самому мне понравилась, удалась, одним словом. Понравилась она и редколлегии, её тут же поместили в газету. И хотя в написании мне очень помог никотин, я понял, что курить больше не буду. Работать надо без внешних подстёгиваний.

... после заметки нашу руководящую тройцу слегка пожурили на заседании комсомольского комитета, и она на меня сильно обиделась. Я лишь плечами пожал: «Я не напрашивался. Сами уговорили». Крывать было нечем.

... мы часто не предвидим последствий своих действий.

Впрочем, и после заметки и небольшой нахлобучки героям её не изменилось ничто. Я то не понимал в те времена, что общественная работа давно превратилась в фикцию, что никого не интересует ничто, кроме формальных отчётов, "галочек" о каких-то делах. По ним и оценивали работников: столько таких вот мероприятий они провели (не интересуясь, были ли они проведены в самом деле и дали ли какой-либо результат), столько-то было совершено культпоходов, столько-то спортивных соревнований проведено, столько-то выпущено стенгазет... Думаю, что я не пересаливаю со зла. Так оно было. Хотя изредка бывало и иначе.

Проходил месяц март, "рассупонилось" солнышко, зеленели в поле озимые, и почки лопались на деревьях, являя миру не развернувшиеся ещё густо-зелёные клейкие листочки свои. Я иду мимо неприглядного голого Стандартного городка и вдруг останавливаюсь. "Мой" дом в зелени весь. Двор обсажен черёмухой и штaketником обнесён. За кустами взрыхлённая земля разбита на клумбы и грядки, из которых торчат поникшие стебельки недавно высаженных цветов. Ничего, они ещё отойдут.

Я смотрю на этот скромный ухоженный уголок в удручающе неприглядном посёлке, и у меня теплеет в душе; наполненный чувством любви ко всем людям, я радуюсь, что частичка её вложена тут и даёт первые всходы.

... и тут же вспоминаю о позорном своём поведении в Кемеровском горкоме. Мне противен мой слишком мягкий характер. Мне противно, что я не могу сказать, когда надо твёрдое "нет", мне неловко доставить таким вот ответом неприятность какому-то человеку. Вместо этого и чтобы не смалодушничать, и не сказать всё-таки "да", которого не хотел, я часто уклонялся от прямого ответа на неприятный вопрос или действие, искал обходные пути, которые иногда в такие

тупики меня заводили, что выбраться из них стоило большого мучительного труда. И ничего этого не было бы, если бы сразу пресёк все попытки навязать мне нечто ненужное или даже вредное мне. Мне всегда было быть трудно жёстким с людьми, я всегда им сочувствовал, их жалел, входил в их положение и хотел им помочь. Лишь когда дело требовало того, я мог быть вежливо жёстким. Только во второй половине жизни своей во всём научился я решительной твёрдости. В молодости же порой мне казалось, что у меня вообще нет характера. Но, пожалуй, он у меня всё-таки был, или, может быть, было упрямство. Если цель появлялась, я её настойчиво добивался. И очень часто с успехом. Жаль, не в любви. Но и там всё вышло отлично, когда поумнел и опыта кое-какого набрался и когда в последний раз полюбил.

... Солнце набирало силу день ото дня, апрель шёл к концу, снег стоял почти повсеместно, лишь лежал островочками на южных склонах оврагов, да в лесу в затенённых местах. Освободилась от снега крыша нашего общежития, только с северной её стороны ещё постукивала капель. Мы всё чаще стали на улицу вылезать. Я, обычно с Николаевым Колей, грелся на солнышке, бродил по подсохшим тропинкам по ближним и дальним окрестностям института, опушкой леса спускался в полюбившийся лог, где по жухлой прошлогодней траве бежали чистые ледяные ручьи и на тонких голых ветвях набухали серые почки. Земля просыпалась к жизни и радости, и я вдруг почувствовал, что люблю Людмилу Володину, настолько люблю, что не могу жить без неё. Здесь не скажешь, что любовь, как убийца, внезапно выскочила из-под земли, но всё равно поразила она меня насмерть.

... Людмила была ко мне равнодушна, интереса ко мне не было у неё, и поэтому я не мог подойти запросто к ней, пригласить на прогулку или в город, в кино. Надо было бы как-то с ней объясниться, но как? Глупо выпалить: «Я люблю тебя, Люся!» Ну, а дальше что? Не умел я ухаживать.

... в общем, в мае я захандрил. Я залёг в своей комнате на кровать. Комната была та же, где я мучился над заметкой, значит здесь давно жил. По утрам я вставал, брился (недавно начал), одевался, аккуратно постель заправлял (сенники незаметно исчезли) и в одежде ложился на застланную одеялом кровать. Читал книжки, перестал ходить на занятия, из комнаты выходил лишь по крайней нужде и не замечал вокруг ничего, будто в комнате был я один и, кроме меня, не было никого. Этого быть не могло. Но, клянусь, это было.

Подходил ко мне Коля, спрашивал: «Что с тобой?» Я, смеясь, отвечал: «Душевная депрессия». Выражение это в моду вошло после

сессии, в эту самую депрессию повергшую многих. Коля понял, в чём дело, хотя о влюблённости я ни словом никому не обмолвился. Проницателен был.

... не он ли довёл слух о моей "душевной депрессии" до Людмилы и, быть может, о причине её.

Так это было или иначе, но она появилась в моей комнате неожиданно, юная, стройная, как весеннее деревцо, и сказала: «Вставай! Пойдём, погуляем!»

... был месяц май, горько цвела черёмуха. Было солнечно и тепло. Лог снова стал белым, только не снегом стал бел, а одуряюще пахнувшими цветами. Я ломал ветви, облитые звёздочками цветов, и передавал их Людмиле, так что в руках у неё был уже не букет, а охапка. «Хватит, – сказала она, смеясь, – ты весь лог обломаешь». Мы ходили по зелёной траве по откосам среди боярышника, орешника и ещё каких-то кустов, на которых уже треснули почки, и внутри них клейкой зеленью отливали туго свёрнутые нераскрывшиеся листочки. Мы всё время с Люсею говорили. О чём? Теперь никогда не узнаешь. Но о чувствах своих я не сказал, а надо бы было, или хотя бы о новой встрече условиться.

... после этой прогулки хандра моя сразу пропала.

Люся несколько раз звала проводить её к берегу, когда ходила в город домой. Лёд на реке стаял, сошёл, и от берега к берегу снова, круто вверх по течению забирая, сновал теплоходик. По дороге мы говорили о наших товарищах, о событиях в институте, о поэзии – она читала стихи, о красоте нашего бора, о международных делах, но почти ничего о себе. Кое-что я всё же узнал. Что живёт она с матерью и отцом и своим меньшим братом в собственном домике у драмтеатра. Что театр она любит, и в детстве пробиралась в него любимым способом за наименьшем билета, даже через чердак.

Но прогулки такие были редки. Не для неё – для меня. И другие её много раз домой провожали. Как-то Савоськин сказал: «Людмила отлично взбирается по откосам, не угнаться за ней». В этом я сам мог убедиться. Предложив спуститься с крутого обрыва к Томи (в обход по дороге ей идти не хотелось), она побежала вниз, прыгая с камня на камень, с одного уступа на другой, а, попадая в тупик, то взлетала, то карабкалась, вверх, словно ящерка.

... Пришёл июнь и с ним новая сессия. Это была нетрудная сессия, очень радостная для меня. Я любил и был счастлив, встречаясь с любимой. Не задумывался о её чувствах к себе, мне пока и этого было сверх меры достаточно.

... с утра с товарищами уходил я на Томь, там мы читали учебники и конспекты, растянувшись на песке на своём берегу у подножья обрыва. Разогревшись на солнышке, бросали конспекты и с разбегу плюхались в воду у быков строящегося моста. Стремительное течение (против него выплыть даже у берега не мог ни один) сносило нас далеко вниз, до устья – на другом берегу – впадавшей в Томь реки Искитимки. Назад приходилось долго шлёпать по берегу.

Иногда с нами была и Людмила. Плавала она, в общем, неплохо, не хуже меня, хотя комплимент это сомнительный – я плаваю медленно, но держусь на воде хорошо.

Все экзамены я сдаю, как прежде, отлично. Люся – средне, большей частью хорошо. После сдачи предпоследнего экзамена она подходит ко мне: «Давай вместе готовиться. Я буду завтра в читальном зале областной библиотеки, – и, предупреждая вопрос, поясняет, – это в здании театра на втором этаже. Я буду в десять часов».

... Ровно в десять я вошёл в прохладный зал "театральной" читальни. Люся сидела за столиком, где лежала книжка и сумочка, читая конспекты. Второй стул за столиком был свободен – в зале, кроме нас, не было никого. Я, неслышно ступая, подошёл к Людмиле и поздоровался, отодвигая стул. Люся, взглянув на меня, улыбнулась: «Здравствуй!»

Я сел, не в силах отвести глаз от неё. В профиль она была ещё милевидней, прелестней; прядь каштановых тёмных волос обрамляла её маленькое солнцем просвеченное ушко безупречнейшей формы и ниспадала, закрутившись в лёгонький завиток, на шею, нежную, белую, бархатистую.

Вся она была тоненькой трогательной девочкой в летнем платьице с крупными маками на белом поле его и похожа была на изящный цветок, чудом выросший в зале. В лице её едва угадывались монголоидные черты (мать её хакасской была), отчего оно делалось ни на что непохожим и невыразимо прекрасным. И уж совсем невозможно оторваться от глаз её, тёмных и грустных, несмотря на весёлость.

Её тонкие пальцы слегка касались переворачиваемых ею страниц и казались совсем невесомыми и какими-то беззащитными, и необычайная нежность охватывала меня при каждом взгляде на них. Мне хотелось приласкать их, погладить, поцеловать. Ну и погладил бы! Не убила бы, не ударила! Нет, не посмел, не решился. "Я так её любил, что поцелуем боялся оскорбить".

Так мы и просидели рядышком до обеда, читая каждый своё, изредка перекидываясь словечками.

... я не помню, где мы перекусили; домой она не ходила и меня с собой не звала, театральный буфет среди дня вряд ли работал. Всё смешалось в тот день у меня в голове от горячечной радости быть рядом с любимой. Но восторг, жар охватившего меня чувства, не мешал мне, однако, отвлекаться от созерцания прекраснейшего чела и читать внимательно текст, осмысливая его.

– Пойдём, погуляем, – наклонив милую головку ко мне, говорит она после нескольких часов упорных занятий. И, не дожидаясь ответа, складывает свои вещи в сумочку и поднимается. Следом за ней, сунув конспекты подмышку, встаю и я, и мы вместе выходим на улицу.

День ещё в полном разгаре – летом дни так длинны. И на солнце она так и светится, мой любимый цветочек, такая ласковая сегодня, тихая и улыбчивая.

По жаром пышущей заасфальтированной улочке, обсаженной пыльными кустиками жёлтой акации, мимо покосившихся фанерных сараев, складов и двориков, загромождённых деревянными ящиками и железными бочками, испачканными лоснящимся на солнце мазутом, мы спускаемся к хлюпким дощатым мосткам на реке. Мостки упираются в высаженную на мель баржу с будкой и тентом. Это и есть наш причал. Здесь немного прохладнее.

– Много мы сегодня подготовим, – лукаво говорит Людмила, словно в пространство, и, оборотясь ко мне, просит: – Пойди, купи билеты, ага?

К барже по широкой дуге режет воду беленький теплоходик. Течение сносит его прямо к нам, то есть к причалу, на котором стоим мы, я и Люся. Теплоходик маленький, юркий, точно игрушечный, и забавно видеть в крохотной рубке его широкоплечего усатого капитана.

– Хорош, а? – подмигиваю я Людмиле, показывая на усача. Она усмехается:

– Да...

... приближающийся обрыв высоко нависает над узкой полоской гальки у берега. Выветрившиеся, расколотые трещинами пласты горных пород крутой лестницей поднимаются кверху. Только от одной такой ступеньки к другой рукой не дотянешься. А на самом верху из-под тонкого слоя обнажившейся почвы толстыми змеями скользят в расщелинах вниз корни деревьев.

– И чего только ей захотелось взбираться туда, – думаю я о Люсе. – Может быть, мы останемся здесь, внизу, – неуверенно начинаю я.

– Нет, нет, нет. Река – это соблазн. Поминутно будешь лезть в воду, – она уже поднимается вверх и протягивает мне свою руку. – Ну, пошли же!

Её ловкие крепкие ноги уверенно бегут едва заметной тропинкой по россыпям камня, и я только тут замечаю, как упруго красивы ноги её, как изумительны изгибы линии икр и округлости атласных шелковистых колен. Она быстро поднимается вверх – я едва поспеваю за нею, – и уже там, наверху, поворачивает ко мне разгорячённое лицо, небрежно смахивая рукой с носа и лба капельки пота.

Увидев, что я сильно отстал от неё, она насмешливо мне бросает:

– Эх ты, лентяй!

... Я останавливаюсь в шаге от неё и не могу на неё насмотреться. Боже, как прекрасна она, и как люблю я её! Нет ничего дороже на свете.

... прохлады нет и в лесу. Сосны стоят редкими группками, неподвижные совершенно – в воздухе ни ветерка. Накалённая за день их бронзовая кора источает жар, как раскалённый металл. Трава, согретая солнцем, пожухла и тоже не шелохнётся. Всё замерло в тишине. Всё затаилось. И даже вездесущие кузнечики не скачут в траве.

И трепетная девушка рядом рождает ощущение счастья.

Смолистый запах расплзается по лесу; может именно он околдовал всё вокруг, зачаровал и траву, и кусты, и деревья, и меня, и Людмилу, и жёлтые блики солнца на соснах – струйки истекающей сверху золотистой смолы.

– Хорошо здесь? – спрашивает Людмила.

Я согласно киваю:

– Очень. – И вливаю в море смолистой поэзии струечку прозы: – Только зной такой же одуряющий, как и везде.

– Я знаю прохладное место в зарослях боярышника, – откликается Люся.

Она ведёт меня к ним, и мы спускаемся в лог среди леса на самое дно. Склоны лога действительно густо сплетёнными ветвями боярышника и рябины с черёмухой так плотно прикрыты от солнца, что земля здесь не прогрелась и дышит освежающим холодком. По дну лога сладко журчит тоненький ручеёк. Тут так хорошо сейчас, сумрачно и прохладно. Только вдруг на секунду, ни с того ни с сего, сверху обдаст жаром горчащей смолы, но это даже приятно. Запах дивен и кружит голову...

Люся садится, поджав ноги под платьем, а я снова смотрю на неё, забывая о предстоящем экзамене. Мне хочется говорить, говорить ей слова удивительные, рассказать, каким точёным дивным цветком она кажется мне в красных маках на зелёной траве, яркой бабочкой, залетевшей случайно сюда в полумрак, голубой грациозной стрекозкой, трепещущей вместе с краем листка, за который она над прохладой воды уцепилась. Все сравнения хромают, она так изящна, так прелестна, чиста, что... Я боюсь ей сказать, я молчу, я робею...

... Люся уже раскрыла книгу, углубилась, читает. Поднимает глаза:
– Что же ты стоишь, садись!

Я послушно сажусь рядом с нею и с трудом вхожу в мир формул и логики.

Я не помню, куда проводил её. К берегу или в общежитие, в институт... Но день этот запечатлел в своей памяти. Разве может быть день счастливее этого? Весь день, проведённый с любимой. Разве можно забыть этот день!

... последней сдавали мы геодезию. Экзамен принимал Западинский. Отвечал я безукоризненно и на билет, и на дополнительные вопросы. Западинский поставил "Отлично" и, чего ранее с ним не случалось, похвалил меня вслух.

Люся сдала экзамен хорошо.

... после экзамена вечером какого-то дня мы идём с Люсей по нашему сосновому бору. Она уходит домой на всё лето, но об этом не говорит, а я не решаюсь, не думаю даже спросить о планах её, где и как (и, может быть, с кем) она будет его проводить. Сейчас я только провожаю её через лес, стройную девочку в белом платье, на этот раз в белом без маков. Тьма пришла неожиданно быстро, может быть потому, что я совсем не хотел, чтобы этот день проходил. Ночь отняла бы её у меня. Но ночь пришла всё-таки, и, когда мы вышли к обрыву над Томью, было совершенно темно.

У обрыва Людмила остановилась:

– Мне не приходилось бывать здесь так поздно, – сказала она, – давай посмотрим сверху на ночной город. Какой он?

... город мерцал перед нами широченной россыпью золотящихся точек, отделённых от нас чёрной лентой реки. Точки дрожали, меркли и тухли, и вновь разгорались. То вырывался из тьмы бегущий кусочек дороги, подсвеченной фарами, и плыли за ним огоньки красных задних сигнальных огней, то угадывалась стена дома с редкими тускло желтевшими окнами в ней, то вдруг фары очертят огнём своим силуэт дерева, заслоняющего машину.

Весь этот хаос лежащих вдали на земле жёлтых крохотных звёзд упорядочивался местами в прямые длинные цепочки двойных огоньков – это главные улицы рассекали город на части, праздничной гирляндой опутывая его. Кое-где цепочки сбегали к реке и в самую реку, где и плескались в её тёмной текучей воде.

Справа от нас отразилось в реке алое облако пламени, и тотчас вверх вырвался сполох, озарив все окрестности, и все звёздочки, светлые точки, огоньки в его зареве утонули.

... город и берег, и лес окрасились светом багровым, и на наши лица лёг кровавый отблеск пожара.

Это алым всё покрывающим светом вспыхнули три высокие докрасна, добела раскалённые башни, выросшие внезапно из темноты у вокзала. Пламя крепло, росло, башни разверзлись, сверху донизу раскололись на части, и части эти, массивными колоннами клонясь, медленно вываливались из башен. Они клонились ниже, ниже к земле, верхушки их надломились, легли в воздухе и, рухнули вниз, опережая падение основания, разбиваясь на глыбы, высекая неисчислимы тысячи искр и сокрушая остатки колонн у подножья.

Зарево стояло над городом, осветлив все его улицы и дома, скверы и парки, оно бесновалось, то притихая и прижимаясь к земле, то в мгновение разгоралось сильнее, выбрасывая языки огромного пламени высотой в полнеба.

... мы стояли над городом, не шевелясь, потрясённые этой картиной, мощью мечущегося огня.

– На коксохиме кокс выгружают, – просто сказала Людмила, но её прозаические слова не умалили грандиозности происшедшего, и она тут же сама и сказала мне полусшёпотом, – но какое зрелище!

Я взглянул на неё. На её бледном личике играли отблески этих сполохов, волосы отсвечивали тёмной медью, глаза, казалось, вспыхивали и искрились.

... над чёрным обрывом стояла белая трогательная фигурка, выхваченная из мрака, одинокая и трепещущая в своём страстном порыве к необычному, к свету, к полёту, быть может, и ещё, бог знает, к чему.

– Ты посмотри, – говорила Людмила, – какая величественная стихия! И она человеку подвластна. Это он вызвал её, он же её и укрощает, смиряет. Сейчас я по особому чувствую мощь человека, и как всё-таки хорошо, что мы так ещё молоды, что перед нами вся жизнь, – голос её дрожал, и её волнение передалось тотчас мне.

Зарево сникло, потухло, и ночь вновь опустилась, но со мной стояла девушка в белом платье, полная великих надежд, и я поновому смотрел на неё.

Потянуло прохладой. Я шагнул к ней, снял свой пиджачишко и набросил на её плечи.

Она обернулась ко мне и сказала:

– Спасибо, – и снова повернулась в сторону города, где вместо зарева вспыхивали ещё время от времени жалкие язычки, пока не угасли совсем.

– Да, – сказал я, – человек...

– Что? – переспросила Людмила.

– Да, действительно, человек победил.

И тут я почувствовал, что сейчас подойду к ней, положу ей свои руки на плечи и поцелую её.

Но она уже бежала вниз по тропинке:

– Смотри, катер подходит...

... я не помню, в ту ли ночь или в другую высоко в небе стояла луна, и мы шли впервые по городу ночью. Я не знал, где она точно живёт, оказалось, там, где я был уже с ней – через дорогу напротив театра.

... она шла через сквер очень тихая и молчаливая. Завела меня в гущу акаций и села на упрятанную в зарослях её возле театра скамейку. Висевшая над нами луна выбелила некрашеное дерево скамейки, и я сел на его белизну рядом с Люсей так, что луна, светившая на неё сверху сбоку, при повороте ко мне её головы освещала лицо её. Луна заливала переливчатым светом листья акации и волосы Люси, и всё это и листья, и волосы засверкало, засеребрилось. Затенённые ресницы казались чёрными и большими, и глаза её, когда она повернулась ко мне, из-под них смотрели добро и ласково.

Она взяла мою руку своими тонкими пальцами и сказала:

– Вова, ты мне очень нравишься, но я не знаю, любовь ли это.

Тёплая волна всколыхнулась в моей груди и опала, схлынула, точно оборвалось что-то внутри, оставив после себя холодящую пустоту. И вот эта холодящая пустота была ощущением беспредельного счастья.

Я смотрю на лицо её, в свете луны Люся дивно, божественно хороша и мила, милее её ничему быть стало давно невозможно. Я глажу её тонкие пальцы свободной рукой, всего меня заливают чувство нежной жалости к ней, к её нежной руке и хрупким беспомощ-

ным пальцам, и я понимаю, что большей жалости не бывает, что жалость эта – любовь. Я не посмел притянуть её руки к себе и поцеловать их, я слишком любил её, чтобы обидеть каким либо грубым движением – вдруг так она воспримет мой нежный порыв.

Я захлёбывался от счастья. Хотя, по трезвому размышлению, задохнуться было ещё рановато. Следовало бы больше внимания обратить на конечную часть её признания – это ведь так, серединка на половинку, не обещает пока ничего, но уже оттого, что я нравлюсь, я совсем голову потерял и невольно совершаю подмену: «Ты мне нравишься и, возможно, это любовь». Нет, нет, нет, всё равно, когда любят, не спрашивают себя: "я не знаю", как и "возможно". Если есть вопрос – нет любви.

Но сейчас я счастлив безмерно.

... «Нет, я всё-таки её поцелую!» Но она уже отпустила мою руку и встала, я поднялся за ней.

– До свиданья, – сказала она, и, увидев, что я направляюсь за нею, отстранилась, – нет, нет. Не провожай меня, мне ведь всего улицу перейти. – И ушла.

Я смотрю ей вслед на залитую луною аллею, вижу, как мелькает белое платье в просветах листвы, как она переходит улицу и подходит к забору, за которым видна четырёхскатная крыша дома, как она открывает калитку и, захлопнув её, скрывается с глаз.

... не помню, когда подарила она мне свою фотокарточку. Маленькую совсем – три на четыре, для паспорта, где она совсем юная, шестнадцати лет, такая свежая, нежная и красивая, как богиня, родившаяся из пены морской.

... юная и красивая.

... А завтра начинаются будни. Учебный год экзаменами не закончился. Предстояла двухнедельная практика по геодезии. Съёмка плана посёлка и рельефа от института до шахты "Северная", что уже за чертой городского жилья.

Приказом декана группы преобразовали в бригады. В нашей группе Западинский бригадиром назначает меня. В свою очередь я назначаю своим заместителем Веньку Попкова. Более знающего и толкового помощника среди наших ребят не найти.

До первого июля каждая бригада получила теодолит, нивелир, две рейки, стальную мерную ленту, пикеты (попросту говоря, в землю вбиваемые "костыли"). Практика на две недели рассчитана, но перед этим на собрании бригадиров Арнольд Петрович сказал, что не будет строго

настаивать на соблюдении этого срока. Любая бригада отправится на каникулы, как только выполнит всю работу и её защитит. К защите надо представить планшеты с планом и рельефом местности (выполненные по всем правилам картографии) и записку с проверкой замкнутого хода (к которому, собственно, и "привязываются" все предметы на местности) на допустимую погрешность по длине и углам.

... ни у кого из нас не было никакого желания застревать на полмесяца в институте. Люся по просьбе её и с согласия моих "подчинённых" была с практики мною отпущена и, после памятного свидания в июне ещё, больше не появлялась.

... Придя с совещания, я передал ребятам слова Западинского и спросил: «Ну что, ребята, поднатужимся и сделаем за неделю – утрём-ка всем нос?!» Все дружно меня поддержали, всем хотелось быстрее уехать домой.

... и тут открылась во мне способность к хорошей организации. Собрав тех ребят, кто сдал геодезию хорошо, и лучшего среди них добросовестного Вениамина Попкова, я с ними наметил план нашей работы и распределил всех студентов по видам работ. Сильные, знающие ребята были поставлены на инструментальную съёмку, слабенькие – на рейки, мерную ленту, составление кроков (эскизов по обе стороны "хода") и перенос инструментов...

...Нашей группе определён был участок в посёлке "Герард", и утром в день первый июля мы были готовы начать съёмку плана. Но погода преподнесла нам сюрприз. Стоявшая с мая теплынь сменилась за ночь холодом, необычным для лета. Температура упала, чуть ли не до нуля, подул резкий ветер, с серого неба срывались то дождь, то заряды мокрого рыхлого снега.

... после первой заминки мы решили на погоду чихать и вышли работать по плану: в "Герарде" пикетами обозначили замкнутый ход (многоугольник неправильный из-за кривизны поселковых дорог и домов, выступавших не там, где бы нужно) и к делу своему приступили...

Угломерную съёмку я вёл сам с тщательностью особой. Проверял по отвесу точность установки теодолита над каждым пикетом, уровнями приводил трубу в идеально (если такое возможно) горизонтальное положение и, замеряя углы многоугольного хода, производил все поверки, брал отсчёты по лимбу и алидаде по несколько раз, переводя трубу "через зенит", как положено, чтобы к минимуму свести все погрешности измерений. Вениамин так же тщательно замерял длины сторон нашей сложной фигуры. Остальные ребята, кроме тех, кто по-

могал Вене и мне, занимались составлением кроков, мерили расстояния до характерных точек на местности (углов ли домов, заборов, столбов ли, деревьев), я же попутно давал им углы от сторон хода.

... и был жуткий холод и слякоть, – слава богу, хоть снег с дождём вскорости перестали, – пальцы не гнулись почти, но работа шла споро, и в два дня мы съёмку плана закончили (в то время как другие непогоду в общежитии пережидали), подготовив все исходные данные для чертежа на планшете. Тогда я, с согласия, опять же, ребят, от полевых работ устранился, поручив Попкову съёмку рельефа, заперся с арифмометром и чертёжной доской в пустой комнате общежития и принялся за работу.

... погода меж тем так же внезапно улучшилась, ребята в "поле" гуляли на солнышке, а я корпел над расчётами, проверяя погрешность. Работа шла хорошо, но, как назло, при сложении чисел граф и столбцов арифмометр давал чуть-чуть разные результаты, стало быть, я при сложении ошибался. Я раз шесть перекручивал все эти числа, а их были сотни, остервенело крутил ручку "считальной машины", передвигал рычажки – и каждый раз получал новые суммы, причём, главное, не сходящиеся ни разу. Я совсем обалдел от такой идиотской работы, я готов был взорваться и грохнуть об пол это "чудо вычислительной техники", но в душе понимал, что "чудо" здесь не при чём, что виновен я сам, а точнее, моя невнимательность, что от монотонности этой однообразной работы "бдительность" моя сильно ослабла.

Надо было отдохнуть, а потом очень сосредоточиться и не спешить. Я так и сделал. Через час я прокрутил всю эту арифметику заново сначала и до конца, и... ура! – результаты сошлись. Я вздохнул с облегчением.

... но не надолго. Подстерегала меня новая, куда более серьёзная неприятность. Обойдя в расчётах весь контур и выйдя на первоначальный пикет, я должен был получить тот же угол, что в исходной позиции, но его я не получил. Само по себе это не так уж и удивительно, погрешность при измерениях неизбежна, и ничего страшного в этом нет, лишь бы ошибка была в допустимых пределах. Моя же ошибка из этих пределов чуть-чуть вылезала, и вот тут арифмометр был действительно совсем не при чём. Не пойму, как такое случилось? Я так был точен при съёмке, внимателен, поверял больше, чем нужно, и вдруг вот тебе на... Я перепроверил расчёт. Увы, всё в точности подтвердилось.

Что же делать? Заново приниматься за съёмку? И, ау, неделя пропала?! Нет, на это невозможно идти. И к тому же это позор! И

отклонение от нормы-то такое мизерное, ну такое, хоть плачь, ну самая ерунда. Но не стоит отчаиваться. Просто угол надо немного подправить, *minimum minimumum*, малость, чуть-чуть. Сделать это легко в предпоследнем угле. Да, сделать-то можно, но вот в чём беда, такую "поправку" любая проверка вмиг обнаружит, хотя я и не думал, чтобы кто-то стал проверять. Но полагаться на случай нельзя. Всё сработать надо изящней и тоньше, и малюсенькие поправки вносить в углы при каждом пикете, где прибавляя угловую секунду, где отнимая её. Но огульно этого делать нельзя, тут нужна осторожность и постоянный контроль конечного результата, иначе крохотные изменения могут в итоге выскочить, чёрт знает, во что.

Но и с этой задачей я справился, хотя пришлось попотеть и довольно сильно понервничать. Зато теперь любая проверка подтвердила бы лишь безупречность нашей работы. Само собой, в подтасовочку я не посвятил никого. Так спокойней.

... Итак, всё готово. Можно браться и за планшет. К исходу второго дня моего затворничества планшет с планом участка "Герарда" – я сам залюбовался его аккуратностью и красотой – был готов. Самая трудная часть нашей работы за четыре дня была сделана.

... и надо же! Именно в этот момент, когда я любовался своим чертежом, в комнату гурьбой ввалились ребята с Венькой Попковым, возбуждённые, радостные – они закончили съёмку рельефа.

Пятый день ушёл на совместную обработку результатов замеров и вычерчивание планшета с рельефом местности в заданном направлении.

Всё – работа закончена.

На шестой день мы предстали перед комиссией. Комиссия оценила нашу работу отлично, мы были отпущены на свободу и с утра дня седьмого стояли в очереди в кассу вокзала за билетами в общий вагон московского поезда.

... а другие бригады ещё работали в поле.

Четверо суток трясся я на своей третьей полке, покидая её только изредка. Время от времени я доставал из кармана своего пиджака паспорт, в который была вложена фотография Люси. Каждый раз при взгляде на её милое личико у меня всё обрывалось внутри, ощущался холодок в животе, как будто я летел в пропасть. Внутри всё обрывается, как будто тебя выбросили вниз головой из самолёта. Но в этом странном холодке обрывающихся внутренностей было немислимо большое блаженство ожидания необычного и прекрасного.

... жуткое чувство и сладостное.

Четверо суток мимо окна пролетают столбы с нотным станом натянутых проводов и раскинувшиеся поля, и, за ними, леса, перелески, фермы мостов; мелькают под колёсами реки, поезд кружит по рельсам, изгибается так, что из последнего вагона виден весь дугообразный состав с паровозом, огибающий холмы и вершины пологих гор, заросших по макушку соснами, елями. За Уралом деревни, безлесные, дома деревянные, и бревенчатые и дощатые, покосившиеся, и такие же заборы вокруг дворов, огородов, в которых ни деревца и ни веточки. Странно мне было видеть убожество неухоженных деревень, странно, привыкшему к зелени кубанских хуторов и станиц, видеть безразличие человека к жилищу и месту, где он живёт, нежеланье облагородить, украсить безрадостную картину серого быта и бытия.

... В Москве я перебрался с Казанского на Курский вокзал, закомпостировал сразу билет и почти в тот же час уехал сочинским поездом. Через полтора суток я был у мамы. Она перестала быть председателем: не поладила с районным начальством, и жила теперь в другом доме, справа от дороги, перерезывавшей станицу надвое снизу вверх от реки и до выгона, на территории колхоза имени Четырнадцатой годовщины Октября. Чистенький домик стоял на пригорке и, начиная от самого палисадника перед ним, утопал весь в зелени и цветах: голубых, синих, жёлтых, оранжевых, розовых, красных. Это было нарядно и празднично.

Время в Костромской лениво остановилось. Пекло солнце Воздух тих и недвижим. По дороге ни телега не прогрохочет, ни машина не проурчит. Я ни с кем не встречался, не было в станице никого из друзей, лишь вместе с мамой ходил в гости к родне, где нас принимали радушно, угощали абрикосами, грушами из садов, блинами, оладьями с маслом и свеженакаченным мёдом – в садах, как правило, стояли по два, три, четыре улья, и пчёлы весело вились над ними. Тут я вдоволь полакомился сотовым мёдом – что за прелесть мёд зубами выжимать из вошины! Перед уходом пили наваристый взвар, потом долго прощались. Так всё и шло размеренно, однообразно, как однообразные изо дня в день сообщения об ожесточённых боях на тридцать восьмой параллели.

Погостив две недели у мамы, я отправился в Крым к тёте Наташе новой дорогой: из Лабинской автобусом до Краснодара с остановкой у небольшой автостанции на окраине Усть-Лабинской. Автостанция запомнилась на этом отрезке пути, в столовке при ней, невероятной сочности мясными котлетами, обильно жареным луком посыпанными. Не было в мире вкуснее котлет и не будет.

... Вечерним поездом из Краснодара я уехал в Новороссийск. В дорогу мама вложила мне в сумку три винных бутылки со свежими вишнями, пересыпанными сахаром, запечатав их накрепко обломками обрушенных кукурузных початков, завёрнутых в очень чистые белые тряпочки. В вагоне сумку я поставил на третью (багажную) полку, а сам улёгся на свободной – внизу.

... и в полночь грохнул салют.

... и в полночь пассажиры вскочили от троекратного залпа. Одна за другой грохнули все три бутылки, и, что удивительно, одновременно почти, с перерывами в долю секунды. Вспыхнул свет. С потолка капали тёмно-вишнёвые капли. Да, да, того самого вишнёвого сока из моих винных бутылок. В жару вишни в них забродили, и туго загнанные в горлышки кочерыжки оглушительно выстрелили в потолок.

Хорошо одетые представительные матроны на меня обрушились с бранью, поток их ругательств не иссякал. Я смиренно молчал – что тут скажешь? К счастью, липкие брызги, капая с потолка, никого не испачкали – иначе мне не уйти бы от женщин живым. Дамы ещё с полчаса побранились и, устав, улеглись. Я снова заснул.

... В Новороссийске я палубным пассажиром вступаю на борт всё того же "Нахимова", который всегда попадается мне вместо желанной "России", и, найдя свободный шезлонг, провожу день на палубе. За кормой остаётся широко расходящаяся вспененная полоса, и я оцепенелым взглядом смотрю на неё, машинально в уме отмечая, как загнанные вглубь, в бледно-зелёного стекла воду, пузырьки воздуха белыми стайками стремительно поднимаются вверх, и лопаются, разлётывая в стороны брызги.

... В Алуште, поднимаясь от набережной на пригорок к себе на Урицкого, на углу, возле почты, я встретил Лену Полибину с Ольгой Лемпорт, остановился с ними и поболтал, смущаясь оттого, что не испытал к Лене прежнего чувства, и что мне совсем не хочется её провожать. Состояние было такое, будто я перед ней провинился, будто предал её, хотя ведь это она мне не ответила; продолжение разговора становилось тягостным и, неловко отговорившись, что иду по срочному делу, я от них улизнул, зашагал в гору, коря себя за бестактность. И так было нехорошо, и этак – не лучше.

На пару дней еду в Евпаторию к Левандовским, к тёте Дуне. У них своя комната в домике с чистым двориком, с отдельным выходом на него. Комната просторная, светлая – два больших окна с тюлем. Кажется, что две стены из стекла. В комнате шкаф, стол, стулья

и две кровати. Для меня у них раскладушка. Кухня у них во дворе, там, где сарайчики.

Я сижу за столом перед окном. Слева дверь и второе окно. Круглый стол застлан морозной белой накрахмаленной скатертью, и хрустальные вазочки на ней мерцают искрами снега. В центре цветы. Сервировка, как в ресторане: тарелочки, вилочки, ножички.

Владимир Алексеевич сидит спиной к раскрытой двери. Из неё появляется тётя Дуня с подносом, на нём рюмочки с варёными яйцами, тарелочки с кружочками копчёной колбасы, сыром и помидорами. Левандовский рассерженно бурчит на неё – что-то тётя не так сделала или поставила. Тётя краснеет, молча и как-то убито выслушивает выговор.

Начинается завтрак, перед тётей и Левандовским по яичку, помидорчику и несколько тонких кружочков дорогой колбасы. При моём аппетите их завтрак просто смешон. Я спрашиваю:

– Владимир Алексеевич, почему вы так мало едите?

– А нам больше не надо, – отвечает он мне.

Я удивлён, но помалкиваю. Сам я готов волка съесть.

Днём ухожу на море. Песок – в пыль перетёртый ракушечник. Натуральный, алуштинский, песок мне нравится больше. Раздеваюсь и захожу в море, оно у берега мелководно. Бреду на глубину, но её нет и нет, я уже прошагал сотню метров, а мне всего по колена. Я устал и идти, когда вода мне по пояс становится, и я, плюхнувшись в воду, начинаю грести. Плыву, плыву, чёрт знает, как далеко заплываю, опускаю вниз ноги – дна не достал, значит, подо мной настоящая глубина. Плыву всё дальше и дальше, уплываю от берега чуть ли не на километр. Устал, поворачиваю назад. Вижу, что уплыл далеко. Надо спешить. Резко взмахиваю руками, энергично начинаю ногами работать и... судорога сводит мне руки и ноги. Испуг и мгновенная паника, судорожные движения. И тут же беру себя в руки: «Спокойно! Не паникуй!» Я переворачиваюсь на спину, руки отходят, я растираю ими одну ногу, другую, судорога отпускает и их. Успокоившись, я переворачиваюсь на живот – резкий гребок, толчок ногами и... снова судорога их сводит. Снова переворачиваюсь на спину, растираю руки и ноги, судорога опять их отпускает. Понимаю теперь, что надо избегать резких движений. Плыву дальше очень медленно, легко, без усилий загребая руками и почти не качая ступни. Время остановилось. Плыву, наверно, часа два, до берега уже близко. Опускаю ноги для пробы – под ногами песок. Ух!

Вечером идём с Левандовским гулять. Заходим в чебуречную. Чебуреки в Евпатории по-прежнему превосходны. Перекусив, выходим к морю. Бредём в ночи по пустынному пляжу. Владимир Алексеевич присаживается, а затем и ложится на оставленный кем-то лежак, я нахожу лежак для себя и укладываюсь рядом, смотрю в тёмное небо. Хорошо так бездумно лежать, слушая, как шумит море и город за нами. Вдруг Левандовский мне предлагает:

– Володя, давай ты ко мне рукой под трусы, я к тебе, и друг другу будем...

Я удивлён, изумлён: Это же гадко, то, что он говорит.

– У вас же жена есть для этой цели.

Левандовский молча сопит...

... Через несколько дней после поездки в Евпаторию, я нос к носу столкнулся с Василием Турчиным. Вспомнили товарищей. Кто из них где? Сам Вася, как я, стал горняком, учится в Днепрпетровском горном институте.

Под конец разговора Вася предложил мне подняться на Чатыр-Даг. Я до того не поднимался ни на одну из вершин Крымских гор, не считать же вершиной Кафель, где я раз только и был. Так что уговаривать меня не пришлось, я сразу предложение принял. Не откладывая дела в долгий ящик, мы тут же уговорились, что завтра с утра и пойдём. Вася, не раз на Чатыр-Даге бывавший, предупредил, что выходить надо рано, часов в пять утра, чтобы к ночи вернуться.

Дома я с помощью бабушки собрался в поход. Бабушка из белого полотна сшила котомку с ляжками, чтобы можно было нести её за плечами, как рюкзачок. Туда мы сложили хлеб, банку консервов, тёплую рубашку – её бабушка принесла на случай, если в горах будет холодно, и белый платок – от солнца голову прикрывать.

Приготовив всё с вечера, я уснул и, ни свет, ни заря, был разбужен бабушкой вовремя. Наскоро перекусив и попив чаю, я отправился к месту назначенной встречи. Вася меня уже поджидал.

Свежие, выспавшиеся хорошо, мы бодро зашагали по симферопольскому шоссе, свернув с него за Алуштой и держа путь прямо на вершину далёкого Чатыр-Дага.

Пройдя километров восемь просёлочной дорогой, мы вышли к селению Корбик, переименованному позже уже при Хрущёве в село Изобильное вроде бы или Приветное.

... за селом, за околицей – лес. Лес дубовый совершенно не похож на дубовые рощи, где деревьям вольготно, где сверху донизу их ветви покрыты листвой. Здесь дубы стоят густо, промежутки меж

ними – совершенно прозрачны: стволы тонки и голы, высоко тянутся ввысь и лишь там, у верхушки, зеленеет чахлая крона. Сам лес на склоне. Мы поднимаемся по виляющей наезженной колее. В лесу сумрачно и не жарко, а над прорезом дороги небо синее-синее и плывут по нему курчавые белые облака, освещённые солнцем.

Лес оборвался внезапно, и сразу же крутизна возросла. Мы идём без дороги наискось по выгоревшей траве, пересекаем лесок, молодой и зелёный, на резко пошедшем вверх склоне горы и выходим к подножию скал.

У Васи фотоаппарат, и на подъёме, останавливаясь передохнуть, мы фотографируем друг друга по очереди. Солнце припекает, и я, скрутив жгут из платка, на своей голове наматываю чалму, белую, как и положено правоверному.

Перед последним рывком мы немножечко отдохнули, полежав на высохшей, но не жёсткой траве на крутом склоне под солнцем, и – снова вперёд, то есть теперь уже вверх, карабкаясь по каменным глыбам.

... подъём этот недолг и особой трудностью не отличился, мы выходим к вершине чуть сбоку, со стороны плоскогорья – и вот перед нами те самые скалы, что видны из Алушты как острие широкого треугольника. Но здесь треугольника этого нет, нет и единой вершины. Здесь скопище каменных исполинских столбов, плоско срезанных наверху, отчленённых один от другого, и невозможно, находясь среди них, определить, какой из них самый высокий. Чтобы уверенно утверждать, что мы были на вершине, мы поочерёдно взбираемся на все эти скалы, не пропустив ни одной.

Все они сильно растрескались, рассечены вдоль и поперёк так глубоко, что, кажется, глыбы эти без связи нагромождены и рядом, и одна на другую, и, толкни их посильнее, они тут же, и глазом моргнуть не успеешь, рухнут вниз, погребая нас под собой. Посему ползём по ним с осторожностью, и не только поэтому. Ветер здесь, наверху, сумасшедший, того и гляди, сдует тебя с гладкой площадки, на которой не за что уцепиться. К тому же площадки эти выдвинулись вперёд, нависая над бездной, а над бездной всегда мне почему-то не по себе. И уж к совершенному оцепенению приводит иллюзия, что под нами столбы ветром раскачиваются чуть-чуть, да и не чуть-чуть, а очень заметно. Немудрено, что добираемся к краю на четвереньках, а потом и по-пластунски ползком буквально по сантиметру, вжимая ногти свои в попадающиеся шершавинки. Понимаешь, конечно, что всё это смешно, надо встать и спокойно подойти к самому краю – бог даст, не снесёт. Но легко сказать встать, невозможно этого сделать.

Руки, ноги прикипели к поверхности камня и по ней могут только скользить. Добраться до края, чтобы голову свесить и под скалу заглянуть, я не могу. Всей воли хватает только на то, чтобы вытянуть руку и загнутой ладонью ощупать край скалы над обрывом, над пропастью. Это всё-таки утешение: если пальцы мои там побывали, значит, и я там побывал. Я не думаю, что это натяжка, но всё же, всё же... лучше встать или голову свесить. Но нет сил, чтоб заставили меня это сделать, даже если бы за плечами моими был надежнейший парашют, или десять корабельных канатов сзади удерживали меня.

... а вдаль – вся алуштинская долина, резко видная до последнего стебелька, с лесами на взгорках, с проплешинами зреющего табака, с квадратами садов, виноградников. Надо всем опрокинуто синее небо и плывут по нему одинокие корабли кучевых облаков, а от них и за ними по лесам, по полям, виноградникам бегут быстрые тени, скользят тёмными пятнами по залитой солнцем земле. И у самого края её, возле совсем уж неправдоподобно густо-синего моря, которое – до горизонта, словно вымытая, чистенькая Алушта белеет домиками своими в гуще зелени аллей и садов. За городком, за спустившемся к морю отрогом высокого Роман-Коша, выглядывает Кафель, а за ним Аю-Даг – уже в дымке. Голова его, пьющая море, не видна за отрогом, но во впадине крутой зад его и хребет высунулись наглядно.

... Но пора и домой. Часов у нас нет, но, судя по солнцу, уже давно перевалило за полдень.

Мы сползаем с опасных уступов. Мимо нас проносятся ключья редкого-редкого пара, который никак нельзя принять за туман, а впереди, как стена, надвигается настоящий туман – белый и плотный. Мы обходим скалы дальше к западу по плоскогорью – нам скучно возвращаться прежней дорогой, к тому же и длинной, мы ищем короткий путь.

Справа от нагроможденья "вершин" (со стороны Крымской Яйлы) – осыпь метров в четыреста, но очень крутая, градусов семьдесят, если не больше. Вот здесь хорошо бы спуститься, путь сократив.

Прежде чем двинуться к ней, не мешало бы подкрепиться – мы зверски проголодались и ищем укрытия. Ветер усилился неимоверно, наши лыжные костюмы продувает насквозь, солнце скрылось в густом, ставшим серым, тумане, и тут мы догадываемся, наконец, что не туман это – это тучу на нас нанесло: холодно, сыро, темно. После поисков мы находим в скале каменный козырёк, под него залезаем и обнаруживаем там углубление, нишу, вроде крохотной пещеры длиной метра в два.

Забравшись в неё, мы сразу же согреваемся, ветер в эту каморку, защищающую нас с трёх сторон, не задует совсем. Между тем туман закрыл выход из ниши, у входа стучат капли о камень, пошёл сильный дождь. Но нам-то теперь он уже нипочём. Мы раскладываем все припасы на газетку у ног и быстро их уплетаем. Дождь тем временем утихает, и мы окончательно утверждаемся в мысли, что накрыла нас туча, а не туман. Впрочем, облако – это и есть тот самый туман, но спустившийся до земли и почти застывший недвижимо. Здесь, наверно между ними нет разницы, только туман здесь не стоит, а пронесится ветром и выглядит облаком.

... Снова солнце. Ветер сумасшедший по-прежнему, но на солнце тепло. Мы подходим к облюбованной осыпи и, предосторожности ради, подкатываем к ней большую округлую глыбу и сталкиваем её: не увлечёт ли лавину? Глыба скатывается по осыпи, прихватив с собой узкую полосу щебня, множество мелких камней. Но лавины всё-таки нет. Разбежавшись, мы плюхаемся задом на осыпь и скользим, поджав ноги, чтоб скольжению не мешали. Вместе с нами и под нами несётся поток каменной мелочи. Кстати, это спасает наши штаны, если б щебень под нами не "ехал", то внизу от штанов разве клочья бы только остались.

... две, три, четыре секунды – и мы у подножья, сэкономив времени час. Впереди лес, такой же прозрачный и призрачный, как и в самом начале подъёма. Только теперь в нём нет дороги, а сплошной бурелом. Ну, допустим, не бурелом – просто ветви сухие, ветром сломанные и наваленные на земле в беспорядке, и стволы свалившихся полуистлевших деревьев. Переступая через них осторожно, мы выходим на просеку и по ней спускаемся к тому же селу, только теперь мы обходим его уже справа, с другой стороны.

Мы чертовски устали, ноги еле бредут, как-то быстро спускаются сумерки. Ночь застаёт нас в четырёх километрах от города, где начинаются виноградники. Утром, проходя мимо них, мы заметили: виноград уже убран. Видно был он из ранних сортов. Но сейчас, не смотря ни на что, нам хочется отыскать кисть винограда... Мы остаёмся у шпалер и начинаем шарить руками по лозам под листьями. Вскоре рука моя натывается на виноградную кисть средних размеров. Вася тоже нашёл виноград, он переспел и завялился, но от этого он ещё слаще стократ. Мы шарим и шарим во тьме, двигаясь вдоль бесконечных шпалер, и находим ещё десятки кистей, незаме-

ченных, пропущенных сборщиками. Больше часа мы не можем двинуться с виноградника – оторваться от лакомства нелегко. Но всему есть предел и конец. И у шпалер виноградника тоже...

... мы уходим к Алуште совершенно без сил. Мы ползём по шоссе, как когда-то по снегу Маресьев, и последние метры даются с трудом – если б метры были ещё, мы не дошли бы, упали.

В Алуште мы расстаёмся, не подозревая, что навсегда. Не довелось больше свидеться. Я с годами и те одноклассники, с которыми переписывался время от времени, потеряли Васю из виду, как и тёзку его, Васю Лисицына. Всё времени не было их отыскать. Так и жизнь пролетела – всё некогда нам, так и возникает чужих людей соединённость и разобщённость общих душ.

И денег всегда не хватало, чтобы в поисках разъезжать. Большевики цепко держали нищетой нас в зависимости.

... Выезжаю в институт за неделю до начала занятий – долог путь до Кузбасса. Тётя Наташа приготовила мне два сита позднего винограда, везу подарок Людмиле. Последние прощальные поцелуи – и я в автобусе уезжаю от милого моря, от чахлой крымской земли, ставшей навеки родной. Четверо суток после Москвы я ежедневно осматриваю виноград, обрывая подгнившие ягоды, чтобы спасти остальные. Испортившихся ягод немного, и их удаление незаметно.

... в Кемерово с поезда напрямиком – не тащиться же с ситами в институт – я иду к дому Людмилы. День. Светло. «Год назад мы приехали ночью...», но к чему эта мысль, когда сердце наполнено радостью. С колотящимся сердцем стучу я в калитку: «Дома ли?» Выходит ко мне пожилая сухонькая женщина с лицом небольшим, круглым, морщинистым. Догадываюсь: «Люси́на мама». Спрашиваю: «Люся́ дома?» Мать утвердительно отвечает и проводит меня в дом.

... в комнате я нахожу себя на коленкоровом чёрном диване с круглыми валиками по краям. Я сижу рядом с Люсей, по другой бок к ней прилепилась на валике мама её. У ног моих с краю подле дивана стоят марлей накрытые сита, одно на другом. Я сбоку смотрю на Людмилу, она спрашивает меня о поездке, а я ею любуюсь. Как же она хороша, как дорога она мне. Так же свежа, мила и прекрасна, как в ту лунную ночь на скамейке, когда прозвучали чарующие слова: «Вова, ты мне очень нравишься...» Но сейчас я не замечаю в лице её, что приход мой ей как-то приятен. Да, она расспрашивает меня, но лицо её отстранённо, будто с совершенно чужим говорит человеком, просто из вежливости говорит.

Я её равнодушием огорошен до крайности.

... да, вот так, радостного свидания не получилось... И время пришло уходить, когда все вопросы закончились. Я поднимаюсь, прощаюсь и делаю шаг к двери. Она напоминает о ситах. «Это тебе, – говорю, – крымским виноградом полакомься». Она упорно отказывается от подарка: «Ну, зачем ты...» Ну, а я упорно отказываюсь забрать. Последнее слово остаётся за мной, и я ухожу без винограда, но и без радости: «Что случилось? Почему она так холодна?» Мне кажется, что мама её, жалеючи, смотрит мне вслед.

... В общежитии бурно идёт поселение. Расселяют по факультетам, курсам и группам. Мы теперь второкурсники, старше нас нет никого, и поэтому свысока смотрим на неотёсанных новичков, на салаг, как их называют в Морфлоте.

Нам снова выпал третий этаж, та правая часть, если с фасада смотреть, где я жил в начале прошлого учебного года. Приехавшие пораньше расхватили более уютные комнатки на четверых. Мне досталась снова "пятикроватная", рядом с прежней моей "на фасаде" и вдобавок с балконом. Сейчас все в ней были свои. Моя кровать – справа от входа, первая от двери, за мной – Савин Юрий Петрович, за глаза просто Сюз (поскольку неосторожность имел написать на обложке тетрадки инициалы свои, которые сразу ребятами были прочитаны слитно), у балкона – Попков, налево в дальнем углу – Анатолий Гаргонов, и, напротив меня, – Петя Скрылёв.

Женщин выселили из нашего корпуса. Отобрали у кого-то в посёлке Стандарт в сотне метров от нас двухэтажный дом и устроили в нём женское общежитие.

... обосновавшись на месте, я дня через два или три пошёл отыскивать жилище Людмилы. Что-то резко изменилось в её отношениях со мной. Она как будто уклонялась от встреч, торопилась, чтобы быстрее со мной распрощаться. Я нашёл её в общежитии – те же лица – только комната очень большая и светлая. Разговор вышел вялым, бесцветным, но я продолжал к ней ходить. Вдруг однажды она попросила, чтобы я захватил её фотокарточку. Недоумевая, зачем это ей, я карточку всё же принёс. Она взяла её и остро отточенным карандашом на обороте быстрым почерком надписала, после чего вернула её мне. Я фотокарточку перевернул, прочитал: «Зачем искать того, кто найден быть не хочет».

... я всё понял, хотя и понимать было нечего. Я поднял глаза на неё – она стояла, красивая, до слёз дорогая, но равнодушная и недоступная мне. «О чём с неё говорить?» Я повернулся и вышел.

... не влюблённому так, и не пережившему это, никогда не понять, как это страшно. Хуже, чем обухом по голове. А я то мечтал, фантазировал, строил иллюзии...

Как же я смогу жить без неё?!

Несколько дней я ходил отрешённый, потерянный, совершенно парализованный болью. Я бродил в одиночестве по нашему бору, не находя места себе, как в горячке, в огне. Я спустился к Томи. Был сентябрь, середина. Томь струилась прозрачной леденящей водой. Быть может, она меня остудит? Я разделся совсем, донага: берег был пуст первозданно, и, не раздумывая, бросился в воду, резкими взмахами рук посылая тело вперёд. Меня резануло огнём, и я рванул назад, как ошпаренный. Вот это водичка! Лёд! Жар с меня сняло, как рукой. Голова сразу стала холодной и ясной. Одеваясь, я радовался, что сбросил трусы – что бы делал я в мокрых?! Я обрадовался? – Значит живу! Что ж, ничего не поделаешь. Надо привыкать жить и так, хотя весёлого ничего в этом нет.

Я вернулся к себе в общежитие, и жизнь потекла по установленному порядку. Утром подъём и зарядка, столовая, в институте лекции, семинары, днём снова столовая, чтение дома или работа над чертежом, вечером опять чтение или писание реферата – в читальном зале, обычно, – снова столовая и – домой, спать под включённое радио.

... оно не выключалось у нас никогда.

Быть в комнате мне не хотелось: сотоварищи быстро смекнули, что у меня с Люсей не ладно, и стали подтрунивать надо мной. Впрочем, Сюп и Скрылёв ко мне относились с сочувствием, но вот Вень Попков не упускал случая меня подкусить. Вслед за ним подавал голос Гаргонов, вечный подпевала Попкова. После я осознал, что Попков мне просто завидовал, был он добросовестен очень в ученье, экзамены сдавал хорошо и отлично, но стать круглым отличником ему не удавалось никак. Я же – лоботряс и лентяй – без усилий второй раз подряд стал таковым. И он затаил зло на меня, перешедшее в ненависть. Но за что? Не понимал я завистников никогда, никогда сам завистником не был и не могу себе этого объяснить – ведь не я же ему ставил отметки, и не по навету моему они ему ставились!

... однажды, насмехаясь над любовью моей, над постигшей меня неудачей, он продекламировал: «Зачем искать того, кто найден быть не хочет». Я как раз сидел на кровати и рылся в выдвинутом из-под неё чемодане, где хранились мои документы, Люсина фотография и

золотой перстень с двумя изумрудами на кольце и тремя бриллиантами на ветвях. Будь у меня пистолет, я бы без раздумья в тот же момент выстрелил в Веньку. Но пистолета не было у меня в чемодане, и я промолчал, а через секунду меня, как током, ударило страшное подозрение: «Значит, он шарил в моём чемодане?» Кроме нас двоих с Люсей о фотографии никто и не знал. И никто тех слов знать не должен. Это уж подлость была настоящая, и вторым сильнейшим порывом моим было дать Венечке в морду. Не дал. Мог ли я поручиться, что Люся не поделилась с товарками; им, наверное, было весьма любопытно узнать, как у неё там со мной? Нет, не мог... А оттуда кругами всё могло разойтись и ушей негодяя достигнуть.

Я сдержался... В дальнейшем все обидные реплики пропускал, не обращая внимания, и от этого вскоре разговоры о Володиной в комнате прекратились. Ну, какой прок дразнить человека, если это не выводит его из себя, если он на издёвки не реагирует. Вся сладость мучителей в том, чтобы взбесить человека, причинить ему боль. Я на примере других уже знал: чем болезненней человек отвечает на обидные замечания, тем сильней подзадоривает жестоких мучителей, и они от него не отстанут. Равнодушие охлаждает их пыл.

Печали сердца своего
От всех людей укрой.
Быть жалким – вот удел того,
Кто ослабел душой.
Не выдай стоном тяжких мук,
Приняв судьбы удар.
Молчанье – самый лучший друг,
А стойкость – высший дар.

Лермонтов в те, институтские, годы, наряду с Виктором Гюго, сделался самым любимым поэтом, и долгие годы я молча переносил свою боль.

... Вскоре после приезда с каникул нам объявили, что нам сошьют форму – чёрные шевиотовые костюмы, не бесплатно, конечно, с помесячными вычетами из стипендии в течение двух лет. Нас водили группами в швейную мастерскую, сначала для снятия мерки, потом на примерки. Шили там безобразно, так что форма шиком ни на ком не сидела, но мы были рады и этому – всё-таки нарядный парадный костюм. А когда к мундиру пришили латунные пуговицы с эмблемой и к плечам приторочили чёрного бархата контр погоны с золотой окантовкой и вензелем КГИ в обрамлении дубовых листьев, мундир наш засиял, и в городе девушки стали поглядывать на нас с интересом.

Кроме парадных костюмов (они же и повседневными стали у многих) были сшиты шинели из солдатского сукна чёрного цвета, тоже с блестящими пуговицами и контр погонями, и фуражки с бархатным чёрным околышем, золотой окантовкой и лакированным роговым козырьком, над которым сияла "фирменная" кокарда.

... но с костюмом добавились и заботы. Латунные пуговицы быстро тускнели, теряли свой праздничный блеск. Их надо время от времени начищать. И тут вошло в наш лексикон новое словечко "асидол". Это такая чудесная паста. Макнёшь тряпочку в асидол и пройдёшься ею по пуговицам, вензелям и кокарде, и засияют они, словно отлиты из золота.

В октябре прошли отчётно-выборные собрания.

Первым отчитывался комитет комсомола. Неизгладимое впечатление на этом собрании произвело на меня выступление профессора доктора Стендера. Ни одной затёртой, затасканной фразы. Речь умная, ясная. Он говорил о достоинстве человека, о нравственной чистоте, об ответственности человека за деянья свои, о порядочности и чести, и ещё о чём-то близком мне чрезвычайно и волновавшем меня, чего я, к сожалению, не упомянул. Говорил он ярко, захватываяще, увлечённо, словно напутствовал нас. Превосходный русский язык его речи меня просто-напросто заворожил.

Всё, что я слышал до этого в разных речах, было скроено по шаблону, бедно словами, мыслями скудно – и от этого скучно, бесцветно. Но это, непосредственное, образное, раскованное, живое его выступление вызвало бурю восторга не только в моей душе. Зал надрывался аплодисментами, провожая с трибуны профессора... Профессор Стендер вскоре исчез из нашего института. Куда он уехал, осталось нам неизвестно, да ведь и мы справок не наводили.

... На факультетском собрании при обсуждении работы бюро, кто-то вякнул из зала, что Платонов бездельничал, в бюро не работал и вообще оторвался от коллектива.

Корницкий из президиума подал реплику:

– А ну, Платонов. Иди, расскажи о своей работе в бюро.

Я на собраниях в жизни не выступал и растерялся... Мне бы сказать, что бюро вообще не работало, но мысли мои разбежались, и я не мог ухватить ни одной. К тому же в октябре я снова начал заикаться и от сознания, что мне м-мекать и б-бекать перед собранием предстоит, смешался совсем.

... но зал и Корницкий ждут моего объяснения, я встаю, поднимаюсь по лесенке и, горя, как кумач – я ушами чувствую это, – захожу за трибуну.

... от страха лишившись ума, я начинаю оправдываться. Затем, заикаясь сильнее и сильнее, ошалев и от этого, и от стыда, и не зная, как провалится с трибуны под землю, я начинаю бубнить, что, я промахи свои непременно исправлю.

... Корницкому надоело моё самого себя бичевание, и он, когда от дверей в зал прошмыгнула стайка ребят, опоздавших к началу собрания, громко шепнул, повернувшись ко мне: «Ну-ка пробери их как следует!» Но не смог я так сразу переключиться и съехать с наезженной колеи. И куда былая моя школьная находчивость подевалась? Я продолжаю своё покаяние. Это уже смахивает на полный идиотизм, и, вконец опозоренный своим выступлением, я спускаюсь в зал, не смея поднять глаз от пола. Ну, скажите, можно ли в такого человека влюбиться?.. «Разумеется, нет», – ответите вы. И будете правы. И сам бы я ни за что не поверил, если бы кто-то сказал, что со временем я стану блестящим оратором, овладевшим всеми приёмами красноречия, заставлявшим зал после первых же моих слов замереть в ожидании продолжения. Но это будет нескоро.

... что интересно – это моё заикание через несколько дней исчезает навек, так сказать, окончательно.

... Естественно, в новый состав бюро меня не избрали, и вряд ли я об этом жалел.

... В этом же октябре я впервые спустился в шахту под землю. На экскурсии. Привезли нашу группу на шахту "Северная", что видна на горизонте с четвёртого этажа общежития. Мы переоделись в шахтёрские "робы" из негнущейся брезентухи, ноги всунули в резиновые "безразмерные" сапоги, нахлобучили ребристые чёрные каски из спрессованного картона, подпоясались ремнями с тяжёлыми стальными аккумуляторами, зацепили фонари на лбу за скобы на касках и пошагали к стволу. Спускались в клетки. Клеть – это лифт, большой и высокий, обшитый от пола до уровня головы грубо сваренными стальными листами, а выше открытый, так что видно, как он скользит по направляющим, как бетонные стенки ствола и всё что на них повешено мелькают перед глазами. К полу клетки приварены рельсы, на них загоняют вагонетки с углём, чтобы поднять на поверхность.

Пролетев мимо трёх "горизонтов", мелькнувших огнями, клеть, качнувшись, остановилась на глубине в четыреста метров. Отодвинув задвижку, распахиваем дверцы и выходим в руддвор, нечто

вроде забетонированной пещеры с двумя нитками рельсовых путей, ярко освещённой трубками ламп "дневного света". Пещера, плавно сужаясь, переходит в неосвещённый тоннель, похожий на тоннели московского метрополитена в промежутках между нарядными станциями, только поуже. По борту выработки провисают толстые бронированные кабели, подвешенные на крючьях.

Идём по деревянному трапу у борта вдоль рельс, под ногами хлопает чёрная жижа. Из тоннеля (квершлагом называется) сворачиваем в трапезиевидную выработку (штрек по пласту), креплённую деревом, потом в другую, потом поднимаемся вверх, снова в сторону – я совсем теряю ориентировку – и выходим к верхней части лавы. Это стена угля между почвой и кровлей, и стена эта спускается вниз по падению, то есть по уклону пласта. Крутизна – градусов, пожалуй, за тридцать. Такие пласты называют наклонными в отличие от пологих, крутых, горизонтальных и вертикальных.

Вдоль лавы по почве внахлестку уложены желоба. При таком заметном падении уголь по гладкому жёлобу сам скользит вниз или, как говорят горняки, идёт "самотёком". Я поднял с почвы кусочек угля и положил его в жёлоб, и он зашумел вниз по отполированному железу.

... в метре от угольной стены лавы (очистного забоя) через равные метровые промежутки стоят в ряд крепёжные стойки под дощатые верхняки, за ними в глубь, в черноте (в выработанном пространстве) – такие же повторяющиеся ряды. Пласт толщиной (мощностью) метра три с половиной, и стойки длинны и толсты, как столбы телеграфа. В тот час работ по добыче угля не велось. Лишь несколько человек занималось креплением. Глядя на них, я подумал: «Нелегко управляться с этими брёвнами».

Подземелье не испугало меня, толщи горных пород над головой, почитай в полкилометра, я никак не почувствовал, не было ощущения, что вот эта масса висит и своей тяжестью давит, и может обрушиться и всё раздавить. Было здесь, как в любом помещении, хотя бы и необычном, а работа – работа и есть, хотя бы и под землёй.

... а на тридцать восьмой параллели всё ещё шли бои.

... В конце сентября ли, или уже в октябре, когда был я в состоянии самом ужасном, не находя себе места, не мысля себя без Людмилы и понимая, что её у меня нет и не будет, ко мне подошёл Генка Краденов, студент нашей группы двумя годами старше меня, ростом ниже, большеликий, кряжистый, сильный. Лентяй Гена был первокурсник, но способный лентяй: без натуги на троечки закончил первый курс института, был развит, толков, много знал и читал, имел кое-

какой жизненный опыт. Происходил он из обеспеченной военной семьи, отец был полковником. Говорил Генка басом веско, размеренно обликом и повадками походя на известного киноактёра Андреева.

Генка знал, по всему, о моей незадавшейся жизни, безответной любви, и, когда подошёл, положив на плечо мне свою тяжёлую лапу, сказал: «Чего, Володя печалишься? Пойдём-ка, разведемся в ресторан».

Я плечами пожал: «Что ж, пойдём». Интересы к жизни я не утратил, и в ресторане было любопытно мне побывать, я там не был ни разу. Генка звал меня в ресторан, как старослужащий, проходя со мной "Курс молодого бойца".

... Было время пополудни ясного дня, выдавшегося после ненастья. Грунтовая дорога от долгих дождей превратилась в вязкое жёлтое месиво, на тропинке, которой мы шли через бор, наши ноги оскальзывались на размокшей глянцево-глине. Нежаркое солнце хотя и насыщало бор радостным светом, но грязь не могло подсушить. Стараясь не выпачкать ботинки и брюки, ступали по тропе мы весьма осторожно. Кроме того, ботинки были галошами защищены, а брюки подвёрнуты. Так мы и шли, в демисезонных пальто и с зимними шапками на головах.

... Ресторан в городе был один, за центральной площадью, где небесного цвета обком и облисполком с одной стороны и с другой – тяжёлая серая глыба здания МГБ. Вот за этой площадью, за домами и сквером приютился двухэтажный особняк ресторана с большой вывеской над двустворчатыми дверьми в правой части стены:

Ресторан "Кузбасс"

... оставив шапки, галоши, пальто в гардеробной, не менее праздничной и нарядной, чем в кафе "Мороженое" в Москве, по ковровой дорожке, прижатой к ступеням мраморной лестницы начищенными до ослепления медными прутьями, мы поднялись в зал на втором этаже.

При взгляде на роскошь, богатство огромного зала с окнами на две стороны, на его лепнину, люстры, ковры, тюль, шёлк портьер, на столы с крахмальными, как на морозе хрустящими, скатертями, с хрусталём рюмок, бокалов и ваз, я слегка растерялся, и понятная робость охватила меня, но Геннадий как бывалый завсегдатай решительно двинулся через зал и уселся за столик. С независимым видом я повторяю его движения и усаживаюсь подле него.

... к нам подходит официантка в белом чепчике, Генка, глядя в раскрытую книжку меню, начинает делать заказ, советуясь в то же время со мною. Мог бы и не советоваться. Я со всем соглашаюсь.

... минут через тридцать на нашем столе чего только нет. И отпоевший графинчик с чистой, как слеза, водочкой в нём, и бутылка розового ликёра, и салаты из помидор, из крабов жареных с луком, сёмга, что-то ещё. Всё зелёное, красное, розоватое, золотистое, жёлтое.

Пир начался. Опрокинули по рюмке ледяной водочки – хорошо пошла – и принялись с жадностью оголодавших людей за закуски. И крабы "Снетка", которых я до того и на дух не терпел, в этом жареном виде с лучком показались мне вкусными чрезвычайно. С тех пор я и вкус нежареных крабов стал оценивать высоко.

... по второй выпили перед первым – наивкуснейшей мясной сборной солянкой. По третьей перед бефстрогановом с картофелем фри и зелёным горошком в вазочке из запечённого теста. Всё было приготовлено превосходно, еда во рту так и таяла. А как вкусна была коричневая подливка! Я отламывал от куска хлеба маленькие кусочки и, нанизав их на вилку (знали, знали и мы кое-что из правил хорошего тона!), макал в эту подливку и отправлял себе в рот.

... сладкое уже смаковали с ликёром. Оркестр играл щемящую танцевальную музыку, разрывавшую моё пьяное сердце. Потом боль ушла почти целиком, оставшись лишь мягкой печалью безотносительной к чему бы то ни было. Мы сидели за столиком долго, давно потемнели узкие треугольники стёкол между портьерами: была глубокая ночь, но мне уходить никуда не хотелось. Однако Геннадий, посмотрев на часы, сказал: «Володя, пора! Иначе не успеем на катер».

И тут что-то случилось со мной. Я не помню, как он расплатился, как мы в гардеробной оделись. Лишь ступив за порог ресторана и глотнув свежего холодного воздуха, я вновь себя ощутил и почувствовал, что ноги плохо слушаются меня, но голова была светлой. Я ступил вперёд, покачнулся, но Генка успел меня подхватить. Я тут же от него отстранился, и мы пошли тёмным городом к пристани. Переход этот снова вне памяти – сознание отключилось. И неожиданно возвратилось у берега: я чётко вижу фонарь над водою у пристани, другой светит рядом на ступени деревянной с перилами лестницы, сбегające вниз, к мосткам, проложенным по мелководью к барже-причалу.

... тут что-то случилось: я, без всякого промежутка во времени и пространстве, как электрон при перескоке с одной оболочки в другую, нахожу себя в совершенно ином положении. Я лежу на спине лицом к небу, смотрю вверх в ночную небесную черноту с яркими звёздами, и мне так приятно, покойно. Возле уха ласково плещет вода. Хоро-шо!

... вдалеке над мостками возникают какие-то вспышки, я смотрю – Генка Краденов, перегнувшись через лестничные перила, чиркает спички одну за другой, освещая чёрную сонную воду: «Волдя, где ты?» Я подаю голос... и снова провал. Сознание приходит в лесу. Мы тащимся той же тропинкой, только сейчас она кажется ещё более неустойчивой, скользкой и для ходьбы совсем непригодной. В голове у меня великолепная ясность, сознание чистое, я чётко осознаю, что я сильно пьян и поэтому должен буянить. Но буйствовать мне не хочется, а вот похулиганить я вовсе не прочь. Я стаскиваю шапку с Генкиной головы и макаю её в грязную лужу, понимая, что поступаю нехорошо. Генка шапку у меня отбирает и, поддерживая под руку, ведёт меня дальше.

«Удивительно, как он деликатен со мною», – думаю я. – «За шапку можно бы было и в морду мне дать». Я искренне благодарен товарищу и лезу его обнимать (опять-таки понимая, что я грязен, как чёрт, и не надо бы этого делать, но нужно же пьяному что-либо выкамаривать). На этот раз Геннадий не столь деликатно обхватывает меня и обтирает моё пальто со мной, заключённым в него, о шершавую кору притропиночных сосен. Ошмётки грязи отдираются от пальто.

... потом мне говорили, что сосны с глиной от моего одеяния несколько дней показывал Гена студентам как свидетельство моих походов.

... обтерев меня поелику возможно, Геннадий поднимает ворот моего пальто и, отступив, хватает меня за шиворот вытянутой рукой, как котёнка, и ведёт теперь впереди себя на расстоянии этой самой вытянутой руки. Да... Поистине благороднейший человек, Генка Краденов. Верный друг. Я переполнен чувствами благодарности и порываюсь обернуться, обнять и расцеловать такого товарища. Но Генка цепко держит меня поодаль и вывернуться не даёт. Не понимает, как я его люблю.

... мы вышли из леса – я вновь отключился. Не знаю, как ему удалось провести мимо дежурного мокрое чудовище, вывалянное в грязи? Провёл и доставил в комнату. Распахнул дверь, ввёл меня через порог: «Получайте!»

... с этими словами я отрезвел окончательно, пришёл в сознание то есть, а Геннадий исчез. Я стоял у двери в грязном пальто, с липкими от жидкой глины руками, и, покачиваясь, осматривал комнату. Ребята ещё не спали, но уже раздетые лежали в постелях. При виде меня они разом, как заводные, сели в кроватях, свесив голые ноги.

Прилив добрых чувств охватил меня при их виде: это ж мои товарищи, и вот я цел, невредим среди них. Дай, пойду, обниму. Я шагнул к Юрке Савину, но он объятий моих не принял, а, шарахнувшись в сторону от протянутых рук, оттолкнул меня на Веньку Попкова. Тот уже был начеку и падения моего на свою постель не допустил, аккуратно сплавив меня Гаргонову. Гаргонов же, грубо, бесцеремонно перебросил меня к Пете Скрылёву. Петя с яростью отшвыривает меня через комнату к кровати моей. Но не такой я дурак, чтобы падать на свою чистую, аккуратно застланную постель, я, извернувшись, направляю полёт свой в сторону Сюпа. Он подхватывает меня на лету, и я вновь отключаюсь.

... просыпаюсь я поздно. В комнате нет никого, все ушли на занятия. Я лежу раздетый в постели. Рожа и руки мои вымыты, грязное пальто, шапка, брюки, пиджак, ботинки, галоши свалены в кучу возле кровати.

... против ожидания, чувствую я себя ничего, словом, неплохо, но на лекции идти не могу: не в чем. Да и с кучей одежды надо что-то же делать? И я тащу все свои вещи в умывальную комнату, оттираю с брюк и пальто засохшую грязь, мою ботинки, галоши снаружи и изнутри. Поговорка «Грязь не сало – потёр, и отстало» оправдывается не вполне. На чёрном сукне в отщёртых местах выделяются сероватые пятна, и ничего с ними поделаться я не могу, пока не догадываюсь чистить их совсем мокрой – вода бежит – щёткой.

... пребывание в умывальне не проходит бесследно, кое-что запечатлевается в памяти и даёт мыслям моим новое направление: «Не всё так страшно, что со мною случилось. Дело житейское...» Пройдя в соседнюю комнату к писсуарам, я неожиданно разглядел полустёртую надпись:

«Пьянствовать, так пьянствовать», – сказал Ромка Некрасов, окуная свой длинный нос в очередной писсуар.

Роман Некрасов, был малый хороший, и не малый вовсе, а очень большой, только сутулость чуточку его пригибала, учился у нас в прошлом году. Виды он уже повидал, судил обо всём умнее и более трезво, чем мы, едва вылупившиеся цыплята. Но был у него один грешок, недостаток, если хотите, немало осложнявший его жизнь, но не убавлявший его жизнелюбия. Ромка любил выпить немного чаще и намного больше, чем следует. Может быть, поэтому крупный нос его, а вовсе не длинный, был всегда малинового оттенка. И уж коли Роман запивал, то не меньше чем на неделю. Денежки у него временами бывали немалые – отец тоже полковник. Ох, уж эти мне полковничьи

дети! Скольких из них водочка погубила?! В нашей группе тоже сопьётся один из таких, но это будет попозже, а Роман весеннюю сессию завалил и отбыл из института... Но что значит печатное слово: человека давно уже нет, а память о нём жива.

Второе произведение касалось особы женского пола, но кого именно, выяснить не удалось, стёр кто-то, но, наверняка, не сама:

Она е_ётся, как Венера,
И всем желающим даёт.
Хотел бы знать, какого _ера
Она с них денег не берёт?

Оно мгновенно запоминается, не вызывая эмоций... Но сказано складно.

... к приходу ребят вся моя одежда уже сушится на вешалке и на спинках стульев.

... На следующий день я, как штык, в институте, трезв и ясен, и немного смущён, но о случившемся никто мне ни слова. Позже от Краденова узнал, что когда мы подошли к спуску к пристани, я перевалился через перила и во мраке исчез. Генка перепугался, думал, что я утонул. А я себе блаженно в реке на мелководье лежал, созерцая далёкие звёзды.

Самое невероятное, что я ничего не ушиб. На теле ни ссадины, ни синяка. Недаром говорят: «Пьяному море по колена». А ведь была приличная высота, метра три, если не больше. Всё же я, похоже, не рухнул, я скользнул по откосу.

Повезло!

... попковское цитирование надписи на Люсиной фотокарточке не даёт мне покоя. А цела ли сама фотография? Как же я не догадался тогда, в чемодане роаясь, проверить?! Я вытаскиваю чемодан из-под кровати, отыскиваю паспорт в нём, раскрываю его. Нет. Фото Людмила лежит под обложкой. Но что это значит? Да ничего, ровным словом. Могли посмотреть и сунуть на место. Так что я остаюсь с недоказанным подозрением.

Заодно проверяю, цел ли мой перстень, который прячу на дне чемодана под газетным листом. Вот он: тонкий золотой ободок с двумя волнистыми вычурными канавками и двумя в золотых розеточках изумрудами, от которых – трилистник с бриллиантиками на концах под загнутыми золотыми зубцами. Зачем я взял этот перстень летом у мамы – валяться под бельём в чемодане? Может, хотел подарить любимой своей?

Иногда я надеваю его на безымянный палец руки и, полюбовавшись, снимаю. Зачем я делаю это?

... по вечерам в нашей комнате пусто, как правило. Но случилось, что все были в сборе и тогда разгорались споры о политике (и о корейской войне), о природе любви. Тут я хранил гробовое молчание, а говорил больше всех Юра Савин,

Увлёкшись, он рассказывал о своей возлюбленной, оставшейся в Подмосковье, где он раньше жил. Причём сильно вдавался в интимные подробности: как он её раздевал, как она его к себе допускала, но только с самого краешка, и он это требование выполнял, чтобы не нарушить девственной плевы. Ну и выдержка! Он любил её и ей верность хранил, а она, по всему, не весьма ему доверяла...

... о подобных вещах, если бы что-то такое случилось со мною, я бы никогда не болтал. Да и никто другой о своих отношениях с женщинами не говорил, о любви рассуждали вообще, есть таковая или нет, если есть, то что же это такое?

... С первых дней ноября шли дожди, перед праздником снег навалил, и сразу ударил мороз до двадцати градусов.

Но, как прежде, мы на лекции в институт бегали без пальто и без шапок – что нам стоит дорогу перебежать. Неохота время терять на одевание дома и потом в раздевалке. ... Вход в институт, как известно, был со двора. Он начинался "предбанником" с настежь распахнутыми дверьми. В дверном проёме был порог, и за время дождей на пол сумрачного предбанника перед входом в вестибюль натаскали ногами лужу воды, которая не могла сама стечь, а убрать её, вытереть, не удосужились. С морозом вода превратилась в ледяную дорожку, тем более скользкую, что каждый студент считал своим долгом с разбегу прокатиться по ней.

... в один из дней конца ноября, разбежавшись на перемене от общежития в институт и обогнув выступ здания, я влетел на ледяную дорожку, оскользнулся и рухнул ничком. И всё было бы ничего, я бы на руки приземлился, да в момент, когда падал, растворилась дверь вестибюля, из неё шагнул человек, вынесся вперёд ногу, согнутую в колене, и я с размаху лбом попал на колени. Человек прошёл мимо, а я еле поднялся. В голове качалось, мутилось, она болела невыносимо. Идти дальше не было смысла. Я повернулся и поплёлся назад в общежитие, где завалился в кровать. К утру качка и муть прекратились, но боль ни на чуточку не отступила. Я спустился в медпункт, откуда меня направили в поликлинику в центре нашего района, где я попал к невропатологу Патрушеву Павлу Ивановичу. Он внимательно

осмотрел меня и решительно отправил в больницу, в одноэтажное деревянное здание, стоящее за поликлиникой в старом саду.

Поместили меня не в зале, где людей было много, человек около двадцати, а в отдельной палате на четверых, где я занял свободную койку справа от входа возле двери (точно так, как в комнате общежития). В первый день я отлёживался и отъедался на казённых харчах. Мне объяснили, что над больницей шефствует шахта "Центральная" (немало, видно, шахтёров бывало в этих стенах), у которой подсобное большое хозяйство, и оно снабжает больницу дополнительными продуктами. Так что кормили обильно, и вкусно притом...

На другой день Патрушев меня посетил и назначил лечение, из которого помню хвойные ванны и настойку женьшеня. О чудесном и редком женьшене я был слышан и удивился той лёгкости, с какой я получил это лекарство. Настойка была, как настойка, на спирту, тёмные капли. В воде – без всякого привкуса. А вот хвойные ванны мне понравились: нежась в тёплой воде, я вдыхал аромат соснового леса.

Вскоре мне сделали подсадку алоэ. Эту "операцию" – сантиметровой надрез кожи на животе я перенёс очень болезненно. Местный наркоз – новокаиновая блокада – на меня не подействовал, будто резали по живому. Особенно болезненно было сшивание, губы все искусал, чтоб не вскрикнуть.

... прошла неделя, другая, но боль в голове не утихла. Павел Иванович сказал, что мне нужно бывать больше на воздухе, и разрешил прогулки по территории. По его указанию мне выдали вещи в приёмном покое, и я перенёс в палату костюм, шинель, шапку и валенки.

... теперь каждый день выходил я на улицу, сначала во двор, а после и за ворота. Дорога, что шла мимо больницы, пролегала на метр ниже откоса, по которому протоптали тропинку, и где я и прохаживался. Однажды иду безмятежно, предаваясь думам своим, как вдруг сильный удар под колено сбивает меня в снежный сугроб. Вскочив, я увидел удалявшийся грузовик. Левый борт его кузова был отброшен, свисал вниз к колёсам, и наружу посунулись рельсы, уложенные в кузове поперёк. Вот они и поддели меня под колено. Слава богу, хоть краешком, даже брюки не порвало. А шофёр-то, каков негодяй?! Даром, что правила все нарушил – рельсы можно только назад из кузова выпускать с красными сигнальными лоскуточками, – так ещё и не остановился, хотя в зеркало не видеть не мог, что сбил человека. А ведь и посигналить бы мог, знал, как у него рельсы лежат. Жаль, не догадался на номер взглянуть. Стрелять таких надо! Я чертыхнулся, отряхнул с себя снег и повернул обратно в больницу.

... больше я по откоосу этому не гулял, стал выбираться на улицы, знакомясь с окрестностями. Раз даже сходил к себе в общежитие. Чувствовал я себя, в общем, неплохо, только голова непрестанно болела.

... кончался декабрь и в последнее его воскресенье, когда обход делал не Патрушев, а дежурный врач, большая толстая баба, она набросилась на меня с грубой бранью:

– Что вы себе позволяете, шляется, где попало. Вам разрешили прогулки только возле больницы, а вас на улице видели. Это вам не курорт!

– Ах, не курорт! – взорвался я и психанул, – ну так сами и оставайтесь на вашем курорте!

Я сунул ноги в валенки, набросил на плечи шинель, нахлобучил на голову шапку и, хлопнув дверью перед окаменевшей от моей наглости докторшей, ушёл в институт с ощущением, что я сделал что-то не то.

Через несколько дней я пришёл в поликлинику к Патрушеву (мне нужна была справка, иначе стипендию бы не получил), объяснил ему свой поступок. Он понял меня, и я до сих пор ему благодарен. Тут же я узнал и диагноз: контузия.

Голова моя ещё очень болела, но со временем боль незаметно прошла.

... был канун Нового года. Студенты сдали зачёты, я же безнадежно отстал. В деканате это учли и предложили мне взять академический отпуск. Я категорически от этого предложения оказался, заявив, что смогу сдать экзамены наряду с обучением в четвёртом семестре. Тогда Горбачёв приказом по институту продлил мне третий семестр на два месяца. В январе я должен сдать все зачёты, а до апреля – экзамены. На этот же срок мне сохранили мою повышенную стипендию.

Итак, этот вопрос был решён, оставалось лишь встретить пятьдесят второй год двадцатого века. К Новому году получил я от мамы посылку: пирожки с вишнями, бутылку с вином (с перебродившими вишнями) и семечки подсолнечника и тыквы. Пирожки из кислого теста вызвали обидную для меня высокомерно-презрительную критику Сюпа (чего от него я не ожидал), тем не менее, общими усилиями посылка была съедена в один вечер.

Случилась и ещё одна радость нечаянная. Тётя Дуня, тайно от Левандовского скопив сто рублей, прислала их мне к Новому году. Сумма невелика, но кстати.

... и ещё получил я несколько писем, от Жоры Каракулина, от Василия Турчина (со снимками, запечатлевшими меня на вершине),

от троюродной сестры, Нади Дядьковой, из... Китая (муж её лётчиком был, и, как оказалось, умело защищал небо "братской" страны, четыре китайских ордена получил за сбитые самолёты). Получил неожиданное письмо от Виталия Крока из... Новосибирска. Я и не знал, что в прошлом году он не сумел поступить в институт, а вот в этом стал студентом Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. Крок приглашал меня в гости на зимних каникулах, но его приглашением по известным обстоятельствам я воспользоваться не смог.

... В нашей группе произошли изменения. Отчислился Краденов, исключили двоечника Савоськина, но прибыло пополнение. Пожилой (лет под тридцать), рассудительный, здравый Байбарин. Его назначили старостой. Перевёлся из Томска к нам Женя Сырцев, сверстник наш, худощавый парнишка с чуть нескладной фигурой и чуточку ниже меня. Был он местный, жил с родителями в посёлке Герард.

А в пятую группу из Томского политехникума перевелась Нина Левчунец, красавица дивная. Подобных в жизни не видел. Я остолбенел, увидев её лицо, да и фигурой она была хороша. Я как раз был убит отказом Людмилы, и один Нинин взгляд на меня мог меня воскресить. Но она была в другой группе, а я способа для знакомства не изобрёл, и пока терял время, очаровываясь божественным ликом, а потом "отдыхал на курорте", вокруг неё стал увиваться, студент той же группы Малышев, спортсмен, мастер спорта по какому-то серьёзному виду. И я сразу понял, что засматриваться мне на Нину не след. Недоставало мне одной несчастной любви.

Вот так и в таком окружении подошёл я к Новому году.

... Снова включено радио. Стол накрыт газетой с нехитрой закуской. За столом восседают мои скрытые друзья и явные недруги. Юрка Савин ударом ладони о дно распечатывает первую бутылку водки, прозванной нами "сучок" за её гадостный вкус – намёк, что происходит она не из зерна, скорей – из отходов лесопильного производства, – а затем и вторую, наливает всем по стакану, и с последним ударом курантов, мы залпом осушаем до дна их за удачу в Новом году.

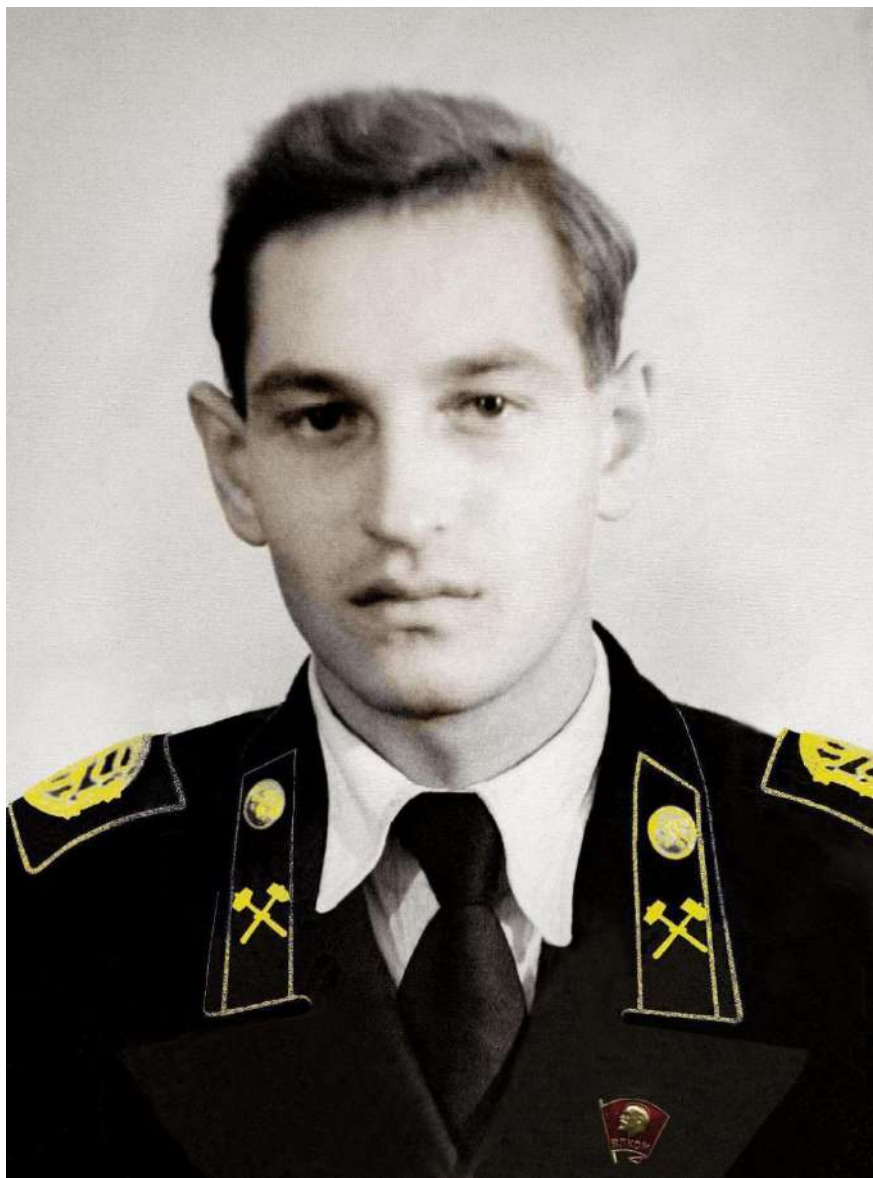


Рис. 13. Студент второго курса КГИ

1952 год

Как и в прошлом году, мы отправились в институт, как и в прошлом, щипало сердце "уходящее солнце...", снова подавали надежду "пальцы наших встретившихся рук..." и тотчас её изгоняли: я не умел танцевать, и мои пальцы ни с чьими пальцами встретиться не могли.

Началась сессия, и мысли мои обратились к делам. Ребята сдавали экзамены, я писал курсовые работы, сдавал зачёты. Но в момент отвлечения от дел безысходная тоска сжимала мне сердце: неужели всю жизнь быть без любимой? – и понимания не было в голове, что смогу кого-либо, кроме Володиной, полюбить. Казалось, свет на ней клином сошёл.

А как же Ниночка Левчунец? В неё мог бы влюбиться. А вот обобщенья из этой мысли не сделал.

К концу сессии все зачёты и курсовые работы я сдал и был допущен к экзаменам. По отзывам наших ребят, экзамены в этом году были трудными чрезвычайно. Особый ужас у многих вызывала теоретическая механика, там двоек было получено больше, чем по всем пяти остальным дисциплинам. Так что многим студентам предстояла её пересдача.

Порядок экзаменов и время к ним подготовки я устанавливал себе сам, только перед экзаменом надо условиться с заведующим кафедрой по предмету о дне и часе экзамена.

Из шести экзаменов в памяти лишь волнение перед одним. По теоретической механике этой самой. Не из-за трудности её пресловутой. Никакой трудности не было. Раскрыв учебник, я убедился, что предмет лёгок, логичен, всё последующее стройно вытекает из предыдущего. Там, где есть логика, там не существует никаких трудностей для меня, там родная стихия. Переволновался же я вот почему. Договорившись с заведующим кафедрой, по фамилии Соловьёв, на десять часов в воскресенье, я спокойно пребывал в ожидании этого дня. Сам Соловьёв производил хорошее впечатление, был он добродушным флегматиком огромного роста и такой же комплекции – увалень. Он ходил медленно, вперевалку, словно медведь, всё делал размеренно, не торопясь.

... в воскресенье в девять пятьдесят пять я прохаживался в коридоре у дверей его кабинета. Но вот миновало и десять ноль пять, а он не пришёл. Вот на часах в коридоре уже и десять пятнадцать, десять тридцать, и я начинаю всерьёз беспокоиться, а вдруг он совсем не придёт? Но жду, жду уже почти обречённо. Хотелось скорее свалить бремя экзаменов.

... Пробыло одиннадцать, я совершенно расстроился и хотел уходить, как в конце коридора появилась массивная фигура в шубе и в меховой объёмистой шапке. Подойдя ко мне, Соловьёв виновато проговорил: «Извините за опоздание. Я так торопился...»

... ни мускул не дрогнул в лице моём, но внутри я весь затрясся от хохота: представить, что он торопился?! Нет, это свыше всяческих сил!!!

В кабинете, раздевшись и усадив меня против себя за столом, он долго гонял меня по всему курсу и, наконец, неторопливо вывел в зачётке каллиграфическим почерком на загляденье красиво «Отлично» и так же медленно расписался. Это был последний экзамен. О предыдущих пяти знаю только одно: подготовившись, я приходил, отвечал и уходил, унося в зачётке ту же отметку.

Всё! Экзамены сдал я досрочно, до первого марта. Отныне я снова свободный студент!

... а первого марта объявили об очередном на десять-пятнадцать процентов снижении цен на пищевые и промышленные товары. Спасибо партии и правительству за заботу!

... легко было тогда ежегодно цены снижать понемногу, после того, как взвинтили их в сорок седьмом до немыслимой высоты. Об этом люди забыли и воспринимали медленное приведение цен к нормальному виду, как благодеяние.

... Ещё в конце зимы, когда о головной боли после контузии я забыл начисто, явилась новая напасть: я перестал засыпать при свете и шуме. Почему-то обычно я укладывался раньше других, а радио, непрерывно включённое, вещало до двенадцати ночи. До этого времени и свет обычно горел, ребята то разговаривали, то занимались кто чем: кто читал, кто корпел над чертёжной доской, кого быт донимал – одежду чинил или драил пуговицы тряпочкой с асидолом. Всё это, что раньше ничуть не мешало, теперь не давало заснуть. Лежу с сомкнутыми веками и не сплю, пока не угомонятся и не выключат свет, и, в полночь, пропев Гимн Союза, не отключится институтское радио. Впрочем, утром просыпался я вполне отдохнувшим, но недостаточно свежим.

Изредка я ложился в одежде на застланную кровать с раннего вечера подремать на боку, поджав к животу колени свои и зажав кулаки между ними, то есть в позе готового внезапно вскочить человека, защитившего "божий дар" от неожиданного удара.

И именно в эти часы к нам в комнату входила Людмила. Я делал вид, что сплю, она не задерживалась обычно, что-нибудь спрашивала у ребят и уходила. Меня же приходы её волновали, сердце ныло и радостно, и тоскливо, будто ожидало чего-то, в то же время понимая, что надеяться не на что.

... Как-то в начале весны, проходя мимо Стандартного городка, я встретил молодницу, в квартире которой в прошлом году я, будучи агитатором, проводил беседы свои.

Мы поздоровались, разговорились Девушка, как мне показалось, была настроена ко мне благосклонно, но мне она совершенно не нравилась. Некрасива, лицо грубовато, невыразительно, и интересы её не выходили за пределы обыденных домашних забот. Я же романтик, мыслил "в масштабах вселенских", и с детства "борьба за освобождение человечества" стала моей внутренней сущностью. Так что ничто не влекло меня к этой девушке. Но дружеских отношений, которые с нею сами собою наладились, у меня не было причин порывать. В другой раз мы снова встретились с нею на улице, и она, сказав, что идёт с работы и голодна, пригласила меня к себе пообедать. Дома не было никого, мы были с нею наедине – отец её в ту смену работал, – и меня к ней потянуло желание. Что там ни говори, я мужчина, и моё воздержание было порой нестерпимым. Так что же тут удивительного?

Какое-то время мы оживлённо болтали, но разговор вскоре угас, исчерпался запас тем для него. Люди мы разные, она работница шахты и интересы у неё приземлённые, я же витал в облаках, жил мысленно в мире возвышенном, утончённом, но... шла весна, грубые соки земли бродили не только в кустах и деревьях, распирая набухшие почки, но и во мне.

... животная человеческая природа требовала своего.

По ночам меня преследовал сон, один и тот же практически, лишь с различными вариациями, в итоге сводившимися к одному и тому же. Снилось, что мы выезжаем на лыжах с Людмилой (в подсознании, крепко засело наше "скольжение" в позапрошлом году), скользим по лыжне и... попадаем в пургу. Нас заносит сугробами снега, под сугробом мы обминаем себе конуру (так я в детстве делал в Архангельске)... Под снегом мы в ней сидим, тесно прижавшись друг к другу, я объясняюсь в любви, целую её в тёплые губы, и она

отвечает на мой поцелуй. Я целую её ещё и ещё, и нам становится жарко. Одежды сброшены на утопанный снег. Я обнимаю её горячее голое тело, прижимаюсь грудью к её упругой груди, и растёт во мне невыносимо сильное напряжение и сладостное желание: я касаюсь её, начинаю погружаться в неё и... просыпаюсь в самый неподходящий момент, тяжело дыша, испытывая неслыханное по силе своей наслаждение, но всё же и ущербное в чём-то, незавершённое до конца. А простыни заливают потоки душевной обжигающей плоти.

Иногда сон начинается иначе. Мы в лесу, я спасаю её от медведя, после чего – вновь мы в знакомом сугробе, где всё дальше идёт по обкатанному сценарию.

... но сны иллюзорны, бесплотны, а рядом реальная женщина, упругая, молодая, и её крепко сбитое тело притягивает к себе. Я обнимаю её, мы целуемся и целуемся, и чем больше, тем дольше, страстнее становятся поцелуи. Лицо её просто в огне. Я валю её на кровать, и теперь мы целуемся лёжа, в тесных объятьях. Возбуждение моё возросло до предела, я пытаюсь задрать её юбку, но она мне этого не даёт. Возможно от ласковых слов и моих поцелуев в губы и в грудь, она бы, мне уступила, если бы я из-за своего нетерпения не сморозил несусветную глупость. Знал я, что девушки часто сами желают отдаться, но при этом хотят выйти замуж и девственность берегут. Ты её не возьмёшь, а что скажет будущий муж? Но ей чего в этом смысле бояться? Изнемогая в сладкой борьбе, распалённый желанием, я в сердцах простонал: «Ну почему ты упрямисься? Ты ведь уже была замужем!»

... Лучше бы я этого не говорил! Ах, как она взвилась после этого: «Значит, если я была замужем, так со мною всё можно?!» – и вскочила с постели... Я виновато молчал. Что тут можно сказать? Если бы она нравилась мне, я попытался бы как-то всё сгладить. Но лгать не хотел. Мне было стыдно лишь за бестактность. «До свиданья», – сказал я и ушёл.

... обычным препровождением времени, кроме хождения на лекции или в кино, было у меня чтение книг. За два года я прочитал всего изданного в Союзе Оноре Бальзака, все романы Эмиля Золя, открыл поэзию Генриха Гейне и лирику Виктора Гюго, однако первый меня особенно не задел, а вот второго я полюбил, мой поэт. До этого я знал Гюго лишь как выдающегося романиста и блестящего публициста, но не знал, что он превосходный поэт. Из русских писателей я увлекался Иваном Тургеневым, Львом Толстым, Куприным, Короленко, Маминым-Сибиряком, Гариным Михайловским.

Не чурался я и советской литературы. Причём читал с интересом всё без разбора. Вкус у меня ещё не выработался.

Проглотил нашумевший (бездарный и лживый, как понял позднее) роман Ажаева "Далеко от Москвы". С наслаждением прочёл "Русский лес" Леонида Леонова. И не только интрига меня увлекла, но и язык, его образность. В книгах я никогда не пропускал описаний природы или рассуждений писателя, за голым сюжетом не гнался. Богатство, сочность, красочность языка не были для меня пустым звуком. И у Леонова они меня впечатлили, я внимательно вчитывался в него, впитывал в себя все сравнения, эпитеты, обороты и впервые с горечью понял, что так образно писать никогда не сумею. А что бы сказал, если бы Бунина мог тогда прочитать?!

Ныне удивляюсь впечатлению своему о "Русском лесе" Леонова, перечитав его в 2005 году, поразился убожеству его стиля, расхожим газетным штампам его рассуждений.

... Учением себя я особенно не утруждал, хотя к практическим занятиям, семинарам, коллоквиумам я готовился добросовестно, всё давалось мне быстро, легко. С удовольствием я читал, конспектировал "Капитал" Карла Маркса. Всё в нём было понятно, логично и всё хорошо объясняло. Как я был неразвит? Не понимал, что не все стороны жизни человеческого сообщества Маркс принимал во внимание – психологии человека и масс, словно и не было для него.

Других занятий не помню, кроме курса "Технология металлов". Мы слонялись по большому низкому залу механической мастерской с напильниками разных "калибров", драили ими шлифы, полируя одну из сторон пастой Гоя до зеркального блеска. Здесь меня постигла первая неудача: до блеска-то я свой шлиф доводил, но сохранить плоской поверхность мне не удавалось никак, я обязательно один угол "заваливал". Почти все студенты сдали шлифы и сидели за микроскопами, изучая структуру стали, выявляя зёрна феррита, перлита, чистого углерода, а я всё возился с напильником, пытаюсь исправить поверхность своего образца. Сдирал всё начисто грубым драчёвым напильником, потом зачищал грань более и более мелкими, шлифовал, полировал и... заваливал уже другой угол. В конце концов, зав кафедрой Курлов пожалился надо мною, принял мой шлиф и допустил к микроскопу. Луч света осветил зеркальную поверхность мою, а в микроскопе вместо отражённого блеска я увидел, как разбитые беспорядочной сеткой расположились зёрна кристаллов железоуглеродистых сплавов. Сетка, неправильные кристаллы, вкраплённые в чёрную массу. И всё.

... С ребятами в комнате у меня давно всё уладилось. Никто меня не подначивал. И из них всех я сблизился с Петей Скрылёвым, прыщеватым парнишкой из тамбовской деревни. Был Петя человеком способным, но лентяем отчаянным, без каких-либо устремлений, лежащее положение, как Илья Ильич Обломов, предпочитая всему, и из троек поэтому не вылезал, но и двоек не получал никогда. Больше трёх лет мы с ним были приятели, но друзьями не стали, ничто, видимо, друг к другу нас не влекло, а сблизило обоюдное одиночество. У Сюпа была возлюбленная в Европе, у Попкова – девушка в Туре за Омском, к северу, на Иртыше, откуда он родом, и он ей верен был, Гаргонов хаживал к студенточкам пединститута, лишь у нас с Петей не было никого, и потому он стал моим неременным спутником в частых походах в город в кино, а затем и в театр музыкальной комедии.

По дороге в кино мы сворачивали к магазинчику, где покупали по кулёчку конфет, самых дешёвых – кофейных, а по мне, просто соевых. И фильмы смотрели – шли бесконечные серии о Тарзане, – заедая конфетами. В оперетте мы такого не позволяли, обстановка другая, публика поинтеллигентней, нарядней, и настроение наше приподнятей. Оперетту мы полюбили, и каждая туда вылазка была для нас праздником.

... о филармонии я понятия не имел, а вот почему в драмтеатр не ходил, объяснить не могу. Будто тоже о нём не знал ничего, будто не был в том здании в библиотеке. А ведь ещё в голове воспоминания жили об эпизоде во время культпохода студентов на первом курсе в театр. Я тогда с ними не был, возможно, болел, но рассказов от очевидцев наслышался. Набралось наших ребят около двухсот человек, разместились они на самых дешёвых местах на балконе и в антракте после первого действия по почину Савоськина решили созорничать, пока публика не вышла из зала, с кресел подняться ещё не успела. Разделились студенты на три равные группы и все три гаркнули разом, но разное. Одна – "ящик", "хрящик" – другая, и третья – "очки". В результате громовое "а-ап-чхи" потрясло стены зала, а заодно и всех театралов в партере, внизу. Весь партер вскочил, как ужаленный, и, задрвав головы, смотрел на балкон. И тотчас же из рядов его понеслось: «Хулиганы! Оболтусы!» Но их мало вверху кто услышал: студенты толпами валили во все двери на перерыв.

... Кроме удовольствий "духовных" не чурались мы и земных наслаждений. Была у нас прозаическая мечта перепробовать все компоты, варенья и джемы, что в огромном разнообразии выпускались тогда и исчезли в правленьё Хрущёва, провалились в тартарары. Заодно

мы прибавили к ним овощные, рыбные и мясные консервы, так что с каждой стипендии мы покупали парочку новых банок, как минимум.

... Была и вторая мечта, перепробовать все ликёры, наливки, настойки и вина страны. Её достижение осложнялось относительной дороговизной продукта, хотя по сегодняшним меркам цены были чрезвычайно низки. И если первая мечта осуществилась до окончания института, то вторая, бурно начавшись, растянулась на жизнь, так и не завершившись из-за распада Союза: о советских винах пришлось позабыть.

... Да, натянутость в отношениях с ребятами зимой постепенно рассеялась. О Скрылёве я написал. Сюп настроен ко мне был весьма дружелюбно, хотя более тяготел к Кузнецову с Рассказовым. А отсюда и у меня возникала с ними какая-то связь. Они много рассказывали о своём Казахстане и о "дружбе народов", как казахи, выпендриваясь и бия себя в грудь, возглашали прилюдно: «Я хозяин страна!», что и впрямь в самом деле тупому русскому большинству в девяностых годах показали. И ещё интересно было узнать о национальной музыкальной культуре: сидит казах с домброй на глинобитном дуване и тянет одну заунывную ноту со словами о том, что видит перед собой: «Один верблюд прошёл..., второй верблюд прошёл..., третий верблюд прошёл...», – и так до наступления ночи... Но я отвлекаюсь. С Попковым, конечно, никакого сближения быть не могло, но вёл он себя ровно, и я тем же ему отвечал. А с Гаргоновым не было вообще ничего. Пустое место вместо Гаргонова.

Вечерами порой моим сотоварищам становилось, видимо, скучновато, и они устраивали шумные развлечения. Битва подушками – самое простое из них. Я только в детском садике делом таким занимался, и теперь вот снова приходилось в него вовлекаться. Что делать?! Если в меня швырнули подушкой, должен же я удар этот как-то парировать.

... были забавы и посложнее. Приходил Юрка Савин с огромным кульком печенья, усаживался на кровать и начинал всех печеньем забрасывать по крутой траектории. А адресаты, широко рты разинув, ловили ими летящие к ним печеньюшки. Хватил их на лету – и сразу же лопали. У Попкова, Гаргонова, Скрылёва, да и у Сюпа, когда у него кулёк отнимали и бросали печенье ему, всё получалось удивительно ловко. Они с налёту заглатывали квадратик печенья, не промахнувшись ни разу. У меня так ни разу не получилось, печенье падало на пол, и я попросил, чтобы не тратили его зря на меня. Не будешь же поднятое с полу совать себе в рот...

... Иногда с нами бывали курьёзные случаи. Как-то с Петей Скрылёвым в центральном универмаге делали мы покупки. Я купил две пары носков, Петя – трусы. Пока мы ходили в кассу чеки оплачивать, покупки нам, как обычно, завернули в бумагу. Отдав оплаченные чеки молоденькой продавщице, мы забрали вручённые ею нам свёртки. В общезитии, свёрток свой развернув, Петя в нём обнаружил не трусы, а... бюстгальтер. То-то хохоту было! А представьте себе, что испытала та дама, которая покупала бюстгальтер, а нашла дома в свёртке мужские трусы.

... в универмаге назавтра Петя бюстгальтер обменял на трусы. А когда дама меняла трусы, нам неизвестно.

... Утро перед занятиями. Побрившись, я полез в ящик тумбочки за кремом для смягчения кожи после бритья и нашарил там целых два тюбика. «Ч-чёрт! Новый купил, забыв, что старый не тронут. А зачем мне два тюбика?» – тут взгляд мой упал на Гаргонова, брившегося за тумбочкой у себя, и я крикнул ему: «Толик! Подарить тебе крем "после бритья?"» «Давай!» – отозвался Гаргонов, и я бросил ему через комнату новый нераспечатанный тюбик. Он поймал его на лету и снова склонился над зеркальцем, добривая щетину.

Все занимались своими делами, не обращая внимания на других. Чем-то занялся и я. Прошла минута, другая, и всеобщую тишину прорезал неожиданный голос Гаргонова:

– Володя! Я втираю, втираю твой крем, а он что-то никак не втирается.

Все обернулись на голос и... обмерли: Гаргонов сидел на кровати с белым от мела лицом и мел этот тщательно втирал себе в щёки. Меня кольнуло предчувствие:

– Толя, а ты из какого тюбика крем-то берёшь?

Он глянул и выругался:

– Фу, чёрт! Я перепутал его с зубной пастой!

Тут грянул обвал. Все катались по кроватям от смеха.

... Изредка брился я в парикмахерской. Она находилась у нас в общезитии внизу возле входных дверей. Там раз в месяц я приводил в порядок свою голову с ещё не начавшими редеть волосами за смехотворную цену от двадцати копеек и до рубля. Закончив стрижку "под полубокс", парикмахер спрашивал: «Шею брить?» И я отвечал неизменно: «Конечно!» Пока не услышал реплику Сюпа, правда, обращённую не ко мне: «Шею бреют только извозчики!» Унизиться до извозчика я не хотел, и с этого дня шею брить прекратил. Сейчас мне это смешно, но тогда любое глупое замечание воспринималось болезненно.

Пробивавшиеся усы и редкие волосёнки на бороде, как указано, брили сами у себя в комнате, у каждого была безопасная бритва. Но иногда стих находил, и я после стрижки просил побрить меня в парикмахерской. Закончив бритьё, после чего моя нежная кожа на горле и подбородке покрывалась кровавыми ссадинами, брадобрей вопрошал: «Компресс делать будем?» И я, решивший: «Гулять – так гулять! – небрежно бросал: – Компресс, массаж, одеколон». Словом, всё, что можно. И одеколон не "Тройной", коим в комнате пользовались у себя, а более дорогой, "Шипр" непременно, хотя запах его мне не очень и нравился. Но других одеколонов в парикмахерской не было.

С лицом гладко выбритым, разругавшимся после горячего компресса и массажа, я смотрелся в зеркало в вестибюле, миловидное лицо моё казалось мне очень красивым. «Вот бы Людмила увидела меня сейчас», – думалось мне. Доводилось, что видела. Но это ровным счётом ничего не меняло. Не понимал, что для женщины одной миловидности маловато, что к ней нужно добавить и смелость, и обаяние. И то и другое только со временем, и не скоро, появятся у меня.

... Неожиданно я сошёлся с Аркашей Ламбоцким. С соседом его, Дергачёвым, отношения у меня были натянутыми, он дольше всех насмехался над фиаско моим у Людмилы Володиной, а тут вдруг немного переменился, а Аркадий просто взял надо мною своеобразное шефство. Оба они имели массу знакомых в педагогическом институте и в медицинском, и Ламбоцкий начал вводить меня в круг их.

... Как ни странно, после злосчастной надписи на фотографии отношения наши с Володиной не прервались совсем. Как ни тяжело и больно мне было, я поставил на ней большой крест, ни встреч, ни уединения с ней никогда не искал, хотя любил её несколько не меньше, и никто другой был мне не нужен. Тем не менее, вижу себя с нею в мартовских сумерках идущим по бору от берега к институту. Отвергнув меня, она делала вид, что ничего не случилось. И, возможно, когда других спутников не было, она просила меня проводить её домой и обратно, а у меня не хватало ни воли, ни сил отказать от её приглашения, хотя всё это усиливало любовь и приносило страдания. Но, отказывать ей я не хотел: ведь такое счастье быть рядом с любимой.

И прогулок таких была не одна... Похоже, что ей всё же было со мной интересно.

Разговоры бывали о чём-либо отвлечённом обычно. Она любила театр и поэзию. И почувствовал я в ней однажды, когда речь зашла о двоюродной сестре её – актрисе алма-атинского драмтеатра, потаённое желание быть тоже актрисой. Временами она мне читала

стихи и читала неплохо. Я сам любил поэзию, много читал, но она читала её много больше. Я с Блоком был тогда совсем незнаком, и она меня к нему приобщила, прочитав наизусть его "Скифов". Точно так же и с Есениным она меня познакомила (его в то время не издавали), декламируя столь созвучное моему настроению:

... Любимая, – меня вы не любили...

Разумеется, не следует думать, что только она приобщила меня к чему-то в искусстве, очень многое я сам для себя открывал, например, поэзию Гейне прошлой весной. А весьма посредственное из стихотворений его:

Грозит беда, набат раздаётся,
и, ах, я голову теряю:
Весна и два красивых глаза
вы против меня в заговоре, знаю.
Весна и два красивых глаза
внушат мне новую глупость вскоре.
Я думаю, что соловьи и розы
весьма замешаны в их заговоре.

– как ничто точно отражало тогдашнее моё состояние.

... в этот же раз, поднимаясь от реки в гору, она в разговоре коснулась меня самого. Я по этому поводу обронил, имея в виду "контузию" мою и сложность с экзаменами (что я с завидным упрямством преодолел), и злорадство завистников: «Думали, что кончился Платонов. Не вышло. Не кончился». Она удивлённо обернулась ко мне: «Кто думал?»

Мне не хотелось развивать эту тему, и я промолчал.

... Как-то однажды один, днём проводив её, бредя неизвестными улочками, я вышел к оврагу. Овраг, пересекавший город около центра до самой Томи, был застроен постройками необычными. На склонах его беспорядочно лепились домики, сарайчики какие-то совсем уж настоящие, сколоченные из досок, из тонкой трёхслойной фанеры, из ящичков, из листового железа, убогие, неприглядные – до того всё было хило и хлипко. И не домики даже, а кубики с косыми оконцами или просто куском треугольного осколка стекла, и в этих жилищах жили люди – в маленьких окнах виднелись белые занавесочки, в кривых крохотных двориках на верёвках сушилось бельё. Женщины пробирались узкими тропинками между ними. И я сразу понял, что это – трущобы... Наши. Советские. И это меня поразило. Я до сих пор читал только об английских, об американских трущобах, о том, что безработные там под мостами ночуют или на зиму пытаются в тюрьму улизнуть... Но

чтобы у нас громоздили жилища из ящиков и проржавевших железных листов... и в голове не укладывалось. Вскорости и узнал, что это место почему-то называют "Шанхаем", но китайцев в окрестностях я не заметил... лица были все русские. Это эти трущобы изысканно называли – Шанхай. И дико было мне видеть их в стране победившего социализма, которую я, прожив двадцать в ней лет совершенно, выходит, не знал. Не только в Америке, но и у нас существуют трущобы, и это было мне не понятно и неприятно. Знал я, конечно, что с жильём у нас трудно, что люди живут в "коммуналках", но что крова вообще над головой не имеют?.. Что такие "Шанхай" существуют почти во всех городах, не догадывался... Об этом наши газеты ни разу не написали. Знал я, знал о разрухе после гражданской войны, знал, что и после неё все средства брошены были в тяжёлую индустрию, чтобы нас не смяли, и в оборону, знал обо всех разрушеньях и бедах, принесённых советско-германской войной, то есть Великой Отечественной для нас, но чтобы через семь лет после её окончания люди нищенствовали и жили в хибарках, разум мой принимать не хотел. Ну, хотя бы бараки! Добротные, как это было в Архангельске.

... К весне трудности с засыпанием кончились. Жизнь вошла в привычную однообразную колею, но в ней я никогда не испытывал скуки, всегда находилось занятие, привлекавшее меня чем-либо интересным. Это помогало и отвлечься от горестных размышлений о моей несчастной любви, которым только поддайся, как такая безмерная, всепоглощающая тоска овладеет тобою, что свет станет не мил. Как же дальше жить без неё, без единственной, у которой нет и быть не может замены. Эти тяжкие мысли я гнал от себя и, несмотря на печальные перипетии существования своего, учился, много читал и вёл переписку с Каракулиным, Кроком и Дятьковыми – последние вернулись уже из Китая, где Сергей сбил шесть американских бомбардировщиков, за что столько же орденов получил. Они прислали мне свою китайскую фотографию: там, среди ковров – Надя, Сергей и прелестная дочка их Галя. Надя, Сергей были ещё очень молоды и красивы, как прежде. Ну, и, естественно, я писал длинные письма маме и обоим тётям, хотя и не так часто, как им хотелось.

... в начале мая снова всё зеленело, снова бродил я по лугу, снова ломал я цветущие ветки черёмухи и носил их охалками, но, увы! – уже не Людмиле, а себе, в нашу комнату, где они и не очень были нужны. Снова вели мы серьёзные умные разговоры с Николаевым Колей, но интересное самое, что я все эти самые умные разговоры забыл. А вот то, что однажды Коля меня уколол, не забылось.

... я, как Гек у Гайдара, постоянно распевал разные песни, напевал их и в комнате, когда не было в ней никого, мурлыкал и умываясь, и расхаживая по улицам, во всё горло орал даже в классных комнатах, в одиночестве чертя что-нибудь или решая задачи. Не исключая, что "пеньё" моё доносилось из-за закрытых дверей и в коридор института. Как-то раз я вот таким образом пел чешскую песенку:

Говорят, не смею я, говорят, не смею я
С девушкой пройтись в воскресный вечер селом.
Будто, правда, я уж трус, будто, правда, я боюсь
Парня в серой шляпе с журавлиным пером.
Эй, ребята выходите, я вас жду.
Пусть узнают на селе,
И жандармы в том числе,
Кто по праву первый парень в нашем селе.

Случившийся тут Коля мигом меня подколот: «Ну, мы то уж знаем, кто по праву первый парень в нашем селе». Это задело меня, я смугился и не нашёлся с ответом. В самом деле, я считал себя не самым последним. Конечно с таким могучим а la rus красавцем, как Юра Кузнецов, я тягаться не мог. Но не в одной же красоте и мышцах всё-таки дело. И не в этом беда моя заключалась, не умел я ещё увлекать женщин интересным рассказом, остроумен я был с опозданием, задним умом (на лестнице, как говорят те же французы).

... К весне у меня, очевидно, начала снижаться острота зрения; ещё не сознавая того, я инстинктивно стал садиться за стол на занятиях в первом ряду. Это сослужило мне хорошую службу. На занятиях по инженерному делу полковник Броварник, сухощавый мужчина лет сорока, с лихими, почти будённовскими, усами, любил во время своих объяснений прохаживаться от стены до стены. А был он таким заядлым курильщиком, что под носом чёрные усы его пожелтели от никотина. И, когда он проходил мимо стола, где я сидел, меня обдавало волной такого зловонного табачного перегара, что, прибегая к лексике Петрова и Ильфа, можно было и заколдобиться. С тех пор я возненавидел курение, и, чем старше я становлюсь, тем нестерпимей мне запах чадающего табака.

... а весна шла, шла, зеленела, заливала мир солнцем и талой водой, высинив небо, гнала по нему белые облака и наполняла душу новой надеждой на счастье и радость.

Майские дни были теплы, ясны, беспечны, электромеханики-москвичи до вечера крутили на подоконнике распахнутого окна третьего этажа пластинки с джазовой музыкой, и она разносилась на улице и внутри в коридорах, вызывая неясное ожидание перемен.

Джазом я никогда не увлекался, но музыка Цфасмана нравилась мне, и я с удовольствием слушал её, проходя под окнами общежития. Но сам я с товарищами развлекался иным способом, нежели москвичи. Поймав мышь, мы привязывали к хвосту её нитку и, зайдя к ребятам в крыле здания над комнатами, где вновь поселили девчонок, опускали мышь до уровня распахнутого девичьего окна. Раскачав мышь на нитке перед окном, мы отпускали нить при движении в сторону комнаты, мышь влетала в окно... и визг возвещал нам, что цель нами достигнута. Как хотелось бы в этот миг посмотреть на девчонок в их комнате. Но чтоб пойти и в замочную скважину заглянуть, никто не унился. Смех и радость от удачной проделки, от криков всполошившихся дев были достаточною наградой.

... Каждая весна кончается летом, а лето начинается для студентов с экзаменов. Снова череда вопросов, ответов, которых не помню и на которые отвечаю отлично, кроме одного на последнем экзамене. Этот экзамен перед глазами стоит.

С утра прихожу к кабинету Западинского сдавать маркшейдерское дело. Но попасть в первую пятёрку не удаётся. Многие раскусили, что приятней побыстрее от груза знаний избавиться: гора с плеч долой, и – гуляй целый день без волнения. Мыкаться в очереди я не хочу и, плюнув с досады, ухожу в город гулять. Брожу там по саду, в кино захожу и, запоздав, потеряв время в напрасном ожиданье автобуса, возвращаюсь затемно в институт. В коридоре пугающе пусто. Неужели на экзамен я опоздал? Сердце так и забилося!

Приоткрыв дверь кабинета, взглянув, я успокоился. Перед Западинским студент, и ещё один поодаль готовится.

– Можно? – получив разрешение, захожу, спокойно беру билет. Геодезию я знал хорошо, а маркшейдерское дело – та же геодезия, только в подземных условиях. Одного лишь вопроса не знал, теории ошибок. Лекцию я, по всему, пропустил. А в учебнике кроме громоздких формул никаких объяснений. Не зубривать же их, в самом деле? Запоминать, не понимая, не стал. Не люблю бессмысленную зубрёжку.

На деле-то ничего сложного там и не было. Это на третьем курсе узнал на занятиях по баллистике, а уже позже в НИИ по одному лишь намёку доктора Рафалеса с помощью производных обосновал и сам метод, и все необходимые формулы вывел. Всё это можно было сделать бы и сейчас: математических знаний хватало, не хватило смекалки.

... и вот, надо же! Первый вопрос в вытащенном билете – эта самая вот теория. На остальные вопросы я готов отвечать и без подготовки.

... уходит последний студент, и я остаюсь один на один с Западным.

– Арнольд Петрович, – сразу признаюсь ему я, – я первого вопроса не знаю.

– Ну, что ж, начнём со второго, – отвечает он мне.

На все остальные я отвечаю ему без запинки, и он, горестно взглянув на меня, со вздохом ставит мне «хорошо».

Это первое «хорошо» за два года – и прощай на семестр повышенная стипендия.

... В начале сессии, когда с Николаевым Колей нам первыми удалось сдать экзамен, мы отправились проветрить зачумлённые головы наши в сосновом бору. Бесцельно плутая по многочисленным тропкам, мы вышли к Томи, к обрыву у переправы. Пароходик меж берегами уже не ходил. Рос мост, из воды высоченно торчали быки, несколько пролётов у берегов балками перекрыты, а в центре между быками, на тросах подвешенные, покачивались мостки, по которым ходить страшновато, но всё-таки можно.

На самом краю этого крутого обрыва – до уреза воды метров семьдесят – ажурная мачта, опора мостового перехода высоковольтной линии через Томь. В ней тоже метров не меньше. Мы стояли на бетонной основе её, обозревая с высоты правый берег нашего города. «А ведь сверху вид обширнее и красивее», – ни с того, ни с сего я вдруг подумал и задрал голову кверху посмотреть на площадку у вершины опоры – выше лишь узкий конус, с коромысел которого свисали фарфоровые гирлянды изоляции ЛЭП.

– Послушай, – обратился я к спутнику, – давай залезем на мачту!

Не помню, поддержал он моё предложение или нет, но я уже ухватился за прут-перекладину стальной лесенки над головой внутри мачты между укосинами. Лезть было нетрудно, сквозь металлические переплёты синело безмятежное небо, на землю я не смотрел. Перебираясь с одной лесенки на другую на площадках, деливших мачту на секции, я добрался до самой верхней площадки, и не площадки уже, а вроде бы мостика, консольно в обе стороны выброшенного от мачты, и просунул голову в квадратное отверстие в нём. Отверстие было чуть влево от центра, в центре в три человеческих роста торчал упомянутый конус, а изящные снизу фарфоровые тарелки выглядели здесь грубыми, многопудовыми гирями от напольных весов.

Мостик вытянулся с востока на запад, был он узок, не более метра, и ограждён перильцами из прутков, приваренных к стойкам. Пол площадки – из рифлёного стального листа. Осмотрев место, куда мне так хотелось попасть, я нашёл его достаточно прочным, быстро выкарабкался из люка и смело прошёл влево подальше от конуса с гирляндами и высоковольтными проводами – те два метра, что отделяли его от края площадки. Я взялся за перила, глянул сверху на город и тут же от ужаса похолодел. Площадка под моими ногами "ходила", раскачиваясь от ветра, казалось, я лечу вниз, – а внизу была пропасть до самой реки.

Страх был всеобъемлющ, всепоглощающ, меня точно паралич разбил. Я не мог ни шевельнуться, ни разжать пальцы рук, вцепившихся в тоненькие прутья-перильца по обе стороны мостика. Да, да, я не мог шевельнуться, я хотел было чуть переставить ногу в сторону люка, и не смог её от листа оторвать, она словно к нему приросла.

Лихорадочно я обдумывал своё положение, но иных выходов, как добраться до люка, кроме того, что к нему надо ногами шагнуть, разумеется, не нашёл. Вопрос был в том, как это сделать. Я попробовал опуститься на пол, на колени, чтоб проползти (всё же менее страшно!) эти проклятые метры, но не смог и колени согнуть. Одним словом, окаменел. Между тем волны безраздельного ужаса вместе с непрерывным покачиванием накатывали на меня, повергая в дикую панику и мешая собой овладеть... Всё же я как-то сумел, не отрывая, а только потихоньку скользя, продвинуть указательный палец руки вперёд на один сантиметр, потом таким же макаром – средний палец, безымянный, мизинец... Продвинув таким образом правую руку, я то же самое проделал и с левой. После этого, тоже скользя, я подвинул настолько и ногу, а затем подтянул к ней вторую. Вот так, сантиметр за сантиметром я медленно приближался к спасительному отверстию. Сто пятьдесят сантиметров – по четыре секунды на каждый – это сколько же выйдет минут? Десять? Эти десять минут показались мне вечностью. Поневоле поверишь во всеобщую относительность!

Наконец, я над люком. Страшно отрывать пятку от железной опоры, опускаясь на колено у люка, но ещё страшнее нащупывать в пустоте под площадкой первую перекладину лестницы. И не крикнешь, как в детстве, по наклону крыши сползая: «Мама! Сними меня с крыши обратно!»

Спуск по лестнице был легче, держись только хваткой железной руками за перекладину, опуская вниз ногу. Чем ниже спускаюсь,

тем быстрее страх убывает, по последним лестницам я слезаю шутя. И вот я на твёрдой земле. И тут вдруг соображаю, что на город сверху, как следует, не посмотрел, не полюбовался открывшейся панорамой. Так зачем же я лазал туда? Не за ужасом же, не за этими острыми ощущениями?! Вот так вот, вся жизнь такова, в ней часто находишь совсем не то, что искал.

... После экзаменов студенток на все четыре стороны отпускают, а ребят отправляют на месячные лагерные сборы в Юргу. Юрга – это станция на Транссибе, чуть восточнее железнодорожной ветки, отходящей в Кузбасс, а километрах в пятнадцати от Юрги – лагерь инженерной воинской части.

... ранним солнечным утром весь наш курс вываливается из вагонов, командиры выстраивают нас по четыре в колонну, а впереди колонны – сияющий медью, латунию и никелем институтский оркестр.

После пяти или шестикилометрового перехода, в ногах тяжесть, во всём теле усталость, мы еле бредём по дороге. И в этот момент полковник Бувальый крикнул: «Оркестр!»

И оркестр грянул марш.

И, удивительно! Корпус распрямился, плечи сами собой развернулись, ноги пошли легче, ступая в такт маршу.

Взбодрив нас таким образом, минут через двадцать оркестр умолкает, но мы по инерции ещё какое-то время довольно споро идём, пока усталость вновь не наваливается на нас. И тогда снова вступает оркестр.

Так, без предварительной тренировки, мы быстро совершили пятнадцатикилометровый бросок от Юрги, а я понял, для чего в армии существуют полковые оркестры.

... В лагере нам выдают чистое бельё: белые кальсоны, рубахи, портянки, а также вылинявшие хлопчатобумажные гимнастёрки и бриджи, сапоги, шинели, погоны, пилотки, ленточки белой материи для подворотничков и ремни: поясной и для скатки.

Кое-как подбираю одежду и сапоги для своей нескладной фигуры и нестандартной ноги. Только с пилоткой беда. Нет подходящего размера для узкой моей головы. Приходится брать то, что есть. Пилотка сидит, как на корове седло, и налезает на уши. Ну и вид! – представляю. Но ничего не поделаешь... раз таким уродился.

Тут же на месте нас обучают, как, туго свернув в жгут шинель и соединив концы жгута вместе, перетянуть их ремнём и превратить

шинель в скатку. Скатка напоминает лошадиный хомут и надевается через голову на плечо.

... наука нехитрая.

Закончив возню со всем этим скарбом, я поднимаю голову и не узнаю никого. В однообразной одежде все студенты похожи, как китайцы, один на другого, только ростом и отличаясь. Все ищут приятелей и не могут найти.

В обычной ведь жизни угадываешь знакомых и со спины по одежде, фигуре, позе, причёске, походке. Здесь же этого нет. Только лицом к лицу можно кого-то узнать. В сборище этом мы, как слепые котят, толчёмся, лишь случайно натываясь на знакомые физиономии.

... к концу насыщенного событиями дня мы всё же осваиваемся с положением, и в дальнейшем оно не доставляет нам неудобств.

После переодевания нас разбивают на десятки по отделениям и отводят к палаточному городку.

Большая шатровая брезентовая палатка рассчитана на одиннадцать человек (десять плюс командир), в ней – от края до края деревянные нары, на которых – десять сеном набитых матрасов. Отдельно у входа, торцом к общим нарам, топчан командира. Каждый застилает свой матрас простынями и байковым одеялом и ставит подушку по строго установленной форме.

В мою палатку в основном попали ребята из нашей группы, в том числе все наши Юры: Кузнецов, Рассказов и Савин, был и Петя Скрылёв, и Попков с Гаргоновым вроде. Трое из других разных групп, среди них знаменитый "лётчик" Гор-лу-шин. Командир отделения – староста третьей группы, по-моему, Долбунов, из пожилых, уже в армии отслуживших. На его погонах лычки сержанта. Человек он строгий, но справедливый. Конфликтов с ним не было.

... ещё до вечера нас заставляют пришить к вороту гимнастёрки белый подворотничок. И кто только выдумал эту мороку. Ну, зачем он солдату?! А их каждый день надо отпарывать и стирать, пришивать заново новый, чтобы ежедневно поутру из-под ворота гимнастёрки выглядывала белая свеженькая полоска. А к обеду, после полых занятий особенно, она совсем чёрной становится.

Намаявшись в этот день, мы мертвецки уснули, а в шесть часов утром, словно петухи, запели, заголосили ротные лейтенанты, растягивая последнее слово:

- Первая рота, подь-ём!
- Вторая рота, подь-ём!

– Третья рота, подь-ём!

Мы вскочили, торопясь поскорее натянуть бриджи и сапоги: надо в пять минут уложиться с одеванием, приборкой постели и выскочить на зарядку и умывание. Но второпях навёрнутые на ноги портянки сбиваются в складки, ноги не лезут в сапог. Чертыхнувшись, срываю их с ног и сую под постель, надеваю сапоги на босу ногу. А они так жёстки, что, чувствую, собью ноги в кровь, но бегу на линейку делать зарядку, надеясь после умывания, заскочив в палатку за гимнастёркой, переобуться, как следует.

... начинаются "военные" будни. Три раза в день нас строем гоняют в столовую: на завтрак, обед и на ужин. Как кормят – плохо запомнил. В обед постоянно дают борщ, пшённую кашу с мясом и бурду, называемую компотом.

... голод – постоянный наш спутник.

... перебросив скатки через руку и шею и взяв на плечо винтовки образца девяносто первого дробь тридцатого, направляемся в поле, где валимся всем взводом на зелёной лужайке за кустами в пологой ложине и с лейтенантом изучаем устав. Ежедневно вечером после ужина шомполами с ершом на конце начищаем стволы винтовок до блеска.

В другой раз нас выводят на подготовку участка местности к обороне. По подсказке взводного командира выбираем место для обороны, потом производим разбивку траншеи, то есть остриём штыковой сапёрной лопатки прорезываем в земле контур траншеи по обеим её сторонам со всеми зигзагами, чтобы не простреливалась насквозь.

Наметив траншею, снимаем слой дёрна и складываем его квадраты отдельно. Начинаем копать с ячеек для стрельбы лёжа – чтобы при любой неожиданности мгновенно вступить в бой, открыть огонь, имея хоть какое прикрытие. Затем углубляем их – для стрельбы с колена, а потом – и во весь рост. Соединяя ячейки между собой по намеченным контурам, получаем траншею, от которой, также с резкими поворотами, копаем ходы сообщения ко второй линии обороны – траншеи, заложенной в ближнем тылу. Землю из траншеи выбрасываем в обе стороны, – к противнику – это бруствер, который для маскировки обкладываем срезанным дёрном.

... у всех руки в мозолях, мы устали, как черти, но время за полдень, и нас ведут на обед. После обеда – сон, с трёх до пяти. Засыпаем мгновенно.

... чем-то четверо из нашего отделения провинились, и я, как частенько бывало, в их числе. Получаем вне очереди наряд на погрузку

в машину песка. Уходящие в поле над нами подсмеиваются: «Ну, по-валываете вы сегодня на славу! Это не в поле вам прохладиться на зелёной лужайке!» Хотя какое уж там прохладение в поле в одежде, в сапогах, да ещё с тяжёлой винтовкой и скаткой при июльской жаре.

Старшина выдаёт нам большие штыковые лопаты, ведёт нас на берег Томи и ставит задачу: «С приходом машины быстро её песком загрузить и ждать следующей машины. Обмундирование снимать запрещается. Купаться – строго запрещено!» – и уходит.

... Подъезжает бортовой ЗИС (полуторка). Мы откидываем все три борта и лопатами бросаем в кузов прибрежный песок. Когда конус песка начинает из кузова осыпаться, подняв борта, досыпаем недостающее. Грузовик уезжает. Мы глядим ему вслед. Вот он скрывается за пригорком, но пригорки есть ведь и дальше. Ага! Через пять минут ровно на последнем виднеющемся пригорке на миг появляется крыша кабины отправленной нами машины. Тут сразу следует вывод: за этой точкой надо вести наблюдение, чтобы заблаговременно выскочить из воды и одеться. Сорванная одежда летит с нас в кусты, потные портянки – на солнце, а мы бежим в Томь, плаваем, ныряем, бултыхаемся, дурачась в воде. Как хорошо вода в жаркий день освежает!

... но один из нас, окунувшись, загорает на берегу, зорко при-сматривая за далёким пригорком. Минут через двадцать он вовремя подаёт голос: «Едет!»

Мы быстро выскакиваем из воды, натягиваем на мокрое тело одежду, накручиваем портянки, ноги суём в сапоги, хватаем лопаты и, лениво опираясь на их черенки, делаем вид, что ждём – не дождёмся работы.

Подъехавшую машину (а она та же самая) мы нагружаем в секунды.

– Ну и молодцы вы, ребята, – похваливает нас шофёр, – здорово работаете!

– Стараемся, – скромно отвечаем мы.

Едва машина скрывается за бугром, как мы – снова в воду. Ну до чего ж хороша!

Обед нам привозит шофёр – сухим пайком.

Весьма кстати. Подкрепившись, мы с ещё большим старанием отмечаем открытие купального сезона в Юрге.

К вечеру приезжает сам старшина. Хвалит нас за хорошую добросовестную работу. Объявляет нам благодарность. В ответ дружно

гаркаем: «Служим Советскому Союзу!» – погружаемся в кузов по верх груды песка и едем на ужин.

... отличный денёк мы провели на Томи, накупились, подзагорели.

... И снова учения в поле. Отрабатываем тему "Рота в наступательном бою". По этому случаю для лучшего эффекта нам выдают по обоим патронам (пять штук), естественно, холостых, а попросту, гильз, из которых вынуты пули, но порох оставлен и всунут пыж, чтобы порох из патронов не высыпался. С таким снаряжением нас бросают в атаку.

... мы бежим по пересечённой местности с винтовками наперевес в сторону траншей воображаемого противника, на ходу стреляя время от времени, воспроизводя грохот настоящего боя, останавливаясь после каждого выстрела, чтобы подобрать гильзу, выброшенную затвором. Гильзы нужны для отчёта (в армии строгий учёт боеприпасов).

Наконец, добежав до "вражеских" траншей, мы врываемся в них, штыком и прикладом завершая победный свой бой.

... Взводные созывают людей и уводят свои взводы в лощины помыться, передохнуть. Ведь мы все в поту, пробежав сотни метров в полной выкладке, да ещё с сапёрной лопаткой на левом бедре и с противогазом, сумка которого болтается на том же бедре, мешая бежать. Это вам не погрузка песка у прохладной Томи!

... Наш командир ведёт нас, сорок сапёров-солдат, пока необученных, к кустам на склоне ложбинки. Здесь он останавливается, раздвигает руками траву, говорит: «Кто хочет пить? Здесь родничок». Пить хотят все. Мы по очереди, став на колени, пересохшими губами припадаем к воде. Вода вкусна чрезвычайно, но чрезвычайно и холодна, ломит зубы, за раз много не выпьешь. Утоляешь жажду за много заходов.

У родника наш взвод и расположился на отдых, а лейтенант начал читать нам главы Устава гарнизонной службы.

... Идя на обед, узнаём, что в роте – ЧП. В третьем взводе (в нём наши электромеханики служат) во время атаки не успели расстрелять все патроны (вот дураки!) и сдавали по счёту их со стреляными гильзами вместе своему взводному командиру. При этом один из студентов ухитрился патрон утаить. Когда они, как и мы, расположились на отдых где-то на другом конце поля, а их взводный ненадолго по какой-то надобности отлучился, сей студент похвастал перед товарищами своей ловкостью. Некто из этих товарищей выпросил у него патрон и, передёрнув затвор, зарядил им винтовку.

– Ну, кто хочет, подходи, застрелю! – прижав приклад винтовки к плечу, смеясь, крикнул он.

– А ну, давай, – один нашёлся храбрец и, нагнувшись, повернулся задом к нему.

Весельчак нажал спуск, грохнул выстрел, из ствола хлестнуло огнём, а храбрец, дурным голосом взыв, хлопнулся наземь. Тут к нему подскочили, учуяли запах палёного мяса и увидели в бриджах выгоревшую дыру размером с чайную чашку. Пострадавший стонал и не смог сам подняться.

Весть об этом тотчас же дошла до начальства, раненого увезли сначала в санчасть, а оттуда отправили в госпиталь в Новосибирск, где он пролежал несколько месяцев. "Чайная чашка" была выжжена и в ягодице его, при этом сгорела часть нерва, управляющего ногой, и, несмотря на старания военных хирургов, он на эту ногу остался калекой. В наш институт он не вернулся.

... Весельчака сгоряча хотели отдать под суд, но затем ограничили исключением из комсомола и института.

Пострадал и студент, утаивший патрон; как именно, – мне неизвестно, да и не важно это.

Вся эта история произошла, то ли ввиду дремучего непонимания значения слова, то ли от бездумия полного. "Холостой" – вроде как бы безвредный. Но в патроне нет только пули, струя же раскалённых газов вырывается из ствола под высоким давлением и на небольшом расстоянии может бед натворить, в чём наглядно мы убедились.

Не обошлось без происшествий и на ученье "Ночной поиск". На этот раз в нашем взводе.

Едва мы успели уснуть после отбоя, как в двадцать три часа нас подняли по тревоге и вывели в поле, поставив задачу взять "языка". "Противник", в том числе и обречённый стать "языком", был временно посажен в траншеи.

Командир взвода указал в темноте направление, и мы, распластавшись, поползли в траве по-пластунски в сторону обороны противника. Поле хоть было и ровным, ползти по нему было до крайности неудобно – в правой руке винтовка с примкнутым, то есть торчащим, штыком, левой – постоянно приходится поправлять сползающую под живот сумку с противогазом. Рука, выбрасываемая вперёд вместе с винтовкой, быстро устала. Волочение тела и ног по земле тоже было не из самых лёгких занятий, а, главное, скорость моего продвижения была такова, что я вряд ли дополз бы до вражеского расположения и к утру. Приходилось хитрить, а что тут такого? Противник осветительных ракет не пускал. Приподняв зад, я пополз на локтях и коленях, это

прибавило скорости, однако, сколько ни полз, а всё не мог доползти до траншеи. Уж не сбился ль с пути? В беспроглядной тьме ночи мы все потерялись, а переговариваться было строго-настрого запрещено. Живо представил себе, как было бы страшно мне на настоящей войне, если бы вот так оказался один, не чувствуя локтя товарищей.

... и, действительно, многие ребята из других отделений направление потеряли, уползли в сторону, застряли в кустах и пленены были чутким противником.

Всё же я дополз, наконец, до траншеи, нащупал бруствер её, затем край и бесшумно свалился на дно. Прислушался. Не услышал никаких признаков жизни ни слева, ни справа. Решил подождать, прислонившись к стенке окопа. И тут один за другим мне прямо на голову свалились несколько "наших", принявших меня за вождя "языка", в чём я сразу их разуверил. Как же я прежде них оказался? Неужели они всё это время добросовестно по-пластунски ползти?!

... осторожно обследовали траншею до поворотов – противника не было. Мы призадумались – что же делать нам дальше. Но не придумали ничего, кроме как далее по траншее пробираться гуськом. Но тут учение кончилось. Командир объявил, что наше отделение задачу выполнило успешно. В чём был успех, я не понял – заняли пустую траншею! Однако не заблудились. И в плен не попали... И то хорошо.

Было далеко за полночь.

... Взводные зычными голосами начали собирать своих солдат, расползшихся по полю. Когда все четыре взвода собрались и были построены, командир нашей роты, светя электрическим фонариком и обходя строй, проверил оружие. Кстати, у взводных – фонариков не было. Был один на всю роту, что меня до крайности удивило.

При проверке нашего взвода ротный заметил, что у студента пятой группы Рынденкова, известного мне по станции "Правда", на винтовке отсутствует штык. И Рынденков не мог объяснить, куда он у него подевался. Нам приказали обшарить траншею, но штыка мы там не нашли.

... была глубокая ночь. Часа, верно, два. Все устали. Хотелось спать или хотя бы присесть. И надо же!

Роту рассредоточили вдоль переднего края противника и приказали ползти всем назад, ощупывая местность по сантиметру: «Пока штык не будет найден – в лагерь не уйдём!» – сказано было. А попробуй-ка найти его в большом поле ночью, не представляя, где он потерялся! Это точно иголку в стоге сена искать. Хотя бы фонарики были!

Но о каких фонариках речь! – чай не у американцев служили?!.. Приходилось во тьме каждую травинку, каждую веточку руками ощупывать. Хорошо, что нашлось немало курильщиков – по полю замескали вспышки от чирканья спичек о коробки и крохотные короткие огоньки. Это ли помогло, или простое везенье – через полчаса штык был найден и передан Рынденкову. Нас построили, и мы быстро двинулись в лагерь. Досыпать. В шесть ведь подъём!.. Брезжил рассвет...

С Рынденковым связалось ещё одно происшествие, хотя собственно Рынденков был тут совсем не причём. У одного студента в палатке пропали ручные часы. Украл кто-то. Это тоже было ЧП. Дознание и обыск в палатках результата не дали. Да и дурак был бы вор, в палатке украденное хранить. По каким-то признакам подозрение у нас, у студентов, пало на Федчука, сержанта, эдакого красавца-хлыща, прибывшего к нам на второй курс после армии. В чём-то он уже и раньше замечен был, и слух был, что он нечист на руку. Но подозрение – не доказательство, поговорили и вскоре забыли вообще о неприятном в нашей среде происшествии. А вот бедняга Рынденков возомнил, что на него все косятся и его в краже подозревают, хотя, видит бог, о Рынденкове и речи не было вовсе. Мнительный был, видно, очень или манией какой-то малый страдал. Чуть кто в его сторону глянет, так он пунцовым становится, краснеет, как рак... Всё так и вышло. Через год он попал в психлечебницу, но не надолго. Там, похоже, его вразумили, и институт он благополучно окончил.

... Самое большое "удовольствие" доставило мне учение по химической защите. Наш взвод спустился в траншею, упиравшуюся в блиндаж, дверь в который была заперта на замок. Лейтенант открыл дверь ключом, мы вошли и расселись на лавках по обе стороны блиндажа. Лейтенант объяснил, что в блиндаж будет впущен отравляющий газ (концентрация составит сотую часть смертельной дозы ОВ), и что надо делать после команд – мы тут же и проделали все упражнения, и приказал: «Противогазы надеть!» – после чего вышел из блиндажа, притворив дверь за собой.

... в противогазах мы погрузились во мрак, правда, через секунду оказалось, что он не вполне абсолютный: откуда-то, может быть, из щелей, сеялся серенький слабенький свет, но достаточный, чтобы угадывать очертания окружающих.

Сквозь резину на голове сверху донеслось приглушённо по радио: «В блиндаже дифосген, одна сотая боевой отравляющей дозы!»

Через несколько минут тот же голос неизвестно откуда справился о нашем самочувствии. Мы пожали плечами. Никакого самочувствия не было, в противогазе дышалось нормально, легко. Вслед за этим – команда: «Пробита гофрированная трубка!»

Задерживаю дыхание, отвинчиваю трубку и от маски, и от коробки, привинчиваю коробку непосредственно к маске, делаю выдох и начинаю нормально дышать. Всё хорошо.

... новая команда: «Пробита маска!»

В этом случае, дыхание задержав и прикрыв плотно глаза, надо стянуть с лица маску, коробку от неё отвинтить и, губами плотно обхватив горло коробки, дышать прямо через неё. Я так и делаю. Первый вдох из коробки, и... огненная струя резанула мне горло. Видно, неплотно губы прижал и подсосал дифосгена. От неожиданности и боли открываю глаза, и – по ним, как ножом, полоснуло таким же резким огнём. Отбросив коробку, зажав плотно рот, сплющив глаза, я метнулся в сторону двери и, телом своим её створку отбив, вывалился на свежий воздух в траншею. В горле дерёт, глаза разрываются и истекают слезами. Перевалив через бруствер, я оказываюсь наверху, и тут меня выворачивает...

... И это от одного глотка сотой доли! Да и не сотой, а небольшой части её, – в основном вдох сделал из горлышка!

Следом за мной вылетают ещё несколько человек, остальные с честью выдерживают до конца испытание. Счастливчики! На войне был бы я уже трупом бесчувственным.

... зато не испытали они, что такое ОВ. Вот диалектика!

... Если в первую половину нашего лагерного бытия стояла ясная безоблачная погода, то с середины июля время от времени начали перепадать ливневые, но кратковременные дожди, после которых сильно жарило солнышко, и пар шёл от земли. Как правило, дождь заставлял нас на марше. Идём в поле колонной, наплывает мрачная туча, начинает накрапывать дождь – тут бы самое время шинели надеть! Ан, команда не поступает. Мы вышагиваем в гимнастёрках со скатками через плечо, а дождь во всю нас полощет.

... на нас нет сухой нитки, мы промокли насквозь... Вот теперь самое время для бесполезной команды: «Скатки... рраската-ать! Шинели на-а... деть!»

Натягиваем шинели на мокрые гимнастёрки. Дождь уже утихает, но его хватает на то, чтобы водой пропитались и наши шинели. Облако постепенно светлеет, уходит, рассасывается. Снова – жаркое солнце.

Мы окутаны паром, идём в ожиданье команды: «Шинели сня-ять!» Но её не торопятся подавать. Всё сделано для того, чтобы жизнь в лагере не казалась нам мёдом. Наконец, команда всё же звучит. Мы снимаем шинели. Привал. Шинели сушим, расстелив их на мокрой траве, если повезёт – на кустах. Гимнастёрки и бриджи высыхают на теле.

Дожди – частые гости и в наш "тихий час", когда засыпаем после обеда. Тут – снова открытие: проведи пальцем в дождь по брезенту палатки снаружи – и вода в этом месте начинает капать в палатку. Открытие побуждает и к действию. Выждешь в дождь, пока все уснут, выскочишь на минутку в трусах из палатки и мазнёшь пальцем брезент где-либо над головой у товарища. Сам же – мигом в постель. Через минуту-другую жертва вскакивает с воплем истошным: под одеяло за шею ему льётся струйка холодной воды. Нехорошо, – скажете вы. Нехорошо – я и сам понимаю. Но такова уж дурашливость молодости. Вечно хочется проказничать, озорничать и смеяться. У товарища весь ворот в воде, а друзья, проснувшись, хохочут. Возраст такой. Иной раз просто палец на занятиях покажешь – и все от смеха покатытся!

Озорничал так не я один, но меня никто не засёк, и надо мной таких шуток не вытворяли. Но бог шельму метит. У меня на шее вдруг выскочил чирей, и такие размеры на другой день приобрёл, что от боли я не мог шевельнуть головой.

Я с утра поплёлся в санчасть, где меня на три дня освободили от строевой. Я был доволен. Но к вечеру – огорчён. Сегодня стреляли из автомата. И тут же утешился: в рожках было всего пять патронов, стреляли одиночными выстрелами. Подумаешь! Одиночными выстрелами я и из винтовки за двадцать лет досыта настрелялся.

... Хотя в поле я три дня не ходил, однако лентяйничал я недолго, всего первый день. Отделению дали задачу построить оборону стрелковой роты и нанести на карту схему оборудования рубежа обороны. Работа общая, но я взялся за неё сам – все равно делать-то нечего. Пока ребята в поте лица в поле трудились, я местность на карте во всех деталях тщательно изучил. Инженерными сооружениями защитил танкоопасные направления, туда же выставил и орудия. Начертил систему траншей и ходов сообщения, проволочные заграждения, пулемёты и миномёты расставил. Особенно позаботился я о флангах, чтобы фланговым огнём поддержать соседей и слева, и справа. Места возможного накопления пехоты противника взял под

перекрёстный огонь. В результате – за схему "Подготовка рубежа обороны стрелковой роты" отделение получило оценку "отлично".

Коль скоро в предыдущем абзаце я упомянул заграждения, не могу не отметить, что в лагере узнал я, собственными глазами увидел, что, кроме знакомых мне проволочных заграждений (колючую проволоку на столбах имею в виду), есть ещё и другие. Из них мне понравились больше всего малозаметные препятствия. В траве упрятаны петли из простой тонкой проволоки. На тебя бегущий противник попадает в петлю ногой, спотыкается, падает на каждом шагу, темп его броска замедляется, и ты успеваешь его расстрелять. Простая штука, а поди ж ты, не сразу додумались. В минувшей войне я о таком не слышал. Тут главное ещё – неожиданность. Колючая проволока на виду, в ней можно заранее тайно проделать проходы. А тут, – ни с того, ни с сего! Бежишь на полном ходу, и вдруг – бац! И вокруг фонтанчики пулями взбитой земли... Люблю изобретательность человека! Хотя лучше бы было, если б такие вещи не надобно было изобретать.

... через три дня фурункул мой стал заживать, и я начал ходить на занятия. И во время. Предстояли стрельбы по мишеням из пистолета.

Впрочем, разве это стрельба! Выдали для стрельбы всего три патрона и один для пристрелки. Стреляли все очень плохо. Редко кто выбивал в сумме десять очков (из тридцати-то возможных). Когда очередь дошла до меня, я, памятуя о своей отличной стрельбе из винтовки в Алуште, хвастливо сказал (не попав при этом пристрелочной пулей в мишень): «Вот как надо стрелять!» – и, прицелясь, выстрелил три раза подряд без остановки. Когда мою мишень осмотрели – в ней следов пуль не нашли, и тогда всеобщий хохот стал ответом на мою похвальбу. Я смеялся со всеми – лучший способ насмешек над собой избежать. Да ведь и в самом деле смешно хвастовство, не нашедшее подтверждения.

... возвращаясь к ужину с поля, чертовски уставшие от занятий и переходов, предвкушаем скорый отдых уже в виду лагеря. И ни с того, ни с сего старшина, – в этот раз почему-то нас вёл старшина, – прокричал: «Запе-вай!» Сроду этого не было, чтобы с поля, после работы заставляли нас петь... Мы озлились. Запевалы молчат.

– Рота-а! Запе-вай! – старшина повторяет команду, но колонна молча топает по дороге.

– Рота-а! Стой! Кто у вас запевалы?

– Они заболели, – голос из строя.

– Ну, тогда ты запевай, – старшина тычет в первого же попавшегося студента.

– Я не умею, – отговаривается жалобно тот.

– Рота-а! Кру-гом! Шагом марш! – и он погнал нас назад.

Отгнав роту метров на триста, старшина разворачивает колонну и приказывает: «Запевай!»

Команда повторяется несколько раз, но мы упорно молчим, и у лагеря старшина вновь заворачивает нас в поле.

За давностью не могу точно сказать, сколько времени всё это длилось, но не меньше часа уж точно. Упрямого старшину не удалось нам сломить, да и надеяться на это было наивно. Тут злость играла, хотелось, сколько сил хватит, вояку этого побесить. Но, в конце концов, нам пришлось сдаться. Подходя шестой раз к лагерю, сговорившись, передали своим запевалям: «Давайте!» И те начали после команды:

Как с боями шёл в Берлин солдат,

Да, – громкой песней прогреметь, прогреметь.

Сколько песен можно спеть подряд,

А сколько петь, да все не спеть, да все не спеть!

И тут лихо, с присвистом, вся рота грянула припев – мол, знай наших! Ты думаешь, что мы из сил выбились, выдохлись, так вот тебе – на!

Эх ты, ласточка-касатка быстрокрылая,

Ты родимая сторонка наша милая,

Эх ты, ласточка-касаточка моя,

Быстрокры-ы-ла-ая...

Маршируя, с песней вошли мы в столовую под навесом.

– Стой! Головные уборы снять! Садись!

Мы рассаживаемся за своими столами и набрасываемся на давно остывший уже ужин.

... Перед окончанием сборов нам показали новейшую технику для переправы пехоты через водную преграду.

На берегу Томи, где всех нас выстроили повзводно, появились две странного вида машины: одна – маленькая с открытым кузовом для десятка бойцов – на ней через реку переправились офицеры, вторая – большая, с брезентовым верхом – человек на сорок, ровно на взвод. Я с интересом смотрел, как машина с нашими командирами въехала в реку. В это время в задней части её, в углублении-нише завертелся пропеллер, то есть, разумеется, винт. Когда задние колёса машины скрылись под водной поверхностью, винт взбурлил воду и машина-амфибия поплыла. Через две-три минуты она выехала колёсами на песок противоположного берега и, проехав чуточку, стала.

... наш взвод погрузился в большую машину.

... ничего, съехали в воду, поплыли, покачиваясь на волнах, и снова выехали на сушу. В общем-то, интересного мало, но любопытно, почему до такой простоты в войну не додумались. Сколько жизней бы сэкономили? Было не до того? – успевай только танки клепать... Впрочем, солдат у нас никогда не жалели, как Симонов скажет потом: немец всегда на высоте, а солдат наш в болоте под ней. И не могли до высоты позади отступить – пусть немец, если хочет, лезет в болото. Но немцев в болото не гнали.

... И настал последний лагерный день. Сбрасываем поднадоевшую армейскую форму, переодеваемся в свою родную студенческую, строимся на дороге в колонну и начинаем путь к станции в вольную жизнь под командой институтских своих командиров. В стороне от дороги при выходе – особняк командира дивизии. Генерал стоит на террасе, смотрит в сторону приближающегося институтского воинства. Едва первый ряд поравнялся с особняком, как запевала вдруг начал, а остальные, не растерявшись, враз подхватили, печатая шаг, фривольную песенку и успели чётко пропеть её до конца, пока колонна проходила мимо него:

На льду каталась дама, и скользко было так.

Упала дама, показав и ножку, и башмак,

И кое-что ещё, о чём вам знать не надо,

И кое-что ещё, о чём болтать нельзя.

Была огорчена красотка-швея Нина,

Проезжий офицер сломал её машину

И кое-что ещё, о чём вам знать не надо,

И кое-что ещё, о чём болтать нельзя.

Совсем уж занемог один приезжий тип,

И доктор, осмотрев его, сказал, что это грипп

И кое-что ещё, о чём вам знать не надо,

И кое-что ещё, о чём болтать нельзя.

Когда твой муж изменит – лиши его красы,

Когда он ночью ляжет спать – отрежь ему усы

И кое-что ещё, о чём вам знать не надо,

И кое-что ещё, о чём болтать нельзя.

С этой бравой, в темпе марша пропетой песней, держа равнение на комдива, мы навсегда уходим из лагеря.

Генерал смотрит на нас, воодушевлённых своим озорством. Возможно, он думает: «Пропели бы вы это вчера, сукины дети...»,

а, может, просто усмехается про себя, и генерал – человек, и генералы в молодости бывали озорниками.

Вернувшись в Кемерово, мы с Петей Скрылёвым решаем не уезжать домой на каникулы (коих месяц всего оставалось минус двенадцать дней на дорогу туда и обратно), а пойти работать на шахту, подзаработать хоть немного денег на расходы. Благо шахта рядом – "Центральная", в центре нашего района в четверти часа ходьбы.

... На шахту нас приняли лесодоставщиками. Первые десять дней как впервые поступающие работать на шахту мы проводим легко, околачиваясь на курсах рабочего обучения. Эти дни нам оплачиваются по тарифу, так что мы не прочь продлить обучение, но хорошее вечно не длится...

... для ознакомления спускаемся в шахту Шахта сверхкатегорная по газу и пыли. Это значит, что метан выделяется из угля сверх всяких мыслимых норм, а пыль, в воздухе рассеянная, взрывчата. Поэтому в шахте нет электричества, электричество – это возможность искры, а искра в такой среде чревата взрывом или пыли, или метана, или вместе того и другого. Везде по выработкам проложены трубы и навешаны шланги для сжатого воздуха, подающегося в забой. Немногие механизмы – вентиляторы проветривания тупиковых забоев, отбойные молотки – приводятся в действие его силой.

... На откаточном штреке лошади везут состав малюсеньких вагонеток. Сопровождающий говорит, что лошади эти слепы: их никогда не "выдают" на поверхность и конюшни у них под землёй.

– Как же они путь находят? – задаю вопрос я.

– Идут между рельсами, дорога знакома.

Я поражён. Не думал, что лошади в Союзе на шахтах ещё сохранились. Поди же ты – с царских времён!

... первый день на работе. На наряде меня посылают не на доставку леса, а приставляют к проходчику, напарник которого заболел. Вместе с ним попадаем в забой, вылезая снизу из дырки. Это метров на тридцать пройденный штрек по углю для вентиляции будущей лавы. Высота его – метра два, и в ширину он такой же. От "дырки" на почве с на глаз заметным подъёмом лежит доска, вприпрыжку за нею – другая и так до самой "груди" забоя. В забое лежит на боку грубо сваренный из толстых стальных листов короб с одним колесом внизу спереди возле дна и двумя ручками сзади – это тачка, понятно. Тут же отбойный молоток на груде угля.

После минутного отдыха проходчик объясняет мне, что я должен делать: «Будешь насыпать уголь в тачку и отвозить его к сбойке», – и показывает, как это делается. Поставил колесо тачки на доску, лопатой нагрузил тачку доверху углём, взялся за ручки, толкнул тачку вперёд и помчался за ней, направляя её с доски на доску. Перед "дыркой" он её отпустил, и тачка, с разгону, на брус налетев, опрокидывается, уголь летит в сбойку, вниз. «Вот так», – сказал он и пошёл.

Как всё просто, легко.

Я взялся за тачку, намереваясь перевернуть её и поставить на доску. Она оказалась непомерно тяжёлой, но всё же я с этим справился и покатил тачку в забой. А там мой напарник, подняв молоток, жмёт им на забой. Пика молотка задёргалась, застучала, из забоя посыпались кусочки угля, отвалилась целая глыба, за нею другая...

Я внимательно наблюдал. Массив угля иссечён сетью маленьких трещин. Как только пика в трещину попадала, она сразу углублялась в забой. Трещина расширялась, и молоток отваливал глыбу. Если направление пики с трещиной не совпадало, уголь скалывался небольшими кусочками.

На отбитых глыбах угля блестит множество отполированных плоскостей, это поверхности трещин, вернее, угля, разделённого ранее невидимыми трещинками. А трещинки эти в горном деле называют "кливаж".

Я прошу моего старшого дать и мне уголька порубить. Молоток увесист, но мне всё по силам. Жму на забой – пика затарахтела. Чем сильнее я жму, тем чаще лупит она по забою. Нащупать направление кливажа не удаётся, и уголь сыплется мелкими крошками. Но вот – попадаю! Пика, как в масле, исчезает в массиве, и лёгким нажимом я выворачиваю большую глыбу угля. Тут напарник мой отбирает у меня молоток и кивает на тачку. Обернув тачку в сторону сбойки, я быстро насыпал её углём доверху и покатил. Нет, я только толкнул – дальше она сама по доске покатила, набирая скорость, я не мог хилой массой своего тела притормозить её, удержать, едва скачками, бегом, за ней попевал, за ручки тачки держась. Где уж тут ей мне управлять! И уже на втором стыке она у меня с доски соскочила и вмиг застряла на неровной почве возле доски. Остановилась, как вкопанная! Я попытался было её приподнять, чтобы поставить колесо на доску, увы! – силёнки моей не хватило даже её шевельнуть. Ещё бы! Её и пустую натошак не поднимешь, а теперь в ней угля одного больше ста килограмм!

Я пыхтел, мысли смешались, я не знал, как мне быть. В конце концов, я вернулся в забой, взял лопату, выгрузил ею половину угля, кое-как поставил тачку на доску, снова её догрузил... Вот с такими вот перегрузками и довёз тачку до "опрокида". В следующий заход всё повторилось. Я не мог удержать на доске бегущую тачку...

Мой напарник, конечно, не мог не заметить тяжких мучений моих, но ни разу не пришёл мне на помощь. А я показал себя дураком: чего проще додуматься насыпать по пол тачки. Ну, вдвое больше побегал бы, но зато бы обошёлся без мук. Времени, сил на перегрузках больше терял!

... всё же успел до конца смены вывезти нарубленный уголь. Нелегко дался мне первый рабочий денёк. Не работа, а каторга!

На другой день – то ли мой проходчик от моих услуг отказался, то ли постоянный напарник его пришёл на работу – меня послали работать по "специальности": доставлять лес в лаву. Это работа по мне. Нагружаешь крепёжный лес: стойки, затяжки, распилы на "козу" – вагонеточную платформу с расходящимися чуточку кверху (и впрямь – рога) стоечками по углам её, и гонишь её по верхнему (вентиляционному) штреку к лаве, под самый обрез её – падение здесь крутое. Затем перебираешься в лаву на ближайшую стойку, с которой можно до "козы" рукой дотянуться, и подаёшь лес ближайшему забойщику вниз, а он передаёт его дальше.

В перерывах рассматриваю крепление лавы. По кровле и почве пласта – распилы в линию с небольшими, под стойки, зарубками. Загоняя в них стойки, тем самым заклинивают последние, чтобы не сползли они вниз. Верхний борт лавы, дабы предупредить обрушение нависшего над лавой угля, "зашит" вплотную затяжками, прижатыми к углю стойками. Те, в свою очередь, подперты укосинами, расклиненными между зарубками в центрах стоек и в верхних и нижних распилах. Такое крепление – "крокодил" на кузбасском шахтёрском наречии. «Пойдём ставить крокодилы», – говорили забойщики, когда шли крепить верхний борт лавы. Между прочим, в Донбассе "термина" такого не знали.

... для меня было странно сидеть на стойке над стометровой пропастью лавы и не испытывать страха. Я и вправду на почти горизонтальной стойке сидел, зажав её плотно коленями, и не просто сидел, а ещё и работал. Тянулся руками за лесом вверх, ни за что не держась, наклонялся вниз, передавая его. И ведь отлично я представлял, какая бездна разверзнута подо мной, но от ужаса не цепенел. Правда, стойка подо мной не качалась, но всё же...

А всё потому, что я бездны не видел. Знал о ней, но не видел. Узкий пучок света, исходявший из каски на голове, освещал грудь забоя, край штрека, ближайшие стойки, забойщика в трёх метрах ниже меня, а дальше – темень сплошная, лишь желтеют во мраке ряды стоек внизу, но страшной пустоты под собою не чую. Так-то вот.

Глаз высоты (или, правильной, глубины) этой не видел, и мозг пребывал в полном спокойствии. А понимание, разум, тут совсем не причём. Мозг только органам чувств доверяет. Умом и на мачте я понимал, что мне ничто не грозит, а вот глаза, аппарат равновесия беспокоили мозг, и он отдавал приказания, единственно спасительные, по его мнению, для моей жизни, как и для его существования тоже, – мёртвой хваткой держаться.

Между прочим, тут же мне рассказали, что один институт предложил для удобства работы осветить лаву прожекторами. Так и сделали. В лаве стало видно, как днём, но никто из забойщиков в такой лаве не решился работать: страшно! В самом деле, не всякий способен эквилибристикой заниматься на большой высоте с отбойным молотком в руках и со стойками. Прожекторы пришлось погасить и убрать.

... лесодоставщиком на этой нетрудной работе, от которой к концу смены всё же дьявольски устаёшь, я до конца и доработал. Утром и днём (до шахты и после) я заходил в столовую для рабочих – там на удивление вкусно готовили и брали не дороже, чем в нашей отвратительной студенческой столовке, где нас потчевали несъедобной бурдой, где борщ можно съесть, лишь заправив его стаканом сметаны.

... Пете Скрылёву чрезвычайно не повезло, а, может быть, повезло, это как на дело смотреть. С первого дня он работал лесодоставщиком в другой лаве, подобной моей, но, в отличие от меня, опускал лес забойщикам в нижних уступах. Обвязав концом троса несколько стоек ли, распилов, затяжек, он спускал вниз на канате такие "пакеты". И уже в третий день, опускаясь с обвязанным лесом, он сорвался со стойки и полетел с высоты трёхэтажного дома.

... неумолчный стук молотков не заглушил грохота падения "обремка" рудстоек, он был услышан забойщиками, те мигом спустились и увидели Петю на раскиданных брёвнах на гряде угля. Чудом он уцелел, лишь с рукой было что-то неладно, и его тут же "выдали на гора".

"Неладное" оказалось переломом луча локтевой кости. Придя с работы домой, я застал Петю в комнате с забинтованной рукой на дощечке и подвешенной на бинте, перекинутом через шею. Рука была в гипсе.

... так до самого расчёта Петя и проходил с "самолётом". Пока кость нерослась. Иногда он от скуки провожал меня на работу до

шахты. Я ежедневно отрабатывал свою хотя и посильную, но довольно тяжёлую норму, и тогда, после падения Пети, дал зарок: «Если у меня будут дети, я их к шахте и на пушечный выстрел не подпущу».

... в конце августа закончился Петин больничный, и мы оба подали на расчёт.

Заработали мы с ним одинаково. За вычетом налогов по тысяче – ровно – рублей. Я деланно возмущался: «Где справедливость! Ну, я действительно трудом заработал. А вот за что тебе, Петя, деньги платили?.. За то, что с подвязанной рукой гулял?!» Петя понимал, что шучу, и не обижался.

Жаль, что мы тогда ничего о страховке не знали. Страховые агенты почему-то к нам в институт не заглядывали. Там и денег-то за страховку – меньше десяти рублей в год, но не менее тысячи Петя за травму бы получил дополнительно.

... После начала занятий преподаватели, каким-то образом узнавшие, что мы месяц на шахте работали, останавливали меня и спрашивали, сколько же мы заработали. «По тысяче рублей», – отвечал я. «Что ж, это неплохо», – заметила Иза Яковлевна Гаркави, заведующая кафедрой физики, чудесная женщина, прекрасно ко мне относившаяся, вероятно, за то, что своими знаниями я ей неудовольствия не доставлял. Я увлечённо работал с приборами, изучая поляризацию, дифракцию и интерференцию света, вычислял длины волн и углы поляризации. Мне казалось, что работаю совсем близ переднего края науки. Вот где стихия моя! Наука, не инженерия. Бросить бы всё и податься бы в МГУ, но я шёл проторённой дорожкой и ничего не менял в своей жизни. Смелости мне не хватало броситься с головой в неизвестность, как в омут. Очевидно, я трус. Но ведь и не знал путь в науку...

В конце августа в институт потянулись студенты, началось распределение комнат. Тут с Петей мы не зевали и "застолбили" комнату на четверых в правом крыле общежития с окном, выходящим во двор.

Вскоре приехал Сюп, мы его у себя поселили, а на четвёртое место позвали Николаева Колю.

... вот в такой вот компании в этой комнате прожили мы целых два года.

... В коридоре напротив – дверь в такую же комнату. В ней два Юры – Рассказов и Кузнецов, из Казахстана, друзья с самого детства; со второго курса Сюп к ним пристал, дружил с ними. Третий в их комнате – Шамсеев Камиль, казанский татарин, студент не из сильных, но человек энергичный, он любил повторять татарскую, как он говорил, поговорку: «Где татарин побывал, там евреи делать

нечего». Четвёртым был милovidненький мальчик, младше нас на два курса, он был земляком казахстанских товарищей, они и взяли его к себе в комнату, но в наши компании он не входил.

... триумвират Юрок установил между нашими комнатами особо добрые отношения. Мы помогали друг другу, но вечеринок, походов в кино это совсем не касалось. В личной жизни у всех всё было порознь, и большей частью моим компаньоном оставался Петя Скрылёв, хотя дружбы с ним не возникло, вероятно, мы были неинтересны друг другу.

... У меня появился и новый приятель, тот самый Сырцев Евгений, что перевёлся из Томска и жил у родителей на Герарде, в пяти минутах ходьбы. В нас обнаруживалось сродство увлечений, какая-то тяга друг к другу, духовная близость, и мы, возможно, стали бы друзьями, если бы не...

Я стал бывать у него, брал читать книги из обширной библиотеки отца. Мы о многом с ним говорили, но одного он ни разу мне не сказал – о личном вообще избегали мы разговоров. У него была девушка – студентка пединститута, мне позже кто-то указал на неё, и я удивился: как мог приятной наружности утончённый молодой человек, с хорошим вкусом выбрать невзрачную, непримечательную девицу, но вспомнил пословицу: «Любовь зла – полюбишь и козла!» – и перестал удивляться! Женя был увлечён ею серьёзно, и она отвечала взаимностью, я по хорошему завидовал ему, когда сталкивался с Людмилой, ничего для которой не значил.

... наши странные непонятные мне отношения с ней, прерываемые длинными паузами, продолжались. Я её любил, обожал, и, когда она мимо меня сбежала на повороте лестницы в институте, обдавая запахом дивных духов, сердце моё обрывалось. Видеть её было счастьем. Она казалась мне наипрекраснейшим божеством. Но этому удивляться не надо. Так было всегда с сотворения мира.

«Пленительный взлёт, даруемый полнотою любви, неописуем, а признательность за эту благодать счастья и муки находит, в конце концов, лишь того, от кого всё пошло – или кажется, что пошло. Так удивительно ли, что поглощённость этим пленительным взлётом, умноженная признательностью, превращается в обожествление?»

Какую решительность, какую деятельную восторженность вкладывает в это слово логика любви – весьма смелая и своеобразная логика! Кто, говорит она, так перевернул мою жизнь, кто даровал ей, некогда мёртвой, эти приступы жара и холода, эту радость и эти слёзы, тот должен быть богом, иначе не может быть. А тот палец о палец не

ударил, и всё исходит от самого одержимого. Только он не может этому поверить и создаёт из своего упоения его божественность.

Странная, несусветно дикая логика любви! Всё это известно, и едва ли стоит об этом рассказывать, ибо это старо, как мир, и кажется очень новым только тому, кому пришла пора испытать это словно неведомое и неповторимое потрясение.

Существо, благословляемое нами за те великие муки, что оно причиняет нам, и впрямь должно быть не человеком, а богом, иначе мы стали бы его проклинать. Существо, от которого наше счастье и наша горе зависят в такой мере, в какой это бывает в любви, переходит в разряд богов, это ясно. В известной логике тут не откажешь».

Эти слова Томаса Манна в романе "Иосиф и его братья" я прочитал лет двадцать спустя, пробежал их, не зацепившись. Я тогда был счастлив безмерно любовью к жене своей Лене. Лена, конечно, была и осталась богиней, но богиней чистого счастья без муки... Ещё лет через двадцать я роман Манна перечитал с огромнейшим наслаждением и вновь прочёл эти строки трезво, серьёзно, и не могу с ними не согласиться. Да, так оно было и есть.

... совсем уже редко Людмила звала проводить её через бор. Иногда такие прогулки затягивались, по хрустящему снегу мы ходили по улицам города, щёки её румянились на морозе, и от этого она становилась ещё красивее и любимой до невозможности. А она, домой не зайдя, к вечеру вдруг решалась вернуться назад, в общежитие. И тогда мы снова шли через лес, и она снова читала стихи, разные, больше Есенина. Я практически ничего не помню из её и своих слов в этих прогулках, всё внимание моё сосредоточивалось на милом лице, голосе, я ими любовался, не в состоянии глаз оторвать от неё, до того велико было счастье от наслаждения любованием этим. Всё же я улавливал иногда в словах её смысл, стремление к жизни незаурядной, красивой. Раз на улицах города, проходя мимо двух одинаковых особняков, она обронила: «Здесь живут начальник и главный инженер комбината "Кузбассуголь"», – в словах этих почудилось мне желание страстное быть на уровне этих людей, жить в таком же особняке. Ну, а я не мечтал разве со временем построить в Алуште дом с колоннами и крыльями, как у профессорши Коноплёвой?! Всем нам свойственно стремление к жизни обеспеченной и удобной, хотя я мог бы и малым очень довольствоваться, не терзаясь. Была бы крыша над головой, хлеб и любовь, в первую очередь.

Идя рядом с ней, я слушал её зачарованный. Сам я ей стихов никогда не читал, но, когда заговаривали о книгах, политике, институтских делах, оживлялся, и она внимательно меня слушала, соглашалась, изредка спорила, что-то добавляла к моим аргументам. Мне казалось, мы во многом сходились, вкус к прекрасному у нас был одинаков. Иногда речь сворачивала и на наши с ней отношения, и тогда она меня убеждала: «Я совсем не такая, какой ты меня себе представляешь. Ты меня выдумал». Я с нею не соглашался, говорил, что люблю её такой, какой она есть. Говорил... А какая она, я совсем ведь не знал. Ничего о ней я не знал вне пределов поэтических этих прогулок. Вся жизнь её от меня была напрочь сокрыта. Что она делала без меня, с кем встречалась, где бывала – это всё было мне неизвестно. Об этом она никогда не рассказывала, да я и не пытался узнать. Проводил её до дверей, я мог бы, если б подумал, сказать то, что сказал Евтушенко: «Какая ты со мной – я это знаю. Какая ты за этими дверьми?» В том и беда, что ослеплённый любовью, я думать не мог. И ревности я не испытывал – ревности, которая побудила бы что-то о ней узнавать. Жена Цезаря – вне подозрений! Да и что узнавать?! Мне, в общем, без разницы, какая она за дверьми, до которых я её проводил. Ведь она меня не любила. Этим ответом всё было предрешено.

... но вру, что без разницы.

... К началу нового учебного года у нас перемены. Над прежней столовой появилась надстройка с невероятно высокими окнами – в два этажа: лекционный зал. В нём столы стоят на широких ступенях, поднимающихся снизу от кафедры чуть ли не под потолок. Над проходом во внутренний двор – галерея, связавшая зал с основной частью здания. У общежитием выстроена новая столовая – чистая, светлая.

... Исчезла сапёрная кафедра. И полковника Бувалого – как не бывало! На военной кафедре – новые лица. Во главе её – генерал-майор Гусаров. Во время войны он командовал артиллерийским соединением на Ленинградском фронте.

... вверху, где решаются судьбы человеческих масс, передумали. Из нас решили делать артиллеристов. Офицеров дивизионной артиллерии. Дивизионная артиллерия – это орудия крупных калибров, в те времена – ста тридцати двух и ста пятидесяти двухмиллиметровые гаубицы.

... Баллистик – дважды кандидат, военных наук и технических, – подполковник Горбов назначен куратором нашей группы. Образованнейший и интеллигентнейший пожилой человек, он сразу же завоевал всеобщее уважение.

... Начало семестра – беззаботное время. С новым старостой, тридцатилетним Байбариним, у меня, у юнца, установились хорошие, почти дружеские отношения, и он закрывал глаза на то, что я часто с лекций сматывал удочки: моё отсутствие в журнале не отмечал. А за это спрашивали довольно таки строго. За неоднократное непосещение лекций могли влепить выговор и даже стипендию снять.

... В моих частых побегах с занятий у меня был надёжный напарник – Петя Скрылёв. Где мы целыми днями болтались? Днём, конечно, в кино. Вечерами заходили в горсад в центре над Томью. Осенью там были танцы, на которые мы только глазели, зимой – заливали каток, на котором под музыку скользили счастливые пары и, стайками, девушки и девчушки. Но коньков у нас не было, и кататься мы не умели, и даже не догадались узнать, не дают ли коньки напрокат. В саду в тёплое время духовой оркестр играл постоянно, зимой крутили пластинки, и музыка доносилась из репродукторов... Музыку, щемящую сердце, слушать было приятно, она отражала тоскливую грусть одиночества, и больно, потому что она ещё больше бередила душу.

Всё чаще и чаще мы ходили в театр музыкальной комедии. "Репертуар" наш обогащался стремительно. В нём были Кальман, Легар, Штраус, Оффенбах, Дунаевский, Милютин. Оперетта в тот год захватила нас целиком. В кино нас тоже больше привлекала эстрада, нежели фильмы. Дело в том, что в незабываемые те времена в центральных кинотеатрах наряду с кинозалами существовали огромнейшие фойе с подмостками для эстрады. В кемеровском кинотеатре "Октябрь", где было два кинозала, – целый зал на втором этаже.

... публика на сеанс приходила заранее, и, за полчаса до начала картины в большом зале, на подмостки выходила певица. Пела она под аккомпанемент небольшого оркестра душещипательные романсы и песни, часто исполнявшиеся в военные и послевоенные годы Шульженко. Высока, пышнотела, что несколько скрадывалось длинным – до пола – чёрным вечерним платьем её, она была очень собой хороша. Всё это вместе: и недоступная женская красота, и надрыв её песен, и горечь неразделённой любви, приводило душу в такое смятение, что хотелось рыдать от жалости к себе самому, судьбой обойдённому.

Чтобы развеивать своё одиночество и тоску, я не потянулся в компании, никто в этих компаниях не был мне нужен, кроме единственной той... Я выпросил у физкультурника лыжи с ботинками и жёстким креплением (раз, два – и зажим застегнулся!) и держал их в углу нашей комнаты у изголовья кровати. Вечером, когда все дела

уже сделаны, я становился на лыжи и мчался к тёмному лесу по накапанной скользящей лыжне. Путь виден был в звёздном свечении на белом снегу хорошо и в тёмные ночи, в лунные же – всё озарялось мерцающим сиянием, и лес стоял чудный и заколдованный. Сосны – недвижны, загадочны, с искрящейся снежной ватой на темных, распростёртых в стороны лапах. Под ними тени на белом, за пределами теней – в искрах, снегу. С неба царственно смотрит Луна на тишь эту, этот покой, преображённый ею в ослепительно роскошную сказку. И полёт по лыжне в мире волшебного застывшем – редко дерево здесь шевельнётся и осыплется с него снежная пыль – доставляет мне наслаждение. Я ни о чём не грущу, лишь испытываю восторг от неземной красоты, раскинувшейся вокруг. Я петляю по лесу – лыжнями он исчерчен во всех направлениях, – не сбавляя хода ни на минуту, качусь вихрем вниз и взлетаю на небольшие пригорки.

... век бы жить такой жизнью! Но, пора и домой.

К двадцати четырём – лыжи в угол, я – в постель, где мгновенно и засыпаю.

... Прошло месяца два после начала учебного года, обе комнаты враз ощутили нехватку финансов и уговорились жить вместе, коммунальной, вложив (со стипендии) по сто пятьдесят рублей в общий котёл (первокурсник не участвовал в этой затее). Казну поручили Шамсееву и по его указаниям закупили на месяц пшена, вермишели, луку, картошки, масла подсолнечного, сахару, соли – кажется, всё. Большая кастрюля, сковорода, тарелки, ложки и вилки взялись неизвестно откуда – не покупали их точно, – может быть, их позаимствовали в столовой?

... поваром на неделю поочередно становился каждый из нас, однако, при всём несходстве наших характеров и пристрастий, пища наша разнообразием вкуса не отличалась. У всех получался одинаковый вермишелевый суп, осточертевший до чёртиков, и жареная картошка – вещь чудная, но без солёных огурчиков, без капустки не лезшая в горло.

... на исходе месяца уже разумелось, что по этой причине коммуны больше не жить.

Камиль оказался хозяином рачительным, у него осталась приличная сумма, и, накануне стипендии, мы решили хоть раз по-человечески поесть в ресторане, двинувшись туда всемером. Там, сдвинув вместе два столика, мы и отъелись за месяц. Не без водочки, не без водочки, разумеется.

Совместная наша коммуна всё же несколько раз возрождалась и в этом учебном году, и в следующем, но никогда не могла больше месяца продержаться. Недаром же в бегстве от однообразной пресной

еды, в погоне за пряностями (и пиастрами, и пиастрами, которые эти пряности приносили) конквистадоры – авантюристы великие прошлого – открывали континенты и острова. На нашу долю открытий уже не осталось, и потребность во вкусной еде удовлетворял ресторан.

Рестораны в достопамятные те времена, повторюсь, были дешёвые (о столичном "Метрополе" судить не могу). За двенадцать рублей – обед из трёх блюд: мясной борщ или сборная мясная солянка (не то, что при взгляде – при упоминании слюнки текут!), нежнейший бефстроганов с картофелем фри и сочным зелёным горошком в коричневой (пальцы оближешь!) подливке и чай с лимоном, компот или кофе. Ну, и при этом стопочка водки, конечно. Съедали дочиста решительно всё. И подливку тоже вылизывали. Не языком. И не пальцем, не думайте. И мы были шиты не лыком, правилам "хорошего тона" обучены, только вот не могли удержаться и оставить последний кусочек хлебной корочки в тарелке. Что ж, все мы люди, а, как известно, слаб человек. А подливка и в самом деле была изумительна! Отломишь кусочек батона, нанижешь на вилочку и в эту мясную подливку макнёшь, а потом его – в рот, где он тает блаженно...

... блаженные времена.

В перерывах между коммунами денег нам хронически не хватало. Дней за пять до стипендии не было ни копейки, не на что было хлеба купить. Тогда Петя Скрылёв ложился в одежде на застланную одеялом кровать и лежал так недвижимо, если память не изменяет, даже руки сложив на груди, являя стоическую решимость ждать логического конца. Сюп в первый день голодовки суетился, метался в попытках денег занять. Но занимать было не у кого. У соседей – такой же отчаянный кризис. На второй день Сюп увядал и впадал в Петино состояние. Как вёл себя Николаев, не помню.

... в день первый, я, страдая от голода, не предпринимал ничего, в день второй попытка становилась невыносимой, и, поняв, что помощи ждать неоткуда, я с утра третьего дня уходил в институт за добычей. Там я заходил к очередному или очередной зав кафедрой, благоволившему или благоволившей ко мне. Мой вопрос был примитивно однообразен: поздоровавшись и назвав имя, отчество, я продолжал: «не могли бы вы одолжить мне сто рублей до стипендии?» Никто мне никогда не отказывал. Если случалось, с собой не было денег, обещали завтра же принести, и приносили... Но каким же усилием воли заставлял себя я деньги просить!

... вернувшись в лежащую комнату, я помахивал над головой огромной купурой, и все залёгшие оживали. Я вёл их в столовую вместе с нашими визави – всё же товарищи и голодают так же, как мы.

Аскетическим рационом до стипендии были мы обеспечены. В день стипендии каждый отдавал свою долю, и я занятую сумму тотчас же относил. Тут я был щепетилен до крайности, ни дня не просрочил. Интуицией чуял: «Утрата доверия – потеря кредита!»

В добывании денег (только займы) я достиг виртуозности. Я брал даже у Курлова, отличавшегося тем, что денег у него не было никогда: он их сразу все пропивал, как говорили, хотя лично я его пьяным не видел ни разу. Он сам постоянно сшибал у студентов трёшки, пятёрки и забывал отдавать; месяцами незадачливые заимодавцы ловили его, пока не понимали, что хлопоты их бесполезны, впустую.

А вот я занимал у него...

... Этой осенью достроили мост, и из Рудничного района трамвай связал нас с районом Центральным. Но остановки трамвая были далеко от нашего института, и мы, по-прежнему, чаще всего шли тропкой напрямик через бор и влезали в трамвай на остановке вблизи моста, да и то, если он вдруг подгадает. Ждать не было смысла: трамваи ходили редко.

... и автобус пустили. Это ближе – от "Голубого Дуная", от забегаловки, что за посёлком Герард. Но автобуса тоже ждать было можно часами. Расписания не было. Так что выходило надёжнее, а подчас и быстрее, отмахать лесом четыре-пять километров и спуститься сразу на мост.

... трамваем я пользовался чаще всего лишь в центре, и езда в нём была неприятной. В какой-либо день, слякотный, серый, влезешь в него, усядешься у прохода, а по нему, палкой нащупывая дорогу, движется нищий, неопрятный, слепой, с лицом изъеденным оспой ли, порохом или пороками. Веки сомкнуты, воспалены и гноятся. Волосы всклокочены, спутаны, как у попа, ниспадают на плечи. Те осыпаны перхотью, фуфайка засалена, штаны в заплатах, грязны.

В свободной руке у него меховой драный треух, он несёт его впереди, вытянув руку, касаясь им голов сидящих людей, сердито, испуганно отшатывающихся от него.

Медленно вслед за палкой продвигаются ноги, а сам он гнусаво поёт:

Ведь без руки или ноги – калека,
Но очи есть – он пищу приобретёт.

... аккомпанементом приглушённо изредка звякают брошенные в шапку монеты.

... звякают, звякают.

Мне неприятно смотреть на ужасное человеческое пятно, плывущее по проходу. Я ведь при социализме живу и понимаю, что при социализме этого быть не должно. Но вот же...

А дребезжащий голос ноет, гнусавит тягуче:

Но вот слепой без помощи другого человека
Себе воды напиться не найдёт.

Бывают и вариации, повеселее:

Хорошо тому живётся, у кого одна нога.
Есть и пить она не просит, и не надо сапога.

Дойдя до конца вагона, он зажимает шапку между ногами и дрожащими пальцами слепо шарит в ней, собирая монетки. Собрав, ссыпает в карман и, дождавшись остановки, торопливо стуча палкой, сходит.

... Я не люблю безобразия в жизни, может, поэтому мне нравится обедать днём в ресторане. Изредка мы себе позволяем такое и в обычные дни, а не только после коммуны. Пустой зал, ломкие крахмальные скатерти, ещё незапятнанные красным вином, чистые пепельницы без чадающих окурков. Нет пьяных выкриков, тишина. Цветы в вазах, фарфоровые с позолотой тарелки, хрусталь: стопки, бокалы, фужеры.

Всё, что есть в жизни плохого, размышляя я, упиваясь минутным ресторанным уютом, происходит от невнимания, от безразличия к людям. Если жизнь хоть немного почистить, она станет отрадней, светлее. И немного надо для этого: только уважать человека и чуть-чуть заботиться о других. Тогда люди станут сердечней, и жизнь будет ярче, богаче и радостней. Отчего же все не хотят этого понимать? Отчего люди злы и завистливы? Отчего власть предрержащие, замкнувшись в узком кругу, призывая народ к цели прекрасной, не замечают недоброго, нехорошего в нашей социалистической жизни? Не делают малости той, что могла бы жизнь людей скрасить. Вот директор мой, Горбачёв, и немного помог, а люди довольны и вокруг себя жизнь украшают...

Наивные размышления не находили ответа.

... занятия в институте идут серо, однообразно, или я к ним привык? Да я ими и не "злоупотребляю" особенно, постоянно в "бехах", зато много читаю. В тот год заново перечёл многих классиков. И другим делом тоже теперь занимаюсь. Моя "корреспондентская" деятельность была замечена секретарём парткома Горовским, и решением партийного комитета я был назначен заместителем редактора институтской стенной газеты. А редактор – тот самый зав кафедрой Курлов, у которого я никак в прошлом шлиф до "кондиции" не мог довести, а теперь займы деньги беру.

Курлов газетой не занимался и её совсем завалил, вот ему в подкрепление меня и подбросили.

Если комсомольский "Ёж" с карикатурами и стихами вывешивали на доске регулярно, то орган администрации, партбюро и профкома на втором курсе вышел два раза всего.

Редактором назначить меня не могли, так как я в партии не состоял, а Курлов был коммунистом.

Отношения мои с шефом отличались оригинальностью. Он не вмешивался в работу редакционной коллегии и позволял мне всё решать самому. Естественно, были подсказки Горовского, когда надо было определённую тему затронуть.

Я подобрал себе нескольких новых сообщников, избавившись от "балласта". К сожалению, талантов, как в газете у Юриша, у нас не нашлось, а переманивать тех этика поведения мне не позволила. Да и цель была другая предо мною поставлена – наладить регулярный выпуск серьёзной газеты и сделать её хоть немного поинтересней.

Ведь занимают нас не только пародии и карикатуры, но и другие проблемы. Направление я выбрал (и оно было поддержано) официальное и умеренно критическое, хотя тем, кто под критику попадал, она, верно, не казалась умеренной.

Для начала я провёл формальную работу. Поднажал на комсorghов, чтобы растормошили корреспондентов. Собирал тех, беседовал, наставлял. По опыту знал, что толку от большинства будет мало (ну, не хотят люди, не любят эту работу, которой их "нагрузили"), но хоть какая-то своя "агентура" была мне нужна. Если сами они не могли, не умели изложить то, что знали – не беда, кто-нибудь из редколлегии сделает это, были бы факты. Само собой, значительную часть работы я брал на себя: писал передовицы, статейки по поводу, редактировал писанину чужую. Я старался разнообразить формы подачи материала, стал практиковать интервью. Мне хотелось сделать язык газеты живым, со свойственной жизни порой непричёсанностью и с юмором, избегать шаблона, казённости даже в передовых. Не думаю, чтобы это мне вполне удалось, но дело сдвинулось с точки. Первый номер появился в установленный срок. Все последующие тоже. Самое же отрадное – и у нашей газеты в день её выхода стал толпиться народ, не в такой, далеко не в такой мере, как у комсомольской газеты, но всё же...

... На заседаниях партбюро Курлов начал "лавры" срывать за хорошо поставленную работу, в свою очередь он во мне не чаял души и любую возможность использовал, чтобы выказать это. Возможностей

этих у него было до крайности мало – всего лишь одна, очень скромная, и он мне её предложил. Ему требовались демонстрационные чертежи, и изготовление их дирекция разрешила оплачивать. Стоил такой чертёж, в зависимости от сложности, до двадцати пяти рублей. Курлов давал мне очень лёгкие задания, то начертить кинематическую схему механизма, состоящего из двух-трёх шестерёнок, то червячную пару, то ещё какой-либо пустячок в этом роде, а оплачивал по высшей ставке – двадцать пять рублей за лист ватмана. Правда, бухгалтерия ограничила плату пределом в сто рублей в месяц, но уж эту-то сотню я получал почти регулярно, трудясь над четырьмя чертежами.

... В общем, жил я довольно спокойно, если бы не частые встречи в институте с Людмилой. Идёт она по коридору, или столкнёшься с нею на повороте лестницы, так что волна каштановых волос её зацепит тебя по лицу и обдаст таким тончайшим кружащим голову ароматом, что задохнёшься, и такая тоска и печаль охватит всего – хоть стреляйся. Но в самом деле стреляться – мыслью таких не было никогда.

... А смерть по этой причине ходила совсем рядом со мной. Не моя смерть, чужая, но трагичная, как и все смерти несвоевременные, бессмысленные.

... подхожу к общежитию, а мне навстречу: «Женя Сырцев повесился».

– Быть не может! Как? Когда? Почему?

... возлюбленная его в последнее время стала с другим парнем встречаться. Когда Женя об этом узнал, он побежал объясняться. Та заявила, что не любит его. Женя в отчаянии вернулся домой, представил табуретку к печке, встроенной в стену, из которой, как специально, торчал стальной штырь, привязал конец верёвки к нему, на другом конце сделал петлю, накинул на шею, затянул и отпихнул табуретку ногами. Мне не нужно было догадываться, в каком он был состоянии, я это сам пережил, но я скроен был, видимо, иначе, невыносимые муки переносил, но чтобы с собою покончить?!!

Когда родители вернулись с работы, тело Жени окоченело. Не дай бог родителям такое перенести!

Я был убит. Почему же я в тот момент не оказался с ним рядом. Мы всё суетимся, занятые мелкими своими делами, не замечая, что происходит вокруг. Почему я не попытался узнать о нём больше, чем он говорил, почему не заинтересовался подружкой, не познакомился с ней, не почувствовал, что ему предстоит... Я то лучше многих знал, как это больно, когда любимая, надежду подав, отвергает

тебя. Это, как обухом по голове. Происходит минутное помешательство. Знай я, будь рядом с ним, я, быть может, сумел удержать его в ту минуту. А потом он бы опомнился, мучился бы, но терпел. Я же, увлѣкшись газетой, заработком сотни рублей, просмотрел, проморгал человека, который мог стать моим другом.

Я не пошёл прощаться к нему ни домой, ни на похороны на кладбище. Не мог. Слишком тяжело на неживого смотреть. Прощай, Женя. Прости.

Тогда я не связал смерть Жени с... С чего это вдруг Юля Садовская пригласила меня погулять? Быть может, по подсказке Володиной? Или сама?

Юля, как и в предыдущие годы, жила в комнате вместе с Людмилой, дружила с ней и не могла не знать о любви моей и об отношении подруги её к этой любви. Вероятно, чувствовала она, что, вопреки разуму, во мне тлеет надежда, что редкие приглашения любимую проводить, я принимаю за проявление хоть какого-то интереса к себе.

... Мы медленно шли с Юлей от столовой по направлению к лесу, но до него не дошли. Я, как сейчас, помню снежное поле между институтом и лесом и справа белые коробочки домов Стандартного городка. День был ясный, солнце сияло радостно, ослепительно било в глаза, отразившись на гранях снежинок. Утоптанная тропинка, по которой идѐм, скользко блестит. День ликует, но ликует не для меня. Юлины участливые слова мне больно слушать, хотя в них чистая правда. Она убеждает меня, что мы с Володиной разные люди, что ничего хорошего у нас выйти не может, что мне надо оставить мысли о ней. И ещё бог знает, что она говорит. Я её уже почти и не слушаю, занятый собственными думами, текущими параллельно. Всё, что говорит Юля, я знаю и сам, но что это изменит. Я понуро вышагиваю, оскальзываясь, по тропке, безысходная тоска придавливает меня: «Ну, почему, почему я влюбился в Людмилу. Почему не влюбился в эту милую добрую девушку, что идѐт рядом со мной. Так было бы хорошо. Но я в неё не влюблѐн, и никуда не деться мне от Людмилы, что тут не говори».

Так мы и ходим от развилки дорог и почти до самого леса, туда и обратно. Юля всё говорит, говорит. Я молчу. Снег скрипит под ботинками. Время остановило свой ход. Всё сказано до конца, мы расходимся. Слава богу, – это я теперь говорю – с меня не требуют клятвы не совершать ничего над собой. Об этом можно не беспокоиться.

... В эту зиму я для закалки по утрам начал обливаться холодной водой из-под крана. Всё шло хорошо, даже слишком, пока не прохватило меня на лыжне, и я не заболел воспалением лёгких, и

"скорая" не увезла меня в знакомую Рудничную больницу. Но теперь мне лежать довелось в общем зале, где нас было человек восемнадцать и где меня нещадно сульфидином травили.

... гадость это, я вам доложу.

Прошла неделя, никто из товарищей не догадался меня навестить – такие мы были "товарищи". Да я и не ждал никого. Вдруг неожиданно меня вызывают в приёмный покой. Я открыл дверь и увидел Людмилу.

Лучше бы она не приходила совсем! Она была так хороша и так далека! Вежливо осведомилась, как дела у меня. Я ответил, что на казённых харчах поправляюсь, и дня через три меня выпишут. На прощанье она отдала мне передачу – кулёк грецких орехов. Зачем?

Вернувшись домой, я налёг на занятия и в несколько дней подготавливался к накатывавшимся зачётам.

... в комнате все заняты своими делами, в ней – стерильная чистота. С самого начала договорились содержать её в идеальном порядке. Кровати застланы тщательно, стол накрыт скатертью и пуст перевозданно, на тумбочках беленькие салфетки. Вешалка, прибитая к стенке, завешена простынёй.

Всё аккуратно, казённо. Да и чем мы могли навести в ней уют? Даже на матерчатый абажур денег выкроить не могли. А, может, не догадались? Может, аккуратность и чистота вполне нас устраивали, а к большему мы не стремились?

Да нет. Нет, пустые простенки по обе стороны от окна мы украсили большими цветными портретами Ленина, Сталина – и обожаемые вожди, и пятна, оживлявшие комнату.

К концу года внутренняя жизнь моя в институте выцвела абсолютно, никаких происшествий, событий. Только изредка письма от школьных друзей приходили, да неожиданный к Новому году опять перевод ста рублей от тёти Дуни.

... Но в Союзе за стенами института дела шли своей чередой, и, похоже, назревали нешуточные события.

... прошёл Девятнадцатый съезд ВКП(б), которого люди, во всяком случае коммунисты, с нетерпением ждали семь лет после окончания войны, наивно надеясь, что он в жизни изменит что-то решительно к лучшему.

Но перемены были чисто формальными. На Съезде с отчётным докладом ЦК впервые выступил не Сталин, а Маленков. Маленков в докладе, как и все остальные, пел осанну товарищу Сталину: «Это

наше счастье, товарищи, что в трудные годы Великой Отечественной войны... – и далее: – под руководством великого товарища Сталина...»

Зал при этих словах встал (это я видел в киножурнале) и зашёлся в буре оваций. И что меня поразило – Сталин тоже захопал. Как же так можно – хлопать себе?! Где же обыкновенная скромность, у скромнейшего из людей?

... впрочем, не пресекаемые вождём славословия меня всегда изумляли, как же так можно – прямо в глаза! Это же стыдно! Так же как в книжках ссылки его на себя самого: «Товарищ Сталин по этому поводу говорит...»

Сталин в кратенькой заключительной речи, отмечая появление дружественных стран народной демократии, заявил: «Жить стало веселее, товарищи!» Зал снова бурно ему аплодировал. И мне тоже казалось, что от этого жить веселее.

Съезд утвердил пятилетний (с 51-го года!) план развития хозяйства страны, и изменил название партии. Теперь она стала КПСС. Я до последней минуты не верил, что это возможно: столь зловеще выглядела аббревиатура "СС".

Политбюро преобразовано было в Президиум (какая разница, как его называть?!).

А нет, умные советские граждане, вынужденно привыкшие читать между строк, поскольку в словах смысла было не больше, чем в пареной репе, в самом малозначительном событии видевшие знак чего-то замышлявшегося большого, гадали: «К чему бы всё это?» Меня, к сожалению, среди таких граждан не было. Я помыслить не мог о закулисной борьбе, и любое печатное слово казалось мне правдой.

В стране продолжалась борьба с безродными космополитами, с низкопоклонством перед трижды проклятым Западом. Тут доходило вообще до абсурда. Все открытия в мире в восемнадцатом, девятнадцатом и двадцатом веках, стали приписываться русским учёным. Везде утверждался отечественный приоритет. И только косное царское правительство было повинно в том, что об этих открытиях мир вовремя не узнал, что своевременно на них не взяли патенты. Наши танки, машины, домны, тракторы, самолёты, паровозы, комбайны (и угольные, и сельскохозяйственные) объявлялись самыми лучшими в мире. В самом деле, хватало уже через край, не поверил бы, если бы своими глазами не видел в одном толстом журнале, что картофельные бунты во времена Екатерины II – выдумка нечестных историков, что никакой надобности насаждать картофель в России не было, и быть не могло, так как сама Россия – истинная родина картофеля.

Любую науку делили на нашу и буржуазную. И буржуазную крушили во всю. Тут в прихлебательском раже журнал "Новый мир" обозвал неведомую мне кибернетику лженаукой, а Норберта Винера – мракобесом. Сам это читал. К слову, спустя несколько лет, когда Винер приехал в Советский Союз, "Новый мир" принёс ему свои извинения.

... после съезда возникло "дело" кремлёвских врачей, врагов и вредителей, отравлявших руководителей государства, спровадивших на тот свет товарища Жданова.

... громили сионистские организации за "связи" с израильской и американской разведками.

У меня "дело врачей", несмотря на обилие еврейских фамилий, с борьбой с сионистами не связалось никак. Мне внушили, что сионисты – это евреи или группы их, связанные с Израилем и с еврейскими организациями в США, вредившие нашей стране, как могли; врачи же были просто людьми, хотя и врагами, злодеями. Для меня не было "ни иудея, ни эллина". При всей своей логике – связи я тут по наивности своей не усёк. Да и причём тут наивность?! Не могло быть антисемитизма в нашей стране. Допустить это – значит, подорвать все основы коммунистической веры. Такая возможность в честной голове моей не укладывалась...

... Год закончился, не принеся вроде бы никаких изменений, и никто из нас и подумать не мог, и не только тогда, а ещё и через множество лет, что с уходом этого года окончилась целая эпоха в истории и нашей многострадальной России, да и во всей всемирной истории. Что открывается дорога к новой трагедии, и начинается история совершенно другая, плоды которой созреют через полвека. Что Россия на вершине кажущегося могущества своего, сравниться с которым не могла уже ни одна в мире держава, кроме США, будет обессилена совершенно, глубоко и смертельно больна, что вылечить её, наверное, станет почти невозможно, что она уже сейчас надорвалась, тридцать лет неся на себе безжалостного большевистского седока. Надорвалась двумя в этот срок четырёхлетними германскими войнами, революцией и кровавой четырёхлетней междоусобной гражданской войной, величайшим голодом, перенесённым народом дважды с перерывом в десять лет, надорвалась истреблением миллионов кормильцев-крестьян, надорвалась миллионами расстрелянных и замученных в ленинско-сталинских лагерях.

Но пока о болезни никто не догадывался, ничего не лечили, а выжимали до капельки всё, что ещё выжать могли



Рис. 14. Стандартный городок



Рис. 15. Дом Стандартного городка, переданный горному техникуму.
В таком доме со 2-го курса находилось и женское общежитие КГИ

1953 год

В начале января в "Правде" появился Указ Президиума Верховного совета СССР о награждении врача кремлёвской больницы Лидии Тимашук орденом Ленина за содействие в разоблачении "убийц в белых халатах".

Ну, указ и указ. Мало что ли и до этого было вредителей.

... и исчез, растворился пятый семестр и экзамены (снова у меня повышенная стипендия), и каникулы, всё, всё, всё. Пошли неприметные будни шестого семестра...

... Первого марта в середине дня сразу после занятий мы собрались в красном уголке общежития на комсомольское собрание группы. Вела его Володина как неизменный комсорг, сидя за столом лицом к нам, ко всем остальным. Обсуждали свои дела, корили неуспевающих и хвостистов, грозили карами уклоняющимся от посещения лекций (тем, кто в журнале отмечен), решали, как улучшить дисциплину и приобретение знаний студентами группы. В разгар жарких дебатов дверь в комнату приотворилась, и отсутствовавший на собрании Кузнецов шагнул в комнату. Все разом умолкли, оборотились на скрип двери и на Юру уставились. Голосом, срывающимся, он медленно произнёс: «По радио передали – товарищ Сталин тяжело заболел и временно отошёл от дел».

... Все растерянно замерли. Тишина... Тишина долгая, гнетущая, нескончаемая. Потом кто-то голос подал: «Предлагаю собрание прекратить». Гул, возникший в собрании, был явно за то, что дальше заседать неуместно. Но Людмила Володина перехватила инициативу. Она наперекор общему настроению взволнованно донесла до нас мысль: «Нет, товарищи! В эту горькую для всех нас минуту, когда Сталин тяжело заболел и временно отошёл от дел, мы руки не должны опускать, не должны расслабляться, мы должны теснее сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина и работать ещё настойчивее, чтобы с честью продолжать его дело».

... Собрание работу продолжило.

Все дни вслед за этим мы ходили, пришибленные этой вестью, кто искренне, а кто, может быть, нет. Я, во всяком случае, очень переживал, я слепо верил тогда радио и газетам, и Сюз тоже, по нему

было видно. Сводки о здоровье товарища Сталина были безрадостны, он в сознание не приходил, температура оставалась высокой. Это походило на начало конца. «Как же мы теперь будем?» – мысль эта застряла в мозгу, не выходила из головы, настолько привыкли, что всё свершается только гением Сталина, по его указаниям.

Пятого марта радио сообщило о смерти. В зале на траурный митинг собрался весь институт. На сцене – в обрамлении хвойных ветвей, перевитых красно-чёрными лентами, огромный портрет Сталина. Скорбная музыка. Все стоят. Со сцены произносятся речи. Я не слышу их содержания, всё во мне омертвело от горя. По щекам текут слёзы.

... в общежитии я прикрепляю к сталинскому портрету сосновые ветки и, как в институте, перевиваю их двумя лентами, красой и чёрной.

... В этот день мы гадаем, кто придёт на смену Сталину на постах его и, вообще, о грядущих переменах среди главных лиц государства. Все в нашей комнате единодушны, что Председателем Совета Министров быть Маленкову. Большинство согласно и с тем, что на посту Председателя Президиума Верховного Совета СССР незаметного Шверника, заменят, по всему, Ворошиловым, некогда весьма популярным, оказавшимся, как показала война, полной бездарностью, если не сказать как-нибудь крепче. Но кто будет Первым секретарём ЦК партии? Мнения разделились. Петя вообще пожимает плечами, Сюзь предполагает, что Молотов. Я – с первым, то есть не могу сказать ничего, но не исключаю второго. И тут Николаев произносит безапелляционно: «Хрущёв!»

Это всерьёз не воспринимает никто. А, собственно, кто он такой, Никита Хрущёв? Ну, мелькает, мелькает на втором плане среди главных вождей; ну, был первым секретарём Московского горкома, возглавлял ЦК Компартии Украины, но из этого что? Тоже мне, вождь, идеолог.

... завтра радио и газеты приносят известие о совместном заседании ЦК партии, Совмина и Президиума Верховного Совета СССР. Председателем Президиума избран Ворошилов, Председателем Совмина назначен Маленков. Хрущёву предложено сосредоточиться на работе в аппарате ЦК партии. Это ещё не Первый секретарь, но это уже больше, чем на половине дороги к нему. Ай да Коля!

Через год Никита Сергеевич станет Первым.

Наступали неожиданные перемены... Как-то без особой огласки прекратили "дело врачей", выпустили из тюрем уцелевших "убийц в белых

халатах". В "Правде" в нижнем углу мелко Указ напечатали о лишении Лидии Тимашук ордена Ленина как ошибочно награждённой.

... и совсем поразительно: в "Правде" полностью напечатана речь генерала Эйзенхауэра, нового президента США, бывшего Главнокомандующего союзными войсками при открытии второго фронта в Европе. Это невероятно! – но факт. Впервые напечатали речь главы враждебного государства о Советском Союзе и Сталине. Впервые в советской газете можно было увидеть кощунственное для советского глаза сочетание слов: «тридцатилетняя империя Сталина».

Эйзенхауэр повёл политику более мягкую, нежели прежде, и вскоре между двумя Кореями было заключено перемирие, которое тянется до сих пор. Война закончилась там же, где началась – на тридцать восьмой параллели.

Перемены, которые я, в общем-то, не ощущал на себе, где-то незримо происходили. Вышла повесть Ильи Эренбурга "Оттепель", она произвела тогда на меня впечатление. Недавно перечитал из любопытства – вещь бездарная, слабая.

... В институте на конец марта наметили музыкально-литературный торжественно-траурный (!) вечер, посвящённый памяти Сталина. Каждой группе старшего, курса отводилось на выступление тридцать минут. Программы группы составляли самостоятельно.

... с этим поручением и подошла ко мне Люся: «Напиши сценарий для нашей группы». Я с опаскою согласился – сценариев никогда не писал и боялся не справиться.

Размышляя, как выполнить поручение, я надумал идти по самому естественному и простому пути: подготовить стихотворно-музыкальную композицию из стихов и песен о Сталине. Но путь этот оказался не столь уж и лёгок: из океана произведений надо было выудить несколько единиц, отражающих вехи жизненного сталинского пути.

Я разбил жизнь Сталина на этапы и начал подбирать к каждому соответствующее стихотворение и песню, которую бы вслед за чтением исполнял хор нашей группы.

... каждый вечер я ухожу в город. Допоздна сижу у окна, у большого чёрного стекла за столом в тёплом, чистом зале читальни. За стеклом ночь, снег, мороз, а здесь так хорошо, яркий свет, тихо, книги. Читальный зал теперь в новом месте – на новой улице в новом доме, занимая его первый этаж. Улица коротка – от Томи до Советской, всего по два дома на каждой её стороне. Я люблю эту улицу

днём, дома здесь мне очень нравятся. О четырёх этажах, с фальшколоннами над высокими светло-коричневыми цоколями – под "шубу", с портиками, эркерами, башенками и лепными карнизами. Они свежи бежевой, кремовой штукатуркой, а кое-где голубой и зелёной, оттеняемой белизной колонн, карнизов и обрамленья окон. И название улицы очень хорошее – Весенняя.

Я полюбил небольшой центр нашего города. В первый раз на прогулку по зимнему городу в солнечный день меня вытащила Людмила. У горсада мы тогда распрощались. Помню щёки её, раздумывавшиеся от мороза, пахнущие свежестью, особой, холодной...

С тех пор я и сам начал часто бродить по улицам города. Мне нравился непрерывный поток людей в центре, от которого ответвляются ручейки в дома, в магазины, в кино. В неспешной суতোлке Советской есть своя прелесть. Смотришь во встречные лица, которым нет до тебя никакого дела, на стёкла окон, за которыми мелькнёт незнакомая жизнь, и, как ни странно, твоё одиночество растворяется в массе людей, и тебе становится легче. Но бывает и иначе, и тогда одиночество становится особенно острым.

... У ночного зимнего города своя красота. В ночном сумраке жёлтые пятна снега под фонарями колеблются вместе с качаниями самих фонарей под слабыми порывами ветра. В их лучах – хлопья редкого крупного снега тихо падают наискось. Ветви деревьев белы, улицы тихи, пустынно. Лишь на остановках трамвая – кучки подпрыгивающих на морозе людей, да сами трамваи изредка громыхают на рельсах: длинные красно-жёлтые остеклённые ящики с тусклыми огнями внутри. Дома чуть подсвечены снегом, в окнах шторы и людские тени на них, и просвечивают красные абажуры – как там, наверно, уютно! И становится грустно...

Тем не менее, я люблю бродить вечерами, и сейчас с удовольствием прохожу по короткой, широкой Весенней с заснеженным сквером посереде, направляясь в читальню.

... я листаю бесчисленные издания советских поэтов, песенники, выживая и выписывая нужное для меня. Несколько вечеров провёл здесь я, работал с подъёмом, дело ладилось, спорилось. Я испытывал радость, когда мне удавалось, а это удавалось всегда, – слишком много хвалы было написано Сталину, – подобрать хорошо сочетавшиеся стихи с песней, точно отвечавшие моему замыслу. Будто я не просто переписывал другими сочинённые вещи, а творил.

Сделанная мною работа мне понравилась, и я отдал сценарий Людмиле. Прочтя, она его похвалила, но добавила: «Группа этого не осилит. Надо сократить, упростить».

... чем закончилось дело, и был ли торжественно-траурный вечер?.. Но, группа не пела, за это ручаюсь.

Сейчас, с новым знанием, задним умом полагаю, что сверху, порекомендовали ничего больше торжественно-траурного не проводить. Эпоха Сталина кончилась.

... Ещё до всех этих событий в феврале сразу после каникул профком института подвёл итоги проверок состояния комнат в пятом семестре и выделил нас. Нам вручили первый приз "За образцовую комнату" – патефон (к счастью, – переходящий – далее увидим за что). Мы торжественно внесли его в комнату и водрузили его на тумбочке у окна..

Патефон – радость огромная. Все мы музыку страстно любили. Правда, теперь из бюджета потёк ещё один ручеёк – на покупку пластинок. И покупали мы не эстраду, не джаз, хотя Цфасман, повторюсь, был мне приятен. Покупали мы классику. К операм, например, увертюры. На целую оперу денег бы не хватило – это же целая коробка пластинок! Да и не было их в магазине, целых опер, записанных на пластинки. Зато была музыка из балетов: "Адажио", "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера", что-то из "Щелкунчика", из "Раймонды". Были арии из "Травиаты", "Аиды", "Дубровского", "Кармен", да мало ли было чего...

...мы упивались пением, голосами. К женским голосам мы относились, пожалуй, несправедливо: ценили их, но снисходительно. Куда, дескать, им до мужских голосов! То ли дело Лемешев или Козловский, или, особенно, Собинов.

... одного мы не знали – троянского коня всучил нам профком под видом этого патефона. Через месяц звук при проигрывании пластинок "поехал". Первую пластинку он крутил ещё сносно, но уже со второй... Он, прохвост, явно ленился: звук "плыл", замедляясь, как обессилившая на мелководе волна. Чего только мы с патефоном не делали, мы смазывали все оси его механизма, отгибали тормозящие рычажки, заменяли тросики и... праздновали победу. Но через день всё возвращалось на круги своя. Должно быть, в характере патефона была заложена невероятная подлость. Мы и кляли его, и грозили разбить молотком – никаких результатов. Так и возились мы с ним целый

семестр – за порядком следить стало некогда. После каникул уплыл он к иным берегам, к другим бедолагам, а мы, облегчённо вздохнули.

... стопка пластинок – на память.

... И снова ночь. Дорога, ведущая в лес. Я и Людмила поднимаемся от моста. На сей раз она немного рассказывает о себе. Её мать – хакаска (помните? – монголоидные черты). Отец – русский. Пьёт. Горький пьяница. Дебошир. В доме постоянно скандалы.

Постепенно она от этой темы уходит. Читает Есенина:

Вы помните, вы всё, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене...

Затем Симонова. Я и сам симоновскими стихами увлечён. "Первая любовь", "Пять страниц" – словно бы обо мне. Но, читая Симонова, совет его пропускаю мимо сознания:

Раз так стряслось, что женщина не любит,
Ты с дружбой лишь натерпишься стыда.
И счастлив тот, кто разом всё обрубит.
Уйдёт, чтоб не вернуться никогда.

Мимо сознания проскальзывают стихи, но в подсознании что-то всё-таки оседает.

Постоянные встречи с любимой в коридорах, на лестницах, на занятиях и на редких прогулках очень болезненны для меня. Радость видеть её лицо, хотя бы изредка с ней говорить, отравляется бесконечным отчаянием оттого, что надежды нет на ответное чувство. Сил нет выносить эту муку. Надо бесповоротно уйти.

... и вот я на приёме у Горбачева, за знакомым мне столиком. Он добро посматривает на меня. Как-никак мы знакомы с ним не совсем уж формально.

– Тимофей Фёдорович, – начинаю я разговор, – я прошу вашего разрешения на перевод из нашего института в московский горный.

– А в чём дело? Почему? Что случилось?

Я откровенен, усмехаясь невесело:

– Влюбился. Несчастливая любовь.

– И в кого же, позволь, ты влюбился, если это не секрет?

– В Володину.

– Нашёл в кого влюбиться! – покачал головой Горбачёв, – ну, что ж, я перечить не буду, – если тебя отпустит Корницкий. Поговори с ним.

Разговор с Корницким происходит в другом совершенно ключе. Он говорит мне о долге, о необходимости трудность преодолеть, что

комсомольская организация не хочет терять хорошего комсомольца, и, в конце концов, пристыдив, уговаривает меня оставить эту затею.

Я сдаюсь. А напрасно. То ли мне ещё предстоит...

... Совершенно бесцветно пролетела весна.

... по утрам я просыпаюсь раньше всех в комнате. За пятнадцать минут до шести. По радио до начала последних известий – лёгкая красивая музыка, от которой восторг и подъём разливаются по ещё сонному телу. Очень часто звучит "Радостный май", в самом деле, действительно, радостный. Слушаю я его каждый раз с удовольствием.

С последним ударом курантов я вскакиваю, одеваюсь и – быстро на улицу: делать зарядку. А когда подсохли дороги, после зарядки бегаю к лесу, до нижнего угла его, огибая с поля здание института, и таким же путём, но уже на подъём, возвращаюсь. Длина пробежки, на глазок, три километра. Официально установленная дистанция. Жаль, что нет часов у меня, не могу проследить, укладываюсь ли по времени в норму. Потому от недели к неделе понемногу просто темп прибавляю. Чувствую я себя превосходно.

... пятнадцатого мая день рождения у Люси. Хочется сделать в этот день ей подарок. Странно, в прошлые годы не то, что желания, и мысли не возникало такой. А теперь загорелось. И не просто подарок, а дорогой. Наручные дамские часики. Их у неё нет, как нет их у большинства. Не понимаю, откуда взял я четыре сотни рублей на покупку – часы столько стоили. Неужели копил?.. На меня не очень похоже.

... В универмаге выбора нет: большие круглые – это мужские – и маленькие в виде ромбика усечённого, – дамские. Их я и покупаю.

... днём я в комнате у Людмилы. Она в ней одна. Поздравляю её с днём рождения. Отдаю цветы и коробочку.

– Что это? – спрашивает она, открывая коробочку.

– Ко дню рождения, подарок.

В открытой коробочке она видит часы и протягивает их мне обратно: «Ну, зачем ты?! Не надо!»

Я настаиваю, она упорно отказывается. Я её уговариваю: «Что же мне их назад в магазин относить?!». Она уступает и произносит: «Спасибо».

Всё. Больше мне здесь нечего делать, и я поворачиваюсь и ухожу. Отмечать день рождения не приглашён, да и не ждал этого. Это я сейчас, полвека спустя, подумал. И размышляю, зачем сделал

такой непустячный подарок студент, у которого денег всегда до стипендии не хватало, вечно сшибал у преподавателей. Хотя я был крайне глуп, но не настолько же, чтобы не понимать, что любовь никакими подарками и деньгами не купишь. А я и не покупал. Ни любовь и ни приглашение. Мне хотелось ей сделать приятное. В этом сущность любви: отдавать всё любимому без расчёта.

... В конце мая – кросс. Бег по пересечённой местности. Такой местности было много в нашем бору. Одно неприятно. Накануне в физкультурных верхах государства изменили стандарт. Вместо трёх – бег на пять километров. К такому повороту я совсем не готов. Но, что делать?!

Трасса по лесу размечена красными флажками по сторонам. На старте весь курс. Выстрел, – толпа кучей рванулась и сразу начала распадаться, вытягиваться. Я среди первых, но соседи задают такой темп, что я начинаю соображать: этот темп мне не выдержать, я сбавляю его (всё ещё впереди, наверстаю!) и отстаю. Меня обгоняют. Вперёд ушло человек двадцать пять, позади ещё двести, если не более.

Я бегу равномерно и на дистанции начинаю обходить вырвавшихся вперёд. Постепенно одного за другим обгоняю. Вот я, пожалуй, и в середине первой десятки. Пожалуй – потому, что ориентируюсь только по счёту, на извилистой трассе за деревьями передних не видно. По времени чувствую, финиш уже недалёк. Надо наддать, хотя бегу на пределе: в таком темпе, тренируясь, не бегал... Вдруг впереди от сосны отделяется Оськин, это мой товарищ по группе, по какой-то причине он от бега освобождён. Оськин бежит впереди, пытаюсь задать свежими силами более быстрый темп – "тянет". Это запрещённый приём. Увидят – меня снимут с дистанции. Но тут дело даже не в этом. Он начал в другом темпе, чем бегу я. Так не делается. Ему бы сначала в мой темп войти, а потом увеличивать постепенно. Но ума у Оськина нет. Сменой темпа он только сбивает меня, и я бег замедляю. И откуда он взялся?.. Кто просил?.. Вот уж точно: услужливый дурак – опаснее врага! Про себя, чертыхаясь, я машу ему рукой – уходи! Оськин, наконец, начинает соображать и отваливает за сосны. Но за это время пять человек обгоняют меня. Я вхожу снова в темп, но уже вот и финиш. Так и есть! Я десятый. Шёл, правильно, пятым. И двух человек бы ещё мог обойти. Пусть не первым был бы, но в тройке. Призёром. Бронзовая медаль. Чертовски обидно. Хотя и десятое место из двухсот с половиной не так уж и плохо.

После бега собираемся группой. С нами Люся и Юля. Девушки не бегали, но "болели" за нас. Я подхожу к Людмиле, уверенный, что пробежал хорошо. «Что же не поздравляешь?» – спрашиваю её. «С чем?» – удивлённо поднимает глаза. Я теряюсь от такого неожиданного вопроса, молчу, отхожу. Тут приходит мысль, что надобно было бы в шутку всё обратить: «Как с чем?! А чемпионом группы кто стал?» Но говорить уже поздно.

Мы усаживаемся группой на землю под соснами, кто-то фотографирует нас на память. Потом все разбредаются. Я иду в город. Сердце после бега колотится и не может никак придти в норму. Такого никогда не бывало. Видно сильно перегрузил его заданным темпом. Мне до вечера нехорошо. Утром сердца не слышу. Успокоилось.

... На опушке бора у обрыва над Тотьмой построили ресторан (из струганных досок, крашенных голубым) с навесом над широкой верандой. И назвали его просто – "Летний". Мы и туда стали заглядывать. Там тоже готовили превосходно.

... поздно ночью, возвращаясь домой из центра города и миновав ресторан, я углубился в лес по тропинке. За рестораном лес оживлён, в кустах целуются парочки, слышится девичий смешок. И вдруг, словно током, ударило, – в темноте за кустами смертно белели голые женские ноги, голые до... Это самое "до", как и тело, и голова, были скрыты тьмой и листвою. Но сама белизна этих ног, их полная обнажённость привели меня в потрясение. Долго я шёл не в силах сладить с собой. Было в этих ногах и желание их целовать непрерывно и ещё что-то жуткое, сладострастное, что меня передёрнуло. Что-то тайное, стыдное и влекущее в них открылось. И смертное что-то... Что?.. Словами не выразить.

... И снова экзамены. Конспекты, конспекты перед глазами, в глазах от букв просто рябит, к вечеру голова совсем очумелая. За ночь голова приходит в себя, и снова всё по-новому начинается. Экзамены сдал, как обычно, отлично. Но запомнился лишь один, по казусу, случившемуся со мной... Предстоял экзамен по проведению и креплению горных выработок. Фамилию заведующей кафедрой позабыл, была она женщина пожилой, ровной, доброй, благоволившей мне. Где, где, а у неё я мог денег занять в любой день, ну, и я ей платил благодарностью, какой мог. А я мог доставить ей удовольствие только своими ответами на занятиях. Что и делал всегда, впрочем, как и на занятиях по другим дисциплинам.

И вот как-то так вышло, что до вечера накануне экзаменов я не успел всё повторить. Идти на экзамен, не прочитав до конца все конспекты, я не мог – слишком памятен был мне мой "выигрыш" на экзамене по маркшейдерскому делу: одного вопроса из всего материала не знал – и он мне попался. К тому же я не мог ударить лицом в грязь перед женщиной, которая в меня верила и которую я уважал. Вот и пришлось засидеться за конспектами и учебником до трёх часов ночи, чего сроду не делал. Всего часа четыре вздремнул до утра и, проснувшись с болью, расколовшей мне голову, пошёл на экзамен... Взял билет, сел за стол и понял, что моя уставшая голова ничего не соображает от боли, и я отвечать не могу. Извинившись, я так и сказал: «Отвечать не могу. Голова сильно болит». Милая женщина участливо на меня посмотрела и отпустила, сказав, что могу прийти к ней на экзамен в любой день между другими своими экзаменами.

... я так и сделал, и получил снова отлично, придя к ней с другой группой после очередного экзамена.

... если и раньше я ночами не занимался, то теперь вовсе исключил подобные штуки перед ответственным делом.

Остальной путь прохожу без сучка и задоринки. Снова повышенная стипендия обеспечена.

После экзаменов – ознакомительная летняя практика. Я – в Прокопьевске на новенькой шахте "Красногорская" № 1, что на самом краю города, почти в виду Киселёвска. Июль. Жара невозможная. Пять дней КРО просто мучительны. Скорее бы в шахту – там прохлада. Пытаюсь устроиться горным мастером: и физически легче, и руководящего опыта наберусь. Обхожу все участки, но нигде почему-то в этот месяц в отпуск мастера не идут. Обычно все в отпуск летом стремятся. Практикант тут просто находка для того, у кого по графику отпуск зимой. Может быть, меня не берут из-за моей худобы? Несолидный? Но Аркаша Ламбоцкий не солидней меня, не такой только длинный, а мастером на соседней шахте устроился. Ловкач этот Аркашка, всё ему удаётся, и комнатка на двоих, и чуча подружек в мединституте...

Хочу, не хочу, приходится оформляться навалотбойщиком. Но отбойщик – это лишь слово. Всю смену – восемь часов – шурую лопатой, грузю уголь в лаве на транспортёр. В конце смены не чую себя. В столовой – от усталости кусок в глотку не лезет. Добравшись до общежития, плюхаюсь на кровать, но уснуть не могу: гудят отяжелевшие, набухшие пальцы. Наконец, забываюсь сном тяжёлым и беспокойным.

Больше недели не выношу этой каторги, перестаю ходить в шахту. В маркшейдерском отделе переписываю из проекта характеристику шахты для отчёта о практике. От нечего делать слоняюсь днём по скучному, выжженному солнцем посёлку. Захожу в посёлке в буфет, а там за прилавком – красавица. Молодая, белокурая, пышнотелая. Её оголённые плечи, упругие округлости грудей так манящи, что я таю и млею от желания раздеть её всю, обнимать, целовать её голое роскошное тело. Но буфетчица старше, опытнее меня, цену себе знает и на хилого студента, остолбенело глядящего на неё, смотрит, не замечая.

... доносится слух о взрыве террикона на шахте имени Сталина. Это в центре Прокопьевска, за железной дорогой. Разметало частные домики, притулившиеся у подножья его. Есть погибшие. Радио и газеты об этом молчат. Еду в центр посмотреть. В самом деле, террикон без вершины, но внизу – никаких следов разрушений. Всё чисто прибрано.

Гадаем на шахте с ребятами, почему это случилось. Возможно, в воронке вверху скопилась дождевая вода и, внезапно прорвавшись в раскалённое нутро террикона, вмиг в пар обратившись, взорвала, снесла верх. Это единственная мало-мало правдоподобная версия, других у нас просто нет. Уже в Кемерово, в институте узнаем, что правительственная комиссия к определённому выводу не пришла.

... снова новость. Невероятная. Сногшибательная. Разоблачён Лаврентий Павлович Берия. Враг народа! Шпион!

В это не верилось. Но вышли газеты. Всё верно. Шпион. Агент пяти (!) иностранных разведок. Это слишком даже и для меня. Пять разведок! Да и зачем ему быть чьим-то агентом? На головокружительной высоте – выше почти некуда. Первый заместитель председателя Совета Министров, член Президиума ЦК. Чего ему там не хватало, чтобы ещё на разведки работать?! Чушь собачья какая-то.

... вскоре пошли разные домыслы, сплетни, рассказы о том, что Берия хотел власть захватить. К Москве тайно подтягивал дивизии МВД (а мы и не знали, что существуют такие!). Чему верить?.. Невозможно понять. Хотя это правдоподобнее, чем "шпион", но об этом в печати как раз ничего.

Из Прокопьевска возвращаюсь в Кемерово с заработком мизерным за пять дней КРО и семь дней работы. Всего чуть более четырёхсот рублей, как раз на дорогу до дому. Сюп, Рассказов и Кузнецов собираются в поход на Алтай, на Телецкое озеро. Я к ним не прирываю, тянет домой: два года всё-таки не был.

Хочу на день-два задержаться в Москве, но мне негде остановиться. Сюп даёт мне письмо к матери в Яхрому – это не более часа езды с Савёловского вокзала. У неё я могу жить сколько хочу.

... перед Москвой четверо суток дрыхну на третьей (багажной) полке в общем вагоне, подкрепляясь время от времени банками сгущённого молока. Пробиваю две дырочки в доньшке, и из нижней сосу тягучую сладкую массу. Наслаждаюсь! Изредка выбегаю на какой-либо маленькой станции на привокзальный базар за горячей варёной картошкой...

Другие институтские наши ребята внизу почти всё время режутся в подкидного, поставив один чемодан на попа, а второй – плашмя на него, соорудив подобие столика.

Вместе с нами едет и Изя Львович. Он без билета и ему постоянно приходится быть настороже. Едва в дверях вагона появляется контролёр, Изя лезет под нижнюю полку. Сразу обираются наши ребята и из соседних "купе", теснятся на полке, примащиваются с торца, загораживая лежащего Изю сплошным частоколом ног. В это время на столике-чемодане игра разгорается с небывалым азартом, с шумом и гвалтом. Свои проездные билеты небрежно, не глядя, якобы игрой увлечённые, пачкой суём контролёрам, они их проверяют и, сосчитав наши головы, проходят по проходу. Ноги тотчас раздвигаются, и Изя из подполья извлекается на горá...

... Яхрома небольшой деревянный сплошь городишко на берегу знаменитого канала Москва – Волга. Канал довольно широк. Пологие берега облицованы рваным камнем. Дома серые, от времени потемневшие. В одном из них, двухэтажном, нахожу квартиру Савиных. Их знают все. Ещё бы! Юрин отец был директором единственной в Яхроме фабрики, фабрики трикотажных изделий. Величина! Он давно бросил семью и сейчас директорствует в Тбилиси. С Юрой никаких отношений не поддерживает. Меня встречают радушно. Юру все любят, а я Юрин товарищ. Кроме мамы – сухонькой доброй женщины, у Юры сестра, младшая, девушка стройненькая, но с самым обыкновенным лицом. Не красавица, а мне красавиц лишь подавай, чтобы интерес проявился. С его невестой не удосуживаюсь познакомиться, Юра такого поручения мне не давал. В Яхроме я только ночую. Дни – в Третьяковке, музеях Ленина, Революции...

Через два дня уезжаю к себе, на Кубань. Мама живёт в новом доме. В центре станицы. Огородом участок наш выходит на площадь, только церковь их разделяет.

Дом небольшой: верандочка, коридор, кухня, комната. Мама в коридорчике в белом платочке. Когда она снимает его, я цепенею от ужаса, будто вижу ходячего мертвеца. Голова синяя, лысая, без единого волоска. Мне от этого не по себе, и я даже маму спросить не решаюсь, что с ней случилось. Она сама объясняет: полезла на чердак по стремянке, оступилась, упала, разбила голову, пришлось волосы сбрить. У меня отлегает от сердца.

В Костромской – никого из знакомых. Как обычно, обходим родню. Я красуюсь в парадном костюме с контрпогонами и слепящими пуговицами. Кое-где, угощая нас, на столы выставляют бутылку "Московской", и я, не отказываясь, залпом выпиваю стакан. Двести грамм меня не пьянят, только настроение повышается, и аппетит становится зверским.

Вслушиваюсь в разговоры родных. Говорят, жить стало легче, после того, как правительство, а глава правительства – Маленков, налоги снизило, а совсем издевательские – вроде налога на каждое фруктовое дерево – отменило совсем. Отменена и обязательная сдача с подворья яиц, молока, мяса, свиной шкуры с забитой свиньи. Все благодарны Маленкову за это. То есть все привыкли ждать милости сверху, не от трудов своих видит благополучие человек, а от воли и благорасположения к людям начальства. Доброго царя! И я в этом ничем не отличаюсь от всех.

Об этом и о своих впечатлениях пишу длинные письма Людмиле. Сейчас себя спрашиваю: «Зачем?» Выходит, надо было с кем-то своими чувствами, мыслями поделиться.

... Неожиданно сталкиваюсь и знакомлюсь с хорошенькой студенточкой из Краснодара по имени Валя. Она на два года моложе меня и здесь, как и я, на каникулах. В неё можно было бы и влюбиться, если бы я не тосковал о другой. Тем не менее, меня тянет к ней, а она льнёт ко мне. Я ей нравлюсь. Эх, если бы другим так я нравился.

Мы целыми днями гуляем с ней вместе, уходим к верхнему краю станицы, где против бывшего дома Таи Левицкой – давней любви Жоры Каракулина – у нас второй огород, усадьба без дома, от которого в гигантских зарослях крапивы белеют лишь глыбы фундамента. Там и наш небольшой сад справа от яблони, что стоит посреди огорода... Дерево высоты небывалой для яблони, с длинными густыми ветвями. Яблоня эта замечательна тем, что невероятное количество яблок словно нанизано на бесчисленные ветви её. Их, право, больше, чем листьев. И красивы они сказочной красотой, все – одно

к одному, бело-жёлтые с бочком, тронутым красной краской. Каждый год мама сдаёт в потребительскую кооперацию до десятка огромных чувалов. До восьмисот килограмм! С одного дерева, вы подумайте! Жаль только вкусом они подкачали – сладости нет, только лёгкий квасок. Может, когда-то они и вкусом были так хороши, как красивы, но за полвека разорения и разрухи, без ухода, они одичали, сохранив внешнюю привлекательность, чистоту – ни единого пятнышка. Брели их высшим сортом и по наивысшей расценке платили, на вкус не попробовав. Но кто пробует яблоки в заготовконторе? Их везут со всей станицы возами. И тут главное – вид. К нашим не придерёшься, красивее нет, и к тому же все стандартной величины, ни одного нет ни крупнее, ни мельче – все одинаковы абсолютно.

Сад за деревом совсем молодой – вишни, сливы и абрикосы едва ли в два моего роста – но тенист. Земля там не вспахана, манит густой зелёной травой. День знойный, солнце стоит высоко, на небе ни облачка. Воздух ясен, прозрачен: на горизонте, выше всех гор, в солнечном блеске белеют льды двуглавой вершины Эльбруса...

Разморённые жарой, мы забираемся в тень, лёжа под листвой на траве, прижимаемся, в поцелуях, тесно друг к другу. Сквозь тонкую ткань моей белой рубашки и шёлк лёгкого платья её я ощущаю умопомрачительную упругость девичьей груди, все изгибы её горячего страстного тела и непреодолимое желание охватывает меня. Наши губы слились воедино, щёки Вали горят, она сомлела в руках моих и, чувствую, готова на всё: голыми руками бери! Но я, стиснув зубы, её не беру, хотя сам изнемог от желания. Я ей нравлюсь, и она нравится мне, но не настолько, чтобы голову я потерял, как потерял её от Людмилы. Выходит, жениться на ней не могу. А без этого лишиться её девственности?..

На такое я не решаюсь. Сейчас странным это покажется, но в те времена для многих девушек девственность – пропуск к замужеству, к нормальной семье без постоянных мужних упрёков, а то и разрыва. Это сейчас любая ссыкуха без зазрения совести, хвастает, что в четырнадцать лет ей целку сломали, и скольких мужчин к восемнадцати она через себя пропустила. Тогда постыдились бы об этом болтать даже если бы и было такое. Девушки были чище, скромнее, и немало из них невинность свою берегли до замужества. Но любить – не любить от людей не зависит, тут природа владычествует; влюблялись, разумеется, люди друг в друга, и не всегда в человеческих силах в любви можно было сдержаться и не перейти грань до

замужества. Этим наглые парни и пользовались. Брала девушку, обещая жениться, и, насладившись, тут же подло бросали. Я не мог быть таким; как бы мне девушку не хотелось, я не мог обещать. Лгать не мог. Между прочим, сами эти прохвосты были жёстки и требовательны по этому поводу к намечавшейся в жёны.

И здесь у меня от них было отличие. Мне дела не было до того, девственна или нет женщина, которая полюбила меня, если и я её полюбил. Я не ханжа, я всегда понимал, что в любви мы не властны, а взаимная страсть доводит до исступления, до потери рассудка. Что из того, если женщина, которая полюбит меня, до меня по любви отдалась когда-то другому. Она ведь не знала, что встретит в жизни и полюбит меня. Так что для меня ей нечего было хранить. Хотя, не спорю, приятней быть первым, единственным. Но вот если бы любимая или жена мне изменили, я бы этого не стерпел – тут же бы с нею расстался. Как бы не было больно...

... да, я был снисходителен к человеческой слабости и ни в чём бы невесту не упрёкнул. Но, зная, что другие мужчины иначе рассуждают, я портить жизнь девушке не хотел.

... подозреваю, что у сдержанности моей была и вторая причина, более прозаическая. Страх, трусость. Презервативов, как некоторые ребята, я в карманах никогда не носил, так как презирал собачьи случайные связи. И вдруг Валя бы забеременела от меня? Уже сказано – я бы не женился на ней в любом случае. Жить с нелюбимой (как и с нелюбящей) – исключено. Что делать? Аборт?.. Для меня это выход. Но выход ли для неё? Аборты не всегда без последствий. И если родила? Чем обернулось бы это всё для меня? Письмом в институт? В комитет комсомола? Такие были тогда времена... Прощаться ни с институтом, ни с комсомолом я не хотел.

... так вот ничем, хотя оба горели желанием, наши объятия, поцелуи и мление не завершились.

... Мы с мамой решили проехать в Хадыженск к её двоюродным сёстрам, они давно приглашали её.

В Вольном мы голосуем на тракте, и грузовик, идущий до Майкопа, подхватывает нас за небольшую цену.

Между Натырбово и Кошехаблем грузовик сворачивает налево, поднимается в гору и, миновав Ярославскую, выкатывается на прямую дорогу до Майкопа. Мы едем в кузове стоя, положив руки на крышу кабины. Ветер треплет мне волосы – с детства люблю такую езду, и с высоты мы оглядываем ширь кубанских степей с зелёными

станциями и хуторами вдали. По нагорью подъезжаем к Майкопу. Он с горы открывается нам внизу весь и удивляет своим безупречным линейным порядком, не свойственным казачьим станицам и хуторам. Он весь расчерчен улицами на одинаковые квадраты с беленькими домами в зелени огородов, садов. Вот она какова – столица Войска Кубанского! Милый аккуратненький город на плоской равнине...

... дальше машина не едет, мы слезаем и идём искать дом Нины Глазковой, двоюродной племянницы мамы. Переночевав у неё, мы с утра голосуем и влезаем в машину, идущую в Хадыжи, так называют его в просторечье. Дорога до Хадыженска через Нефтегорск безупречна. Идеальный асфальт. Машина летит по нему, ни толчков, ни ухабов. Шоссе пересекает своими витками Главный Кавказский лес, и – зрелище гор с чашей высоких дубов на крутых склонах незабываемо. Кавказский лиственный лес красив совершенно другой красотой, нежели умиротворяющие леса Среднерусской равнины, или суровая хвойная тайга Севера и Сибири. Он буен. Кроны дубов, буков, каштанов то возносятся на вздыбленные холмы, отроги Большого Кавказского хребта, то скрываются ниже дороги, а комли их утопают в густой тьме под стволами с подлеском и кустами боярышника, кизила, облепихи, лещины и тёрна в переплетении с ежевикой.

В Хадыженске останавливаемся у Севериновых. Двоюродная моя тётя Наташа перебралась сюда с Вольного после возвращения мужа из лагерей от постоянных нападков властей, пересудов и косых взглядов соседей. Здесь им спокойно. Никто не знает их прошлого. Но я то ведь знаю. Да, мне поначалу не по себе сидеть за столом и пить водку с человеком, служившим при немцах в полиции. Страшно распоряжается судьба человеком. Не будь этой войны...

... я размышляю. Пожалуй, Северинов не зверь, не убийца. Было бы иначе – повесили бы, расстреляли. А так – десять лет лагерей. Значит, за ним ничего такого не числилось. А вину, что был полицейским у немцев, искупил каторгой на лесоповале в тайге. Десять лет – для меня это вечность. И я смиряюсь с тем, что сижу с полицейским. Не могу я судить человека, не зная всех обстоятельств.

... Северинова Наталья Никифоровна, узнав, что держу дальше путь до Сочи и Ялты, даёт мне письмо к Хисматулиной Марии Ивановне, близкой родственнице своего мужа. У неё я могу в Сочи остановиться. Я там не был ни разу.

Из Хадыженска мама уезжает машиной в Костромскую, а я поездом – в Сочи.

... Поезд шёл ночью. Слева высоко в горы поднимается лиственный лес. Справа, в нескольких метрах от насыпи, накатывает на песок белой пеною море. Над морем луна, яркая, во всём царственном блеске. От прибоя к ней по воде бежит суживающаяся к горизонту серебрящаяся дорожка. Море, волнуясь, переливается зеленоватыми бликами, вспыхивает зеркальными блёстками на распахнувшейся шири своей.

Деревья в лунном потоке сверкают всеми мыслимыми оттенками серебра: каждая порода по-своему лунный свет отражает дрожащей листвой. То чуть темнее, то с блеском стальным, то с примесью зелени, синевы, то режущей глаз белизной начищенного серебряного прибора. И заходится дух от трепещущей красоты серебра поверх теней в глубине чёрного леса, и не хочется глаз отводить от этой вечной красы – всё смотрел бы, смотрел и смотрел.

Колеса выстукивают на стыках свой ритм, в который вплетается мелодия песни, заполняющая этот старый вагон с тусклым, грязно-коричневым освещением. В вагоне мужчины-грузины, и они в полутьме тянут печальные – из самого сердца – древние песни.

... спать в волнении не могу. Слушаю песни, смотрю в окна то с одной, то с другой стороны, то на поток серебра, стекающий с гор, то на расплав его в море до горизонта.

... я подсаживаюсь к группе грузин, отрешённо поющих бесконечные песни безысходной тоски и печали, и сам проникаюсь ими, приобщаясь к извечной тоске всех людей по любви, доброте, счастью, боль свою разделяя как бы между другими людьми, мне незнакомыми совершенно, но родными и близкими, и доля боли моей, растворившись в общей боли людской становится чуточку меньше.

... чудная ночь и бег скорого поезда, и колёс перестук, и мужская скорбная песня, и невиданное польхание серебра сливаются в гимн радости жизни, жизни трудной, тяжёлой, но всё же прекрасной, несмотря на горести и печали. Утром я в Сочи. По адресу нахожу дом Хисматулиной. Он в самом центре, недалеко от морского вокзала. Я отдаю Марье Ивановне письмо Севериновых, и она любезно отводит мне комнату, каждый раз приглашая к завтраку, к ужину. Днём меня дома нет. На день я пропадаю. С утра плаваю в море, в ресторане обедаю (дёшево всё!), после хожу, разъезжаю по городу. Зелёная роскошь его с любимым Крымом моим несравнима. В приморском парке – пропасть магнолий, с цветами неправдоподобной величины: белые блюдца, нет, чайные чашечки с запахом одуряющим. А парк

Кавказской Ривьеры?! А дендрарий, с бесчисленным богатством древесных пород и кустарников?! А платановая аллея, где ветви этих гигантов, порознь стоящих по обе стороны улицы, смыкаются вверху над шоссе в сплошной непроглядный для солнца шатёр, под которым прохладно и полумрак в самом разгаре дня?! И ещё восхищающие меня высокие стройные кипарисы, алуштинским не чета. Всё приводило в восторг, и о нём, о восторге своём, я писал письма Людмиле, чтобы им с нею немножечко поделиться. Скучно радоваться одному.

Дней через пять я отплыл от кавказского побережья палубным пассажиром на одном из больших кораблей Черноморского пароходства, скорее всего, на "Адмирале Нахимове" или на "Петре Великом" – вечно они попадались вместо "России", к рейсам которой никак не мог подгадать.

В Алуште ждала меня неожиданность более чем неприятная – сошла с ума тётя Дуня. Ещё осенью, приехав к тётё Наташе, она говорила сестре, что ей нужно что-то сказать, но потом, заспешив к себе в Евпаторию, она отложила рассказ до будущей встречи. А весной сестра Левандовского, адвокат из Ростова, привезла вот такую вот весть. Тётя Наташа рассказывала, что поначалу Дуня ещё что-то невнятно ей говорила о настенных часах, на которые она посмотрела, идя на уроки. Вышла вовремя, как всегда, а пришла на час позже. То есть опоздала на час. В жизни с ней не бывало такого. Это её потрясло. С этого, вроде, и началось помешательство. Левандовский Наталье Дмитриевне об этом ничего не сказал, и та, памятуя об осеннем не состоявшемся разговоре, заподозрила, что у них с Левандовским было что-то неладное, и возможно нервное расстройство уже начиналось, а Левандовский его усугубил нарочно, вызвав потрясение у человека высочайших моральных устоев, переведя стрелку часов назад на час этот самый. А тётё становилось всё хуже и хуже, и сестра Левандовского поместила её в Симферополе в психиатрическую больницу. Там тётя замкнулась в себе и от еды отказалась. Словом, довели её там до кондиции. Пришлось тётё Наташе за сто рублей в месяц упросить одну из знакомых своих, жившую в Симферополе, ходить Дуню кормить.

По просьбе тётки Наташи я съездил навестить тётю Дуню. Ехал я в дом скорби не без душевного трепета, не без страха, что-то жуткое чудилось в нём. И входил я в него в первый раз с чувством ужаса. Всё во мне напряглось, когда медсестра вела меня коридором к самой дальней палате. Двери палат были распахнуты настежь, и в проёмах дверей были видны люди в длинных рубахах, лежащие, сидящие и стоящие на кроватях. Один даже на голову встал. И шум,

крики. По коже мороз у меня от этих картинок. Не дай бог попасть в такую компанию. Ничего нет, наверно, страшнее.

В палате Е. Д. было тихо, и лежали там с ней ещё две женщины, как я мимоходом заметил. Евдокия Дмитриевна, исхудавшая, лежала в углу, отвернувшись к стене, и на моё: «Здравствуйте!» – не отреагировала никак.

– Тётя Дуня! Это Володя. Узнаёте меня?

Ответом было молчание. Я сел на стул, пытался как-то растормошить её, что-то выспросить у неё – она и ухом не повела. Ко всему была безучастна. Я отвёл голову в сторону. Напротив меня была девушка. Встретившись взглядом со мной, она оживилась, приподнялась, села в постели. Я был в своей сияющей форме, возможно, она привлекла её своим блеском. Проходя мимо неё к тётке Дуне, я лица её, разумеется, не успел рассмотреть и сейчас, когда оно оказалось передо мною, я обомлел. Такой изумительной красоты я ещё не встречал. Перед ней меркли лица всех девушек, которых я любил до сих пор. И была так нежна и пленительна её маленькая бело-розовая грудь, выглянувшая в прорезь больничной рубашки! Она спросила меня:

– Вы студент?

– Да, – ответил я и спросил у неё, кто она?

– Я студентка мединститута, – сказала она. По её словам вышло, что ей стало плохо после того, как она в первый раз пришла в морг. Впрочем, он был и последним.

Потом мы долго болтали с ней, бог знает о чём. О сущей ерунде, вероятно. О чём могут беседовать девушка с юношей, едва познакомившись? Наверное, я ей банально сказал, что она невероятно красива, а она мне ответила, что не в первый раз это слышит. И в том же духе далее разговор продолжался. Она была абсолютно нормальна, и я в неё с первого взгляда влюбился. Но я девушку собой не привлёк. Она мне это прямо и выразила, в каких точно словах – я не помню. То ли, что я недостаточно остроумен, то ли скучен, то ли не умею с молодыми хорошенькими девушками свободно болтать. В этом роде что-то сказано было.

... и вдруг она понесла околесицу, набор слов без всякого смысла, без связи между собой.

Я спросил вошедшую медсестру:

– Что это? Ведь только что была совершенно нормальна.

– В этом её болезнь, иногда заговаривается.

Я кивнул: дескать, понятно, а сердце у самого защемило от жалости к необыкновенной красавице, такой юной, с обворожительным нежным румянцем. Господи, её то за что?!

... до моего ухода она больше в себя не пришла.

С тяжёлым сердцем я покинул больницу. Отчего так всё в жизни нескладно. Отчего приходится людям страдать. Один здрав, в полном разуме, но его терзают муки неразделённой любви. Другую, прекрасную, словно богиня, – ни один мужчина не останется равнодушным, выбирай любого из них, – постигает страшный недуг. Нет в мире счастья и справедливости, в Твоём мире, о Господи! Нет Тебя, вот в чём беда. Не к кому звать с призывом о милосердии.

... в Алуште я отыскал дом учителя физики. Мне хотелось что-нибудь приятное сделать ему. Но цветы принести постеснялся, а больше у меня не было ничего. Мы постояли с Василием Андреевичем под кипарисами во дворе его дома у приморского парка. Я похвастал своими успехами по "физическим" дисциплинам, поблагодарил его за учение. Расстались мы с ним тепло и навсегда. Через год Шерстобитов В. А. умер. Туберкулёз его доконал.

Зашёл я и к учительнице литературы, к Ксении Михайловне Бахир, которую убрали в десятом классе от нас за то, что при немцах учила детишек русскому языку. Тут уж цветов я не пожалел. Она была тронута. Мы посидели за столом в её сумрачной комнате, вспоминая школу, учеников...

... и снова – прощай, дорогая Алушта!

... На обратном пути из Крыма в Кузбасс я заехал в Мелитополь к Шуре и Косте. Костя теперь служил в Мелитополе. Несколько дней объедался у них фруктами, виноградом, затем укатил в "родную" Сибирь.

Сюп, вернувшись из похода на Телецкое озеро, застолбил прежние комнаты, и мы поселились в обжитых местах.

Жизнь текла без видимых изменений. Мы то сбивались в коммуны с неизбежным походом в "Кузбасс" накануне распада, то жили, кто как хотел, это тоже кончалось традиционно: деньги истаивали за несколько дней до стипендии.

Сильные духом стойко в лёжку впадали. Слабые – вроде меня – начинали поиски денег, и тут тоже исход был, в конечном итоге, один: я занимал деньги у очередного зав кафедрой, случалось, у генерала Гусарова. Словом, шла обычная жизнь, в которой происходили и более серьёзные неприятности. Ну, одна-то была постоянной

и в какой-то мере привычной – любовь. Да, я всё ещё любил мучительницу мою и порой невыносимо страдал, но, как видите, всё-таки жил и находил в жизни радости, и не разучился смеяться.

Одна неприятность обрушилась на меня совсем неожиданно, на первом собрании четвёртого курса. Привыкший всегда к похвале, я был ошарашен, когда преподаватель, не знаю уж кто – я с ним ни когда не общался – руководитель практики нашей, потрясая с трибуны моим разлохмаченным сильно блокнотом, разразился гневной разносной тирадой:

– Стыд и позор Платонову Владимиру! Полюбуйтесь, в каком виде он сдал отчёт об ознакомительной практике! Ему за неряшливость следовало бы двойку поставить и практику не зачесть. Только учитывая его отличную успеваемость, я ставлю ему удовлетворительную оценку, но ставлю её с тяжёлым сердцем, ибо такого небрежения ещё не встречал.

Я, надо полагать, не придавал отчёту никакого значения: пустая формальность. Переписывали из проектов все сведения о шахтах, пластах, о способах их отработки. Ничтоже сумняшеся, я списал всё это в блокнот. Но ведь никто и не говорил, в каком виде отчёт представлять...

Правда, за время летнего лежания в чемодане блокнот малость поистрепался и, выглядел неопрятно. Так что же? Из-за этого переписывать? Ещё не хватало! И я сдал его, как он был. И вдруг такой взрыв возмущения!!!

... неприятно было, и стыдно. Но неприятность эту я легко пережил. Подумаешь, тройка за никчемную писанину!

Подумаешь-то, подумаешь, да не подумал, что эта тройка меня красного диплома лишает. Надо бы было переписать. Впрочем, что толку, с диплома, только самолюбие тешить. Никогда никто в диплом и не глянул, кроме кадровиков. Сам же не будешь им козырять: у меня диплом вот с отличием...

... в сентябре нас снова отправили в знакомую швейную мастерскую – шить новую форму. И вовремя. Старая за два года потёрлась, вид потеряла, хотя я носил её бережно, не всегда. В будни – лыжный костюм или брюки суконные с вельветовой курточкой, да и куртка из дома отдыха академии Сталина всё ещё бывала в ходу.

Так что бывали в жизни и радости, простые, житейские, но как же без них?! Все неприятности мы изгоняли весельем. Шутки, "хохмами" называли, розыгрыши и мистификации следовали сплошной чередой.

В городе шёл фильм по комедии Гоголя "Ревизор". На афишах – поясной портрет городничего из города N в натуральную величину. Юра Кузнецов такую афишу притащил к себе в комнату, вырезал портрет из плаката, пристроил его к спинке стула и усадил за стол так, что рука городничего потянулась к стакану с водкой, стоящему на этом столе. Пустая бутылка "Московской" красовалась в центре стола, ещё два стакана – в руках ставших перед его благородием Шамсеевым и Кузнецовым, готовых чокнуться с городничим, как только тот поднимет стакан.

В сей момент троицу сняли на плёнку, а потом распечатали фотографии и дурачили многих студентов рассказами, как Сквозник-Дмухановский (ну, не Сквозник, так актёр в его роли) приходил к нам в общежитие и даже с нами водочку распивал. Самое удивительное – находились, что верили.

... а мы хохотали.

... Танцевальные вечера, по случаю предваряемые концертами самодеятельности, стали в институте теперь регулярными. Мы на них постоянно бывали, но никто в нашей комнате танцевать так и не научился, мы, по-прежнему, подпирали лишь стены, и, растравив сентиментальными звуками души, уходили домой из танцевального зала.

... в один из таких вечеров, когда я стоял у стены возле входа, мимо меня простучала каблуками Людмила, и впервые походка её мне не понравилась, показалась тяжёлой. И ещё одна деталь мне глаза резанула: белый тоненький поясоч, которым чёрное платье её подпоясано. Он на нём был некстати, не гармонировал так, что я даже поморщился из-за этой безвкусицы – переживал, что она на людях её показала. Впрочем, кроме меня никто на это внимания не обратил.

... переживание это не было в тот вечер последним, вскоре мне пришлось пострадать за неё гораздо сильнее.

... она вышла на освещённую сцену и стала в тёмный притихший зал читать наизусть одну из легенд из "Сказок об Италии" Горького. Ту, где мать выходила из города к сыну – предводителю войска врагов, осадивших его родной город, из которого он был изгнан когда-то – и вот теперь он пришёл отомстить за изгнание.

Город обложен тесным кольцом врагов. Во тьме мелькает женщина, Марианна, мать изменника, который возглавляет завоевателей. Её сердце подобно весам: оно взвешивает любовь к родному городу и сыну, но не может решить, что легче, что тяжелей. В темноте какая-то женщина благодарит мадонну за то, что сын её пал за родной город

и проклинаят чрево Марианны, породившее изменника. Марианна выходит из города и идёт в лагерь сына. Понимая, что не сможет убедить его сохранить город, где его помнит каждый камень, Марианна убивает заснувшего у неё на коленях сына, а потом пронзает ножом своё сердце.

Декламировала она превосходно. Я заворожённо слушал её. Зал тоже поначалу внимал. Но легенда длинна, и все, кроме меня, слушать устали. Студенты, непривычные к литературному слову, не ощущавшие в нём ни поэзии, ни развития мысли, ни наслаждения стилем летящих в зал фраз, начали перешёптываться, потом, уже не приглушая голоса, заговорили между собой, отворачиваясь от сцены. Зал гудел, шум нарастал. А мне было за неё очень больно. Я готов был слушать её бесконечно, но молил, чтобы она сократилась и быстрее закончила. Но она не собиралась ничего сокращать и читала, читала...

– Боже, – подумал я, – какая выдержка у неё! Я бы непременно быстренько закруглился и со сцены сбежал.

... она не смутилась невниманием зала и дочитала всё до конца, пожав бурю аплодисментов тех, кто не слушал её и овацией провожал лишь за то, что она закончила, наконец.

... В самодеятельных концертах выступали немногие. Иногда ставили короткие инсценировки, в основном наши "певцы" пели песни. Пел Корницкий, другие. Но из всех них выделился наш однокурсник, электромеханик Людвиг Потапов, высокий силач с крупным породистым лицом. У него был сильный бархатный голос, хорошо поставленный баритон. После школы его приглашали в консерваторию, и он хотел подавать документы туда, но отец, властный полковник, запретил ему поступать в консерваторию, грозя отказать в материальной поддержке: «Сначала нормальную профессию получи, а петь будешь потом».

Своим пением Людвиг всех покорила, его ждали, звали и бешено аплодировали после каждого исполнения. Пел он всё от арий, романсов до самых простеньких песенок. Одна из них из кинофильма "Тайга золотая" привлекала меня соответствием с моим состоянием долгой влюблённости:

От горных хребтов до полярного края,
Где сосны кругом, да снега,
Шумы, золотая, звени, золотая,
Моя золотая тайга!
Коль жить да любить – все печали растают,
Как тают весною снега.

Шумы, золотая, звени, золотая,
Моя золотая тайга!
Ой, вейтесь дороги, одна и другая,
В привольные наши края!
Меня полюбила одна дорогая,
Одна дорогая моя!
И пусть не меня, а её за рекою,
Любая минует гроза
За то, что нигде не дают мне покоя
Её голубые глаза.

Моя любимая тоже живёт за рекою, и хотя она не полюбила меня, и глаза у неё не голубые, а карие, но какое это имеет значение?

Да, не зря Людвиг тянуло в консерваторию, из него вышел бы отличный певец. А отец вот ошибся. Не стал Людвиг петь после шахты. Пел бы после консерватории? Неизвестно. Там своё было "если", если бы богема не увлекла, если бы не сгубило неконтролируемое пристрастие к спиртному.

... В этот год я стал много времени проводить у Курлова в мастерских. Он показывал мне то, над чем он работал давно: отбойный молоток, приводимый в действие не сжатым воздухом, как обычно, а электричеством. Это сулило определённую выгоду. Электрический ток, как известно, подаётся по кабелю, по проводам, что намного дешевле и проще, чем сжатый воздух – по трубам и шлангам. И никаких тебе стыков и "шпиунов", то есть, утечек. Сложность в том, что электрическая энергия, столь легко превращавшаяся в механическую – вращения, не желала так же легко превращаться в энергию линейного – поступательного – движения. Курлов показывал мне в работе свой электрический молоток. Он был похож на обычный, только начинка другая. Вот рубильник включён, пика дёргаться начинает, как ей и положено, только удары её очень слабы. В этом и заключалась проблема. Если поставить мощный преобразователь энергии – молоток станет недопустимо тяжёл и, поэтому, непригоден. Курлов бился над этой задачей, как сделать его и мощнее, и легче. Пока безуспешно. Такова безутешная извечная диалектика.

В свою очередь, я решаю задачу с забойкой шпуров. Шпур, после того как в него всунули патрон аммонита, надо глиной законопатить метра на полтора. Вот и сидят в штреке забойщики, пока идёт зарядание, и катают нудно и долго из мокрой глины "уйки", так на шахте глиняные пыжи называют, поскольку по своим размерам они соответ-

ствуют средней величине известного члена. У меня вызревает идея сделать что-то вроде большой электрической мясорубки. В её горловину руками заталкивать пластичную глину, шнек мясорубки глину погонит (погонит ли?) и вытолкнет из насадки колбаску, отсекателем разрезаемую на пыжи нужной длины. Дальше эскизных набросков я не иду. Хотя надобно бы изготовить опытный образец для проверки идеи. Я стесняюсь рассказать Курлову о задумке: вдруг засмеёт, так всё это выглядит несерьёзно. Оба мы на ложном пути. Идём проторённой дорогой, пытаюсь, тот – улучшить уже существующее, я – частично механизировать ручную работу. На традиционных путях невозможно добиться качественного скачка. Ну, чуть улучшишь, чуть повысишься КПД – это полезно, конечно, но не так, чтобы очень. Надо на проблему совсем по-другому взглянуть. В частности, проблема забойки была решена в шестидесятые годы до гениальности просто. В шпур следом за зарядом заталкивают сплюснутый полиэтиленовый шланг, миниатюрным поршневым насосом закачивают в него воду, так что шланг, распираясь о стенки, плотно перекрывает, "заклинивает" шпур. У выхода из шпура шланг пережимают специальной прищепкой, чтобы вода не вылилась из него, давление не упало, когда отключат насос. Вот и всё.

Я до этого не додумался. Да и додуматься было нельзя, тонких полиэтиленовых шлангов не было в те времена. И вообще о полиэтилене мы в Союзе и слыхом не слыхивали.

... В расписании в этом учебном году появились новые дисциплины вроде деталей машин, стройдела и теплотехники. "Детали машин" – это вам не "Теория машин и механизмов", где всё выводится строго логически. Тут – сплошная эмпирика, все формулы – из опытных данных. Я терпеть не мог формул, необъяснимых логически. И из опыта не я их выводил – стало быть, оставалась зубрёжка, нелюбимая мной. Но придёт время, и экзамен по этим "деталям" выдержу я отлично, как и экзамен по теплотехнике – штуке муторной, хотя и понятной логически. Ну, цикл Карно – это семечки, а как пошли процессы адиабатические и другие, скучно стало до ломоты в зубах. А вот стройдело – вещь полезная, узнаёшь, как здания строить, и фундаменты, и стены, и окна, и кровлю, а заодно и дороги с различным покрытием.

... но вернусь к теплотехнике. Но не к циклу Карно и не к понятию энтропии, сущность которой, как меры неупорядоченности, так многие тогда и не поняли, а к преподавателю дисциплины. Молодой высокий кандидат наук Гарбузов, с фигурой гибкой, какой-то скользкой до неприятности и с выражением лица тоже скользким,

циничным, двусмысленным, он непрестанно с кафедры поучал нас премудростям жизни, и как-то у него всегда так выходило, что всё, о чём он говорил, приземлялось и опошлялось. Не уверен, что другие его так же воспринимали, но на меня он такое вот впечатление производил. Он убивал веру в порывы и откровения.

– В науке не надо разбрасываться, – говорил он, – не надо ставить большие цели – ничего всё равно не откроете. Надо взять что-либо небольшое, задвижку ли, рабочее колесо ли насоса, и всю жизнь лопатки его совершенствовать. Тут вы можете добиться кое-чего и стать крупным специалистом по задвижкам или по лопаткам турбин.

Всё это вызывало во мне неприятие. Этот скучный прагматичный подход вызывал во мне возмущение. Наоборот, надо ставить цели большие, значительные, а уж сумеешь ли что-либо сделать, зависит и от таланта, и от судьбы. Да, не всем делать открытия, но и монотонная работа совсем не по мне: что ж, всю жизнь совершенствовать свою "мясорубку" для глины? Да пропади она пропадом! Если бы все по его рассуждали, не было бы ни мобильного телефона, по которому сейчас из дальнего зарубежья в Россию звоню, ни компьютера, с помощью которого печатаю, редактирую...

... сбегаю с какой-то лекции. После звонка быстро шагаю по коридору по направлению к лестнице. Меня нагоняет Людмила (тоже сбежала).

– Идём, – говорит, – на лекцию Евстифеева.

Я предложение принимаю. Приоткрыв дверь, мы незаметно – Евстифеев на доске чертит мелкими чертёж – проскальзываем в лекционный зал и садимся позади первокурсников. Евстифеев в своём амплуа, перебивает объяснения байками, непрерывно острит. Зал то и дело взрывается хохотом. Мы в восторге: два часа просидели, не шелохнувшись. Какой всё же незаурядный он человек? Так бы и ходил к нему каждый день, если бы своих лекций не было.

... и снова ночная дорога, снова подъём от реки к нашему бору. О чём говорим? Она, по сути, отвергает все агитпроповские призывы: "вы должны", "вы обязаны". Всё то, что с детства в наши головы вдалбливали.

– Ленин и его соратники, – говорит она, – думаю, не приносили себя в жертву народу. Им просто нравилось их революционное дело, и они делали его, не принуждая себя, не насилуя, испытывая, конечно, ряд неудобств, а, порой, и лишений, но не искали их специально ради народного блага.

Я никогда не задумывался об этом и теперь озадачен неожиданной постановкой вопроса. Размышляю минуту и вынужден признать правоту её слов. В общем, она более зрелая и понимает в жизни больше, чем я.

... ещё один вечер. Снег. Зима. Лёгкий мороз. Мы с нею на остановке автобуса у "Голубого Дуная". Так людская молва окрестила не только эту, но и вообще все лёгкие забегаловки в нашей стране, почему-то все крашенные голубым... По всему, собираемся ехать в город. Темно. На столбе раскачивается одинокий фонарь под жестяной, выхватывает из тьмы нас, стоящих у обочины на снегу, угол "Голубого Дуная" и четвёрку крепких парней на углу у каёмки колеблющегося светового пятна. Парни явно "под градусом" и пересыпают свою громкую возбуждённую речь безобразнейшим матом. Мне от этого не по себе. Мучительно стыдно оттого, что ухо любимой слышит эту словесную рвоту. Это мне оскорбительно, унижает достоинство женщины (и моё, потому, что я трушу негодяев унять). Но что могу я сделать один против них? По опыту знаю: таких словами не урезонишь, только на драку нарвёшься. И я трусливо молчу, делая вид, что гадости этой не замечаю. Людмила тоже молчит... Какого же она мнения обо мне?! Надо бы было ввязаться, лучше б избили, чем выглядеть слизняком! Но, пока я решаю, подходит автобус, и мы уезжаем...

В другой раз сквернословия – он, благо, один – пытаюсь одёрнуть, но Людмила останавливает меня:

– Лучше не связываться.

... Свершилось!

В институте кружок бальных танцев. Я записываюсь в надежде, наконец, научиться танцевать и регулярно хожу на занятия. Я выучиваю и выполняю все па, и всё идёт у меня хорошо: и "па де спань", и "па де патинер", и "полька", но как только дело доходит до элементов кружения, вальса – у меня полный провал, ступни цепляются одна за другую, заплетаются ноги, и я останавливаюсь, бессильный что-либо изменить. Я пытаюсь понять, в чём тут загвоздка? У меня чувство ритма прекрасное. Я его в музыке ощущаю всем существом, музыка ведёт меня чётко, и дело в том лишь, что я просто не знаю, как ставить ступни при поворотах. Я прошу наших студентов показать мне медленно поворот, переступая в замедленном темпе ногами, или, лучше, нарисовать мне положение ног на бумаге по тактам, по счёту. Но они этого не умеют: само собой получается... Я смотрю, как они кружатся в вальсе, но движения их ног

сливаются в вихрь, как у винта самолёта, и я не могу расчленить их на детали в каждый данный момент. Но обучение всё же что-то даёт. Я теперь могу танцевать фокстрот, танго и в вальсе вести, не кружась, но делать это на танцах, на вечерах, я пока что стесняюсь. Не понимаю, что стесняться не надо, никто не уйдёт, над конфузом, если что-то и не получится, надо просто-напросто посмеяться. Смелость – главное! Ведь переломил себя и свободно с любым начальством общаюсь. А вот тут, в делах личных сугубо, маху даю!

... прочитал объявление о создании институтского хора и в него записался, начал ходить на занятия, хотя голос у меня так себе; в детстве, говорят, сильный был, да проклятый коклюш его почти начисто съел. Но в общем хоре петь можно, я из хора не выпадаю. Пою я партии вторых голосов. И как же хорошо петь в общем хоре – и мелодия увлекает, и смысл слов, и чудесное чувство братства со всеми испытываю!

Кружится, кружится, кружится вьюга над нами...

начинают высокие голоса, и мы вторим им, чуточку отставая:

кружится, кружится, кружится вьюга над нами...

А первые уже поют:

Стынет над нами полярная белая мгла...

мгла-а, – мы тянем за ними.

В этих просторах снегами, глухими снега-а-ми...

Белыми ска-а-лами наша Россия легла.

До чего же красиво поёт хор наш. Как державно, торжественно звучит у нас Глинка:

Славься, славься из рода в род,
Славься великий наш русский народ.
Врагов посягнувших на край родной
Рази беспощадно могучей рукой.
Славься, славься ты, Русь моя,
Славься великая наша земля!
Да будет во веки веков сильна
Великая наша родная страна!

Мы собираемся по вечерам в зале два раза в неделю, и каждая спевка для меня, словно праздник: «Печали сердца своего от всех людей укрой».

... и вот мы на арене огромного цирка, заполненного народом. Областной смотр самодеятельности. Мы своё выступление заключаем глинковским "Славься": Ура! Ура! Ура!

... наш хор – лучший в области. Первое место. И это тоже гордость и радость.

Осенью я получаю от мамы письмо, где она написала, что наш родственник из Костромской вместо армии направлен в Кемерово на три года на строительство Новохимического комбината, в письме был адрес. Я собирался родича навестить, да не мог выбраться. Времени не хватало. А тут...

... в начале зимы, отношения наши с Людмилой довели меня до отчаянья. Я пошёл к ней в общежитие. Её осенью переселили, в дальний дом последнего ряда Стандартного городка. За ним – дикое поле. Людмила с Юлей Садовой там жили вдвоём в маленькой комнатке.

...да, я пошёл к ней в общежитие, захватив записную книжку – маленький дневничок, где я время от времени записывал эпизоды из жизни, своё к ним отношение, переживания, чувства свои, чтобы окончательно с ней объясниться. Но её дома не оказалось, в комнате была только Юля. Я сразу же и ушёл, но, уходя, оставил дневник и записку: «Мой адрес: Главпочтамт, до востребования». Решение поменять обстановку постепенно ли вызревало, или возникло спонтанно, не помню, не знаю, но я решил на время из института сбежать: не видеть её, не слышать, не говорить.

С двумя трамвайными пересадками через центр я добрался до окраины Заводского района, где строился гигантский химкомбинат. Родственника, по счастью, я застал дома, в квартире. Жил он, оказывается, с женой, а квартира состояла из комнаты, коридора, кухни, ванной и туалета. Встретили меня как любимого брата. На столе появилась бутылка, миска с солёной капустой и сковорода жареной картошки с подрумяненной корочкой, похрустывающей на зубах. Мы выпили за знакомство, вспомнили родственников, и я, как бы между прочим, сказал, что переутомился от усердных занятий и хотел бы немного от них отдохнуть. Они тут же предложили мне остаться у них, я и остался. Так я неделю прожил, из комнаты не выходя. Хозяева были всё время радушны, но до меня дошло, наконец, что я их стесняю, и что моё необъяснённое пребывание взаперти может навести их на мысль, будто я от кого-то скрываюсь. Как только это я осознал, я поспешно откланялся, благодаря за гостеприимство и, в свою очередь, пригласил навестить меня как-нибудь в общежитии.

Зайдя на центральную почту, я получил письмо от Володиной, вскрыл его: «Вова! Мне необходимо тебя увидеть. Когда это можно и где? Заходи к нам, если не будет нас дома, то напиши записку. Людмила».

... в тот же день вечером, когда густая тьма легла поверх снега, я пришёл к ней. Она была одна в комнате. О чём мы с ней говорили, абсолютно не помню. Но ничего отрадного для меня не было в том разговоре.

Уйдя от неё, я направился к своему общежитию по кратчайшей тропинке вдоль занесённого сугробами поля. Небо было чернее сажи. Тревожные низкие чёрные облака. Лишь снег белел без конца и без края, и в белых сугробах угадывается узкая виляющая тропа. И в пустоте этой я совершенно один. Нет никого у меня в этом мире, и это так страшно. Стандартный городок позади, я очутился на пустыре, и тут приступ горя довёл меня почти до безумия. Я не выдержал, зарыдал, свернул в сторону, и упал в рыхлый снег. Катаясь в сугробе, я завыл, как собака, как волк. Только воем мог заглушить я боль нестерпимую, воем в это равнодушное поле, где никто не увидит меня, не осудит, не осмеёт. Я катался по снегу, и вой мой слагался в необузданную симфонию, где кричали и плакали звуки. То отчаянно, то печально и жалобно. И, обессилив, затихали в мелодии светлой надежды, взрываемой снова воплями боли. Шапка слетела у меня с головы, волосы перемешались со снегом, моё горячее лицо уткнулось в сугроб, в блаженное ощущение холода. Я зарылся в сугроб головой и выл, выл, не в силах остановиться. Выл свою трагическую симфонию, где светлые звуки тонули в мрачных и злобных, схватывались между собой, и ни один не мог выйти из этого клубка страстей победителем. То брала верх глубочайшая безысходность, то проскальзывал лучик надежды на счастье и радость.

Если бы вой мой записать и переложить для инструментов оркестра, то родилась бы трагическая симфония с просветлённым финалом. В эту ночь я был гением горя и боли и робкой надежды – нет, не на благополучный исход, не на любовь, не на счастье, а на покой. Но ничего записать я не мог.

.. я выдохся, я устал, и моим обессиленным телом овладел, наконец-то, этот покой, и в моём вое появились умиротворённые нотки. Я встал, надел шапку, отряхнулся, как мог, и зашагал в общежитие. С Людмилой было покончено.

... странно, что никто не хватился меня, бесследно пропавшего. Впрочем, что это я? Ведь была записка и адрес...

... вот и вернулось всё на круги своя: институт, общежитие и столовка.

Нет, вклинился-таки в жизнь мою Аркаша Ламбоцкий. Он увёл меня в незнакомый мне Кировский район, где у него были подружки-медички. Мы с ними, как могли, веселились, пили, пели, и,

помню, я держал у себя на коленях миловидную кореянку Амину и, запустив руку свою под платье её и трусы, гладил ягодицы её и поражался упругой их атласной гладкости, бархатистой нежности кожи. Но дальше этого я не решался идти, не любя, и, захмелев, валялся спать на чью-то девичью постель.

«Чтоб, не жалея ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном».

У Аркадия были знакомые девочки не только в Кировском районе, но и в центре города. Однажды он увлёк к ним всю нашу комнату, в том числе Сюпа, который все эти годы хранил верность своей возлюбленной в Яхроме. Но... сейчас он рвал все письма её и фотографии. Она его не дождалась (а, пожалуй, и не любила) и выскочила замуж за приезжего лейтенанта. И Сюпа, нашего счастливого Сюпа, постигла трагедия. Теперь он тоже, отчаявшись, пытался на стороне как-то забыться, свою боль развеять и заглушить.

... в большой комнате – шесть девушек. Кто они – понятия не имею. Одна из них, Лидия, меня привлекла и статью и приятным овалом лица, и профилем благородным. И шестеро студентов были в названной комнате: я, Сюз, Аркаша, Скрылёв, Николаев и ещё, которого не упомянул.

Стол накрыт. На нём водка, вина, закуски. Стол – не чета нашим праздничным, где лишь хлеб, колбаса и кильки в томате. Были здесь и они, но было, кроме них, и другое: винегрет, салат-оливье, заливное. И горячее подали после закусок: борщ, тушёное мясо с картошкой и пельмени ещё.

После водки последовавшее веселье слабо мне помнится. Мелькают лица, огни. Кружится чёрный диск патефона. Я танцую со всеми. И даже вальс выходит у меня под хмельком. Снялась скованность, боязнь показаться неловким, нелепым, неуклюжим, смешным...

Всё окончилось неожиданно. Погас свет, в полном мраке почти что (сквозь окно лишь в угадываемом уличном освещении) мы стали укладываться на постели, все порознь. Кому досталась кровать, кому – матрас на полу. Я, раздевшись, лёг на пустую кровать, но не сразу заснул: в темноте слышались шорохи, перемещения, шёпот.

Я поднялся с кровати, прокрался к Лидии на полу и нырнул к ней под одеяло. Она не противилась, и я обнял её, прижавшись (через ночную рубашку) к её тёплому телу. Я целовал её в губы, она отвечала на мои поцелуи сдержанно, слабо. Я сделал попытку – она не оттолкнула меня, но так плотно сжала скрещённые ноги, что я, хоть и пьян был, тотчас же уяснил: оборону эту мне не прорвать.

Полежав в таком положении, сколько мог, я перевалился на бок и, обнимая желанное тело, уснул. Вино пересилило.

... когда я проснулся, Лидия спала на кровати, с которой я ночью удрал к ней. Видимо, решила не афишировать безобидное приключение, на которое я ночью решился. Кто знает, что люди подумают?

... К важному предложению, многое в жизни моей изменившему бы и облегчившему, я оказался совсем не готов.

Незадолго до Нового года меня остановил в коридоре зав кафедрой марксизма-ленинизма, он же секретарь партбюро института, Горовский. Я у него всегда был отличником, на семинарах выступал постоянно, рефераты писал добросовестно. Марксистская теория была хорошо логически обоснована, и как любой логически связный предмет усваивалась мною с удовольствием и легко. А о том, что она многих факторов не учитывала, я, по невежеству своему, не догадывался. Поскольку я занимался у Горовского хорошо, постольку и он хорошо ко мне относился. К тому же для него не являлось секретом, почему "папа Курла" (так Курлова окрестили) стал получать благодарности за хорошее руководство газетой.

Так вот, остановил меня Горовский и спрашивает:

– Платонов, а почему вы в партию не вступаете?

Я смешался, слишком неожидан был этот вопрос. Разумеется, я не мыслил себя вне комсомола, вне партии, но был молод (и неумен), чтобы думать об этом. Опомнившись от ошарашившего вопроса, я нашёлся: «Не чувствую ещё себя готовым к этому серьёзному шагу», – хотя ничего находчивого не было в этом ответе – штамп расхожий.

– Ну, ну, – покачал головой Горовский и отошёл.

Так упустил я первый важный шанс в своей жизни. Разве после этого умным меня назовёшь? Люди костями ложились, чтобы в партию приняли, ужом пролезали, а тут предлагают, а я... Идеалист был наивный. Честолюбия я не был лишён и со временем надеялся стать генералом, но для этого не ударил пальцем о палец, ни одной из многих возможностей не использовал, а когда понял всё и набрался ума разума, было поздно, лучшие годы прошли...

... в эту зиму случился за все годы небывалый буран. Три дня выла вьюга, неслись, плясали, кружили снежные вихри, швыряя в лицо пригоршни снега. Струились над самой землёй тонкие дымные ручейки и, смешавшись, гнали снег плотной завесой. Росли сугробы,

наваливаясь на крыши домов, и дома уходили в снег, словно вдавливаясь в него. Буран озорной, пьяный, набрасывался на людей, рвал полы пальто и шинелей, толкал в спину, застил глаза.

Автомобили захлёбывались в занесённых дорогах, и островок института с его общежитием и столовой остался один на один с беснующейся метелью, отрезавшей нас от внешнего мира.

... через три дня ветер стих. Золотой круг солнца сиял в голубом, без облачка, небе. Белые валы сугробов, застывшие неподвижно, уходили вдаль бесконечными грядами, вспыхивая тысячами маленьких солнц. Над снежной шубой, наброшенной на крыши домов, утонувших в белых сугробах, вились призрачные дымки. Глухо скрипели двери, с трудом открываемые людьми, отжимая собой груды навалившегося снега, и сквозь щели, насколько удавалось их приоткрыть, люди протискивались из домов, озирая сугробы, громоздившиеся до окон вторых этажей. Из этих щелей, прижимая ногами, а потом и лопатами действуя, они прокладывали к дороге узкие тропки, похожие на траншеи с высокими отвесными стенками. Но дороги не было. Она тоже исчезла под снегом.

... к вечеру разнёсся слух, что в столовой на исходе хлеб и мука, и тогда наутро явил своё бытие комитет комсомола, призвав комсомольцев выйти и расчистить дорогу.

... собирались лениво, долго и неохотно. Комсорги суетились, деловито сновали по комнатам, подгоняли студентов, те же вяло поднимались с кроватей, иногда и огрызаясь, к слову сказать, так же вяло.

Разобрав лопаты, работали медленно, плохо, часто делали перекуры, предпочитали валять дурака, подражая актёру Ильинскому в роли Бывалого: распахивали шинели, точно собирались их сбросить с криком: «Поможем товарищам кочегарам!» – и тут же их вновь застёгивали на пуговицы. Но над этим почти никто не смеялся. Слишком старая шутка.

... рослый розовощёкий незнакомый мне парень, – видимо, с младшего курса, – в косматом полушубке, придававшем его плотному телу некую грузность, повис, бездельничая, на черенке своей совковой лопаты и, посмеивался над худеньким соседом своим, неторопливо, со вкусом швырявшим снег вверх на сугроб за обочиной. Слов почти не было слышно в многоголосом гаме студентов, до меня донеслись лишь обрывки сказанной фразы: «... воскресник... добровольно-принудительный...». Конец её увяз в болезненном вскрике невысокого студентика-толстячка. Кто-то нечаянно задел его лопатой по голове.

... всё это удивляло меня. Ведь так сладостно и приятно работать на воздухе, делать общее, нужное. Мускулы истосковались по физическому труду и сейчас наливались свежей силой. И, захватывая совковой лопатой увесистую плиту снега, забрасывая её в сторону на высокий сугроб, я ощущал в себе прилив бодрости, радости от сопричастности к хорошему, полезному делу.

И было странно мне видеть людей молодых и здоровых – чья силушка так и вскипала в спортзале, на переменах, – было странно мне видеть их вялое равнодушие здесь, в задорной общей работе, их какую-то старческую расчётливость, бережливость в расходовании своих сил. Словно я и они были люди из различных непохожих миров.

Сейчас, переписывая эти строчки из случайно сохранившегося листка, я морщусь от безвкусицы своего рукоделья. Нет, там всё правильно. Я так думаю и сейчас, но каков слог, как всё непросто, напыщенно, выпренне. Но менять не хочу. Я такой тогда был.

... Утром, проснувшись, приподняв свою голову, разлохмаченную во сне и оглядев комнату – в окно лился серый поток рассвета, а тени таяли, забиваясь в углы, под кровати, под стулья – я снова уткнулся в подушку. Но сон отлетел. Мучительная сладкая дрёма ещё владела всем телом, склеивала глаза, но желанное забытьё не пришло. Из глубины сознания всплывали неясные, случайные мысли, мешая сну; раздражая, гнали его совсем.

... и вплыл в мозг вчерашний воскресник, и слова из него возникли недоумённые: «Как? Почему? Добровольно-принудительный». – Было в этих слова что-то тревожное, какой-то вязкий осадок оседал от них в душу, мешая понять, докопаться до сути, до самого важного. И снова билось, билось о скорлупу черепа нехорошее слово "принудительный", ибо в нём была своя правда: опустошённые, холодные, безразличные люди, понуждаемы были к тому, что, казалось, должно было быть естественным, радостным.

... нелепые, вроде, случайности, недоразумения отлагались в памяти, росли, набухая тёмной отвратительной массой, искали себе оправдания в мучительных трудностях продвижения к светлому будущему. Часто не находили его и, туманя яркие краски жизни, обращались недоверием к людям, к красивым словам, произносимым с трибун. Будилось зло к тем, кто слепыми неумными мерами, облечёнными в одежды зажигательных фраз, испоганил чудесное дело – порыв человека к радостному труду, веселье общей работы, бескорыстно даруемой людям. И угасал, угасал, угасал праздник труда,

тускнела радость строителя будущего, превращая жизнь человека в бесплодное прозябание, скучное, не оставляющее в памяти и следа...

Но кто, когда и зачем сделал это, проглядев затухание юношеского порыва, восторга поверивших в Слово, оставалось непонятным, неясным, и тяжёлое недоумение всё росло. В нашей стране совершалась огромная Глупость. Глупость умалчивания и раздвоения...

... так я писал в то время в записках. Сейчас бы поменял Глупость на Преступление. Моя страна уничтожена. Нет, не зря дух тревоги зародился во мне уже в те давние времена...

... Новый год мы с Петей решили отметить в кафе на Советской. Готовили здесь не хуже, чем в ресторане. Вся сервировка такая же, и выбор блюд тот же самый. Только зал небольшой и уютный, без парадности ресторана.

... мы заранее заказали там столик – по двадцать пять рублей с брата – и явились ровно в десять часов, как было предложено расписанием. Зал пребывал в полумраке. Ёлка в центре его светилась электрическими шарами: красными, синими, зелёными, жёлтыми. И поблёскивали на ней нити серебристого дождика. Нарядна, празднична была ёлка в кафе!

... стол сервирован: рюмки, бокалы, тарелочки, вилки, ножи и закуски: сёмга, крабы жареные с луком, грибочки солёные, заливная осетрина и вазочки с чёрной икрой. Посреди, взгляд притягивая в предвкушении, – запотевший лафитничек с водкой, а обок его – серебряное ведёрко с ледяным крошечком, и в крошечке, наклонясь, бутылка шампанского.

В ожидании полуночи мы, не торопясь, пили водочку, отдавая должное деликатесам. Музыка сентиментальными волнами плыла в таинство зала, печальная, грустная, и была сладостно больна та грусть и печаль. В полночь – с боем курантов – я выстрелил пробкой шампанского в потолок, мигом наполнив бокалы, ни капельки не пролив – технология была давно мной отработана. За столиками напротив тоже шла беспорядочная пальба – это считалось прямо шиком гусарским. Пробки, ударившись о потолок, отскочив, летели по залу. Кой у кого вслед за пробкой взлетала струя и дугой опадала, окатив платья взвизгнувших женщин.

... с последним ударом часов, чокнувшись, мы осушили бокалы: пусть год наступивший будет счастливым для нас!



Рис. 16. Прокопьевск. Это не горы, это шахтные терриконы

1954 год

«... всё смешалось в доме Облонских». Танцевали пары, незнакомцы подсаживались к чужим столикам, заводили беседы. Развязывались пьяные языки. Притащив собственный стул, между мною и Петей вклинился худенький человек невысокого роста, не старый – лет тридцати, но с лицом поистертым, в лёгком сереньком пиджачке. Он заговорил и поведал историю несчастной любви, как возлюбленная его над ним насмеялась, и как он страдал и страдает.

Ах, как всё это было знакомо. Я слушал плохо его, как говорится, в пол-уха (не терплю пьяные излияния), упиваясь собственным горем, но заметил, однако, что Пётр следит за рассказом, переспрашивает, уточняет, поощряя незнакомца к повествованию. А тот совершенно расчувствовался и проникся таким доверием к Пете, что признался в тайной мечте. «Я хочу стать писателем, – говорил неожиданный гость, – чтобы описать всё в романе. И любовь, и коварство, и боль».

Я был к этому времени пьян, посему, услышав про боль и любовь, с готовностью встрял в разговор неумно фразой: «Так, чтобы всех потрясти?!» Сухопарый на это передёрнулся как-то. А Петя досадливо от меня отмахнулся: «Причём здесь... потрясти». Я сконфузился, понял, что глупость сморозил, что сказал слишком выпренне, и замолк.

– Нет, – откликнулся грядущий писатель, – не потрясти, описать то, что было.

После этих слов он как-то незаметно растаял в дымном тумане новогоднего зала. И зал исчез вместе с праздником.

... Исчезли во вьюге долгие зимние месяцы: ни экзаменов, ни каникул, ни занятий, начавшихся вновь после них, – нет ничего, словно и не было. Осталось лишь то, что этой зимой всеобщий любимец, Людвиг Потапов, ночью, налегке, без перчаток, возвращаясь с попойки, упал в снег и заснул. Хорошо, что на него вскоре наткнулись наши ребята и приволокли в общежитие, и не пропал Людвиг, руки только слегка обморозил, кожа слезла, и они отошли.

И ещё, что Байбарин женился на той самой преподавательнице начерталки Исаковой, которая меня три года назад считала непроходимым тупицей. Об их свадьбе, правда, я ничего не слышал. Байбарин коллегу не пригласил.

... а с мадам Байбарinou у меня казус произошёл. Март. Солнце сияет над белоснежной землёй. Я с портфелем перебегаю из общежития в институт и со спины вижу под галереей (в проходе во двор) Людмилу Володину тоже с портфелем в руке. Мне теперь всё нипочём, я не скован любовью и могу обращаться с ней, как с любым знакомым студентом. Нагнав её сзади, я ударом своего портфеля выбиваю портфель из рук бывшей любимой. Портфель падает, замок раскрывается, книги веером рассыпаются на снегу... Так мы дурачились в этот период. Поветрие было такое.

Людмила оборачивается ко мне, и – о ужас! – я вижу растерянное лицо... Тамары Исаковой, супруги Байбарина.

Как же я так обознался?.. Стою перед ней, сконфузившись, как набедокуривший школьник, и не знаю, как ей объяснить, что это не хулиганство, а баловство, принятое между студентами, что я обознался, приняв её за студентку. Я рассыпаюсь в тысяче извинений и, став на колени, собираю в портфель книги, выпавшие на снег, и вручаю портфель простившей меня гражданке Байбарinou. Неладное что-то со зрением у меня, издали людские фигуры очень друг на друга похожи.

Да, на четвёртом курсе женились многие, женились внезапно и тихо. Вдруг услышишь, что тот вот женился... то ещё тот вот... Но одна свадьба всё же получила огласку. Женился студент пятой группы, Виктор Гриценко – парень видный, высокий (тот самый секретарь комсомольского бюро факультета, что на беду мне ни разу бюро не созвал). Женился на низенькой рыжей веснущатой некрасивой девице из пединститута. – Почему парни этаких жён себе выбирают?! – Не знаю, спьяну ли так вышло или так ему хотелось жениться, но в разгар торжества он сделал себе харакири – вспорол себе вилкой живот, и был увезён с пира в больницу. По выписке из больницы он из института пропал. Удрал, видимо, от стыда. Говорили, будто он подался в горный институт в городе Харькове.

Времена были строгие, иным приходилось жениться не по желанию, – обстоятельства к этому вынуждали, чтобы жизнь и карьеру свою не испортить. Это в поздне-хрущёвские времена, мой товарищ по комнате в Луганске шутил: «Никогда не увольняйся по состоянию здоровья, пусть лучше за моральное разложение будет – это не снижает деловых качеств, и любой начальник поймёт». При Сталине "за моральное разложение" строго карали.

... весна приносит в бытие наше кое-что новое.

Как, зачем, почему в нашей комнате заночевал Дергачёв Вася с женой? Третий год занимает он комнатку с Аркашей Ламбоцким вдвоём, а с женой живёт где-то на стороне, в крайнем случае, койка в комнате в общежитии у него всегда есть. Почему же на ночь сейчас они пришли к нам? Почему Николаева Коли койка свободна? У меня нет ответа. Весной случаются всякие чудеса. Может быть, комнатка на ночь понадобилась Ламбоцкому. Может быть, Николаев отправился ночью на поиски приключений?

... Василий с женой не один. Они притащили с собой и подружку жены – маленькую щупленькую девицу. Она раздевается до рубашки и ныряет в постель к Пете Скрылёву. Гаснет свет. В потёмках поскрипывает кровать Николаева, то бишь Дергачёва сегодня. В комнате напряжение на тысячи вольт! Напряжение наэлектризовывает меня. Спать не могу, ухо ловит все шорохи. Напротив, на койке у Пети, полная тишина. Нет никакого движения. Пара не шелохнётся... Ну, если так... Я не выдерживаю, поднимаюсь с кровати, иду к ним. Точно – лежат оба ровно вытянувшись, как исусики... Тогда я беру девицу за руку и увожу к себе на кровать. По дороге я снимаю ночную рубашку с неё. На ней нет более ничего, даже трусиков. Я укладываю голенькую девицу и обнимаю её. О! Какое блаженство обнимать горячее голое женское тело! Я лихорадочно глажу одной рукой её выпуклые маленькие груди, накрывая второй её кудрявый мысок между ног. О, боги, боги! Если бы она нравилась мне хоть чуть-чуть – тогда бы, как с головой в омут. Но она не нравится мне, хотя тело её сжигает меня нестерпимым желанием. Но это была бы ещё не беда, беда в том, что я снова боюсь: а вдруг забеременеет! А вокруг столько свидетелей! Страх пересиливает желание, и я усмиряю себя. А зря. Всё равно теперь не докажешь, что я в постели ничего с ней не делал. Да и не надо доказывать. Всё это чепуха. Просто трус я несчастный. И не предусмотрителен ни на грош. Но кто же знал, что случай такой подвернётся?! И о "Милом друге" Мопассана с перепугу забыл! О, боги, боги, как вы наказываете меня! Случай сам в руки шёл!..

... бесплодно позабавлявшись со мною, девица уходит на третью кровать. Может с Сюзом ей повезёт...

... я засыпаю.

... Гораздо позже, в конце самом весны, когда сухо и снега давно нет и в помине, я пропадаю ночами невесть где – не вспомню – и воз-

вращаюсь домой глухой ночью ближе к заре. Двери общежития заперты, и приходится влезать в коридор общежития через окно, шпингалеты которого заблаговременно и подняты, и опущены там, где это необходимо. Да вот незадача – двери на боковые лестницы в крыльях на этажах заколочены наглухо (куда пожарная инспекция смотрит?!), и приходится волей-неволей пробираться к центральной лестнице мимо дремлющего дежурного. Но всегда ли он дремлет? Я берусь доказать – не всегда. Слишком часто мелькают за полночь по коридору одетые молодцы, и все в одну сторону норовят: по лестнице вверх. И в один день мы находим в коридоре первого этажа все шпингалеты забитыми намертво. Пути отрезаны. И не прав глубоко тот товарищ, кто уверенно утверждал, что не бывает безвыходных положений, что из любого положения выход найдётся. Врёт он, и, притом, беззащитно. В жизни безвыходных положений сколько угодно. Взять хотя бы мой случай с Людмилой... Но я отвлекаюсь. В случившемся положении, выход нашёлся. Короткий обзор – и вот он: пожарная лестница во дворе в полуметре от окон коридоров на этажах. Шагнуть с неё на подоконник – пустяк. Теперь мы держим с вечера всегда наготове окно на своём этаже. И домой я теперь влезая по лестнице. Был и ещё, правда, выход один – через окно в комнате первокурсников, живших внизу, если предварительно с ними договоришься, чтобы они на ночь не запирали его. Я один раз путём этим воспользовался. Ночью, распахнув створки окна и перевалившись через подоконник, я прошёл между спящими ребятами в коридор. Но тут ведь снова надо было у центральной лестницы прошмыгнуть перед дежурным... Да и ребят каждый раз беспокоить неловко. Лестница лучше – никому не мешаешь. Только утром надо все следы замести: закрыть все задвижки.

... к концу апреля, когда солнце хорошо припекало, и бежали талые ручьи по проплешинам, мы частенько вылезали на балконы наших товарищей с фасадной стороны общежития, с солнечной стороны. Так приятно в тонких рубашечках погреться в нежных лучах весеннего солнца. И к чёрту другие заботы!

... Но заботы к чёрту уходить не хотели и навязчиво давали знать о себе. Финансовый кризис, муки голода и залёгшие с решимостью не вставать комнатные товарищи вновь подвигают меня на поиски выхода из положения... Я перебираю в уме всех зав кафедрами и не нахожу никого, у кого бы по три раза не занимал. Как ни беспредельно моё отчаянное нахальство, но нельзя же до бесконечности... По четвёртому

кругу я идти не могу. Что я – вечная попрошайка?! Я впадаю в уныние... И, о счастливая мысль! У генерала Гусарова я занимал только раз, да и то больше года назад! И я направляюсь на военную кафедру. Шагнув в генеральский кабинет, я спрашиваю по уставу:

– Разрешите войти, товарищ генерал?
– Входите, входите, – добродушно улыбаясь, говорит генерал.
– Здравствуйте, товарищ генерал! – я не по уставу лихо щёлкаю каблук о каблук.

– Здравствуйте, товарищ Платонов. Слушаю вас.
– Товарищ генерал-майор, вы не могли бы мне одолжить до стипендии сто рублей?

– С удовольствием, – говорит генерал, достаёт из кармана кителя бумажник и, вытащив сотенную бумажку, протягивает её мне...

Генерал мне явно благоволил (я, вообще, в любимцах у всех командиров: по всем армейским дисциплинам у меня одни лишь пятёрки). Я присутствую в его кабинете при рассказах Гусарова о прошедшей войне. Генерал не подчёркивает дистанцию между нами, говорит просто, естественно, по-домашнему как-то, и напоминает Кутузова, как его изобразил Лев Толстой: «Голубчик, поезжайте на правый фланг к Багратиону и передайте ему...»

... мы, студенты, окружив генерала кольцом, чувствуем себя с ним как с хорошим старшим товарищем. Были, были во все времена "отцы-командиры". Генерал Гусаров из них.

Он рассказывает нам о круговой обороне города Ленинграда, где он командовал артиллерийским полком. Собственно, не о круговой, а о подковообразной, так как финны, после боёв сорок первого, проявили известное благородство: получив своё, больше атак не вели и Ленинград не обстреливали. Генерал показывает хранящиеся у него карты и документы военных времён, разворачивает на столе рулон склеенных друг с другом листов – полукруговую фотографическую панораму немецких позиций перед передним краем Ленинградского фронта, подготовленную фронтовой разведкой. Мы смотрим на панораму и не видим на ней ничего кроме унылого, скучного занесённого снегом пейзажа, обрывистого невысокого берега, искалеченных несчастных берёзок и редких строений, совершенно разрушенных.

Гусаров, лукаво посматривая глазами, задаёт нам вопрос:
– Перед вами картина огневых точек противника. Покажите мне их?

Мы внимательно вглядываемся в заснятую местность – нет на ней никаких огневых точек, нет вообще ничего. Пустыня.

– А вот сюда посмотрите, – и он пальцем упирается в еле приметный бугорок с почти неуловимой поперечной чёрточкой. – Это дзот с пулемётной точкой.

В другом месте – замаскированные артиллерийские позиции, в третьем – танк, вкопанный в землю...

Всё это возможно расшифровать только наметанному искушённому взгляду. Мы же прозреваем только после генеральской подсказки...

... я с генерал-майором связан ещё и иначе – мы с ним по бане, по парилке, напарники. Генерал большой любитель попариться, и по воскресеньям ходит в ту же баню, что я. Я тоже люблю посидеть вверху на полке в самом невыносимо жарком пару, охлёстывая себя берёзовым веником с холодной водой. Веники продают бабушки возле бани, дёшево продают, даром почти, всего за десять копеек.

... И однажды, едва я влез на полок, как следом за мной туда влез наш генерал. Увидев меня, он попросил:

– Платонов, похлещите, пожалуйста, меня веничком, да посильнее.

Он лёг животом на полок, а я начал усердно охаживать его от жара покрасневшую спину, бока, руки, ноги – по его указаниям – веничком, охлаждая тот всякий раз в тазу с холодной водой. Исхлестав моего генерала всласть и вдоль, и поперёк, пока он пардону не запросил: «Достаточно, хватит, спасибо», – я пополз к своему тазику поодаль стоявшему, чтобы продолжить мытьё. Но Гусаров меня остановил:

– Теперь моя очередь, – сказал он. Моим отнекиваниям он не внял и с шутивою грозностью в голосе приказал мне: «Ложись!» Приказы подчинённому положено выполнять, и я, стесняясь, улёгся на полок перед его превосходительством генералом, а он, взяв мой веник, начал обрабатывать им мою спину и сделал это профессионально: живого места на мне не оставил. Зато как хорошо это было, какое блаженство испытываешь, когда на тело, раскалённое донельзя, сыплются удары мягких распаренных листьев, обрызгивая его холодной водой... Да, наши предки были не дураки.

... словно рождаешься заново.

Я долго после этого хвастал шутиво: «У меня спина самая чистая, мне её мыл сам генерал».

С тех пор так и повелось у нас, как только встречаемся в бане, так я в парной хлещу веником генерала, а потом генерал хлещет меня.

... время от времени я уже читаю "Уголь" – наш профессиональный журнал. Там я вычитываю, что в Лисичанске работает опытная станция подземной газификации угля, с идеей которой ещё Менделеев носился.

Обычная технология после двух практик (ознакомительной и добровольной) меня теперь не увлекает нисколько – ручной тяжкий труд – хотя и не мне, инженеру, им заниматься, – и я решаю, что неплохо бы силы свои приложить к делу новому, незнакомому и, как обещают в журнале, весьма перспективному. И никаких, главное, спусков в шахту, под землю! Я сажусь за письмо в Министерство угольной промышленности СССР с просьбой направить меня на производственную практику в Лисичанск на станцию подземгаза.

... в начале весны у меня на руках официальный ответ. Министерство не возражает против моего направления, но окончательное решение вопроса об этом оставляет за дирекцией института.

С этим письмом я иду к директору института Кокорину. Да, с этого учебного года у нас нет Горбачёва. Он уехал в Новосибирск, его там избрали председателем Западносибирского филиала Академии Наук СССР. Кокорин – не Горбачёв. Бывший начальник Госгортехнадзора Кузнецкого горного округа он не терпит студенческой вольницы. Жёсток, администратор в худшем смысле этого слова. Ему бы старшиной в роте быть. Он сразу же после вступления в должность мне не понравился. На собрании или на лекции он на дерзкие реплики наших студентов произнёс довольно зловеще: «Это здесь вы храбрые очень. Жизнь быстро вас обломает».

В сущности, понимал я, он прав. Но зачем же так злорадно ставить нас ни во что?!

... и вот я стою перед этим Кокориным (горбачёвской воспитанности у него не хватает, чтобы сесть мне предложить). Я коротко излагаю ему суть моей просьбы и передаю ему письмо министерства. Пробежав глазами бумагу, он отвечает, что на практику по подземной газификации угля направить меня он не может, так как в институте нет преподавателей-специалистов (а где они есть?!), перед которыми я мог бы отчитаться о практике, и которые бы в дальнейшем руководили моей дипломной работой, принимали защиту дипломного проекта...

Это всё отговорка. Ему просто на моё желание, на перспективы промышленности наплевать. Но ничего не поделаешь. Что ж. Не судьба.

... удивительно, по иронии что ли этой самой судьбы я побываю на указанной станции в Лисичанске. Только в ином качестве. Через пятнадцать лет ровно как работник обкома партии при проверке письма в ЦК я там проведу один день. Неисповедимы пути Господни, воистину!

... Весь май я, как никогда, беззаботен, хотя в конце мая – экзамены. Май мы проводим днями в логу, в черёмухе, на лужайках со свежей зелёною травкой, у ручейка с бревенчатым горбатым мостком. Мы – это я, Юра Кузнецов, с ним, безусловно, Рассказов и Сюп, вероятно. Гуляем, дурачимся, греемся на солнышке под небом глубоким и голубым. И журчит, струится ручей... Давно не было так хорошо.

... печали сердца своего от всех людей укрой.

Давненько не был я таким бесшабашным. Весеннюю сессию, экзамены, словно слизнуло. А вот как готовился к ним, не забыл. Уединялись мы вместе со старостой в пустом лекционном зале, в том, что пристроен, и где столы на ступенях. Сидим там с Байбаринным за столом в середине этого большого светлого помещения и затверждаем учебники и конспекты, мнениями обмениваемся. Регулярно делаем передышки, чтобы размяться, поболтать о чём-либо постороннем.

На обед в столовую мы не ходим, не тратим время там попусту. Байбарин превосходно решил проблему питания в дни подготовки к экзаменам. Мы запасаемся дюжиной шоколадных батончиков и целый день подкрепляемся ими. И вкусно, и сытно. Умели, умели делать шоколадные батончики в СССР в тысяча девятьсот пятьдесят четвёртом году: толстый слой шоколада снаружи и тонкий слой приятной помадки внутри – не чета убогим "Сникерсам". Боже, что сделала безудержная бездумная погоня за западной модой! Ничего добротного не осталось, одни суррогаты: нежующиеся макдональдсовские подмётки вместо сочной мясной отбивной, напиток "фанта" – отвратительней ничего нет на свете – вместо натурального апельсинового сока, а люди лакают, лакают её, да ещё похваляются, что теперь им это доступно. До чего докатились. Счастье, что доступно дерьмо?

... снова я отвлекаюсь.

... А экзаменов в памяти нет, щёлкал их все, как орешки, без каких-либо, видимо, затруднений, да и восприятие их притупилось. Сколько их было!!! И уже нет в них ни чудачества Евстифеева, ни

нетривиального поведения Виноградова. А однообразная дней череда быстро превращается в полосу неразличимых событий и стирается в памяти начисто. Вот батончики шоколадные, в жизнь впервые вошедшие, в памяти зарубку оставили.

... и ещё раз перед экзаменами проявилась явно развивавшаяся у меня близорукость. Я чуть задержался и на занятия по изучению материальной части гаубицы шёл не вместе с группой, а один, чуть позже. Было тепло, гаубица, выкаченная из сарая, стояла на зелёной лужайке справа и позади той самой лекционной пристройки, которую вскоре мы облюбим с Байбариним. Наши ребята облепили орудие, и я, увидав их, от угла института зашагал прямо к ним. И тут один из них поднял голову и уставился на меня, за ним другой повернулся и – вот уже все в мою сторону смотрят. Я удивлён, ничего необычного нет в том, что я не иду вместе с группой. Сам я тоже вроде в полном порядке, брюки застёгнуты... С чего бы это они? Но иду, как ни в чём не бывало, и... и едва не врезаюсь в нити натянутой проволоки, ограждающие участок. Замечаю их перед носом. Все хохочут. Ах, негодяи! Выжидали, врежусь ли в проволоку. Я ведь не знал, что полянку перед сараем, где гаубица пребывала зимой, тонкой проволокой оградили, а глаза мои издали сейчас не различили её, как и прохода в ней метрах в пятнадцати справа. Теперь я проволоку увидел, повернул и, идя вдоль неё, дошёл до прохода, и направился к гаубице. Экстраординарного ничего не случилось, и смех сразу же смолк. Возможно, коллеги вообразили, что не замечаю препятствия из-за рассеянности, но я этим недугом тогда не страдал. Рассеянность пришла позже, к восьмидесяти годам.

И ещё эпизод накануне экзаменов. Идёт суетливая подготовка к зачётам, сдача курсового проекта. Я по необъяснимой традиции или беспечности, но не из лени, – особым лентяем, как будто бы не был (не мне, впрочем, судить), в последние годы не делаю ничего до последней возможности. Вокруг все в работе, многие защитили проекты, сдали зачёты, а я всё прохлаждаюсь, бездельничаю. Никак начать не могу. Скрылёв Петя держится тоже. Уже и неосознанная тревога по ночам будит меня и сердце сжимает, но я успокаиваюсь, снова заснув. Но тревожное состояние по ночам повторяется, и я даю себе, наконец, в нём отчёт: могу не успеть, не допустят к экзаменам. Но держусь, пока оно не достигнет такого накала, что сразу скидываюсь – пора! Это сигнал и для Пети. Он тоже принимается

за расчёты, поняв, что если уж я начал курсовым заниматься, то в самом деле ждать больше нельзя.

Вот и сейчас... на улице кончается май, зелень, солнце, теплынь, а я за чертёжной доской, не в своей комнате почему-то, а в большой, где живёт второй (нет, первый, пожалуй, ни разу не было срыва) наш горняцкий отличник Саша Романов. Мы ещё вместе с ним ездили в оперу в Новосибирск. В комнате никого. Передо мною стол, на нём доска, ко мне наклонённая, впереди – закрытая дверь, и распахнутое окно – позади. Я увлечённо черчу. Вдруг дверь резко распахивается, в комнату влетает запыхавшаяся Шпитонова, миловидная коротышка, та, что заметил в Москве на Казанском вокзале в пятидесятом году. Я поднимаю голову от доски.

– Саши Романова нет? – спрашивает она.

– Нет, – отвечаю я.

– А где он?

– Не знаю.

Шпитонова поворачивается и уходит.

Я черчу. Через полчаса дверь открывается снова. Снова Шпитонова:

– Саши Романова нет?

– Нет, – отвечаю.

Я черчу уже много часов. День давно за половину перевалил, и несметное число раз дверь открывалась:

– Саша Романов ещё не пришёл?

Я про себя чертыхаюсь. Тут дверь снова распахивается, я поднимаю глаза: на пороге Романов. И моё раздражение выплеснулось, с языка сорвалось: «Куда ты пропал? Тут тебя целый день эта блядь Шпитонова спрашивает!» – и вижу Шпитонову за спиною Романова.

... от стыда я пунцовый. Я плохого слова о Шпитоновой никогда не слышал и – на тебе... ни за что, ни про что девушку оскорбительно обозвал. Рад бы под пол сейчас провалиться, да пол подо мной не проваливается, и я вперяю глаза свои в чертёжную доску. Вошедшие делают вид, что ничего не слышали. И с чего это вырвалось у меня это словцо. Ведь не терплю ругани, матерщины, ненавижу похабщину. Ну и ну!

... Все мы большие любители жигулёвского пива. Но как? Выпьешь после бани или в летний жаркий день кружечку – и достаточно.

Однако же наблюдаем: есть люди, которые пьют пиво непрерывно часами. Это нам интересно. Есть ли удовольствие в этом? И вот мы всей нашей компанией (Кузнецов, Савин, Рассказов, Скрылёв и я) на веранде летнего ресторана с видом на Томь, на горсад и дома центра нашего города. Заказываем по двенадцать бутылок на брата. Официантка приносит. Шестьдесят бутылок едва умещаются на столе. Не торопясь, мы начинаем. Выпили по одной, по второй и по третьей. Ничего особенного, за разговорами медленно пить пиво можно. Только после третьей бутылки дружно поднимаемся и отправляемся в туалет. После этого снова пьётся довольно легко, без насилия. Просидев часа три, мы все бутылки осушили до капли. Сколько раз за эти часы мы прошествовали в туалет, не скажу. Кажется, теперь уже после каждой пары бутылок. Словом, пить пиво в огромных количествах можно. Но зачем? Никакого особого удовольствия нет. Не сравнить с тем блаженством, которое от одной прохладной бутылочки в знойный день получаешь. Опыт закончен, и вынесен приговор: это занятие не для нас...

... В июне я на производственной практике в Белово на шахте "Пионер". Это в нескольких километрах за городом. Автобус прыгает на дороге по асфальтным волнам. Вся дорога вздымается валами, согнанными колёсами автомашин. Никогда такого не видел. Вот чудеса!.. Асфальт, верно, мягкий.

Отдел кадров оформляет меня проходчиком второй руки, то есть на разряд ниже опытных рабочих (те – первой руки), и направляет в бригаду Кокоша, знаменитую, как я только что узнаю, скоростной проходкой горных выработок в Кузбассе. Дело понятное, областных газет я не читаю, это для меня не масштаб. Мне центральные "Правду", "Комсомолку", "Известия" подавай. "Литературку" я пока для себя не открыл, а знал, что Ефим Боровицкий её в киосках всегда покупал. Не возник интерес заглянуть, что там он находит.

... из наших на шахте лишь я и худенький невысокий Саня Исаев, электромеханик. Он слесарит на участке подземного транспорта. На окрестных шахтах ребят наших немного, но среди них Рассказов и Сюп.

... первая смена. Иду с бригадой в забой по штреку, креплённому стальной арочной крепью. Ширина его метра четыре, высота – три. Его мы и проходим по пласту сильно наклонному, ближе к крутому, пожалуй, мощностью метр двадцать всего. Он снизу слева наискось вверх направо пересекает забой. Для Кузбасса пласт тонковат, штрек поэтому проходится с присечкой породы. В десяти метрах выше по

этому же пласту наша бригада проходит второй штрек, меньший в сечении, два метра, примерно, на два. Его крепят деревом. Неполный дверной оклад. Для нас – он вентиляционный, для следующей за нами с отставанием лавы – он промежуточный транспортный, по нему из-под лавы по скребковому транспортёру до ближайшей сбойки с откаточным штреком, который мы и проходим, перемещается уголь.

... В забое откаточного штрека – погрузочная машина с двумя манипуляторами и закреплёнными на них двумя свёрлами. К забою подходит труба со сжатым воздухом. Шахта опасна по газу и пыли, и все механизмы, вентилятор, машину и транспортёр именно он (сжатый воздух) приводит в движение, поскольку электричество в шахте запрещено.

Работу начинаем с того, что машинист подгоняет к забою погрузочную машину, а один из проходчиков, подводя манипуляторами свёрла к нужным местам, начинает бурить шпур по углю. Глубина их чуть больше двух метров. Остальные проходчики, я в том числе, начинаем готовить глиняную забойку, катаем "пыжи". Нуднейшая, повторяюсь, работа. В каждый шпур надо натолкать глины до метра, а шпуров всего, с учётом того, что ещё придётся бурить по породе, не менее тридцати. Поделите их круглым числом на двенадцать сантиметров ладони. Сколько получите? Правильно, двести пятьдесят пыжей.

... и снова мысль о механизации этого вот "процесса". И вывод: задачу ставит потребность.

... А тем временем, когда все шпур по углю пробурены, взрывник заряжает их картонными патронами с аммонитом, длинной круглой палкой загоняет эти патроны в шпур, вставив электродетонаторы в самые последние картонки с ВВ, и трамбуем шпур заготовленной нами забойкой. Затем он соединяет попарно концы тоненьких проводов, свисающих из забоя, подсоединяет их к толстому проводу, идущему к взрывной машинке, лезет с ней за угол сбойки с вентиляционным штреком, где попрятались мы, крутит ключ, в забое ухаёт взрыв, и вентилятор частичного проветривания, гоня свежий воздух в тупиковый забой, быстро вытесняет оттуда сизую муть, нестерпимо вонючую, отвратительно сладковатую, удушливую, разъедающую лёгкие и глаза.

А в проветренный забой уже въезжает погрузочная машина, зубьями ковша врезаюсь в груды угля у основания забоя. Заполненный ковш машина опрокидывает через себя, высыпая зачерпнутый уголь на транспортёрную ленту, выступающую вверху за пределы

машины. С ленты он сыпается в порожнюю однотонную вагонетку, и я, дождавшись её заполнения, отвожу её, толкая по рельсам, за разминовку, откуда пригоняю порожнюю вагонетку. По мере удаления забоя от разминовки время на замену вагонеток увеличивается, а это – увеличение простоя машины. И тогда пригоняем к забою целую партию вагонеток и сваливаем их, кроме одной, с рельсов на бок. Вдвоём это делается легко. Однотонные вагонетки невелики. Когда оставленная вагонетка загружена, я отвожу её за лежащую партию, а затем с подошедшим проходчиком с помощью лаг мы ставим на рельсы очередную из сваленных вагонеток. Это тоже нетрудно.

После выгрузки взорванного угля, начинается бурение по породе, но медленнее гораздо: порода намного крепче угля. И все операции повторяются. Но порода не только крепче угля, но и тяжелее в три раза. Ковш с трудом лезет под её неровные глыбы, а углы выработки не зачищает вообще. И тогда я с одной стороны, а второй проходчик – с другой, большими, совковыми лопатами, которые по неровной почве забоя лезть под кучи породы никак не хотят – не работа – мучение, – подчищаем края штрека, забрасывая неподъёмный груз в опущенный ковш механического бездельника.

... и вот два метра пройденного штрека очищены. Кокош с парой проходчиков на машине, загнанной вплотную в забой, громоздят полук, с которого начинают ставить арочное крепление. Два метра – две арки, четыре, стало быть, стояка – боковины, и мелочь – распорки (шесть штук), хомуты и болты с гайками. Ну, мелочь, мелочь и есть, не о ней разговор. И боковину тащить мне ерунда. Но вот если дугарка достанется – смерть. Она раза в два длинней боковины, и тяжелей, соответственно. Пока дотянешь её от места, где весь металл свален, а это метры и метры, то пуп надорвёшь, и кажется, что на метрах этих все кишки твои размотались. Ничего кошмарнее не было. И никто не поможет, все заняты своим делом. И всё же бессовестные! Видят: телосложение хлипкое, брюшной пресс – никакой. Нет, чтобы обе арки забрать. Все боковины, проворно хватают, а одна арка – моя.

... Прежде, чем идти на такую работу, надо годика два культурным позаниматься, но кто о нём тогда знал. В двадцатых годах "буржуазный" способ накачивать мышцы запретили официально. И молчок. Словно не было такового. Может те, кто постарше, что-то и знал, да помалкивал. Наш физкультурник, во всяком случае, недоб-

рым словом его помяну, видя, как я беспомощно болтаюсь на турнике, на перекладине бишь – турник же, с низкопоклонством борясь, говорить запретили, ни разу не подсказал мне, как развить мои мышцы. Ставил "удовлетворительно", а в итоге – "зачёт", хотя удовлетворительного ничего в этом не нахожу.

В связи с этим вспомнился мне зачёт, который я сдавал заведующему кафедрой физкультуры в мае перед началом экзаменов. Я всячески от него уклонялся, надеясь, что преподаватель поставит зачёт без сдачи. Однако он заупрямился и велел мне передать, что, если я не приду, он не допустит меня до экзаменов.

... хочешь – не хочешь, приходилось идти. Зачёт был связан с военной подготовкой, то есть это был физкультурный зачёт, но с военным уклоном. Сделать надо было немало: с противогазом, гранатой, винтовкой пробежать сотню метров по ровному полю, потом метров десять по-пластунски пролезть под низко натянутыми на кольшках проволоками (предусмотрели! – чтобы зад не поднял!), взбежать по наклону на бум – вот, чёрт! – запрещённое слово! – на бревно, пробежать по нему, не свалившись, спрыгнуть, швырнуть гранату вперёд, перепрыгнуть условный ров – чуть заглублённая дорожка шириной метров пять и присыпанная песком, чтобы след оставил при неудаче (и это предусмотрели!), – и воткнуть штык в соломенное чучело неприятеля. Уложиться надо было секунд в пятьдесят или в минуту.

... поскольку надлежало непременно ползти по земле, а протирать единственные брюки свои, естественно, никому не хотелось, то на старте наготове лежали бывшие в употреблении (б/у) хлопчатобумажные (х/б) штаны и такая же куртка.

Ну, я свои рубашку и брюки снимаю, как полагается, и натягиваю казённые штаны, заправляя в них куртку. Подпоясываюсь ремнём из брезента, через плечо перебрасываю матерчатый ветхий ремень сумки с противогазом. Подпрыгивая, бегаю возле стартовой начальной черты, проверяя, всё ли подогнано хорошо. Противогаз бьётся у меня на боку и начинает съезжать к животу. Стоп! Так не годится. Будет бегу мешать, да и ползти. Надобно его закрепить на боку.

И тут я совершаю большую неосторожность. Завожу ремень для поддержки штанов, продеваемый в петли, также и в петли сумки противогаза. Теперь он плотно к боку прижат и не болтается на бегу.

... На полянке, где все эти препятствия, пусто. Лишь физкультурник и я. Поодаль наблюдают за нами несколько любопытных студентов. Я наклоняюсь (учёны, учёны!), как спринтер, у черты, пальцами касаясь земли. В левой руке зажата деревянная винтовка, со штыком, как у дяди Вани в их батальоне в сорок первом году. В правой – деревянная граната, но со стальным, для утяжеления, ободком.

... физкультурник вытаскивает секундомер, поднимает вверх руку и, рубанув ею воздух, выкрикивает: «Пошёл!»

Я срываюсь, бегу по поляне – противогаз, как влитой, – перед заграждением плюхаюсь и ползу на брюхе под проволокой. Выбравшись из-под проволочного "навеса", взлетаю на бум, бегу балансируя, чтоб не сверзиться вниз, спрыгиваю и, размахнувшись, бросаю гранату вперёд – она падает близко, ровно на таком расстоянии, чтобы подо мною взорваться, когда я до неё добегу. Набирая темп, перебрасываю винтовку из левой в правую руку, прыгаю через "ров", и, в момент, когда я пролетаю над ним, обрывается полуистлевшая ляжка противогазовой сумки. Противогаз обвисает на поясе, на ремне, и... срывает штаны. В миг, когда я приземляюсь (конечно, в песок заступив), они над ступнями опутали ноги мои.

В стороне грянул хохот, – мне некогда на него отвлекаться. В трусах – благо их не стащило – бегу, на ходу безуспешно пытаюсь сбросить волочащиеся штаны, утяжелённые противогазом, – еле ноги передвигаю на ширину этих пут, – но бегу и преодолеваю последние метры до чучела. Достигнув его, победно втыкаю в него штык винтовки.

... теперь можно и осмотреться. Зрители в судорогах катаются на траве. Число их заметно умножилось.

Я освобождаюсь от ненавистных штанов с не менее ненавистным противогазом и бегу к черте старта за зачёткой, оставленной в брюках. Я, понятно, не уложился ни в какой норматив, но физкультурник ставит зачёт. Очевидно, за упорство в достижении цели. А быть может, за удовольствие, доставленное окружающим и ему. Или за то и другое.

... Несколько дней непосильной работы – арки проклятые неподъёмны – дают знать сильной болью слева внизу живота. К утру тянущая боль, отдающая сильно в яичко, не даёт мне ходить, я едва ковыляю по комнате, не иду на работу и ложусь на кровать. На следующий день боль не проходит, является мысль о грыже, и я отправляюсь к врачу в поликлинику. Грыжи не обнаружилось, но врач, прощупав яичко, что сопровождалось невольными вскриками, выписывает талон

на больничный лист с этого дня. Здесь-то до меня и доходит: а вчерашний день как же?! Это прогул. Из-за этого дня я потеряю половину зарплаты. Меня лишат прогрессивки – доплаты за выполнение и перевыполнение плана. Это меня огорчает, и я прошу врача выписать бюллетень со вчерашнего дня. Он упирается: не положено. Если вчера заболел, то вчера и надо было прийти в поликлинику. Я оправдываюсь: так сильно болело, что идти просто не мог. Мне удаётся разжалобить не вполне очерствевшее сердце, и я получаю больничный, помеченный прошедшею датой. По бюллетеню я гуляю три дня, боль утихает.

... и в забой отправился парень молодой.

На этот раз Коккош посылает меня напарником к проходчику в параллельный штрек, в тот самый, маленький. Ну, тут всё проще. Шеф бурит, я забойку леплю. Приходит взрывник и – "бери больше, кидай дальше". Кидать и в самом деле приходится далеко. Скребок-конвейер отстал от забоя рештака на четыре, их никак не доставят, чтобы нарастить транспортёр. А это восемь метров, не считая ухода. Вот и перекидываю я восемь тонн взорванного угля на эти восемь вот метров, пока напарник ходит за стойками и крепь мастерит. Стараюсь кидать посильнее, но дальше трёх метров не выходит никак: в лопате угля целый пуд. Забой мною очищен, но выросла новая куча, её перекидываю ещё раз и лишь из той, из последней, забрасываю уголь на хвостовик транспортёра, откуда он едет дальше по рештакам уже сам, влекомый громахующими скребками. Всё это каторга тоже – эти бесконечные перекидки в век технического прогресса – каторга тупая, бессмысленная... Впрочем, прогресс тут не при чём. Обычная неорганизованность наша.

Каторга в маленьком штреке кончается. Транспортёр нарастили, да ещё и запасные рештаки у борта выработки оставили. Работа становится нормальной, хотя и нелёгкой. Её я выдерживаю.

... В канун воскресного дня, а именно пятого июня, в комнату ко мне вваливается ватага наших ребят Юра Рассказов (Юра большой), Сюз (Юра маленький) и Маша Азарова, студентка-малышка из третьей группы. Огромный Рассказов обращался к ней ласково, называя "манюня", и она такое обращение принимала благосклонно. Я тоже попробовал её так назвать, но она отрезала: «Что разрешено одному, то...», словом, что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Так вот, заявляется ко мне вся эта компания и с ними Гор-лу-шин с фотографическим аппаратом и незнакомый мне москвич-практикант и приглашают меня на ночной пикник на берегу местной речушки Иня. Я с радостью соглашаюсь – по близким лицам соскучился – мимоходом заметив, что у меня завтра как раз день рождения.

– Ну вот, заодно и обмоем, – резюмирует Юра большой.

У ребят все припасы закуплены: ну, водка там, вино, хлеб, колбаса, масло, сыр, огурцы, лук зелёный, редиска... От меня ничего им не нужно, разве только котомка, чтобы часть припасов переложить.

Я беру эту котомку и в неизменном лыжном костюме и в берете, который с этого лета ношу, так как надо под каску что-то натянуть, выхожу вместе с ребятами в этот поход.

... за посёлком открывается чахлый пейзажик. Плавно понижающаяся бесплодная совершенно равнина, серая, чёрная, с плоскими очажками зелёной травы. Справа и впереди её ограждает, казалось, недалёкий и невысокий, обрывистый противоположный берег Ини. Слева равнина укатывала бесследно за видимый край земли.

Близость Ини оказалась обманчивой. Когда мы к ней подошли, отшагав шесть-семь километров, солнце краем зацепило за горизонт.

... Иня оказалась небольшой мелкой мутной речушкой с топкими берегами, сплошь заросшими низким кустарником. И в округе ни одного деревца.

Но всё же природа...

Мы нашли возле берега сухую утрамбованную площадку, окаймлённую Иней, делавшей здесь петлю и поворачивавшей с юга на запад. В сумерках собираем вороха сухих веток и разжигаем костёр. И уже в темноте возле пламени раскидываем свою скатерть-самобранку – газету на байковом одеяле, заодно с сумкой прихваченном мною из общежития.

Выпив, как полагается, и закусив, вдоволь наговорившись, начинаем готовить ночлег. Костёр с недогоревшими ветками и тлеющими углями сгребаем палками в сторону, тушим, затаптывая ногами. Прогретую костром землю тщательно подметаем веничками из прутьев и укладываемся на неё, тесно прижимаясь друг к другу. Земля долго хранит тепло костра, и я каждый раз, просыпаясь ночью от холода, переворачиваюсь, чтобы остывшим боком погреться о землю.

... к утру мы всё же изрядно замёрзли. Но брызнуло солнышко, мы вскочили, побегали, в беге согрелись, и ахнули, взглянув на себя, – лица

у нас были серы от пепла и сажи, словно мы из преисподней явились. Кинулись в реку обмыться, поплавать. Но для плавания река не годилась. Воды в ней было по пояс, притом ил по колена. Кое-как поплескались и, смыв с себя сажу, вылезли на берег относительно чистыми. Только ноги до самых колен были в илистой грязи. Но с этим ничего не поделаешь... Грязь на солнце подсохнет – как-нибудь обдерём.

... и тут ощутили в себе зверский голод. Снова раскинуто на земле одеяло, снова собираемся в кружок, допиваем с вечера оставшуюся водку, помянув моё двадцатидвухлетие мимоходом, закусываем и на этом заканчиваем свою вылазку на "природу".

... А это уже ближе к концу нашей практики. Юлия Садовская как-то приглашала нас в гости к себе домой в город Гурьевск. Это от Белово неподалёку. У нас с Юрой Савиным был адрес, и мы решили заглянуть к ней на выходной. Гурьевск – город старинный, в стороне от главной железной дороги Кузбасса, на которой, как бусы на нитке, нанизаны почти все основные его города. Конечно, и к городу Гурьевску есть тупичок железной дороги: с Гурьевска, помнится, и начиналась промышленная Сибирь. Но сейчас он в стороне от гигантов советской индустрии. Новые стройки его не коснулись, и он сохранил уют двухэтажных бревенчатых особняков в окружении лесов хвойных и лиственных.

Юлю застаём дома. Она искренне обрадована нашим приездом – хороший она человек и товарищ. Мы с Юрой тоже сияем от встречи с приятным обаятельным человеком. И в буквальном смысле тоже сияем – латунью начищенных пуговиц и контрпогон. Понимаем, в гости в лыжных костюмах не ездят. Юлина мама – добрая высокая (так она видится мне) сухощавая женщина хлопочет возле плиты, и вот мы уже за столом, за которым появляются приятные девушки. Подружки Юлины, что ли?

На этот раз пьём только вино, а дальше... всё в розовом чудном тумане. Жаркий день. Барашки лениво плывут в синем небе. Мы гуляем в сосновом лесу, одурманенные близостью девушек, запахами перегревшейся хвои и плавящейся смолы. Мы шутим, дурачимся, играем в пятнашки, бегаем друг за другом между деревьями. И мелькают перед глазами то бронзовые стволы, то лёгкие, светлые платья девушек и их лица, разгорячённые бегом. В голове – опьянение не от вина, а от этого летнего чуда. От зелёного леса, сквозь кроны которого вдруг брызнет сноп золотистых лучей; от мягкой, неслышной под ногами

постели коричневато-жёлтых хвоинок, слепящими пятнами вспыхивающей между тенями на клочках освещённой земли; от смеха девушек, от их голосов, от порхания платьев, обнажающих ловкие упругие ноги, от открытых взору голых рук, шей и плеч, что захлёстывает тебя душной волною желания, к утолению не стремящегося и держащего меня весь этот день в состоянии блаженного спокойного счастья.

... радостный день.

... Работа на шахте идёт своим чередом. Как всегда, к забою хожу вместе со сменой запомнившимся путём от ствола. Но уже кое-что замечаю. Из трубы, уложенной на почве у борта штрека, на стыках частенько посвистывает или шипит. Это сжатый воздух вырывается на простор. А ведь это потери, давление падает, и в забое, стало быть, свёрла будут крутиться ленивее и шпурсы бурить будут медленнее и дольше. Ковш будет нехотя подниматься... как в замедленном кинофильме. Однако никто из проходчиков не обращает на это внимания. Приходят в забой и, обнаружив, что давление воздуха слабовато и сверло еле "дышит", матерятся, посылают куда подальше инженерную службу... и, ничего не исправив, начинают работать.

Когда же напор слаб до того, что у воздуха сил нет даже вхолостую провернуть механизм, посылают одного из проходчиков на поиски мастера или механика, чтобы те приказали слесарю проверить воздухопровод и устранить все утечки. Остальные усаживаются на затычках в забое и травят байку за байкой в ожидании "технической" помощи.

... в это самое время случилась на шахте, не в мою, правда, делегация чехословацких проходчиков, прибывших то ли советский опыт проходки перенимать, то ли передавай свой. Переделались чехословаки в наши робы, спустились в шахту, по штреку идут в наш забой, на плече у каждого сумка с различными инструментами. Слышат – воздух шипит, из трубы утекает. Стали. Ближайший подходит к трубе и осматривает её – трещина в резиновой муфте. Тогда чех ли, словак, нам безразлично, открывает сумку свою, достаёт моток липучей ленты и муфту туго ею обматывает. Несколько оборотов, и нет "шпиуна". Дальше обнаруживается "свистун" на стыке сболченных металлических фланцев. Тут из сумки достаются гаечные ключи. Гайки подкручены – и нет "свистуна".

А тут уже и забой. И начинают чехи работать. Свёрла у них – как звери, крутятся и рычат, погрузочная машина с разгону вреза-

ется в грудку породы, и ковш, легко зацепив тяжёлые глыбы, швыряет их весело через себя. Мотор транспортёра в маленьком штреке, как трактор, ревет и готов перекачать сколь угодно много угля.

... Ай, да чехи! Ай, да словаки!

... и снова не понимаю я, почему наши рабочие так равнодушны? Вроде себе же в убыток! Что стоило на минутку остановиться и самому всё исправить. Не понимаю этого и возмущаюсь до крайности. Но я ещё не знаком с нашей системой нормирования, с порядком расчёта норм выработки, впрочем, какое это имеет значение, за простой не платят.

А может всё дело в наплевательском ко всему отношению? В менталитете, как теперь говорят.

... Встречаю на поверхности Александра Исаева. Разгуливает то ли без ботинка с перебинтованной туго ступнёй, то ли в перебинтованном ботинке. Бедняга! Чуть ли не в первый день работы ему раздавило большой палец ноги сошедшей с рельсов гружёной вагонеткой. Теперь ходит по больничному, как некогда Петя Скрылёв.

... но Саня предусмотрительнее Пети. Он застрахован на десять тысяч рублей – смехотворная сумма, но на бóльшую, кажется, в СССР не страхуют. Отрезанный на ноге палец медицина оценивает в десятипроцентную потерю трудоспособности, и Саня получает тыщу рублей в дополнение к тому, что ему причитается по бюллетеню.

... Возвращаясь однажды после полудня со смены, захожу от нечего делать в женское общежитие, то, где живёт Маша-манюня и кто-то ещё из наших девчонок. Снизу слышу: на антресолях над лестницей на втором этаже знакомый мне голос... Курлов! Папа Курла – узнаю – руководит нашей практикой. Голос его обращён к нашим студенткам, стоящим на междуэтажной площадке. Он то ли просит о чём, то ли что-то им предлагает. Я останавливаюсь внизу у дверей, слушаю. Да, он говорит им, что сейчас уезжает и предлагает им взять у него оставшиеся банки консервов, колбасу и другие продукты. Девочки смущённо переминаются и отказываются от подарка. Папа Курла настаивает, с досадой прибегая к убийственному, по мнению его, аргументу: «Всё равно ведь выбрасывать!» Я беззвучно хохочу: берите, берите – всё равно ведь выбрасывать! Ассоциация возникает невольно: «На тебе, боже, что мне негоже!» – всё равно ведь выбрасывать!

Когда девчонки смываются, я поднимаюсь вверх. Папа здоровается за руку со мной. Такой чести я ещё ни у кого из педагогов не удостоивался. Объясняет, что объезжает закреплённые за ним шахты,

наша – последняя, и сегодня он уезжает в Кемерово. Спрашивает у меня, нет ли каких претензий. Претензий у меня нет, и мы с папой прощаемся. А я невольно вспоминаю прошлогодний отчёт об ознакомительной практике. «Ну уж, – думаю, – для папы Курлы я постараюсь, заделаю такой отчёт, такой отчёт... Всем на зависть».

... снова заходят в гости ребята. Юра Рассказов смущённо описывает своё любовное фиаско. Познакомился с поселковой девицей, проводил домой, в дом. Поцелуи, объятия... и в постель. Вот оно – исполнение желания почти нестерпимого! Девица ноги раздвинула, колени согнула. Юра – туда, но, едва детородный член коснулся желанного, как тут же и разрядился потоками. Сконфуженный Юра сбегает с места неудавшегося полового контакта.

– Так стыдно стало, – говорит всегда невозмутимый Рассказов. – Опозорился!

... Меня перебрасывают на работу под лавой в том же транспортёрном штреке, где я упражнялся в перекидке угля. Это уже от забоя подальше.

В лаве уголь берут уступами, лесенкой, так, что нижележащие уступы прикрываются верхними, предохраняющими работающих внизу от летящих сверху кусков угля и чурок. Отбитый уголь по наклонной почве пласта скользит вниз в воронку над сбойкой с транспортёрным штреком. Сбойка крепится колодезным срубом. Под сбойкой громыхает знакомый скребковый конвейер. Моя задача – равномерно выпускать на него куски угля из лавы, насколько это возможно. Держать всё время открытой сбойку нельзя – рухнувший после взрыва уголь пересыплет конвейер, и он остановится, не потянет. Для регулирования потока угля я "технически" оснащён: в руках у меня двухметровая доска. Хотя неплохо бы было иметь ещё и обыкновенный багор с крючком и остриём на конце. Но до этого техническая мысль на шахте ещё не додумалась.

Итак, стоя справа или слева от сбойки, я регулирую высыпание угля из неё. Если валится слишком много, я наискосок сую доску и перекрываю поток. Подёрнув доску к себе, я расширяю проход, и уголь сыплется равномерно. Дело нехитрое. Беда в том, что в сбойку вместе с углём влетают и выбитые при взрыве или уроненные тяжёлые чурки, отпиленные от длинных стоек. Они распираются в срубе меж звеньями, и глыбы угля, натываясь на них, застревают, и... скребки уныло царапают опустевшие решетки.

Мне надо – умри! – выбить распёртую затяжку, иначе смена останется без добычи, без заработка. И я скачу возле сбойки, ширяю вверх свою доску (вот где нужен багор!), бью в край затяжки и отпрыгиваю – если хлынет лавина, то похоронит меня.

Затяжка не поддаётся. Я танцую над движущимся транспортёром, то заглядывая сбоку в сбойку, то, отпрянув, ударяю в затяжку.

... затяжка не поддаётся, а я от бессилия своего просто зверею. Бью, бью, бью, бью. Наконец, ударил удачно. Затяжка надламывается, уголь хлынул, заваливая транспортёр – едва успел отскочить. Теперь надо поток этот унять. Я сую доску, но летящие глыбы отбивают её, а гора над конвейером всё растёт, грозя завалить весь штрек. Ожесточённо и методично я сую, сую доску – и всё неудачно, и, отчаявшись от бессилия своего перед неподвластной стихией ору матом и в чёрта, и в бога, и в мать родную. Понимаю теперь, как ходят в атаку. Там ни Сталина, ни Родины не помнят уже. Лишь бога, чёрта и родную мать поминают!

... Всё-таки успеваю подсунуть доску под верхний край сруба. Обвал прекратился. Над транспортёром – гора, полтора метра угля.

Цепь транспортёра еле ползёт, цепляя скребками куски угля, выдёргивая их из-под кучи. Я помогаю транспортёру лопатой. Куча в центре медленно оседает, в канавке с крутыми откосами показывается скребковая цепь – теперь она сама справится со всем остальным. А мне работёнка – штрек зачищать. Швыряю лопатой уголь с почвы на рештаки.

Штрек зачищен, и я принимаюсь пошевеливать доску, пропуская уголь равномерными порциями, сыплющимися на конвейер. До следующей затяжки!

И так всю смену. Можно осатанеть!

...дни работы трудные на бои похожие.

... через несколько дней меня посылают работать под люк на откачном штреке: люковой заболел. Люк – это выход из бункера, куда сыпается уголь, доставленный транспортёром, тем, на который я раньше "грузил" уголь из лавы. Это ещё дальше от забоя нашего штрека. Тут дело проще. Под кровлей штрека стальной куб (люк – окончание бункера), внизу в нём пазы, в которые вставлен стальной лист с приваренной к нему ручкой – шибер. Я, держась за ручку этого шибера, то отодвигаю его, выпуская уголь из бункера, то задвигаю его. Здесь нет

неожиданностей, всё постороннее уже выброшено из угля вверх, на промежуточном штреке. Там кто-то другой сейчас чертыхается.

... молоденькая бабёнка в стёганой ватной фуфайке подгоняет под люк порожнюю вагонетку и уходит за новой. Вторая – стоит, ждёт возле меня.

Я подёргиваю шибер, уголь сыплется в вагонетку, которую я постепенно проталкиваю сам, или добровольная помощница это делает за меня. Это для того, чтобы загрузить вагонеточку равномерно. Недосыплешь чуть – засчитают как "недогруз", с забойщиков снимут десятую долю добычи. Пересыплешь – зачем же начальству кровный уголь дарить, тут десятую часть никогда не накинут, "перегруз" не зачтут. Такая вот справедливость. Да при пересыпке можно и штрек ненароком засыпать. Самому придётся и зачищать. Это дело ответственное, тут нужны внимательность и аккуратность.

... наука приходит быстро. Глазомер есть.

Вагонетка загружена, я помогаю чумазенькой молодежи стронуть вагончик, и она, упираясь задом своим, гонит его к разминовке. Вторая – подгоняет порожнюю вагонетку.

Когда все вагонетки загружены, или нет угля из лавы, или, наоборот, уголь есть, но во время не подали порожняк, обе девицы сходятся у меня под люком и начинают свои разговоры. В своих выражениях они не стесняются, не стесняются и меня – я для них неодушевлённый предмет. Изъясняются они словами преимущественно непечатными.

... я только диву даюсь. А ещё женщины! Женщина для меня – существо высокое, благородное, а тут тебе на!.. И не то плохо, что они знают эти слова во всех мыслимых формах и от этих форм все производные – от этого в нашей грубой действительности не дешься никуда, а то, что вся эта похабщина, вся грязь, мат слетают с миленьких губок испачканных угольной пылью. Впрочем, несмотря ни на что, если бы такая крепенькая бабёнка мне предложила, я бы отказываться не стал. Но, как сказано, на меня они не обращают внимания. Я для них нуль. Сам же я ни на что не решаюсь.

... кроме того, после шахты я иду к Нелли.

Нелли практикантка из Сталинска, с горного факультета Сибирского металлургического института. Незаурядная девушка. Она статна в своём голубо-сером костюмчике, придающем ей строгую неприступность. Она не красавица, однако, строгое лицо её своеобразно и неповторимо мило, удлинённый овал лица её необычайно

приятен, несмотря на её серьёзность и неулыбчивость. А, быть может, это я не говорю ничего, что заставило бы её улыбнуться. Не получается никак у меня с ней шутить. Одни серьёзные разговоры.

... а смех без причины – сами знаете, что.

Лицо её и высокая (чуть выше среднего роста), ладная фигура привлекают меня всё сильнее, она, определённо, нравится мне, и я пытаюсь за нею ухаживать, становясь частым гостем в её маленькой комнатке, очень уютной – к чему она руки свои приложила, – в одном из общежитий посёлка. В этой комнате живёт Нелли одна. Одна кровать, один стол, стула два и занавеска от багета до подоконника на большущем окне. Наверно поэтому здесь не чувствуется общежитийской казармы. Удивительно, как ей такую комнатку заполучить удалось? От Нелли не хочется уходить.

Но ухаживаю я неумело, даже в кино не догадываюсь её пригласить. Тоже мне – воздыхатель...

Мои ухаживания она не воспринимает никак – возможно в Сталинске у неё кто-то есть, – но не гонит, не даёт понять, что ей неприятны мои посещения, и даже записывает мне в блокнот свой сталинский адрес. И всё-таки чувствуется мне в ней намёк на высокомерность. Вероятно, я ошибаюсь. Просто гордая женщина. И этой гордостью она так нравится мне. Люблю гордых и неприступных. Хотя нет, как известно, таких крепостей, которые взять невозможно. Но тем то они и хороши, что кто попало и без приступа их не возьмёт.

... ну, вот, и июню конец, а с ним и практике этой. Я получаю расчёт и от неожиданности просто ахаю: три тысячи ровно рублей я заработал! Никогда таких денег не то что в руках не держал – и не видел. Вот, что значит работать в скоростной бригаде товарища Кокоша! М-да, мой прогул мог мне стоить двух тысяч. Никогда не прогуливайте... без документа оправдывающего его.

... Возвращаюсь в Кемерово в поезде почему-то один. Три тысячи надёжно упрятаны в карманчик, пришитый по давней привычке к трусам. Одного не пойму: еду я без билета. Даже в те времена, когда денег было в обрез, всегда билет покупал. А тут что же, с такими деньгами экономлю тридцатку? Может соблазн оттого, что так близко, две остановки всего: Ленинск-Кузнецкий, узловая – Топки и... столица Кузбасса. Итак, общий вагон, еду зайцем. День в самом разгаре. К вечеру буду у себя, в институте.

... чу, тревога. В вагон с одной стороны заходит контроль. Я реагирую быстро. Тотчас выхожу в тамбур другой стороны, открываю наружную дверь, становлюсь на подножку, дверь за собою захлопываю. Ехать можно, держась за поручень, но вдруг заметят в окно? И я с подножки перебираюсь на буфер, а оттуда по лестнице залезаю на крышу вагона. Дело знакомое. Добираюсь на четвереньках до грибка вентиляции, и, обняв его, ложусь, пережидая проход контролёров.

... безмятежно выстукивают ритмичную песню колёса, безмятежно поглядываю я на проносящиеся поля, перелески, столбы телеграфа. Полный покой.

Вдруг примечаю парней на крыше третьего от меня вагона, парней одетых грязно, небрежно, и вида – тут нечего соображать – блатного. Но что мне за дело до них?

... однако у них до меня дело есть. Перепрыгнув с крыши на крышу (на такое бы я никогда на ходу не решился), ко мне бежит небольшой парнишка, четверо взрослых парней остаются на месте, обратив взоры ко мне.

– Тебя зовут. Иди! – командует мне пацанёнок.

Моё сердце заколотилось в недобром предчувствии.

– Сейчас, – отвечаю с насмешкой, но вроде бы и всерьёз.

Пацан голову поворачивает и кричит что-то парням. Я, конечно, не трогаюсь с места. Тогда один из взрослых парней начинает приподниматься. Я холодею. Что стоит им с крыши столкнуть меня на полном ходу?! Но цепенею я только на миг. Страх подбрасывает меня, как пружина. Бросок – я на лестнице, секунда – на буфере, оттуда прыгаю на подножку, открываю дверь в тамбур, вскакиваю туда и... попадаю в объятия контролёров, именно в этот момент – надо же! – переходящих в соседний вагон. Но сейчас я рад им, как ближайшим родным. Сердце бухает, вот-вот грудь разорвёт.

Но опасность уже позади, и я досаую, что так просто попался. Надо бы на подножке чуть-чуть переждать и уж в вагон лезть, если в самом деле погнались за мной. Контролёры перегоняют меня вместе с двумя "зайцами", которых они до этого обнаружили, в соседний вагон. Один контролёр быстро проходит вперёд, за ним следуют зайцы, среди них я последний. Замыкающий контролёр задержался у туалета, выясняя, не спрятался ли там кто-нибудь. Я, пользуясь этой заминкой, войдя в коридор, сразу прячусь за приоткрытую дверь, отгораживающей площадку у туалета от вагонного коридора.

Пассажирам, тем, что лицом ко мне, я виден отлично, и я, приложив палец к губам, молчаливо их умоляю не выдавать.

Второй контролёр, пройдя мимо двери (а за ней и мимо меня), начинает проверку билетов. К счастью, он не оборачивается назад, и я, прошмыгнув за спиной у него, мимо туалета проскакиваю в тамбур вагона, оттуда – уже в свой вагон, где усаживаюсь на своё прежнее место. Теперь можно и отдышаться, и от пережитого ужаса отойти.

До Кемерово доезжаю без каких-либо приключений. В институте получаю стипендию за два месяца – это ещё, кругло, тысяча. Деньги идут к деньгам. Вот бы сейчас мотануть на каникулы. Но каникулы в этом году через месяц, а сейчас, на июль, нас отправляют в Красноярск на военные сборы.

... Снова стучат колёса, снова мимо ураганом проносится разорванный поездом воздух, а я, свесив ноги наружу, сижу с ребятами в проёме теплушки – 40 человек, 70 лошадей, – мчу в далёкую неизвестность. Рядом со мной – наш "штатный" аккордеонист, студент-электромеханик Коля Соловов, если не ошибаюсь. За ним Юра Корницкий и другие ребята, сгрудившиеся у этого открытого выхода в мир. Все вперемешку в нашем вагоне, со всех факультетов. Сорок человек ровно. Это меня умиляет – не семьдесят. Не понизили наш статус до лошадей. Стоп! Что-то не то. Каких 70 лошадей?! Ведь лошадей в товарном вагоне помещается меньше людей. Лошади крупнее, чем человек, и промежутки меж ними должны быть поболее, чтобы, взбрыкнув, друг друга не покалечили. Это, видно, какой-то шутник подправил единицу на нашем вагоне. Ну да, с довоенных времён ещё помню надписи на вагонах поездов, перевозивших кавалерийские части: «40 человек или 10 лошадей». А я то, не подумав, уши развесил.

Аккордеонист играет на аккордеоне – перламутр, никель, блеск – чардаш Монти, всеми очень любимый, что-то ещё. Потом запекает Корницкий, мы – следом за ним. Сплочённые песнями воедино, мы летим в наваливающейся на нас тьме с проносющимися красными искрами из трубы паровоза, словно в светлое будущее. Колёса стучат: та-та-та, так-так-так, та-та-та, так-так-так, приближая нас к нему неуклонно, неотвратно.

... наш паровоз вперёд лети, в Коммуне остановка.

В Красноярск наш товарный состав прибывает с рассветом. И тут чёткий армейский порядок даёт первый сбой: машин за нами в намеченный срок не прислали. Кто-то распорядиться забыл. Мне это

очень не нравится. Где, где, а в армии должен быть порядок, железная дисциплина и точность. Сейчас – не война, и неожиданности практически не может случиться. Если и в мирное время в армии нашей бардак, то тогда, где его нет? Чему же тогда удивляться на воле?!

... Мы бесцельно слоняемся по перрону. Солнце между тем поднялось высоко. Припекает. Заметив паровоз, покотивший заполнять водой тендер, мы – толпой за ним. Куртки, рубашки, майки летят с наших плеч на привокзальный забор. Обнажённые спины, белые и – загоревшие – смуглые, врезаются в восьмидюймовый столб сверху низвергающейся холодной воды, сбивающей с ног своей мощностью. Отражённые телами веера брызг разлетаются в стороны. Крики, визг, смех. В облаке брызг повисает блёклая радуга.



Рис. 17. Красноярск в начале 3-го тысячелетия



Рис. 18. Приенисейская часть Красноярска



Рис. 19. Красноярск. Остров посреди Енисея

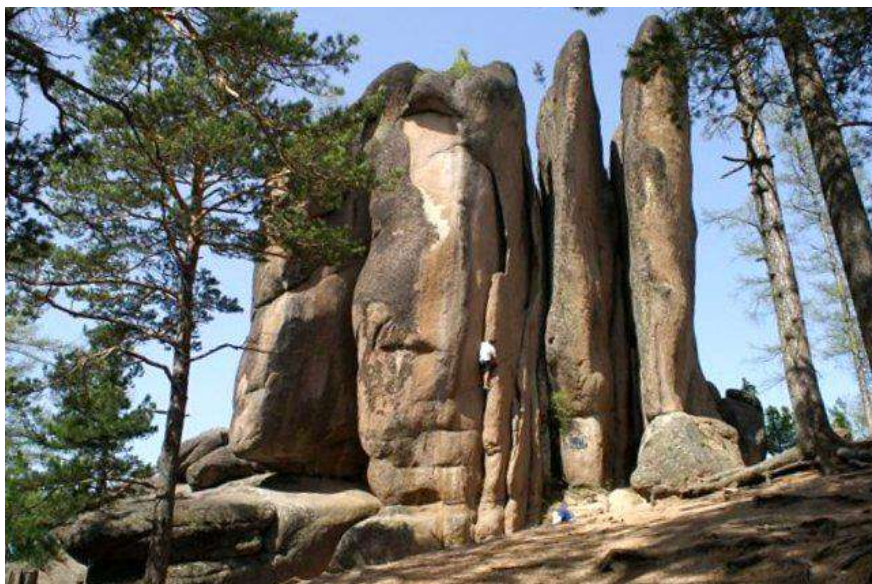


Рис. 20. Красноярские столбы. Перья

К полудню приезжают грузовики и везут нас на север через весь Красноярск, рассечённый надвое Енисеем. Мы едем по высокому левому (европейскому) берегу, улица выводит нас к речному обрыву, и тогда внизу и вдаль виден весь Енисей от горизонта до го-

ризонта, от края южного до края северного, уходящего в бесконечность. Большой остров в середине реки с жёлтыми песчаными пляжами, грибочками, павильонами делит его в черте города на два рукава. За Енисеем уходят вдаль бесчисленными грядами густо-зелёные сопки, правее – знаменитые красноярские Столбы, ножевидные тёмно-красные скалы, взметнувшиеся из земли в небесную синь. Впрочем, с таким же успехом их можно сравнивать с огромными орлиными перьями, воткнутыми в землю.

... как прекрасна наша земля!

Грузовики всё пылят и пылят по дороге по городу, так далеко он вытянулся вдоль реки. Но вот замелькали прогалы, облезлые белёные стены кирпичных домов на окраине, и город обрывается сразу. Дорога вильнула в степь, ни слева, ни справа ни гор, ни деревьев. И Енисей за обрывом пропал, как и сам обрыв вскоре, настолько мы от него отвернули.

Ещё полчаса – и мы в лагере артиллерийской дивизии... И корова языком всё слизнула из памяти: и переодевание, и палатки, в которых мы жили, и с кем был в палатке, и столовую, куда ходили завтракать, обедать и ужинать. Словно и не было ничего. Только офицерская столовая помнится. На отлёте немного. Деревянная, голубая, вся остеклённая. Весёленькая. Туда раза два заходил. Рядовым не положено. Но на это смотрели сквозь пальцы – мы без пяти минут офицеры!

Появляется генерал майор Гусаров с незнакомым генералом, тем, который дивизией этой командует. Хозяин выделяет нашему генералу в постоянное пользование мощный мотоцикл с коляской (генеральских машин маловато, видно, в армии было). Водитель отыскивается среди наших студентов. Славик Суранов, которого знал, но с которым близок до этого не был. Он отлично водит мотоцикл и теперь будет генерала возить постоянно.

Я поздравляю Славу с высоким его назначением, а сам потихоньку вздыхаю: лафа! Вот теперь будет филонить! Езда на мотоцикле не воспринимается как работа.

В начале сборов занятия совершенно рутинные, не запомнившиеся никак.

... лето, солнце, синее небо, трава.

И идут дни за днями.

Неожиданно я получаю денежный перевод. Деньги на дорогу от мамы. Выходит, я отсюда написал ей письмо, но о том, что денег у

меня сейчас вдоволь, упомянуть, видно, забыл. Вообще с этими деньгами какая-то чертовщина. Их у меня не украли, но они растворились бесследно, я даже часы себе не купил, не говоря о фотоаппарате или приличном костюме, а их хватило бы и на четыре великолепных костюма. Куда они подевались? Мрак. Полная неизвестность.

... получить перевод можно только на почте. В городе, разумеется.

Я иду к моему генералу и говорю: «Мой генерал!» Нет, я конечно, не говорю так, но мне бы очень хотелось сказать именно так, однако в Советской армии это не принято.

Я говорю:

– Товарищ генерал-майор, я получил перевод, – и показываю ему извещение, – разрешите отлучиться в город, получить деньги.

Гусаров смотрит на меня добродушно:

– Разрешаю. – Затем, помедлив немного, добавляет. – Но зачем же вам добираться в город на перекладных. Возьмите мой мотоцикл.

Мои чувства, восторг передать невозможно.

Генерал тут же посылает за Сурановым и, когда тот появляется, приказывает ему доставить меня в почтовое отделение. Славик козыряет. Я хочу крикнуть: «Служу Советскому Союзу!» – но во время останавливаюсь: «Стой! Отставить! Не меня за службу благодарят. Я благодарить должен».

– Благодарю вас, – вытягиваюсь я, – товарищ генерал!

Славик заводит мотоцикл, я залезаю в коляску, и... мы уже за воротами лагеря. Жарко, солнце безжалостно, хочется пить, пот заливает. До въезда в город ещё не доехали, а гимнастёрки уже прилипают к спине. По кривым пыльным улочкам, подпрыгивая на ухабах между двухэтажными обшарпанными строениями, добираемся до почтового отделения. Получив перевод, решаем, что сразу возвращаться в лагерь нам ни к чему, и, взревев мощным мотором, перемахнув через мост, врываемся в центральную часть Красноярска. В ней пыли нет, но камни накалены.

Мы мечемся по улицам центра в поисках ларька или столовой, где можно было бы утолить смертельную жажду, но отнюдь не водой. Но пива нигде нет. Заодно нет мясных, рыбных блюд и картошки. Весь город питается макаронами.

Махнув рукой на всякую осторожность, подкатываем к центральному ресторану. Ресторан на втором этаже высокого здания. Я выскакиваю из коляски и иду на разведку. Дело в том, что солдатам заходить в рестораны нельзя. Наскочит патруль – и... не миновать

нам гарнизонной гауптвахты города Красноярска. А с кем будет ездить наш генерал? Скандал и позор, и как в глаза смотреть генералу? Но жажда сильнее стыда и доводов разума. Озираясь, нет ли где офицеров, поднимаюсь по лестнице и вхожу в прохладный сумрачный зал. Ур-ра! Офицеров в нём нет, а пиво как раз есть.

Я сбегая вниз к Славику, он ставит мотоцикл у дверей, и мы – за столиком ресторана. Официантке нет дела до наших солдатских погон. Она к нам подходит, мы заказываем по три бутылки пива. В ожидании его я мельком просматриваю меню. Мясо здесь есть, но нет рыбы и картофеля, на гарнир – осточертевшие макароны.

Тем временем приносят холодное пиво. О, минута блаженства! В раскалённое горло вливается первый глоток божественного горьковатого напитка. Неторопливо тянем его из фужеров, но, расплачившись заранее, – мы начеку: не мелькнёт ли где погон золотой? В любую минуту мы готовы дать дёру. Однако никто не мешает нам поблаженствовать до конца. Пить больше некуда...

С тяжким вздохом покидаем прохладный зал ресторана. И... опять мотоцикл, снова бьёт в лицо воздух, и мы на полном ходу влезаем в наш лагерь.

... Лагерь с полигонами размахнулся на сорок квадратных километров. Наш палаточный городок – ближе к городу; где остальные части дивизии, нам неизвестно, дальше к северу – равнина, лесочки, поляны. Присутствия огромной реки незаметно, но, разведав, я нахожу, что Енисей течёт рядом с лагерем, под обрывом. Купаться и вообще появляться возле обрыва нам строжайше запрещено. Тем не менее, я с товарищами по палатке однажды улизнул с занятий и, натурально, оказался на берегу Енисея, на высоченном обрыве, с которого – даль неоглядная. Енисей раскинулся до горизонта, разрезанный на несколько рукавов большими островами, поросшими кустарниками; на них и деревья были местами. У нашего берега протока была шире Томи, а это не главное русло. Оно было за островом и ширины необъятной, за ним снова остров, протока, остров, протока, остров, протока, протока, протока... а дальше, до самого края света – леса, леса...

Жара страшная стояла в тот год. И мечтой было окунуться в прохладную воду. Полюбовавшись видом могучей реки, мы ссыпались с крутого обрыва на узенькую галечную полосу под ним у протоки.

Течение стремительно. Переплыв протоку, я оказался на острове метрах в полтораста ниже места, где в воду вступил. А плыл

я встреч течению, наискось. Переплыть главное русло и думать нечего было – не доплывёшь, а, если и выплывешь, то сколько же километров придётся топтать назад?!

Вода в реке – холодна, но не ледяная, в эту жару просто чудная, освежала, будто вновь на свет народился. Плавал бы в ней до бесчувствия, это ведь неизбывное наслаждение. Его птицы, наверное, ощущают в полёте, и люди – за рулём на свободной хорошей дороге. Я такое вот во сне испытал прошедшей зимой, вскоре после своего звериного воя в снегу, когда вёл во сне легкову машину.

... ну, что ж. В Енисее я искупался. Пора в лагерь.

... Начались походы на полигон. Но прежде были занятия на другом полигоне. Винтовочном.

Мы сидим в блиндаже со стереотрубой на командном пункте (КП) и через щель рассматриваем макет местности длиной в несколько сотен метров, так, во всяком случае, кажется, в ширину – пожалуй, не меньше. На макете – холмы, леса, поляны, кустарники, одиночные деревья, телеграфные столбы, здание фабрики с высокой кирпичной трубой, дома сельского типа, огневые точки противника и даже русло реки, без воды, разумеется, – выложено стеклом. Мы по очереди рассматриваем местность в трубу, окуляры её раздвинуты широко, всё видится крупно, рельефно. Будто настоящая местность раскинулась перед нами на многие километры.

Где-то вне блиндажа, позади, расположены "орудийные расчёты" с винтовками, связанными с орудийным прицелом по всем правилам моделирования.

Задаётся цель: «Левый обрез фабричной трубы, левее шестнадцать ноль, дальше двести – миномёт». Расстояние до цели прикидываешь на глазок. После небольшой практики это нетрудно. В уме мгновенно рассчитываешь исходные данные для стрельбы и, глядя в стереотрубу, по телефону командуешь: «Стрелять первому орудью, по миномёту, гранатой, заряд такой-то, взрыватель осколочный, прицел такой-то, угломер такой-то. Выстрел!»

Огненная чёрточка трассирующей пули впивается в землю правее миномёта и дальше него. По делениям стереотрубы засекаешь боковое отклонение "взрыва" от цели, перемножая в уме, корректируешь отклонение и, уменьшая дальность на восемь делений (чтобы захватить цель в широкую вилку), доворачиваешь "орудие" влево. «Вы-

стрел!» Пуля сверкнула ближе и чуть левей миномёта. Цель в широкую вилку захвачена. Снова корректируешь данные, увеличивая прицел на четыре деления, то есть половиня широкую вилку, и доворачивая орудие вправо. «Выстрел!» Теперь пуля на линии наблюдения, но по-прежнему недолёт, хотя и меньше гораздо. Цель захвачена в узкую вилку (при самом первом выстреле был перелёт). И опять корректируешь данные и, вновь половиня уже узкую вилку, переходишь на поражение: «Стрелять первому взводу! По миномёту! Гранатой! Заряд такой-то! Взрыватель осколочный! Прицел такой-то! Угломер такой-то! Четыре снаряда – десять секунд выстрел! Огонь!»

Трассирующие пули ложатся вокруг миномёта. Цель уничтожена: «Стой! Записать: цель номер один, миномёт».

... новая цель – и всё повторяется.

«Стрелять первому орудью!..»

Эта стрельба очень занятная, больше того, увлекательная штука. Входишь в азарт. Жаль только, что каждую последующую команду подаёт новый студент. Пока опять до тебя дойдёт очередь! Нас семь человек, гаубичный расчёт.

После такой предварительной подготовки мы переходим к стрельбам из гаубицы на настоящем артополигоне. С закрытых позиций. То есть орудия на огневой позиции (ОП) где-то в двух-трёх километрах позади нас и сбоку за лесом (расстояние нам известно по карте до метра). Наблюдательный пункт (НП) – у самой передовой. От нашего лагеря по грунтовой дороге километра четыре. В общем, ходьбы для молодого здорового человека пустяк, если бы не ящик со "стерьвотрубой". Его приходилось носить туда и обратно. И было в нём килограмм двадцать веса. И хотя у ящика лямки, и он хорошо пристраивался за спиной, добровольных охотников таскать его по жаре не нашлось. Обсудив этот сложный вопрос, пришли к джентльменскому соглашению носить трубу парами по очереди. Сегодня один несёт трубу на НП, другой – в лагерь, завтра – новая пара. Назначать носильщика будет наш отделённый, Федчук, сержант, старослужащий.

Первые дни всё обходилось нормально, по уговору. Федчук в одну сторону назначал одного, в другую – другого. На четвёртый день с утра выбор Федчука пал на меня. Федчук, малый красивый и нагловатый, щеголявший своей всегда, словно с иголки, воинской формой (предпочитая студенческой!), сидевшей ладно на нём, появился у нас на втором курсе и стал старостой пятой группы горного факультета. Это на него в Юрге, в лагере, пало подозрение в краже часов.

Тип этот был мне до крайности неприятен, но у женщин он пользовался успехом, очень нравился им. У него был свой мотоцикл, и он девиц непрерывно катал от института в сторону леса. В эту весну он катал преимущественно студентку младшего курса Молодкину и докатал...

Итак, Федчук назначил меня. Ребята помогли взгромоздить на мои хилые плечи деревянный зелёный ящик с трубой, и я потопал со всеми. После окончания стрельб в этот день, отделение строилось, как обычно, в "колонну" по два, и Федчук вновь приказал мне тащить ящик с трубой. Я, естественно, возмутился. И не потому, что так уж его тяжело нести, тут в принципе дело, в справедливости – почему ко мне особое отношение, чем я хуже других?! «Договор был по очереди», – возразил я ему. Тут Федчук разъярился: «Я приказываю!» Но и мной овладело холодное бешенство: «Чихал я на приказы твои! Договаривались по очереди носить, так и будем носить. Дойдёт снова очередь до меня – понесу!» «А я приказываю, неси!» – не унимался Федчук. «Не понесу...» Пришлось ему таки назначить другого.

Когда мы пришли в лагерь – теперь вспоминаю, что наши палатки стояли за щитами с плакатами у этой самой дороги на полигон, – и весь курс наш выстроили на поверку, какой-то майор из местного лагерного начальства объявил перед строем, что рядовому Платонову за отказ выполнить приказ командира назначается пять суток ареста с отбыванием их на гауптвахте после окончания лагерных сборов.

Ну и сволочь же этот Федчук! Настучал!

... невесёлая перспектива. Но пять суток, не пять лет – переживём как-нибудь.

... А теперь – снова к стрельбам.

Наш НП – на скате высокого плоскогорья, в самом верху его, но чуть ниже кромки, в ложбинке на склоне. Склон крутой, но не обрывист, высота – метров четыреста. Местность просматривается отлично. От подножия нашей возвышенности она пологими волнами поднимается к горизонту, скрываясь за выпуклостью зелёной земли. С запада она ограничена тёмной чертой далёких лесов, с востока – тоже на горизонте – поймой, отвернувшего здесь сильно в сторону Енисея, и лесами за ней.

У нас нет блиндажа. Стереотруба стоит на треноге на дне ложбинки. В неё смотрит полковник Вайссон – тоже из отцов-командиров, преподающий нам в институте баллистику. Наблюдает за нашей стрельбой. Мы лежим под солнышком на зелёной тёплой

траве, высунув головы из ложбинки, пристально всматриваясь в местность через полевые бинокли.

Полковник задаёт основное направление – ориентир: левый угол, например, дома, стоящего на пригорке, или правый обрез столба линии электропередачи, цель: скопление пехоты противника, и угол меж ориентиром и целью. Прикидывая на глазок расстояние до цели, готовим исходные данные для стрельбы, зная, что батарея находится позади справа.

И снова всё, как на винтполигоне: «Основное направление! Левее девятнадцать ноль-ноль (в делениях угломера)! Прицел семьдесят восемь (дальность)! Гранатой! Взрыватель осколочный. Заряд четвёртый!..» (Это значит, в гильзе надо оставить четыре мешочка пороха из шести – у гаубиц не унитарный патрон, чем больше заряд, тем больше и дальность, но больше и износ ствола, потому на близкие расстояния стреляют с наименьшим из возможных зарядов) – и так далее. Наконец, долгожданное: «Выстрел!» Все прильнули к биноклям, в которых – на пересечении осей – цель.

Расталкивая воздух на большой высоте, шелестит, шелестит справа снаряд.

Разрыв (вспышка и конус вверх выброшенной земли) левее и дальше цели. И снова захватываем цель в широкую вилку, половиним её, переходим на поражение. «Стой! Записать цель номер один, скопление пехоты противника!» Так идёт и идёт. Команды подаём, как обычно, по очереди. У меня всё безукоризненно, без запинки. И вот вызов снова: «Платонов!» Я кричу, торопясь, в телефонную трубку: «Прицел шестьдесят восемь! Левее ноль двенадцать!» и в трубке слышу голос полковника (его телефон на одной линии с нашими): «Стой! Отставить!» Я ищу лихорадочно, где ошибка? Пересчитываю мгновенно: «Прицел шестьдесят восемь, левее ноль ноль шесть! Выстрел!» Снаряд с шелестом проходит над нами... Торопливость всегда сбивает меня.

... да, тут сосредоточенным быть надо предельно, иначе, невзначай, можешь ударить и по своим. Эта единственная погрешность не повлияла на отличную оценку моих стрельб. Полковник ко мне снисходителен.

Как-то, придя на НП, застаём там снаряжённую "Катюшу". Впрочем, это не "Катюша" военных лет, это усовершенствованная

реактивная установка. Направляющие у неё – не рельсы, а специальный профиль, вроде двутавра, поверх направляющих лежат двенадцать реактивных снарядов, снизу – тоже двенадцать, но не лежат, а подвешены. Заглядываю в кабину. Там диск на панели, на телефонный похожий, с двадцатью четырьмя кнопками-контактами, концами проводов от ракет. Поворот диска между двумя контактами – и одна ракета срывается с места. Полный оборот – уходят, оставляя огненные хвосты, все двадцать четыре.

... но мы "стреляем" одиночными ракетами. Те же команды (кроме заряда), та же пристрелка, только расчётов не надо. "Катюша" в нескольких шагах от линии наблюдения. Посему все довороты – сразу по рискам бинокля, их не надо по формуле пересчитывать.

Большое впечатление оставляет стрельба на рикошетах. Это стрельба по особо пологим траекториям (гаубицы обычно бьют по крутым). Снаряд, прочертив в земле длинную борозду, взлетает в воздух и там разрывается. Это губительнейший огонь для пехоты противника. И почти незаменимый в болотистой местности и на воде. Там, при обычной стрельбе, снаряд успевает уйти вглубь даже при осколочных взрывателях, то есть взрывателях мгновенного действия. Взрывается снаряд в глубине, практически не давая осколков, или давая их, пробившихся через воду, обессиленными, на излёте. Срикошетив же, снаряд рвётся на высоте, над поверхностью, осыпая убийственными осколками немалые площади.

После долгих учений по корректировке стрельбы нас ведут на огневую позицию. Она тоже закрытая, то есть на значительном удалении от передовой. Только здесь сейчас не гаубица стоит (гаубицы и гаубичные снаряды жалеют), а пушка. Семидесяти шестимиллиметровая. И несколько ящиков со снарядами. Эти пушки отлично прошли всю Отечественную войну, но сейчас с вооружения сняты, заменены более мощными орудиями – восьмидесяти пятимиллиметровыми. Но новые пушки и снаряды для них берегли, на учениях не расходовали. В основном стреляли из снятых с вооружения пушек, благо снарядов к ним ещё в годы войны "наклепали" неимоверно. А прицелы, процессы заряжания и наводки у обеих пушек неотличимы.

... длинный предлинный ствол пушки невольно внушает к себе уважение. При прямом попадании снаряд её пробивал броню немецкого Т-4.

Занимаем места расчёта. У пушки численность его меньше. Четыре человека (патрон унитарный, не надо мешочки с порохом из

гильзы вытаскивать, да и легче патрон), поэтому кто-то болтается в стороне, ждёт своей очереди. Поочерёдно берём снаряды из ящика ("патрон" надобно говорить), ввинчиваем взрыватели, подаём патроны заряжающему, вталкиваем патроны в казённую часть пушки, закрываем затвор.

Тот, кто в это время наводчик, крутит штурвальчики механизмов подъёма и поворота орудия, совмещая риски на барабанчиках в соответствии с командами, которые подаёт ему исполняющий роль командира орудия. А он их принимает по телефону с НП. Всё готово. Звучит приказ: «Выстрел!» Рывок за шнур – и безумный грохот рвёт барабанные перепонки. Орудие, подпрыгнув, плюхается на землю. Ствол, рванувший назад метра на полтора, штоками противооткатных цилиндров возвращается в исходное положение, а снаряд уже далеко, чёрт знает, как далеко, летит в сторону воображаемого противника.

Первое в жизни прикосновение к снаряду, признаться, вызвало у меня странное ощущение какого-то холодка во всём теле. Нет, сам снаряд по себе несколько не страшен, его хоть молотком молоти – не взорвётся. Но вот сосед подаёт мне взрыватель – они в отдельном ящичке в стороне, – и я начинаю его ввинчивать в головку снаряда. Тут и появляется в руках и ногах напряжение: стоит такой снаряд уронить, или стукнуть нечаянно по его оконечности... От волнения, как-то выскальзывает из памяти, что от первого толчка взрыва не будет, первый толчок головка снаряда испытывает при выстреле, взрывается – от второго толчка, ударившись о преграду. Но, забыв эту истину, несущий снаряд к орудию на руках, как ребёночка, как принцессу, боясь резких движений.

Выстрел меня оглушил. В ушах звон, боль, в голове – помутнение разума. Ощущение, что всё в ней смешалось. Не дождаввшись, пока дойдёт очередь стать наводчиком и заряжающим, навести пушку в цель и дёрнуть шнур, то есть выстрелить, ухожу подальше в кусты на опушке леса, благо желающих пострелять хоть отбавляй, заваливаюсь на траву, и лежу там, зажав уши ладонями, до окончания стрельбы.

... звон в ушах на другой день исчезает.

Не гожусь я для стрельбы из орудия. А ведь так просто было этого избежать. Наблюдая в телевизоре за американцами в их действиях во время "Бури в пустыне" в Ираке, обратил внимание, что у них на ушах были заглушки-наушники. Почему же наши спецы до этого не додумались? Или у наших у всех железные барабанные перепонки, и

только я слаб на голову? Впрочем, то, что я слаб, безусловно. Но и то безусловно, что в Великой Руси всегда на человека плевали.

... Возвращались с позиции, растянувшись цепочкой, через поляны, лесочки, не соблюдая дистанции. Тут я и два моих ближайших соседа, замыкавшие эту цепочку, узрели, что полянка усеяна красными ягодами земляники, и сразу увлеклись земляникой. Шагнёшь, нагнёшься, сорвёшь сладкую ягоду и кладёшь её в рот. Но сколько ягод сорвёшь на ходу?.. Правильно, совершенно с вами согласен! И вот мы уже приседаем у кустиков земляники, а потом и ложимся и, передвигаясь полуползком, на коленях, горстями обрываем поспевшие ягоды в этих нетронутых, запретных местах.

Всё. Наконец, насытившись, хотя, по совести говоря, за такое время полностью насытится невозможно, обнаруживаем, что мы от нашей цепочки отстали, и отстали порядочно, даже голосов впереди не слышать. Интуитивно чувствуя направление к известной дороге, мы перебежали поляну, лесок, за ним выскочили на следующую поляну и, добежав до середины её, услышали слева раскаты отборного мата.

Обернув голову, я... оторопел, хотя слово это никак не подходит, так как бега я ни на мгновение не прервал. Слева, на опушке лесочка, у края поляны, в каких-нибудь ста метрах от нас изготовилась к стрельбе прямой наводкой по цели противотанковая пушка, и ствол её направлен прямо на нас. А за нами справа и цель – тростянит фанерный макет танка. Около пушки суетятся солдаты ли, офицеры, а один офицер что-то нам благим матом орёт. Ну, само собой, нам к его словам прислушиваться ни к чему. И без слов всё понятно. Припоздай мы на пару секунд, ...то-то весело было б!

... Понимая, чем происшествие это может для нас обернуться, мы рванули, пригнувшись и отворачивая в сторону лица свои, дальше через поляну в лесок, а за ним оказалась уже и дорога, в лагерь ведущая. Да и сам лагерь вот, за щитами за поворотом дороги. С разгону в свою палатку вскочив, не успев отдышаться, слышу крик командира, приказывавший всем выйти построиться.

... началась внеочередная проверка.

Офицеры, выскочившие с прямой наводки, пытались выяснить, кого же в лагере нет, кто же это сейчас чуть не попал под выстрел противотанковой пушки?

Мы стояли в строю ни живы, ни мертвы. Офицер начал переключку. Но когда перечисленье фамилий докатывалось до нас, мы, не дрогнув, бодро выкрикивали: «Я!.. Я!.. Я!»

Проверка не дала результатов. Все в сборе. Мы опередили офицеров, бежавших кратчайшим путём. Какова же была наша скорость?! Интересно узнать. Офицерам тоже хотелось узнать, кто бежал с такой скоростью. Ничего не добившись проверкой, командиры стали взывать к нашей совести: «Мы знаем, – говорили они, – что трое из вас сейчас выскочили на прямую наводку. Вы понимаете, чем это грозило?!»

Мы понимали, но это уже не беспокоило нас.

Усовестив выстроившуюся шеренгу, старший из офицеров приказал этим троим выйти из строя.

Но строй наш не шелохнулся.

Мы понимали, всё хорошо понимали, но совесть наша глухо молчала.

Тогда они стали обзывать нас слизняками – не офицерами, называли нас трусами.

Мы знали, что мы трусы, но всё равно выходить не хотели. «Ну пусть я трус, – думал я, – но оттого, что я выйду, храбрее не стану, пять суток я уже заработал». Пятнадцать суток губы в дополнение к этим пяти мне совсем не казались хорошей наградой за храбрость.

Подержав нас какое-то время в строю и вконец разуверившись в нашей порядочности, командиры нас распустили:

– Вольно! – и – Разойдись!

Сборы закончились. О пяти сутках ареста никто и не вспомнил. Эх, если бы те офицеры пообещали, что наказание ограничится только нотацией, я бы с готовностью сделал вперёд четыре шага. Резюме: «Если хочешь правду узнать – будь к виновнику происшествия милосерден».

На станции нам подают поезд с пассажирскими вагонами. Вот это да! Смотри-ка, мы уже офицеры!

Поездка с комфортом из памяти уплыла, её вроде не было.

В Кемерово мы уже каждый сам по себе. Захожу в общежитие. Смотрю в ячеечку почты. Мне перевод на тысячу рублей с шахты "Пионер". Понять ничего не могу. Что это значит? На почте читаю на корешке перевода: «Премия за июнь». Вот радость нечаянная. Да, ничего не попишешь: «Деньги идут к деньгам».

... Между Кемерово и Костромской – Москва. Слева от Большого театра – "Стереokino". Любопытно. Покупаю билет и попадаю в тёмный маленький зал. Экран – из вертикальных полосок. С началом сеанса на нём появляется цветное изображение. Чтобы оно

объём обрело, надо найти нужное положение в кресле. Я его нахожу. Ветви цветущего сада высовываются прямо в зал. Ощущение, что их можно потрогать. С ветвей вспархивает и летит в разные стороны в зал стайка маленьких воробьёв, из них несколько летят прямо ко мне и растворяются, тают во тьме. С ними тает Москва.

... Я – в Костромской. У мамы – коза, она неделю поит меня козьим молоком, и оно начинает мне нравиться. К маме в гости приходит подруга детства – генеральша Кутузова с великовозрастной, нет, не так, с не по летам развитыми формами дочерью-школьницей; она с сентября в десятом классе будет учиться. Дочь приятна на вид, миловидна, но ничего особенного в ней я не нахожу, кроме телосложения – чересчур полновата. Живут они с мужем, отцом в Москве, в Костромскую заехали проездом, погостить на родине матери.

Узнав, что я еду в Крым через Сочи, мамаша девицы предлагает мне выехать с ними: у них путёвки в сочинский санаторий. Чувствую, что мамаше я нравлюсь, миловидный, воспитанный, вежливый, аккуратный – мой костюм не изношен, отутюжен и слепит золотом по чёрному бархату. Похоже она с моей матерью уже сосватала нас.

Несколько дней я провожу с девушкой в станице и день в поезде. Меня она несколько не увлекает, я ей тоже неинтересен: недостаточно развлекаю её, так она выразилась. А я вообще девушек развлекать не умею. Я умею только любить.

Планам мамаш сбываться не суждено. "Суженая" исчезает в глубинах памяти, чтобы всплыть только сейчас. Впрочем, исчезает и всё: и Сочи, и Ялта с Алуштой, и бабушка, и тётя Наташа. И не всплывает.

Я уже в Кемерово.

Первая новость не из приятных. Нашу группу расформировали, нас раскидали по оставшимся четырём. Почему нашу? Логичней было пятую, последнюю ликвидировать. Тогда и номера бы не надо было менять. Ну, это так, к слову пришлось. Смена номера не проблема. Почему же выбор Кокорина на нас всё же пал? Что, мы хуже всех? Но Кокорина мы не догадались спросить, хотя и возмутились случившимся. Да и что бездушного Кокорина спрашивать. Он не любит противоречащих, критикующих. И мы решили, именно потому нас разогнали, что, на наш взгляд, мы были группой самой самокритичной, самой открытой на факультете. Вот и новая зарубка на память: не выноси сор из избы. Но всё же обидно. И вновь мы вспомнили Горбачёва Т. Ф.

Поскольку с укороченных каникул никто не спешил возвращаться досрочно, то успели к шапочному разбору, расселились не по воле своей и попали в большую комнату на пятерых, окном во двор выходящую. И жили в тот год со мною Кузнецов, Рассказов, Изя Львович и Петя Скрылёв.

Начались занятия. Идут они у меня как-то сумбурно, через пень колоду идут. Многих лекций не посещаю. От них – страшная скука. Планирование, нормирование, разработка рудных месторождений. Полагаю, это мне ни к чему. А зря.

На выставке в библиотеке вижу свой курсовой проект по деталям машин. Удостоился. За лучшее содержание и оформление. Мелочь, а приятная, как сказал бы Райкин Аркадий. Тщательно готовлю теперь отчёт о производственной практике, сдаю его папе Курле. Через неделю и он тоже на выставке. За те же самые достижения.

... В институте скандал. Молодкина забеременела. Накатал её в бор Федчук. А жениться отказывается. А Молодкина, не будь дура – в комитет заявление! И свидетели не нужны. На глазах всего института ежедневно в бор каталась на заднем сиденье, обняв за плечи возлюбленного, Федчука

На комсомольском собрании – персональное дело. Постановление таково:

1. Федчука из комсомола исключить.
2. Просить дирекцию исключить Федчука из института.

... Понимаете теперь, чего всегда я боялся?

Через несколько дней Федчук за аморальное поведение отчислен из института.

Я не злорадствую, но ему – поделом.

Как голосовал я тогда? Не помню. Вероятно, за исключение. Сейчас бы – против, или воздержался бы. Это их личное дело, сами пусть разбираются. Насильно мил не будешь. Если родится ребёнок – все претензии через суд. Издевательство, варварство, заставлять людей насильно жить вместе. А природа человеческая требует своего...

... И ещё один скандал. Бессменный председатель одного из факультетских профсоюзных комитетов уличён не то, что в мошенничестве, нет, этого, в общем-то, не было, но в некоторой безобидной, как бы это сказать, недобросовестности, что ли. Он задерживал сдачу собранных членских взносов до очередного тиража 3%-ного займа, покупая на них облигации в надежде на выигрыш. После тиража он продавал облигации и вносил деньги на счёт вышестоящей

профсоюзной организации, теряя в разнице между курсом покупки и курсом продажи – выигрышей, чтобы покрыть её, не случилось. В конце концов, он полностью прогорел, не смог всю сумму внести, и дело раскрылось. Надо добавить, что афера ущерба его репутации в глазах лидеров профсоюзов, не принесла.

На занятиях серо. Ни одной яркой личности. Невыносимо тоскливо на лекциях нового в институте доцента, Бурцева. Низенького щеголеватого, с бородкой а ля Генрих Четвёртый. Вероятно, начало его лекций я пропустил и теперь вот смотрю на его чертежи на доске, как баран. Понимаю фрагменты, но не охватываю целиком. Но нисколечко не печалюсь, не собираюсь рудные месторождения разрабатывать – из нас готовят пластовиков. Может поэтому его лекции, что я изредка посещаю, так нудны, что жду звонка, не дождусь.

... Хотя денежки у нас должны вроде быть – на практике зарабатывали, а я и немалые, но их нет почему-то, и мы, как никогда, занимаемся подработками.

Кузнецов Юра и Юра Рассказов свели знакомство с экспедитором отдела рабочего снабжения (ОРС) треста "Кемеровоуголь". Склады ОРСа находились на товарной станции возле самой шахты "Центральная". Экспедитор наш адрес в свой блокнот записал и во время срочных авралов, это обычно по воскресеньям случалось, подъезжал к нашему общежитию на своём "Москвиче", входил в нашу комнату со словами: «Ребята, срочно разгрузить надо...».

Мы мигом подхватываемся. Кто-то втискивается в "Москвич", кто-то пёхом на станцию топают.

В первый раз он подвёл нас в конце буднего дня к складу, на железнодорожных путях перед ним – опломбированный товарный вагон. По накладной – в нём двадцать тонн цемента навалом. Экспедитор поручает нам перебросить (перекидать лопатами, стало быть) этот цемент в склад и уходит.

Мы осматриваем склад. Обширное (в обе стороны от широких – грузовик может въехать – дверей), высокое помещение до половины засыпанное цементом. Но не сплошь, а хребтом с крутыми склонами на боковые стороны склада. Вот сюда мы и должны перекидать цемент из вагона. Это четыре перекидки выходит, по платформе – три и четвёртая – в складе. Рабский труд, доложу. Не могли поставить коротенький транспортёр?! Так, пожалуй, до ночи не управиться. Но заплатить обещал хорошо, по восемьдесят рублей на брата.

Мы подходим к вагону, срываем пломбу, раздвигаем широкую дверь и... не верим глазам. В вагоне лежит цемент, упакованный аккуратненько в бумажные мешки по пятьдесят килограмм. Да есть ли на свете большая радость, чем наша в тот миг! Да мы все эти мешки за два часа бегом перебросим!

... лихо вскидываем мешки себе на спину и бегом мчимся к складу. Но осторожность подсказывает, бросать мешки нам здесь сразу нельзя. Мигом увидит, что в накладной ошибочка вышла. Мы огибаем цементный хребет, где он невысок, и сбрасываем мешки по ту его сторону. Прячем, прямо сказать.

... Работаем просто играючи!

Через два часа всё закончено. Мы, уставшие, но чрезвычайно довольные, растягиваемся под осенним солнышком на дощатой платформе. Отдыхаем.

Ещё через час наведывается экспедитор, посмотреть, как идут у нас дела по разгрузке.

– Как, вы уже кончили! – неподдельно изумляется он.

– Работаем по-стахановски, – отвечаем мы бодро.

Экспедитор недоверчиво заглядывает в вагон – он пуст первоначально, мы даже пол веничком подмели. Затем суёт голову в склад: там всё по-прежнему, разве можно заметить насколько толщина хребта увеличилась. А что касается высоты, и дураку ясно, что мы туда не взбирались.

– Молодцы, быстро управились, – говорит он и налагает резолюцию на накладную. – Идите в кассу и получите деньги, пока не закрылась.

Зато в следующий раз – каторга настоящая. Приступаем к работе в десять утра. Погода – не придумаешь хуже: весь день сеется мелкий холодный дождь. Нам предстоит выгрузить брёвна из открытого вагона. Торцевые стенки вагона сплошные, не раскрывающиеся. Загружали его, видно, краном, опуская сверху пакеты связанных брёвен. У нас крана нет, и разгружать вагон надо вручную. Сверху брёвна умеренной толщины (до тридцати сантиметров в диаметре), длинные – восемь метров, по длине вагона как раз. Нас семь человек. До сумерек, полагаем, управимся.

Пока бревна сбрасываем с верхнего ряда – всё идёт легко, хо-рошо, просто играючи. Подкатываем совместно бревно к краю вагона и, оттолкнув его, что бы оно не рухнуло на железнодорожное полотно под колёса, сбрасываем под насыпь. Но вот выгружены

верхние брёвна. Теперь, чтобы перебросить бревно через борт, надо его приподнять. Чем ниже мы опускаемся по мере разгрузки вагона, тем выше нам приходится очередное бревно поднимать. А брёвна книзу становятся толще и толще, в диаметре до полуметра доходят. Какой-то мерзавец будто нарочно так загрузил, чтобы люди при разгрузке уродовались. К вечеру мы измотаны до предела, каждое бревно даётся всё с большим и большим трудом. Его уже надо поднять на вытянутых руках, чтобы перевалить через борт. Сил нет, руки, ноги трясутся от слабости, а мы подкатываем очередное бревно к стенке вагона и "катим" его по ней снизу вверх: поднять его мы не можем. Кажется, всё – не дотянем. Выскользнет, рухнет, отдавит нам ноги. Нечеловеческим усилием выталкиваем его.

Ночь, по-прежнему сеется реденький дождь, мы промокли насквозь, от нас пар идёт, и, уже издыхая, мы всё возмись с грузными осклизлыми брёвнами. Во втором часу ночи заканчиваем, наконец, выбрасываем последние брёвна. Тут же получаем расчёт. По двенадцать рублей каждому причитается. Усталые и голодные – целый день без отдыха и еды – идём в шахтёрскую столовую, благо она работает круглосуточно. Заказываем по стакану водки и, только выпив её, принимаемся есть. Как раз на двенадцать рублей. Так стоила ли выделка эта овчинка?

... снова разгрузка. Уже снег землю припорошил. Лёгкий морозец. Экспедитор у нас: прибыл вагон с сахаром, срочно разгрузить его надо. Увязываюсь со всеми.

Вагон стоит не на первом пути, – на втором. Сахар – в стокилограммовых дерюжных мешках с обвязанным шпагатом углами. Выходит, мешки придётся тащить на плечах до платформы. До неё метров десять. Двое лезут в вагон (эх, как же я не догадался туда первым вскочить!), подтаскивают мешки к дверному проёму наваливать их на плечи, четверо, и я в том числе, приготовились таскать мешки до платформы, двое – в склад от края платформы.

Я подхожу. Спина моя на уровне вагонного пола. Ребята наваливают мешок на неё. Я делаю шаг, меня легонько качнуло. Сто килограмм, это не пятьдесят. Я стараюсь идти строго по линии, но меня водит, как пьяного, в стороны, и путь мой зигзагообразен. Донеся мешок до платформы, я честно признаюсь ребятам, что эта работа мне не по силам. Это встречается с пониманием, и тут же у кого-то рождается мысль засыпать сахаром карманы моей шинели.

Двое, те, что в вагоне, с трудом развязывают бечёвку, туго перетягивающую угол мешка, и насыпают мне белый песок до отказа и в наружные карманы шинели, и во внутренние. Та же участь постигает и карманы мундира.

Располневший, я захожу в склад, куда ребята мешки с сахаром волочили. А они, всё оглядев, вытаскивают гвоздь из планки ящика с печеньем и, сдвинув планочку вниз, двумя пальцами через щель вытаскивают печенье и набивают им карманы моих брюк. Планка возвращается на своё место, гвоздь забивается. Всё шито-крыто.

Но это не всё. В складе обнаружены ящики с яблоками, а кто из нас пробовал яблоки в Кемерово в ноябре? Да и в какое другое время года? Таких среди нас не находится. А соблазн так велик. По этой причине, а не по какой-то другой, над ящиком с яблоками повторяется предыдущая операция, только тут не одна отводится планка, а две. Иначе яблоко в узкую щель не пролезет. Итак, часть яблок из ящика перекочевала наружу. Планки прибиты. Статус-кво восстановлен, но куда яблоки загрузить?.. Я сам подаю голос: «За пазуху». Яблоки сыпаются за расстёгнутый ворот и упорядочиваемые несколькими ладонями равномерно располагаются слоем между нательной рубахой и наружной сорочкой. Общими усилиями на мне стягивается шинель и застёгивается на все пуговицы до ворота.

Переваливаясь, как начинённая бомба или Остап Бендер при попытке нелегального перехода через пограничную реку Днестр, я неторопливо бреду к общежитию.

В комнате я застилаю стол белой скатертью и начинаю обратный процесс. Конус сахарного песка получается основательный. До полуметра высота его не дотягивает, конечно, тем не менее, он впечатляет. Мне не чужда эстетика, и я по ободу украшаю его в два ряда большими жёлто-красными яблоками и, повыше, квадратами печенья.

... к вечеру в комнату вваливаются ребята. При виде моего натюрморта они приходят в восторг. «А знаешь, – говорит Юра Расказов, – на сахаре мы чуть не попались. Не сообразили завязать угол мешка прежним узлом, а кладовщик это заметил. Поднял жуткий скандал. Еле замяли».

Не знаю, сколько рублей заработали ребята в тот день, но пировали мы вместе и закусывали яблоками с печеньем. А, знаете, это вкусно – печенье и яблоки вместе. Я полюбил на всю жизнь. Перефразирую известное изречение: не было бы радости, да приключение помогло. Именно приключением это всё и воспринималось, не кражей.

Мы не предавались обоснованиям, не рассуждали о том, что наше государство обкрадывает народ, что кладовщики все ворюги, и не убудет с них, если мы чуточку у них позаимствуем. Может на уровне неосознанной интуиции это и было, а, может, себе в том не отдавая отчёта, мы руководствовались философией горьковского Пепе: «Если от многого взять немножко, это не кража, а просто делёжка». Впоследствии самый заслуженный в мире (да что в мире, в истории!) Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, увенчанный лаврами множества государств и не одной сотней орденов, возведёт философию эту в государственный ранг. Так или иначе, оставаясь людьми, безусловно, честными в отношении личностей, не допускавшие и мысли о том, что можно украсть у отдельного человека, мы преспокойно запускали руку в карман государства (хотя большей частью он для нас всегда был закрыт наглухо), как в свой собственный. Что это? Издержки социализма? Не знаю. Похоже... Или так спокон веку заведено?

... С большим опозданием для себя узнаю, Рассказов и Кузнецов преферансисты, и высокого класса. Это их качество стало ещё одним источником пополнения наших доходов. Именно наших, так как перепадало и остальным: нас после выигрыша водили в столовую. Никогда мы ещё так не бедствовали, как на пятом курсе, последнем. Не пойму, почему? Цены год от года снижались мало-помалу, стипендия повышалась при переходе с курса на курс. Видно почувствовали в самом деле себя без пяти минут инженерами и потекли у нас деньги нерасчётливо, безалаберно, бездумно. А ведь в этом году мы и ресторан не посетили ни разу.

Но к делу, на четвёртом курсе, появился у нас в институте новый студент, Царёв, – малый высокий, видный, напоминавший и внешностью, и манерой держаться, и даже своим зимним пальто и царственной шапкой актёра Яковлева в роли Ипполита в "Иронии судьбы". Царёв был сыном заместителя председателя облисполкома, нужды не терпел, денежки у него водились всегда. Жил он у родителей, но частенько ночевал в общежитии. Как он объяснял это родителям неизвестно, но ночи он проводил за игрой в преферанс.

И вот на пятом курсе, когда с деньгами в комнате становилось туго, большие Юры, переглянувшись, говорили: «Зовём Царёва!» У того был азарт преточаянный.

... с вечера начиналась игра.

Мы все, кроме Юр, разумеется, укладывались спать, свет горел, а от стола доносились шёпотом сказанные ничего мне не говорящие слова: «пас», «мизер», «прикупаю»...

Играть заканчивали часа в четыре утра. Идти домой Царёву было то ли слишком поздно, то ли, наоборот, рано, и он, расстелив своё роскошное пальто с чёрным барашком, и укрывшись студенческими шинелями, засыпал на столе.

Утром, когда уходили на лекции, мы Царёва не трогали: пусть досыпает.

На вопрос: «Как прошла ночь?» Юра Кузнецов отвечал: «Обсопали Царёва на сто рублей». Это значило, что в ближайшие дни голодать не придётся. С появлением нового источника доходов, я денег на пятом курсе не занимал.

... Просматривая журнал "Уголь" в библиотеке, я наткнулся на статью о подземной гидродобыче угля. Оказывается, совсем рядом, в Кузбассе, работают две опытные шахты, "Тырганские уклоны" в Прокопьевске и "Полысаевская-Северная" в Ленинске-Кузнецком, там добыча угля ведётся с помощью струй высоконапорной воды. Новый способ добычи меня заинтересовал. Никаких тебе лав, ни шагов посадки, ни транспортёров, ни перекидок. Отбитый уголь вода и уносит по выработке, пройденной с необходимым уклоном.

Я пошёл в деканат к Арнольду Петровичу и закинул удочку, как бы попасть на преддипломную практику на гидрошахту "Полысаевская-Северная". Она приглянулась мне больше, я вообще к крутому падению не тяготел. Возражения не было. Таким образом, место преддипломной практики было заранее определено. Вслед за мною на гидродобычу потянуло и Петю Скрылёва, а потом сколотилась целая группа из шести горняков, среди которых были, Славик Суранов, Лёша Коденцов, Зина Самородова. Славик и Зина попали на "Тырганские уклоны", остальные – на "Полысаевскую-Северную", как я. На "Полысаевскую-Северную" направили и ребят-электромехаников, Пастухова Владимира и, знакомого уже вам, Саню Исаева.

... В это время примерно, маршал Жуков, жёсткий, жестокий, волевой, но и ограниченный человек, будучи военным министром, решил, видимо, что студентам слишком легко достаются заветные лейтенантские звёздочки, и издал приказ, в котором предписывал не присваивать звания выше младшего лейтенанта выпускникам военных кафедр гражданских вузов. Это, по-моему, рассказал наш куратор, подполковник Горбов. Горбов мне по секрету сказал, что, несмотря на министерский запрет, генерал-майор Гусаров, в виде исключения,

представил меня к лейтенантскому званию. Одного из всего нашего курса, кроме, конечно, прошедших военную службу сержантов. Не скрою, это пощекотало моё самолюбие. В то же время при всём этом самолюбию, бог видит, я палец не ударил о палец, чтобы выделиться из массы студентов. А мог бы, при усилиях незначительных.

Подполковник Горбов был куратором нашей группы до её ликвидации. На первом собрании группы в позапрошлом году он меня удивил невиданным ранее подходом к оценке нашей учёбы. Обычно мы говорили, что столько-то человек не успевает по различным предметам, столько-то пропустило лекции, называли фамилии. Горбов же заговорил о наших делах, называя проценты. В группе четырнадцать и три десятых процента студентов учатся на хорошо и отлично, пять и восемь десятых процента имеют задолженности ("хвосты"), восемь процентов студентов сбегало с занятий, пропустив в общей сложности семнадцать процентов лекций. Мне такой подход показался сначала чуточку странным и даже смешным: три десятых студента. Но я тут же опомнился – речь идёт о процентах. Просто я к этому не привык. А в жизни, как потом убедился, так постоянно считают.

Подполковник, высокий сухощавый и слегка сутуловатый мужчина средних лет, был отличнейшим человеком, держался с нами по-дружески, я в него был просто влюблён, хотя он в прошлом году и уел меня на собрании. Сидим это мы в аудитории после окончания учебного дня, среди нас и Людмила – комсорг, а Горбов ведёт свои вычисления. Я – за последним столом для себя незаметно от скуки с наслаждением ковыряюсь в носу, прилипшую козу зацепив. И тут Горбов ко мне обращается: «Платонов, ковырять пальцем в носу не только неприлично, но и вредно». И дальше последовала целая лекция о значении для здоровья мерцательного эпителия, который я пальцем в собственном носу разрушаю.

Я покраснел до ушей. Так опозориться в глазах Людмилы Володиной! Я тогда ещё в неё был влюблён.

... поговаривали, что Горбов подавал большие надежды, будто в Генеральном штабе служил, и то ли водочка его подвела, и его к нам сослали, то ли, наоборот, сначала в опалу попав, был сослан в Кемерово на кафедру и от этого начал попивать. Ребята говорили, что он выпивает частенько, но я пьяным его никогда не видал и об этом ничего сказать не могу. Не моё это дело слухи распространять.

У подполковника был мотоцикл, свой ли, или кафедральный, но он в сухие тёплые дни по вечерам он любил на нём с ветерком пронестись вокруг института – и в бор. Бывало, он приглашал прокатиться и наших девчонок, те с охотой садились за ним на седло. И их волосы, развеваясь, летели по ветру назад. Я завидовал им, завидовал Горбову. Мне такую бы лёгкость в обращении и с мотоциклом, и с людьми.

... С наступлением холодов я неожиданно для себя увлёкся коньками. Собственно, кататься на коньках я хотел всегда, да руки не доходили на них научиться.

А сейчас напротив посёлка Герард, там, где наш бор выплеснулся языком из лощины к этому посёлку у Дома Культуры строителей, залили превосходный каток с освещением и музыкой. Чарующие меня с детских лет мелодии танго, отражения во льду фонарей, счастливый полёт пар надо льдом, притянули меня. И всё это было от института так близко.

Ботинки с коньками я выпросил, как лыжи когда-то, у заведующего кафедрой физкультуры. И не простые коньки – беговые, длинные – быть может, тут хвачу через край – длиною до метра. Других – не хотел! На этих коньках как-то чересчур быстро, за несколько дней, я выучился превосходно кататься, и первоначальная боль в щиколотках тоже быстро исчезла. И теперь я, как птица, пригнувшись ко льду, с упоением мчусь, скорость всё набирая, по прозрачному гладкому кругу под ритмы вальсов и маршей и испытываю такое блаженство в этом полёте, какое птица, наверно, испытывает. Или больше, чем птица. Что она чувствует, мне неизвестно.

Считай, все вечера в ноябре я провёл на этом катке. Бывалые конькобежцы одобрительно похлопывали меня по плечу, следя за моими успехами, изредка покрикивая на меня: «Не горбься!» или «Следи за осанкой!»

... Тут случилось ещё одно событие из ряда вон выходящее. Вечером, стоя в столовой в длинной очереди у кассы вместе с Юрками, я заметил девушку, показавшуюся мне ослепительной. Она стояла в очереди немного впереди нас, и была так хороша, так красива, с пунцовыми, с мороза щеками, что не заглядеться на неё было нельзя.

– Эх, – невольно вырвалось у меня, – если бы мог я познакомиться с этой девушкой, я бы женился на ней.

– Так зачем же дело стало? – отозвался Кузнецов Юра.

... не знаю, не помню, как они сделали это, но через несколько дней я танцевал с этой очаровательной девушкой (впервые в жизни, заметьте, я танцевал) в нашем зале на вечере в институте, и было с ней мне легко, и ноги сами кружились в такт очаровывавшей меня музыки, и рука девушки, привлекавшей меня, лежала у меня на плече, и я вёл её, приобняв чуть за талию, и болтали мы безудержно, и я был находчив и обаятелен, чего до сих пор с девушками никогда за мною не числилось. Людмила Володина всегда сковывала меня, я цепенел, я боялся сказать лишнее слово, я боялся коснуться руки её, я вообще не знал о чем можно (позволено!) мне с ней говорить, и молчал, если она не задавала мне тему. Закомплексован был – дальше некуда!

А тут я раскован, свободен, я чувствую, что девушке нравлюсь, и это придаёт мне решимости. После вечера я пошёл проводить Галю Левинскую, так звали очаровательную студентку пединститута. Она вместе с подругой снимала комнату на Герарде. Я проводил её до крыльца дома, мы распрощались, договорившись о встрече.

Возвращался домой я ликуя. Вот и мне, наконец, в жизни выпало счастье.

... Я стал ежедневно встречаться с Галей. И день ото дня всё сильней и сильней влюблялся в неё.

... На пустынной ночной улице на Герарде, мы дурачимся, смеёмся, играем в снежки, гоняемся друг за другом – Галя от меня убегает, я её пытаюсь поймать, мы сталкиваем друг друга в сугробы, засыпая горсти снега за шею, а затем отряхиваем друг друга. Я целую её. Потом мы поднимаемся к ней, в её комнату. Подруга, чаще всего, к этому времени спит. Иногда в постели книгу читает, но при нашем появлении откладывает её в сторону и засыпает, отвернувшись от нас. Галя, включив настольную лампу с большим красным шёлковым абажуром, гасит верхний свет, и мы усаживаемся у стола, под абажуром, рядом друг к другу. Накрыв спины, головы шалью – заслонившись от внешнего мира – мы целуемся. О, как долги, как упоительны поцелуи!

... в один из вечеров я без приглашения сам к ней в комнату захожу и застаю Галю мою за стихами. Она пишет стихи! А я и не знал. Но чему же тут удивляться – я ведь ещё не знаю о ней ничего. Я подсел к столу, наблюдая за её работой, потом стал подсказывать рифмы, потом целые строчки, и сам не заметил, как её работа превратилась в нашу совместную. Мы так хорошо понимали друг друга, что, начатое кем-то одним, другой воспринимал с полным постижением чувства,

мыслей и стилия как своё и легко продолжал, словно были мы единое, неразделимое существо. Была полная духовная близость с ней у меня. Ничего из стихов тех не помню, но осталось во мне ощущение, что получились неплохие стихи. Как же было после подъёма такого душевного не расцеловать мою милую. Я, кажется, мог уже называть её так.

... Был конец ноября. Проклятье, наложенное Людмилой – сколько лет никого не мог полюбить, – силу свою, наконец, потеряло. Я свободен, свободен от её колдовства. Я люблю, и любим, а это редко встречается. Мир прекрасен.

... не могу объяснить, что подвигло меня на этот поступок. Неприятное ли чувство, что мои сумбурные, страстные, иногда пьяные письма к Людмиле могут у неё сохраниться и будут кем-то посторонним прочитаны, и над моим унижением, надо мной насмеются, как насмеялся когда-то Попков, то ли тщеславное желание показать, вот и без тебя, любимая, мы не пропали, то ли воодушевила меня лёгкость, с какой мы писали с Галей стихи, и захотелось показать, что и мы шиты не лыком, то ли всё вместе взятое сыграло тут роль, но в последний день морозного снежного месяца ноября, я, листая вечером в читальном зале томик стихов полюбившегося мне Виктора Гюго, который оказался так мне созвучен:

Взгляни на эту ветвь, она суха, невзрачна,
Упрямо хлещет дождь по ней струёй прозрачной,
Но кончится зима и скроется вдали,
Появятся на ней зелёные листочки,
И спросишь ты меня, как тоненькие почки
Сквозь толстую кору прорезаться могли? –

взялся за карандаш (любил писать остро отточенными карандашами, они как бы и мысль мою заостряют) и на чистом листе написал Людмиле письмо с просьбой вернуть мне мои письма, когда-то написанные ей, если они, паче чаяния, сохранились. Письмо на удивление просто вылилось в стихотворение. Я ведь до этого стихи писать не умел, пробовал раз осенью сорок четвёртого года написать, но дальше двух строк не продвинулся. Ну, занятие с Кроком, да и сочинение с Галей – не в счёт, я только им помогал... А на сей раз вдруг довольно таки длинное письмо в стихах у меня получилось.

Может быть, писать не надо было.
Может быть, ты обо всём забыла –
Слишком ясно всё и без письма.
Может, в сердце неприязнь тая,

Ты читать не станешь даже – я
Лишь скажу себе: «Она права». –
Так начиналось оно, а заканчивалось вот так:
Я не льщу себя надеждой смелой,
Что одно из многих писем,
Мной в порыве страсти безрассудной
Посланное, ныне сохранилось
Но, быть может, где-нибудь, случайно,
Затерялось. Кто-нибудь увидит.
И хотя любовь моя – не тайна,
Но меня насмешка всё ж обидит.
Посмотри ещё раз,
Ведь не трудно
Этой просьбе внять.
Я буду рад,
Если мне вернёшь его обратно.

Если бы я знал, к каким тяжёлым последствиям, приведёт моё тщеславие. Видит бог, я совсем не хотел как-то Людмилу привлечь этим письмом. Вероятно, обида ещё во мне говорила, и я, на прощанье, хотел ей показать: «Ты ещё пожалеешь о том, кого потеряла».

Свернув вчетверо исписанный лист, я вышел в коридор, намереваясь идти в общежитие. И надо же! Напротив двери читального зала, опёршись о подоконник, у окна стояла Володина. Я смело шагнул к ней: «Вот, записку тебе написал. Хотел передать, а ты тут». – И отдал написанное послание.

– Можно, я прочту её сейчас? – спросила Людмила.

– Пожалуйста! – я стоял и смотрел на неё.

Она развернула лист и, близоруко щурясь, начала читать. Прочитав первые строчки, она подняла лицо ко мне, и – полушёпотом:

– Зачем ты так, Вова!

Дочитав письмо до конца, она проговорила взволнованно:

– Володя, мне надо с тобой поговорить.

Я сказал, что сегодня у меня нет времени (!). А завтра я в город иду за очками. Она сказала, что может завтра проводить меня до берега (!). Я не возражал.

На следующий день после занятий мы и пошли.

Снова, как и не однажды до этого, мы идём снежным бором, сверху медленно, редко падает снег, идти неудобно, ноги, как всегда, соскальзывают со спрессованного в лёд бугра в середине тропинки. Мы с ней говорим о чём-то неважном, и впервые я держусь легко и

свободно. Независимо совершенно. И это так хорошо. Никаких уз. Никакого стеснения. Я уже не боюсь неосторожным прикосновением обидеть её, оскорбить. Я дурачусь. Нагибаюсь и бросаю в неё рыхлым снежком. И какая же незадача! Прямо в лицо.

Она сердится, но, это видно, шутиливо, и бежит от меня. Я нагибаю её и толкаю в сугроб. Она, падая, успевает схватить меня за рукав, увлекая в снег за собою. Как она сейчас хороша! Свежая, разрумянившаяся от холода и от бега. Я вскакиваю, подаю руку ей, помогаю подняться, отряхиваю. Снег набился ей в ботики, и я, став на колени, пальцем выскребаю оттуда его. Боже мой! Как же всё это просто. Я касаюсь ноги её в тонком прозрачном чулке, и мне это позволено, и я этого нисколько не боюсь. Я, который страшился к руке её прикоснуться. Я встаю и снова stalkиваю её. Она по-настоящему злится и толкает меня так, что я с головой зарываюсь в сугроб. Я прекращаю дурачества. Бор редееет. Вот виден берег Томи, а она мне ничего не сказала. О чём же она собиралась со мною поговорить? Что ж, это дело её. Эта с нею прогулка последняя. Я прощаюсь. Смотрю в милое, дорогое когда-то, лицо, в прищур милый глаз, и какая-то жалость к прекрасному ушедшему чувству вдруг захлестывает меня. А я её даже ни разу не целовал. Я говорю ей:

– Знаешь, мне сейчас пришла фантазия в голову... Хочешь, на ухо скажу?

Глаза мои, вероятно, выдали моё намерение. Она поняла и отступила:

– Не надо, Володя.

– Но мы расстаёмся... Дай, на прощанье поцелую тебя... Только раз.

Румянец схлынул с её щёк, она побледнела, я шагнул к ней, обнял и поцеловал в тёплые губы. И она мне ответила. Я стоял, прижавшись губами к губам её, и забыл в этот миг о том горе, что моя к ней любовь мне принесла. Я любил её в это мгновенье. И это она поняла.

– Я люблю тебя, Вова, – сказала она, – я люблю тебя давно, я скрывала, боялась тебе будет хуже, – и замолкла, по глазам моим снова поняв, что последних слов говорить было не нужно.

И тут всё пережитое за последние годы, вся боль, все попытки неразделённой любви нахлынули на меня, и я заговорил не своим, каким-то чужим, хриплым, срывающимся голосом:

– Так зачем же ты меня мучила? – я замолчал, но так как вопрос повис без ответа, я начал сдержанно, словно бы размышляя:

– Вот оно, счастье... Сколько лет ждал я его... И оно пришло... Поздно... Слишком поздно!

– Я потеряла право на счастье, – прошептала она, не сводя с меня глаз, но тут же и отвернулась, и пошла от меня.

– Но зачем же, – неистовствовал я, догоняя её, зачем же ты не сказала этого раньше. Ты же знала, как я любил тебя, как мучился и страдал.

– Зачем ты казнишь меня, Вова?! – она обернулась. Лицо её было холодно и безжизненно. И я снова почувствовал, что люблю это лицо. Но жёсткий комок обиды подкатил к горлу:

– Прости. И прощай! – и я повернулся и зашагал в город за своими, впервые в жизни, очками. Объяснение состоялось.

Но покоя во мне уже не было. Ощущение охватило, что я теряю сейчас самое дорогое, что у меня может быть. Я был в смятении, беспорядочные мысли одолевали меня. Я то любил, то вспоминал боль, ту муку, что пережил, и ни на что не мог я решиться. Надо, надо от всех мыслей избавиться, нечего свою душу прошедшим бередить... И к вечеру, из города возвратясь, я чтобы отвлечься от болезненных дум, пошёл в читальный зал что-либо почитать. Взял первый н глаза попавшийся том. Это был том Тургенева. Сел за стол. Наобум раскрыл на случайной странице. На этой странице начинался рассказ. Как сейчас заголовок перед глазами: "Ася". Тут же я рассказ этот и прочитал. Это надо же! Надо же было именно этому тургенинскому рассказу на глаза мне попасться?! Он всё сразу и разрешил... Подумалось, что жестоко буду наказан, если через обиду не переступлю. Упущу на всю жизнь своё счастье и себе этого никогда не прощу. Так тогда мне показалось, хуже – так вот почувствовалось тогда...

Наутро я спустился на третий этаж общежития (на пятом курсе женщин вернули в него), вошёл в Люсину комнату. Людмила была одна, и я сказал ей, что я люблю её, и не могу жить без неё. Совершенно не помню, что она мне на это ответила, как встретила эти слова. Но меня не отвергла.

Боже! Как счастлив я был! Я упивался радостью смотреть в глаза любимой моей, счастьем видеть, как они мне улыбались, счастьем быть постоянно при ней, не разлучаясь надолго. И всё-таки не было между нами настоящей сердечности, ледок отчуждённости всё ещё был.

... придя утром к ней в комнату и застав её одну, сидящую в постели в ночной рубашке с бретельками, с обнажёнными плечами, такую нежную, свежую, бело-розовую, тёплую после сна, что невольно потянулся обнять её. Она отшатнулась: «Вдруг кто-то зайдёт!»

... Вот незадача!

Когда её не было, я уединился в читальне, упивался Гюго:

Зачем, когда к душе угрюмой,
К душе, истерзанной тоской и тяжкой думой,
Ты прикасаешься, о милая, любя –
Зачем, как прежде, кровь мне наполняет жилы,
Зачем душа, в цвету раскрывшись с новой силой,
Стихи, как лепестки, роняет вокруг себя?

Я вдохновился Гюго и, взяв первую сточку одного из стихотворений его, и отталкиваясь от неё, написал своё стихотворение Люсе. Начав с:

В кружева сплетая свет и тени,
Трепетно дрожит луны полночной луч...

я заканчиваю:

И как мне не любить сосновый стройный бор,
Ведь здесь, подняв ко мне свой нежный чистый взор
И рдея от смущенья и дрожа,
Ты прошептала: «Я люблю тебя», –
И, ласково головку наклоня,
К губам моим прильнула. Знаю я:
Недолго уж зиме хозяйничать в сердцах,
И на увядших осенью кустах,
Согретые дыханием весны,
Распустятся чудесные цветы
Любви и Радости.

Как же я был счастлив!

Я принёс ей эти стихи. Она прочитала их, обвила руками мою шею, прошептала: «Спасибо, Вовочка», – толкнула меня на застланную кровать и целовала, целовала и целовала. Порою мне, кажется, что это приснилось во сне. Но так было.

Ледок, разделявший нас, таял. Мы всюду ходили вместе. И как же нам, позволю себе смелость высказаться и за неё, было вдвоём хорошо!

... А милая, добрая Галя Левинская мгновенно стёрлась из памяти, как мел с доски влажной тряпкой стирается.

Сближение моё с Людмилой Володиной моё окружение встретило неодобрительно. Кузнецов и Рассказов и разговаривать со мной не хотели. Сюп держался холодно, но не враждебно. И вот, на исходе месяца декабря, подходит Юра Савин ко мне и говорит: «Извини, Володька, что мне всегда приходится сообщать тебе самое неприятное (никогда этого не было)... Вчера Людмилу видели в городе в ресторане с этим, ну, как его, инженером, который... ну, ты

знаешь...». Я, разумеется, ни о каком инженере не ведал, и это кольнуло меня. То, что она была в ресторане с мужчиной, мне не понравилось. Но я не догадывался, что она ведёт двойную игру.

Тем не менее, при встрече с ней я потребовал объяснения. «Как прикажете понимать?» Она мне ответила, что познакомилась с Григорием, когда читала лекцию на шахте "Полысаевская" № 1 (она была членом-соревнователем Всесоюзного общества по распространению научных и политических знаний). Григорий работал главным энергетиком шахты, и одно время она им увлекалась. Он предлагал ей выйти за него замуж. Но он женат, у него двое детей, и, хотя он собирался с женой развестись, она не захотела разбивать семью. А это глупое увлечение быстро прошло.

На днях Григорий приезжал к ней, но это ничего не значит. Он просто остался её хорошим другом и всё. Ей, конечно, трудно будет порвать с человеком, который ничего ей плохого не сделал, но, если я настаиваю, то она это сделает ради меня. И я верил каждому её слову.

Я не настаивал. Не думал я, что она на два фронта работает. И как-то не связалось в сознании у меня, то, что она мне сказала: «Вова, я люблю тебя, люблю давно», с тем, что увлечение её Григорием, по всему, было недавно, коль скоро продолжали поддерживаться близкие отношения. Не заметил противоречия. Потерял разум от счастья. Да и свято верил любимой, верил ей больше, чем себе самому, и помыслить не мог о расчёте или предательстве. Но, допуская, она могла искренне верить тому, что говорила, в тот момент, когда говорила. А в другой момент, под влиянием минутного настроения, могла верить совершенно другому. Бог ей судья...

Размолвка была забыта, но семя недоверия к ней в моём подсознании было посеяно.

Между этими главными событиями в жизни моей случались и другие дела. Практика, предшествующая дипломному проектированию, начиналась после встречи Нового года, а в декабре шли зачёты, и сдавали экзамены.

Курсовой проект по рудничному транспорту я подготовил, как обычно, на исходе срока, но расчёты сделал отлично и оформил так же, как выставочный. На защиту пришёл самым последним, но в срок. И тут казус случился. Зав кафедрой рудничного транспорта Мартыненко оказался дубом непроходимым, из тех, кто считает, что последними экзамены и зачёты сдают самые слабые, неспособные студенты.

Недаром он на занятиях был мне несимпатичен всегда – этот начальничек шахтного уровня. Я проект ему доложил. Он не сделал мне ни одного замечания, не задал никакого вопроса, но в зачётку вlepил «Посредственно». Я было вспыхнул, хотел одёрнуть его: «Какие недоработки вы в проекте заметили?» Но сразу же и потух. Никогда в жизни за отметки не боролся, не торговался. И, тем более, какая же мелочь блошинные эти укусы на фоне той эйфории, в которой я пребывал. Я плюнул на всё и тут же забыл. А зря. Надо было устроить скандал. Пусть бы перед комиссией доказал свою правоту. Всегда надо права свои защищать и бороться с несправедливостью. Эх, молодость, молодость!.. Нельзя несправедливости спускать никому!

... Экзамены как лёгонькая прогулка: отлично, отлично, отлично, отлично...

... судя по письму, переданному мне от Гали Левинской, я встретил её в институте во время сессии, но встречи этой в памяти нет, есть только это переданное письмо и его первые строчки:

Володя, здравствуй!

Не помню я, как всё случилось,
Но мне понятно лишь одно,
Что сразу я в тебя влюбилась,
А остальное – всё равно.
Я очень рада за тебя,
Что сдаёшь отлично...

и под стихотворением подпись: "Галя" и дата: 24.12.54 года.

А у меня, всё отлично, отлично, отлично, отлично... И вдруг, стоп!

... Вообще, последние дни декабря в голове сумбур, суета, мелькают лица, огни, сплошной карнавал масок в памяти – и никакой последовательности событий.

... Мне предстоит сдавать последний, как я полагал, в жизни экзамен: разработка рудных месторождений. Готовился к экзамену я поспешно, с радостными непрерывными отключениями от чужого конспекта, который кто-то мне дал. Пробелов в знаниях – пруд пруди, но, авось, вывезет.

... в аудиторию, где проходит экзамен, захожу в числе самых последних – до последней минуты конспекты листал лихорадочно. Поздний вечер. Отчётливо и сейчас ещё вижу, горел электрический свет. Впрочем, в декабре рано темнеет.

Здоровуюсь с бородкой а ля Генрих, беру билет. Ничего не соображаю, стоя у стола экзаменатора и пробежав по всем билетным вопросам, но, может быть, сидя, что-то надумаю.

Сажусь за последний стол в среднем ряду. Теперь внимательно вчитываюсь в вопросы. На листе пытаюсь по памяти воспроизвести какие-то схемы. Нет, не получается ничего. Ни бум-бум. Ни на один вопрос у меня нет ответа.

Я встаю, понимая одно – скверно, летит повышенная стипендия. Обращаюсь по имени, отчеству к Бурцеву, прошу разрешения взять второй билет.

– Нет, – отказывает мне он, – надо было брать сразу.

Вон оно что! А я до сих пор этого и не знал. Вот, что значит отсутствие опыта! По-хорошему, после этого мне надо бы с Бурцевым попрощаться, договорившись о дне пересдачи. Терять ведь больше нечего было. Но я не в состоянии думать. Я снова усаживаюсь за стол. Что делать? Всё равно ничего ведь не высижу. И решаюсь. На столе соседнего ряда – кипа учебников, то ли изъятых, то ли добровольно оставленных. Но не это интересует меня, а то, что есть учебники, и в них – ответы на вопросы билета. Дотягиваюсь рукой до стола, беру книгу, и, не таясь, разворачиваю учебник перед собой. Нахожу главу по теме первого вопроса билета. Бегло пробегаю её. Ясно всё. Делаю заметки. Нахожу другую главу. Приободряюсь. Может быть, пронесёт?

Радужные мечты прерывает гневный голос Бурцева:

– Платонов! Выйдите из аудитории!

Я поднимаюсь, подхожу к столу Бурцева, беру зачётку, мельком замечая, что никакой отметки там нет, говорю: «До свиданья», – и выхожу.

Состояние – хуже некуда! Шок. Стыд. Уязвлённое самолюбие.

Но достоинства не теряю. Вида не подаю и иду в общежитие так, будто мне к такому исходу экзамена не привыкать.

Весть о том, что Платонова с экзамена выгнали, обгоняет меня. На площадке своего этажа общежития Люся перехватывает меня, ни слова не говоря, берёт под руку и ведёт в свою комнату. Кто-то приносит бутылку водки, распечатывает её. Люся наливает полный стакан, подаёт его мне. Я залпом его выпиваю. Напряжение разом спадает. Как я Люсе благодарен за это. Больше ничего я не помню. Все, до Нового года, дни спутаны до невозможности проследить их последовательность. Я сижу в общежитии, не хочу никуда ни идти, ни просить никого ни о чём. Вообще не думаю ничего.

Наконец, за мной присылают из деканата.

Там уже Бурцев. Западинский предлагает мне договориться с ним о пересдаче экзамена. Бурцев вежливо объясняет мне, что в предновогодней суматохе и суете он просто не может выкроить времени, а если третье число января меня устроит, то он готов принять у меня в тот день экзамен.

Я согласно киваю, конечно, устроит.

С тем и расходимся.

А он не так уж и плох, этот Бурцев, он даже симпатичным становится. Я несправедлив был к нему, беда в том, что его дисциплина нисколько не интересовала меня, а ещё беда в том, что я сам разгильдяй: и лекции его пропускал, и за учебник не брался. Неча на зеркало пенять, коль рожа крива!

... Люся сообщает, что её с группой девушек Григорий пригласил на Новый год на шахту "Полысаевская №1", где она будет проходить практику, и она уезжает с ними.

– Как я на это смотрю? – повторяю за ней я вопрос её, обращённый ко мне. – Как хочешь, – говорю я, хотя её сообщение и не доставляет мне радости.

Что поделаешь – я противник насилия, а вот точку тут надо было поставить или запятую, по крайней мере. Снова у меня не связалась "давняя" любовь её ко мне и то, что она незадолго до объяснения мне в любви – это совсем вот недавно, и месяца не прошло – загодя практику проходить у Григория собиралась. Как же наивен я был.

– Как хочешь, – повторяю я как можно спокойнее. Вида не подаю, что я до крайности уязвлён, я на всё готов для любимой, но не на то, что она втайне задумала, и о чём мне и мысли в голову придти не могло, так я доверял своему совершенному идеальному божеству. Безоглядно и безотчётно. Почему не вспомнил её же слова: «Ты меня выдумал».

... ты меня выдумал.

Но через день или два Люся меняет решение и говорит, что никуда не поедет, что хочет встречать Новый год вместе со мной... Она мечется, по-видимому, выбирает, колеблется и ни на что не может решиться, но для меня – всё это мраком сокрыто. Я никудышный психолог, да и до психологии ли мне после этаких слов. Я счастлив.

... Неожиданно меня приглашают к генералу Гусарову.

Я вхожу, здороваясь по всей форме, щёлкая щегольски каблуками (хотя делать этого по уставу не полагается). Мне нравится подтянутость офицерская.

Впервые я вижу нашего генерала смущённым.

– Знаешь, Володя, – говорит он, впервые обращаясь ко мне на ты и по имени, – мне дали деликатное поручение... словом, моя племянница приглашает тебя на Новый год.

Я удивлён, искренне благодарю генерала и вежливо отказываюсь под предлогом, что уже дал согласие на одно приглашение. Генерал явно огорчён, что ему не удалось выполнить деликатное поручение.

– Ну что ж, – говорит он, – раз так...

Я желаю генерал майору всего наилучшего в Новом году, и мы расстаёмся.

Ухожу в недоумении, зачем понадобился я генеральской племяннице. Я с ней незнаком, я её и не видел ни разу. А может, и видел, но не знал, что племянница... Неизбалованный вниманием женщин, не могу понять, с чего это в декабре я стал так популярен. И только годы спустя меня осеняет догадка: племянница генерала училась в пединституте и, возможно, дружила с Галей Левинской, и та, через неё, приглашала меня на встречу Нового года. А, может, Галя и была той самой племянницей? Но, почему комната на Герарде? Впрочем... вот такой был я догадливый и пытливый...

Ну что можно сказать? Эх, Галя, Галя, не знаешь ты, на какой сладкий, но ядовитый, крючок клюнул я, в какие сети, как безмозглая рыба, попался, из них мне не выпутаться, не выбраться ещё несколько мучительных лет.

Новый год мы встречали в Люсиной комнате в общежитии. Странно, но я ровно ничего не запомнил. В памяти абсолютная пустота. Будто и не было встречи Нового года.

Приложение к 1954 году

Просьба

Может быть, писать не надо было,
Может быть, ты обо всём забыла –
Это, впрочем, ясно без письма.
Может, в сердце неприязнь тая,
Ты читать не станешь даже. Я
Лишь скажу себе: она права.

И письмо в напрасное волненье
Привести не сможет грудь твою,
Я ведь не молю о сожалении
Не взываю тщетно: *"Я люблю!"*

Всё уже давным-давно забыто,
Прошлому я не кричу: *"Вернись!"*
Связь непрочная и хрупкая разбита,
И пути, конечно, разошлись...

Так к чему воспоминаний старых,
Кровь волнующих при виде глаз лукавых,
Снова сонм плывёт передо мной?
Для чего опять меня пленяет
Лёгкий смех, что с губ твоих слетает
В ночь, укутанную лунной синевой?

Для чего мне радость в сердце светит?
Для чего луч солнца вдруг приветит,
Ласково скользнув по моему лицу?
Для чего?.. Но хватит... Я решился
Попросить тебя в последний раз –
Ведь слова твои на обороте
Старой карточки теперь не свяжут нас.

Я не льщу себя надеждой смелой,
Что одно из многих писем,
Мной, в порыве страсти безрассудной
Посланное, ныне сохранилось.
Но, быть может, где-нибудь случайно
Затерялось, кто-нибудь увидит,
И хотя любовь моя не тайна,
Но меня насмешка все ж обидит.

Посмотри ещё раз,
Ведь не трудно этой просьбе внять.
Я буду рад, если мне вернёшь его обратно.

Декабрь 1954. Кемерово

* * *

В кружева сплетая свет и тени,
Трепетно дрожит луны полночной луч
Вдруг скользнувший из-за мрачных туч,
На кустах жасмина и сирени.

Я люблю сиянье ночи южной,
Шорох тополей, небрежный рокот волн,
Свежий аромат, которым воздух полн,
И сверчков, стрекочущих недружно.

На траве, букет цветов нарвав,
Повалиться вволю... На досуге,
Лодку ветхую тайком с причала сняв,
В море вдруг уйти с надёжным другом...

Золотые дни младенчества прошли, –
Не вернуться никогда они...

Как далеки те дни... Уже края иные,
Не роскошью, но строгою красой
Меня влекут... Не волны уж морские,
А лес, укутанный прозрачной синевою
Сребристого сиянья лунной ночи,
Где взволновали кровь мне озорные очи
Твои, любимая, пленил меня собой.

Издалека он сумрачно темнеет,
Но ближе подойди – как всё вдруг просветлеет!
Редет теней мгла, и сосны при луне
Стоят, озарены, в волшебном серебре,
Небрежно снежные покровы разбросав
По пышным кронам и густым ветвям.

Как всё в нем полно тайного значенья –
Глухая тишина, деревья без движенья,
Застывшие в покое горделиво –
Все это мне и дорого и мило!

И как мне не любить сосновый стройный бор:
Ведь здесь подняв ко мне свой нежный чистый взор и,
рдея от смущенья, и дрожа,
Ты прошептала: "*Я люблю тебя*", –

И, голову в тревоге отклоня,
Губам моим ответила... И я
Поверил:
кончилось зимы владычество в сердцах,
И на увядших осенью кустах,
Согретые дыханием весны,
Распустятся чудесные цветы
Любви и радости..

1955 год

... Начала Нового года просто не помню, то есть не помню, чем закончилась встреча его. Но проснулся у себя я в полном порядке, стало быть, ничего из ряда вон выходящего со мною не произошло.

А второго января я встречаюсь в городе с Люсей. Мы идём отмечать Новый год к её подруге, Марии Дремовой, которую я часто видел в президиуме наших комсомольских собраний, но с которой незнаком совершенно, но это нисколько не беспокоит меня. Для меня главное – Люся.

Дремова, заведующая студенческим отделом обкома комсомола, живёт в центре города. Занимает комнату в двухкомнатной квартире. Соседей не видно. Может быть, в гости ушли. А, может, их и не существует вообще.

У Дремовой сидит молодой красивенький мальчик – студент нашего института, Захарюта, учится курсом младше меня, он секретарь факультетского бюро комсомола. Я знаю его лишь в лицо. Он женат, и во время наших с Люсей прогулок в прошлые годы, она приводила его, как пример самоотверженной, жертвенной любви. Его молоденькая жена болела туберкулёзом, он терпеливо за нею ухаживал.

И вот он у Дремовой. «Пример самоотверженной любви, – иронично думаю я. – Не слышал, чтобы его жена умерла».

Наши возлюбленные уходят на кухню готовить фарш для пельменей. Пока они мелют там мясо, месят тесто, раскатывают его, мы бездельничаем вдвоём, вяло беседуя, я не знаю, о чём мне с ним говорить, не находится общей темы для разговора. Это я, конечно, так не искусен...

... Раскатанное тесто и фарш приносятся в комнату. Дремова чайной чашкой ловко вырезает из теста кружки, мы заполняем их фаршем, сворачиваем вареником, сводим концы. Лёгкий нажим, чтобы кончики слиплись, и пельмешек готов.

Новый год отмечаем под водочку горячими пельменями с маслом и уксусом, и уходим от любезной хозяйки за два часа до полуночи. Я провожал Люсю на ночной поезд, битком набитый нашей

братвой, уезжавшей на преддипломную практику, она тоже на практику этим поездом уезжала.

В лёгком подпитии я провожал свою любимую к... сопернику своему, о чём, по глупости своей, не догадывался.

Но какое это имеет значение?.. А такое, что сомнение точило моё подсознание. Я себе в этом отчёта не отдавал, а мой мозг, раскованный алкоголем, это выдал.

Я вёл Люсю, держа её под руку, какими-то тёмными переулками и разговаривали о делах посторонних, и разговор как-то переключился на Юрия Кузнецова. Люся с негодованием возмущалась его отношением к девушке. Дело в том, что у Юры со школьных времён оставалась невеста на родине в Казахстане. Она училась там в пединституте, летние каникулы они проводили в родных местах вместе, на зимние – она каждый год приезжала к нему. Очень милая, добрая девушка нравилась всем, и мы по-хорошему завидовали Кузнецову: у нас невест не было. Всё шло к свадьбе после окончания института, и вдруг сейчас, по словам Люси, он от невесты своей отказался. Людмила горячо возмущалась его непорядочностью. Я же думаю о своём, её слова во мне что-то заделали, и мысль не успела ещё оформиться в голове: «Ты от меня ведь тоже отказывалась», – как с языка сорвалось:

– А ведь ты – Юра Кузнецов, – сказал я.

Ах, как она вскинулась! Выдернула руку свою и, обгоняя меня, пошла быстро к вокзалу.

Я понял, что сболтнул спьяну лишнего, догнал её, пытался остановить:

– Прости меня, Люся! Я не думал тебя обидеть.

Но она и слышать ничего не хотела, и всё ускоряла шаг. В этот момент она, видимо, и сделала окончательный выбор.

Так мы досрочно домчались до станции, поднялись в вагон, который едва только начал загружаться студентами, и у меня было времени полчаса, чтобы попытаться вымолить у неё прощение. Мы стояли в самом начале вагона, мимо нас проходили наши ребята, но мне ни до кого не было дела, я умолял её почти со слезами, чувствуя, что мне не жить без неё, но она словно закаменела и, лишь когда раздался первый звонок, сказала: «Выходи, а то ещё уедешь». Но я пытался переломить обстоятельства. Тщетно.

Поезд тронулся.

– Выходи, тебе надо ещё экзамен сдавать.

Я понял, что дальнейшие уговоры бесполезны, а экзамен действительно надо завтра сдавать, и на ходу соскочил на платформу с подножки вагона набиравшего ход поезда.

Третьего числа я был в деканате. Кругом толчея, люди входят, выходят ежеминутно, а мы с Бурцевым приютились у края стола, где он слушает мои сбивчивые ответы на вопросы билета и дополнительные. «Ну, хорошо, – говорит он, наконец, – последний вопрос: выведите уравнение взрыва».

Проще вопроса он не мог и задать. Я набросал хорошо знакомую схему. И тут в голове вдруг что-то заклинило. Не соображу, что же дальше. «Так... надо проинтегрировать по кругу, потом... Что же потом?» – Да, что же это делается, товарищи? Я не могу вывести уравнение, которое десятки раз выводил и на занятиях по буровзрывному делу, и при расчётах проектов по очистным и подготовительным работам, и в гидравлике, и в сопротивлении материалов при расчёте сил, действующих на стенки трубы (принцип один). Да я же утром сегодня повторил этот раздел, и вот тебе – на! Я пытаюсь всё же сообразить, чёркаю схему, – в голове абсолютная пустота! Колдовство прямо какое-то! И как стыдно!

Бурцев терпеливо ждёт.

Но ждёт он безрезультатно.

И тогда звучат слова, однажды мною слышанные в МЭИ:

– К сожалению, больше тройки поставить вам не могу.

Я от позора готов провалиться, но хорохорюсь: «На большее я и не претендую». – Что тут скажешь ещё. В ножки ещё надо Бурцеву поклониться, что не "плохо" хочет поставить.

Бурцев ставит в зачётку "удовлетворительно", так, кажется, стали писать вместо "посредственно". Слабое утешение. Беру зачётку, иду получать деньги и в тот же день уезжаю на практику.

... станция Кольчугино (железнодорожная станция города Ленинск-Кузнецкий). Я летом мимо неё проезжал. Ничем неприметная заурадная станция. Обыкновенный одноэтажный вокзал. На автобусе доезжаю до шахты.

... Гидрошахта "Полысаевская-Северная" – небольшая шахтёнка (суточная добыча – тысяча тонн) на краю северной части поля крупной шахты "Полысаевская" № 1. Главный инженер шахты, Маркус, хрупкий маленький молодой человек с густыми чёрными

волосами и узким лицом, встречает нас наилучшим образом как коллега. Рассказывает о зарождении идеи добычи угля с помощью струи воды у Мучника Владимира Семёновича ещё до войны. В литературе позже узнаю, что такая идея высказывалась и до него, и не раз, но у него хватило упорства ли, связей ли, открыть опытную гидрошахту (размером с участок) в Донбассе в тысяча девятьсот сороковом году. Но война прервала все работы. Сейчас вот в Кузбассе удалось пустить две опытные гидрошахты, на пологом падении здесь и на крутом падении в Прокопьевске. Об этом я знаю уже из "Угля".

Маркус разворачивает перед нами синьки, показывает всю технологическую цепочку добычи, транспортировки и обезвоживания угля. В кабинете у него жарко, к радиаторам притронуться невозможно, время от времени трубы громко стреляют – отопление паровое. Чем-то это напоминает мне далёкое прошлое, но что именно, не могу вспомнить.

Возможности устроится горным мастером сейчас нет – не лето, в отпуск в это время никто не идёт. В рабочие же мне в этот раз подаваться не хочется. Разленился. Следом за мною отказывается и Петя Скрылёв. Становимся вольноопределяющимися практикантами без всякого заработка. Это через два месяца аукнется нам.

Поселяют нас в общежитии шахты "Полысаевская" № 1 в большой комнате на втором этаже. Как раз все в ней вместились, Скрылёв, Коденцов, я, Пастухов и Исаев. За месяц близко схожусь лишь с Володей Пастуховым. Парень неглупый, интересный и, главное, симпатизирует мне. Я к нему тоже проникаюсь симпатией.

Узнаю от ребят, что внизу сразу у входа в такой же большой комнате, но одна, живёт Людмила Володина. Спускаюсь на первый этаж, стучу в дверь. На «Войдите!» – открываю дверь и застываю, шагнув: Людмила в пальто сидит на кровати. Рядом, за торцом стола на стуле сидит плотный мужчина в добротном пальто с воротником из каракуля. Догадываюсь: «Григорий». Вспыхнув и выдумав тут же какой-то предлог, тотчас и ухожу: «До свиданья!»

... вот, стало быть, как оно повернулось.

В сердце застревает заноза. До чего же больно! Но боль не физическая. О физической боли в сердце узнаю не скоро. Боль оттого, что безумно люблю её, схожу с ума без неё. На другой день захожу к ней ещё раз, на сей раз она одна в комнате, но разговора не получается. Я решаюсь прямо спросить. Ну что за никчемный характер! К чему она, робость моя? Людмила же не находит нужным мне что-то ответить.

Без неё места не нахожу. Метания мои выливаются в поток жалостливых стихов.

«Не любила, значит, коль простить не можешь...».

«Ужель остаток дней своих...».

«Горько добру молодцу жить в тоске, без радости...», – это подозрительно напоминает мне что-то знакомое, или это только кажется мне.

С горя начинаю писать поэму, но, исписав два листа, обнаруживаю, что не только перепеваю "Мцыри" Лермонтова, но и заимствую у него. Вот что значит – учить стихи наизусть. Позабыв, можешь принять за свои. Уже в двадцать первом веке прочитал в письме Цветаевой Пастернаку, что если читатель запомнил строчку стихов, он может считать её своей. Тогда о её разрешении я не знал и страшно смутился.

С иронией и с надеждой на сочувствие, приношу начало поэмы к Людмиле: «Посмотри, написал, а оказалось, что "Мцыри"». Она соглашается, но сочувствия ко мне у неё нет. А я не смею заговорить о Григории и о "нашей любви". Жалкая роль мне уготована, и я её послушно играю.

... Но и пытаюсь выстоять, не согнуться. Одиннадцатого января в стихах моих появляются новые нотки. Я преодолеваю боль и смятение: «Как разыгравшийся ручей...», – стихи слабенькие, конечно, но помогают понять моё настроение, а мне помогли выплеснуть наболевшее из себя.

... вечером, спускаясь по лестнице. Вижу, как Людмила с Григорием выходят в пальто из её комнаты и направляются, по-видимому, в кино.

В тот же вечер, но позднее, очевидно, после сеанса, столнувшись с нею в вестибюле общежития, я говорю: «Этого я тебе никогда не прощу», – и прохожу мимо неё. С этого момента я не замечаю её. Встретив, делаю безразличное лицо и не здороваюсь... Для меня её больше не существует.

... В шахтной библиотеке знакомлюсь с миленькой библиотечаршей Валей, – она чуть не вдвое ниже меня, – и начинаю за нею ухаживать. Демонстративно хожу с ней вечерами в кино, – о нём ниже чуть-чуть, – она приглашает меня к себе в общежитие. Всего девочек в комнате четверо, и каждая делает вид, что происходящее с кем-то из них никого нисколько не интересует, то есть они вроде бы не видят его.

Я снимаю шинель, мы усаживаемся на кровать и начинаем целоваться. Потом мы лежим на кровати в одежде поверх одеяла, и

наши долгие поцелуи доводят меня до экстаза. Страстное напряжение спало. Но лучше, конечно, не так...

... поздно вечером, когда я с книжкой лежу в постели, открывается дверь и в проёме появляется плотная внушительная фигура. Григорий.

– Кто здесь Платонов?

– Я, – откликаюсь я, подняв голову.

– Нам надо поговорить, – говорит он.

Мне хочется спросить, кому это нам, но я боюсь показаться трусом перед ребятами. Все знают, чем кончаются эти "надо поговорить". Кто не знает, скажу – мордобоем.

Я встаю, одеваюсь, надеваю шинель и шапку. Мы выходим на улицу за калитку. Григорий пропускает меня вперёд – боится что ли, чтобы не сбежал? Ночь. Тихо. Морозно. Желтоватый свет окна падает на нас бледным пятном.

– Ты чего путаешься у нас под ногами, – грубо говорит мне Григорий, становясь напротив меня спиной к дому, так что тень скрывает его лицо.

– Я вам не ты, – отвечаю я, – и ни у кого я не путаюсь.

С этим "юсь" кулак, занесённой в неожиданном резком замахе руки, в который вложена вся масса тела, молниеносно летит к моей голове, я едва успеваю её чуть отклонить, и страшной силы удар, пришедшийся мне по это причине не в скулу, в плечо, обрушивает меня на утоптаный снег. Ещё бы! Такая разница в весовых категориях! У меня вес – легчайший, у него – полутяжёлый, как минимум.

Я лежу на спине, жалкий, униженный и бессильный перед этой звериной силой. Скот! С кулаками за самку! Я не успеваю вскочить – тут ещё снег этот, утоптаный, скользкий, – как Григорий надвигается на меня. Резкий рывок ноги к животу и – я толчком отбрасываю его. Он заходит с другой стороны, не давая мне времени, чтобы подняться. Я верчусь на снегу, как на льду, и от него отбиваюсь ногами, не давая приблизиться. Он поворачивается, наконец, и уходит.

Я подбираю слетевшую шапку и иду в общежитие. Я взбешён: пытался ударить лежащего, я взбешён на неё: мало муки мне причинила, так ещё и натравила его! Звери! Любовь силой брать! Проходя мимо двери её комнаты, я распахиваю её, я кричу: «Радуйся! Он победил!» – и, захлопнув дверь, поднимаюсь к себе в комнату. Это меня несколько не красит, я понимаю, но в ту минуту сдержаться не смог.

... вхожу в комнату. Увидев, что моя шинель вся в снегу, ребята вскакивают, бросаются к вешалке. Я их останавливаю: «Не надо! Он уже ушёл». Надо бы было добавить: «Мило поговорили», но чувство юмора мне изменяет.

Всё. Конец. Возвращаюсь к нормальной жизни и, незанятый теперь только своими переживаниями, начинаю замечать окружающих и вижу, что Саня Исаев ходит, как в воду опущенный. Ребята мне объясняют, что Саня на ознакомительной практике был здесь на шахте и влюбился в библиотекаршу. Они и договорились, что он приедет на эту зимнюю практику к ней. Он и приехал, а она тебя предпочла.

Боже мой, что же это такое творится? Сам страдаю от неразделённой любви и вот так, походя, ради отвлечения от боли своей, перебегаю дорогу, причиняю муку другому. Что делать? Объясняться с Исаевым, что не знал, не хотел – глупо как-то, и я просто прекращаю с Валею встречаться. Но содеянного уже ничем не исправишь. Саня уезжает с Валею не помирившись.

... А теперь можно и о кино. Зал сарайного типа, обычный, большой, набит битком шахтным людом. Вот и время начала сеанса. Однако киномеханик и не думает начинать. Но это не главное. Главное публика. Не возмущается, не шумит. Прошло десять, двадцать минут. Я у Вале спрашиваю: «Почему? Почему народ не волнуется?» – Отвечает: «Ждут начальника шахты. Пока он не придёт – не начнут». Вот это дела-а! Появляется, наконец, сам с дородной супругой. Усаживаются в центре на сохраняемые для них места перед проходом. Сеанс начинается. Я этим феодализмом до крайности возмущён. В какой стране мы живём? Но не приучен я перед народом речь публично держать. Да и вряд ли это возможно.

... Мы с Петей регулярно ходим на шахту, собираем материал, делаем выписки из проекта. Побывали в забое. Пласт здесь нормальный, мощность – два метра. Уголь крепкий и струёй, истекающей из насадки под давлением в пятьдесят атмосфер, не отбивается. Как обычно бурят шпур, взрывают уголь и смывают его водой. Расчёты показывают, что и так производительность труда выше, чем на соседних шахтах. Ну да, очистной забой не крепить – уже выгода. Не грузить лопатами на транспортёр – ещё одна выгода. Вода несёт уголь по желобам до углесосной станции под землёй, тоже выгода. Углесос перекачивает уголь с водой на поверхность – тут начинаются дополнительные затраты энергии... Центрифуги на поверхности отжимают воду из смеси, влажный уголь подаётся на склад, где

благополучно смерзается до весны. Но весной-то грузить его можно. Да и зимой выход находят. Если сыпать его тонким широким слоем, то в полёте каждый кусочек успевает обмёрзнуть. И уже не сплошной чёрный айсберг – а гора из отдельных обледенелых кусков.

... материал собран досрочно. Мы на шахте последние дни. Тут до нас слух доходит, что на шахту приехал фотокорреспондент журнала "Советский Союз", выходящего на нескольких языках и распространяемого не только в Союзе, но и за рубежом. Будет снимать под землёй забои и углесосную станцию, и машинный зал с центрифугами на поверхности. Нам, безусловно, хочется попасть на страницы журнала, и мы слоняемся по машинному залу, где насосы внизу, а центрифуги на возвышении. Мы – это Коденцов, я, Пастухов и чех, Карел Ватолик. Но полной уверенности нет, может, и не будут снимать, ходим просто так, на авось положившись. Впрочем, Карел знает всё, сценарий до сведения его доведён, но молчит. Видно, так приказали.

Наконец, появляются Маркус и корреспондент. Маркус подзывает Ватолика к центрифуге, мы, естественно, сразу – за ним. Маркус на переднем плане с Ватоликом, делает вид, что что-то объясняет ему, мы втроем группируемся сзади. Фотограф, сделав несколько общих снимков машинного зала, подходит к нашей изготовившейся к изображению группе. И в момент, когда зал озаряется вспышкой, и щёлкнул затвор, Коденцов высовывается вперёд, заслоня наполовину моё лицо. Вот досада! Но ничего не поделаешь. Скромному человеку достаётся скромное место в истории, у кого локти побойчей – тот всегда впереди. Но особенно не расстраиваюсь, нет гарантий, что снимок в журнал попадёт. Я уже так однажды снимался в Крыму в фильме "Третий удар".

... Поезд на Кемерово проходит через станцию Кольчугино ночью. До неё от "Полысаевской" № 1 километров восемь. На улице мороз, позёмка метёт: потоки сухого колючего снега струятся через шоссе. Часть ребят уехала утром к дневному поезду. Трое по неизвестной причине задержались до конца дня. Эти трое – я, Пастухов и Карел Ватолик. Солнце, холодное, красное, клонится к закату. Мы подпрыгиваем, танцуем на остановке – старый способ хоть как-то в стужу согреться. Шинель – не одежда для ожидания. Сгущаются сумерки. Дорога пустынна, ни одна машина по ней не прошла за всё время... Надежды на автобус мало-помалу у нас испаряются. Решаем идти до станции пешком, по рельсам, чтобы не заплутать. Дорогу перемело, и ночью не трудно сойти с неё в степь. Под снегом мёрзлую землю от асфальта не отличишь. Переходим на рельсовый путь и по шпалам

начинаем поход свой до станции. Идти неудобно. Это так говорится – по шпалам, но со шпалы на шпалу никак не шагнёшь – далеко. Вот и скачешь, как коза, то на шпалу, выступающую из насыпи, то вниз, в промежутки меж шпалами на полотно. При ходьбе согреваемся и всю дорогу ведём разговор. Расспрашиваем Ватолика о Чехословакии. Часа за два с половиной одолеваем дорогу и успеваем на поезд.

... В Кемерово нам сообщают, что Мучник договорился с Кокориным, и дипломировать мы будем в Прокопьевске под руководством специалистов отделения гидродобычи НИИ.

... мы уезжаем в Прокопьевск. Всех ребят поселяют в большой комнате центральной гостиницы. Зину Самородову отправляют в общежитие шахты "Зиминка", которая расположена неподалёку от центра по ту сторону высокой насыпи железной дороги, прорезающей город и отделяющей каменный центр от моря одноэтажных деревянных строений.

Приходим знакомиться в Кузнииу. Нас принимает зав отделением гидродобычи, заместитель директора, профессор, доктор Мучник, крупный холёный мужчина лет сорока, несколько рыхловатый, и его заместитель – огромный полный, но отнюдь не толстый, Теодорович Борис Александрович.

Мучник поизносит краткую речь о "философии" гидродобычи. Суть её, в двух словах, производительность труда резко повышается при применении технологий с наименьшим числом операций в процессе. Потом назначает научных руководителей. Моим руководителем становится старший научный сотрудник Караченцев Валентин Игнатьевич, сильно шурившийся, видимо весьма близорукий малоразговорчивый человек средних лет с морщинистой старческой кожей.

Утверждается тема моей дипломной работы: "Разработка пласта Польшаевского I в условиях Ленинск-Кузнецкого района способом гидромеханизации".

Договорившись о консультациях, мы принимаемся за расчёты и проектирование.

... Жили мы хотя и в одной комнате все, но не единым целым. Кучковались. Например, в кино, в столовую, на консультации я всегда ходил с Петей Скрылёвым. Мы с ним, по сути, одно хозяйство вели. Не заработав на практике ни гроша, – а от летних моих бешеных денег ещё в сентябре у меня ничего не осталось, – мы очень скоро стали испытывать серьёзные затруднения, но тут, к счастью,

погасилась одна сторублёвая облигация у меня, а в следующий тираж и у Пети. Это помогло нам продержаться февраль и март, но в апреле костлявая рука голода взяла нас за горло.

... и тогда Петя открыл свой чемодан. Мне свой открывать было не к чему. Золотой перстень с двумя изумрудами и тремя бриллиантками как-то незаметно из моего чемодана исчез. Видно шарила в институте по чемоданам какая-то сволочь и нашарила дорогой перстень.

Итак, Петя открыл свой чемодан и достал из него хромовые заготовки для парадных сапог – своей давней мечты. Настал момент с этой мечтой попрощаться. Как я его понимал! Точно так в сорок четвёртом году мне пришлось горько расстаться со сладкой детской мечтой пощеголять в зеркальных тупоносых сапожках, хранившихся мамою для меня, до которых я не успел дорасти, и которые пошли на продажу.

Петя взял заготовки и отправился на прокопьевский рынок. Вернулся он оттуда с деньгами, которые помогли нам продержаться и апрель месяц, и май.

... сеанс массового гипноза.

Афиши об этом сеансе запестрели в Прокопьевске на каждом углу, и я решил непременно сходить на него. Гипноз привлекал таинственностью своею, тем, что воля человека вроде бы подчиняется воле другого... Собственно, сеанс гипноза я один раз видел у нас в институте, но то был гипноз, так сказать, индивидуальный. Артист-гипнотизёр приглашал на сцену из зала желающих и упражнялся над ними. Желающих было мало – ну кому хочется разболтать под гипнозом что-нибудь сокровенное, выставить себя на посмешище. Но, однако же, находились. Зал хохотал, когда молодой человек называл, например, имя возлюбленной, обнимал, целовал ассистента, которого ему представляли в этом, дорогом ему, качестве. Или на стул забирался и начинал руками грести, когда его убеждали, что хлынул поток – и он в реке. И хотя в роли подопытных кроликов выступали наши студенты, но недоверие было. Студента могли подговорить, подкупить... Сложнее было, когда хрупкой девушке внушали, что она столб, и она каменела. Гипнотизёр поднимал её на руках – она лежала, как струнка. Больше того, её клали между двумя стульями так, что она едва касалась краёв их крестцом и затылком – она не прогибалась ничуть. Но и этого мало. На живот её артист клал лист толстой фанеры и вскакивал на него, руки к небу воздев, торжествуя – никаких изменений. Правда, вот лист... ну, тут вроде понятно, чтобы мягкие ткани не повредить. И всё же, может, девушка

тоже подговорена и у неё меж крестцом и затылком спрятан стержень стальной или планка. Но тогда трудно ходить, держаться естественно, не говоря уж о том, как по ступенькам подниматься на сцену... Словом, было много вопросов, неясностей, подозрений. Самому на себе хотелось проверить, и я пошёл на сеанс.

... артист со сцены внушал залу, в котором было человек триста, не менее, что поднятая рука у всех каменеет (я послушно по просьбе его, как и все, правую руку поднял – и в самом деле после слов его почувствовал в руке тяжесть какую-то). И когда руки, по мнению гипнотизёра, закаменели достаточно, он сказал, что, если сейчас он нам разрешит опустить руку, мы не сможем этого сделать.

– Опустите руки! – сказал он.

Я начал опускать свою руку и почувствовал сопротивление, словно я её через очень тугое тесто тянул. Но я преодолел это сопротивление и опустил свою руку. Вслед за моей (сидел сзади и видел) опустились ещё три-четыре руки. Из трёхсот-то! Лес рук каменел. Это было достаточно убедительно. Что из того, что я плохо подвержен гипнозу – триста рук не купить! А насчёт живота сомнения всё же остались...

... В этом году был ликвидирован выходной в день траура по Ленину и Кровавому воскресенью, и необычайно торжественно готовились отмечать новый праздник, 22 апреля, день рождения Ленина (не сделав, однако, его выходным). Мой писательский зуд, а скорее, тщеславие или, быть может, желание получить какой-никакой гонорар подвигли меня на небольшое эссе о Владимире Ленине. Разумеется, в нём не было ничего самобытного, кроме стиля восторженного; в основе лежали пропагандистские штампы, разбавленные чуточку лирикой личного моего отношения к благодетелю человечества. Были там и субботник с бревном, и негры, у которых слёзы навёртывались на глазах при имени «Ленин», и неизвестные никому высказывания Анатоля Франса о нём, и описание незнакомой широкой публике фотографии Ленина доброго, обаятельного, приветливого, который я откопал, готовясь к торжественному (!) трауру по Иосифу Сталину.

Опус свой я принёс в редакцию городской газеты. Женщина-редактор прочла его, похвалила, но сказала, что он больше подходит для журнала, чем для малоформатной многотиражки. Ни ожидаемой славы, ни денег мне сочинение это не принесло. На этом и закончилась первая и последняя попытка моя напечатать что-либо в советской газете. Если после моя писанина иногда и попадала в печать, то, отнюдь, не потому, что я сам руку к этому приложил.

... А весна наступала, стоял снег, прошли майские праздники, черёмуха отцвела и зацвела сирень, и пошли мы со Славой Сурановым навестить Зину Самородову, с которой Славик сдружился после совместной преддипломной практики на гидрошахте. Зины в общепитии мы не застали, и в ожидании её появления, болтали с девицами, жившими в комнате с нею. Одна из них была молодая и миловидная, другая – постарше, плотная, широколицая, некрасивая.

Ну, вот это, сидим мы, разговариваем, вдруг дверь комнаты с треском распахивается, и влетает к нам крепкий парень в расхристанной рубашке, с всклокоченными волосами. Рванувшись к столу и обложив широколицую матом, он хватается пузатый графин с притёртой пробкой – графин полон воды – и, замахнувшись, опускает его на голову дамы. То есть хотел опустить, но мгновенно среагировавший Суранов перехватывает его руку. Графин падает на пол, разлетается на осколки.

Детина, озверев, набрасывается на Славика, и оба, схватившись, выкатываются в коридор. Девушки исчезают за ними. Я не успеваю сообразить, что надобно броситься за Славиком в помощь, как в раскрытую дверь влетает юркий низенький паренёк и кидается на меня. Вскочив, я ударом кулака отбрасываю его в угол комнаты. Он оттуда снова и снова кидается на меня, но каждый раз я возвращаю его в тот же угол. У меня руки длиннее, и я не допускаю его до себя. Моя ошибка в том состоит, что я ограничиваю себя обороной, не перехожу в наступление. Не приучен я бить людей.

А парень, изловчившись, поднырнув под мою руку, ударом корпуса сбивает меня на кровать. Я тону в кроватиной перине, подпружиненной сеткой, не могу вмиг подняться, парень же рвётся ко мне, и кулак его с угрожающей скоростью приближается к глазу. Но январский опыт защиты из лежачего положения у меня уже есть, и прохвост, не донеся своего кулака на какие-то миллиметры до моего благородного носа, от толчка ноги летит в угол. О, проклятая пружинная сетка! Не даёт резко вскочить, а парень опять надо мной нависает. С жёсткого пола ему вскочить легче. Да и проворный он, сатана. Ударом ноги я отшвыриваю его, но от толчка сам снова заваливаюсь на спину. Так повторяется раза три, всё же ему удаётся прорвать оборону, проскочить мимо ноги.

Да, перина на сетке – это не лёд. Но его удар я перехватываю рукой, мы схватываемся в рукопашную, и оба валимся на пол. Я внизу, он сверху на мне. На полу я чувствую себя сильнее его, выворачиваюсь, подминаю его под себя, крепко прижимая его руки к

полу. Он в руках у меня, шелохнуться не может и нисколько мне не опасен. Мы лежим, голова к голове, и поскольку я сверху, я бы мог трахнуть его головою о пол, но у меня нет намерения бить скрученного противника. И в тот миг, когда я торжествую победу, он, немисливо изогнув свою шею, впивается мне зубами в скулу левее левого глаза. От боли ли, полоснувшей меня, или от неожиданности моя хватка слабеет, он выскальзывает из-под меня, опрометью вылетает в дверь, успев захлопнуть её за собой.

Ну и ловок же, негодяй! Я подскакиваю – укус требует мести! Но тут дверь открывается, входит Славик – и сразу ко мне. По щеке у меня течёт ручей крови. В комнате появляется миловидная, стройная, обмывает мне щёку одеколоном, перевязывает голову бинтом и советует сходить в медпункт.

... на улице ночь. Мы расстаёмся со Славиком. Я иду по каким-то кривым закоулкам, по дощатым мосткам мимо маленьких домиков, сараев, заборов, выспрашивая редких прохожих, как мне к медпункту пройти. Мне показывают общее направление, и я иду дальше. Вот и прохожих нет никаких, а медпункт всё не может никак появиться. Может, я сбился с дороги?.. Иду, потеряв всякую надежду дойти. Тут в темноте мне навстречу могучая мужская фигура. Я обрадовано обращаюсь к ней: «Скажите, пожалуйста, далеко ли медпункт?» Фигура, придвинувшись вплотную ко мне, отвечает, что не далеко, и подробно объясняет мне к нему путь. И в слабом освещении окон в приблизившемся лице я узнаю Теодоровича. Он тоже меня узнаёт и ухмыляется, но ни о чём не спрашивает. Что обо мне он тогда мог подумать?.. Голова перевязана... Ночь... Но мне неловко занимать его время рассказом. Мы молча расходимся, не показав, что узнали друг друга. Я говорю ему только: «Благодарю Вас!» – и иду, куда мне указано. Вскоре – и медпункт, где мне рану на щеке обрабатывают и делают капитальную перевязку.

Наутро у меня тридцать девять, скорая помощь забирает меня и отвозит в больницу.

... ядовитая у него всё же слюна.

В больнице меня держат неделю и объясняют, что заразнее слюны нет ничего, рты наши набиты микробами, и шутить с этим нельзя. Меня всю неделю колют пенициллином, пока температура не приходит в норму.

... на второй день медсестра приносит мне передачу. Кто бы мог так обо мне позаботиться? Я выхожу. В миловидной девушке,

можно сказать весьма даже красивой, узнаю ту, которая оказывала мне в общезитии первую помощь.

Мы садимся в скверике при больнице на лавочку под кустами сирени. Тепло, солнечно, цветы пахнут так одуряюще, что не начать красавицу целовать было б грешно. Из разговора меж поцелуями узнаю, что, работая на шахте, она учится в музыкальной студии. Сегодня у неё было сольфеджио, говорит она мне и начинает рассказывать об уроках. Я не знаю, что такое сольфеджио, но ей, очевидно, нравится о нём говорить. В конце концов, разговор об этом сольфеджио я прекращаю новыми поцелуями. Целуемся, целуемся – и не надо никаких разговоров.

Милая девушка ежедневно приходит в больницу. Мы гуляем по скверу, целуемся, потом она начинает говорить о сольфеджио. Сольфеджио мне надоедает до чёртиков, и я снова и снова поцелуями останавливаю её. Но каждый день разговор о сольфеджио восстанавливается на прерванном месте. Это слово становится мне ненавистным. Оно начинает отталкивать меня от моей посетительницы. Я уже не могу его слышать. Нет, поцелуями тут не поможешь. Нужно нечто более радикальное.

Но до радикального не доходит. Тут меня выписывают из больницы, и наше дипломирование на этом заканчивается.

На прощание Мучник говорит нам, что договорился с главным инженером комбината "Кузбассуголь" Линденау о том, что все пишущие дипломный проект по гидродобыче будут направлены на те шахты, где строятся гидроучастки и гидрокомплексы. Заодно узнаём эти шахты: № 5 в Киселёвске, "Красногорская" № 3-4 в Прокопьевске, "Томь-Усинская" № 1-2 в Томусе. И две ещё где-то.

... К июню мы в Кемерово. Я героически хожу с перевязанной головой – как-никак пострадал, слабый пол защищая. Хотя пол защищал только Славик, а я сам себя не сумел защитить. С Людмилой не разговариваем и не здороваемся. Да и какие могут быть разговоры после всего происшедшего. Но беда в том, что я уже не помню обиды, я люблю её, я люблю. «Злую, ветреную, колючую», – как Симонов написал, но далее я с ним не согласен, – «хоть ненадолго, но мою». Мне надо надолго, больше того – навсегда. И, когда судьба предоставит мне выбор, я от этого «не надолго» откажусь. А сейчас я люблю её больше, чем прежде, хотя сильнее, чем я любил, любить невозможно. Я втайне надеюсь, что она ко мне подойдёт, участливо спросит, что со мною случилось. Но она чёрства и безжалостна, и, что со мною случилось,

её не интересует нисколько. Хотя она, разумеется, о случившемся знает от Зины. Я ей безразличен – понятно. Непонятен мгновенный переход её к этому равнодушию от «Я люблю тебя, Вова». Впрочем, что же тут непонятного. Но тогда я этого никак не мог объяснить. Я представить не мог, что она приручила меня про запас, что она предпочитает Григория, да вот алименты – ей ни к чему. Жизнь красивая, сладкая с ними не получается. Вот она и металась. Это версия, только версия, достаточно, на мой взгляд, убедительная. Может быть, версия злая, несправедливая, но другой – у меня просто нет.

... А в то время, как мы прохлаждались в Прокопьевске, в институте разразился новый скандал непосредственно связанный с нашей комнатой. Начиналось все до заурядности просто. В нашей комнате в этот год жил Львович Израиль. Я и раньше его, в общем-то, знал – больно нос у него знаменитый. Из-за этого носа и выдающегося боксёра из Изи не получилось, хотя профессионалом в этом деле он был. У него был один недостаток, Изя боялся крови, а нос его, как самая выдающаяся и потому самая уязвимая Изина часть, на ринге нередко наткнулся на перчатку противника, и кровь тут была неизбежна. В нашей комнате Изя прославился тем, что часто цитировал не вполне пристойное стихотворение, приписав его Маяковскому, в чём лично я не уверен, хотя по стилю вполне могло быть. Но стоит ли его приводить?

... Итак, Изя Львович, обладатель незаурядного носа, со своим дружкой, чемпионом Кузбасса по боксу, Маслобóевым Лёней, фамилию которого иначе, как Маслоёбов, никто и не произносил, отправились встречать Первомай в кампанию к девочкам. Там, будучи в изрядном подпитии, они подрались, и в пылу схватки Лёня применил излюбленный – вот как оказалось! – кузбасский приём: отхватил у Изи пол-носа. Ну, не в полном смысле, разумеется, отхватил, – тот на перемычках между зубными ранками удержался, – но отметинами своими красоту носа попортил. Изю это взбесило, и он подал на обидчика в суд. Таким образом, инцидент выходил за пределы... Тёмное пятно ложилось на репутацию института. Что же это, в самом деле, товарищи, в горном институте творится, если в нём носы студентам откусывают?!

Понятно, администрация огласки такой не хотела и старалась погасить скандал мирными средствами.

... вскоре после моего возвращения из Прокопьевска, как-то утром, когда мы, проснувшись, ещё вылёживались в постелях, в дверь постучали, и в комнату вошёл сам директор Кокорин в сопро-

вождении свиты. Первым делом он сразу поморщился и сказал знаменитую фразу: «Что-то воздух у вас в комнате спёрнутый, хотя бы форточку открыли». Юра Кузнецов тут же и полез форточку открывать. И распахнул её настежь. И оттуда воздухом свежим повеяло.

Кокорин меж тем бесстрастно прошествовал мимо меня и подошёл к следующей кровати, где Изя Львович успел подняться и сесть, свесив голые волосатые ноги. Кокорин, остановился перед истцом и предложил ему забрать из суда заявление, обещая, что дело администрацией института будет оставлено без последствий. Но Изя, к тому времени вставший перед Кокориным на ноги, был настроен принципиально. В ответ на все уговоры Кокорина звучало твёрдое: нет! Не добившись положительного решения, Кокорин с молчаливой свитой комнату нашу покинул.

... через несколько дней, перед началом защиты дипломных проектов, на доске объявлений появился приказ: Маслобоева и Львовича отчислить из института. Без права защиты диплома, от себя я добавлю, а, может, и в приказе так было.

... Но в этом деле самым удивительным было то, что, захав через год в институт, я увидел Иziu и Лёню, в общежитии института. Они шли по коридору обнявшись... Вот как общая беда сплачивает людей!

... К лету разразился приказом министр обороны. Всем нам были присвоены звания младших лейтенантов в запасе, а военком вручил нам офицерские книжки. Исключения для меня, вопреки представлению генерал-майора Гусарова, сделано не было. Трусливый чиновник из министерства сорвал с меня лейтенантскую звёздочку. Ну не Жуков же, в самом деле, читал представления? Да Жуков, пожалуй, вторую звёздочку на погонах мог мне и оставить. Тут самодурствовать, вроде, было ему ни к чему.

... военная карьера и не начиналась ещё, а мне уже была подножка подставлена.

... Диплом на носу, а я ещё шахту не выбрал, куда просить направление. Из рассказов того же Израиля Львовича, бывшего на практике в Томусе, о новой самой большой шахте Союза, о городе, что закладывался в тайге в междуречье рек Томи и У-су, я понял, что ехать надо только туда. По правде сказать, все шахтёрские города мне очень не нравились. Не нравились мне и старые шахты с устаревшим на них оборудованием, со сложившимися на них знакомствами, с кумовством и традициями. Здесь же всё начиналось с

нуля. И традиции будем мы сами закладывать, так мне казалось. Ну, и там же строился гидрокомплекс.

... На защиту дипломного проекта я вышел уверенно. Развесил перед государственной комиссией отлично выполненные мной чертежи, кратко, но точно доложил о спроектированной мной гидрошахте.

Члены комиссии согласно головами кивают, поощряя мои пояснения. Когда я закончил, начали задавать мне вопросы, но вопросы к проекту не относящиеся, а по всему кругу прослушанных мною за пять лет дисциплин. По геологии, системам разработки, шахтному транспорту, водоотливу. На все вопросы я отвечал без запинки. Председатель комиссии, профессор Стрельников, огорошил вопросом совсем неожиданным: какие я знаю способы обогащения полезных ископаемых. Обогащение мы не изучали. Я тут же ему и перечислил всё, что знал: и отсадку, и флотацию, и в реожелобах, и даже амальгамирование (читал, как купола золотили раствором золота в ртути). Стрельников ответом остался доволен.

И тут какой-то невзрачный из членов комиссии, листающий пояснительную записку к проекту, спрашивает меня:

– Почему в вашем проекте нет расчёта шахтного подъёма?

Я отвечаю, что, поскольку главной задачей шахтного подъёма является выдача угля на поверхность, а на спроектированной шахте он выдаётся по трубам водой, то по согласованию между доктором Мучником и дирекцией института, мы – те, кто дипломировал по гидродобыче – рассчитывали только гидроподъём углесосами. Для клетьевого спуска людей, вагонеток с рудстойками, трубами, оборудованием расчёта мощности подъёма в зависимости от суточной производительности шахты не требуется, тут вполне достаточно и типового проекта, что мною и сделано.

Но вездливый член будто не слышал. Всегда находится сволочь, которой я почему-то не нравлюсь, кому не нравятся мои безукоризненные ответы, как тому зав кафедрой рудничного транспорта Мартыненко. Член бубнит снова своё:

– Почему вы не сделали расчёта шахтного подъёма?

Я впадаю в лёгкое беспокойство – ведь я только что ему объяснил, и я довольно резко ему отвечаю:

– Потому что мы рассчитывали гидроподъём угля, дирекция института, чтобы не ставить нас в заведомо неравное положение с остальными студентами, не заставляя делать ненужную двойную

работу, так как уголь из шахты мы обычным способом не выдаём, позволила нам для перемещения по стволу незначительных грузов использовать типовые проекты клетьевого подъёма

Но мой оппонент глух к доводам разума или ему не по плечу такая длинная фраза:

– Почему вы не рассчитали шахтный подъём?

Я уже и не знаю, что такому олуху говорить. Тут вмешивается профессор Стрельников:

– Я думаю, пора прекратить вопросы. Товарищ Платонов защищал, – тут он несколько смягчает формулировку в угоду этому дятлу, – дипломный проект хорошо, на вопросы отвечал отлично. Видимо, достаточно.

Все с ним соглашаются. Мой противник молчит.

Забегая вперёд, скажу, что в итоге Стрельников настоял на своём. В выписке, прилагаемой к диплому, записано: «Защитил дипломный проект с оценкой отлично».

В тот ли день или день спустя Лёша Коденцов интересуется, как я проект защитил. Я, не зная, что в бумагах комиссии они записали, повторяю ему формулировку профессора. «А я проект защитил на отлично», – хвастает он. Я молчу. Ему идиотских вопросов не задавали, хотя он тоже обычный подъём, как и я, не рассчитывал.

... После защиты проекта предстояло получить направление на работу.

Тут никаких препятствий у меня не возникло, так как я шёл в числе первых. Первым на факультете был Саша Романов. Но он не был мне конкурентом, он проектировал обычную шахту и собирался остаться работать в Кемерово.

Когда меня спросили, на какую шахту я хотел бы поехать, я твёрдо сказал: «На шахту "Томусинскую"».

Мне тут же и выписали направление. Заявка комбината на место для шахты "Томь-Усинская" № 1-2 была.

Последние дни в ожидании дипломов и отпускных за два месяца мы совершенно без денег. Как сейчас вижу перед глазами в кафе на Советской за столиком Кузнецова, Рассказова, Савина, я сижу с ними, мы пьём превосходный "Токай", на закуску денег нет, и мы закусываем вино чёрным хлебом.

Но так жить нам уже недолго осталось.

... и вот в актовом зале нам торжественно вручают дипломы, а следом – наиболее отличившимся "общественным деятелям" – и почётные грамоты обкома комсомола. Вручает грамоты "знакомая моя" Дремова.

... когда, совершенно для меня неожиданно, на сцену вызывают меня, и я подхожу к Дремовой, она, вручая мне грамоту и пожимая мне руку, шепчет: «И сама не знаю, за что тебе дают грамоту». Я усмехаюсь. Не буду же я сейчас ей объяснять, что почти три года "тянул" орган администрации, партбюро и профкома. Тут видимо, расстарался Горовский, похлопотал за меня – больше некому.

... Итак, я инженер. Начинается жизнь новая, с новой чистой страницы. А пока – в отпуск, домой на Кубань, в Крым.

... но перед этим, без всякого предисловия, видение неожиданное, странное и красивое, если смотреть на него со стороны. А я со стороны и смотрел.

Как это случилось – не знаю, не помню, не понимаю. Перед зданием института на лужайке в сквере под деревом на зелёной траве, веером подола белого платья покрыв поджатые ноги, сидит Люся Володина, красивая ослепительно. Как лебедь на зелёной траве. Я в своей чёрной отутюженной форме, сверкая всем, что на ней может сверкать, сижу напротив неё, и длинный наш разговор вертится вокруг сначала немого, а потом мной и произнесённого вслух вопроса: «Что же нам теперь делать?» Заканчивается разговор тем, что меня в Кемерово будет ждать письмо "До востребования".

... и совершенно непонятным мне образом у меня оказывается её фотография с надписью на обороте: «Самому близкому и самому лучшему другу Вовке. Людка».

Не написала: «Любимому». Тут к месту бы вспомнить: «Раз так стряслось, что женщин не любишь, ты с дружбой лишь натерпишься стыда...». Но эти строчки не вспоминаются, а надпись воспринимается как надежда на воскрешение любви. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!»

... Пребывание на Кубани, переезд в Крым – всё во мраке неразличимом. Одна лишь картинка Алуште я встретил нескольких одноклассников: Лену Полибину, Ростислава Козлова, Колесникову, Дубровскую, Боровицкого. Договорились нагрянуть к Вере Ханиной в Кучук-Ламбат, в "Карасан", где её мать была главврачом санатория. И нагрянули...

... пировали на широкой веранде квартиры. Купались в мутном море у скал, с дном, усеянным острыми камнями. Фотографировались на память, гуляли по извилистым террасам над крутым, обрывистым берегом бухты, в которую изредка заходили белые катера, на одном из них мы к вечеру и уехали. Это была прощальная встреча нашего класса. После я встречал кое-кого по отдельности, но вместе – уже никогда. Ещё одна страница была перевёрнута.

Задержавшись на десять дней сверх положенного мне отпуска, уезжаю из сухого, чахоточного (по сравнению с роскошным Кавказом), но ставшего мне родным, Крыма в Сибирь строить свою карьеру, или, как тогда понимал, трудиться на пользу людям и государству, работать для них так же, как и они работают для меня, делая сообща жизнь нашу краше, светлее, богаче, интересней, разнообразнее.

... опоздав на эти десять дней, я первым делом устремился не в далёкую Томусу, а заехал в Кемерово. На это у меня была основная причина.

Надо было получить обещанное письмо от Людмилы. Письмо меня ждало на почте, и мне его благополучно вручили. В письме Людмила сообщала свой сталинский адрес.

В Сталинске я вышел из поезда на вокзале почти в центре города в двенадцатом часу жаркого сентябрьского дня и сразу поехал разыскивать Людмилино общежитие. Путь на шахту мне указали прохожие: трамвай номер такой-то. В этом трамвае я и покатил по центральной улице города мимо большого кинотеатра полукругом выступавшего на прилегающую к улице площадь и далее, пока не уткнулся в громаду Кузнецкого металлургического комбината (КМК).

Десятка три металлургических домен (так, с перепугу, мне показалось – на самом деле их было штук шесть или восемь), оплетённых паутиной толстых членистых труб, с какими-то вспомогательными сооружениями, где чадившими, где извергавшими клубы чёрного дыма, где выбрасывавшими чёрные дымные хвосты, тёмной грязной завесой заслонили здесь небо. И протянулась чёрная эта завеса на многие километры слева от горного края направо до невидимой в низине Томи. Чудо советской индустрии выглядело исчадием ада.

Трамвай завернул налево к горному краю, объезжая грандиозное создание рук человеческих, причём, если до КМК он лихо домчался, то вокруг него он уже еле тащился. То есть по рельсам-то он

ехал нормально, да сами рельсы от комбината съехались в одну колею с разминовками на бесчисленных остановках. До сих пор не могу забыть тяготину этой езды! На каждой остановке наш трамвай долго стоял, ожидая прихода встречного трамвая. Мучение – не езда! Обогнув, наконец, махину Кузнецкого комбината и выкатив на простор с другой его стороны, трамвай достиг конечного пункта, а я пошёл искать общежитие.

Посёлок шахты – на самой окраине Сталинска (хотя какая окраина может быть за КМК – который сам конец всему свету!), – посёлок этот показался мне беспорядочным нагромождением жалких халуп, из скопления которых кое-где высывались двух и трёхэтажные оштукатуренные дома. Но не посёлок меня озадачил. Что? Не видел шахтных посёлков?! Хотя этот и был среди них выдающимся... Озадачил не он, гул, тяжёлый низкий над ним, меня озадачил. Разве можно жить в таком шуме?.. Гул сильный, назойливый, неумолчный был рёвом могучего шахтного вентилятора, сосущего воздух из вентиляционного ствола шахты в центре посёлка.

... но, похоже, он мало кого беспокоил. Может быть даже, из-за него местные жители гордо назвали свой посёлок именем грозного римского бога – Юпитер.

... грозный гул, жалкий "Юпитер".

Нужную дверь я нашёл очень быстро: на дверях висели эмалевые номера, и постучал. Дверь отворилась. На пороге Людмила, красивая, радостная, сияющая. Едва я закрыл дверь за собой, как она обвила мою шею руками, и губы наши слились. О! Как божественен был поцелуй! Как теплы её влажные губы! Выше любой награды за все перенесённые муки! Но он закончился, а поговорить нам уже некогда было. Шёл второй час. Люся торопилась к наряду на шахту. Я хотел было её проводить, но она предложила мне с дороги помыться и отдохнуть. Указав мне, где у них умывальник, она разобрала постель: «Поспи, пока я вернусь», – и исчезла, улыбнувшись мне на прощанье.

... я умылся до пояса под краном холодной водой, смыв пот и дорожную пыль, и, вернувшись в комнату, осмотрелся. Комнатка была небольшой. В ней две кровати. Одна – слева под окном, опрятно убранная, пустая. Хозяйка её была на работе. Вторая – справа, Люсины, разобранная, у стены, и я, раздевшись, улёгся на ней, укрывшись прохладной белой простынкой.

... это чувство нельзя передать – лежать в постели любимой. Я об этом и не мечтал. Казалось, она хранила тепло и черты её тела. В то время Бродский не написал ещё своё дивное "Ниоткуда с любовью":

В темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало, повторяя.

А я не поэт и не мог, не умел подобным образом выразить трепетного своего состояния. С этим блаженным чувством ощущения простыни, которая касалась тела моей любимой, я неожиданно сразу заснул.

Разбудил меня голос взвинченный, разъярённый, без стука ворвавшийся в комнату:

– Кто вы такой? Здесь женское, – голос поднялся до ноты визгливой, – общежитие, и вы не имеете права здесь лежать на кровати, – орала непрошенная посетительница. Надо полагать, комендантша.

От такого бурного перехода к яви от сна, я опешил и быстро выпалил первое, что пришло в голову – соображать было некогда, да и в самом деле, кто я такой: не муж, не жених.

– Я брат Володиной. И ничего страшного нет в том, что я здесь лежу. Ведь здесь не общежитие школьниц, а женщин вполне взрослых, так что не будем говорить о правах...

Но блюстительнице социалистической нравственности не терпелось устроить гнусный скандал, и, боясь повредить Люсе, я смирил тон, сказав смотрительнице, что правилам подчиняюсь, но её прошу удалиться из комнаты – не могу же я одеваться при женщине...

... через полчаса вернулась с наряда Людмила, и я рассказал ей о случившемся. Мы весело посмеялись и поупражнялись в злословии по поводу заведённых порядков. Возможность административно-бытовых неприятностей, похоже, не очень огорчала Людмилу. Или она вида не подавала.

... ночевать она меня отвела на второй этаж к нашим ребятам. Одна койка в их комнате пустовала: кто-то был в ночной смене.

... Одиннадцатого сентября, стоя в кузове и держась за крышу кабины попутной полуторки, я переехал мост через Томь и въехал в старую часть города, в дореволюционный Кузнецк, держа путь на восток.

Выехал я утром в настроении самом неопределённом. Хотя вчерашних полдня я и провёл с моей ненаглядной, и о чём только с нею не говорил, но главное сказано не было, о дальнейших отношениях с ней. Со мной-то всё было ясно, я любил – хоть сейчас под венец. Я ждал, что скажет она. Но она ничего не сказала. Поцелуи, улыбки – это всё хорошо, но... мне этого мало. Мне бы надо было её прямо

спросить. Разобраться, что она думает, что хочет, чего ожидает, как она собирается поступать дальше со мной. Надо было сразу расставить все точки над *i* и, быть может, поставить всего одну жирную точку в конце. Но я ни о чём спросить не решился, совершив очевидную глупость – так боялся её потерять, так боялся сразу лишиться надежды. Да, я точку поставить боялся, впрочем, ответы её могли быть уклончивы. Тем не менее, всегда лучше сразу решать, это я и тогда понимал, но одно – понимать, другое – переступить через чувство. Хотя сто раз теперь повторю, надо, надо и надо. Но это теперь! Словом, ехал, я так ничего и не выяснив, ничего не разрешив.

... между тем машина виляла между домишками, лепившимися к подножью возвышенности, склоны которой абсолютно безлесные, серые, каменистые поднимались вверх круто. Наверху замечались неказистые строения или остатки строений – снизу не разглядеть. Это тот самый острог, где когда-то пребывал Фёдор Михайлович Достоевский, которого я в то время совсем не читал по причине достаточно уважительной: его при Сталине совсем не печатали, из библиотек и старые издания были изъяты. Здорово нас духовно кастрировали большевики!.. Знал я, конечно, что Достоевский писатель большой, что на Западе его почитали наравне со Львом Николаевичем. Но в наших школьных учебниках о нем было всего несколько строк: петрашевцы, имитация казни, Кузнецкий острог, а потом – реакционер, мракобес. Всё это тогда нисколько меня не беспокоило, так как было вне моей жизни, а догадаться, что всё это влияет на мою жизнь, я не мог, так как сам глуп был непроходимо, и окружения осведомлённых людей не было у меня.

Вглядываясь с интересом наверх, я не нашёл ничего, за что взгляд бы мог зацепиться, и повернулся вперёд навстречу бежавшим домам и бившему в лицо ветру. Я всегда любил ездить в кузове на открытой машине, когда вокруг бескрайний простор, нет преграды глазам, и тугой воздух хлещет в лицо сильнее, сильнее, и ты ложишься грудью на крышу кабины, держа её в своих широких объёмах, чтобы ветром тебя назад не отбросило.

... а машина набирала скорость, город сгинул у нас за спиной, и впереди бежала лента ровного нового, не разбитого машинами, асфальтированного шоссе. Оно, слегка завернув к северо-востоку, оставило слева шахтный посёлок и следом резко свернуло на юго-восток. По левую руку местность всхолмилась, и, чем круче забирала к югу машина, тем выше становились холмы, превращаясь в череду сопков и гор, почти чёрных от сплошного пихтового леса. Проскочив второй

раз по второму мосту через Томь, делавшей здесь крутой поворот от гор (я смотрел навстречу течению), мы через час проехали небольшой деревянный посёлок под названием Мыски. Прогрохотали по гулкому железному мосту через полноводную реку Мрас-су, текущую справа налево и там, слева, у сопок впадающую в реку Томь.

Машина шла вдоль Томи к верховьям её, гряда гор придвинулась к реке и дороге вплотную, стылое зеркало реки то проглядывало сквозь густые кустарники и перелески, то вообще скрывалось за ними.

... была ранняя осень, деревья ещё не покрылись пёстрым нарядом, зеленели, лишь у самых верхушек кое-где тронутые то желтизной, то алым налётом, и в лесах, и на земле преобладали зелёные и тёмно-зелёные краски. А над всем этим, над головой – купол чистого ясного неба поразительной голубизны, в котором золотится диск солнца, уже нежаркий, но ещё слепящий глаза. И от этого, от золотистой прозрачности воздуха, бьющего с размаху в лицо среди лесов и сопок с их пока робким разнообразием красок, отлетала печаль, и напитывалась душа радостью бытия, смешанною с тревогой, не скрою, – как-то всё выйдет с работой. И всё-таки ликование красоты пересиливало тревоги, и радость молодости, в которой жизнь была ещё беспредельной, торжествовала.

... да, вся жизнь была ещё впереди.

За Мысками Томь вильнула на запад, в ту самую сторону, откуда минут за двадцать до этого пришла в неё Мрас-су, оставив у левой гряды гор У-су, свой широкий прозрачный приток. А мы в третий раз по очередному мосту проскакиваем через Томь. Дорога держится теперь близ У-су, в то время как Томь, отвалившая вправо, уходит всё дальше и дальше к цепочке гор, незаметно возникшей и с дальней той стороны, и исчезает из виду.

Впереди к стальному мосту через У-су – высокая насыпь железной дороги, тянущаяся оттуда, куда отвильнула Томь (на самом-то деле она оттуда текла). Насыпь перекрывает нам путь, но, подъехав поближе, я замечаю в ней короткий прямоугольный тоннель. Нырнув в этот тоннель и вынырнув по ту стороны насыпи, машина поворачивает на въезд в город, оставляя мост слева, и выкатывается на проспект.

Собственно, города ещё нет. Очертилась тремя большими законченными (и заселёнными, по всему) домами на правой руке и несколькими такими же (о пяти этажах) ещё строящимися – на левой прямая широкая улица, упиравшаяся вдали прямо в сопку, у подножия кото-

рой по склонам белели частные домики. Пятиэтажки на плоской местности между У-су и далёкой невидимой Томью вздымались высокими островками, вокруг которых земля была вздыблена грудами. И по глинистым жирным отвалам ползали между ними гусеничные драглайны, вычерпывая из котлованов тёмную густую болотную массу и загружая её в железные кузова подъезжающих самосвалов. Другие машины засыпали готовые котлованы гравием и песком.

... Вид был не очень отрадный.

... въехав в город, полуторка стала, я перекинул ногу через деревянный борт кузова, поставил на колесо и спрыгнул на землю. Шофёр указал мне на шахту:

– Видишь здание за рекой?

Подхватив свой лёгкий фибровый чемоданчик, я дотопал до насыпи, поднялся по съезду на мост. Мост был внушителен. С рельсовым путём для грузовых поездов, отделённым двумя рядами ферм от двух дощатых дорог на пролётах, лежащих на мощных опорах-быках, и с двумя дощатыми тротуарами, вынесенными на консолях по сторонам автомобильных полотен. Пешеходные эти настилы от реки ограждались стальными решётками, дабы кто в реку не свалился. По ближайшему из них (то есть правому) я и пересёк впервые У-су, и административно-бытовой комбинат (АБК) огромнейшей шахты предстал перед глазами моими.



Рис. 21. Справа шахта "Томь-Усинская" № 1-2 в 1955 году

... голубое с белым двухэтажное здание с высоким фронтоном и двумя длинейшими крыльями. Сталинский ампир, одним словом. Но смотрелось неплохо!

Тут попытаюсь забежать немного вперёд, чтобы после на описания не отвлекаться.

За фасадом – торцом к главному зданию – двухэтажная часть, где размещались шахтные мойки (рабочая, ИТР, начальника шахты). От неё в самом конце справа – ответвление с выходом во внутренний незамкнутый двор, там, внизу, помещались вентиляционная служба и шахтный медпункт, а у подъезда постоянно дежурила "скорая помощь". Поверху был переход в крытую шиферную галерею, перекинувшуюся на опорах через небольшую реку Ольжерас до устья штольни второго горизонта (+ 245 метров). А от восьмизэтажного кирпичного здания обогатительной фабрики (ОФ), что в глубине промплощадки слева за АБК, протянулась такая же галерея через речку и далее множественными уступами по склону сопки вверх до штольни первого (+ 345 метров) горизонта.

Левой АБК – двухколейный железнодорожный путь мимо угольного склада, эстакады погрузки и обогатительной фабрики проходит на территорию лесного склада, где и заканчивается. Правое шоссе, свернув налево от моста, переваливает рельсовые пути и, слившись со второй своей половиной, уходит в сторону, оставляя слева чёрный пруд шламохранилища по одной стороне (до подножия Лысой сопки) и ОФ – по другой.

... Лысая сопка круто начинается от реки ниже моста. Она действительно лысая. Лес на ней вырублен дочиста, лишь реденькие пихты торчат на её склонах неопрятной щетиной. Там же, где у её дальнего пологого склона начинался подъём шоссе, приткнулись сначала одинокие, а потом и скопом частные домики, столь обычные для Советской России, неказистые и поставленные кое-как. Ещё дальше двумя ровными рядами выше дороги выстроились двухэтажные оштукатуренные дома посёлка строителей.

... В АБК я поднялся на второй этаж по широкой парадной лестнице, отыскал там приёмную, где у рассыльной (секретарша отсутствовала) узнал, что начальника шахты зовут Григорий Яковлевич Плешаков, что он сейчас у себя в кабинете. Постучав и не услышав ответа – не надо было стучать, двери были двойные, – я решительно вошёл к нему в кабинет в форме студента горного института, но уже без конртогон.

– Можно? – спросил я, вошедши.

– Проходите, – сказал маленький человечек с крысьим лицом, сидевший в пустом кабинете за огромным столом. Ещё один стол, только намного больших размеров, стоял у окон по правую руку от

входа, а вдоль двух остальных стен выстроились вплотную обыкновенные стулья, такие же, как и возле длинного большого стола.

Подойдя к начальственному столу, поздоровавшись, я протянул Плешакову своё направление. Плешаков взял направление, не пригласив меня сесть – я так и стоял перед ним, – просмотрел его и ответил:

– У меня нет свободных мест начальника или помощника начальника участка.

– Я согласен временно и горным мастером поработать, – в ответ сказал я.

– Но у меня нет и свободной должности горного мастера, – начал он раздражаться.

– Как же так, – возразил я, – была заявка комбината для шахты, существует договорённость доктора Мучника с руководством комбината "Кузбассуголь" о направлении выпускников, специалистов по гидродобыче угля, на шахты, где строятся гидрокомплексы, чтобы они могли ознакомиться с горно-геологическими условиями там, где им придётся работать. И не сам же я выписал себе направление. Под ним подпись и представителя комбината.

– Я ничего не знаю, – ответствовал на мою горячую речь Плешаков, – у меня мест нет.

– В таком случае я вынужден обратиться в трест, – сказал я.

– Да, да, обращайтесь, – поощрил меня Плешаков.

– До свиданья, – сказал я.

– До свиданья.

Я вышел на улицу, прихватив оставленный в приёмной на стуле свой фибровый чемодан. О настроении моём лучше не говорить. Было оно препоганое: с самого начала всё летело к чертям. Шахта и будущий гидрокомплекс...

... Трест "Молотовуголь", в подчинении которого была шахта, располагался в Осинниках, городке такого же типа, что и другие шахтёрские города. Туда по прямой-то – всего ничего, за час бы, наверное, можно было доехать, перевалив за водораздел. Да в том-то и дело, что перевалить за водораздел было нельзя: болота, реки, горы, тайга, непроходимые буреломы... Надо было ехать в обход по дуге через Сталинск, и далее таштагольским поездом добираться. Правда, и автобус из Сталинска тоже ходил до Осинников. Так что не помню, как я туда попал.

Помню лишь трест, трёхэтажное здание, длинные коридоры, второй этаж, где приёмная и кабинет управляющего, куда добрался

я к середине следующего дня. Но что было в промежутке между Томусой и Осинниками, где ночь скоротал, ничего нет в голове. Сутки напрочь исчезли. Но к Людмиле – точно – не заезжал.

... управляющего на месте не оказалось. Молодая любезная секретарша сказала, что он будет во второй половине дня, и мне придётся его подождать.

Сидеть на стуле в приёмной – радости мало. То есть можно было секретаршу разговорами развлекать, но этого я тогда не умел, а сидеть и молчать – тягостно, нудно. Я вышел в коридор побродить. Коридор был, повторяюсь, длинен и узок, как в обычном общежитии шахты, но в центре здания, против лестницы с первого этажа, он расширялся до противоположной стены так, что и окно там даже было. В этом "холле", как сказал бы теперь, почему-то одиноко стоял конторский стол с двух тумбах. Стульев не было. Когда ходить взад-вперёд мне наскучило, я взгромоздился на стол, болтая ногами. Тут мне пришло в голову написать Люсе письмо. Я достал лист бумаги, и, сидя на столе, согнувшись в три погибели, быстро написал Людмиле письмо и как-то само собой неожиданно сложившееся стихотворение:

Мы пили третий день токай,
Закусывая чёрным хлебом...

... Управляющий, Соколов, появился часа в четыре. Принял он меня примерно так же, как Плешаков. В просторном кабинете он сидел за огромным, как и у Плешакова, столом, а я стоял перед ним, как настырный проситель, протянув своё направление и излагая суть происшедшего.

– Ну, нет, нет мест на шахте у Плешакова, – сказал Соколов. – Выбирайте здесь любую шахту, "Капитальную" первую, вторую, третью...

– Но ведь смысл моего направления состоит в том, чтобы к пуску в эксплуатацию гидрокомплекса, на котором я буду работать, познакомиться с характером и особенностями обрабатываемого пласта, – настаивал я.

Бесполезно. Мы холодно попрощались, причём на прощанье Соколов посоветовал мне не мудрить и подыскать себе шахту по вкусу в Осинниках.

Выйдя из треста, я опустил в почтовый ящик написанное письмо, сел в городской автобус и проехался вдоль Осинников. Это был типичный шахтёрский город, состоявший из слившихся между собой шахтных посёлков, разбросанных редкими домами по холмам и сгущавшимися к зданиям АБК шахт. Далекое не таким нарядным, как АБК в Томусе. Хотя город был обжитым, но растянутость его –

одна длинная улица – и беспорядочная разбросанность некрасивых трёхэтажных домов произвели на меня гнетущее впечатление дикого захолустья, усугублявшегося наступающими сумерками.

В Томусе между реками Томь и У-су не было ещё почти ничего, но уже явственно выделось, что нечто со временем будет. Здесь же – никакой перспективы.

К тому же, признаюсь, не по нутру мне работа в шахте обычной. Все эти лавы, шаги посадки, обрушения кровли далеки от предсказуемой управляемости. Гидродобыча позволяет контролировать технологию и почти не зависеть от прихотей горной стихии. Как бы не уговаривал меня Соколов, не хотел я навсегда обрекать себя на обычную шахту!

Не последнюю роль сыграл и вид томусинского АБК. Он был новее, светлее, чище, просторнее всего, что я видел до этого. И как тут не вспомнить, спустя много лет мой хороший знакомый, у которого часто мы собирались в Луганске на литературные чтения, Тимофей Григорьевич Фоменко повезёт сына своего, Анатолия – ныне математика, академика РАН, – выбирать институт для продолжения ученья, и решающим станет внешний эффект: "мрамор" МГУ.

... пока я катил по Осинникам, день посинел, сумерки сгустились, и думать об отъезде уже было нечего. День угас совершенно. Не знаю, что думал я предпринять. Ехать в комбинат к Линдену?.. Но случай иначе всё разрешил.

Я отыскал городскую гостиницу, номера свободные были, и меня поместили на втором этаже в номере на двух человек, причём этот второй человек там уже был. Мы быстро с ним познакомились и, хотя он был постарше меня, разговорились. Этот молодой человек был в тресте в командировке, а работал он в министерстве в Москве.

– Ну, а вас что сюда привело? – полюбопытствовал он.

Вопрос был весьма кстати, самое время с кем-либо бедой своей поделиться.

Мой собеседник меня внимательно выслушал и, когда я закончил: «Теперь один, видимо, выход, ехать в Кемерово в комбинат, но как-то там всё обернётся», – сказал:

– Подожди. Сегодня в гостинице остановился начальник комбината Кожевин Владимир Григорьевич, он хороший мужик. Попробуй попасть к нему.

– Но как же я к нему попаду?

– А ты подойди к его референту – он тут всё время по коридору туда-сюда с поручениями мотается – и спроси, не сможет ли Кожевин тебя принять. Идём в коридор, я тебе его покажу.

Мы вышли с ним в коридор и стали прохаживаться по ковровой дорожке. Через время совсем небольшое из самого в коридоре последнего номера вышел стройный высокий молодой человек – весь с иголки – в ладно сшитом чёрном костюме и при галстукке на белой рубашке. Он прошёл мимо нас к лестнице и скрылся за поворотом.

– Вот он и есть референт, – сказал мой сотоварищ, назвал его имя и отчество и ушёл в нашу комнату.

Референт возвратился через минуту, потом снова вышел и стал неспешно прогуливаться по коридору так же, как я. В какой-то момент мы с ним встретились. Я остановил его, извинившись, и спросил, не сможет ли Владимир Григорьевич принять меня. Референт стал расспрашивать, по какому поводу я хочу видеть Кожевина, и я коротко ему всё рассказал.

– Хорошо, – сказал он, – я доложу Владимиру Григорьевичу, – и пошёл. Через несколько минут он вышел и сказал: Владимир Григорьевич вас примет. Заходите.

Я слегка приоткрыл дверь в номер Кожевина, спросил: «Разрешите?» – и, услышав в ответ: «Да, да. Входите», – вошёл в полутёмную комнату. Кожевин, мужчина могучего телосложения, сидел в кресле за столиком у окна, задёрнутого тёмными зелёными шторами. На столе – высокий гриб настольной лампы со стеклянным абажуром очень мягкого приятного зелёного цвета. В освещённом круге под ним лежали папки, стопка бумаг – видимо, он их просматривал. Повернувшись ко мне всем корпусом и ответив на моё приветствие, он кивнул на стоящее левее стола кресло: «Садитесь», – а когда я сел, спросил:

– Ну так что же вас ко мне привело?

Я рассказал ему, опять же коротко очень, о моих злоключениях на шахте и в тресте. Выслушав меня, Кожевин обернулся к стоявшему всё это время посреди комнаты референту, назвав его по имени отчеству:

– Возьмите мой блокнот и запишите.

Тут референт включил верхний свет, и комната осветилась молочным плафоном на потолке. Он взял дорогой толстый блокнот в кожаном переплёте и стал в нём что-то быстро записывать карандашом.

Кожевин снова повернулся ко мне:

– Я сегодня ещё буду у Соколова (сохранялись ещё сталинские привычки работать ночами), а вы завтра утором зайдите к нему. Надеюсь, всё будет хорошо. Всего вам доброго!

Я поднялся. «Большое спасибо», – сказал я, повернулся, глазами и наклоном головы поблагодарил и помощника, сказал общее: «До свиданья», и вышел.

... бывают на земле, что бы ни говорили, хорошие люди.

Ночь, как обычно, я проспал беспробудно, а утром пораньше был в приёмной у управляющего. Но свидеться с Соколовым мне никогда больше не довелось. Нет, с ним ничего не случилось. Просто, едва я вошёл, секретарша, бросив на меня взгляд, сразу спросила: «Ваша фамилия Платонов?» – В ответ на моё: «Да», – она поднялась и протянула мне лист белой бумаги. Я принял его и взглянул: на трестовском банке было напечатано на машинке:

Начальнику шахты "Томь-Усинская" № 1-2
тов. Плешакову Г. Я.

Примите горного инженера Платонова В. С. на должность горного мастера.

12. IX. 55. Управляющий Соколов

... Вот так всё быстро решилось. Одна победа одержана.

На следующий день я вручил письмо Плешакову, и в моей трудовой книжке была сделана первая запись:

14. IX. 55. Принят горным мастером на уч. № 6.

Итак, я вручил письмо Плешакову. Как он это воспринял – мне не запомнилось. Помню, что вошёл в его кабинет вместе с другим инженером, молодым, но уже сильно заматеревшим. Его Плешаков без разговоров определил начальником транспорта горизонта +245 метров, то есть нижнего горизонта, что на уровне промплощадки.

Новый начальник – электромеханик по специальности, Черных по фамилии – был на четыре года старше меня, и стаж работы у него был на столько же больше – так что для Плешакова с ним никаких проблем. Я же пока – полный нуль, пролезший на шахту против воли его.

... вместе с Черных я получил у зам начальника шахты по быту направление в общежитие. К слову сказать, выше шахтного начальства в Томусе не было никого. Ни советской, ни вообще никакой власти не было. На комсомольский и военный учёт я ездил становиться в Мыски.

Нас обоих поселили в большом бревенчатом доме на втором этаже в угловой комнате, на солнечной стороне, с окнами на Ольжерас. Дом был в полукилометре за шахтой вверх по течению Ольжераса и когда-то, не так и давно, в нём было полным полно заключённых, начинавших строительство.

Да, дом был за шахтой, за плоской промплощадкой её с АБК, ОФ, угольным складом, механическими мастерскими, лесным складом, за колючей проволокой ограждения которого кончалось ответвление железной дороги. Промплощадка, достаточно широкая возле У-су от впадения в неё Ольжераса и до линии железной дороги, постепенно сужалась к лесному складу, зажата между двумя грядами сопков. Слева, как упоминалось, до посёлка строителей поднималась асфальтированная дорога. Наш бревенчатый дом, а за ним второй точно такой же, стоял напротив посёлка, правее его, под дорогой, в низине, так что крыши домов над дорогой едва выступали. И совсем рядом с домами, ещё чуть правее, катилась сверху по широкому галечному руслу прозрачная вода неширокого сейчас, неглубокого Ольжераса. За ним уже лес и гора.

В дома наши, ставшие ныне пристанищем для свободных трудящихся, можно было попасть от дороги по ступеням деревянной лестницы и дощатому настилу до крыльца в торце дома. За входной дверью тянулся коридор, деливший дом на две части. По левую руку – большой проём без дверей, открывавший вид на неоштукатуренное закопчённое помещение. Я в него заглянул. Посреди – плита необъятных размеров. Это был лист толстой стали, в полтора, верно, пальца, положенный на кирпичную кладку, в которой с одной стороны – топка, а с другой – дымоход. Плита дышала жаром котельной, местами в стальной чёрной плоскости проступали пятна с оттенком тёмно-малиновым. На плите – множество чайников и кастрюль самых разнообразных форм и размеров.

На железных проволоках, натянутых под потолком над плитой, сушились пропотевшие насквозь портянки, их тяжёлый дух наполнял помещение, и дышать этим духом было нельзя. К горячей кладке печи всюду тулились резиновые, влажные изнутри, сапоги, от которых тоже не одеколоном несло. Я не выдержал и секунды, и загадкой осталось, как рабочие могли варить там супы, жарить яичницу и картошку. По всем правилам и законам природы их оттуда должны выносить были замертво.

... но живуч человек.

Плита топилась углём круглосуточно. Уходящая смена забиравала свои высохшие шмотки. Пришедшие из шахты на проводах развешивали свои.

... В нашей комнате вдоль глухих стен стояли две железные кровати с жёсткими сетками, с ветхими шерстяными одеялами, на которых от ворса и следа не осталось, с серыми простынями и наволочками, два стула. Стола не было – был подоконник. Стены, правда,

оштукатурены по обрешётке и побелены. Но всё равно, неприглядно, голо и неудобно.

... наутро с восходом солнца мы с соседом выскочили на улицу, пробежали несколько метров до Ольжераса, обмылись до пояса студёной водой и отправились на работу.

День начинался солнечно, пригревало даже немного, но воздух, как и вода, был ледяной, благо не было ветра. Но не было и признаков заморозков, инея то есть. Тишь стояла прозрачная, ясная. Листья кустарников и деревьев ещё зеленели, но кое-где были тронуты желтизной, кончики листьев кое-где покраснели – словом, все признаки наступающей осени обозначились налицо.

В АБК впечатления напитанного солнцем и бледными красками утра были сразу забыты.

... от входных дверей АБК – впереди вестибюль и прямо лестница, по которой я уже поднимался. Стены голубые, как и снаружи, с прямоугольными белыми выступами фальшколонн, увенчанных лепными карнизами, из центра лепного круга на потолке свисает большая хрустальная люстра. Влево из вестибюля – коридор в левое крыло, по обе стороны которого двери кабинетов участков – раскомандировок. Правое крыло отгорожено стеной с аркою для прохода. В нём – во всё крыло здания – зал с большими окнами справа, и лишь по левой стене – двери раскомандировок участков.

Как раз в самом начале этого зала слева и отыскалась дверь с табличкой "Участок № 6". Я открыл дверь и вошёл в помещение. В комнате плавали слои плотного сизого дыма, сквозь который в скудном электрическом свете видны были силуэты людей в замусоленных брезентовых робах и чёрных ребристых фибровых касках. Рабочих было в комнате человек до тридцати-сорока. Часть из них расселась по обе стороны кабинета на деревянные лавки, вроде тех, что стоят в парках, и на такой же лавке у окна, где был стол с телефоном. Но как раз против самого окна за столом оставлено место. Те, кому не хватило сидений, стояли, естественно. Я протиснулся между шахтёрами, заняв за столом свободное место, мимоходом заметив, что за спинкой лавки – от стены до стены – чугунная батарея, от которой так жаром и пыhalo.

– Здравствуйте, – сказал я, усаживаясь и беря в руки книгу нарядов, лежавшую на столе, – я назначен к вам горным мастером.

– Новичок, стало быть, – донеслось из толпы.

– С вашей помощью постарею, надеюсь, – в тон сказавшему попробовал я отшутиться. – А сейчас я хотел бы знать положение в лаве. Когда мастер ночной смены звонит?

– А у нас одна смена, – слышались голоса.

«Как же так, – подумалось мне, – меня не предупредили об этом». – Но делать-то было нечего.

– Кто же сменой управляет? Где ваш горный мастер? (О том, что нет начальника и помощника, мне уже сообщили).

– А мы две недели без горного мастера. Вон бригадир сам себе наряды даёт.

«А Плешаков говорил, что нет места горного мастера, – пронеслось в голове, – видно фигура моя, несолидная, длинная, тощая, сразу ему не понравилась».

Я попросил бригадира рассказать мне о лаве. Тот на листочке набросал мне схемку забоя с двумя выступами в середине и сказал, что лава подрублена (так я о врубмашине в лаве узнал), и что сейчас они собираются обурить и отпалить второй уступ.

– А почему лава уступами? Почему не берёте подряд?

И бригадир и прислушивавшиеся к разговору навалоотбойщики рассмеялись:

– Сначала берём, где уголёк помягче и кровля покрепче.

– Но ведь и остальное всё равно вам же придётся брать, раз другой смены нет?!

На это все промолчали.

– Ну, хорошо, – сказал я, – что от меня нужно?

Тут в толпе сделалось движение, и ко мне протиснулся взрывник с путёвкой на выдачу аммонита. Я, не глядя, её подписал. Всё равно ничего же не знаю... Взрывник отошёл, а меня обступили рабочие и один за другим стали класть требования, кто на коронки для свёрл, кто на резиновые сапоги, брезентовые рукавицы, лопату, топор. Особенно рукавиц было много. Я слегка насторожился и... эх, была, не была – все требования, ничего не расспрашивая, подписал. Стыдно было признаться, что ни о чём этом понятия не имел, ни где выдают, ни каковы нормы расхода, ни что вообще это в мои обязанности входит. Ну, если что и не так, на первый раз, авось, пронесёт...

Хотя я лихо со всем этим разделался, но чувствовал себя неуверенным и беспомощным и, что делать дальше, не знал.

– Теперь вам надо на планёрку, – подсказал бригадир, – она у главного инженера, ну, а мы – в шахту.

Я попросил бригадира задержаться немного, чтобы после планёрки он свёл меня в лаву.

– А у вас роба есть? – спросил он.

– А разве в раздевалке мне не дадут?

– Не знаю, но лучше вам своей спецовкой обзавестись. Выпишите себе резиновые сапоги, портянки, бельё нательное, костюм х/б, костюм брезентовый, каску – под каску берет бы неплохо достать, – полотенце, мыло хозяйственное, рукавицы брезентовые... Вроде бы всё... Да, ещё фляжку... Сегодня всё получите, а завтра уж вместе и в шахту поедем. А пока мы и сами управимся. Давайте-ка мне путёвку.

Я отдал ему путёвку, в которой сам себе наряд написал: «Отпалка второго уступа, выгрузка угля, крепление забоя строго по паспорту...», после чего поднялся на второй этаж в кабинет главного инженера.

Сущность планёрки в том состояла, что главный – добрый сухонький сморщенный старичок (сразу угадалось, что человек бесхарактерный) – называл номер участка, а начальник участка (или помощник его) называл "цифру" – число тонн ожидаемой за смену добычи угля: шестьдесят там тонн или восемьдесят... Изредка вокруг "цифры" возникал небольшой спор, мирно кончавшийся, обычно в пользу участка.

Прикинув, сколько выйдет угля из уступа, я сказал, когда очередь дошла до меня: «Семьдесят тонн», – что и было принято без возражений. По окончании этой планёрки главный просуммировал числа и позвонил по телефону в Осинники, передал планируемую добычу на первую смену.

Оставшийся день я провёл в разных хлопотах. Каким-то образом у меня появилось всё, о чём бригадир мне говорил; в предбаннике итээровской мойки получил шкафчики для чистой и грязной (рабочей) одежды, с врезными замочками, которые, как скоро выяснилось, в смущение воров, коих среди ИТР оказалось немало, не приводили ни сколько. Особенно часто подменивали резиновые сапоги. Свои, рваные, вместо целых чужих в шкафчик обворованного подбрасывали.

... в ламповой получил я жетон, по которым выдавали аккумуляторные лампы и бензиновые (для контроля содержания метана и углекислоты – всё та же лампа Гэмфри Дэви, известная мне, кажется, по роману Эмиля Золя). По этим жетонам, вывешенным на доске, проверялось и число людей в шахте.

Зашёл я и в маркшейдерский отдел, чтобы не чувствовать себя совсем дураком и почерпнуть хоть какие-то сведения о пласте и о лаве. Выяснилось, что участок заканчивает отработку обратным ходом столба в верхнем слое пласта III, а всего слоёв – четыре, так как пласт мощный – девять с половиной метров. Падение – пологое (до пятнадцати градусов), уголь крепкий, коксующийся. Поскольку та-

кой мощный пологий пласт никакими мыслимыми в то время способами (кроме гидродобычи, в скобках замечу) на всю высоту сразу взять невозможно, то проектом и предусматривалась разработка его слоями в нисходящем порядке...

Верхний слой подрубается врубмашиной, и уголь вынимается взрывными работами. Почва слоя после выемки застилается в перекрест стальной сеткой, на которую укладывается деревянный настил. На этот настил производится обрушение кровли, а с поверхности в выработанное пространство через скважины закачивается глинистый раствор, долженствующий заполнить пустоты и связать (сцементировать) глыбы породы. Через полгода, когда по расчётам глина высохнет, и всё выработанное пространство превратится в один сплошной монолит, второй слой под настилом вырабатывается комбайном "Донбасс". Таким же образом отрабатываются и последующие слои: третий, четвёртый. Нечего и говорить, что ничего этого на самом деле не делалось. То есть были, конечно, слои, врубмашина, и комбайны "Донбасс", да всё происходило совсем по-другому. Хотя видимость соблюдалась. Но ни сеткой, ни глиной порой и не пахло. Был лишь раздавленный дощатый настил. Но это я вперёд забегаю.

... итак, лава наша длиною в сто метров находилась в самом верхнем слое под кровлей пласта и двигалась к бремсбергу – наклонной выработке у почвы пласта с ленточным транспортёром, на него выходили конвейерные штреки лав разных участков с обеих сторон.

Лавы шли на бремсберг обратным ходом, то есть штреки были заранее пройдены до границ участков, и это было разумно: и выемка угля не сдерживалась проходкой, и полузадавленные штреки за лавным забоем не надо поддерживать. Лес к лавам подавался в "козах" по параллельному бремсбергу и вентиляционным штрекам с рельсовыми путями вверху лав.

Чтобы дорисовать картину – ещё несколько строк. Под бремсбергом на откаточном штреке уголь грузился в пятитонные вагонетки, вывозился из штольни до навеса над бункером, где вагонетки через дно разгружались на первый ленточный транспортёр той членистой галереи, что была замечена мной с промплощадки при общем обзоре. В местах сочленения галерей – вышки, где уголь с верхнего транспортёра через бункер пересыпался на нижний. Множественность транспортёров объясняется тем, что длина каждого ограничена прочностью ленты и мощностью двигателя. В конце концов, пройдя все галереи, уголь попадал на ОФ, откуда грузился в шестидесятитонные железнодорожные вагоны, а при отсутствии таковых направлялся на угольный склад.

... да, общее представление о местоположении лавы и о ней самой составилось, но уже на следующий день спуск в шахту – а на самом деле подъём, так как смены везли в гору на грузовиках – показал, что гладко было только на бумаге.

... прежде всего, почва лавы оказалась негладкой. Она вся была в ямах и рытвинах. Бар врубмашины не был снизу ограничен крепкой почвой пласта, там был всё тот же уголь, и, посему, при неопытности врубмашиниста легко мог сойти с плоскости и заглубиться или наоборот залезть вверх. Тут от "водителя"-машиниста требуется большое искусство, чтобы держать её в одной плоскости. А поскольку такого искусника в бригаде не оказалось, то машина и делала, что хотела. Заметив, что она начинает вниз заезжать, машинист подкладками спереди выводил её вверх, но зевал нужный момент, и она выезжала вверх больше, чем нужно. Тогда он подкладками, но уже сзади, выводил её вниз и снова промахивался...

... словом, по морям, по волнам.

Всё это плохо сказывалось на работе лавного транспортёра (скребкового реверсивного – СТР-11), приспособленного к работе на ровной поверхности. Там, где став рештаков (желобов) прогибался, цепь шла поверху, выше угля и его не цепляла своими скребками. Ко всему транспортёр не был выложен в ровную линию вдоль самой лавы, что мной не было замечено сразу и что грозило бедой. Верхняя ветвь цепи транспортёра, натягиваемая ведущей звёздочкой у редуктора, вытягивалась в строгую линию, местами вылезала из рештаков, шла вне них, хотя и рядом с ними.

... картинка, которую я застал в лаве, была ужасающей. Взрывник уже отпалил запланированный уступ, навалотбойщики, раздевшись до маек, а кто и без них, с разных сторон подступали к груде отбитого угля с большими совковыми лопатами и, захватив, бросали уголь на транспортёр. Тут я заметил под углём стальные листы. Лопаты, скользя по нему, легко влезали под куски. «Это они листы перед взрывом сюда положили. Умно, – подумал я. – На "Пионере" об этом не догадались». Между тем рабочие, швыряя уголь лопатами, продвигались к центру угольной кучи, и обнажённая на большущем пространстве неподкреплённая кровля нависала над ними. Налицо – грубейшее нарушение правил техники безопасности (ПТБ)! Перекрывая лязг скребков, я крикнул взглянувшему на меня бригадиру:

– Что же это вы, ребята, передовые крепёжные рамы не ставите? Так ведь и лаву завалите, да и себя ведь угробите.

– Да здесь кровля крепкая, – пытался отмахнуться от меня бригадир.

– Нет, – сказал я, ощущая опасность, – ставьте стойки по паспорту, или я конвейер остановлю. Бережёного бог бережёт.

Что-то пробормотав (быть может, послав меня на три всесоюзные буквы), бригадир что-то сказал соседям своим, те нехотя разгребли уголь лопатами и воткнули под затяжку две стойки. То же сделали и с другой стороны. Конечно, это была не та крепь, я понимал – крепление фиговое, так... стойки контрольные, но большей твёрдости не проявил. Боялся сразу резко обострять отношения. Да и вдруг не послушаются?.. Что?.. В самом деле останавливать СТР?.. А с кого за невыполнения задания взыщут?.. То-то же...

Разумеется, ни тогда, ни сейчас я не оправдывал, не оправдываю своего малодушия. За него часто платят кровью и жизнью... Власть нас поставила в такие условия, в которых правила и работа оказались несовместимыми. Если работать строго по правилам – лет через двадцать узнал, что это "итальянская забастовка", – то хоть пуп надорви – и половины нормы не выполнишь и не заработаешь ничего. В забое на риск идут ради денег. И вообще, контроль и ответственность за добычу в одном лице несовместимы. Контроль должен быть отделён. За добычу должен отвечать бригадир. За обеспечение условий для работы и безопасность – штейгер, как было при проклятом царизме.

Линейный надзор в СССР был поставлен в идиотское положение. Между двух огней, если хотите. С одной стороны, нарушение правил ТБ может обернуться трупами и тюрьмой. С другой – строгое их соблюдение – это невыполнение плана, низкие заработки, ропот рабочих, падение дисциплины, гнев начальства и... увольнение. Словом, либо сразу сам увольняйся, либо работай, как все.

... и это "как все" мне страшно не нравилось.

Вот и сейчас по этой самой причине, по-моему, так часты самопроизвольные разрушения зданий, обрушения крыш, завалы и взрывы на шахтах, падения самолётов и, кто знает, катастрофы с подводными лодками. Ведь тысячи раз "авось" вывозило... и вдруг – на тебе!

... итак, стойки были воткнуты, навалоотбойщики торопливо замахали лопатами, заметались огни головных ламп, выхватывая из темноты потные запыхлённые лица, мускулистые руки и торсы. Рештаки быстро заполнились, но уголь по ним... не пошёл: цепь лязгала над рештками и скребки ползли поверху по углю, ничего не цепляя. Тут бригадир и рабочие, бросив лопаты, влезли на транспортёр, на ползущую цепь, переступая по ней, тяжестью тел своих вогнали её в

"берега" между бортами "корыта". Скребки врезались в уголь, и уголь двинулся по транспортёру... Я сразу почувствовал опасность такой операции и понял, что так работать нельзя, и первейшей задачей моей как руководителя этих работ будет выпрямление линии забоя.

... Здесь как в капле воды отразились особенности русской природы, ещё на "Пионере" подмеченные – сделать быстрее кое-как, а потом исхитриться, тратить силы и время на работу ненужную, если бы сделали всё добросовестно, да к тому же и жизнь свою подвергая опасности! Или это свойство не русской, а советской природы? Судить не могу, до революции не работал.

... Неожиданно ко мне подошла мотористка и сказала, что меня зовут к телефону. Я спустился под лаву в конвейерный штрек, где висел телефон. Диспетчер передал мне, что формируется новая смена, и я должен выйти пораньше, чтобы дать ей наряд...

В новой смене собранной с разных участков с бору по сосенке и, наверное, не из самых добросовестных рабочих, был горный мастер, но распоряжения от начальства передавались лишь мне. Как первому, очевидно. Теперь я уже знал, что надо делать. Набросав контур забоя в путёвке горного мастера, я дал задание ликвидировать выступ, хотя он к месту работы моей смены не примыкал... Отправив рабочих я пришёл на вторую планёрку, которую проводил сам Плешаков. Вёл он её очень жёстко, с "цифрой" участка часто не соглашался и своевольно её завышал; вскоре я убедился: это ничего не меняло, чаще всего участки и до своих "цифр" не дотягивали. Но тресту нужна справная "цифра"! Её, то есть план, можно было не выполнять (если уши зажать и не слушать, что за этим последует), ссылаясь на объективные обстоятельства. Это ещё как-то терпелось. Но планировать невыполнение плана даже на смену – дело немыслимое, недопустимое и преступное.

После планёрки Плешаков задержал меня и сказал, что пришлёт людей и горного мастера и в третью смену, и чтобы я дал им наряд.

– Так пора бы и начальника участка прислать, – сказал я.

– Нет пока начальника, – коротко прекратил разговор Плешаков.

На третьем наряде я безуспешно через диспетчера шахтного транспорта пытался связаться с лавой, чтобы узнать положение: к телефону никто не подошёл, трубку не снял. Мы ж на втором наряде о третьей смене не знали, и горный мастер должен был наутро из дому позвонить мне на первый наряд. Полагая, что вторая смена выполнила мой наряд, я дал ночной смене задание производить те работы, которые должны были бы окончательно выровнять лаву.

Поскольку в полночь тащиться в общежитие, чтобы ни свет, ни заря вернуться обратно никакого смысла не имело, то я запер кабинет на ключ изнутри, выключил свет и улёгся на свою командирскую лавку, где и проспал до утра в страшной жаре, вздрагивая от пушечных выстрелов схлопывавшихся пузырьков пара в трубах парового отопления.

... Каково же было моё удивление, когда горный мастер третьей смены позвонил мне утром из шахты на первый наряд: вторая смена не выполнила задания, выступ не ликвидировала, а брала уголь выше него. «Мы, – говорила трубка, – сделали отпалку за ними»... Я чертыхнулся: «Хотя я вам наряд на уступ не давал, но и сами бы могли догадаться, что надо делать... Ну, да я со второй сменой сам разберусь!»

... Настал мой черёд. Начал собираться народ, обычная суэта: требования, путёвки... Когда все были в сборе, я произнёс перед ними целую речь:

– Наша лава находится в безобразнейшем состоянии. Так дальше продолжаться не может. Пока линию забоя не выровняем, вместо работы будем дёргаться, цепь протапывать и прочей хреновиной заниматься. Я давал задание взять выступ второй смене. Она мой наряд не выполнила и самовольно произвела отпалку выше него – с ними я разберусь! Третьей смене, не зная положения в лаве, я такой наряд не давал. Поэтому выступ придётся брать нашей смене.

Рабочие загалдели, раздались возмущённые голоса:

– Почему это мы за них должны отдуваться?!

– Я не хочу, чтобы кто-то за кого отдувался. Но на участке должен быть порядок, а не бардак. Начнём с нашей смены, а работу других смен я буду контролировать сам. Работы, выполненные не по наряду, не буду оплачивать.

... отметившись на планёрке, я успел ещё с последней машиной уехать в шахту. С неохотой мои рабочие ликвидировали уступ. Теперь забой вытянулся в линию, но линия эта, на поверку, оказалось кривой. Плавный лавы изгиб был на глаз незаметен, а проверить – и мысли такой не возникло. И это могло стоить жизни.

Позвонив на участок, я дал из шахты наряд: переноска транспортёра, а сам в шахте остался, чтобы встретить смену на месте, дать разгон за вчерашнее, а, главное, на переноску самому посмотреть, как это делается.

... Пришли рабочие с горным мастером. Первым делом сели, развернули "тормозки", подзаправились. Я с ними резко поговорил, после чего они принялись за работу. Мастер – совсем молодой паренёк, энер-

гичный и быстрый, – командовал людьми умело и чётко. Часть рабочих отослал расстыковывать рештаки и цепь со скребками на звенья рассоединять, и перебрасывать всё это к забою, оставляя лишь место для врубмашины. С остальными – принялся за самое сложное: передвижка головки, то есть рамы с первыми, приваренными к ней, рештаками, приводом (двигателем) и редуктором (корпус с зубчатой передачей). Штука это очень громоздкая и тяжёлая, но фокус не в том чтобы её передвинуть – лом и рычаг сделают своё дело, – а в том, что надо ряд стоек при этом убрать, перебить (переставить) и не допустить обрушения кровли... Крепится лава в том месте стойками под распил, как и везде, только стойки здесь – не между кровлей и почвой, а расклинены между кровлей и рамой, то есть на раме стоят. Как безопасно для людей и для лавы передвинуть такую махину, я понятия не имел.

Проще всего было бы выбить все стойки и ломиками – да, пожалуй, ломиками и не возьмёшь! – передвинуть головку к забою. Но тогда обнажилась на большой бы площади кровля, что само по себе очень опасно, а на стыке со сбойкой на конвейерный штрек неминуемым завалом лавы грозит.

И вот молодой паренёк начал с этим делом управляться, как настоящий артист, как циркач – любо дорого на него посмотреть! Он указывал рабочим, где одну дополнительную стойку поставить на почве, где другую, а сам после этого выбивал стойки на раме. Затем приказал притащить конец троса с барабана лебёдки врубовки, стоявшей повыше возле забоя с заведённым в массив баром с режущей цепью, и расклинённой четырьмя стойками. Он этот трос зацепил за верхний угол рамы головки, включил лебёдку, и угол этот к забою слегка повернул. Тут же поручил переставить несколько стоек, зацепил за нижний угол и его подвернул. Так раз за разом, перебивая стойки и подвёртывая раму, подвинули головку к забою за полчаса. Моментально вдоль лавы соединили нижние рештаки, пробросили по ним нижнюю ветвь скребковой цепи, положили верхние рештаки с верхней цепью, включив на секунду мотор СТР, натянули верхнюю цепь, соединили с нижней... и транспортёр от головки до хвостовика превратился в единое целое.

... я молча стоял в стороне, испытывая гнусное чувство своей полной ненужности.

Сразу транспортёр и опробовали, и сразу выяснилось, что хотя и настлан он вроде вдоль лавы, а цепь из него вбок поползла. Немного, но всё же.... Тут уж я начал соображать и предложил выровнять рештаки от головки по лампе поставленной на хвостовик... Но рабочие

загудели, заныли... Надо было расстыковывать рештаки, а им не хотелось заново став перестилать. Они на меня навалились, что надо ещё и отпалку произвести, а они тогда уголь выгрузить не успеют...

– При следующей перестановке всё будет в ажуре, – уверяли меня, – а пока протопчем.

И я малодушно поддался на уговоры.

Просидев в шахте две смены, я настолько устал, что когда дал третий наряд, помылся и пошёл в столовую перекусить (она работала круглосуточно), то кусок в горло мне не полез. Настолько "захлял", как говорят у нас на Кубани. К счастью, водку тогда в любой столовой на разлив продавали, в любой забегаловке и в каждом киоске. Я позвал официантку, заказал двести грамм, она принесла стакан водки, я залпом его опрокинул и почувствовал приятное расслабляющее тепло в животе. Схлынуло напряжение и усталость, и есть захотелось.

Идти в общежитие снова было бессмысленно, и я опять провёл ночь, не раздеваясь, на жёсткой лавке в кабинете.

... Чем кончается малодушие, я вскоре имел удовольствие убедиться... На собственной шкуре. Да ведь знал же, знал, что нельзя поддаваться, и всю жизнь убеждался в этом и казнил себя за своё слабование, клятвы давал, что отныне буду твёрдым как камень с людьми, да уж видно каким человек уродился, таким он и умрёт. Трудно его переделать.

... на третий день, после того как я начал борьбу за выравнивание линии забоя, пролезая с конвейерного штрека в лаву, я заметил, что после громыхнувшей отпалки и включения СТР, уголь по нему не пошёл. Скрепки звякали, цепь ползла вхолостую. Я прошёл мимо мотористки, которая, как обычно, включив транспортёр, носом клевала, и начал подниматься в верх лавы, где навалоотбойщики должны были уголь грузить. Но не дошёл. Вскоре увидел на рештаках уголь, они были доверху завалены им, а цепь тянувшая уголь сюда ещё и ещё, здесь из рештаков вылезла напрочь и шла обок их. Выше же уголь, переполнивший рештаки, сваливался по обе стороны транспортёра – вся добыча из лавы в лаве и оставалась. Рабочие, бывшие далеко, видеть этого не могли. Я, не желая идти и отвлекать их от погрузки, сам влез ногами в рештак, чтобы сдвинуть этот проклятый затор, стал на цепь и, отталкиваясь руками от кровли, зашагал на месте по ползущей цепи, сдвигая её в русло жёлоба. Она и сдвинулась, но немного, шла высоко, лишь верхушечно цепляя куски угля, из лавы потёк тоненький ручеёк. Тогда я изо всех своих сил стал давить на цепь вниз... и тут... транспортёр дёрнулся,

вздвогнул и стал, а я обнаружил себя на переломе двух рештаков поднятм вверх к самой кровле. Грудью висел я на стыке двух вздыбившихся рештаков, прижатый ими к распилу у кровли. В тот же миг транспортёр сделал рывок в обратную сторону, и я спиной отлепился от кровли. Подбежавшие забойщики сняли меня, я стал ногами на почву.

– Спасибо говори мотористке, что она сразу, как став дёрнулся, выключила мотор. А то вечно спит, – сказал бригадир.

Лишь тут дошло до меня, что замешкай на миг мотористка, и... конец Володе Платонову. Грудная клетка моя была бы раздавлена. На волосок был от смерти. Но тот, кто подвесил, волосок этот не перерезал. Я же волосочка того не почувствовал и испугаться совсем не успел, а теперь, когда всё благополучно окончилось, пугаться было и ни к чему.

... но, говорят, был бледный, как мел. Не знаю.

Рештаки по всей лаве собрались в гармошку между почвой и кровлей. Тут я приказал став разобрать и настлать заново, выверив по лампе у хвостовика. Слушались меня беспрекословно. Так решился этот вопрос. Выровнялась лава и по паденью пласта – пришёл на участок опытный врубмашинист и "почву" слоя исправил, машина у него не нырля и ползла ровно по линии. Лава стала работать нормально.

... Подошло время посадки – обрушения кровли в выработанном пространстве, чтобы снизить давление её у забоя и на забой. Позади сорок метров, это значит на стойках висит четыре тысячи квадратных метров породы.

На участках своих посадчиков не было, одна бригада посадчиков – рискованных людей – обслуживала по мере надобности все добычные участки, их в таких случаях вызывали из дому специально. Вот такая бригада, подчинявшаяся непосредственно главному инженеру, вышла в лаве в выработанное пространство и выстлала там по почве лавы настил из досок вдоль и поперёк (сетки, предусмотренной проектом, раскатано, как понимаете, не было), затем вдоль транспортёра пробила органку – сплошной стоечный частокол – и у сопряжений со штреками выложили костры (крепление колодезным срубом). В следующую смену они должны были лаву "сажать", то есть, вырубая стойки в выработанном пространстве, ослабить крепь настолько, что давлением кровли её начнёт разрушать, как спички, раскалывать, переламывать брёвнышки оставшихся стоек, и кровля рухнет статысячетонной массой своей, обрезанная по органку, которая, как нож, отсечёт её, защитив тем самым забой от завала.

... как только лавные стойки начинают трещать и, раскалываясь, "стрелять" – это кровля пошла, посадчики, как зайцы, прыскают, кто куда, кто в штреки, а кто и в забой за органку. И упаси бог вас замешкаться – тело, расплющенное в лепёшку, и того тоньше – в блин, и доставать-то не станут: кто же этакую махину подымет. Я это всё со слов посадчиков говорю, самому тоже очень хотелось посмотреть на посадку – не смог, сил не хватило. За неделю бессменной работы так измотался, что не хватило воли превозмочь усталость и остаться на вторую смену, и я выехал на поверхность.

Вся эта круговерть тянулась до начала октября, пока, наконец, на участок не назначили начальника, и моя работа ограничилась одной сменой, хотя и двенадцатичасовой: два часа до работы – наряд, переодевание, путь, восемь – в шахте, два – на выезд, мойку, отчёт. Дни смешались в однообразном мелькании неразлично, как лопасти винта самолёта.

... Рабочая неделя на шахтах в те достопамятные времена, была непрерывной, то есть её не было вовсе: выходные дни давались по скользящему графику, но воспользоваться ими в сентябре по известным причинам я не сумел, а когда, проснувшись у себя в общежитии в первый свой выходной в первых числах месяца октября, вышел не торопясь на крыльцо – то ахнул от изумления. В природе свершилось чудо! На том берегу, за Ольжерасом лес полыхал. Меж зелёных кедров и сосен горели жёлто-зелёные, жёлтые, оранжевые и лимонные пятна, взметнулись алые, малиновые, бардовые, багряные языки. Стволы отливали медью, бронзой, латунию, бледною позолотой. И, резко контрастируя с этим празднично-разноцветным великолепием, выделялись местами высокие тонкие свечечки пихт – чёрных уже совершенно.

... и вздохнулось радостно и легко.

Сосед мой по комнате, тот самых Черных, тоже, припало так, в тот день отдыхал, и мы впервые, наскоро перекусив, разговорились. Он оказался женат, сыну четыре года. Он ждёт семью в ноябре, когда в междуречье обещали сдать большущий пятиэтажный дом... Я тоже подал заявление на квартиру, но мне твёрдо в этом доме квартиры не обещали.

– Что это тебя совсем дома не видно? – спросил Черных у меня (имея в виду общежитие).

Я рассказал.

– Ну и дурак, – заметил он совершенно серьёзно. – Если пришлось вкалывать и за мастера, и за помощника, и за начальника, так

хотя бы зарплату начальника вытребовал, пусть бы назначили временно исполняющим обязанности (ВРИО). Не обязан мастер две и три смены ходить.

А я и не знал, что могу что-либо требовать... Выходит, в самом деле – дурак!

– Слушай, ты рыбу ловил? – продолжает Черных.

– В детстве, на удочку, да форель глушил подо льдом.

– Форель? А ты знаешь, что в Ольжерасе тоже есть форель. В верховьях, говорят, её чёрт знает сколько! На перекатах прямо острогой бить можно. Давай-ка сходим туда.

– А где же мы остроги возьмём?

– А вилка чем хуже? К палкам привяжем вот тебе и остроги. Уж поверь, если я вилкой её к дну пригвозжу, то никуда она от меня не уйдёт.

Весь день был ещё впереди, девать себя было некуда совершенно, и я согласился. Правда, нехитрые сборы целиком съели всё утро. В столовой строителей мы "позаимствовали" две вилки, стальные – алюминиевые, не годные ни на что, в моду тогда ещё не вошли, два гранёных стакана, понятно каждому для чего. В магазине купили бутылку "Московской", буханку пшеничного хлеба и килограмм любительской (настоящей ещё!) колбасы, памятуя святую заповедь рыбака, что лучшая рыба – это колбаса. В смысле надёжности закуси! То есть, на бога надейся, а сам не плошай!.. Кусок провода – вилки к палкам привязывать и сделать низки для ожидаемого улова – сам собой отыскался, и мы выступили в поход, когда солнце уже выкатывало на полдень.

... Асфальт кончился вскоре за общежитием, далее пошла грунтовая дорога, настолько разбитая, что по её засохшим кочкам идти – только ноги ломать! Нам показалось, будет проще спуститься вниз к Ольжерасу и подниматься к верховьям по руслу реки. Хотя Ольжерас бушует и разливается после зимы и во время дождей, сейчас большая часть его каменистого ложа была суха, и мы легко пошажали по серым булыжникам, обходя довольно частые валуны.

День был прозрачен. Прозрачен воздух – все дальние дали виднелись отчётливо. Прозрачна была каждая струйка в реке, и на дне каждый камушек отпечатался чётко, только лёгкая редкая рябь морщила временами изображения. И стаяк рыб вот в воде не было видно. Не мелькали тёмные тени.

... дорога пропала совсем где-то выше нас, а лес спустился вплотную к реке, и в ней плескались и красили её в красный цвет

остроконечные листья черёмухи, и гальку на дне золотили подступившие к руслу берёзы.

Да, день был прозрачен до божественной синевы чистого неба без облачка, куполом раскинувшегося над широко расступившимися горами, у подножья которого и под ним, торжествуя, раскинулось праздничное великолепие леса, ласково согретое лучами нежаркого осеннего солнца.

... Мы прошли километров восемь, когда лес начал отступать стремительно влево, открывая ровную покатуя луговину, луг неохватных размеров, на котором близ леса притулилась кучка домов, а на подъёме поодаль вытянулась сплошным частоколом высокая ограда с рядами колочей проволоки поверх и вышками по углам лагеря...

Мы восприняли его равнодушно. Мозг был приучен привычно воспринимать, что где-то должны быть лагеря, где-то должны быть заключённые. Вот и на стройке шахты они недавно работали и в нынешнем нашем общежитии жили. Да ведь и в Кемерово видел не раз, как зимой гоняли их в стёганных ватных фуфайках на кладку стен домов на Весенней... Мой товарищ тоже не выказал особенных чувств по этому поводу, лишь удивлённо сказал: «Лагерь, смотри-ка!». Он вообще производил впечатление человека не эмоционального, грубоватого, но надёжного. С ним можно было поговорить о делах производственных, о рыбалке, выпивке, женщинах, но о материи более тонкой, о поэзии, скажем, о книгах, о политике даже или о загадках женского поведения с ним разговора не поведёшь. Всё это было чуждо ему, непонятно. Да и не за разговорами мы шли на рыбалку.

И сейчас, когда Ольжерас вывернулся из леса и отвернул к правой гористой стороне, мы повернули к строениям, показавшимся нам маленькой деревенькой. Это и была деревенька с дюжиной небольших бревенчатых домиков на совершенно голых усадьбах: ни кустика, ни дерева, что вообще для Сибири не диво. Дома были обитаемы явно: в окнах занавесочки, во дворах поленницы дров, но никакого движения ни на улице, ни во дворах не наблюдалось. В сторонке, на отшибе, стоял дом побольше. Мы к нему подошли и прочли большую вывеску над его двустворчатыми дверями: "Сельмаг". Как ни странно, он был открыт, хотя признаков посетителей не было. Поздоровавшись с продавщицей, мы глазами окинули полки, не задержавшись там ни на чём. Не на чем там было задерживаться – полки были абсолютно пусты. Взгляды, мой и товарища моего, опустились вниз, на прилавок, и их сразу же к себе притянул пузатый графин с золотистой жидкостью, налитой в него доверху, и стакан рядом с ним... На этих предметах

взгляды наши скрестились. Продавщица это заметила и сказала, не дожидаясь вопроса: «Это мёд». Да мы и сами догадались, конечно.

– Почём мёд? – грубовато, охрипши, спросил Черных.

– Пять рублей.

– За стакан? – уточнил я.

– Да бог с вами, за килограмм.

Тут уже пришёл нам черёд удивляться. Я ушам своим не поверил, свежий, чистейший, как слеза золотистая, мёд стоил всего пять рублей! Сливочное масло – для сравнения – шестьдесят, водка – двадцать один двадцать.

Мёд был так с виду хорош, так притягателен, что не купить его было нельзя. Но куда? Не в ладони же? В магазине не было тары, ни бутылки, ни банки, ничего, что можно было бы использовать как посуду.

– Придётся в стаканы брать, – сказал Черных, – водку из горлышка выпьем.

... само собой разумелось: не будем же пить мёд перед водкой.

Мы развязали пакеты, поставили стаканы свои на весы, и продавщица налила в них до верха мёду. Расплатившись и, осторожно – не перелить бы – держа в руках по стакану, мы пошли к берегу, где и решили устроить привал. Здесь Ольжерас тёк поспокойнее между двух перекатов... Солнце меж тем заметно склонилось к западу.

Бутылку и стаканы с мёдом пристроив возле камней и положив там свёртки с хлебом и колбасой, мы в росших рядом кустах вырезали две прочные палки, намертво прикрутили к ним вилки, закатали штаны и полезли на валуны, выступавшие из воды, чтобы бить с них форель... но ни форели, ни вообще какой-нибудь рыбы в воде не было видно. Изредка, казалось, промелькнёт в воде быстро тень или в глазах померещится – бьёшь острогой в неё, – но только скрежет вилки о гальку... и круги по воде расходятся, медленно затухая.

Такая рыбалка нам быстро наскучила, мы выбрались на травку на бережок, разожгли для порядка костёр, расстелили газету, ломтями нарезали хлеб, кружками – душистую колбасу. Черных ударом ладони в дно поллитровки умело вышиб из неё пробку и протянул бутылку ко мне:

– Начинай!

– Ну, что ж! За знакомство, за встречу и... за форель!

Я лихо опрокинул бутылку и... поперхнулся, чего со мной не бывало. С холода, с голода или с устатку я легко залпом вливал в себя стакан водки, и, не скрою, не без удовольствия. Но сейчас...

Цедить водку глотками!.. Нет, это и представить себе невозможно, до чего омерзительна водка из горла глотками! Невыносимо противна, скажу вам, опытом поделюсь. Лучше не пробуйте. Но делать-то нечего. Пить надо...

... давясь и захлёбываясь, опорожнил я бутылку наполовину. Черных же, остаток свой раскрутив, одной струёй артистически влил его себе в горло. Я сразу проникся к нему уважением – профессионал!

Водка свершила своё дело. Аппетит и так разыгравшийся сделался волчьим, мы мигом умяли по полкило колбасы с буханкой хлеба и не насытились. Тогда торжественно подняли стаканы с мёдом, и луч солнца в них загорелся. Оно уже висело на горизонте далеко за горами где-то за Томью, а, может быть, за Мрас-Су. И этот позолоченный мёд, настоящий на всех цветах лугов и лесов Горной Шории, мы выпили медленно, церемонно... Солнце меж тем зацепило за край гряды гор, и праздник закончился. День потускнел. Мы быстро затушили костёр, спрятали в кустах залитые водой обугленные недогоревшие ветки вместе с бутылкой, отвязали вилки от палок, но не бросили ни те, ни другие.

... День потухал, на чернеющем небе звёзды возникали из небытия и вскоре заполнили собой весь небосвод, крупные, яркие и помельче, и совсем крохотные, и туманный путь перекинулся через всё небо дугой. Ночь навалилась стремительно, а мы едва отошли от костра, и ещё многие километры нам предстояли по светлеющим в звёздном свете булыжникам вдоль чёрной воды со звёздами, высыпающимися на дне её и мерцавшими зыбко... вечными ориентирами запоздавших скитальцев... Однако ночью идти по ложу реки совсем не то, что бодро вышагивать по нему днём. Кроме валунов, которые всё же хоть как-то белели, под ногами откуда-то взялись пни и коряги, днём незамеченные, и они-то и досаждали больше всего. Тут, пожалуй, покрепче надо бы слово – ноги можно об эти коряги переломать! Тут палки нам здорово пригодились, но и с ними было трудно идти. В конце концов, мы обнялись и побрели вместе медленно, охая и чертыхаясь на каждом шагу. К тому же и с каждой минутой ощутительно холодало, и вскоре мы насквозь промёрзли.

... в полночь, уставшие до смерти, с ногами избитыми о корчи и валуны, ввалились мы в комнату, страшно довольные, что вылазка на природу закончилась, можно в кровать бухнуться и уснуть.

... Седьмого октября Плешаков перевёл меня горным мастером на новый участок. Там тоже не было ни начальника, ни помощника, но зато были все смены, и в двух – мастера. Этот участок работал во вто-

ром слое в том же пласте, под настилом, под выработанным пространством первого слоя, заполненным обрушенной породой, заилненного глинистым раствором и выстоявшего, схватываясь, полгода... Но это так только сказано ... Да, дощатый настил из плах и затяжек существовал, но глиной там и не пахло, как, между прочим, и сетки под досками не было никакой. Несвязанные глыбы породы давили на обломки стоек в завале вверху, и те то и дело продавливали дощатую "кровлю" перед и за комбайном "Донбасс", преграждая дорогу ему и мешая рабочим. Тогда забойщики хватались за топоры и вырубали торчащую сверху лесину. Бывало, через образовавшийся при этом пролом высыпалась куча мелких кусочков породы, эту мелочь, зачищая забой, быстро забрасывали лопатами в выработанное пространство. Хуже было, если через пролом вываливался "сундук". Огромная прочная глыба песчаника – его ни кувалдой, ни киркой не возьмёшь. По Правилам Безопасности его следовало разбурить несколькими шпурами до центра и аммонитом взорвать. Но кто же будет бурить эти шпуры, когда никакими нормами работа эта не предусмотрена и не оплачивается? И так забот со всеми непредусмотренными делами хватало – той же вырубке стоек, торчащих из "кровли". Надо когда-то же и уголёк добывать, за который только и платят! Поэтому сундук разбивали запрещёнными накладными зарядами: клали в двух-трёх местах на него по патрону взрывчатки с взрывателями, – на них – глиняные нашлёпки... поворот рукоятки – взрыв, – глыба расколота на куски, которые тоже летят в выработанное пространство. Но немало породы попадает и в уголь...

... Комбайн дёргается, проезжает, дай бог, метр или два и... снова загвоздка. Не удивительно, что лавы – они и участки – давали всего по двести-триста тонн угля в сутки.

... Куски породы, попадавшие в уголь, на конвейерном штреке под лавой выбирали вручную женщины-породоотборщицы, выхватывая с движущейся конвейерной ленты серые камни породы из чёрного потока угля, и отбрасывали их к бортам выработки. Проходила неделя, и весь штрек по обе стороны ленты был завален породой "под завязку"... Становилось опасно ходить – ноги соскальзывали с сыпучих породных откосов, норовя нырнуть под конвейерный ролик. Кусочки породы при этом попадали на нижнюю, холостую, несущую ветвь, проходящую между парами прижимных роликов. Попадая между роликами, кусочек расклинивал ленту и останавливал, верхняя же её часть, натягиваемая барабанами привода, при этом рвалась, сматывалась с барабана, и... работа в лаве – прощай! Часами слесари "сшивают" стальными накладками оба конца... а лава стоит.

Когда совсем становилось невмоготу, начинаешь договариваться с другими участками, работающими на один конвейерный бремсберг, остановить на смену работы по добыче угля. Чёрт знает, как это непросто!.. Не у всех же положение в заданный день вот такое, а в первом слое вообще всегда чистота. Руководство шахты ни разу в согласованиях не помогло – как хочешь, выкручивайся. Да и у себя внутри на участке, как и на других, это тоже вызывало конфликты. Остановив добычу угля, надо конвейерные штреки зачистить и "скачать" породу вниз по бремсбергу в вагонетки на откаточном штреке и далее "на горá". Работа эта никак не оплачивалась и приводила всегда к столкновениям надзора с рабочими, выражаемых уже знакомой мне фразой: «А почему наша смена должна отдуваться?» К счастью нашему, начальство тогда пропустило одно обстоятельство: оплачивалась, хотя и дешёво чересчур, замена сломанных рам, перекрепка. Ну, мы, горные мастера, этим и пользовались. Никаких поломанных рам в выработках у нас не было, но мы записывали какое-то значительное число замены сломанных рам на новые для оплаты тем, кто зачищал штрек. Когда месяцев через шесть начальство это расчухало, и запретило оплачивать перекрепку, мы успели "перекрепить" выработку общей длиной, пожалуй, до Марса.

... Теперь я в шахту ходил с одной сменой, хотя, за отсутствием руководства участка, наряды, по-прежнему, мне приходилось давать и другим сменам. Но из шахты я для этого не выходил, а звонил со штрека по телефону.

... Утром, днём или вечером (смены менялись еженедельно), закусив свежей сайкой с куском любительской колбасы, я уезжал в шахту. В середине смены я подкреплялся подобнейшим тормозком и бесплатным кофе из фляжки, а через двенадцать часов, помывшись в итээровской мойке – намылив себя хозяйственным мылом, пройдясь по телу мочалкой и смыв мыльную пену под душем, а также кожей, оттянутой с бицепсов, вытерев чёрную пыль из глазных впадин (иначе извлечь её невозможно), я шёл в столовую, выпивал неизменный стакан, обедал – даже если дело к полуночи шло – и тащился спать в общежитие. После сна – снова шахта.

... прошло сколько-то дней, и я почувствовал, что такой работы долго выдержать не смогу. К тому же наваливалась, наваливалась тоска, я испытывал нестерпимое одиночество, а тут ещё зарядили дожди, нудные, непрерывные, и от Людмилы ни весточки... Я был затерян в чужом, чуждом мне мире, где ни газеты, ни радио, и жизнь моя стала невыносимой.

... в выходные дни девать себя было некуда, и я плёлся на шахту, чтобы потолкаться среди людей, выслушать новости.

В один из таких серых дней конца октября я вышел на мост через У-су по дороге, куда на асфальт грузовики натаскали колёсами вязкую глину почти по колена, посмотреть на город, выраставший из хляби болотной. За месяц произошли перемены, уже и четвёртая пятиэтажка на въезде была достроена и оштукатурена, и ещё с десяток домов, вылежавших как грибы в разной стадии роста, чуточку стали повыше... Под ногами, плавно разворачиваясь под мостом, неслись мутные воды у У-су, взбухшей, широкой, заполнившей собой всё пространство между откосами берегов, выложенными рваным камнем... Да и не берега это были – берега сейчас были бы, чёрт знает где – были дамбы, ограждавшие и город, и промплощадку. И стеснённая этими дамбами, не дававшими ей шире разлиться, река набирала скорость, бурлила, зверела, готовая снести всё на пути... Вторая река, Томь, не угадывалась отсюда, видна была только гряда гор, вдоль которой она и текла, по всему.

...Дожди оставили после себя лужи, которые не высыхали и на дороге, и в любой впадине, выемке, и везде жирно поблёскивала мокрая глина. Обилие воды поражало. Она, казалось, сочилась из каждого камня, выжималась из стен домов. По единственной улице возле многоэтажек можно было кататься на лодке. Одинокий насос дробно постукивал, плюясь из трубы грязно-жёлтой жижей, но от этого воды в котловане меньше не становилось ни на другой день, ни на третий.

Седые тучи, с утра нависавшие в котловине, к полудню незаметно растаяли в голубом чистом воздухе. И грянул день, холодный, солнечный, ослепительный в великолепном осеннем убранстве. Дожди только умыли окрестную красоту, и она вновь торжественно засияла. Осколки холодного солнца отразились тысячью бликов и в стёклах окон, и на глинистой ряби реки, и в бесчисленных зеркалах спокойных лужиц и луж. Заиграли все краски, и лесá, с утра казавшиеся унылыми в редкой сетке тумана, оказались праздничными, как палитра жизнерадостного художника, всем остальным предпочитающего горячие, ликующие тона.

... и вместе с солнцем вошли и в моё сердце покой и тихая небесная радость.

Свершилось последнее чудное видение осени.

На другой день небо почернело, пошли затяжные дожди. По горам полз липкий невзрачный туман, в комнате стало холодно, сумрачно. Снова по улице без резиновых сапог не пройти, снова дробь

всплесков капель на поверхностях луж и ошметки грязи, отлетающие с колёс пролетающих грузовиков.



Рис. 22. Слева от моста через У-су насосная станция гидрокомплекса

... В своём волчьем почти одиночестве, я всё чаще и чаще, сбоку большое оцинкованное корыто и прислонённый к нему думал, оставаясь с собою наедине: «Как же всё-таки жить. Неужели это навечно. Навечно эта гнусная комната. Навечно эта опостылевшая кровать, в которой даже на голову натянув одеяло, не согреться, не заглушишь сводящий с ума бесконечный шелест дождя за окном. Неужели всегда так мучительно будет вставать по утрам, одеваться, идти мимо вонючей сушилки на улицу в мокрую муть, ёжась и вздрагивая и под резкими порывами ветра, и от зарядов дождя, брызг, швыряемых прямо в лицо внезапными шквалами».

Работа отвлекала от дум бессмыслицей, толкотнёй, нервотрёпкой, и тогда казалось, что может быть истина в том, чтобы выбросить из башки всякую дурь о каких-то духовных запросах тупо работать изо дня в день без мыслей, без переживаний, без чувствований... Но человек не животное же...

... нет, рабочей скотинкой я быть не хотел; но и выхода покуда не видел.

В один из особо тоскливых дней уходящего октября мне сказали, что в Ольжерасском шахтостроительном управлении (ШСУ) работает нормировщиком Юриш Володя. Я с ним созвонился по шахтному коммутатору, и он пригласил меня в гости к себе в общежитие. Оно оказалось напротив почти, выше нашего через шоссе, на горе.

Когда вечером в полутьме – далеко на углу горел одинокий фонарь – я отыскал нужный дом и вошёл в тамбур, отделявший улицу

от коридора, то увидел первые признаки цивилизации: на полу коврик и веник. Можно было смыть грязь с сапог. Помыв сапоги и вытерев подошвы о коврик, я открыл дверь в коридор и был ослеплён ярким светом и чистотой не меньше, чем полвека спустя блеском плиточных стен и полов, и стеклá зарубежных аэропортов лечебниц... На светлых салатно-голубых стенах в промежутках между дверьми висели плакаты, стенгазеты, призывы, словом то, где всегда преобладал красный цвет. На побелённом потолке бешено светились матовые плафоны, а на полу из конца в конец коридора лежала красная ковровая дорожка с не вытертым ворсом. И что удивительно – вся эта надоедливая на стенах красная мишура сейчас их оживила и придала им нарядность, и всколыхнула во мне чувство праздничности.

... Я постучал в указанную мне дверь на втором этаже, услышав: «Войдите!» – толкнул дверь. Юриш Володя сидел у стены за маленьким конторским столом с настольной лампой под зелёным матовым абажуром, в точь, как у Кожевина. Увидев меня, Володька встал, шагнул мне навстречу, и мы обнялись. Володька, маленький, худенький, белобрысый, некрасивостью своей смахивающий на прибалта, а может и прибалт в самом деле – кого это интересовало тогда, был само обаяние. Мигом на столе появились чайник и два тонких стакана, и за чаем легко и непринуждённо начался наш разговор, точно мы с ним век дружили, хотя за пять лет в институте и словом не перекинулись.

Я просидел у него часа три, так мне было с ним хорошо. И о чём только с ним мы не переговорили... И о наших делах, и об общих знакомых – он о них кое-что знал в отличие от меня, пофилософствовали о жизни и свернули на литературные темы, как оказалось, близкие нам обоим... А потом Юриш читал мне стихи, разумеется, собственные, и они мне нравились, и особенно тронуло искренностью печали и боли стихотворение о Есенине, "Памяти Сергея Есенина" называлось оно. Володя был настоящим поэтом. Сам я в те годы стихов не писал – не принимать же в расчёт несколько случайных стихотворений, – понимал, что я не поэт, хотя и с поэтическим или лирическим складом души. Поэзию я любил и в пределах в то время официально доступного, читал поэтов и наших и западных. Запрещённое было мне недоступно.

Ушёл я от Юриша в полночь, ещё раз оглядев уютную чистую комнатку, в которой он жил один... Светлые стены, этажерка с книгами, парочка репродукций на стенах, опрятно застланная голубым покрывалом кровать и небольшой коврик над ней. Мягкий зелёный свет лампы и под ней человеческая душа, которой доступны твои

порывы, метания и заботы, – всё это было из чудесного недоступного мира, который исчезнет, едва я переступлю через порог... О, как бы мне хотелось, чтобы этот мир не исчезал никогда!

... Но часто ходить к Юришу я не мог из-за работы, отнимавшей все мои силы и время, да и не мог я постоянно отвлекать человека... Он над стихами серьёзно работал.

... Конечно, Володе было легче, чем мне, он работал в конторе только восемь часов. Бывал, дело ясное, и на стройках, но днём и под небом в своей чистой одежде, и не надо было ему ни за кого отвечать... И было у него время, вернувшись с работы, и почитать, и подумать, и написать.

... Что со мною случилось? Контрастом что ли ударило между осмысленной жизнью Юриша и моим бытием, но в одно грязное утро, взглянув на окно, на бороздившие стекло струи дождя, я не смог заставить себя пойти на работу. Я был в отчаянье: «Что же мне делать?»

Неделю, пожалуй, я из комнаты не выходил. Чем же я занимался? Не помню. Видимо, написал множество писем кому только мог, всем, кроме Володиной (тут характер выдерживал), так как вскоре начал получать ответы с разных сторон. К счастью, судя по этим ответам, в письмах моих не скулёж от отчаянья, а, по всему, отстранённый саркастический пересказ произошедших событий, без излишней эмоций.

... Совершив, таким образом, грубейший административный проступок, перестрадав и передумав о многом, я осознал простую истину: не может вечно быть мне так плохо, надо терпеть, терпеть и терпеть, а пока надо работать. Впрочем, работать надо и для того, чтобы жить.

В последних числах всё того же длинного-длинного месяца октября появился я на работе. Я ожидал разгона, выговора, увольнения даже. Но ничего этого не произошло. На участке уже был начальник и помощник начальника, они как должное восприняли мой приход, дали наряд, подписали путёвку, и я поехал в шахту со сменой не встретив никаких затруднений ни в табельной, ни в ламповой.

... и, о чудо! Я полностью получил всю зарплату, мне оплатили и неделю прогула. Чем это объяснить? Вероятно, прогулы в табельной восприняли как отгулы, ведь я много лишних смен проработал вначале. А за лишние смены мастеру полагается то, чего не полагается ни начальнику, ни помощнику, а именно эти отгулы. Число обязательных выходов оказалось достаточным, табельная передала их в расчётный отдел, в бухгалтерию, и мне всё оплатили автоматически...

... всё хорошо, что хорошо кончается. Ожидаемую грозу пронёсло. А тридцать первого октября мне объявили, что с первого ноября я назначен помощником начальника на участок № 21. Смены с горными мастерами были там сформированы, но начальника не было. И мне в третий раз за два месяца довелось руководить новым участком. Правда, на этот раз руководство подкреплялось и должностью. Первую ступеньку преодолел.

... На этом участке я проработал три месяца, но где, на каком пласте, в каком слое – мрак абсолютный. Запомнилась лишь фамилия одного горного мастера, Ананьева, да и то потому, что пути наши через два года снова сошлись.

... Ноябрь начался с того, что повалил ночью снег и в несколько дней укрыл все окрестности белым полуметровым покровом. Всё посветлело, преобразилось, только реки, несмотря на сильный мороз, свинцово темнели, окутанные поверху паром. Но четыре трубы-сушилки ОФ, выбрасывавшие в воздух в сутки несколько тонн тончайшей угольной пыли, сделали своё чёрное дело. Через несколько дней промплощадка этой угольной пылью сильно припудрилась.

Ноябрь принёс многие перемены. Сдали угловой г-образный дом на въезде в город. Черных получил там обещанную двухкомнатную квартиру. Я не обещанной квартиры не получил. Но в тот же дом въехал с женой начальник планового отдела Петров (в будущем директор Сибгипрошахта в Новосибирске), живший до этого вместе с родителями в точно таком же доме на той же улице и на той же её стороне, только на другом, дальнем, углу следующего квартала. Родители его остались там в одной комнате, а освободившуюся комнату предложили мне. Я, разумеется, с радостью согласился. Всё-таки иметь свою комнату в доме с удобствами – это кое-что значит. До лета я об этом и не мечтал. Получив ордер, я перевёз на подвернувшимся грузовике две казённые койки с постелями и послал телеграмму, зовя маму к себе.

... К середине месяца на участок назначили и начальника. Валентин Афанасьевич, среднего роста крепыш на три года старше меня, был жизнерадостен, энергичен, всё решал быстро и чётко. Мы с ним сразу притёрлись, отношения с ним – лучше не надо, но в личную дружбу не переросли, возможно, просто не успели перерасти. Он, по всей видимости, ценил мою исполнительность и то, что ни разу я его ни в чём не подвёл. Хотя... один раз на наряд не явился.

... Старики мои, по квартире соседи, ко мне относились весьма любезно, но свинью таки мне подложили. Только собрался я на третий наряд выходить, как старушенция, из своей комнаты дверь приоткрыв, выглянула и говорит:

– Володя, зайдите к нам.

Я зашёл. Стол накрыт белой скатертью в красную клетку, на ней тарелки с немудрящей закуской: капуста солёная, грибочки, жареная картошка, ну, естественно, что-то мясное, вроде котлет. Старый Петров ко мне обращается:

– Вот у нас бражка поспела, надо её отведать.

– Спасибо, – говорю, – как-нибудь в другой раз, мне сейчас на наряд надо идти.

– Ну, до наряда время ещё есть, а бражка слабенькая, так себе, лимонад.

Нехотя – не умел долго натиску сопротивляться, да и стариков обижать неохота – я уселся за стол. Старик тут же наполняет стаканы. Бражка, напиток глинистого цвета, сладковата и вправду еле хмельная. Закусили после первого стакана – старик по второму всем наливает.

– Не надо бы мне, – робко возражаю я.

– Так ведь слабенькая, не водкой же я тебя угощаю.

Выпили по второму стакану. Закусили. Наливает мне третий. В голове хмеля нет, и я уже не противлюсь. Выпили и по третьему.

– Ну, – говорю, – спасибо за угощение, а теперь мне на наряд надо идти.

Петровы не возражают, только на меня уставились с любопытством. Я удивился даже: «Чего это они такого во мне вдруг увидели». Начал я подниматься, а тело своё от стула оторвать не могу, и ноги словно приросли к полу. А в голове чистая такая ясность... и стыд: «Как же я наряд, сукин сын, сорву». Еле-еле всё же поднялся. Чувствую, никуда идти не могу, и лучше нигде в таком виде не появляться. Добрался кое-как в коридоре до телефона, позвонил на участок, пролепетал: заболел, мол, не могу быть на наряде.

Думаю, по моему говору там догадались, чем я заболел, но виду не подали: раз заболел – отлёживайся.

Когда на следующий день явился я на участок, ни одного намёка, ни одной усмешки не уловил. Тот, кто по телефону мне отвечал, ни словом никому не обмолвился и мне ничего не сказал. А наряд провели без меня... Но каковы старички! Ах, негодяи.

... Удивительное дело. Я практически не поддаюсь гипнотическому внушению. Ну, допустим, то, что в Прокопьевске я сумел опустить руку, спишем это на массовость сеанса, но и после, в узком кругу, меня ни разу не смогли усыпить, когда товарищи засыпали, а вот настойчивому давлению сопротивляться долго не мог, к зрелым годам лишь твёрдости научился, когда за мягкотелость свою не раз пострадал.

... В ноябре посыпались письма сокурсников и друзей. Самой первой откликнулась Юля Садовская из Прокопьевска – она на "Красногорской" № 3-4 работала. Она расспрашивала, почему у меня так с работой. О себе писала, что получила комнату в двухкомнатной квартире (вторую комнату в ней дали Сюпу, он на той же шахте работал). Работает она помощником начальника участка вентиляции. У Сюпа заработки плохие, так как его участок плана не выполняет. На писала, что Зина Самородова на "Зиминке", где я своё "ранение" получил. Юра Рассказов работает в Киселёвске и у него нет перспектив на квартиру...

Заканчивалось письмо неожиданным предложением: «Вовка, у меня идея, писать письма на английском языке. Только ругай меня по-русски, а то за похвалу приму...»

... не знаю, почему эта хорошая идея не состоялась.

... Вторым пришло письмо из Новосибирска от Крока Виталия. «В этом году, – писал он, – был на преддипломной практике в Москве. Работал мастером на строительстве станции метро "Рижская"». Приглашает меня приехать к нему на каникулах или позже...

Но какие каникулы у меня?

... Третье письмо неожиданно прибыло из... Москвы. Не понимаю, как моё-то попало туда?

«Привет, Володя!.. Работаю в Москве, а не в Красноярске (направление, чтобы, вероятно, вражескую разведку запутать выписывали ему в Красноярск – В. П.) и все ребята со мной. Что я делаю и кого (так написано в подлиннике) – это никого не должно интересовать... Пока плохо с жильём, но к лету всё отладится, и прошу заезжать в гости... Если что нужно выслать, пиши... Пока! Володя».

Это от Володи Пастухова, с которым ночью шагали по шпалам от Польшаевской до Кольчугино. Его с другими ребятами-электромеханиками направляли под Красноярск (так было официально), а очутились они под Москвой. То ли шахты для ракет оборудовали, то ли подземные убежища для правительства.

... Да, писали разные люди, удерживая меня в круге ещё не разорванного братства студентов. А те, кто был ближе всего все эти годы, не

писали совсем. Не писал Сюз, не писал Скрылёв, не писала Людмила, любимая и единственная. После той (и какой!) встречи в Сталинске.

... Да, Людмила мне не писала, и это было обидно и тяжело. Меня не мучил вопрос, какой она там образ жизни вела. Не возникало и мысли, с кем она там время проводит, хотя, понятно, свободного времени было немного, но было какое-то всё же... А я так о ней тосковал. Но всегда она вне встреч редких со мной была закрытая книга. Не знаю, почему я её никогда ни о чём не расспрашивал. Боялся? Да ведь она бы и вряд ли что рассказала... Не рассказала мне о Григории после признания в любви... Ничего мне не сказав, с ним продолжала встречаться... Я ведь случайно узнал. Словом вся её жизнь вне коротеньких встреч для меня сплошной мрак. И как тут не повторить Евтушенко:

Какая ты со мной, я это знаю.

Какая ты за этими дверьми?

... белый город стыл под заносами снега и вдруг – неслыханное: в декабре полили дожди. Заледенелый промёрзший снег не впитывал воду, и она доверху наполняла все колеи, продавленные на дорогах машинами, скользкой плёнкой размазывалась по льду тротуаров, превращала в широкий канал главную улицу, на которой лишь не хватало гондол.

А дожди лили и лили, но снег так нигде не протаял, и вода, как и осенью, заливала собой всё. Низко висело серое однообразное небо, но залитая водой снежная белизна не вызывала уныния, какое грязной поздней осенью я испытал. Потом резко ударил мороз, и заискрились улицы, крыши, обледенелые фермы моста; воротники на пальто, усы и бороды у людей били в глаза колючими вспышками жёлтых, красных и синих кристаллов, густо крапленных в их белую от дыхания изморозь.

Зима начисто стёрта из памяти. Будто и не бывала. Не помню приезда мамы, хотя знаю, что приехала она до декабрьских дождей. Не помню встречи Нового года...

Приложение к 1955 году

* * *

Померк снова блеск неразгаданных глаз,
И губы не тронет улыбка,
От ласковых шуток и шумных проказ
Лишь память осталась зыбкая.

Я вижу: не терпишь случайных обид,
И вздорность тебя от любви охраняет.
Что в душу твою – не решу! – проникает?
Гранит бессердечия, что сокрушит?

Моя жизнь – в руины! Тебе что?.. Смеясь,
Средь жалких обломков под вечною ивой,
Волной набегаешь и нежно, красиво,
В коварном смиренье бесшумно плещась,
Изгибом зелёным утёс окаймляешь
И лижешь – и точишь, целуешь – и ранишь.

9 января 1955. Ленинск-Кузнецкий

* * *

Не любила, значит,
Коль простить не можешь –
Разве к нелюбимому
Сердце приворожишь?

9 января 1955. Ленинск-Кузнецкий

* * *

Ужель остаток дней своих
Вот так уныло, одиноко,
Средь незнакомых и чужих
Терзаясь мукою жестоко,
Мне предстоит влачить?

Ужель жизнь догорит так пусто, глупо?
Ужели на сердце метель вечна,
И солнце даже скупое
Моей души не озарит
И боль улыбкой не смягчит?

Ужель в отчаянье глухом
Страдать бессонными ночами
Без счастья, без любви, в печали,
Терзаясь думами о дне,

когда безмерно счастлив был,
И одним словом всё сгубил.

Да, полно ль, был?! Забыл, забыл
Я содержание двух строчек:
*Зачем искать того,
Кто найден быть не хочет.*

10 января 1955. Ленинск-Кузнецкий

* * *

Напрасно у её дверей
Брожу, отчаяньем томим,
Напрасно я о встрече с ней
Мечтаю – ведь ушла с другим.

И где, скажи, набрался б сил
Забыть о всём, что так любил,
Когда б чудеснейших людей
Я в жизни не встречал своей.
В беде отзывчивых таких,
Что жить готов я хоть для них.

11 января 1955. Ленинск-Кузнецкий

* * *

Горько добру молодцу
Жить в тоске без радости
И порой весеннею
Горько чахнуть младости.

Горько сиротинушке
Одиноко маяться.
Без любви, без солнышка
Горько век печалиться.

11 января 1955. Ленинск-Кузнецкий.

* * *

Как разыгравшийся ручей
В расселину между камней
Врывается, журча,
Ватага шумных малышей –
Незванных дорогих гостей,
Беспечно щебеча,
К нам в комнату ввалилась вдруг,
Заполнив смехом всё вокруг.

Задора, счастья полон рот –
Они не ведают забот –
И стало как-то вдруг теплей
От их бесхитростных затей.

И глядя на чужих ребят,
Таких же бойких чертенят
Я захотел ещё сильнее
Увидеть и в семье своей.

11 января 1955. Ленинск-Кузнецкий

* * *

В чём жизни смысл?
В чём обрести опору?
Найти пристанище измученной душе? –
Искать глубоких чувств,
Возвышенных дерзаний? –
Иль отместить, как сор, боль мысли и метаний,
И беззаботно век прожить как все?

Прожить без размышлений, без раздумий,
Кумирами вино и дев провозгласить,
Смеяться беззаботно, петь, кутить,
От жизни всё взять и забыть
О том, что душу волновало с юных лет?
Нет, не для этого ты родился, нет, нет!

Пусть путь твой будет каменист,
Пусть часто в час ночной
Сожмётся сердце, и в отчаянной тревоге
Растерянный ты остановишься в дороге –
Ты никогда не позабудешь тех минут,
Что труд и творчество в несчастье нам несут.

Январь 1955. Кемерово

* * *

Мы пили третий день токай,
Закусывая чёрным хлебом.
Но мы не плакались – пускай!
Нам весело под синим небом.

Конспекты сжечь успев едва,
домой разъехалась братва,
лишь я один неторопливо
в кругу последних могикан,
любуюсь блеском искр игривых,

багряного вина стакан
налил и выпил за любимых.

И снова всё кругом светло.
И снова мир, и снова счастье:
любовь и терпкое вино
развеяли, как дым, ненастье.

И пусть глаза любимых нам
не улыбаются при встрече,
мы шлём тоску ко всем чертям –
ведь столько радостей на свете!

И пусть нет денег, и пускай
едой нам хлеб, а крышей небо –
который день мы пьём токай,
закусывая чёрным хлебом!

11 сентября 1955. Осинники

В. С. Платонов

**СИБИРЬ –
ЛЮБОВЬ МОЯ,
НЕРАЗДЕЛЁННАЯ**

**Том II "Междуреченск"
1956-1959 годы**

«Созвездие Гончих Псов»

Барселона

2012

UDK 82(1-87)-94
BBK 84(4Rus)-8
P-82

Vladimir Platonov

"The chronicle of one life"

Volume III

1956-1960 years

ISBN 5-699-11446-7

10987654321

Typeset in Nimrod and Arial
by Tradespools Ltd., From
Printed in Greece

Не бойся врагов –
в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей –
в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных –
они не убивают и не предают,
но только с их молчаливого согласия
существует на земле предательство и убийство.

Бруно Ясенский

Страдания любви нельзя победить философией –
можно только с помощью другой женщины.

Эрих М. Ремарк

Предисловие к книге II

В этой книге и страдания неразделённой любви, не побеждённые ещё другой женщиной, и подлый удар на работе, нанесённый начальником шахты исподтишка, когда дела у меня шли хорошо и претензий ко мне не было никаких. И предательство Мучника (отца и сына гидродобычи). И моё неумение защитить себя в сложившихся обстоятельствах. И моё соглашательство, не красящее меня, пусть и косвенно, но способствовавшее упадку и гибели Томусинского комплекса гидравлической добычи угля.

Уход мой с опостылевшей шахты, от работы, не приносящей удовлетворения, от руководителей, не оценивших меня, равнодушных ко всему кроме собственного кармана и не терпящих ни малейшего ущемления их амбиций, походил больше на бегство на неподготовленные позиции. Я ушёл, как в прорубь нырнул, в неизвестность.

И был за это наказан сполна.

В. Платонов



Рис. 1. Впереди целая жизнь

1956 год

Проскочил незаметно январь, от которого сохранилось лишь два листочка в блокноте. Восьмого числа, например, зашёл на наряде разговор о труде, о производительности его. В ответ на моё замечание, что её рост обогащает страну и увеличивает возможности для повышения благосостояния населения, один из навалотбойщиков бросил в сердцах: «Какое мне дело до всеобщего благосостояния – я жрать хочу!» Какое убийственное у всех равнодушие ко всему, кроме этого: «Я жрать хочу!»

... Насколько мне было тягостно и тоскливо в эти январские дни можно судить по заметке восемнадцатого января о весне сорок первого года с любящими меня матерью и отцом, и другими людьми, с пекареней на барже и заключённым грузином-пекарем и его ласковым словом "синок". От приятных воспоминаний поднималось в какой-то, знать, степени настроение, становилось, чуточку легче и теплей на душе.

... Вдруг, после многомесячного молчания, я получаю от Людмилы письмо – не письмо, паническую записку: у неё болят глаза, кажется, она начинает слепнуть. Я рассказал о письме своему начальнику, и он разрешил мне прихватить пару деньков к выходному, чтобы съездить к возлюбленной.

... Открыв дверь, любимая меня обняла, прижалась всем телом ко мне, и губы наши слились в поцелуе. В долгом, кружащем голову, обещающем поцелуе. Все они были, кружащими и обещающими... А глаза у неё действительно покраснели, и на работу она не ходила – больничный лист был.

Не знаю, чем я мог ей помочь, и для чего она меня вызвала. Тоска тоже, что ли, нахлынула?.. Днями мы бродили по городу и говорили, и говорили, и говорили. Жалела меня, что мне трудно в глуши, где я, вероятно, отвык от высоких домов, театров, трамваев... Вспомнила! Но ни в какие театры, ни в какое кино мы с ней не ходили, я и не подумал её туда пригласить, как не подумал и о ресторане. Мне и без того было с ней хорошо, ничего мне этого было не нужно, мне была нужна лишь она. Только видеть её, только слышать... А о ней, что нужно ей, не подумал ни разу. Кем же я в глазах

её выглядел? То-то. Ей, возможно, совсем другого хотелось, чем одни разговоры. Но и меня можно понять. Я так безумно любил, так страшился её навсегда потерять, и так был ею два раза ушиблен, что страх сковывал меня по рукам и ногам, я мог только приходить в восхищение ею, но ни на какое действие решиться не мог, инициатива должна была теперь только от неё исходить. Легко, конечно, меня назвать дураком, но побывали бы вы в моей шкуре.

... на ночь я уходил в знакомую комнату на втором этаже общежития, где всегда находилась пустая кровать, всегда кто-то был в третьей смене.

Я вернулся на шахту и вдруг стал получать от неё за запиской записку (такие уж письма у неё выходили). «Володя! – в первой писала она. – Обеспокоена твоим молчанием... Пойми, дорогой, что это молчание страшно угнетает меня, в голову лезут чёрт знает какие нелепые мысли... Несколько раз я порывалась приехать, но не могла: вечером не идут к вам машины, а я могу уехать только вечером... Всё ещё хожу по бюллетеню, но я уже почти здорова... Пиши. Напиши хоть одно слово... Люся».

... много позже, перечитав эти записки, я подумал о причинах её беспокойства: не случилось ли чего со мной в шахте? Да, пожалуй, в то время это был бы самый лучший выход для нас, для меня, то есть, хотел я сказать... И в порывы её не очень поверилось. Почему только вечером? За два года, следовавших затем, так ни разу и не приехала, хотя побывала в гостях у многих друзей и съездила аж в Таштагол на самом юге Кузбасса, километрах в ста за Осинниками.

... В следующей записочке: «Вовочка! Я очень хотела, чтобы ты приехал. Не приехал, значит, не мог... Не приехал, но ведь ты же мог ответить хоть на одно моё письмо хотя бы двумя словами...» И ещё: «Фразы и слёзы к чёрту! Хочу, чтобы ты приехал! Вот и всё. Жду тебя. Люся».

Какой музыкой звучали эти слова! «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»

... вероятно, и ей на шахте было тоскливо, но не горше же моего? Город большой, есть театр, кино, и свои ребята живут в общезжитии... Но нельзя исключать, в большом городе одиночество и свою затерянность чувствуешь сильнее ... А друзей, интересных знакомых у неё, по всему, пока не было.

В конце января я ещё раз побывал у неё. Она мне сказала будто слышала в разговоре о создании в Сталинске института ВНИИГидроуголь на основе отделения гидродобычи Кузнии. И что этот институт рассылает в тресты заявки на курсы по гидродобыче, а те в соответствии с приказом комбината отправляют на эти курсы людей.

... Я мигом помчался в Прокопьевск: в Сталинске был готов только корпус, а люди и штаб-квартира оставались ещё там. В Кузнии я застал заместителя Мучника, Теодоровича Михаила Борисовича, того самого, кому встретился ночью с перевязанной головой. От него я узнал, что сообщение о курсах – правда, и попросил его посодействовать мне попасть на эти курсы. Михаил Борисович тотчас же поручил секретарше отпечатать письмо в трест "Молотовуголь" и, спросив:

– Вы то теперь куда?

– В Сталинск, – пригласил меня в свою машину:

– Я тоже в Сталинск сейчас выезжаю.

Вместе с нами поехал и руководитель моей дипломной работы Караченцев Валентин Игнатьевич. В пути на "Победе" Теодорович веселил меня смешными историями, случавшимися с Караченцевым – они вместе воевали солдатами, – а Караченцев в ответ подначивал Теодоровича: «Остановимся ночевать где-нибудь в хате, хозяйка на стол горшок вареников выставит, а Теодорович давай нас смешить. Пока нахожемся, глядь, а горшок уже пуст: Теодорович все вареники слопал».

... По возвращении из этой поездки я проработал на своём участке день или два. Во исполнение приказа по тресту Плешаков направил меня с первого февраля на двухмесячные курсы повышения квалификации в области гидродобычи в Сталинск в Сибирский металлургический институт. Приехав в институт и получив направление в общежитие, я обнаружил там четверых наших ребят, в том числе Суранова Славу и Потапова Людвиг. Остальные были людьми с шахт, не имеющие никакого понятия о гидравлической добыче угля.

Мы, выпускники КГИ, поселились в одной большой комнате, больше похожей на зал с двумя высоченными окнами. Собравшись вместе, мы решили нагряться в гости к Володиной, и там кого-то из нас осенило: а нельзя ли и её к нам пристроить на курсы. Людмила пришла от этой идеи в восторг – ещё бы!.. на два месяца с шахты удрать!

Идея, конечно, была хороша, но как её в жизнь провести?.. Тут все взоры оборотились ко мне, о моих "особых" с ней отношениях,

оказалось, знали решительно все. И поручили этим делом заняться... кому же ещё?.. мне, разумеется.

. Наутро я снова у Михаила Борисовича. Он и Мучник уже переехали в Сталинск в здание института, покуда ещё необжитое, гулкое пустотой и сияющее свежей побелкой и, в коридорах, голубой краской панелей. Приёмная у них была общая, кабинеты – напротив, как водится

... вот вхожу я к Теодоровичу в кабинет, светлый, большой, не загромождённый какой-либо мебелью. Теодорович один, за столом. Я здороваюсь и, обращаясь по имени-отчеству, говорю: так, мол, и так, вот я прибыл на курсы, а здесь на шахте работает моя невеста, тоже выпускница нашего института. Нельзя ли и её на курсы устроить?

– Она тоже дипломировалась по гидродобыче? – спрашивает Теодорович меня.

– Нет.

– Ну, да это не так важно... Фамилия?.. Имя?.. Отчество?..

– Володина Людмила Кузьминична.

– Кем? На какой шахте работает?

– Помощником начальника участка вентиляции шахты имени Орджоникидзе треста "Сталинуголь", – выпаливаю я без запинки.

– Ну, что ж, попробуем... – тянет Теодорович, поднимается и идёт в угол к маленькому столу, на котором стоит пишущая машинка... Тут надо сказать, что Мучник был человеком неординарным, взглядов самых передовых, и старался оснастить свой институт тем, что позже стали оргтехникой называть... Из доступных в то время средств этой техники были в Союзе лишь чертёжные комбайны и пишущие машинки. Ими Мучник и снабдил каждого инженера, включая себя и своего заместителя, чтобы не бегали с каждой чепуховой бумажкой к секретарю-машинистке или в машинописное бюро института...

... и вот навис огромный Теодорович над пишущей машинкой, заложил в неё бланк с грифом "ВНИИГидроуголь" и не очень умело начал выстукивать текст:

Управляющему трестом "Сталинуголь"
тов. N-ву N. N.

Прошу направить выпускницу Кемеровского горного института, специализировавшуюся в области гидравлической добычи угля и работающую в настоящее время помощником начальника

участка вентиляции шахты им. Орджоникидзе, горного инженера Володину Людмилу Кузьминичну на двухмесячные курсы повышения квалификации при Сибирском металлургическом институте с...

– Какое у нас сегодня число?

– Третье...

с 5-го февраля 1956 г.

Директор

В. С. Мучник

– Посиди, – говорит Михаил Борисович мне, – я схожу к Мучнику, подпишу.

Через несколько минут он возвращается:

– Уже отправили... Ну, что?.. Доволен?

– Большое спасибо, – говорю я, приподнимаясь со стула, – очень большое спасибо.

Теодорович смеётся:

– Ничего... Пусть у тебя будет всё хорошо, – он жмёт мою руку, и я ухожу.

... через два дня Люся уже на курсах.

Эти два месяца мы (кроме Людмилы) ходили регулярно на курсы в СМИ, слушали лекции. Я занимался прилежно, тем более что занавес, отделявший нас от презренного Запада, чуть приоткрылся, и нам давали кое-что новое, чего я прежде не знал. Да, я занимался усердно, то есть писал конспекты, перечитывал их, запоминал всё, что услышал и, тем не менее, в памяти эти два месяца запечатлелись как непрерывное сидение в общезитии за столом с бутылками и закусками и с Людмилой подле меня.

Но, странное дело. Ещё две недели назад забрасывавшая меня своими записками-письмами – приезжай!.. хочу тебя видеть! – она сейчас была... как бы это сказать... нейтральна со мной, неприветлива. Ни любезной улыбки, ни не только что предложения её проводить, но и неизменное её уклонение под каким-либо выдуманном предлогом от подобного моего предложения... Да, за эти два, нет, три – потом месяца добавят ещё – за эти три месяца мы ни разу не остались наедине, мы ни разу по городу не гуляли. Встречались лишь на занятиях, которые она посещала нечасто, да за пиршественным столом в общезитии, где, я думаю, товарищи мои специально делали так, чтобы она оказалась рядом со мною. После пиршества она исчезала, без меня, разумеется.

... Но застолья наши были весёлыми, шумными, ребята шутили, острили. Я, не чувствуя таланта быть душою компании, не выпендривался, из кожи не лез и, по привычке, отмалчивался, хотя от всей души веселился вместе со всеми.

... и пусть глаза любимых нам не улыбаются при встрече.

... Лишь единожды в ответ на чьи-то слова я вбросил реплику в разговор, от которой все покатались и долго от хохота не могли прийти в нормальное состояние, после чего кто-то восхищённо воскликнул: «Ай да Платонов!.. Молчит, молчит, но если уж скажет...»

Не скрою, такая оценка мне польстила. В самом деле, я часто бывал остроумен, но с замедлением остроумен. Как говорят французы – на лестнице. И посему моё остроумие бывало никем не замечено, ибо не было выказано. Не ляпнешь же остроумную фразу не к месту, когда разговор зашёл о другом. Так и дурнем не трудно прослыть: как до жирафа доходит. А на деле дошло-то мгновенно, да ответ на малый миг запоздал. И обнародовать его теперь было бы до крайности неуместно. Вот такая недоделанная у меня голова.

... За три месяца я в Томусе так ни разу не и появился. По воскресеньям мы всей тёплой компанией ездили в гости к кому-либо из наших товарищей и проводили время в застольях, не зная вестей, не слушая радио, не читая газет.

Два раза мы были в Прокопьевске у Юли Садовой. Двухкомнатная квартира, из коридора, ведущего в кухню, две двери. Первая – в комнату Сюпа, вторая – к Юлии. К ней переехала мама, Екатерина Константиновна, знакомая мне по Гурьевску. Она хлопочет на кухне, чтобы хлебосольно встретить гостей. На стол выставляются необъятных размеров сковорода с подрумянившимися ломтиками поджаренного картофеля, миски с солёными капустой и огурцами и целое блюдо котлет. Мы извлекаем из свёртков бутылки с сорокаградусной влагой и, опрокинув в себя по стакану, с большим аппетитом уплетаем никогда не предающуюся еду.

... Тут, у Юли, мы узнаём, что у Сюпа начинается драма. Пережив измену любимой, наш Юра, приехав на шахту, мгновенно влюбился в маленькую молоденькую очаровательно красивенькую еврейку – шахтного комсомольского секретаря. И не просто влюбился, но и скоропалительно женился на ней. И тут-то и началось... Секретарь комсомола по определению должна быть общительной. Вот она и общалась и на шахте, и в горкоме на собраниях, заседаниях, пленумах,

конференциях с шустрыми комсомольскими вожакими. И это общение порой неприлично затягивалось. И слухи всякие появились, и до Юриного уха дошли, хотя он вроде на людях и не бывал, пропадая по двенадцать часов ежедневно на шахте и в шахте... И начались объяснения, выяснения отношений. В довершение молодую супругу не устраивал маленький заработок мужа. Участок, где Юра работал помощником начальника, плана не выполнял, а это – больше работы, больше ругани, нагоняев, и – только оклад. А оклад у помощника – возле двух тысяч. Это по шахтёрским меркам немного... Вот и упрекает её Сюз за свободное поведение, а она ему скандальчик в ответ, что он на её шее сидит и в шахте своей ни черта заработать не может.

... После набегов к Юле, мы зачастили к Потапову Людвигу, всё в тот же Прокопьевск, где жила его тёща и беременная жена. Дом их стоял в самом центре Прокопьевска на взлёте трамвайных путей, необычность которых была нами замечена во время подготовки дипломных проектов.

Трамвайная линия от шахты "Красногорская" № 1-2, где я в 53-м году на практике был, подходила к впадине центра Прокопьевска и прогибалась чрезвычайно крутой дугой – не верилось, что трамвай из неё сможет выехать... Но трамвай опускался, похоже, без тормозов с жутким лязгом и внизу летел бешено, так что страшно становилось за пассажиров и за себя, и, набрав сумасшедшую скорость, без труда взлетал на подъём. Этот трюк представлялся мне очень опасным, но каждый раз как-то всё обходилось. Пируя у Людвиги, мы то и дело слышали чудовищный грохот из котловины.

... У Потапова, кроме того, что было везде, на столе появлялся томатный соус, приготовленный его домовитою тёщей. ... Изумительный соус! Вне конкуренции! И меня от него не могли оторвать, я бессовестно съедал, наверно, полбанки. За едой я никого никогда не стеснялся. Любил вкусно поесть.

... и всегда крутилась чёрная пластинка на патефоне, и игла извлекала слащавую мелодию на сладенькие слова:

Пой, ласточка, пой.

Пой, не умолкай –

Песню блаженства любви неземной

Век мне напевай.

... зато сам Людвиг порадовал нас своим пением. Был он в ударе, пел много, задушевно и с большим артистизмом. Голос у него ещё сохранялся, был полным, чудесным – и доставил нам огромное удовольствие.

... Из занятий на курсах, кроме, естественно, Мучника, помню лекцию Караченцева о креплении анкерами. Это была новинка, вперхнувшая к нам из Соединённых Штатов Америки в ту самую щель под железным занавесом, приоткрытым Хрущёвым. Получалось и в самом деле отлично для крепления выработок на пологом падении: пропластки породы в кровле пласта сплавивались анкерами в сплошной монолит, не отслаивались и поэтому по отдельности не обрушались. А монолит трудно обрушить. Кровля стояла. Это похоже на пакет досок. Когда они лежат на опорах одна на другой, то выдерживают нагрузку много меньшую той, которую выдержат, если стянуть их болтами.

Интересно, захватывающе читал лекции нам сам Мучник. Но вот ничего из них я не помню, как не помню и названия его курса. Во многом они были общими рассуждениями. Караченцев окрестил его курс "Философией гидродобычи". Суть философии была в том, что заметный скачок в производительности труда дают лишь технологии, сокращающие число операций в процессе. Говорил он с большим увлечением, горячо, убедительно, подкрепляя выводы из суждений примерами и расчётами. Безапелляционная убедительность его выступлений захватывала меня и других и позднее, когда слушал его на совещаниях и конференциях.

... А в жизни было всё не так убедительно. Всё было сложнее. Не в одном сокращении операций зарыта собака. Гидродобыча их действительно в ряде случаев сокращала. Но ведь и сами-то операции требуют тщательной отработки, шлифовки, чтобы шли они без сучка, без задоринки. А вот эту сторону Мучник упускал, от неё просто отмахивался. И когда противники его способа, выступая с трибун, называли многочисленные ухабы и нестыковки, на которых застревала работа, зал охватывал панический пессимизм. В самом деле, всё разваливается на каждом шагу, и при таком положении ничего из нашей затеи не выйдет. Тогда вновь в заключение выступал на сцену Мучник и, отмечая, как мелочь, как сор, все возражения, говорил о существенном, главном, о таких значительных преимуществах, что все предыдущие построения его недругов рушились карточными домиками, воспринимаясь как нечто нестоящее. Настроение зала менялось, речь Мучника казалась неотразимой, противники, не найдя значимых аргументов для возражений, молчали. Слушатели убеждались: всё хорошо, всё хорошо! В таком состоянии и покидали мы зал, с тем и разъезжались по шахтам. Но проходили дни и недели, жизнь подбрасывала новые затруднения и проблемы, да и старые трудности никуда не девались, и вновь колебания начинали одолевать многих из нас.

... И снова критика на очередном совещании, и снова выступление Мучника, не оставляющее и тени сомнения в его правоте: «Всё хорошо!.. Всё хорошо!»

... надо уметь убеждать, увлекать!

... В одной из своих лекций Мучник заговорил о постоянных изменениях представлений в науке, о постоянных сменах её воззрений на мир и, в этой связи, упомянул о книге Инфельда и Эйнштейна "Эволюция физики", что подвигло меня к дальнейшему стремлению расширить свои взгляды на строение мира. Этот вопрос был мне чрезвычайно интересен всегда. И тут же в Сталинске в магазине, не найдя упомянутой книги, я увидел другую книжку Эйнштейна "Сущность теории относительности". Я её, конечно, сразу купил. Сущность-то в общих чертах я знал и до этого, но мне захотелось в неё проникнуть поглубже. Однако после первых страниц я перестал вообще что-либо понимать, споткнувшись на тензорах. Что это за зверь, я не знал, и спросить было не у кого.

Сейчас мне смешно. Ведь ещё в школе мы с тензорами дело имели, изучая взаимодействия электрических и магнитных полей. Вспомните хотя бы взаимодействие тока: "Правило правой руки", "Правило левой руки", где результирующий вектор направлен перпендикулярно к плоскости взаимодействия двух векторов, но никто не упомянул, что это результат умножения векторов. А в институте, где тоже эти векторы перемножали, никто не сказал, что такое умножение и есть этот самый тензор. Вообще оказалось, что, не подозревая о том, мы знали больше, чем думали. А не догадываясь об этом, не умели свои знания применить, как у меня получилось с теорией ошибок в маркшейдерском деле.

... Не удивительно, что при таком философском размахе двух месяцев на обучение не хватило, и Мучник испросил у министра продления срока курсов на месяц... Мы ликовали!

... По окончании курсов мне вручили чёрную книжечку – удостоверение в том, что я повысил квалификацию, и где против всех прочитанных дисциплин стоит одна и та же отметка – отлично.

... В один из последних дней апреля я, наконец, явился на шахту, где был ошарашен ворохом новостей.

Закончилось строительство четырёхэтажных домов у края проспекта, начинавшего город за проездом под линией железной дороги. Город начал приобретать очертания, и наше дотоле безымянное поселение, затерянное среди сопот Горной Шории меж реками Томь и Усу, было наречено городом, и имя ему было присвоено Междуреченск.



Рис. 2. Начало города

В Междуреченске утверждалась советская власть, вскоре должны были появиться и все властные и не властные атрибуты: горком партии, горсовет, горком комсомола, горком профсоюзов, военкомат. Из треста "Молотовуголь" выделялся самостоятельный трест "Томусауголь", и несколько работников и работниц с мужьями и жёнами уже прибыли в новый трест из Осинников, и с ними – работница планового отдела, которая накануне трестовского раздела сумела подписать у Соколова приказ о назначении её мужа Свердлова начальником строящегося Томусинского гидрокомплекса. И Плешаков этот приказ продублировал!

... Вот это был удар так удар!.. И он требовал незамедлительного ответа. Ни слова ни говоря, – не буду же я пустыми руками перед Плешаковым размахивать, – я разворачиваюсь и еду в комбинат в Кемерово к Кожевину.

... наутро я уже в его приёмной, но Кожевина нет в комбинате, Кожевина в командировке. В отчаянье я направляюсь в приёмной к противоположной двери, к Ковачевичу, заместителю Кожевина по добыче.

... передо мной за громадным столом сидит человекообразная глыба со звездой Героя Социалистического Труда на груди. Это и есть Ковачевич. Я объясняю ему происшедшее, прошу вмешаться, восстановить справедливость. Слова мои производят на Ковачевича впечатление обратное ожидаемому. Лицо его багровеет, и, опираясь руками о стол, он приподнимается, оторвав огромный зад от широкого кресла:

– Ты чего шляешься здесь?! Марш на шахту немедленно! И работать! – орёт он таким страшным голосом, что сейчас, думаю, рывкнет: «Вон!» – но он молча плюхается в кресло.

– До свиданья, – говорю ему я, понимая, что делать здесь больше нечего, и выхожу, ошеломлённый приёмом.

Неужели всё рухнуло?! Нет, есть ещё один шанс: я вспоминаю о договорённости Мучника с Линденау и поднимаюсь на третий этаж в приёмную главного инженера. Кажется, я здесь когда-то бывал. Во всяком случае, красавица секретарша с бровями, удлинёнными тушью наискосок и придающими ей сходство с очаровательной японкой, сидевшая за столом, повернулась ко мне и благожелательно улыбнулась. Так улыбаются людям, которых видели и к которым благоволят.

Не успел я и рта раскрыть после приветствия, как она опередила вопрос:

– А Николая Ивановича сейчас нет, но после двух часов он будет.

– Спасибо, – улыбнулся и я, – я зайду после двух часов.

... в четырнадцать ноль-ноль я открыл дверь приёмной, в которой тонкими духами благоухала красавица. Она снова мне улыбнулась:

– Он у себя. Заходите.

Я вошёл, рассказал о причине приезда. О своём визите к Ковачевичу, благоразумия ради, я умолчал.

Линденау нажал кнопку селектора и вызвал к себе начальника отдела руководящих кадров.

– Да захватите с собой все дела по строящимся гидрокомплексам, – добавил он под конец.

Когда вызванный начальник вошёл и, приглашённый жестом руки, сел за приставной столик напротив меня, интеллигентнейший Николай Иванович сказал ему:

– Как-то у нас была договорённость о руководителях строящихся гидрокомплексов. Посмотрите в своих бумагах, там всё должно быть.

Кадровик раскрыл папку, перелистал в ней бумаги и протянул Линденау большой сдвоенный лист, на котором напечатано было что-то вроде таблицы.

– Пришла пора сделать назначения, – взглянув на таблицу, сказал Линденау. – И сегодня же – в приказ! Особо проследите, чтобы начальником Томусинского гидрокомплекса был назначен горный инженер Плато-онов, – он протянул предпоследний слог и вопросительно взглянул на меня.

– Владимир Стефанович, – догадался подсказать я.

– Владимир Стефанович, – повторил Линденау и, встав, протянул мне руку:

– Желаю удачи, Владимир Стефанович!

Я поблагодарил его и вышел.

– Ну, как, всё в порядке? – поинтересовалась очаровательная красавица.

– Да, всё хорошо. Вам большое спасибо, – и я распрощался тронутый расположением дивной красоты секретарши.

... и какое счастье, что в жизни не одни Ковачевичи!

... Время в поездках издали кажется промелькнувшим совсем незаметным, впрочем, как и вся прожитая жизнь, хотя в жизни той дни порой тянулись до чрезвычайности нудно и медленно. Но, так или иначе, вернувшись из Кемерово в Междуреченск, я приступаю к своей работе помощника на прежнем участке. В последний апрельский день я сижу на первом наряде. Звонит телефон. Мой начальник берёт трубку, слушает, говорит: «Да, хорошо, – трубку кладёт и посылает меня к Плешакову. – Плешаков тебя вызывает».

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, вхожу в кабинет начальника шахты.

– На, познакомься, – он подаёт мне лист, на котором читаю: «Приказ по комбинату "Кузбассуголь" номер (такой-то) от (такого-то) апреля...» – Я пропускаю преамбулу и бегу глазами вниз по листу до слов «произвести назначения». Теперь я читаю внимательно. Слева – названия гидрокомплексов, справа – должности и фамилии. Гидрокомплексы мне знакомы – знакомой фамилии против них – ни одной.

Наконец, в самом низу:

Гидрокомплекс шахты "Томь-Усинская" № 1-2	Начальник Механик	Платонов Владимир Стефанович Исаев Александр Иванович
--	----------------------	--

Да, это же тот самый Санька Исаев, которому палец отдало на практике на "Пионере" в Белово и которому я на "Полысаевской" нечаянно дорогу перебежал, уведя возлюбленную его. Чудны дела Твои, Господи, в третий раз вне института наши дороги пересекаются.

Я от радости прыгать готов, разумеется, не от Саньки – он то мне безразличен – от назначения...

Между тем Плешаков предлагает мне стул (!) и заводит такой разговор:

– Работы по гидрокомплексу, в сущности, у вас пока нет никакой.

Тут я позволяю себе его перебить. Дело в том, что ещё в декабре прошлого года, я сумел выкроить время и заглянуть на участок, где,

как мне сказали, шахтостроители закончили горные работы для гидрокомплекса. Безусловно, поступил я в нарушение всех правил техники безопасности, отправившись в путешествие это на заброшенные горные работы один, но я знал, что шахта наша не газовая (в ней не было обнаружено выделений метана), и, стало быть, в восстающих выработках метан не соберётся, и мне ничто не грозит. Что касается углекислого газа, то он опускается вниз и уносится током свежего воздуха, поступающего в шахту снаружи.

Участок шахтного поля, отданный гидрокомплексу, был частью того же III пласта и на том же горизонте, где я на трёх участках в разных слоях поработал. Вскрывался он небольшой самостоятельной штольной, пройденной по углю и креплённой деревянными рамами. Метрах в четырёхстах от устья эта штольня смыкалась с главной штольной горизонта +345 м, вильнувшей к пласту и перешедшей там в откаточный штрек. Следовательно, наша штольня могла проветриваться за счёт общешахтной струи, но проветривалась ли, я не удосужился выяснить. Я проник на участок не через неё, а по параллельному ходу, вроде того, в котором полтора года назад трудился на "Пионере". В ходке на почве были уложены четыре нитки десятидюймовых труб большого диаметра – два водовода и два пульповода, то есть был резерв на случай аварии. Это порадовало – хорошо! Пробираясь по трубам, я миновал забетонированную камеру углесосной станции, сопряжённой с ходком. Трубы заворачивали туда, но углесосов пока что там не было. Удивило меня, что остальные три стены камеры углесосов были глухие, не было никакого намёка на зумпф – колодец забора угольной пульпы – у углесосной. Дальше пошли ещё более странные вещи: трубы – теперь уже только две нитки – снова вышли из углесосной и потянулись далее по ходку. По ним я и вышел к первому очистному забою – печи. Вышел... и пришёл в изумление... ахнул. Зрелище было для человека, в горном деле хоть что-либо смыслящего, потрясающее – вверх по восстанию поднималась выработка невероятных размеров. В высоту метра четыре и столько же в ширину. Для чего?.. Чтобы поместить в нём водомёт (гидромонитор, по-научному) высотой в семьдесят сантиметров и человека – в метр восемьдесят?.. В самом деле, не железнодорожные же вагоны мы туда собирались пускать?! Идиотизм настоящий!

И какой дурак станет работать в этой печи на границе с выработанным пространством (где каждый миг грозит обрушение) под прикрытием верхняка на недостижимой высоте?!

... Да, то, что сотворили в шахте шахтостроители, – привело меня в ужас! Впрочем, шахтостроители тут не причём, они исполнили проект, а проект смастерили спецы из Всесоюзной проектной конторы "Союзгидромеханизация", никакого представления о подземных работах никогда не имевшие: они занималась вскрышными работами на карьерах. И всё, что делалось на поверхности, они бездумно в шахту перенесли. Трудно даже поверить, что у серьёзных людей не хватило простого здравого смысла.

Трубы обрывались сразу у первой печи, но за ней были пройдены ещё три такие печи, через десять метров каждая. Как из них уголь брать после выемки первого же столба и обрушения кровли – неизвестно, никаких охранных целиков не было предусмотрено. А как уголь из печей до углесосной камеры транспортировать?.. Чуть позже, зайдя в маркшейдерский отдел и найдя в нём проект горных работ гидрокомплекса, я увидел синьку: вверху перед выработанным пространством стоит монитор, за ним две плахи от бортов печи под углом сходятся к жёлобу, направляя в него поток пульпы. Из жёлоба пульпа попадает в дробилку, а оттуда передвижным углесосом подаётся в камеру к углесосам стационарным. Полный абсурд!

Не говоря уже о том, что надобно будет перетаскивать неподъёмные механизм, так и сами они не смогут работать.

Струя воды смывает уголь неравномерно, бывает, вода скапливается за грудой угля, а потом как прорвёт её, хлынет с углём – селевой поток позавидует... И уже завалены с верхом и дробилка, и углесос... и маши-ка лопатой, матушкой-выручалочкой, да ещё ведь и снова вопрос: куда ею маши?!

Словом, проект никуда не годился, и горных работ, считай, не было, печи были практически бросовые. Ну, допустим, проектировщики – дураки с открытых работ, шахты не видели, – но как мог проект миновать отделение Мучника? Он же всё контролировать должен, он заказы министерства на проекты проталкивал. Неужели ему было всё безразлично, и он довольствовался тем, что гидрокомплексы спроектированы и строятся потихоньку. Или всё у него по русскому обычаю выходило: вали кулём – потом разберём!

... Я даже не стал читать пояснительную записку к этому бреду. А ведь всё до крайности просто и на "Полысаевской-Северной" в принципе отработано. Перед углесосной зумпф и дробила, далее с уклоном пять сотых аккумулирующий штрек с желобами, от него вверх по почве пласта печи, сечением максимум два метра на два.

А надо сразу сказать, более идеального места для гидравлической добычи угля, чем здесь, невозможно было представить. Мощность пласта – девять с половиной метров, падение пологое. При обычной технологии пласт отрабатывался четырьмя слоями – я описал, как там работает. Гидравлический способ же без труда позволяет вынимать уголь сразу на всю мощность пласта. При том же самом, как и на прочих гидрокосплексах, объёме подготовительных работ, к выемке здесь подготавливается в три-четыре раза больше угля. А если ещё учесть, что отработываемый горизонт на сто метров выше промплощадки, и, гидротранспорт затрат энергии не потребует, то, думаю, пояснения не нужны.

... Но, безусловно, горные работы надо было проектировать и выполнять заново. Я, хотя и желторотый юнец, понимал, коль деньги потрачены, то ничем не заставить ни проектантов, ни шахтостроителей всё переделать. Выходит, проектировать систему разработки для этого пласта придётся мне самому, и согласовывать её с Мучником, и утверждать.

... Но в суматошной жизни своей, занятый другими делами, я сразу ничего не предпринял; к тому же шахтостроители пока других работ не вели, поверхностный комплекс совершенно не был построен... и до пуска – ай как ещё далеко!.. Да ведь и полномочий я не имел никаких. Хотя надо бы, надо бы было дать знать Мучнику. Видно думал, что это никуда от меня не уйдёт. Или ничего вовсе не думал.

Итак, эта картинка до поры выветрилась из головы у меня, чтобы возникнуть сейчас, когда я перед Плешаковым сижу и разглядываю его. Я уже кое-что знаю о нём. Может пообещать, но почти никогда обещанного не выполнит, ну, разве обещанное само свалится. Жёсток, хваток, самолюбив, властолюбив. Не любит, когда ему перечат. Летом ходит в тёмном костюме. Осенью и весной носит длинное демисезонное пальто и большое кепи, правда, всё же меньших размеров, чем "аэродромы" лиц "кавказской национальности".

... Сейчас я впервые внимательно его вблизи рассмотрел. Низенький человек с сообразной росту комплекцией, плотен, не толст. Лицо крысиное какое-то, угловатое с желваками на щеках, клином суживается книзу, так и кажется, что оно должно закончиться короткой бородкой, но бородки не было. Щёки и подбородок выбриты тщательно и отливают синевой – щетина, видно, густая. Волосы зачёсаны назад. Выражения глаз не разглядеть – взгляд уклончив. И

вот, глядя в эти уклончивые глаза, я и вспомнил картину горных работ гидрокомплекса. А, вспомнив, позволил себе его перебить:

– Не совсем так, – проговорил я, – горные работы хотя и выполнены, но выполнены по проекту безграмотному, совершенно безумному. В таком виде принимать гидрокомплекс нельзя. Пока есть возможность и время необходимо внести в проект горных работ изменения, и это некому сделать кроме меня. Выработки для начала очистных работ, скорее всего, придётся проводить нам сами после сдачи комплекса в эксплуатацию. Но для гидродобычи это не вопрос. Выработки все по углю, и мы сами проведём их за два месяца, но надо решить вопрос с шахтостроителями, чтобы они сделали непредусмотренный зумпф и поставили перед ним дробилку и гидромонитор, дабы мы могли проходку начать сразу после ввода в строй гидрокомплекса. К тому же сейчас начинается строительство наземных объектов, а за ними – монтаж оборудования, тут за строителями тоже нужен догляд. Так что...

Выслушав мою речь, Плешаков чуть смягчился:

– Ну, скажем так, работой пока вы не будете перегружены. Поэтому на какое-то время я предлагаю совместить её с работой диспетчером шахты...

Пока строители не развернули работ на поверхности, у меня не было никакого резона артачиться, и я согласился. Тем более, что появлялась возможность познакомиться с работой этой огромной уникальнейшей шахты, самой крупной в Союзе, с производительностью десять тысяч тонн угля в сутки, на которой только добычных участков было более двадцати. И пласты "Томь-Усинская" № 1-2 разрабатывала редчайшие: кроме нашего, почти десятиметрового III-го, под ним пласт IV-V, двенадцатиметровый, разделённый тонкой породной прослойкой, отчего и двойное название у пласта, за ним, ниже, отрабатывался шестиметровый VI-й пласт – и везде великолепнейший малозольный коксующийся уголь. А ещё ниже целая свита невоскрытых пластов вплоть до XVIII-го, разведанных до глубины восьмисот метров.

– Вот с первого мая и приступайте, – заключил разговор Плешаков, – тут уже твой механик прибыл.

– Исаев? – спросил я.

– Да, Исаев.

... С Первого Мая, чередуясь с Исаевым и ещё кем-то третьим, я по двенадцати часов через день дежурю в диспетчерской за столом, хочется сказать: перед пультом, но тогда пультов не было, а

стояли два двадцатиномерных ручных штекерных коммутатора, по одному на каждый горизонт.

... слышится писк, и над одним из двадцати гнезд ящика коммутатора загорается красная лампочка. Я вставляю в гнездо штекер. Звонит мастер второго добычного участка:

- Закачали двадцать пять вагонеток и всё, стали, нет леса.
- Заявку на транспорт давали? – спрашиваю.
- Да.

Вставляю второй штекер в гнездо участка шахтного транспорта горизонта. Щёлкаю тумблером: даю зуммер. На другом конце провода берут трубку.

- Вам второй участок давал заявку на стойки и затяжки?
- Да.
- Так какого вы чёрта их до сих пор на участок не завезли, полсмены прошло, лава стала!

– Только что отправили, – оправдывается диспетчер шахтного транспорта.

– Хорошо. Проследите, чтобы на другой участок не заехали невзначай. – Я выдёргиваю штекер и – горному мастеру:

- Слышали?
- Да.
- Если будет задержка – звоните.

Выдёргиваю и этот штекер. Сижу, жду. Если звонков нет, читаю книжку. Но напряжён, как на школьном уроке – успеть спрятать книжку под стол, если дверь начнёт открываться. В конце смены звонят мастера, передают, сколько загружено и вывезено вагонеток. Свещаю их цифры с тем, что даёт опрокид – виноват, разгрузка, у нас ведь вагонетки не опрокидываются, разгружаются над бункером через дно.

... сводка готова. Можно докладывать Плешакову или главному инженеру, тому, кто проводит планёрку, и идти домой, благо сменщик уже стоит за спиной.

... Прошёл май, заметно зашевелились строители, начали рыть котлован под отстойники возле ОФ. В пристройке к фабрике, стали устанавливать центрифуги для обезвоживания угля. Появились люди и на отделке здания насосной станции возле У-су, у моста, и под землёй – в углесосной.

В тресте "Томусауголь", управляющим которого стал Василий Сергеевич Евсеев, учредили дирекцию строящихся предприятий.

Директором её назначили Ложкина Николая Ивановича. Я зашёл к нему познакомиться: финансирование шахтостроителей и приёмка работ проходили через него. Встретил он меня доброжелательно, и я стал часто бывать у него, расспрашивая о тонкостях строительных дел. Мы почти подружились, насколько это возможно при такой разнице лет: мне – двадцать четыре, ему – под шестьдесят.

Он был весьма симпатичен, спокойный, большеголовый, высокий седой человек. Вероятно, и во мне он почувствовал человека порядочного, так как стал вести со мной откровенные разговоры. Я уж не говорю о том, что он с его большим жизненным опытом был мне полезен во всех отношениях, его дельные советы были бесценны для новичка. И, полагаю, не обошлось без него: без всяких просьб с моей стороны с июня Плешаков освободил меня от диспетчерской службы и приказом по шахте поручил контролировать строительномонтажные работы, проводимые на гидрокомплексе генподрядчиком, Ольжерасским ПСУ, и его субподрядчиками, строительномонтажными управлениями (СМУ).

... Николай Иванович был одним из тех старых русских инженеров (послереволюционных, конечно, но учившихся ещё у старых профессоров), которых весной пятьдесят шестого года выпустили из сталинских лагерей... Тогда же стали исчезать и сами эти лагеря вблизи Междуреченска. То ли их вообще уничтожили, то ли часть из них передвинули подальше в тайгу, в сторону строившейся ветки железной дороги от Междуреченска до Абакана.

К сожалению, большинство этих событий прошло мимо меня, просялось разговорами, слухами. Я не проявил необходимого любопытства, занятый делами и сугубо личными переживаниями, не побывал хотя бы в верховьях Ольжераса, не посмотрел, что там сейчас происходит. – Через год мне доведётся съездить туда, но там будет совершенно другая картина. А сейчас немало из тех, кто обрёл недавно свободу, и кому некуда и не к кому было деваться, устраивалось на работу на шахту проходчиками, забойщиками, крепильщикам, лесогонами, все те, кто никакой специальности не имел. Среди них случались и уголовники, которые, опять же по слухам, начали безобразничать на нарядах и в городе, но от таких быстро избавились, они притихли. Возможно, милиция в те времена своим делом занималась усерднее, чем ныне.

Но уголовники меня не занимали, а вот с другими я охотно говорил бы... Не поговорил. Всё было некогда. И неудачливая любовь моя своими тягостными переживаниями многое заслоняла. Я

ведь и разоблачение Сталина пропустил. Хотя тут и есть оправдание. Двадцатый съезд проходил, когда я свою квалификацию "повышал" в городе Сталинске.

Там я даже газет не читал. Впрочем, из газет всё равно ничего не узнал бы, там об этом ничего не писалось. Секретное письмо ЦК партии зачитывали на закрытых партийных и комсомольских собраниях. Я на собрании не был, и о Сталинском бандитизме узнал от мамы по тем отрывкам, которые ей запомнились. Но и этого было достаточно... Это был шок. Сотни тысяч людей казнены ни за что, накануне войны обезглавлена армия. Тухачевский "признался" в заговоре под пытками. Расстреливаемый Якир успел выкрикнуть: «Да здравствует Сталин!» – на что вождьотреагировал в своём стиле: «И перед смертью, подлец, не покайся».

... Всё это маму потрясло в прямом смысле этого слова. Обрушилось всё, чему она верила слепо. Рухнул мир лжи, пелена спала с глаз. Со слезами рассказывала она мне, как её привлекли к раскулачиванию, к выселению "кулаков": «А кого высылали? Обыкновенных крестьян-казаков. Дети – мал мала меньше – полураздеты, плачут. Взрослым с собой из вещей взять почти ничего не дают, а на дворе холод, зима. Сердце обливается кровью, глядя на них, а тебе твердят: это враги. Но ведь я живой человек – жалею. Кому незаметно что-либо суну сама, где-то сама "не замечу", что взяли что-то из неположенного – а что больше могли мы, рядовые партийцы? Что сделать могли?.. Понимали – несправедливо. Думали, местные власти с неугодными свои счёты сводят. Пролезли вредители в райкомы и сельсоветы и творят безобразия. А это, оказывается, сверху всё шло. А как же мы радовались, когда Сталин разоблачал их, "Головокружение от успехов" напечатал в газете. А всё это ложь. Всё ложь. А я, малограмотная, вождям нашим верила...»

Я был не меньше мамино потрясён. Беззаконие, произвол меня всегда возмущали. И Сталина я, как и мама, с того момента возненавидел. Но дальше этого не пошёл. Крепко сидели у меня в голове с детства вбитые догмы о справедливейшем строе. Медленно, медленно приходило ко мне понимание, что преступна вся наша система, созданная Лениным и большевиками. Ленин ещё много лет для меня оставался кумиром. Я наивно верил, очистившись от сталинской скверны, партия вернёт жизнь в нормальное русло, что никаких беззаконий впредь не допустит. И ведь на каждом шагу убеждался, что в партии честности нет, а всё верить хотелось. Вера – страшная вещь. Недаром сказано было умнейшим

умом: «Подвергай всё сомнению». Я этот принцип вроде и исповедовал и многое в нашей системе не принимал, осуждал, а вот глубже проанализировать всё – ума не хватило. Слишком легко дал себя убедить в том, что злодей был один, ну, не один – банда была, и что, убрав её, мы с отвратительным прошлым покончили. И антисталинизм мой на поверку оказался не слишком глубоким, Сталина ненавижу, я ещё начну оправдывать его действия, не разобравшись в событиях, на которые был богат этот год. Событий, ошеломивших меня своей неожиданностью – а ведь всё давно вызревало!

... но сначала было беспредельное возмущение. Я даже в письмах к Людмиле об этом писал. Она меня утешала: «Живут же люди, и ошибки Сталина их не волнуют». Это меня взорвало, я был вне себя. Как это у неё просто выходит: "ошибки!" Да, пожалуй, мне стоило призадуматься, какие мы разные люди. И не в том смысле, как это она понимала, не в том, что я с людьми не просто схожусь, а она с кем угодно – мгновенно, а в том, что вся идейность её напускная, что никакой идейности нет, а есть один практицизм, что ей любы лишь радости жизни – и трин-трава всё остальное. Но до этого я тогда не додумался. И не главное, что в итоге она оказалась права, а я ложью коммунистической пробаивался. Я честно, искренне заблуждался, а она откровенно лгала.

До конца путь пройти к неприятию большевизма помогла только гласность в восьмидесятых годах. Лишь тогда я впервые серьёзно о многом задумался. Со своим умом, склонным к анализу, ни свою жизнь, ни жизнь общества, я, выходит, не анализировал нисколько, и от этого наплодил столь много ошибок. Даже не по Бисмарку выходило, хуже – и на своих ошибках ничему не учился. Но и по Бисмарку, ибо каждая глупость в новом виде предо мной представала.

... Но вот что странно, проявив на курсах полное ко мне равнодушие, Людмила снова начала переписку со мной. Письма шли от неё, правда, не часто, и были они коротки – чуть длиннее зимних записок. Я же ей отвечал длинными письмами с размышлениями своими о разных вещах, меня интересовавших тогда, и всегда начинаемых и кончаемых признаниями в беспредельной любви.

... да, да, несмотря ни на что я любил её именно беспредельно. Жизнь без неё не мыслилась у меня. Но всегда она уклонялась от какого-либо ответа, да ведь я ответа и не спрашивал никогда, я только писал о любви. Я вполне понимал, что надо, надо собрать свои силы и переписку, и отношения с ней прекратить. И не мог этого сделать. Мне казалось, я не выживу без неё. Мне было страшно. Страшно потерять её навсегда. Тогда жизни конец, нет в ней просвета...

... В мае я написал ей, не помню о чём, в мае же и ответ её получил: «...ты написал так, как будто и не собираешься приезжать в Сталинск... Приезжай!» И ещё через несколько строк: «Приезжай, Вовчик, обязательно...»

Бог знает, что я ей на это ответил, но в июне в выходной день, в воскресенье, я съездил к ней в Сталинск. Чтобы лишний раз убедиться: не очень-то она со мной встречи ждала. Объятие и ни к чему не обязывающий поцелуй на пороге, и мы тут же едем на встречу с её новыми друзьями. Друзья – молодая пара, не то муж с женой, не то любовники. Влезаем в трамвай и долго тащимся в нём через весь город и ещё долго за городом на пляж на берегу реки Кондомы, впадающей в Томь выше Сталинска...

... лежим на горячем песке, потом лезем в воду. Плаваем. Я в чёрных "семейных" трусах, но это несколько меня не смущает, поскольку о существовании плавок я не подозреваю. Снова бросаемся на песок. Солнце жжёт, тело жаждет прохлады и влаги, и мы, натянув на невысохшие трусы и купальники брюки, рубашки и платья, идём в павильон "Пиво - воды", пьём холодное пиво. Людмила оживлённо болтает с друзьями о вещах мне неведомых, не обращая на меня никакого внимания, не предприняв и слабой попытки ввести меня в курс разговора. Я чувствую, что оказался не к месту, что положение моё унижительно, что так продолжаться дальше не может... и продолжается. Я не могу встрять в разговор: говорят о людях настолько мне неизвестных, что я понять не могу о чём, собственно, речь... Сейчас бы я инициативу перехватил, влез бы в первую паузу и навязал свой разговор. Но тогда... был несмел... и неопытен... и считал неуместным перебивать разговаривающих...

А ведь можно было просто начать расспрашивать об этих вот неизвестных, кто они, чем занимаются, что с ними произошло. Тут только начни – а потом тебя понесёт!.. В то время я этого не умел, и Людмила не пришла мне на помощь. Неужели ей нравилась роль, которую мне навязали, роль неинтересного бессловесного человека, плетущегося у них по стопам... Да, я чувствовал себя совершенно ненужным, и плёлся, как тень, как собака побитая. И всё больше мрачнел.

... и снова трамвай, "друзья" выходят в центре, а вскоре и я, безрадостный, прощаюсь с любимой... Зачем я приезжал?

... Людмила сговорилась с Самородовой Зиной в отпуск отправиться в Крым. Я дал ей адрес тёти Наташи, и написал тёте письмо с просьбой принять мою "невесту" с подругой.

... в начале августа я получаю письмо: «... Ну вот, милый, я и на юг помчалась...» Далее она путано объясняла, как неожиданно её раньше срока отправили в отпуск, и что поэтому она не смогла заехать ко мне... Да, это у неё всегда хорошо получалось – не заехать ко мне. Совести не было у неё. Вот и сейчас, разве так обязательно в первый день отпуска в Крым уезжать?.. Путёвка у неё не горела. Да и если б горела, – один день ничего не решал, если хочется встретиться с человеком. Тут никакая путёвка не станет помехой. Разве стала бы помехой она для меня? Ясно, не было у неё желания встречаться со мной. Это больно уязвило меня. Очень обидело. Ну и дрянь! Но чего не вытерпит любящий человек!

... правда, обещала заказать разговор со мной из Москвы, где она недельку погостить собиралась.

... и позвонила. Что-то у неё в столице стряслось, и она попросила выслать ей денег на главпочтамт. Сумму не указала. Я тотчас выслал семьсот рублей телеграфом, но через несколько дней получаю письмо, отправленное из Москвы в день отъезда, что денег она не получила. Перевод не дошёл.

... С этого и закрутилась у меня телеграфная карусель. Я мгновенно на почте телеграфом дослал из Москвы в Алушту отосланный ранее перевод на семьсот рублей и одновременно послал туда телеграфом ещё триста рублей.

В её письме из Алушты было всего несколько слов о том, как они наслаждались красотами Крыма, и приписка, что триста рублей она получила, а семьсот – снова нет. Пришлось мне телеграфировать ей в Москву ещё пятьсот рублей, а семьсот из Алушты отзывать назад в Междуреченск... Пятьсот рублей на сей раз она получила благополучно, а семьсот, совершив почти кругосветное, путешествие, вернулись ко мне в сентябре почти одновременно с письмом Людмилы, посланным из Москвы... В письме она писала, что по дороге из Крыма заезжала к знакомым в Тулу, откуда уезжала здорово под хмельком, и что добрые люди её обобрали.

Я тогда значения этому не придавал – в жизни всяко бывает. Но пришло письмо дяди Вани, в котором он сообщал, что передал мне с Людмилой бутылку редчайшего массандровского муската... и не то, что сомнения зародил он во мне – жена Цезаря вне подозрений! – но сделалось мне как-то не по себе. Я воздержался от выводов и заключений – очень любил её и не мог допустить, что она... Сейчас я могу сформулировать то неясное ощущение, что меня охватило. Я

впервые почувствовал, не отдавая ещё себе в том отчёта, что Людмила со мной неправдива. Всё время она мне лгала.

... и бутылку у неё не украли, кстати, она и не заикнулась о ней, да и не в бутылке ведь дело. И скорее со "знакомыми" в Туле она в поезде лишь познакомилась, а в Туле это знакомство продолжила, и уезжала здорово под хмельком от мне неизвестного зелья, в котором было и что-то от чудеснейшего массандровского вина.

... Освободившись от диспетчерской службы, я начал обходить разбросанные по промплощадке и в шахте стройки гидрокомплекса. Первым делом я снова отправился в шахту, не только для того чтобы ещё полюбоваться произведением человеческой глупости, уникальным творением Всесоюзной конторы, но и на месте решить, что и как нужно сделать, чтобы можно было работать. Собственно, что, я и так знал, теперь следовало прикинуть, где, как и в каком объёме.

... Процедура переоблачения в шахтёрскую робу не показалась на сей раз мне мучительной. Потому, возможно, что бельё и спецовка были сухими и чистыми – мама дома их выстирала, и не надо было спешить, и никакие заботы не мучили, и обстановка располагала... За тот месяц, что я просидел в диспетчерской, в итээрзовской мойке произошли перемены. Вместо мрачных громоздких деревянных шкафов, поперёк зала воздвигли ряды изящных металлических – на две стороны – шкафчиков, сверкавших приятной эмалевой краской цвета стали с лазурью. В каждом шкафчике три отделения. Вверху – для чистой одежды, ниже – для грязной, а в выступающей части в самом низу, на которой сидят, – отделение для сапог. Задняя стенка шкафчика – дырчатая, за ней, между обеими половинами ряда, трубы с отверстиями для подачи горячего воздуха – одежду сушить...

И сразу в зале стало светло и просторно...

И ещё, к каждому шкафчику – ключик, один ключ открывал все три свои отделения, не открывая чужие. Я с ребятами все замки перепробовал – ни один чужим ключом не открыл. Болезненная проблема была решена. Кражи, подмены сапог – бич жизни шахтёрской – были в зародыше пресечены.

... да, одежда для шахты была у меня теперь всегда чистой, сухой, и переодеваться в неё, в чистые трусы, в белоснежные кальсоны с рубахой, в лёгкую хлопчатобумажную спецовку стало удовольствием даже... Навернув на ноги выстиранные портянки, натянув на ноги резиновые сапоги, а на голову под каску берет, я – чистый, звонкий и прозрачный – иду в ламповую, где, отдав свой жетон, получаю лампу

с аккумулятором и коробку самоспасателя (род противогаза без маски) на ремне. Перебросив последний через плечо, я цепляю банку аккумулятора на поясном ремне за спиной. Саму лампу в гнездо на каске я никогда не вставляю, предпочитая вешать её у подбородка, из-за шеи перекинув кабель сюда. Когда нужно, я снимал лампу, рукой направляя луч света туда, где хотел высветлить что-то, головой не вертя каждый раз. Но это когда руки свободны, а у начальника они свободны всегда, если только рабочему не возьмёшься помочь.

... с последней открытой бортовой машиной утренней смены, совершенно пустой, ехавшей забрать людей ночной смены, я отправляюсь наверх на горизонт +345 метров. Сидя на скамье спиной к кабине машины и лицом к удаляющейся промплощадке, я с удивлением обнаруживаю, что в момент, когда машина, начальный подъём на гору одолев, втягивается в суживающееся ущелье, строения шахты и Лысая сопка за ними, перестав удаляться, медленно наплывают, надвигаются на меня. Точно не я и машина от них уезжаем, а они приближаются. И я не сразу понял, как такое явление объяснить. Видимо, более быстрым сужением угла зрения на всё обозреваемое пространство, чем на отдельные предметы в этом пространстве. Куда ни кинь – везде относительность!

... вверху, лихо через борт машины спрыгнув на землю и миновав устье штольни этого горизонта, я напрямик направляюсь к небольшой нашей штоленке. Устье её забетонировано метров на двадцать, дальше – крепление деревянное, неполный дверной оклад, стойка к стойке, без каких-либо промежутков. Выше штольни вверху, в десяти метрах, ходок, по которому я пробирался зимой. В штольне настланы рельсовые пути, по которым я и пошёл, переступая по шпалам. Два десятка шагов прошёл при тускнеющем свете дня, не включая своей лампы, чтобы глаза приспособились к сумеркам. Когда сумрак сгустился до темноты, я включил свой фонарь.

... лучик света выхватил впереди верхняки, стойки крепи, я опустил его вниз, осветив рельсы и шпалы. Всё было мшистым, несвежим, изнутри пахнуло плесенью. Штольня плохо проветривалась или не проветривалась совсем, видно, были закрыты вентиляционные двери у сопряжения штольни с главным откаточным штреком. Я прошёл ещё несколько метров вперёд... и глазам моим открылась фантастическая картина феерического царства плесени и грибов. Плесень с каждой рамы свисала сверху сплошными завесами от борта до борта выработки, кружевными покрывалами, белыми гардинами с неповтори-

мым узором на них. Я шёл вперёд, и предо мной с каждым шагом представляли новые непохожие занавеси. Так изощрённо разнообразно раскрашивает узорами окна только мороз. Так непохожи бывают на нашей Земле разнообразные звери, рыбы, птицы, кораллы. Так неповторимо из ночи в ночь заливают нашу планету своим светом Луна, только тут не было света, а была абсолютная чернота, и бесконечность белых покровов. Мне даже жутко стало немного, будто попал в заколдованное глухое забытое царство. Размахивая фонариком, я рвал сказочные узоры, пролагая дорогу, и шёл всё дальше и дальше...

... вообще-то это был с моей стороны шаг безрассудный – нельзя в заброшенные непроветриваемые выработки заходить. И если вверху, в печах, прошлый раз я был уверен, что метана там нет, хотя и за это никогда нельзя поручиться, то в отсутствии углекислого газа здесь, внизу, никакой уверенности быть не могло. Но молодость опрометчива, бесшабашна, об опасности и мысли у меня не мелькнуло – было просто интересно до крайности, и, как говорится, мне повезло...

... но по мере того, как шёл я по штольне, ошеломление сменялось другим, уже удручающим впечатлением. Впечатлением запустения, разрухи, и глена. Только змей здесь ещё не хватало. И подумалось, что крепление сгнило, превратившись в едва связанную труху, что от кашля, чихания, крика оно тотчас и рухнет, рассыплется... Я поцарапал стальным ребром лампового зацепа замшелую стойку. Снялся тонкий грязный налёт, а под ним – твёрдая белая древесина. Слава богу, штольню не надо перекреплять, если крепь водою обмыть, побелить – всё придёт в нормальное состояние.

... Через полторы сотни метров я через сбойку вышел в ходок как раз в том самом месте, где он расширялся в бетонную камеру углесосной станции. Оборудования в них по-прежнему не было ... Ну, а за камерой – пресловутые печи "Союзгидро...". Я не отказал себе в удовольствии ещё раз взглянуть на глупость, учинённую людьми в больших званиях и чинах. Посмотрел, усмехнулся и, не выдержав, плюнул: как можно таких болванов при ответственном деле держать?!

... жаль было бессмысленно растроченного труда. А ведь всё так просто решалось. Об этом я раньше сказал. А теперь прикидывал место, где устроить колодец с дробилкой над ним, и ясно видел, как вода понесёт к ним из забоев уголь в желобах по небольшим аккуратным печам, а потом по аккумулялирующему штреку безо всяких человеческих и машинных усилий. При наклоне пять сотых водный поток увлекает куски угля средней крупности (до пятнадцати сантиметров),

а и выплывет в штрек из печи случайная глыба и возникнет затор, – то скопившаяся выше вода так нажмёт, что и он понесётся, да и первый же проходящие мимо затора рабочий, не дожидаясь того, пнёт глыбу ногой, придав ей бóльшую скорость – и понеслось, загудело всё до самой дробилки, где любая глыба будет расколота на куски.

... План развития горных работ был несложен, он давно сложился у меня в голове, сложность в том состояла, как уломать ШСУ, израсходовавшее все деньги для горных работ, пройти нужный колодец, забетонировать стенки... Как удалось мне подвигнуть на неплановые работы начальника Ольжерасского ШСУ Соротокина? Что-то нашёл я в другом месте, что было не сделано, и что делать было не надо, съездил в институт к Мучнику, закрепившего за моим гидрокомплексом главного инженера проекта Дельтува́ Альфреда Антоновича, тот согласовал все мои изменения, и Соротокин за счёт этих денег согласился под землёй всё до ума довести.

... Это мой посещение шахты закончилось тем, что я зашёл в трест на приём к главному инженеру Филиппову Антону Порфирьевичу. Филиппов – крупный рыхлый мужчина лет пятидесяти с большим розово-поросычьим лицом и белёсыми бровями над выцветшими глазами и такими же волосами, редкими на голове и густыми на руках и на пальцах, не произвёл впечатления ни умного, ни хотя бы к делу равнодушного человека. Мой доклад о том, что к моменту пуска гидрокомплекс не будет обеспечен ни одним метром горных выработок, так как-то, что сделано, никуда не годится, он выслушал без всякого интереса. Он равнодушно смотрел мимо меня водянистыми глазами, и, казалось, ничего не улавливал.

– Но это ещё полбеды, – говорил я, – мы за два месяца сами можем нарезать все выработки и подготовить комплекс к добыче. Беда в том, что нет ни метра толстостенных цельнотянутых труб диаметром сто миллиметров. А нам для работы таких труб нужно не менее километра, и к ним тысячу фланцев и пятьсот хомутов быстроразъёмных соединений, не считая тысяч резиновых колец-уплотнений. Ничего этого ни генподрядчиком (ШСУ), ни субподрядчиком (СМУ) не заказано, так как в проекте не значится, и работать нам будет нечем.

– Ну, хорошо, – отвечивал, наконец, мне Филиппов, возвращаясь из небытия, в котором пребывал весь разговор, – я дам указание, чтобы трестовские снабженцы всё заказали. С этим я и спустился со второго этажа от Филиппова вниз к Ложкину Николаю Ивановичу. Пересказав ему разговор, я услышал от Николая Ивановича дельный совет:

– Всё это очень серьёзно. Если гидрокомплекс не заработает после пуска, с кого-то голову будут снимать. И, скорее всего, это будет твоя голова. Так что все доклады свои оформляй докладными записками в нескольких экземплярах и отправляй их официально через секретаря начальника шахты, а один экземпляр с датой и номером регистрации себе оставляй. То же самое делай и со всеми заявками, письмами. Это будет твоя защита. Я знаю этих людей – от любых слов отрекутся, а бумага со штампом, датой, номером, подписью – документ.

Мы ещё о чём-то поговорили, потом Ложкин сказал:

– Сейчас я иду на отстойники гидрокомплекса, там строители начинают арматуру под днище вязать, если хочешь, пойдём вместе со мною.

Я с радостью за ним увязался. Мы вышли из треста на улицу и вместе с улицей повернули к тоннелю под полотном железной дороги – отнюдь не триумфальному въезду в наш город. Проезжавшие по дороге грузовики обдавали нас пылью, и наши белые рубашки быстро поменяли свой нарядный цвет на затрапезный мышинный, да и чёрные брюки приобрели сероватый оттенок. Перед тоннелем от шоссе вправо ответвилась дорога, плавно вползла вместе с нами на насыпь и вывела нас на мост, стальной красной конструкцией перекинувшийся через У-су. Мы шли по дощатому тротуару моста вдоль железной решётки, ограждающей его от реки, изредка перегибаясь через ограду и вглядываясь в неправдоподобно прозрачную воду: не то что галька – каждая песчинка виделась отчётливо на дне, чуть подрагивая в свивающихся струях реки. В воде сверкали чешуйчатым серебром крупные хариусы, изломанной стайкой пересекая реку, а их тени стремительными зигзагами метались по дну в глубине, освещённой дневным ярким солнцем. А глубина была здесь немалая – до четырёх метров в эту пору низкой воды.

... накалённые фермы моста обдавали нас пышущим жаром – невыносимо пекло. И глядя на очевидно прохладную воду, я испытал вождление, и оно тотчас и проявилось в мысли мной высказанной вслух:

– Вот бы вниз сейчас бултыхнуться! Ух!

– Выскочишь, как ошпаренный, – усмехнулся на это Ложкин, – вода ещё ледяная. А у меня, между прочим, – добавил он, невесело усмехаясь, – навсегда неприязнь ко всему ледяному. Люблю тёплое солнышко.

– Это после того? – спросил я с робким намёком на то, что мне известно о его судьбе ээка.

– Да. Там с нами не церемонились, но самым страшным для меня были зимние дни в нетопленной камере без одежды, в белье. Мерзавцы стёкла в окошке выбили, чтобы было ещё холодней. Всю ночь по камере бегаешь, чтоб не замёрзнуть.

– Вас до войны ещё взяли?

– Да. В тридцать восьмом. И если я выжил и дожил до сего дня, то виной тому моя строительная профессия. Она жизнь мне спасла: строили много. Поперву, не разбираясь, всех в гроб клали подряд, потом спохватились, стали делать это, как бы сказать... выборочно. Кое-кому работу давали по специальности. Вот так я и выжил, а остальные почти все в земле.

Из деликатности, боясь причинить нечаянным словом боль этому человеку, я не стал допытываться подробностей. А он не продолжил. Ничего больше о его злоключениях я так и не узнал и очень жалею об этом.

... Пройдя мимо шахтного АБК к обогатительной фабрике, мы остановились у котлована размером сорок метров на тридцать, не считая заездов. На усыпанном щебнем ровном дне котлована из такого же щебня были насыпаны пять подушек под основания секций отстойников, пять усечённых низеньких пирамид, напоминавших надгробья в метр высотой, длиной в двадцать метров и шириной чуть больше пяти.

Поздоровавшись с рабочими, возившимися на дне котлована, мы сверху наблюдали за тем, чем они занимались.

... два крайних "надгробия" были покрыты чёрными полосами рубероида, проклеенного битумной мастикой – изоляцией от воды. На них электросварщики варили объёмную сетку из стальных рифлёных прутков. В углублениях вне подушек и между подушками рабочие вязали каркасы фундаментов стен здания и секций отстойников.

Николай Иванович указал мне на каркас и на сетку:

– Видишь под нижними прутьями деревянные чурочки.

– Да.

– Это для того, чтобы и рубероид при сварке не сжечь, и, главное, чтобы под арматурой лёг защитный слой бетона. Кстати, – сказал он, – когда начнут бетонировать, не забудь проследить, чтобы после того, как бетон под арматуру залиют, чурочки вынули, и пустоты тоже бетоном заполнили.

Между тем Николай Иванович продолжал:

– И договоримся. Я буду подписывать форму два о выполненных работах только после твоей подписи – подтверждения, что

скрытые работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиПами).

Я поблагодарил Ложкина. К этому его никто не обязывал, а у меня появлялся реальный рычаг воздействия на строителей. Не подпишу я – не подпишет и Ложкин, и банк денег за выполненные работы не даст.

... в то время как на первых двух основаниях вязали и варили каркас арматуры, на трёх остальных ещё только раскатывали рубероидные рулоны. Они уже стояли по трём сторонам перед каждым "надгробием", каждый последующий позади предыдущего со сдвигом в сторону почти на всю ширину, так что при раскатке последующий перекрывал его всего на несколько сантиметров. Перед раскаткой щёбенку залили расплавленной битумной мастикой, затем начали раскатывать крайний рулон вдоль длинной стороны насыпи, затем второй, третий... Раскатанные полосы рубероида ложились внахлестку и покрыли целиком всю поверхность. Эту поверхность вновь залили сплошь битумом и на ней раскатали рулоны поперёк продольных полос, вдоль короткой стороны "могильного камня". Их тоже залили мастикой и накрыли опять вдоль длинной стороны днища секции. Три слоя рубероида на битумной мастике были уложены быстро и аккуратно, что свидетельствовало о сноровке рабочих. Впрочем, о чём тут говорить? Половина крыш в Советском Союзе была устроена именно так, только без этой тщательности, да и не всегда в три положенных слоя, один из них, а то и все два иногда исчезали "экономии ради", – хотя в форме два, по забывчивости, очевидно, писали всегда ровно три. И по этой забывчивости три четверти крыш в Советском Союзе безнадежно текли. И никто не мог понять: почему?!

... Памятуя наставления Ложкина о постоянном контроле, я пошёл к Плешакову и сумел его убедить в том, что мне предстоит серьёзная переписка, так как работы на всех объектах разворачиваются во всю, а в проектах полно несуразностей; строители тоже допустили ряд грубых ошибок, и всё это надо, пока есть время, устранять, согласовывая изменения в проектах и на стройках с институтом ВНИИГидроуголь. Ведь государственным планом сдача гидрокомплекса в эксплуатацию предусматривалась в этом году.

– Если всё это свалить на вашу секретаршу, – говорил я ему полшутя, – то ей больше ни на что времени не останется, только мои бумаги печатать и будет.

Словом, выбил я у Плешакова пишущую машинку, притащил её в кабинет, который Плешаков выделил мне в левом крыле первого

этажа АБК, и застучал по ней сперва одним пальцем, а потом и двумя, оживляя навыки, приобретённые в бытность мою в КГИ заместителем редактора институтской газеты. Итак, я получил в своё распоряжение кабинет с телефоном, пишущую машинку и право, минуя Плешакова, вести всю переписку по гидрокомплексу на официальных бланках шахты за своей подписью. Так я стал полноценным "директором" строящегося предприятия.

... не теряя попусту времени, я отстучал в трёх экземплярах заявки на трубы, фланцы, хомуты, уплотнения и желоба в отделы снабжения шахты и треста, сочинил докладную об отсутствии всего упомянутого в заявках ОШСУ и СМУ главному инженеру треста Филиппову. Первую заявку я сам отнёс в отдел снабжения шахты, вторую же, как и докладную записку отправил в трест через канцелярию, получив в свои руки копии с указанием всех атрибутов регистрации и подписью юной девы, исполнявшей обязанности секретарши.

... да, по одному экземпляру заявок и писем пошло адресатам, одни копии были подшиты в папку исходящих шахтных бумаг в канцелярии, другие – легли в мою белую папочку с белой тесёмкой, которую я неотлучно держал при себе, начав ограждать себя документами от возможных опасностей.

Предусмотрительность не помешает.

... Прошёл месяц, другой, шахтостроители везде вроде бы шевелились, но их стало как-то значительно меньше. После бурного весеннего всплеска работ к середине лета обозначился спад. Дела шли ни шатко, ни валко, сроки затягивались, месячные планы не выполнялись. Это меня обеспокоило, и я отослал письма в Ольжерасское ШСУ, трест "Томусашахтострой" в Мысках, комбинат "Кузбасшахтострой" в Прокопьевске, в наш трест и в обком партии в Кемерово. Нечего и говорить, что ответа я ни от кого не получил, а, главное – мои письма на темп работ нисколько не повлияли.

... а, между прочим, тезис о строительстве гидрокомплексов и об их вводе в работу до конца этого года был записан отдельной строкой в Законе о Пятилетнем плане, утверждённом Двадцатым съездом КПСС.

И поэтому я полагал, что все на уши должны стать, из кожи вылезти, но гидрокомплекс достроить до первого января. Со школьной скамьи мною было заучено, что пятилетний план – это закон, да он законом и назывался. И он не может быть не выполнен никогда. Он

может быть выполнен в срок или досрочно, он может быть перевыполнен, хотя это последнее я плохо себе представлял в отношении гидрокомплекса – зачем мне, к примеру, две угленосных или шесть секций отстойников вместо необходимых для работы пяти.

... тем не менее, простейшая арифметика мне показывала, что при нынешних темпах шахтостроители до января и половины работ не успеют сделать. И я снова принялся бомбардировать письмами все инстанции – в результате работы ещё сильнее замедлились. Так я впервые столкнулся с великой фальшью, что звалась у нас пятилетними планами.

... А жизнь шла своей чередой. Жил я с мамой по-прежнему в квартире вместе с Петровыми, ни с кем не сошёлся, никаких друзей и приятелей не завёл. Тоненькая ниточка взаимной приязни с Юришем оборвалась. Сначала я закрутился с работой и курсами и к Юришу перестал заходить, а по весне Володю избрали первым секретарём Междуреченского горкома комсомола – и уже он утонул в комсомольских делах. В довершение Володя женился на миловидной девчущечке, и появились у него новые интересы.

... В июле, по окончании КГИ в Междуреченск приехали шахтостроители Тростенцов и Китунин и в первый же день навестили меня. Григория Тростенцова я не знал, с Мишей Китуниными был немного знаком. Познакомился с ним в счастливые дни своей "медовой недели" в конце пятьдесят четвёртого года – он заходил в ту же комнату, что и я, у него был роман с Юлей Садовской, неизменной подруги Людмилы с первого курса. Миша и Гриша были года на три постарше меня, учились курсом младше меня.

Гриша Тростенцов был женат. Отец его, оказалось, был у нас в институте профессором, чего я не знал, он читал лекции шахтостроителям, а до этого был главным инженером комбината "Кузбассшахтострой". Позже я узнал из отрывочных фраз, услышанных мною, что выросший в семье хорошо обеспеченной, он в юности ступил на кривую дорожку. Украл с друзьями сладости из ларька, и лишился свободы. Выйдя на волю, он урок из случившегося извлёк. В сущности, он всегда был порядочным человеком, так, бес попутал.

Миша, наоборот, был из самой простецкой бедной семьи. Всю войну, с двенадцати лет, проработал за станком на военном заводе. «Работали, как и взрослые по двенадцать часов, – рассказывал он, – Стоя у станка, мальчишки, бывало, не выдержав, засыпали, падали

лицом на резец или на вращавшийся шпиндель. Правда, меры приняли быстро. Стали привязывать. Засыпает мальчонка, но верёвки держат его, упасть не дают. Перестали ребята уродоваться»

... И эти такие несхожие люди сдружились. Что их объединяло – трудно сказать. Добросовестность, дотошность в делах, трудолюбие. И вот они у меня. Они побывали в Томском шахтостроительном управлении, которое строило город, дороги, разрезы (карьеры), и куда они получили направление на работу, а потом решили ко мне заглянуть. Мама захлопотала, мы отметили встречу, а потом, узнав, что они собираются ночевать на столах в управлении, никуда их от себя не отпустили, и дней семь они прожили у нас.

... на пол брошены два лишних матраса. Подушки, одеяла и простыни тоже нашлись.

... по утрам мама жарила нам картошку с котлетами или разогревала на большой сковороде узбекский консервированный плов. Удивительно вкусный плов появился в изобилии в магазине, и мы отдавали ему должное. Удлиненные зёрнышки риса – я до этого таких никогда и не видел, подкрашенные морковью и до прозрачности насыщенные бараньим жиром вместе с нежнейшей бараниной таяли блаженно во рту. Перекусив, выпив чаю, мы разбегались на день, я – на шахту, они – в своё ШСУ.

... Вскоре после того, как Миша с Гришей получили комнату в общежитии, приехал ко мне Людвиг Потапов, пришёл Юриш Володя, сошлись все наши ребята. Собирались на встречу, а вышло на проводы. Юриш не удержался на высоком комсомольском посту – честному человеку вообще трудно там удержаться – и уезжал с молодой женой с мостопоездом вглубь тайги в сторону Абакана. Было грустно. Мы гурьбой вышли во двор, провожая его, и, когда он скрывался за углом нашего дома, Людвиг крикнул вдогонку ему на прощанье: «Но ты пиши! Обязательно пиши!»

Я понял так, что «письма пиши!» и тоже крикнул:

– Пиши обязательно! – имея только письма в виду, и лишь после этого сообразил, что Людвиг кричал о другом, о стихах. И мне стало страшно неловко от своей несообразной нечуткости, что я о творчестве Володином позабыл, хотя внешне слова мои не отличались от Людвиговых. Я стыдился того, что не те интонации меня могли выдать. И приземлённость моих пожеланий могла видна стать всем. Мне и до сих пор как-то совестно эгоистичности этой своей – о себе только думал. Хотя, конечно, никто ничего не заметил.

... но эти краткие эпизоды, не избавляли от одиночества. Днём меня занимала работа, по вечерам... А были ли вечера? Кажется, были... Мамы нет дома. В комнате у меня неизвестно откуда взявшаяся гибкая раскованная девица, весьма миловидная. Мы стоим, обнявшись, тесно прижимаясь телами друг к другу. Кровь моя взбодражена жаркими поцелуями, я охвачен желанием неудержимым, я не могу больше вынести поста, в котором годы держу себя сам по незримой воле Людмилы. Я переламываю девицу, ломлю её на матрац. Вот оно, вот то, от чего уклоняется непрестанно Людмила... Но девица выскальзывает из-под меня, страстно шепча:

– Сейчас, сейчас, пойдём лучше ко мне. Хорошо?

– Хорошо, – я отрываюсь от неё разгорячённый и обалдевший, и она убегает к себе на пятый этаж. Она живёт в одном со мною подъезде.

Я порываюсь идти вслед за ней, но передышка охладила меня, в дело вступает разум, всплывают страхи о возможных последствиях... и я остаюсь на площадке, не бегу по лестнице вверх. Трус я несчастный! Об этом я уже говорил.

... откуда взялась эта девица и куда она потом запропала? Раньше я, вроде, её не встречал, а после точно ни разу не видел. Может, она приснилась мне наяву? Однако мама мне говорила, что она справлялась несколько раз обо мне, спрашивала, где я, куда подевался?.. Прямо чертовщина какая-то... А пропал я на шахте, на курсах.

... Спокойная тихая жизнь в петровской квартире с приездом мамы разладилась. Начались обычные квартирные склоки. Юридически мы в квартире с Петровыми были равными, но они повели себя как хозяйева, у которых мы квартиранты. Причём, как прижимистые хозяйева и крохоборы. Накидывались на маму по любому никчемному поводу: то много жжёт электричества в кухне и туалете – как бы рубль лишний не переплатить! – То кастрюля не там стоит на плите, то пол не так вымыт. Придирались к маме супруги и без повода, а поскольку их было двое против одной, то она немало от них натерпелась, хотя и умела давать отпор. Впрочем, она вскоре устроилась на работу кассиром в швейную мастерскую промысловой артели "Правда", где её – вечная участь – избрали не освобождённым партгоргом артели. Время для скандалов Петровы теперь находили с трудом. Но обстановка была накалённой до такого предела, что побудила меня усилить хлопоты для получения отдельной квартиры.

Квартиру мне обещали и раньше, я вновь Плешакову напомнил об этом, и он заверил меня, что выделит мне её в первом же законченном доме... Однако в августе, когда дом был готов, и я пошёл к

Плешакову справиться относительно ордера на квартиру, он мне сказал, что свободных квартир в этом доме у него уже нет, и мне придётся подождать до сдачи нового дома. Я ответил, что ждать не могу, и развернулся, едва не хлопнув дверью в сердцах, но в последний момент благоразумно сдержался – хлопаньем дверей никому ничего не докажешь, только выкажешь слабость свою. Но необязательность Плешакова меня возмутила до крайности, никогда обмана я не терпел. От Плешакова я направился в трест и в приёмной управляющего Евсеева сгоряча написал заявление, не озаботившись, что из этого выйдет. А могло выйти и плохо, нехорошо для меня могло выйти. Всё же надежда была, что против моего назначения комбинатом управляющий не пойдёт. Посему заявление вышло такое:

Управляющему трестом "Томусауголь"
тов. Евсееву В. С.
начальника гидрокомплекса
шахты "Томь-Усинская" № 1-2
Платонова В. С.

Заявление.

В связи с невозможностью предоставить мне квартиру прошу откомандировать меня в распоряжение комбината "Кузбассуголь".

То есть пошёл я ва-банк. Могли бы и вышвырнуть, как зарвавшегося щенка. Но не вышвырнули. Не решились. На следующее утро меня вызвали к зам начальника шахты по быту и выдали ордер на квартиру номер девяносто три в доме семь, построенном покоем, с фасадом на главный проспект, не имевший названия.

Квартира оказалась однокомнатной. Это не оправдало надежд, думалось, что двухкомнатную дадут – я даже не знал, что однокомнатные квартиры бывают. Но комната была большой, к тому же и с нишей, невидной от порога двери, в которой свободно уместилась мамина кровать, и которую можно было завесить пологом. Ну а всё остальное было, как в нормальной квартире: маленькая прихожая, коридор в кухню с разделочным столом и встроенным под ним шкафчиком-холодильником у наружной стены (поступление холода через отверстие в стене регулировалось тряпкой-затычкой). Из коридорчика – двери в ванную и туалет. Отопление в доме центральное, в кухне плита, топящаяся дровами или углём. Во дворе, повторяя очертания дома, стояли внушительные деревянные ящики с наклонными крышками, с дужками для висячих замков и с номерами квартир. Это были ящики-сундуки, для хранения дров и угля.

Так, я ещё раз с помощью треста, а точнее Евсеева, победил Плешакова – были на руках ещё козыри – но слишком после этого успокоился. Казалось, все преграды преодолены, и больше никаких препятствий не будет. Плешаков же поражений своих не забудет, за моей спиной сплетёт умно интригу, так что я пустить козыри в ход не смогу, и возьмёт реванш за всё сразу. Но до этого пока далеко.

... В моём доме получил двухкомнатную квартиру от ТШСУ и Тростенцов, как человек семейный, женатый. И жена к нему сразу приехала. Мише пришлось подождать – их отношения с Юлей ещё не были оформлены официально.

Вскоре Миша женился и ждал Юлю с мамой.

... Оба они, и Гриша, и Миша, были назначены прорабами на строящийся гигантский разрез № 3-4, и работали рьяно, без передышки. Все вечера – а я к ним частенько заглядывал – я заставлял их лежащими на полу на расстеленных синьках в Гришиной комнате, изучающих по чертежам всё, что предстояло им строить. Иногда я у Тростенцовых задерживался допоздна, когда работа над синьками прекращалась, и тогда они оставляли меня ужинать с ними. Ужин был однообразным и бедным. Жена Гриши, миловидная Рая, ставила на стол тарелки с варёной картошкой, селёдку с луком, политую подсолнечным маслом, хлеб, чай. Скудость их ужина нас с мамой всегда удивляла. Рая работала инженером в управлении, и вместе они зарабатывали должно быть больше, чем мы. Мама получала в артели семьсот рублей, мой оклад был установлен по минимуму, чуть больше двух тысяч двухсот – мой гидрокомплекс пока угля не давал.

... возможно, скромность в расходах была проявлением рачительности, благоразумия, заботы о завтрашнем дне. Я жил одним днём, нимало не заботясь о будущем. И когда фортуна лишила меня своей благосклонности, я сразу же на мели оказался, не имея ничего за душой, кроме знаний и опыта, не бог весть какого.

... Чуть позже Китунин и Тростенцов стали позволять себе расслабляться. Собирались перекинуться в карты. Играли в "кинга", в так называемый малый преферанс, на интерес – ставка за очко по копейке. Третьим партнёром непременно был я – меня быстро обучили этой занятной игре, требующей наблюдательности, памяти, сообразительности, ну и везенья, конечно. Четвёртым партнёром бывали то Рая, то Виктор Бочкарёв, шахтостроитель, молодой холостой сокурсник Миши и Гриши, работавший в том же управлении мастером и получивший в нашем доме однокомнатную квартиру вроде моей, только чуть меньше – без ниши.

Чаще всего собирались у Тростенцовых, но нередко и у меня, в моей холостяцкой квартире. Игра меня увлекала, входил я в азарт и испытывал настоящий восторг, когда за вечер мне удавалось выиграть два-три рубля.

... из всей этой компании только розовощёкий Виктор был мне ровесник, и такой же, как и я, холостяк. Мы и сошлись быстро с ним, хотя никаких общих интересов у нас с ним не было, объединил нас, по-моему, магнитофон.

Мне давно хотелось обзавестись этой редкой новинкой, и деньги небольшие я для этого я отложил, да купить его было негде. Не продавались они магазинах. Даже в Москве.

Витька тоже бредил магнитофоном, но в отличие от меня рискнул на эксперимент, предпринял попытку обзавестись хотя б суррогатом, купил магнитофонную приставку к электрическому проигрывателю пластинок. Вот с этой приставкой мы и возились, записывая свои речи и слушая записи. Давалось это непросто, как и проигрывание пластинок на злопамятном патефоне в общежитии КГИ. Лента, как правило, не шла равномерно, записанный звук, "плавал", и нам приходилось брать в руки ключи и отвёртки и, откручивая бесконечное множество гаек, винтов, вскрывать это чудо советской технической мысли, усиливать натяжение тросиков, снова собирать механизм в единое целое и... снова слышать унылое завывание. Надо было начинать всё сначала. Это доводило до бешенства. Хотелось грохнуть подлую приставку о пол. Но мы смиряли себя и снова, и снова раскручивали, закручивали, разбирали и собирали.

Изредка всё же нам удавалось на короткое время привести её в чувство, она давала хорошую запись, и тогда мы с удовольствием и удивлением вслушивались в свои голоса. Я неожиданно для себя обнаружил, что голос мой и весом, и внушительен, чего я и представить не мог, мне всегда казался он слабым, невыразительным. Открытие это меня очень обрадовало. Впрочем, на жизни моей оно в то время никак не сказалось. Реально эти качества голоса я использовал четверть века спустя, когда стал выступать с публичными лекциями. До этого в хоре других голосов он был неслышен.

Тесная дружба моя с Бочкарёвым оборвалась внезапно. Ближе к осени в недостроенном доме по другую сторону улицы случился пожар. Кое-где выгорели полы, дверные рамы, оконные переплёты, дом стоял закопчённый, заброшенный, беспризорный. С ним и связался конец нашей дружбы.

... вдруг среди общих знакомых разнёсся слух, что Виктор арестован милицией за... изнасилование непорочной девицы. С девицей этой, по имени Валентина, совершеннолетней вполне – ей было лет двадцать – Виктор завернул в заброшенный дом, на четвёртом этаже нашёл подходящее место с настилом пола, уцелевшего при пожаре, и совершил с ней на этом полу то, что рано или поздно совершает каждый мужчина с приглянувшейся женщиной, а, бывает, и с вовсе не приглянувшейся. По глубокому моему убеждению, совершил он сей акт по взаимному с ней уговору, а если и не было первоначального соглашения, то, безусловно, на вполне добровольных началах – иначе на кой чёрт она с ним тащилась на четвёртый этаж обгоревшего здания?..

... Виктору на беду девушка Валентина оказалась нетронутой целкой и, получив желанное наслаждение, она не захотела останавливаться на этом и раненько утром побежала в милицию с заявлением, что Виктор её изнасиловал. После этого Виктора и загребли. Поначалу он всё отрицал, но следы сажи на его брюках и на ягодицах Валентины послужили достаточным основанием, чтоб слова его подвергнуть сомнению, и завести на него уголовное дело. Медицинская экспертиза подтвердила свежесть разрыва девственной плевы, а подружка девицы поспешила дать показания, что своими собственными глазами видела, как оба входили в мерзопакостный дом. Умиляет меня, почему следователь не уточнил: на верёвке Виктор вёл Валентину или это иначе было? Наивным человеком был следователь. Но за непрофессиональный подход к делу с него никто не спросил, а для Виктора дело запахло палёным – следователь передал дело в суд.

... Или судьбу решил Виктор не искушать, или на суд наш гуманный не очень надеялся, – через неделю мы гуляли на свадьбе у молодых. Само собой, заявление было отозвано.

Женитьбу Виктора я расценил как попытку скандал потушить, как способ суда избежать. А со временем можно и развестись, благо после сталинской смерти это стало не так и сложно, драконовские законы после этой всенародной утраты как-то вскоре и отменились.

... однако месяцы шли, о разводе Виктор не заикался, а на следующий год Валентина забеременела и в положенный срок родила Витьке дитя. Семейная Витькина жизнь укрепилась прочно и окончательно. А я перестал в людях что-либо понимать. Я бы не смог жить с женщиной, принудившей меня к женитьбе, писавшей заявления на меня...

Какое-то время я забегал к ним по старой привычке. Валентина, девица обыкновенная, непримечательная ничем, меня привечала как

лучшего друга, но семья есть семья, у неё появляются собственные особенные заботы, и с рождением у них малыша мои набегии сами собой прекратились.

... встречались мы ещё с Виктором у Тростенцовых за картёжной игрой, но и игра закончилась через год – не до того стало всем.

... Бочкарёв ввёл ко мне Гошу Дёмина, ещё одного шахтостроителя этого выпуска. Его направили к нам на шахту, и Плешаков принял его мастером на ремонтно-восстановительный участок. С Дёминым у нас обнаружилось некое сродство душ, общность неясных стремлений к чему-то более осмысленному, чем та жизнь, которую мы поневоле вели. Люди мы с ним были разные совершенно, но обоим отличало пренебрежение к обыденности, стремление к делам большим, светлым, разумным. Оба мы подмечали несуразности нашей социалистической жизни и болезненно переживали отступление от идеалов свободы, равенства, братства.

... расхаживая по моей комнате, Гоша, высокий, как я, сухопарый, слегка сутулившийся, в ответ на очередной мой рассказ о бюрократических выкрутасах, чеканил слова:

– Эпоха Победы Труда началась с недоразумения – с Господства Бумажных Отношений.

Всё с большой буквы, не иначе. Это было, конечно, наивно. Эта эпоха, по хорошему-то, должна была называться Эпохой Закабаления Труда, и началась она со Лжи и Коварства, с Крови и Преступлений, но всё же это были хотя бы и робкие наши попытки осмыслить систему, внутри которой мы жили, понять, почему всё в жизни не так, как написано в решениях съездов и в лозунгах, не так как у "классиков" предназначено. О большой утопии мы ещё не догадывались, как не задумывались и о том, что "вожди" на красивой утопии строят власть свою и свою сладкую жизнь.

... мы о многом беседовали, многое обсуждали, чаще сходясь в своих мнениях, но и расходясь иногда. Спорили.

– Ты, Володька, барин, – не то утверждал, не то упрекал он меня в ответ на мои рассуждения, что квалифицированный специалист должен быть освобождён от рутинной работы, от мелких повседневных забот о быте своём, что человеку вообще нужен хотя бы минимальный комфорт. А может быть, барством казалось ему моё всегдашнее тяготение к упорядоченности, стремление к достижению наибольшего, наилучшего результата при наименьшем приложении сил. А я только следовал законам природы – закону наименьшего действия.

Гоша увлекался Древней Грецией, эллинами:

– Молодой был народ, жизнеутверждающий, бодрый. Они и религию себе придумали лёгкую, человеческую и с богами своими за просто обращались. Духом молодой был народ, – говорил он, как всегда расхаживая по комнате и направляясь к окну.

– А мы, – он повернулся, стёкла очков блеснули, – мы влачим жалкие дни свои, тошнотные мертвящие грузом скуки, не умея, да и не желая скрасить их хоть каким-либо смыслом. Да, да, мы и желать-то, и радоваться, как следует, не умеем. Чувства в нас мелкие, слабые, тлеющие едва, не в силах вдохнуть в нас полное ощущение жизни. Да и мысль чётко выразить нам не дано, – сокрушённо, но уже и не соотносясь со сказанным ранее, продолжал он.

Я с ним в этом не соглашался, хотя сказанное о греках полностью разделял. К моей страсти к художественной литературе, публицистике, критике, философии и истории не без влияния Гоши добавилось увлечение мифологией. Это им подаренная книга Куна "Легенды и мифы Древней Греции" лет за пять до конца второго тысячелетия перекочевала с полки моей книжной стенки в Санкт-Петербург, где, надеяться хочется, её прочтут со временем мои внуки, если к тому времени не убьёт окончательно книгу ящик с телеэкраном, с умыслом умерщвляющий в людях способность к своему индивидуальному поведению, к собственному независимому мышлению. Это постоянное вбивание в головы штампов, готовых клише – чем не тот же тоталитаризм, чем не Ленин, Сталин и Гитлер, взятые вместе. А ведь каким мог он стать подспорьем в нравственном, духовном, эстетическом развитии нации?! Но не стал. Находясь в грязных руках, жаждущих лишь денег и власти, он работает на потребу толпы, хамского плебса, ещё более развращая его, оглупляя, возбуждая самые низменные, агрессивные и дикие чувства: мордобой и убийства, ставшие нормой человеческих отношений в нескончаемых телефильмах, эти побоища на стадионах, буйства на дискотеках, обожествление низкопробных кумиров, половой акт напоказ – не тому ли яркое подтверждение.

... Общение моё с Гошей продолжалось недолго. Работа мастера по ремонту и креплению выработок, однообразная и рутинная, не требующая никаких знаний и никакого ума, пришлась Гоше не по душе. И он с шахты уехал. Познакомившись в пятьдесят шестом году, мы летом пятьдесят седьмого с ним и расстались. Он метался в поисках приложения сил, и осел было на Южном Урале, пытаясь применить их в сельском хозяйстве. Но и там он себя не нашёл.

... Жаркое длинное лето пятьдесят шестого катилось к концу. Отстойники медленно вылезали из-под земли, и у меня начинались схватки с рабочими. Я обнаруживал не вынутые чурочки под арматурой в секции, куда начал заливаться бетон, и требовал вытащить их, а пустоты бетоном залить, что они делали с неохотой, или замечал, что бетон утрамбован неплотно, настаивал, чтобы в него вновь запустили вибраторы – и оседающая смесь цементного раствора со щебёнкой наглядно показывала, что я прав в настойчивости своей.

Иногда к моим обходам строящихся объектов присоединялся и Ложкин. И каждый раз Николай Иванович преподавал мне уроки профессионализма. Заметив, что после перерыва бетон в опалубку стенок бассейна начали заливать прямо по старому слою, уложенному накануне и схватившемуся уже, он предупредил: в этом месте неизбежно будет течь. Старый слой надо обеспыливать, а образовавшуюся гладкую цементную стяжку разбивать отбойным молотком, иначе свежий бетон со старым не схватится. После этого я всегда старался попасть к началу укладки бетона, где всегда повторялась одна и та же картина: привезённый бетон рабочие лопатами грузили в бадейку, стрелой поднимали её наверх и норовили быстренько опрокинуть в пространство между досок опалубки. И в этот момент я останавливал их – поверхность вчерашней заливки не была, разумеется, обработана. Начиналась беззлая ругань с бригадиром, с бетонщиками. Они кричали, что это пустые придирки, я отвечал, что не подпишу форму два. Это их урезонивало. Чертыхаясь, они тащили шланг от компрессора, сдували пыль, щепу, потом подсоединяли молоток к этому шлангу, и, запустив его между клетками арматуры, ковыряли, дробили поверхность.

... а в общем-то мы со строителями жили мирно – не считать же всерьёз подобные перебранки. К концу месяца, когда приближалась пора подписания документов, они всегда перед нами ходили на цыпочках.

... во время моего обучения в Сталинске, на шахте сменили главного инженера. Старый – добрый и бесхарактерный – куда-то исчез, вероятно, был отправлен на пенсию, и уехал в места, более обустроенные. Новый – Крылов Владимир Фёдорович – был молод, крупен и крут. До Междуреченска он работал заместителем главного инженера в Прокопьевске на шахте имени Сталина, когда-то первой по суточной добыче, а теперь второй (после нас) шахте Союза. Человек по натуре властный и беспощадный он имел поддержку в Министерстве в

Москве – отец его там Главком руководил – и возможно поэтому он не сдерживал себя никогда, самодурствовал даже, пожалуй. Весь надзор перед ним трепетал, кроме меня – и не потому, что я храбрый такой. Просто дела я с ним пока не имел, не ходил на планёрки, я ведь угля не давал, министром был без портфеля, генералом без армии.

Не помню, при каких обстоятельствах я ему представился. Видимо, ничего особого не было. К моей должности он относился несколько иронически, тем не менее, когда я в общих чертах познакомил его с проектом и с предлагаемыми мной изменениями, он все их одобрил. К чести его, он всё схватывал на лету, и дельное одобрял, в этом ему не откажешь. Когда к нам на шахту приехали оба министра: угольной промышленности – Засядько и строительства предприятий угольной промышленности – Мельников и захотели познакомиться с гидрокомплексом, они со свитой, в которой были и Соротокин, и Плешаков, пришли на отстойники, Крылов давал общие пояснения. По частным вопросам министрам отвечал я, они сами ко мне обращались – я был им представлен Крыловым. Ну, я и говорил, что к чему.

... уходя, министры попрощались с рабочими, а мне оба пожали руку с пожеланиями успеха. Тут же ко мне подошёл Плешаков и за спинами их мне прошептал: «Ты теперь эту руку не мой до следующего рукоприкладства с министрами». Я рассмеялся. Его пожелание мне понравилось. Я такое услышал впервые и лишь много позже узнал, что это весьма старая шутка, что слова эти – довольно расхожий штамп.

... конечно, я не послушался Плешакова, и руки перед ужином вымыл. Кто знает, пожалуй, и зря.

После этого высочайшего посещения дела на всех наших стройках начали стремительно замирать. При каждом обходе я замечал, рабочих на каждом объекте с каждым днём становилось всё меньше, да и те работы, что исполнялись, велись спустя рукава. Срок сдачи – тридцать первого декабря – срывался у меня на глазах. Как-то, будучи в кабинете у Соротокина, слушая его бодрый телефонный отчёт тресту о выполнении плана за сутки, я спросил его прямо в упор:

– Почему вы, строители, и субподрядчики ваши, монтажники, ежедневно докладываете в трест об успешном выполнении плана, и только в самый последний день месяца оказывается, что месячный план успешно завален?

– А ты что, – отвечал Соротокин, – хочешь, чтобы я каждый день свою голову подставлял, чтобы меня ежедневно долбали (он употребил

более ёмкое слово) за невыполнение плана?.. Этак мне нервов не-на́долго хватит. А так я спокойно весь месяц живу, никто меня не ругает, а один-то раз в месяц, в конце, выволочку можно и потерпеть...

... Я, безусловно, не сидел, сложа руки, писал письма и слал телеграммы, куда только можно, но все были немые, словно воды в рот набрали – реакции никакой!

... в сентябре отдел снабжения шахты начал принимать от участков и цехов заявки на материалы и оборудование на пятьдесят седьмой год, и я такую заявку подал. Одновременно я отправил очередное письмо Филиппову в трест с перечнем всего того, в чём будет нуждаться мой гидрокомплекс в следующем году (надежда на пятьдесят шестой уже умерла).

... папка моя пухла.

... Итак, лето кончилось, Людмила вернулась из отпуска, но ко мне не заехала. Я же, хотя и бывал в Сталинске у Мучника и у Дельтува, к ней тоже ни разу не заявился. Понимал – нечего делать.

... А осень стояла дивная, ясная, в жарком убранстве полыхающих красок.

... И вдруг в ясном социалистическом небе блеснула неожиданной молния, и раскаты грома загрохотали. Два события совпали по времени, но резонанс во мне вызвали разный.

Англо-франко-израильский захват Суэцкого канала в ответ на национализацию его независимым президентом Египта Насером, свергнувшего проанглийского короля Фаруха, отозвался эхом, затронувшим струны души коммуниста-интернационалиста; я, прослушав заявление Никиты Хрущёва о готовности послать добровольцев в Египет, тут же отправил заявление в военкомат о готовности поехать в качестве добровольца на защиту Египта. Но всё же событие это было от нас далеко, вне интересов, казалось мне, нашего государства. Хотя интерес всё-таки был – область влияния наших идей расширялась, – очередное распространённое заблуждение. Но о заблуждении я тогда не догадывался, а возросшая мощь нашей страны была воспринята с гордостью: угрозы Хрущёва вмешаться заставили трицу уступить (не потому ли, что США к конфликту проявили полное равнодушие).

А вот второе событие – восстание в Венгрии, неожиданное и дикое (на тогдашний мой взгляд), зацепило трагически глубоко. Благодный мир рушился. Вот и в Польше что-то зашевелилось, правда, не так, не кроваво, как в Венгрии. Недоумение зашоренного

ума было полнейшим. Как же такое случить могло в стране, идущей к социализму, где партия и правительство неустанно пеклись о благе трудящихся, а те в свою очередь были преданы им – в чём ежедневно все послевоенные годы нас газеты и радио убеждали. Как же такое случиться могло, что сотни тысяч, нет, миллионы, пожалуй, вышли на улицы против любимой коммунистической власти?! И незыблемая эта власть зашаталась. В Будапеште на фонарях у горкома закачались трупы повешенных коммунистов.

А новый венгерский премьер Имре Надь заявил о выходе из Варшавского Договора. Для меня это было настоящее потрясение, но прозрения не наступило. Никаких источников сведений, кроме официальных у меня не было, "вражеских голосов" я не слушал – такого приёмника не было у меня, да я о них просто забыл с сорок девятого года, когда у Боровицкого слушал несколько раз "Голос Америки". Ну, а наша пропаганда всю постаралась мозги задурить – тут и сотни тысяч вооружённых контрреволюционеров, проникших из Австрии и ФРГ, тут и внутренняя измена в политбюро и правительстве.

И я привычно клюнул на эту наживку.

... так что обращения Яноша Кадара к нам с просьбой о помощи и ввод наших танков на улицы Будапешта, положивший конец бесчинствам в венгерской столице, я воспринял с большим удовлетворением, как писалось в газетах. Двадцать лет спустя, в Киеве, на курсах ЦК, я узнал, чего нам стоила эта "победа". В совершенно секретном фильме я увидел кладбище наших солдат, погибших в венгерских событиях: без конца и без края тысячи и тысячи плит на могилах советских солдат, погибших в ту осень.

... Мой незрелый слабенький ум под напором одиозных односторонних вестей колебнулся. С кем-то надо было мыслями поделиться, и я написал Людмиле письмо.

... вначале, естественно, шли объяснения, почему я ей не писал, почему на днях не зашёл, будучи в Сталинске. «... но сегодня я понял, что это была всего-навсего дань оскорблённому самолюбию». Далее я писал о жизни своей, о том, что читаю. О том, что восторженный отзыв Горького о Стефане Цвейге вызвал у меня к тому большой интерес. Я прочитал "Двадцать четыре часа из жизни женщины" и убедился, что это превосходный писатель. Блестящий очерк "Америка" подогрел мой восхищение. «А сегодня его "Подвиг Магеллана" привёл меня в настоящий восторг – нет, "восторг" не то слово, я не могу выразить своё состояние, это какой-то экстаз... Между прочим, там

есть слова: "Кто чует близость бури, тот знает, что одно лишь может спасти корабль и команду: если капитан железной рукой держит руль, а главное – держит его один"... Венгерские события заставили меня иначе взглянуть на Сталина. Не умаляя его ответственности за нынешний кризис в коммунистическом движении (чего не отрицают Торез и Тольятти), я безапелляционно готов оправдать многие действия его до войны (А, каково?! – В. П.). Так было необходимо. Иначе – смерть!.. Мне не нравится дикая расправа над будапештскими коммунистами, и я с лёгкой душой отправил бы на виселицу всех истязателей».

Или вот ещё образец из листков дневника того времени. Писал я, напитанный романтическим Горьким, выпрهنне, как истый коммунистический идиот. Но из песни слова не выкинешь... хотя стыдно-то, стыдно-то как...

«В последних письмах Ленина сквозит глубокая озабоченность судьбами партии, судьбой полуразрушенной (Лениным же – В. П.) страны, дерзко бросившей вызов гнилому мутному миру зла и насилия. Яркий факел смелой мечты и мысли был зажжён в России, вырвав из зловещей тьмы шестую часть мира, и, быть может, поэтому, тьма ещё больше, ещё зловеще сгустилась за границами света, затаившаяся, испуганная, но ещё и сильная, и готовая сомкнуться над головами безумцев, зажгших факел, и поглотить их...

Грозное было время, и нечеловеческие усилия нужны были, чтобы сохранить это пламя от всех чёрных бурь, от неистовой угрожающей свистопляски взбесившихся защитников "свободы", "права" и "справедливости". Нужна была сильная рука, нужна была единая неколебимая партия...

История лучший учитель. Сегодняшняя история помогает оценить прошлое: разброд и раскол в венгерской партии коммунистов чуть было не привели к торжеству капитала, клерикализма, фашизма.

Раскол в нашей партии был предотвращён. Грандиозные успехи Союза Советов были достигнуты ценой невероятного напряжения сил, ценой единения, ценой страшной централизации, дисциплины и подавления всех сопротивлявшихся вражеских элементов – после венгерских событий отрицать необходимость мер этих невозможно.

... ограничения и даже жестокость, жестокость к врагам рабочего класса были оправданы».

Господи!.. И это я написал?.. Даже жестокость!.. Я то, считавший себя гуманным, мыслящим человеком! Здесь же нет ни одной живой

собственной мысли – сплошной агитпроповский штамп. Но, скажите, как можно мыслить, не имея никакой информации. Над чем размышлять!.. Как наивный щенок я воспринимал печатное слово на веру... Но всё же... первый толчок мысли был дан, пусть и путаной мысли и ложной – время расставит всё по местам, всё же я начал думать.

Далее после дурацких рассуждений об узурпации Сталиным власти, о том, что момент превращения его в деспота, удушившего советскую демократию (!) и всякую мысль, втиснувшего многообразную жизнь человека в жёсткие формы и рамки, не был замечен своевременно в партии (!), и о том, что это ушло уже в прошлое, и ошибки, допущенные партией, исправляются, следует и нечто разумное: «Но возникает снова опасность. Иные благодушные люди (Благодушные?.. Ой ли? – В. П.) утверждают в печати, что с культом личности покончено, что последствия его ликвидированы... Говорить так – значит не понимать всей глубины происшедшего, не стремиться раз навсегда покончить со всем, что чуждо социализму».

... первая трещинка между официозом и моей собственной мыслью, как видите, пролегла, и хотя я ещё весь во власти этого официоза, но уже понимаю: избавление от того, что с нами случилось, будет долгим и трудным. Точно так же, как моё избавление от навязанных с детства стереотипов растянется на десятилетия.

... что же касается дневниковых моих рассуждений, то мне сейчас жутко и страшно прочитывать их. До какой же степени способен оболваниваться человек, вроде бы кажущийся себе иногда и неглупым, стремящийся критически мыслить, не принимать всё на веру, руководствуясь принципом: "Подвергай всё сомнению". Всё и подвергал, кроме, выходит, идеологии. Почему это стало возможным? Ответ сейчас очень прост. Изоляция. Люди творили не на пустом месте. «Я стоял на плечах гигантов», – изволил заметить гражданин Ньютон. Нас же отгораживали от всего, от любого проявления человеческой мысли, веками, тысячелетиями наработанной, что равносильно духовной кастрации. Большевики нас духовно опустошили. Если тебя посещали сомнения – было опасно их высказать, совершенно невозможно проверить – все "чуждые" книги были запрещены и изъяты. Невозможно было ничему, кроме разрешённого, научиться, невозможно было найти могучих союзников – мыслителей прошлого и настоящего, которые подтолкнули бы работу собственной мысли, помогли бы подорвать устои колоссального здания, воздвигнутого на жи... Столичным жителям было немного полегче, при желании можно было

тайное что-то найти, хотя и риск был немалый... А в провинции – полный вакуум, пустота. И моя трагедия была в том, что я долго верил коммунистической пропаганде (со всё бóльшими и бóльшими поправками, разумеется), хотя и не любил её пафос и трескотню. Ну как можно было всерьёз воспринимать бахвальство Хрущёва: «Только социализм является стартовой площадкой для освоения космоса!»

... Плод должен был совсем сгнить, чтобы я убедился в несостоятельности навязанных мне с детства идей, во всеобъемлющей и циничнейшей лжи, опутавшей всю нашу систему. Утешаюсь лишь тем, что я это всё осознал, осознал всё же чуть прежде, чем плод сгнивший упал. А другие и после этого не осознали. Слабое утешение...

... Становление власти в Междуреченске летом закончилось. В первом этаже одного из новых домов временно разместился горком партии. Я, понимая, что всем правит партия, сразу же нанёс визит первому секретарю Турчину Николаю Давыдовичу. В этот период все первые лица города были доступны. Он доброжелательно побеседовал со мной о делах гидрокомплекса, и расстались мы почти дружески, хотя он был лет на десять старше меня. Он пригласил меня, если что, заходить, чем я и воспользовался несколько раз, навещая его в поисках помощи, а то и так просто. Но за пределы строительных тем разговоры наши не выходили.

... Механик мой, Санька Исаев, всё это время диспетчерствовал на шахте и к гидрокомплексу интереса не проявлял, посему и никаких отношений, даже формальных, с ним не установилось. Осенью он исчез так же внезапно, как и появился, и уже никогда больше пути наши не пересеклись. До меня не доходило и слухов о нём.

... а работы по гидрокомплексу уходили явственно в зиму. На отстойники завезли трансформаторы, от них протянули кабели к арматуре всех пяти секций и, пропуская большой силы ток, прогревали свежеуложенную и покрытую утеплителями бетонную массу. Разогретая током, она не смерзалась, парила сквозь стыки укрытия и вроде бы набирала необходимую прочность.

... Личная моя жизнь изменений не претерпела. После летней скоропалительной переписки в отношениях наших с Людмилой возникла некая пауза. Да ведь и отношений, собственно, не было никаких. Даже романом в письмах это не назовёшь. Я то в них выказывал свои чувства, она же отделялась ничего не значащими писульками. Иногда бомбардировала: «Хочу тебя видеть», – но о чувствах своих никогда не писала, ну, разве порой "беспокоилась", ничего ли

со мной не случилось? Потом умолкала. Как-то она мне заметила, что после ссор не хочет видеть меня, но, когда обида затянется, кончится, она сама скажет, приедет, напишет.

Ну, приехать она никогда не приехала, но записки после затяжного молчания приходили. Тогда я воспринимал всё как данность, что ж, она такова, вздорна, вспыльчива часто без меры, что обидно, но ничего не поделаешь... А сейчас я в сомнении. Быть может мы "ссорились", когда у неё намечался роман, возникало кем-то в Сталинске увлечение? Ведь резкого слова с моих губ не слетало, слишком памятен был новогодний урок в середине пятого курса. И вообще, о том, что мы "в ссоре" я к изумлению своему узнавал от кого-либо со стороны. Когда новый знакомый себя исчерпывал или попросту исчезал, "ссора" наша заканчивалась, ей становилось, по-видимому, одиноко, скучно, тоскливо, и тогда летели слова: «Хочу тебя видеть». Кто знает? Потёмки, потёмки чужая душа. Для неумного человека. Или для такого, кто «сам обманываться рад».

Я не помню к ней своих писем, лишь сохранившиеся черновые отрывочные наброски напоминают примерно их содержание, напоминают, что страдал я, простите за громкое слово, безумно, очень больно было мне без неё, без неё жизнь не мыслилась.

«... Опять бегут неумелые бестолковые строчки, тычутся слепыми котятками написанные слова... И кажется мне, что тупая непостижимо властная сила опутала меня, оплела, спеленала – и жутко, и страшно своей бесконечной покорности, своей беспомощной неподвижности, но нет и желания стряхнуть с себя тягостное это оцепенение... и плывут тяжёлые думы, еле-еле царапая душу.

... Да стало страшно. Страх этот и исцеляет меня, заставляя насильно работать с утра и до ночи. А потом и работа сама увлекает, оживляет меня...

Что же ты не пишешь, милая?..

... Дни проходят неразличимой вереницей, стёртые серые, словно дождливое осеннее небо. Ничто не потревожит их, не блеснёт зарницей надежда... не разбудит от всесильного сна мысль своим будоражающим криком: "Очнись!"

Нет, я всё-таки просыпаюсь, иду на работу, что-то делаю, много читаю, думаю, "философствую". Фейхтвангера сменяет Стефан Цвейг, за английским языком следует "Диалектика" Корнфорта и, конечно Горький, которого люблю за его мудрое знание жизни. Дни

наполняются содержанием, и, по-прежнему безликие, они уже не страшат своей нескончаемой бесконечностью. Мысли путаные, тревожные сплетаются в неожиданные узоры, уже далеко не бессмысленные, и, возникнув, переходят в новое качество, обдают сердце беспокойной волной ликующей радости: жизнь так интересна во всех своих проявлениях. Жизнь прекрасна и удивительна!

Что же ты не пишешь, милая?»

А вот ещё образец от тринадцатого декабря уходящего пятидесят шестого.

«Сегодня у меня есть несколько свободных часов, и, как всегда, когда я свободен, я думаю о тебе. И, как всегда, мне горько и тяжело, но и радостно тоже: если бы прошлому суждено было бы вернуться, я снова бы с готовностью вновь пережил его – со всеми мучительными ночами, сжимавшими сердце моё страхом тоскливого одиночества, с редкими минутами безмерного счастья, когда я видел и чувствовал тебя рядом со мной, – с его верой, надеждой и неверием ни во что, со всеми волнениями и терзаниями и пыткой, то есть с тем, что единственно и составляет жизнь человеческую. Ибо самое страшное не мучение, а бесстрастное безразличие – это ведь смерть...

Пожалуй, ты уже приучила меня к мысли: ты не моя, ты чужая, придёт день, и ты уйдёшь от меня навсегда, такая же высокомерно холодная, как (далее неразборчиво – В. П.), – только мне уже редко бывает страшно от этого. Но, сознаюсь, бывает. Душа обволакивается пустым равнодушием, и упругое тело словно бы становится дряблым и вялым, и к жизни уже неспособным. Страшно не столько тебя потерять, сколько утратить вкус к жизни.

... Среди ночи я
стою у чёрного окна,
прижав к холодному стеклу
свой лоб; а за спиной, дрожа,
холодный липкий Страх.
Страх одиночества.

... И шумные улицы города, и прелесть цветных витрин тёмными вечерами, и запах весны в зимнюю оттепель – всё для меня оживает лишь вместе с тобою.

Я слишком хорошо знаю тебя и не знаю совсем, но я люблю тебя, и для меня всё равно ты и сейчас остаёшься всё той же Девоч-

кой в Белом Платье, и я невольно жду от тебя только хорошего, светлого, но... но отравленный ядом неверия мозг мой сбоят, и я понимаю, что ждать уже нельзя ничего, и все процессы тайной работы мириадом нервных узлов приводят к одним и тем же вопросам: зачем?.. к чему это всё?.. к чему писать письма, волноваться и волновать?.. "Зачем искать того, кто найден быть не хочет?" Это ведь когда ещё написано было. И это был окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. А я то, глупец, поверил, что его можно обжаловать! Что же делать теперь? Ответ вроде бы прост. Надо просто сжать в кулак свою волю и решительно всё зачеркнуть, навсегда всё забыть. Но это просто сказать. Если бы сделать было так просто!.. Забыть, свернуться в клубочек, сжиматься сильнее, изгоняя все свои мысли, сжиматься туже, сильнее, сильнее, пока не стянешься в точку, не превратишься в ничто – и, может быть, лишь чудесный инстинкт сохранения жизни, отпущенный всякой живой твари, противится этому, заставляет до конца не сдаваться, бороться, цепляться за соломинку жизни, тянуться к живому, к человекам по-человечьи».

Да, на душе было скверно, нелегко, но спасало общение, среди друзей я держался раскованно, порой бесшабашно. Спасало меня и чтение, книги. Я покупал всё приличное, что появлялось в книжном магазине, открывшемся в доме напротив. А появляться после XX съезда стало многое, что было ранее, при Сталине, под запретом. Я впервые подписался на будущий год на газеты, и "Литературная газета" была среди них. Я выписал "толстые" журналы "Новый мир" и "Октябрь" и журнал "Иностранная литература", возобновивший вновь выход после более чем десятилетнего перерыва, и с нетерпением ожидал наступление Нового года, когда начну получать новинки современной и, как ни странно это звучит, прошлой литературы. С нетерпением я ожидал общения к жизни большой, к мировой и советской, и русской культуре.

Я купил радиолу, и музыка стала великим моим утешением. Включишь приёмник – польются мягкие звуки, умиряющие бердящую душу тоску, обволакивающие меня, словно ватой, уводящие от мирка, что сейчас окружает меня. И запутавшись в густых ватных и пушистых волокнах, гаснут, тают крики души, и становится странно покойно. А музыка льётся, течёт плавно, тихо, светло.

Ах, если бы вместо этих пушистых ватных волокон на лицо моё легла прядь любимых шелковистых волос.

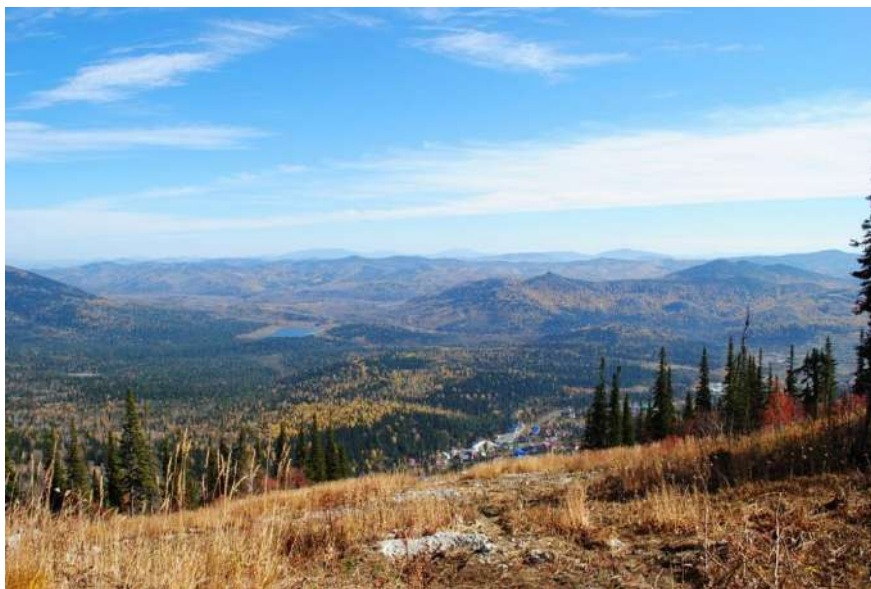


Рис. 3. Горная Шория

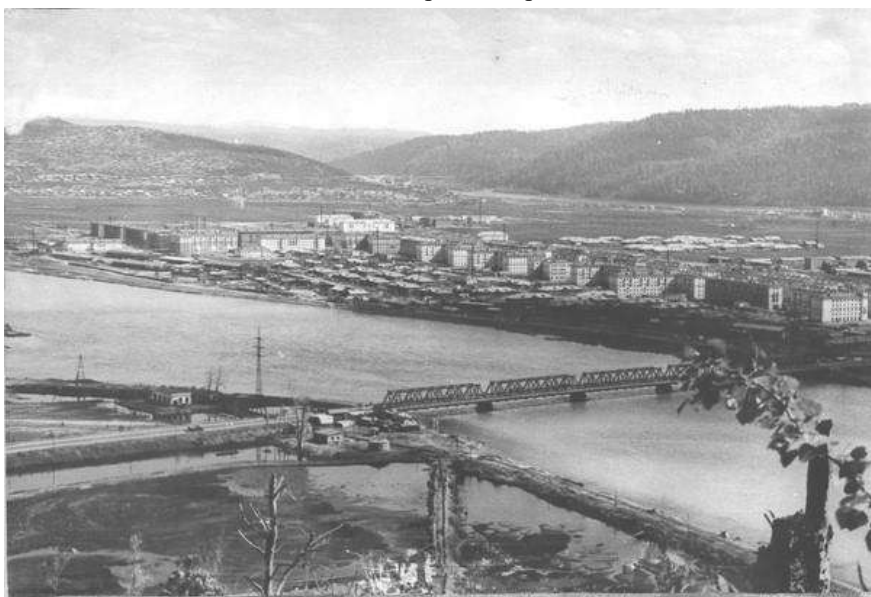


Рис. 4. У-су. Левее моста насосная станция гидрокомплекса

1957 год

... Где и как я встречал Новый год, я не помню. В шахте не мог – гидрокомплекс ещё не работал.

... Начало января в этом году ознаменовалось небывалым морозом. Столбик термометра сполз до минус пятидесяти восьми. Видеть этого я, конечно, не мог, так как таких термометров не было, да и ни у кого вообще не было наружных термометров. Об этом с метеостанции по радио сообщили. Разрезы, стройки остановились. Но шахта работала. Я зачем-то как раз в этот день в шахту ходил. К полудню вышел из штольни и ахнул: долину – всё междуречье – заволкло недвижимой сизой дымкой, и сквозь неё наливался кровью низкий диск солнца. Тишь стояла страшнейшая – ни одна молекула в воздухе не шевельнулась. Замерло всё. Не представляю, как попал я домой. Идти по такому морозу в брезентухе, хотя и надетой поверх лёгкой хлопчатобумажной спецовки, в каске и резиновых сапогах было нельзя. Очевидно, спустился до АБК по пыльным жарким транспортным галереям. Ну, а там у меня было добротное пальто на ватине с воротником из каракуля. Мне его сшили в маминой мастерской. Мастерича старалась мне угодить, примеряла несколько раз, но всё равно оно вышло у неё скособоченным, но однако же тёплым. Впрочем, к делу это совсем не относится. И в тёплом пальто, но в ботинках до дому бы я не добрался. Наверно людей автобусом или в крытой машине по домам развозили... Не помню.

Мороз держался дней пять. И в шахту на работу уже не ходили. Невозможно было выйти на улицу. То есть выйти-то можно, да дальше-то что? Воздух нельзя было вдохнуть даже через шерстяной шарф, намотанный на лицо – горло огнём обжигал. А выходить приходилось. Без еды-то скучно совсем оставаться. Вот и идёшь за продуктами в магазин, который напротив. В подъезде воздуха в грудь наберёшь – и бегом через улицу, воздух на бегу выдыхая. Вскочишь внутрь магазина – жадно вздохнёшь и уже дальше дышишь нормально. Так же и назад возвращаешься. Благо дом рядом – метров сорок всего или чуточку больше.

... кроме мороза зима и весна до мая включительно – сплошной чистый лист. Пусто в памяти, пусто в бумагах. На работу, условно, ходил, и на отстойники, и на фабрику, и в насосную. Работы там кое-какие велись, так что не мог не ходить на работу... И

ездил, много ездил. Ездил в Сталинск, конечно. К Людмиле? Зачем? Для чего? Никаких встреч не помню. Мрак полнейший в мозгу. А дорогу до Сталинска многократно проезженную в эту пору запомнил на удивление хорошо. Каждый раз – холодный автобус, в котором съёжившись, сжавшись сидим, медленно замерзая, и остановка возле сельмага после поворота дороги на запад, на Сталинск. Мороз-то в автобусе пробирал хорошо, в какую одежду не кутайся. Вот шофёр и делал здесь остановку. Пассажиры из автобуса высыпали потоптаться, попрыгать, размяться и, сбросившись, посылали кого-либо в магазин, он возвращался с бутылками водки, тут же на улице их откупоривали, разливали в стаканы и, опрокинув, почувствовав, как блаженное тепло в животе разливается, лезли снова в автобус.

В ту самую пору и нашла на меня напасть ненужная, вредная даже, и необъяснимая совершенно – я стал к водке испытывать отвращение, сбой какой-то случился в моём восприятии – водка стала казаться мне сладкой. Опрокину стакан "для сугрева", а во рту – словно мёдом намазали. А что может быть гаже, чем сладкая водка? Трудно придумать. Пропадаю и всё. Не могу пить, а надо... Если бы не морозы – пить совсем бы, наверное, перестал...

Но подоспело тепло, надобность в водке отпала, а к новой зиме изъян, возникший было во мне, не проявился. И опять хорошо пошла, милая, и с холоду, и с голоду, и с устатку.

... В мае в Сталинске в институте встретил Славу Суранова. Он сказал, что получил квартиру в доме возле самого института, и меня к себе затащил, с этого момента завязалась у меня с ним переписка, мы даже книги, интересные нам, пересылали друг другу по почте.

... в конце мая меня вызвали в шахтный комитет профсоюза и неожиданно предложили бесплатную путёвку – кто-то в последний миг отказался – в санаторий "Черноморье" неподалёку от Туапсе. Санаторий, понятно, не высокого сорта, но дарёному коню... словом, я согласился.

Не возьму в толк, как об этом узнала Людмила – с прошлого лета я с ней не встречался, письма в этом году писать перестал... но она предложила приехать ко мне в санаторий к концу моего пребывания там, а потом со мною поехать в Алушту, куда я собирался к тёте заглянуть на недельку.

... жизнь как будто бы мне улыбнулась. И я покатил на юг в самом радужном настроении, то есть на самом деле я покатил не на юг, а на

север, в Новосибирск. Имея на руках восемь тысяч рублей, я не собирался трястись в поезде до Москвы четверо суток даже в мягком купейном вагоне. Сев на вечерний поезд в Сталинске, я утром прибыл в негласную столицу Сибири и, проехав автобусом мост над ошеломляющей ширины рекой Обью, очутился в аэропорту Томилино перед низеньким зданием аэровокзала. Билет на ближайший рейс до Москвы я купил без труда. И через каких-нибудь полчаса я вышагивал с группой пассажиров по лётному полю к одиноко стоявшему на полосе самолёту Ил-12. Шёл к самолёту я с некоторою опаской, зная за собой грех высотобоязни, – а тут предстояло подняться над землёй на тысячу метров.

по лесенке, приставленной к самолёту, мы влезли в овальный белый салон, в котором – посередине проход, а от него по обе стороны у круглых иллюминаторов – мягкие кресла в белых чехлах. Мест немного, кажется, восемнадцать. И заняты были не все. Авиация была не всем по карману. Хотя билет в оба конца стоил на десять процентов дешевле.

... самолёт побежал по бетонной дорожке – я прижался носом к стеклу, наблюдая, как сливаются в монотонную серую полосу камушки, впаянные в бетон. И по ней рядом с нами бежала тень самолёта, своими теневыми колёсами касаясь настоящих самолётных колёс. Взлёт случился легко и нисколько не страшно: я вдруг заметил, что тень отскочила от самолёта, и наши колёса повисли над полосой. Тут салон несколько вздыбился: самолёт набирал высоту, а аэродром со зданиями и вышкой начал отлетать в сторону и уменьшаться в размерах. Не прошло и минуты, как в иллюминаторы вползла ширь хвойных лесов. Деревья, поначалу видимые отдельно, превратились в один сплошной зелёный покров.

... страхи мои оказались напрасны – высота совершенно не чувствовалась – будто сидел в салоне автобуса на хорошей дороге, без тряски и толчков на ухабах. Но ухабы появились и здесь, да какие ещё!.. Пол вместе с креслом ушёл резко вниз, мой печень, селезёнка, желудок подпрыгнули, вызвав острое ощущение, передать которое я могу лишь коротеньким словом – ух!.. сам я тоже чуть было не взмыл, но меня удержали ремни, которые я забыл отстегнуть.

Через несколько часов лёта над лесами, прорезанными долинами рек, а то и просто реками безо всяких долин, с вкраплёнными в лесные массивы прогалинами и селеньями, самолёт сел на Омском

аэродроме. Пассажиры вылезли из самолёта, кто просто ноги размять, а кто и перекусить в буфете маленького уютного зала аэропорта. Часа через два объявили посадку, и наш самолёт снова взлетел. Приземлились глубокой ночью в Свердловске, там самолёт в очередной раз дозаправился уже до самой Москвы. В иллюминаторах была ночь, темень, и в ней не было ничего кроме редких скоплений мерцающих россыпей огоньков на земле, и я задремал.

Чем я занимался утром в столице, теперь даже мне неизвестно. Надо думать, поехал на Курский вокзал за билетом на поезд до Туапсе, а потом на Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), которая открылась в этом году вместо довоенной Сельскохозяйственной выставки.

Разнообразные павильоны, которые позже стали казаться мне чересчур вычурными, тогда очаровали меня своей необычностью. Ажурные строения в зелени тополей, елей, сосен, берёз словно вышли из сказки, и у меня невольно вырвалось: «Такие города построят при коммунизме!» Я обошёл все павильоны, но всё, что в них видел, не отличалось какой-либо новизной, всё это видел в киножурналах или на журнальных картинках. Что поразило, так это множество дешёвых столовых, закусочных и ресторанчиков, в которых я за день ухитрился три раза основательно пообедать. Готовили вкусно, и борщи, и супы, и солянки, и бефстроганов, и бифштексы, и чебуреки, и шашлыки. Превосходно было и пиво. Я впервые отведал немало сортов. В первый раз я взял "Жигулёвское", во второй – "Рижское". В третий – "Московское", и всякий раз оно доставляло мне удовольствие. Набредши на павильон "Пиво", я отведал в нём и "Двойное золотое", и густо-коричневый, почти чёрный ленинградский "Портер" со слегка сладковатым привкусом солода, и он мне очень понравился. Больше "Портера" я не встречал даже в самом Ленинграде.

... Был ещё зал дегустации всех вин Союза. Глаза разбегались от многоцветья праздничных этикеток на разнообразных бутылках, среди которых были и невиданные: высокие, удлинённые, пузатые и фигурные. Пробовать вина я не решился – слишком много и долго, и вряд ли к концу такой дегустации я не только вкус, цвет и букет одного вина от другого не смог отличить, но и мог вообще отключиться. Задачу, поставленную ещё в институте, снова пришлось отложить. С насюка такое не делается...

... Пробыв день на выставке, я вечером сочинским поездом уже ехал на Кавказ, а ещё через ночь утром вылез из вагона на знакомой,

но совершенно забытой мной станции Туапсе. Размышления мои, как добраться до неизвестного "Черноморья", прервал радиоголос: «Автобус до санатория "Черноморье" находится...» Я быстро нашёл этот автобус, и вскоре катил по дороге вдоль моря в сторону Новороссийска. Дорога кружила, петляла в горах и по крутизне и частоте поворотов дала бы вперёд сто очков знаменитому Ялтинскому шоссе, тогда ещё не спрямлённому.

В санатории меня поселили в комнате на троих. Два соседа в ней уже жили, обоим за сорок, люди спокойные, не курили, не пили и не храпели – лучших соседей и не сыскать, хотя и ничего интересного в них тоже не оказалось, да и не нужны они мне были несколько: целыми днями пропадал я у моря, плавал и загорал, не забывая три раза подкрепиться в столовой. Кормили в санатории не роскошно, но более или менее сносно. Так и шёл у меня день за днём. Я даже не удосужился съездить в Туапсе посмотреть город, побродить по его улочкам, в порту побывать. Раз только я прокатился на прогулочном глисере от санатория до Сочи и обратно. Волосы мои развевались от упругого ветра, корабельное радио с проходивших судов орало во всю мочь "Мишку" и "Бесаме мучо", они же доносились из санаториев на берегу, а я на корме ощущал себя лихим морским волком в студенческой тужурке без контрпогон, накинутой небрежно на плечи.

Волосы мои развевались от упругого ветра, корабельное радио с проходивших мимо нас катеров орало во всю свою мочь "Мишку" и "Бесаме мучо", они же доносились из санаториев на берегу, а я на корме ощущал себя лихим морским волком в студенческой тужурке, небрежно на плечи накинутой, без контрпогон, но со значком горного инженера на лацкане.

... И снова наш санаторный галечный пляж. С первых же дней он мне не понравился – алуштинским не чета. С виду вроде бы чистый, он весь был усеян неприметными с виду чёрными комочками вязкого мазута, таившимися между округлых камней. И, упаси тебя бог, лечь без разбора – с тела грязное пятно не отмоешь, не соскоблишь. Да и в море на прозрачной зеленоватой воде на волнах качались эти маленькие комочки сгустившейся нефти, пролитой нефтеналивными судами в порту. В Туапсе загружали танкеры хадыженской, грозненской нефтью. А по части порядка и аккуратности и в Союзе, и в постсоветской России ведь всегда не того... не Финляндия. Землю, воду и воздух свои гадили, не задумываясь... Да и сейчас пакостим не меньше, хотя сейчас-то последствия намного сильнее дают знать о себе.



Рис. 5. В море между Сочи и Туапсе

... Но выбирать было не из чего, приходилось с большой осторожностью находить местечко и очищать его от замеченной ваксы. И тянулись безмятежные дни в море и возле него в ожидании дней других, сулящих радость и счастье.

... а вот о жилье для любимой заблаговременно позаботиться не сообразил.

Срок моего пребывания истекал, когда я, наконец, получил телеграмму:

ВЫЕХАЛА МОСКВЫ ВСТРЕЧАЙ ТУАПСЕ (ТАКОГО-ТО)
ПОЕЗД (ТАКОЙ-ТО) ВАГОН (ТАКОЙ-ТО) ЦЕЛУЮ ЛЮДКА

... Утром до отхода автобуса я попытался подыскать жильё для Людмилы, но в этом деле за часы до отъезда не преуспел и перепоручил своим сотоварищам продолжить поиск жилья для Людмилы. Они клятвенно обещали, что сделают всё в лучшем виде и жильё для моей невесты найдут.

Успокоенный я уехал на автобусе в Туапсе, на базаре купил букет красных роз и в указанный час был на перроне.

Поезд прибыл минута в минуту, я тотчас же очутился у указанного вагона, и в тот же миг с подножки ко мне спрыгнула Людмила в лёгком платье юная, обольстительная с чемоданчиком в правой руке. Чемодан был брошен ею на землю, нежные руки обвились вокруг моей шеи, губы слились... и я задохнулся от счастья. Я притянул её крепко своими руками, и упругие груди её прижались к моей груди, и я ощутил всю их сладость. О, минута блаженства!

... приехав с Людмилой в санаторий в сумерках, я сожителей своих не застал. Мне сказали, что все обитатели корпуса на открытой площадке в летнем кинотеатре, где местная самодеятельность улаживает глаз и слух отдыхающих. На эту площадку мы и отправились. Скамейки сплошь были заполнены отдыхающими, и в этом скопище я с трудом отыскал две знакомые головы. К неопишуемому моему огорчению, хуже – к ужасу моему, эти добрые дяди, позабыв обещание, и пальцем не шевельнули, чтобы крышу для моей возлюбленной подыскать. Пообещав за такую бессовестность выгнать их к чёртовой матери на ночь на улицу, если я ночлег для неё не найду, я усадил Люсю на свободное место, а сам направился к бедному домами посёлку при санатории. Я обходил домишки один за другим, барабанил пальцами в каждую дверь, но везде получал один и тот же ответ, что у них не то, что свободной комнаты, но и свободной кровати-то нет. И всё же мне повезло. Одна санитарка согласилась сдать на несколько дней комнатёнку. На вопрос о питании, она мне ответила, что она это может устроить. Если не в санаторной столовой, то в рабочей-то обязательно. Я рад был любой, зная, что в санаториях такого низкого уровня, разница в питании в столовых неощутима.

... я вернулся к театру. Концерт закончился, скамейки были пусты, никого на них не было, к моему удивлению и Людмилы не было тоже.

Я начал поиск её в ближайших окрестностях. В щели под акустической раковиной пробивался электрический свет, я решил туда заглянуть и нашёл её в будке под раковиной, где она договорилась с местным культурником снять на ночь в будке топчан. Эта её предприимчивость мне не понравилась, но, разумеется, я Людмиле ничего не сказал, вежливо поблагодарив культработника за заботу. Я взял любимую за руку и увёл от него к хозяйке квартиры, которая обещала накормить её ужином.

Утром после завтрака я зашёл за Людмилой, но хозяйка сказала, что та позавтракала в рабочей столовой и ушла к морю на пляж. Это тоже меня огорчило – не дождалась меня. Но и сам виноват – не мог до завтрака к ней забежать.

... Санаторий располагался на маленьком плато между горами, круто обрывающимся к морю. К нему были два спуска, один – слева, у самой горы – очень крутой, выведивший к камням обок пляжа, по второму – пологому, вдоль обрыва – спускались к пляжу, тянувшееся направо широкой галечной полосой с капельками мазута, загустевшего и от солнца, и от морской солёной воды и выброшенного на берег штормами. На этом пляже я и нашёл Людмилу в компании молодых людей спортивного вида, то есть с превосходным телосложением, и сразу же заскучал, болезненно ощутив "теловычитание" своей неспортивной фигуры.

... среди этих ловких спортивных парней, ставших в круг и игравших волейбольным мячом, Людмила, очевидно, уже стала своей, ей пасовали, она недурно принимала мячи и удачно их отбивала какому-либо партнёру. Я постоял, посмотрел, как хорошо и ладно у них получалось: мяч всё время был в воздухе, ему не давали упасть. Его пасовали, резали, стремительно посылая к земле, но чьи-то сложенные ладони успевали вброситься между ним и землёй, и он свечой взмывал вверх, чтобы, падая, быть снова срезанным сильным ударом либо быть принятым мягко на ловкие пальцы.

... я втиснулся в круг, но сыгравшиеся молодцы меня словно и не заметили. Будто пустое место стояло. Будто нарочно меня обходили. Только раз резкий мяч полетел в мою сторону, я успел сложенные ладони подставить и отбить его на другую сторону круга. Больше никто мне мяча не подал, даже Людмила, к которой мячи летели ежесекундно, и она, надо снова сказать, очень умело с ними справлялась. Чуть постояв бесполезным столбом, я разозлился и ушёл загорать.

Спустя полчаса ко мне подседа Людмила.

– Что ж ты ушёл? – спросила она.

– А какой смысл без толку стоять, когда половина мячей идёт только к тебе.

– Ты ревнуешь?

– Горжусь. Ну какая мне радость была бы оттого, что тебя не заметили?!

Она прилегла рядом со мной на горячую гальку.

– Осторожно! – вскрикнул я, спохватившись. – Здесь мазута полно!

Предупреждение, разумеется, запоздало, но ей повезло, она не испачкалась. Раскинув руки и ноги, она лежала, подставив солнцу лицо с зажмуренными глазами.

Я встал. Вот она лежит предо мною почти обнажённая – на груди только узенький лиф и внизу только узкие трусики-плавки. Вот лежит предо мной её желанное тело, и невольно глаза мои бегут по нему, опускаются с шеи на плечи и с плеч, минуя подмышки с постриженными волосками, на грудь, где под тугими круглыми колпачками скрыты дивные холмики и не скрыта меж ними соблазнительная ложбинка. Вот упругий девичий живот, и эти самые трусики, и бесстыдно, но и притягательно же, врозь раскинутые красивые ноги, и снова взгляд на живот и на треугольник под ним, прикрытый материей, из-под которой выглядывают курчавящиеся бесовские завитки. Как же она вожаделенна... и недоступна...

... мы поплавали в море, и пошли вместе обедать, теперь именно вместе в санаторную столовую – не составило труда договориться с официанткой: всегда кто-то уезжает досрочно, и всегда есть в запасе еда.

... вечером мы сидели с нею вдвоём на скамейке над обрывом у моря. Полная луна висела низко над нами, и широкая серебрящаяся, как чешуя трепещущей рыбы, дорога бежала от нас к ней по морю. Мы любовались луной, горами и морем, и этой лунной дорогой. Я обнял Людмилу и целовал упоённо, не осмеливаясь на большее.

... а зря. Через несколько лет дошло, наконец, до меня, что в любви нельзя пробаиваться лишь вздохами, надо действовать, и как можно смелее. И ведь во всём всегда понимал, что лишь действием можно добиться чего-то. В работе действовал, например, и кое-чего добивался. А вот с женщинами любимыми ни на что не решался, боясь обидеть прикосновением, стыдясь сделать неловкое. Мне почему-то казалось, что если женщине я не совсем безразличен, если нравлюсь ей, если она в меня влюблена, то она даст мне как-то понять, что она будет не против действий моих, что она сама хочет,

чтобы я зашёл далеко. Как же это было нелепо? Если я не решаюсь, почему же любимая должна быть смелее, решительнее меня? А тогда вот боялся её рассердить. Попытаться женщиной овладеть, не зная, не чувствуя, что она этого хочет – не мог. Поползновениями своими, которые – от правды никуда не уйдёшь – не всегда выглядят эстетично, боялся обидеть. Согласитесь, не очень красиво запускать руку в трусы, несравненно прекраснее, когда женщина сама сбросит одежды с себя и предстанет обнажённой, обворожительной.

... Наутро пора уезжать. Срок мой закончился. Мы с Люсей забрались в санаторный автобус. Место было лишь у меня, но понадеялись – пронесёт. Не пронесло. Нашёлся хозяин на место рядом со мною, где сидела Людмила – других свободных мест в автобусе не было. Я попросил разрешения везти Люсю у себя на коленях. Администраторша на уговоры не поддавалась и решительно вытурила Людмилу, пообещав отправить её завтра следом за мной... Естественно, вслед за Люсей из автобуса вылез и я. Как я мог уехать бы без неё?

... мы разошлись по жилищам, переживая, как я полагал, о несостоявшемся отъезде. И напрасно. Во-первых, вечерний автобус привёз весть, что автобус, из которого нас безжалостно выгнали, перевернувшись на крутом повороте дороги, слетел под откос, так что нам следовало радоваться тому, что нас высадили. К счастью, деревья, на верхушки которых свалился автобус, спружинив, смягчили удар и не дали ему покатиться далее по откосу, так что трагедии не случилось: пассажиры отделались испугом и небольшими ушибами.

Во-вторых, Людмила и не думала по этому поводу унывать. После обеда она меня известила о том, что познакомилась с двумя прелестными парами, и эти пары пригласили нас на пикник. И когда это она всё успевала?

Пикник начался возле леса на окраине санатория за длиннющим деревянным сараем, отделяющим от него территорию здравницы, и скрывающим нас от нежелательных взоров. А взоры эти, как оказалось, были-таки, – любопытен, любознателен человек! И более чем любознателен...

За грубо сколоченным длинным столом на длинной доске, служившей скамейкой, лицом к сараю сидели обе прелестные пары. Две молодые женщины, лишь чуть нас постарше, меня несколько не привлекли. Их спутники – два молодых человека – запомнились тем, что были поразговорчивей и побойчее меня. Мы сели на доску между обеими парами... На столе, застланном двумя развёрнутыми

газетами, лежала закуска: колбаса, перья зелёного лука, сыр, хлеб, соль, свежие огурцы. Рядом с газетами стояла батарея больших винных бутылок и при них шесть гранёных стаканов.

... не успел я как следует всё рассмотреть, как стаканы наполнились красным вином и провозглашён был тост за знакомство, затем стаканы ещё много раз наполнялись... и некрепкое вроде вино, вкусом напоминавшее дешёвый портвейн, ударило в голову. Я стал весёлым и компанейским. Мы обняли друг друга за плечи и, раскачиваясь, горланили песни, шутили, смеялись, словом вели себя шумно, но ничего недостойного в действиях наших усмотреть было нельзя.

... и тут Людмиле захотелось плясать. Газеты с остатками пищи тотчас свернули, мгновенно очистили стол, Людмила, вскочив на скамью, а с неё на столешницу, прошлась по ней, стуча каблучками в таком стремительном темпе, что я со страхом подумал: либо проломятся доски столешницы, либо она сломает каблук, либо случится и то, и другое. К счастью, ничего не случилось. А Людмила выдeldывала коленца, отбивала чечётку, кружилась так, что платье взлетало вверх веером, оголяя до чёрт знает каких пределов её красивые стройные ноги. Платье не успевало за нею и уже не веером, а свившемся в вихре жгутом, мчалось вслед ей за её бешеным танцем. Возбуждённая "публика" ликовала, я по-гусарски неистово вместе со всеми выкрикивал короткое иноземное слово: «Виват!» – выразившее высшую степень восторга.

... отплясав на столе залихватский свой танец, Людмила оставилась, и пять пар протянувшихся рук подхватили её и бережно опустили на землю... после чего вся братия провалилась куда-то, а мы с Людмилой очутились вдвоём на пустынном вечернем пляже, в левой части его у выдающейся в море горы, где в зелёной воде там и сям выступали редкие валуны с приросшими к ним водорослями, и волны, набегая на них, расчёсывали и полоскали их густые длинные коричневато-зелёные нити.

... голова кружилась при взгляде на бегущую воду, я был пьян и нетвёрд на ногах. Люсе тоже, видно, было не совсем хорошо, и она предложила освежиться, поплавать. Сбросив на камни одежды свои, мы поплыли в неширокие извилистые проходы меж глыбами, притопленными в воде, и выплыли в открытое, до горизонта свободное море.

... пьяному человеку и земля кажется неустойчивой, в воде неустойчивость эта проявляется с удвоенной силой, волна и держит, но и покачивает тебя, и кажется, что ты в невесомости, где верх непрерывно

меняется с низом местами, и от этого мутится в голове, и к горлу подкатывает отвратительно неприятное. Препаршивое ощущение, должен вам доложить, и лезть, выпивши, в воду никому не советую.

... преодолевая усилием воли кружение головы и возвращая на место норотившие повернуться земные ориентиры, я плыл на боку; рядом плыла Людмила, опережая меня на полкорпуса, и мне стоило немалых усилий не отстать от неё.

Плыли мы долго. Вода нас освежила, я протрезвел ровно настолько, что понял, нам пора возвращаться. Стемнело, над морем всходила луна. Мы повернули обратно, и дальше... я плыл, вероятно, в бессознательном состоянии, в памяти полный провал. Но поскольку я жив до сих пор, надо полагать мы благополучно доплыли до берега, вышли на сушу, оделись, возможно, поцеловались, и, безусловно, я её сопровождал на ночлег и сам вернулся в свою пустую палату, в которой уже не было моих постояльцев. Они утром уехали.

... а вдруг? А вдруг это не я её проводил, а она меня довела до палаты? И не осталась. Это бы было позорно. Но, надеюсь, этого не случилось.

... Итак, наутро я проснулся в палате один, поскольку мои удачливые соседи укатили вчера. Тут я должен признаться, что невесёлая весть о происшествии с нашим автобусом, привезённая вечером, дошла до меня только утром, и, узнав о счастливом для нас стечении обстоятельств, я воскликнул, отнюдь не злобно: «Есть Бог на земле!»

... Новый день начался... и начался он для меня в кабинете главного врача санатория, деликатного доброго старичка, который укоризненно выговаривал мне: «Ну как же вы, такой достойный молодой человек, могли себе позволить такое». Нечего и говорить, что я понял мгновенно, речь идёт о вчерашней попойке, и даже не столько он ней, сколько о вчерашней кафешантанной чечётке, о канкане на досках стола – и покраснел...

– Ну, бывают у нас, – продолжал мой мучитель, – разные бузотёры, но вам то это к чему? Ну, напишу я письмо на предприятие ваше, взыщут с вас стоимость вашей путёвки, неприятности будут... Не ожидал я от вас этого, не ожидал.

... Это было ужасно, но пол подо мной не провалился, хотя от стыда я готов был лететь и в самую преисподнюю. Я сидел, потупив глаза, красный, как нашкодивший школьник, и оправдываясь, лепетал, что вчера очень расстроился, когда меня с невестой выгнали из автобуса, и вот с горя выпил в случайной весёлой компании.

... покачав седой головой, главврач оставил дело моё без последствий.

А через час автобус, куда нас поместили, как и было обещано, кружил по дороге до Туапсе. А там поезд, колёсный перестук на рельсах между кромкой моря и горными склонами... и во второй половине дня мы въехали в жемчужину Советской Ривьеры, в незабвенный, многократно описанный писателями город с кратким названием Сочи. Впрочем, возможно, было наоборот: Ривьера была жемчужиной Сочи.

В те времена у меня была отличная память даже на единожды пройденный путь: я безошибочно выбирался из лабиринтов пройденных улиц в незнакомых мне станицах и городах. И сейчас абсолютно автоматически я прошёл путь от вокзала, проделанный три года назад, и вывел Людмилу к дому Хисматулиной. Темнело. Окна дома распахнуты настежь, двери открыты, двор сияет непривычно яркими огнями, и во дворе в этом свете суетится чрезвычайно много людей.

Я постучался в калитку и попросил подошедшую женщину позвать Марию Ивановну. Та вышла, и не успел я напомнить о нашем дальнем родстве, как она сама меня вспомнила и пригласила во двор. Там я объяснил ей, что в Сочи проездом с невестою в Крым, и спросил, нельзя ли остановиться нам у неё на один день до отплытия теплохода.

– Дом весь переполнен отдыхающими, к сожалению, – сказала Мария Ивановна, – но, если вас это устроит, я могу постелить вам во дворе.

Нас это устраивало вполне. Под чистым небом дышится легче, чем в душном доме в июньскую ночь.

– А пока, к столу, – указала она на длинный стол, застланный белой скатертью.

На столе, словно в калейдоскопе живописным узором расположились тарелки и блюда с рассыпчатой варёной картошкой, зелёными огурцами, перьями лука, красными помидорами, серыми ломтями хлеба, жёлтыми и фиолетовыми ягодами крупной черешни и ещё чем-то, чего я не вспомню. За столом сидели несколько человек, и неторопливо жевали.

Наскоро ополоснув руки и лицо водой из водопроводного крана, венчавшего отросток трубы, торчащий из-под земли во дворе, мы присели за стол и поужинали, после чего прошли вглубь двора в сад, где и прогуливались во мраке, ожидая пока разойдётся народ. Когда двор затих, Мария Ивановна позвала меня и указала на широкую кровать с белыми простынями на краю двора возле сада. В изголовье кровати лежали две большие подушки.

– Я постлала вам, можете ложиться спать, – сказала она.

Я смутился. Я был к этому не готов, не подумал о подобной возможности и теперь растерялся: как на это посмотрит Людмила. Я потерянно покраснел и выпалил торопливо, глупо и несурезно: «Мария Ивановна! Мы ещё не женаты». Мария Ивановна мгновенно меня поняла – сообразительной была женщиной!

– Хорошо, я постелю вам отдельно, только тебе придётся спать на раскладушке.

Я поблагодарил её и побрёл, вот теперь-то действительно потерянно, к Людмиле, стоявшей поодаль под деревьями сада. Подойдя к ней, я усмехнулся, и полагаю, что усмехнулся криво весьма – не до смеху мне было: «Знаешь, Мария Ивановна постлала нам одну постель на двоих...»

– Ну и что? – спокойно ответствовала Людмила.

А меня словно током ударило – вот глупец!

Мысли мои смешались: «Значит, она готова лечь вместе со мной, а я, идиот, отказался! Надо было сначала ей это сказать!» Но свершённого не вернёшь, и я, сгорев от стыда принуждённо закончил: «Я сказал ей, что мы ещё не женаты, и она нам постлала раздельно». На это Людмила не проронила ни слова. Что подумала она в тот миг обо мне?.. Недоумок?..

А мысли неслись: «... сегодня она бы могла стать моею, сегодня случилось бы то, что снилось мне в институте ночами, а я свой шанс упустил...»

Это тогда я подумал, что свой шанс упустил. Два дня спустя я думал иначе. Вполне допускаю, что этого шанса она бы мне тогда не дала, даже лёжа рядом со мною, и ночь обернулась бы адом. С ума можно сойти...

... в саду на своей раскладушке всего в десятке шагов от постели любимой, я вслушивался в каждый шорох её, втайне надеясь: а вдруг она позовёт меня: «Вовчик!» И тогда я исправлю допущенную ошибку. Не позвала; ночь доносила её ровное спокойное дыхание...

Впрочем, досадуя на непростительную оплошность, я не переживал глубоко. Если шанс у меня действительно есть – то впереди неделя наедине у тёти Наташи.

... Утром, едва звёзды поблекли на небе, и вслед уходящей ночи стали ясно различаться предметы, я был на ногах. Надо было быстро слетать в порт, справиться о рейсах на Ялту. Кроме того, я задумал приготовить сюрприз к пробуждению моей милой.

Я прошёл осторожно мимо неё. Она крепко спала. Сползшая простыня оголила изгиб её шеи, пленительного плеча. Дыхания её не было слышно, но ритмично поднималась и опадала простыня на груди, и только поэтому можно было понять, что она дышит.

Лицо её со сна разогрелось, лёгкий румянец проступал на щеках, и была она так хороша, так чиста и свежа, будто ребёнок, и во мне поднялась и меня захлестнула волна нежности к женщине, которая столько лет мучит меня, но быть может, быть может, хоть чуточку любит.

В порту я узнал, что теплоход будет к вечеру. И будет это опять – царство ему небесное! – "Адмирал...". Мне положительно не везло. Я всё время мечтал о "России", а попадались всегда либо "Пётр Великий", либо этот "... Нахимов". Ходили в то время и малые теплоходы с заходом в Туапсе, Новороссийск, Керчь, Феодосию и Судак, но я ими пренебрегал.

... о местах и билетах можно было узнать, как всегда, по прибытии теплохода.

... В приморском парке возле морского вокзала я завернул в сторону мне знакомых магнолий, надеясь, что не все они отцвели. Но они таки отцвели, как бы мне не хотелось обратного, и я было совсем приуныл, как случайно заметил высоко-высоко наверху единственный белый огромный цветок, укрывшийся за глянцевыми жёсткими листьями дерева. Озираясь по сторонам, как вор, готовящийся прилюдно совершить карманную кражу, я изловчился, соседней веткой накренил нужную мне ветвь, перехватился и обломил её вместе с белым цветком. В этом цветке и заключался сюрприз, и я его спрятал от нескромных взоров в корзинку. Тут же я отправился на базар и купил спелой отборной черешни. Крупные ягоды её почти чёрным лаком сверкали на солнце.

Когда я вернулся домой, Людмила ещё не проснулась, лицо её было по-прежнему розоватым, согретым дыханием сна, и само дыхание её казалось мне тёплым, домашним, родным.

Я вымыл черешню под проточной водой и сложил её в блюдо, налил воды в высокую вазу, поданную догадливой Марией Ивановной, и поставил блюдо и вазу на табуретку у изголовья спящей красавицы. Сам же сел на скамейку напротив, ожидая её пробуждения и того, как воспримет она белоснежное чудо с одуряющим запахом в обрамлении глянцевых листьев.

... она открыла глаза. Равнодушно скользнула ими по цветку и черешне, приподнялась, разок нюхнула его: «Как сильно пахнет!» –

и, крикнув мне: «Отвернись!» – начала одеваться. Это меня задело, и сильно задело. Я ждал хотя бы благодарного взгляда. Тогда бы я прочитал ей Лонгфелло:

Я пришёл к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.

... стихи застряли у меня в горле: ей это совсем ни к чему.

... Черешня потом была всё-таки съедена, а роскошный цветок одиноко стоял, никому, как и я, не нужный на свете.

... До обеда мы пробыли на пляже, плавали, загорали, а когда уходили домой, Людмила подошла ко мне как-то растерянно и сказала: «У меня неприятность». Я смотрел на неё в ожидании продолжения.

– Знаешь, когда мы плавали в море, я оставила в сумочке те четыреста рублей, которые ты дал мне утром, – тут она замолчала и, помедлив немного, добавила, – теперь их там нет. На пляже их вытащили.

– Подумаешь, ерунда, – сказал я, успокаивая её, – стоит переживать.

– Ничего себе, ерунда, – удивилась она.

Теперь пришла очередь мне удивляться. Неужели эти четыреста рублей что-либо значили для неё? Впрочем, я судил по себе, на участке вентиляции, где работала Людмила, ставки были поменьше, и не было у неё томусинской надбавки.

А она всё сожалела и огорчалась. Эти огорчения я прервал:

– В парке я знаю чудеснейшее местечко, где можно превосходно перекусить, – и я повёл её к рыбному ресторану. Деньги у меня были с собой, а, между прочим, я тоже ведь плавал и деньги оставлял в тайном кармане в брюках на берегу, и немалые, по несколько тысяч, но на пляже у меня и рубля не украли. За деньгами догляд всё-таки нужен. Плавать я плавал, но с вещей своих глаз не спускал. Да и можно ли деньги оставлять в дамской сумочке на берегу?..

... это ж приманка.

... Тихий маленький ресторанчик с незамысловатым названием "Рыбные блюда" укрылся в парке за теми магнолиями, где утром я промышлял. Да, ресторанчик был безыскусным, но готовили там искусно, и ещё как искусно готовили. Я его помнил по давним ещё временам. И не красной и чёрной икрой он меня привлекал, и не салатом из во рту тающих крабов, и не замечательной заливной осетриной. Вы бы попробовали там солянку рыбную сборную из

двадцати видов наилучших рыб. Или стерлядку, неизвестно как приготовленную, но божественную на вкус, или ещё множество блюд, названий которых уже не припомню.

Я заказал к рыбе бутылку белого сухого вина и на правах завсегдатая предложил и закуску, и первое, и второе. Людмила с моим выбором согласилась. Мы пообедали и ушли.

... Во второй половине дня мы вошли в морвокзал. Теплоход был на месте, и свободные каюты в нём были. Я взял билеты во второй класс до Ялты, и мы сразу поднялись на борт корабля плыть к иным берегам.

Впервые я плыл в корабельной каюте, не палубным пассажиром, как прежде. На палубе днём-то тоже неплохо, особенно если шезлонгом расстараться удастся, но ночью... Ночами бывало весьма неуютно, – каким калачиком не свернёшься, как ни укроешься пиджачком или курточкой, а холод к утру проберёт до костей. И вскочишь перед восходом, и бегаешь по палубе, чтобы согреться, и никак не согреешься, и ждёшь – не дождёшься, когда выплывет солнце и брызнет первым тёплым лучом...

... Итак, мы по трапу поднялись на корабль, прошли по палубе до места спуска в трюмные помещения, спустились по красной ковровой дорожке, накрывающей лестницу с горящими медью поручнями, прижатой к ступеням такими же до блеска начищенными медными прутьями, в зал, из которого расходились по обоим бортам в обе стороны коридоры с такими же праздничными дорожками и зеркально отполированными панелями стен и дверьми цвета морёного дуба. В потолке перед дверьми матово светились упрятанные заподлицо круги плоских плафонов. И медные ручки дверей сияли ярко и радостно, как и перила на входе. Корабельный блеск для меня был всегда воплощением такого восторга, от которого недалеко и до радости, и до счастья. Эти плафоны, ручки красной меди, начищенные перила, отражавшиеся в зеркале тёмных панелей, красные дорожки с узорчатыми краями, даже медные цифры, указывающие номер каюты, кричали о покое, богатстве, достатке жизни красивой и безмятежной. И среди этого блеска я как будто и сам становился к этой жизни причастным.

Наша каюта на четырёх человек, оказалась большой и формой своей походила на букву "Г". Вся она тоже была отделана деревом, полированным деревом сверкали и боковины двухъярусных кроватей с раздёрнутыми шторами цвета кофе с небольшим добавлением молока. За ними белели постели на пружинных матрасах с чистым

бельём. Одна такая кровать – у дверей, параллельная борту, другая – за ней, к борту торцом, рядом с иллюминатором, а под ним – столик, закреплённый консольно. Против этой – жёсткий диванчик, обтянутый коричневой кожей. Из круга иллюминатора лился свет ещё не угасшего дня, и было очень светло в этой части каюты, в отличие сумрака той, что у первой кровати.

Людмила сразу влезла на верхний ярус сумрачной первой части каюты, а я, пользуясь тем, что до отплытия ещё оставалось более часа, успел сбегать на рынок и принёс ей ещё черешни в большом бумажном кульке.

Я пытался угостить её этой черешней, но она вдруг сделалась неразговорчивой, от черешни категорически отказалась, и, решив, по всему, от меня отвязаться, со словами: «Я устала» – отвернулась к стенке каюты. Не знаю, что с ней приключилось, какая муха её укусила – всё до этого было нормально и на пляже, и после него, мы не ссорились, я не сказал ей ни слова плохого. Словом, ничего понять я не мог, и не понимаю сейчас, если не допустить, то она уже твёрдо решила со мною порвать.

Теперь-то я понимаю, что ей было скучно со мной. Я для неё слишком пресен, а ей подавай острые блюда, её влекла яркая богемная жизнь, где она бы блистала. – и это ей было по силам, – и где её бы восторженно принимали на руки. Не спонтанно же родился канкан на столе и безукоризненная чечётка. Мне это не было чуждо. Но для меня это был эпизод, отдых после работы, для неё в этом заключалась вся жизнь. Жизнь яркая, лёгкая и красивая.

... а тогда, бесспорно, мне надо бы тут характер свой проявить и резко выяснить отношения. Так же нельзя – ни с того, ни с сего, отворачиваться, надуваться...

Но этого я ей не сказал и, обескураженный её необъяснимым капризом, прошёл ко второй кровати, к иллюминатору, и занял нижнюю её часть, но не лёг, а уселся на диванчик и смотрел сквозь стекло на суету на причале.

Теплоход отчалил и, медленно пятясь, отошёл от пирса, разворачиваясь одновременно, и, набирая ход, вышел в море. В каюте никого не прибавилось, и это поселило во мне надежду: наконец-то мы остались с Людмилой наедине. Сердце моё забилося – вот он, миг долгожданный, – я встал, подошёл к кровати Людмилы. Она лежала под простынёй вверх лицом на уровне моей головы, глаза её были

открыты, она не спала. Я запер изнутри дверь каюты на ключ, и пытался Людмилу разговорить, стоя у её изголовья. Она отвечала односложно и неохотно, всем видом давая понять, что мы в ссоре. Но отчего? Почему? Мы же с нею не ссорились. Я не решился её об этом прямо спросить. Интересно, о чём она думала, почему так себя повела... Годы спустя я попытаюсь её из любопытства спросить. Но она не захочет ответить. И это заставило думать о ней хуже, чем, быть может, она в самом деле была. Неужели она обыкновенная стерва?.. В это верить не хочется, но иное на ум не приходит.

Я всегда с ней был робок до глупости – это она и меня, и себя так поставила. Лишь один день был самым собою я с ней, в день, когда мне казалось, что я её разлюбил, и когда в ответ на мой поцелуй, она мне сказала, что любит меня. Быстро же она меня от самого себя отучила. Любовь моя к ней и её ко мне нелюбовь сковали меня. Но зачем, для чего она со мной так жестоко играла. Что она бессердечная – это я знал, но зачем же из человека все жилы выматывать и его же ещё потом обвинять. Безжалостный человек...

... да, так вот, вместо того, чтобы с нею решительно объясниться – сколько можно её выкрутасы терпеть! – я продолжал стоять у её головы и что-то ей говорить, не пытаясь даже узнать, какая кошка на сей раз проскочила меж нами. И тут она снова повторила свой прежний манёвр, недружелюбно, зло даже как-то проговорив, что очень устала и хочет спать, и отвернулась демонстративно.

Что было делать?.. Этого я не знал. Я всё ещё на что-то надеялся, и вместо того, чтобы расставить всё по местам, я вышел из каюты на палубу. Теплоход шёл вдоль кавказского побережья в небольшом отдалении от него, и я снова не мог не залюбоваться красотой предвечернего моря, горных хребтов, то зелёных, то голых, скалистых, спускавшихся к его синеве. Много раз я видел эту картину и никогда не мог наглядеться – столько радости жизни было в ликовании этих красок и форм в лучах летнего солнца. Я мог часами смотреть на бесконечную смену горных массивов в воздухе, дрожащем от июньского зноя, на сине-зелёную воду, обтекающую наш теплоход, на белую пену, взбиваемую винтами и широким клином расходящуюся за кормой. Всё навевало покой, и радость нисходила на душу, несмотря на любимой причинённую боль. И так хотелось этим с кем-либо, да ни с кем-либо, а с единственной поделиться, но поделиться было нельзя, и от этого становилось очень печально.

... было от чего загрустить.

... До самого Новороссийска я так у борта и простоял. Мы входили в порт, когда солнце давно ушло в море, и ночь плотно объела всё небо и город, и амфитеатр огней бухты, улёгшийся огромной подковой, отгородил город от моря и сиял умноженным отражением в воде.

... в каюту я не спускался – с такой Людмилой видеться не хотелось, я не пригласил её поужинать в ресторан, да и сам, не поужинавши, улёгся глубокой ночью в постель.

... У новороссийского причала мы простояли всю ночь. Теплоходы по морю по ночам не ходили, сказывалась близость прошедшей войны: в море плавали беспризорные мины, срывааемые штормами со своих якорей – и суда отстаивались в портах в тёмное время суток.

С восходом солнца "чёлн" наш отошёл от причала и, сразу удаляясь от кавказского берега в открытое море, взял курс на Ялту. Этот день совершенно выпал из памяти.

К концу его мы были в Ялте. В автобусе застала нас ночь, и в Алуште к тётё Наташе мы ввалились, подняв всех с постели. Этих всех было двое: тётя и бабушка. Ивана Павловича не было в доме, он был, где-то на курсах.

Началась обычная в таких случаях суматоха. Нам собрали поужинать, согрели воды помыться с дороги. С Людмилой разговариваем, вроде, нормально.

На ночь тётя Наташа стелет постели в большой комнате. Людмиле – на кровати у стены, отделяющей кухню, мне – у капитальной, наружной стены.

Я ухожу, чтобы Людмила разделась. Сам снимаю одежду на кухне. Наконец, я захожу. Лампочка в комнате не горит. В окна светит луна, и широкие полосы лунного света пролегли от них по полу до кровати Людмилы. Людмила стоит на коленях на кровати в ночной тонкой рубашке с оголёнными плечами, руками прикрывая грудь. Я делаю шаг к ней, кладу свои руки на её тёплые голые плечи и привлекаю к себе. Она резко отталкивает меня: «Ты с ума сошёл!»

Всё! Терпение кончилось! Я оскорблён и взбешён. Я не говорю ей ни слова, я поворачиваюсь, иду к своей стенке. Через минуту я засыпаю: нервы у меня ещё хоть куда.

Утром, не говоря Людмиле ни слова, не прощаясь, я объясняю удивлённой, но всё понимающей тётё и бабушке, что мне нужно срочно

выехать на работу, и ужоу. В Симферополе беру билет на самолёт до Новосибирска через Москву. Рейс, назначенный в полдень, задерживается и переносится несколько раз. Наконец, самолёт улетает в Москву.

В Москву попадаю за день перед отправкой трофейных картин из Дрезденской галереи на родину, в ГДР. Остановившись у Самородовой Зины – она из Прокопьевска переметнулась в Москву и живёт у родителей, я отправляюсь на поиски музея изобразительных искусств имени Пушкина. Иду узкими улочками в центре столицы где-то повыше Кремля и краем глаза замечаю впереди какую-то несуразность. Я останавливаюсь, поднимаю глаза. Стена небольшого трёхэтажного дома, а точнее, полуметровый слой вековой штукатурки, как в замедленном кинофильме, отстаёт от кирпичной кладки стены и, неторопливо кренясь, застыв на мгновение в этом наклоне, вдруг сразу с грохотом рушится вниз, разбиваясь об асфальт тротуара за спиной миновавшей дом женщины. Она, словно ужаленная змеей, оборачивается, подпрыгнув, и тонет в облаке взметнувшейся пыли.

... да, вот тебе и случайность с необходимостью – вот тебе и цена одного лишь мгновенья. Задержишься женщина на мгновение – и лежать бы ей под грудюю глыб с переломанными костями и расплющенной головой. Не заметь я едва уловимого начала движения, не прерви свой шаг остановкой – то же самое могло случиться со мной.

Отряхнув с чёрных брюк своих пыль, я выхожу прямо к музею. За чугунной оградой в глубине большой особняк постройки прошлого века. Перед оградой – несколько человек. От них узнаю, что завтра действительно последний день выставки трофейных картин. В музее проводят за день четыре двухчасовых сеанса, на сеанс продают билеты для двухсот человек. Запись в очередь – выше, на Гоголевском бульваре. Я поднимаюсь туда, подхожу к бюсту Гоголя. Там толпа. Да, пишут очередь. Записываюсь и я. Четыре тысячи какой-то по счёту... Это же никаких шансов попасть! За восемь часов в четыре сеанса пройдёт восемьсот человек. Даже если работу музея, допустим, продлят часа на четыре – это всё равно только тысяча двести... Грустно... Я околачиваюсь в толпе, где обсуждают эти самые шансы, и все во мнении сходятся, что в музей не попасть. Но люди подходят и продолжают записываться. Желание увидеть прославленных мастеров велико, выше здравого смысла, выше логики арифметики. Так велика надежда на чудо!

... в сквер заползают сумерки. До рассвета целая ночь. Скамеек на бульваре немного. И все они заняты. Не стоять же всю ночь на

ногах! И мы договариваемся, что со списком в сквере останутся ночевать те несколько человек, кто устроился на скамейках. Утром в шесть часов сделаем перекличку. Опоздавших вычеркнем. Теплится всё же надежда, что кто-то не явится, хотя понимаю, что она иллюзорна. Кто-то, конечно, не явится, – но не три тысячи, верно?

Я уезжаю ночевать к Зине, а утром перед шестью появляюсь у Гоголя. А тут уже выстроилась колонна – и все четыре тысячи налицо. Начинается перекличка... Но что это? Такая же очередь выстроилась с другой стороны Гоголевского бульвара, там ещё тысячи четыре стоят. Это те, кто впервые только утром пришёл, и они не хотят признавать вечернюю запись. У них своя перекличка.

Время подходит к семи, и, точно кто дал команду, хотя никакой команды и не было, обе очереди разом двинулись навстречу друг другу и, сойдясь на дороге против центра бульвара, враз повернули вниз в улочку, что выводит к музею. Каждая колонна по своей стороне. Но совместное движение длится недолго. Наша колонна слева, ближе к музею, на его стороне. Наши соперники, естественно, – на другой. Я плетусь за своими в самом хвосте, но не смешиваюсь со всеми, иду с краю по тротуару, скорее из любопытства, чем из надежды попасть в недоступный музей.

... тут из противоположных рядов выскакивает дюжина молодцев, и, заскочив перед нашей колонной, сцепившись локтями, преграждают ей путь, пропуская свою колонну вперёд. Но люди-то сзади идут, напирают, напор на враждебную цепь всё растёт, и та, не выдержав, разрывается. Наши, прорвав этот заслон, бегут четырёхтысячной массой, нагоняют и обгоняют колонну противника. Наши мóлодцы забегают вперёд и, схватив друг друга под локти, останавливают её.

В суматохе сражения можно проскочить, протолкаться к передним – кто теперь очередь соблюдёт?! Но я в толпу лезть не хочу, хотя мне и не приходит на ум мысль о Ходынке. Держась на полшага позади всех у решётки на тротуаре, я не бегу вместе со всеми, а медленно за бегущими следую – потому что какой смысл в этом беге? Точно так, как и мы, наши соседи, поднажав, сметают нашу преграду и бегут по улочке вниз, и их заслон преграждает нам на время дорогу. Потом мы их сметаем, и наша толпа, озверев, мчится вниз, не разбирая уже ничего. А за ней на асфальте – с ног сбитые женщины, трости, палки, сумочки, зонтики, раздавленные очки.

... страшное дело – бегущее стадо, толпа!

Слухи о беспорядке в переулке возле музея достигли милиции. Мы ещё лишь приближаемся к повороту ограды из переулка к входу в музей, как к нему подкатывают четыре грузовика битком набитые милицейскими в белой форме. Ссыпавшись с грузовиков, милиционеры врезаются в сбившуюся толпу, не разбирая ни правых, ни виноватых, отрезая людей, стоящих у решётки на тротуаре, от беснующихся на проезжей части дороги, оттесняя их к стенам противоположных домов. После чего быстро выстраивают ровную очередь из оставшихся у ограды.

Очередь установлена. К кассе идут счастливицы, что оказались на тротуаре, оберегаемые милицией от несчастливой оттеснённой толпы. Я среди первых на самом углу. Это так близко от кассы, что я могу попасть в две сотни на первый сеанс. Очередь движется к кассе, те, кто с билетами, пропущенные в дворик, скапливаются возле музейных дверей, ожидая открытия. Вот и я в двух шагах от кассы, ещё минута, другая – и я куплю заветный билет. Но тут окошко кассы захлопывается – проданы двести билетов. А впереди меня всего два человека... Стало быть, я был двести третьим. Вот досада – не бывает счастья без горчинки! Но два часа можно и подождать.

Через два часа сеанс закончен, первый поток посетителей изгоняют из залов, и вот я вступаю, скажем так, не очень против истины прогневив, под своды Дрезденской галереи.

... народ растекается влево и вправо по залам первого этажа. Кое-кто сразу устремляется по парадной лестнице вверх. Я по привычке поворачиваю сначала налево. Картин так много, что сразу понятно, за два часа можно только пробежаться по залам, мельком взглянув на полотна. Я бегу... и останавливаюсь. Боже! Какое чудо висит на стене! Какое лицо! "Святая Инесса", кажется, Риберы. Молодая девушка на коленях с длинными ниспадающими на грудь волосами, стыдливо прижимаемыми руками к открытой груди. Изумительное лицо её поднято кверху, и столько в нём чистой мольбы. Как можно такое передать на картине! Я стою минут десять и не могу отойти. Но время уходит, и я, спохватываясь, бегу, скольжу глазами по великолепным полотнам. Замечаю знакомые мне по "Истории..." Грабаря. На секунду задерживаюсь перед ними. Вот "Шоколадница" Лиотара. Как я ещё в детстве восхищался выписанностью каждой складочки на её платье, на фартуке. В действительности всё ещё тоньше. Все детали прописаны поразительно. И притом всё так выпукло, так объёмно. Как же можно такого достичь?!

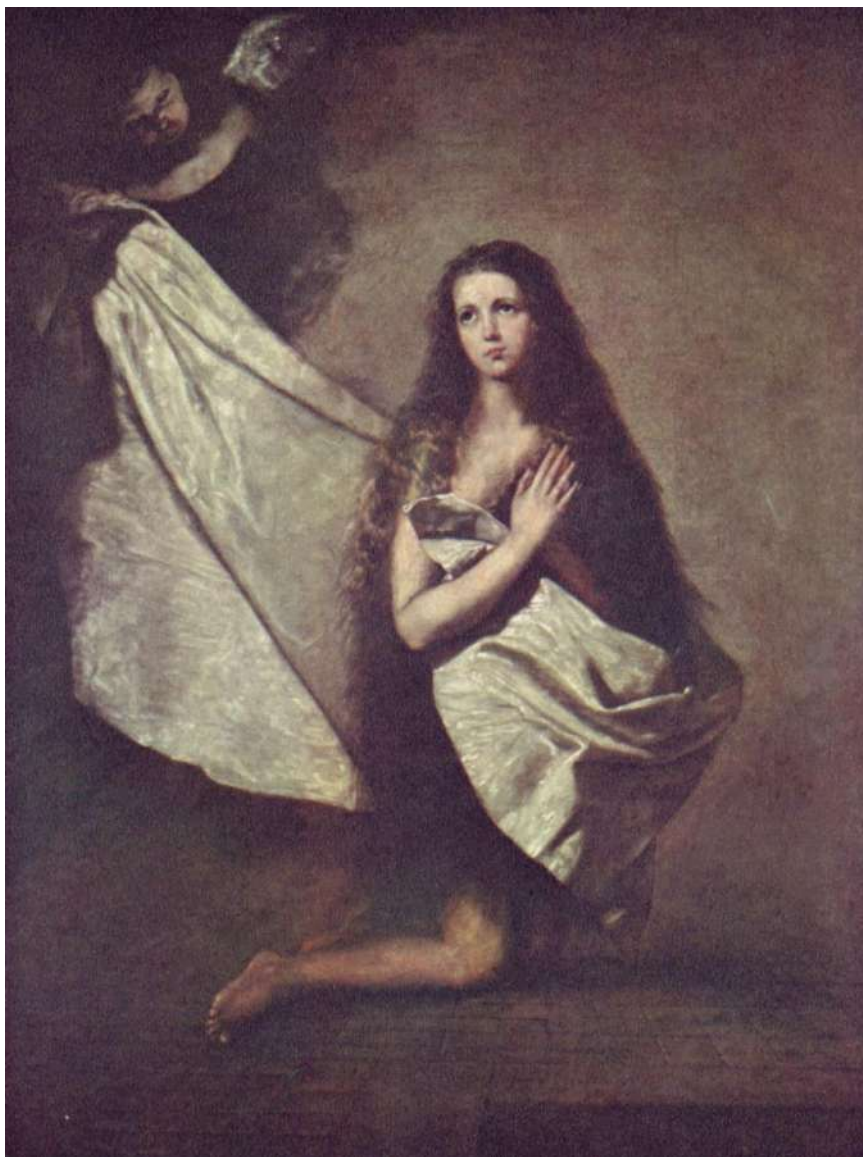


Рис. 6. Хосе де Рибера, "Святая Инесса"

Но время уходит, и я, спохватываясь, бегу, скольжу глазами по великолепным полотнам. Замечаю знакомые мне по "Истории..." Грабаря. На секунду задерживаюсь перед ними. Вот "Шоколадница"

Лиотара. Как я восхищался ещё в детстве выписанностью каждой складочки на её платье, на фартуке. В действительности всё ещё тоньше. Все детали прописаны поразительно. И при том всё так выпукло, так объёмно. Как же можно такого достичь?!

... я люблю живопись, но я не знаток, и на вкус безупречный не претендую. Но, безусловно, я понимаю, что Лиотар – не Рибера. Выписать состояние души человека – это всё же не складочки... Многие знаменитые картины оставляют меня равнодушным. Да, написано гениально. Я чувствую это, но меня ничто в них не трогает. Другие же – очень близки мне, и, может, мастера их не так искусны, как гении, но я задерживаюсь у этих холстов.



Рис. 7. Фрагмент картины

А время бежит, вот уже и час миновал, а ещё и второй этаж есть. Надо успеть хотя бы краем глаза взглянуть. Забегаю на минутку к "Инессе" полюбоваться её чудным лицом и поднимаюсь по парадной лестнице вверх. На площадке между двумя этажами толпа. Одиноко, отдельно от всего остального, возвышаясь над всеми, висит полотно в два человеческих роста. Знаменитая рафаэлевская "Мадонна с младенцем", называемая Сикстинской. Останавливаюсь. Смотрю. Картина великолепна. Но мне "Инесса" милее.

В спешке промелькнул второй час. Я обежал все залы и на все картины взглянул. Но разве так смотрят картины?!

... звенит звонок, нас выпроваживают из залов. Уходя, бросаю прощальный взгляд на "Инессу". Самое большое впечатление – от неё. А может быть от её красоты?

... В этот день успеваю побывать и в Кремле. Площади его в этот год впервые открыты для посещения после девятьсот восемнадцатого. Воочию убеждаюсь в огромности бесполезных Царь-пушки, Царь-колокола и в великолепной гармонии Кремлёвских соборов. Но в Кремлёвские палаты попасть не могу. Не могу даже узнать, где продаются билеты. У палат есть таблички с расписанием посещений, но кассы нет, и дежурные милиционеры на мои вопросы только пожимают плечами. Засекретили так, что никто и не знает, как побывать в Грановитой и Оружейной палатах, мне знакомых тоже по Грабарю. Так я эти палаты в натуре не посмотрел никогда.

... Остаётся последнее. Я покупаю букет и еду на Белорусский вокзал к любимому Горькому. Но, подойдя к памятнику в центре вокзальной площади, вдруг смущаюсь и не решаюсь положить к подножью памятника цветы.

... почему я стесняюсь своих побуждений?

... Через день я уже в Междуреченске. Всё случилось не так, как я думал. От радости при отъезде и следа не осталось. Разрыва с Людмилой вроде бы не было, но... собственно, это был конец затянувшейся любовной истории, столь мучительной для меня. И тут, как во всяком конце, следовало бы поставить окончательно точку. Я вроде бы её и поставил, но нечаянно поставил рядом другую и третью, и вышла не точка, а многоточие. В какой раз точно по Симонову:

Раз так стряслось, что женщина не любит,
Ты с дружкой лишь натерпишься стыда.
И счастлив тот, кто разом всё обрубит.
Уйдёт, чтоб не вернуться никогда.

Он так не смог, он слишком был влюблён,
Он не посмел рискнуть расстаться с нею...

Мой отъезд из Алушты Людмилу нисколько не расстроил. Дни она проводила на пляже. Вечерами иногда гуляла по набережной с Натальей Дмитриевной и вернувшимся с курсов Иваном Павловичем. «Раз, – рассказывала тётя Наташа, – зашли мы в ресторан, сели за столик, разговариваем. Вижу: один молодой человек загляделся на Люсю, потом встал, подошёл к нашему столику и поцеловал её в губы. Я удивилась: "Люся, как можно?!" "А что тут такого, – отвечала она, – почему бы ни доставить удовольствия человеку, если это ему нравится"». Вот так-то, – почему бы ни доставить удовольствия чужому незнакомому человеку! А "самому близкому", по её же словам, – накоса, выкуси!..

Да вышло по Симонову. Разумеется, тогда я о Симонове не думал, а вот сейчас, изменив "он" на "я", могу написать:

Я так не смог, я слишком был влюблён,
Я не посмел рискнуть расстаться с нею.

Хотя в тот момент полагал, что посмел. Да разве знаешь себя до конца, хотя пора бы о себе кое-что и узнать. Началась какая-то тягомотина в письмах, но, к счастью, она тянулась недолго. Сама же Людмила мне помогла, написав после страстной моей переписки: «Вова, я тебя не люблю, но я не кукушка, я хочу иметь нормальную семью и выйду за тебя замуж». Но об этом ей бы следовало подумать в Алуште и писать так мне не стоило, если бы она действительно хотела выйти за меня замуж. Собственно, она за меня поставила точку. Ничего себе семейка, где жена мужа не любит. Нет, пожалуйста, извините. Зачем мне жена, которая не любит меня. Впрочем, вряд ли она за меня выйти замуж хотела. Просто настроение у неё вышло такое после... после чего, я, конечно, не знаю. Но всё это будет попозже, через несколько месяцев, а пока было другое. Наверное, в Сталинск я послал ей письмо весьма резкое, ведь мне было совсем непонятно, зачем она приезжала ко мне в Туапсе.

... на него она откликнулась быстро: «Твоё письмо было неожиданным. Ведь мы (sic! – В. П.), кажется, пришли к выводу: нам тесно вместе, наша поездка ещё убедительнее слов... Ты и сам знаешь, что я рада видеть тебя, но вместе мы как-то не можем быть; уж очень мы разные люди».

Письмо это задело меня. Что же это она за меня говорит: «Мы пришли к выводу». Я к этому выводу с ней вместе не приходил. Если ей тесно, пусть так и писала бы. Мне тесно не было. Для меня быть с

нею всегда было радостью, счастьем... Но вместо этого естественного ответа я выплеснул равнодушному чёрствому человеку вопль боли своей: «Люся! Ты сама виновата в этом письме. Была обида, горечь и уязвлённая гордость. Из-за них любовь моя отступила, ушла вглубь, затаилась; притупилось ощущение потери настолько ужасной, что я до сих пор не могу осмыслить её и в это поверить... И можно ли привыкнуть к мысли не видеть тебя никогда. Да, да, я говорил и тебе, и себе – можно, не вдумываясь в то, о чём говорил. А оказалось, что лгал, не помышляя о лжи, эта ложь тогда казалась мне правдой. Говорить легче, чем пережить... Никогда... Я мог в это верить лишь видя, чувствуя тебя рядом; тогда это слово не казалось мне страшным, оно было просто лишь словом, красивым словом печальной покорности власти судьбы... но тебя нет. Меня некому сдерживать, и я не хочу этой власти, этой покорности... Я люблю тебя больше всего на свете, больше себя – и как дико рядом с этими фразами нелепо жуткое "никогда". Никогда не видеть тебя, не чувствовать рядом биения твоей мысли, не слышать милого голоса, не ощущать теплоты, запаха твоих рук, губ, волос... Никогда! Какое могильное слово! А я люблю жизнь, люблю обнажённый трепет её, её дыхание, люблю за то, что в ней существуешь ты, самая умная, самая нежная, самая красивая, самая близкая мне женщина на земле. И я не могу, не хочу верить, что счастье видеть тебя кончилось навсегда, что всё уже в прошлом... а, впрочем, что же делать?! Я всё понял, так, видимо, лучше. Я опущу это письмо, поднимусь по лестнице, вытащу из кармана ключ и открою дверь. Комната встретит меня теплом, которого мне так всегда не хватало, а приёмник зелёным глазком своего индикатора поманит меня. Тепло, охватив моё тело, смягчит боль в сердце, а триумфальный ликующий марш Родамеса вольёт бодрость в него... Я раскрою книгу на давно загнутой странице и в бесчисленный раз прочитаю слова, всегда придававшие твёрдость и стойкость... и звуки победного марша сольются с мощным лермонтовским аккордом:

Печали сердца своего
От всех людей укрой,
Быть жалким – вот удел того,
Кто ослабел душой.
Не выдай стоном тяжких мук,
Приняв судьбы удар.
Молчанье – самый верный друг,
А стойкость – высший дар.

Прощай. Володя».

Но как же ударило меня это её письмо!.. Я вышел на улицу. Было темно, тихо, пустынно. Я совершенно один, и никакой собаке не скажешь, что с тобой происходит, какую муку несёшь. Был бы волком – завыл бы от отчаянья и одиночества. Ни одной душе в мире я совершенно не нужен. Как же так жить? Я брёл по улице. Скрытая облаками луна временами просвечивала сквозь их набежавшую истончённую пелену, и тогда было видно, как они несутся мимо неё лихорадочно и тревожно, постоянно меняя свои очертания и неравномерную плотность свою. Изредка они таяли вовсе, и тогда ночная царица озаряла улицы и дома своим неземным беспокоящим светом, поселяя в душе тоску безысходную.

Я сделал по городу круг и вернулся к порогу. Задрал голову к небу и увидел в нём перемену. Облака успокоились. Они плыли медленно, величаво, и луна царила в просветах меж ними. Да, в небе установился покой, но не было покоя во мне, и, сжав зубы, я всё же по-волчьи завыл, хотя и беззвучно, мелодию тоскливую, однообразную, дикую.

... Нет, я вовсе не был таким одиноким. У меня были друзья. Я сдружился с Китуниными – Миша уже перевёз Юлю с мамой, он получил трёхкомнатную квартиру в доме напротив. Привечали меня и Тростенцовы. А через эти семьи я свёл знакомство с Астаховым Юрой, тоже строителем, выпускником нашего института, и его женой, Музой Смоленцевой.

Юрий Мефодьевич родился в городе Ленинграде в интеллигентной дворянской семье (ведущей род из донских казаков). Прощёл войну, на фронте познакомился с Музой Александровной, добровольцем записавшейся в 1942-м году в полк 150-й сибирской дивизии, формировавшийся в Кемерово.

По окончании института Юру назначили главным инженером завода домостроительных конструкций (ДСК), а Музу – заведующей горздравотделом. Эти очень милые люди пришлись мне по душе. Юра был молчалив, выглядел болезненно – высокий, сухой, сильно сутулившийся. Как человек он был порядочен и всегда был рад другому помочь. Муза же вообще представляла собой само обаяние. Она, как это ни странно, несмотря на разницу лет, сдружилась с моей мамой. Мама сблизилась и с Екатериной Константиновной Садовской. Так что дружили все мы домами, и все праздничные застолья у нас всегда были общими. Да и жили все рядом. Муза с Юрой – в нашем доме, только в другой ножке "П".

... помню раз, прошедшей зимою вернулся я ночью из Сталинска от Людмилы удручённый как – одному богу известно, настроение – хоть топись. Открываю ключом дверь квартиры – темно. Мамы нет дома. Обзваниваю знакомых, узнаю, что мама у Музы. У той день рождения.

У меня нет подарка. Я же не знал. Но это меня не смущает. Какие подарки среди друзей! Друзья дороги без всяких подарков. И я иду к Музе. Там пир в самом разгаре. Все за длинным столом, лица красные, разгорячённые алкоголем. Моё появление встречают радостным криком, и тут же, ещё не раздевшись, у дверей подносят штрафной стакан водки. «Штрафной! Штрафной!» – хором скандируют за столом, и я залпом опрокидываю стакан. Это сейчас как раз то, что мне нужно. Я сбрасываю пальто и усаживаюсь за стол на освобождённое место. А там второй стакан наливают. Я залихватски опрокидываю и его в рот. Мне аплодируют, а Муза с восхищением замечает: «А ещё говорили, что Платонов не пьёт».

А мне весело, хорошо. Я танцую за полночь, кружу милых дам и ухожу по одной половице. Рвёт меня уже дома. Ложе моё опрокидывается. То дыбом встаёт, как норовистая лошадь, то начинает кружиться, как карусель, и я противного кружения этого остановить не могу.

Утром я болен, разбит, мутится голова. Сколько лет мне твердят, что утром надо опохмеляться, но я утром отращения к водке не в состоянии преодолеть, сама мысль о ней меня выворачивает наизнанку. Видеть её, проклятую, не могу и мучительно страдаю весь день. Так до сих пор и не знаю – в самом ли деле с похмелья помогает она?

... Очень не люблю спешки и суеты. От неё случаются казусы. Рассказываю Музе о забавном случае, происшедшем со мной из-за спешки. Она хохочет. Потом говорит: «Это ещё что. Со мной вот что было на днях. Звонят из горздрава: комиссия – надо срочно приехать, машину за вами уже выслали. И тут же звонок в дверь: шофёр. А я ещё не одета. Торопливо натягиваю чулки, лихорадочно одеваюсь, в спешке накидываю на плечи шубу, выскакиваю на улицу, влезаю в машину, еду в горздравотдел... Вхожу в свой кабинет, где уже собрались сослуживцы, снимаю и вешаю шубу, оборачиваюсь и... вижу в глазах у всех изумление... Я в одной комбинации – второпях забыла платье надеть!.. Ну, понятно, хохочу вместе со всеми. Благо есть выход. Мне подают белый халат, я в него облачаюсь и принимаю комиссию. Поди теперь догадайся, есть на мне платье или нет!»

... Сразу после моего возвращения "из Туапсе", я был вызван в кабинет к Плешакову. Тот усадил меня напротив себя и стал подробно расспрашивать о санатории, о природе, об условиях быта, питания. Узнав, что я летел до Москвы и обратно на самолёте, спрашивает, сколько стоит билет до Москвы. Выведав, что билет стоит тысячу рублей, сказал: «Это дорого». На что я резонно заметил: «Зато в пути сэкономил неделю, – и не вполне резонно добавил: – и на еду в поезде тратиться не пришлось». С первым доводом он согласился, второй, усмехнувшись, парировал: «Есть-то и в сэкономленные дни надо». Я был порамлён в легковесном суждении, хотя мог, конечно, сказать: «Я у тётки питался». Но согласитесь, это был бы смехотворный ответ.

... я начал влезать в дела гидрокомплекса, но через пару недель вновь оказался у Плешакова.

– Тут вот такая история, – начал он с ходу. – Надо чистить флотохвостохранилище – это ведь и тебе тоже нужно, твои "хвосты" тоже там будут. Но для погрузки угля надо выстроить эстакаду. Сумеешь её спроектировать? Время, я думаю, ты выкроить сможешь.

– Отчего же нет, – отвечив я, польщённый таким предложением

– Месяца тебе хватит?

– Думаю, управлюсь быстрее.

– Ну, тогда приступай. Маркшейдерский отдел окажет тебе содействие, я об этом распоряжусь.

Теперь поясню: флотохвостохранилище – это шламовые отстойники, накопители тончайшей угольной пыли, принесённой водой с обогатительной фабрики после обогащения угля в воде. Вылившись из трубы с края отстойника, шламовая вода широко растекается по поверхности искусственного пруда площадью в два-три гектара, теряет практически всю свою скорость, и угольные пылинки оседают на дно. Вода осветляется и, переливаясь через стенки колодца с другой стороны хранилища, уходит на фабрику. Постепенно отстойник заполняется доверху угольным шламом, надо переключать воду в соседний отстойник, а заполненный – очищать.

... с задачей справился я за неделю. Ещё быстрее была построена эстакада, и уже в августе драглайн черпал шлам, высыпал его на громыхающий транспортёр, который, взобравшись на эстакаду, ссыпал его в бункер, откуда тот выгружался в кузова самосвалов, подъезжавших под бункер.

Проходя каждый день по мосту на работу, я не мог удержаться и поворачивал свою голову влево, смотрел на драглайн, на едущие машины с углём и втайне гордился собою. Это ведь реальное, пусть и скромное, воплощение моего умственно труда. Но вообще-то повода для хвастовства не было никакого, это сделал бы любой грамотный инженер.

... Уже первый по возвращении из отпуска обход строившихся объектов показал, что ритм работ решительно изменился. Везде копошились рабочие: и в пристройке для центрифуг на обогатительной фабрике, и рядом – на наших железобетонных отстойниках, и в насосной станции у реки, и в углесосной камере в шахте, и на трассах водоводов, пульповодов и шламопровода.

Я метался между всеми работами, пытаюсь повсюду успеть, вовремя засечь и пресечь возможные отступления от проектов и СНиПов, уловить отставание, и, когда, несмотря на всеобщее оживление, убедился, что угроза пуску не устранена окончательно и в этом году, принялся бить во все колокола. Я рассылал письма в обком партии, в тресты, комбинаты и министерства, в ЦК и газету "Правда", но реальную помощь получил только от этой газеты – все остальные отмалчивались. "Правда" переправила письмо моё в Минуглепром, причём с требованием ответа по существу в течение месяца. Тут министерство, наконец, расстаралось и прислало ко мне инженера из главного управления капитального строительства. Это был худощавый молодой человек среднего роста. Представлялся он так: «Трофимов из министерства». И эти слова магически открывали двери всех начальственных кабинетов.

... Несколько раньше нагрянул ко мне из Кемерово корреспондент областной газеты "Кузбасс", куда я никогда не писал. Возможно, тут вышел посыл из отдела угольной промышленности Кемеровского обкома партии, куда передавали мои письма первому секретарю. Я вообще областных газет не читал – слишком мелок масштаб для меня, у меня всемирный размах и, как минимум, всесоюзный... Я корреспонденту обо всём рассказал, облазил с ним все выработки и здания, познакомил его с постановлениями Правительства относительно гидрокомплексов, с перепиской и фактическим состоянием дел. Мы поговорили с рабочими на объектах, инженерами ОШСУ, побывали на приёме у Соротокина, после чего засели в моём кабинете за стол и в двадцать четыре часа написали очерк на шесть газетных полос, как потом оказалось, а это почти вся страница листа газеты большого формата.

Очерк о строительстве Томусинского гидрокомплекса появится через две недели в газете, я получу пятьдесят рублей гонорара и впечатления... моих однокурсников. Братство студенческое распалось ещё не совсем, кое-с кем связи покудова сохранялись, сохранялась и нерегулярная переписка, и ещё ездили в гости. Я, например, побывал в Кузнии у Пети Скрылёва, посмотрел на его модели пластов угля и горных порол, на которых они изучали действие горного давления на выработки и очистные забои. Короче, из виду пока никого из друзей, из приятелей не теряли, радовались успехам, переживали неудачи товарищей. Наш очерк заметили, расценили как мой первый успех и засыпали меня письмами с поздравлениями. Только Людмила замешкалась. А я ещё ждал...

... После отпуска я начал изредка заходить к главному инженеру Крылову, рассказывал о состоянии дел, о возникающих перед нами проблемах.

... и вот сам Крылов проявил интерес:

– По всему, гидрокомплекс в этом году сдадут. Неплохо бы тебе съездить на "Полысаевскую-Северную"...

– Я там преддипломную практику проходил, – ввернул я.

– Ну вот, тем более... и присмотреться хорошо ко всему. Как они работают, какие бывают у них неполадки, как они с ними справляются. Словом, внимательно, хозяйским глазом ко всему приглядеться. Как ты считаешь, полезно будет?

– Конечно полезно, – подхватил я.

– Конечно полезно, – поддразнил он меня, – а чего же сам не пришёл с предложением?..

– Виноват, – растерялся я, – я не мог рассчитывать, зная отношение Григория Яковлевича...

– Меня отношение Плешакова не интересует, – резко оборвал он. – За техническую политику на шахте несу ответственность я, и со всеми вопросами, требующими технического решения, приходи только ко мне. Иди, выписывай на неделю командировку.

... В Ленинске-Кузнецком в гостиницу я не пошёл, а поехал сразу на шахту и остановился в том общежитии, где жил во время своей преддипломной практики, столь печальной, болезненной для меня. Только теперь в комнате жил я один.

Выбор мой был не случаен. Отсюда ближе к гидрошахте.

... приезд мой на шахту запротоколирован точно Правительством. Вечером радио объявило о повышении с завтрашнего дня цен на водку с двадцати одного рубля двадцати копеек до двадцати пяти двадцати.

... утром, зайдя в магазин, чтобы купить булочку и колбаски для своего шахтёрского тормозка – я собирался в шахту спуститься, – я услышал, как высокий шахтёр в чистой брезентовой робе обращается к молодой продавщице:

– Девушка, подай-ка мне бутылку этой, ну, как её, этой... этой самой... хрущёвки.

И что удивительно, девушка сразу его поняла и потянулась к полке за водкой, и протянула ему бутылку... И все посетители поняли сразу тоже и опередили действия продавщицы общим гомерическим хохотом.

... И потекла неделя командировки. Всё время я пропадал на шахте, осматривал то, что придумали нового со времени моей преддипломной практики, выспрашивал рабочих, мастеров, механиков, начальников участков, записывал для себя всё, что казалось полезным и что могло нам пригодиться. Ничего серьёзного в этих записях не было, мелочи. Тем не менее, днями я был занят по горло, облазал всё от забоев и до отстойников с фабрикой, ничего не хотел упустить. Зато вечерами не знал, куда себя деть. В голову лезли разные ненужные мысли, О Людмиле старался не думать, понимал после Алушты и её писем, что ждать от неё больше нечего, а желание женщины не угасало. Любовь к Людмиле не сдерживала меня, и я вспомнил о Вале. Той самой маленькой миловидной библиотекарше, которую нежданно-негаданно отбил у Исаева в драматическом январе пятьдесят пятого года.

Я пошёл в библиотеку "Польсаевской" Первой, не зная, работает ли она ещё там, или её вообще нет в этом посёлке.

... Валя оказалась на месте, на выдаче. Я подошёл к ней и начал малозначительный разговор, трёп одним словом, благо посетителей почти не было, и они, если и прерывали мою болтовню, то ненадолго... Пришло время, Валя закрыла библиотеку, а я увязался её провожать. Жила она недалеко, в доме барачного типа, но в собственной комнате. Помявшись у дверей, видя, что я прощаться не собираюсь, вдруг "предложила мне она в её укромный дом войти". И, минуя забывшиеся детали, скажу лишь, что Валя разделась до трусиков и юркнула под одеяло в постель. Разделся и я и забрался под одеяло, обнимая и целуя её. Нетерпение моё тут возросло беспредельно, я отстегнул пуговицы её лифчика и стащил с неё трусики. Она не сопротивлялась, я приготовился

к действию, но едва я коснулся желанного места, как произошёл со мною такой же конфуз, как с Юрой Рассказовым в Белово на практике в пятьдесят четвёртом году. Плоть моя изверглась, и я оказался между Валеи и растёкшейся лужей совершенно пустым и к действию любовному неспособен. Нестерпимый стыд душил меня. Я был неопытен в этих делах, и не знал, что четверть часа спустя способность моя восстановится, и всё может закончиться наивысшим блаженством к общему удовольствию. Вместо этого я встал, боясь поднять на Валю глаза, и начал одеваться. Валя села в кровати, натянув одеяло на грудь.

– Ты что? – тревожно спросила она.

– Да так... – я не знал, что ответить, и тут же сказал: – До свиданья, – и ушёл пристыженный, размышляя, что личная жизнь у меня не сложилась, что, любя и желая только Людмилу, я любовниц себе не завёл и отсюда неопытен и возможностей своих совершенно не знаю. Валя тоже, похоже, опыта не имела. Иначе она бы меня успокоила, удержала. Больше Валюшу я не встречал никогда. На другой день я уехал.

... В конце августа Людмила покинула шахту и Сталинск и переехала в Кемерово, в наш институт. Вероятно, в этом ей посодействовал Юра Корницкий. Он к тому времени стал первым секретарём обкома комсомола и членом ЦК ВЛКСМ.

... Людмилу избрали освобождённым секретарём институтского комитета комсомола (то есть с комсомольской зарплатой), и подкинули половину преподавательской ставки. Там она, а возможно и раньше, прочитала наш очерк в газете "Кузбасс"... Не думаю, чтобы это представило ей меня с неожиданной стороны (а она меня совершенно не знала, полагала лишь только, что знает – я никогда не раскрылся пред нею, так бывал ею скован, зажат), тем не менее, она мне прислала письмо мягче, чем предыдущие и иронично поздравила с прорывом в печать.

... Я молчал.

... И тогда, уже в следующем письме она написала то, что оттолкнуло меня от неё навсегда: не люблю, но выйду...

Это было уж слишком. Зачем мне любимая, которая не любит меня. Обладать бесчувственным телом я не хотел. Это всё равно что обладать суррогатом. Трупом ли, статуей, или резиновой бабой. На эту роль нелюбимую, но тебя любящую женщину можно найти; это приятнее как-то любого эрзаца.

Точка была поставлена ею.

Книга закончилась на нужной странице. Дальше мог быть только эпилог.

Итак, последнее слово сказано, ну, пусть, написано ею. Невесомое – всего несколько самих по себе ничего не значащих букв. Но как же оно всеильно, могущественно – после него нельзя жить по-прежнему... Да, бывают слова – после них ничто не останется неизменным, если слова эти выпорхнули из-под пера. Даже если сказавший их, их написавший, берёт их обратно или стирает резинкой – ничего уже не поделаешь. Есть в них что-то непоправимое, убивающее. Вот и говори после этого, что слово – ничто.

... и на это письмо я ей ничего не ответил – печали сердца своего от всех людей укрой.

... А поздней осенью Людмила прикатила вдруг к нам в Междуреченск. К нам, не ко мне. Официально – к Китуниним. Ко мне она лишь порывалась два года...

... Суждены нам благие порывы.

... под вечер – я был уже дома, ко мне постучали. Я открыл дверь. На пороге – Людмила, Юля за ней. Я впустил их. Людмила решительно простучала каблучками по комнате, осмотрела мою убогую спартанскую обстановку. Железную кровать у стены, полог, за которым скрыта кровать мамы в нише, письменный стол возле входа, на нём настольная лампа, стопка книг и журналов. В углу с книгами этажерка. Вот, пожалуй, и всё. Нет, ещё стол для гостей посередине (сам я в кухне обедал), несколько стульев. Была Людмила спокойна, не выказала неодобрения скудной обстановке бедного жилья моего, хотя было видно, что ей любопытно. Но в голосе ни одной дружеской нотки, словно я совершенно чужой человек. Полное равнодушие. И равнодушие это меня почему-то обидело. Как и кратковременность визита. Пришла, взглянула, ушла. Правда, познакомилась с моей мамой – та её лютой ненавистью ненавидела, но ей этого не показала.

Мама была, как оказалось, в курсе всех моих дел... Случайно я обнаружил, что она знакомится с моей перепиской, умело вскрывая конверты, а потом их заклеивая. Ярость моя была беспредельна. Я всегда в этих делах был щепетилен до крайности. Как мне было ни любопытно, чужих писем я никогда не читал, считал это верхом подлости, низости. И об этом матери так и сказал. С этого дня уничтожилось моё доверие к ней, ничем сокровенным больше я с ней не делился.

... В Междуреченске я доложил Крылову о поездке и представил письменный отчёт обо всём, что видел на гидрошахте, умолчав лишь о неудачном своём приключении.

... Однако вернёмся к инженеру Трофимову. Представил меня ему Плешаков, и Трофимов предложил мне сопровождать его во все дни его командировки в Кузбасс. Я согласился. Плешаков промолчал, но не перечил.

... Побывав со мной на всех участках стройки, Трофимов договорился о встрече с начальником ОШСУ Соротокиным. Соротокин был с ним отменно любезен (хотя Трофимов и не из его министерства), но на охоту или уху, которых был страстный любитель, не пригласил. Зато клятвенно обещал, что сделает всё, чтобы сдать гидрокомплекс в этом году.

... выйдя от Соротокина, я поделился с Трофимовым тем, что комплекс после пуска готов к работе не будет, так как нам нечем будет работать. Проектом "Союзгидромех..." не предусмотрено необходимое оборудование и поэтому субподрядчиком не заказано. А наши шахта и трест мои заявки не выполняют... Выслушав меня, Трофимов попросил подготовить подробную докладную записку в министерство. Я отстучал её двумя пальцами на машинке в четырёх экземплярах, зарегистрировал у секретарши, оставив копию ей, вручил первый экземпляр инженеру Трофимову, второй послал в трест – Филиппову, третий – к другим в свою белую папку.

... Через два дня мы уехали с Соротокиным и инженером из министерства в Мыски, где беседовали с управляющим шахтостроительным трестом. Беседа протекала в том же благожелательном духе, что и в ОШСУ, только подольше, так как пригласили и субподрядчиков – решали и их проблемы. Как ускорить получение насосов и углесосов – монтаж не начинался из-за отсутствия таковых, когда приступить к опрессовке (выдержке под давлением) напорных водоводов.

Тут я от имени дирекции строящихся предприятий выдвинул требование, чтобы об опрессовке было заявлено дирекции не позднее, чем за сутки, и все двадцать четыре часа, когда трубы будут под давлением, я неотлучно проведу у контрольного манометра. Моё предложение было принято и записано в протокол. Провожая нас, управляющий заверял, что возьмёт строительство гидрокомплекса под неусыпный контроль.

Далее мы одни, без Соротокина проследовали в Прокопьевск к начальнику комбината "Кузбассшахтострой". Остановились в знакомой мне по дипломному проектированию гостинице в номере на

двоих. Трофимов созвонился с начальником комбината, и тот назначил нам встречу в два часа ночи. Сталин был мёртв, но им заведённый порядок бдеть по ночам всё ещё жил. В следующем году Хрущёв упразднит эту блажь.

... в час тридцать после полуночи за нами из комбината прислали машину, и ровно в два мы вступили в кабинет генерала. Я не оговорился. Нет, нет. Начальник был в чёрной, расшитой золотом форме генерального директора первого ранга с тремя крупными шитыми золотой канителью звёздами на чёрном бархате петлиц, обрамлённых витым золотым кантом, что соответствовало чину генерал-полковника армии... После неспешного обстоятельного разговора, удовлетворённые его заверениями, мы вернулись в номер гостиницы, то есть нас туда отвезли. Наутро я расстался с Трофимовым. Прощаясь, он устно передал мне приказ зам министра докладывать в министерство по понедельникам по телефону о состоянии дел на вверенном мне предприятии вплоть до пуска в эксплуатацию.

– Плешакову уже об этом известно, – добавил Трофимов.

Допускаю, что Плешаков принял это известие с неприязнью. Вольности подчинённых он не любил. Хотя... в общем-то, он моими делами не занимался – самостоятельную переписку он сам мне даровал.

... А вслед за Трофимовым ко мне пожаловал сын первого заместителя министра угольной промышленности СССР Антона Саввовича Кузьмича – Игорь Антонович, молодой человек моих лет, аспирант Московского горного института и "по совместительству" старший научный сотрудник ВНИИГидроуголь. Причины, побудившие его прибыть ко мне, мне неизвестны. Но действовал он так, словно получил высочайшее повеление и был наделён необходимыми полномочиями. Он меня тоже мобилизовал, я всюду был с ним.

Я этому не противился, мир этих людей был мне интересен, любопытны способы ведения дел, разрешения возникавших вопросов, вообще их поведение. Несколько дней я провёл с Кузьмичом неотрывно, но как человек он меня не привлёк, интересы его, как показалось, были весьма прагматичны, и не то, чтобы он проявил себя ограниченным человеком, но был он недостаточно широк для меня по запросам, или запросы наши лежали не в одних плоскостях. Хотя и я мог ему прийти не по вкусу. Поэтому, я не предпринял попытки превратить деловые официальные отношения в дружеские. Впрочем, дружба с людьми, стоящими несравненно выше тебя на социальной лестнице попахивает

заискиванием, а заискивать я ни перед кем не хотел и по натуре не склонен. Мне это было противно, я перестал бы себя уважать. А самоуважение тоже что-то же значит... Тем не менее, как сейчас полагаю, попробовать стоило. Парень он был вроде бы неплохой и, быть может, не стал бы выпендриваться, заноситься. Но я не попробовал и совершил большую ошибку, каких немало совершил до сих пор и ещё совершу... Дружеские, просто приятельские отношения с Игорем немало бы в дальнейшем мне помогли. Но тогда я надеялся только сам на себя. Думал, что в жизни, как в институте, отлично буду работать – заметят, поддержат, выдвинут. Не учёл, что должности – не отметки, за ними – оклад, возможности, положение в обществе, и их просто так не дают.

Вот Лёша Коденцов эту возможность не упустил и был за это вознаграждён. Правда, Лёша по положению от меня далеко не ушёл, способностей он был самых средних, но материально себя обеспечил несравненно лучше меня. Для меня материальная сторона на первом месте никогда не стояла. Главное – чтобы работа была интересная, и я в ней себя ощутимо мог проявить, а остальное, я думал, само собою приложится. Это было ошибкой. Всё в виду надо иметь. И дело, и карьеру, и благополучие надо одновременно готовить.

... Начали мы с Кузьмичом, как всегда это водится, с обхода строительства и попутного введения его в курс наших дел и продолжили разговор у Соротокина. Разговор этот начался с объятий. Едва мы переступили порог кабинета, как Соротокин устремился навстречу Игорю, как сыну родному, и посреди кабинета (поскольку Игорь шагал навстречу ему) обнял его. После расспросов о здоровье отца, он усадил нас за стол, где Игорь начал разговор о делах гидрокомплекса, но деловой разговор продолжался недолго и соскользнул с производственных тем на сугубо личную тропку. Оказалось, что Соротокин был сокурсником старшего Кузьмича, вместе учились, вместе делали первые шаги в угольной промышленности. И хотя потом пути их значительно разошлись, они часто встречались. Соротокин рассказывал нам, Игорю, разумеется, о разных курьёзах с обоими. Случаи были и в самом деле смешными (не записал – а теперь вот не вспомню), и мы с Игорем до слёз хохотали. А Соротокин предался воспоминаниям о шумных компаниях, перечисляя друзей, ставших заметными фигурами в промышленности страны, об охоте, рыбалке, игре в преферанс и прочих занятиях, что делают людей не равных по рангу равными по кругу общения.

... Об отце Игоря Соротокин отзывался восторженно, но я знал от других, каким он был грубияном и матерщинником на работе и как

непристойно буюнил в часы досуга. Один мой случайный знакомый по номеру в какой-то гостинице, инженер тоже из министерства, но не из нашего, из другого, рассказал, как его поместили однажды в Сталинске в доме приезжих треста "Орджоникидзеуголь". В двухэтажном строении на втором этаже по обе стороны длинного коридора были комнаты на двух человек, как в обыкновенной гостинице, для чиновников среднего ранга. Конец коридора перегораживала стена с полированной дверью. За стеною был "люкс" для начальства очень высокого, куда смертному и в щелочку заглянуть было нельзя... Мой рассказчик уже засыпал в своём номере, как его сон прервали дикий топот и выкрики в коридоре. «Я поднялся посмотреть, что там случилось, приоткрыл дверь в коридор, высунулся и... остолбенел. Дверь люкса распахнута, и по коридору мчится совершенно голый Кузьмич, насадив на свой член голенькую молодку и держа её за ягодицы. Та обвила его шею руками и кричит, и повизгивает от восторга. За Кузьмичом бежали его полуодетые холуи, безуспешно пытаясь остановить разгулявшегося патрона. Я побоялся, что меня заметят, и захлопнул дверь в номер».

Размышляя над этим рассказом, я нисколько не осуждал Кузьмича за способ, каким он с девицею наслаждался. Это дело интимное, и никого не касается, в каких формах и видах мужчина и женщина предаются "любви". Но делать это публично – мерзко и гадко, и отвратительно, все, же для чего-то человечество уходило от этого тысячи лет!

А в данном случае всё это было не просто пьяное обалдение. Эта похабнейшая разнузданность – от полной уверенности в своей безнаказанности. И такие люди – в нашем правительстве?!.. в партии?! Учат нас правилам жизни... Было над чем призадуматься...

Нет у наших правителей ответственности перед людьми...

Сам я увидел старшего Кузьмича ровно через четыре года, сам услышал, как он орёт – слава богу, не на меня! Удар бы хватил. Таковы были нравы советского руководства. Кузьмич не был здесь исключением.

Как-то на нашу шахту приехал другой заместитель министра, Графов. У Плешакова собрали начальников всех участков, кроме меня – я был в отсутствии. Мне рассказали, какой учинил он разнос, как он поднимал одного за другим всех начальников и буквально топтал их, даже не в грязь, с чем-то более гадким мешал. Боцман Новикова-Прибоя побледнел бы от зависти к изысканнейшим ругательствам заместителя министра. Даже к благополучным начальникам, кто план выполнял, он обращался не иначе как "говнюк". И это было самое невинное слово: «Ну что, говнюк, ты теперь скажешь?»

Самым гнетущим было то, что люди, которые такую работу могли найти где угодно в стране – ну чуть зарплата поменьше, в страхе молчали, опустив головы, слушали распоясавшегося негодяя. Неужели только страх перемен, страх поиска, переезда удерживал их в таком безответном рабском состоянии. Я бы лично такого никогда не стерпел и резко оборвал бы этого свинтуса, хотя никогда себе мата не позволяя – противно, для себя унизительно.

... С молодым Кузьмичом мы провели всю неделю. Тоже в Мыски в трест съездили, потом были у Мучника в институте, после чего расстались благожелательно. Но в Гидроугле я узнал об Игоре кое-что любопытное. Он тут числился старшим научным сотрудником с окладом в тысячу пятьсот рублей, но жил-то в Москве, где учился в аспирантуре Горного института отнюдь не в заочной, то есть, как аспирант получал ещё тысячу двести рублей. В итоге заработок у него был, как оклад у подземного инженера. Совсем неплохо для аспиранта. Мало того, он постоянно находился в одновременных месячных "командировках" из МГИ во ВНИИГидроуголь и из ВНИИГидроуголь в МГИ, получая и там и там по двадцать шесть рублей суточных, то есть, кругло, в целом полсотни. А это ещё минимум тысяча рублей в месяц. Итого сколько там получилось?.. Три с половиной – четыре тысячи в месяц... Столько и под землёй далеко не каждый, скажу вам, не каждый, в те благословенные для горняков времена зарабатывал. Да ещё добавьте оплату большей частью не существовавших проездов туда и обратно и из "обратно" туда. Это минимум четыреста рубликов в одну сторону в жёстком вагоне без приложения билета. Итого ещё, полторы тысячи. Да за гостиницу, которую он никогда не оплачивал, шестнадцать рубликов в сутки, но это сбросим на те проезды, что всё-таки он иногда совершал. В общем, за пять тысяч выходит; столько заслуженный доктор наук, профессор лишь получал. Умели сильные мира сего устраивать благополучие деток ещё до того, как те, оперившись, занимали высокую должность или получали какую-нибудь синекуру.

... Всё это было гадко, противно. Но я считал такие случаи частными, случайными отклонениями от норм справедливости, присущих социализму. Что это недобросовестность ограниченного числа человек в добропорядочном социалистическом обществе, существующем в нашей стране. А это как раз-то и было в нашем обществе нормой, и я в нём выглядел белой вороной, но иным быть не мог. Совестно как-то...

В своё время я расскажу о проделках дочери Мучника, тех, вернее, кто её опекал, но ведь и она то всё принимала как должное. Но пока я об этом не знаю...

... Из поездки в Междуреченск я возвратился с оказией. В момент, когда я прощался с Игорем Кузьмичом, Мучник сказал, что собирается съездить к нам на шахту, и пригласил меня в машину к себе. В машине уже сидел Дельтува и кто-то на переднем сиденье рядом с шофёром. Мучник на переднее место не сел, как делали это обычно начальники, а втиснул своё полное тело назад, к Дельтува, за ним, прижимая его, влез и я. Тут же Владимир Семёнович, недавно вернувшийся из поездки в Америку, объяснил своё поведение. На Западе все сами водят машину, любой начальник сам сидит за рулём, лишь люди, облечённые очень высокой государственной властью, ездят с шофёрами, но никогда не сидят рядом с ними. Впереди – какой-либо мелкий чиновник, который первым выскакивает из машины и дверцу перед государственным мужем распахивает. Разумеется, это к человеку, сидящему в нашей машине не относилось никак, это Мучник подчеркнул.

Итак, мы катим на персональной "Победе" по отличной шоссе-сейной дороге, которую, как это ни странно, за два прошедших года не сумели разбить, и Мучник занимает нас рассказами о далёкой незнакомой Америке. Рассказывал он интересно и о шахтах, и о производстве вообще, и о деловых отношениях, и о быте.

– Что там особенно ценится? – говорит он. – Труд высокой квалификации. Но и ручной труд оплачивается высоко. В парикмахерской простая стрижка пять-шесть долларов (а доллар тогда был весомее нынешнего раз в десять!).

– Хорошо оплачиваются врачи, даже медсёстры получают более полутора тысяч долларов. В то же время, – это Мучник тоже выделил, – массовые товары фабричного производства стоят дешёво баснословно. Особенно синтетические. Мужская капроновая сорочка стоит всего один доллар.

– Очень хорошо, – продолжал Мучник свой рассказ, – налажен в Америке быт, разного рода услуги. Входит в моду доставка домой обедов в замороженном виде прямо в тарелках. Их привозят в точно оговорённое контрактом время. Хозяйева ставят тарелки с замороженными супами, вторыми блюдами, закусками, десертом в специальные холодильники (первый советский бытовой холодильник в магазине я увидел лишь в шестидесятом году). Холодильники эти работают в разных режимах, и в нужное время переключаются на нагрев. Остаётся

только вытащить разогретые блюда и поставить на стол... Грязную посуду не моют, а выставляют в ящике в подъезде возле дверей. Привозя новый обед, служба сервиса старую посуду тотчас же забирает.

... Читая позже современных американских писателей, да и собственных журналистов, я нигде не встретил описания подобных услуг. Очевидно, начинание это не привилось. Победил безвкусный бутербродный Макдональдс.

... Уже тогда, по словам Мучника, американцы стали в быту переходить с природного или светильного газа на электричество. Для приготовления пищи, подогрева воды и даже для отопления. Экономичнее топливо сжечь на электростанции (там КПД выше, чем в котельных или домашних колонках), и подать электроэнергию по проводам. Электропроводка тоже дешевле и надёжнее труб, уложенных в землю. В новых домах плитусы с электронагревом. И тепло снизу от пола идёт, и нагрев легко регулировать с помощью реостата.

... то есть, коммунальщики в США расходы по обслуживанию хозяйства старались свести к минимуму.

Затем Мучник сменил тему, заговорил о женщинах. «Красивую женщину надо обязательно принимать на работу. Если она к тому же умна – это вообще превосходно, но даже если она непроходимо глупа всё равно от неё много пользы: она своей красотой вдохновляет мужчин, повышает их настроение», – резюмировал он.

... За разговорами мы подъехали к шахте. На широких ступеньках парадного входа стоял Плешаков – очевидно, был извещён о приезде директора института.

Когда мы вошли в вестибюль, Мучник восхитился висящими под потолком роскошными люстрами.

– А я вот, – пожаловался он Плешакову, – для своего института приличных люстр выбить никак не могу.

Плешаков усмехнулся:

– Тут же всё по приказу Сталина делалось. Гнали сюда всё самое лучшее.

... На один день приехал в командировку на гидрокомплекс ко мне Славик Суранов. В КГИ я видел его иногда с Зиной Самородовой, да и в Прокопьевске при дипломировании, желание навестить Зину на "Зиминке" возникло, догадываюсь, первоначально не у меня. Ходили слухи, что у Славика с Зиной роман, но занятый своею любовью, я мало чему вовне внимание уделял. Правдивы ли были

эти слухи – не знаю, но Славик не женился на Зине, а женился девушке Вале, выпускнице мединститута.



Рис. 8. Над глубиной сибирских руд

... я сводил Славика в шахту, показал ему выработки. Выйдя из штольни, мы уселись передохнуть на брёвнах лесного склада и погреться на солнышке. Тут нас кто-то сфотографировал. Я в лёгком

хлопчатобумажном костюме – тонкий звонкий, прозрачный. Славик рядом со мной – добродушная глыба в неподатливой брезентухе, – видно боялся воды, а её у нас не было. Как не было и угольной пыли – на участке никаких работ не велось. И где он ухитрился измазаться ею – загадка. Моё лицо бело и чисто, его – всё в угле. И я подсмеивался над ним, что это он специально проделал, чтоб показать, что в шахте действительно побывал.

... В сентябре вызвал меня к себе Плешаков и дал команду приступить комплектовать гидрокомплекс. Для начала он разрешил набрать с десятков рабочих главных профессий и обучить их всему, чему нужно.

... Опыт обучения у меня уже был. С весны прошлого года я преподавал горную электротехнику слесарям на курсах рабочего обучения. С этим делом я неплохо справлялся, о чём свидетельствовали результаты экзаменов, проводимых комиссиями, правда, под моим председательством. Но никакого давления на членов комиссий оказать я не мог, да и в мыслях этого не держал. Преподавание доставляло мне удовольствие, и удовлетворение, и пятьсот-шестьсот дополнительных рублей в месяц. Лишь однажды я оконфузился перед взрослыми своими учениками, вероятно, впад в хлестаковщину и от лёгкости в мыслях спутав что-то в двигателях синхронном и асинхронном. Но, запутавшись, тут же понял ошибку и вывернулся удачной шуткой так ловко, что вызвал хохот почти что до колик, и конфуз мой был мне прощён, и уважительное отношение рабочих ко мне не утратилось.

Сейчас мне предстояло готовить рабочих для себя. Но, прежде всего мне был нужен механик. Саня Исаев давно испарился, и предомной стал вопрос, где взять механика, и чтобы толкового. Заботами своими я делился с первыми принятыми рабочими, они слух о моей нужде разнесли, и на пороге моего кабинета появился красивый молодой и весёлый механик участка с Красногорского, за Томью, разреза.

– Малышев, Виталий Борисович, – представился он.

Я пожал ему руку, пригласил Малышева за стол и начал беседу. Парень по всем статьям подходил. Насосы знал. Знал и электромоторы. И дробилки. И землесосы. С углесосами дела, правда, пока не имел, но скажите, чем в принципе углесос отличается от землесоса, что качает куски породы с водой? Только тем, что медленнее изнашивается?!

Не знаю, что к нам его привело. Интерес ли к новой работе. Или оклад. Он бы в полтора раза выше. Механик считался подземным, хотя почти всё оборудование механическое и электрическое находилось у нас на поверхности. Но это не важно, и заявление я ему подписал.

Механиком Виталий оказался отличным, хотя и не без небольшой бесшабашки в голове. Кое-что из-за чего приходилось потом останавливаться, можно было предусмотреть и предупредить... Но к чести его, надо сказать, что он со всем квалифицированно и быстро справлялся, и не было ситуации, которая поставила его бы в тупик, и все задержки были непродолжительны.

... однако этого мало. Настоящий клад он привёл с собой через день. Этим кладом были двое рабочих.

– Можно оформить их подземными машинистами углесосов или подземными электрослесарями? – спросил Малышев.



Рис. 9. В кабине Малышев, на подножке Долгушин

Я попросил рабочих присесть, взял у них документы, удостоверения, то есть. «Долгушин Василий Ионович – машинист земле-соса», – прочитал я в одном. В другом – он же – электрослесарь. Такие же книжечки были и у второго, звавшегося Цирюльников Адольф Иванович. Долгушин был мужчина пожилой, лет ему было под сорок, Цирюльников – лет на десять моложе. Опыт работы был у обоих, и я их принял на работу немедленно. И никогда об этом не

пожалел. Без преувеличения скажу, что на этих обоих в последующем держалась вся электромеханическая часть гидрокомплекса. Им не надо было ничего объяснять. Они сами находили причину той или иной неисправности и сами же её устраняли.

9+ дурную привычку.

... Единственный промах я совершил, когда принял в насосную женщину. Подземный стаж там не шёл, ставка была небольшой и никто туда не просился. Не было желающих – хоть убей! И вдруг появляется у меня худенькая интеллигентная довольно бесцветная женщина в очках и показывает права. Фамилия – Панженская, машинист насосной установки. Я задумался. Брать мне её не хотелось – хиловата, а там насосы, двигатели – о-го-го! В человеческий рост! Мощностью по шестьсот киловатт. Но у меня было мало времени, поджимали сроки, надвигался декабрь, пуск, а в насосной у меня – никого. Не укомплектована смена. И я подписал её заявление. Надо было, конечно, сводить эту даму в насосную, посмотреть, как она управляется со задвижками и штурвалами-рычагами мощных высоковольтных пускателей.

... не подумал.

... сколько же потом на долю мою досталось добродушно-язвительных шуточек, когда начальником надо мной стал Андрей Буравлёв. Дело в том, что Панженская как-то управляясь с задвижками, не могла провернуть тугие штурвалы ящиков-пускателей высоковольтных моторов, то есть не могла запустить насосы. И если помеха эта обычно не ощущалась, так как в смену дежурили два человека: машинист и помощник, то в злосчастные дни, когда помощник болел или по каким-то делам был отправлен за пределы насосной, приходилось искать дежурного электрослесаря, слать в насосную помогать двигателю запустить. Тут-то Буравлёв и посмеивался: «Опять твоя любимая Панженская подвела. И где только ты её выкопал!»

... К концу декабря Плешаков прислал мне первого горного мастера. Им оказался Ананьев, с которым я работал на одном из участков. Личность совсем безобидная, слабохарактерная до крайности, от этого очень покладистая. Рабочие не ставили в грош его указания, да он и не пытался ими командовать – плыл по течению. Правда, в первый год, когда дела шли хорошо, это на работе не сказывалось.

... Итак, в октябре стало отчётливо ясно, что гидрокомплекс к концу года вполне могут сдать, и тут стала донимать меня загвоздка: труб-то нужных не поступило и вряд ли они до пуска поступят. А

работать надо с первого дня после подписания акта. И я принял решение – ничего другого не оставалось – проходить от дробилки аккумулярующий штрек с помощью неподъёмных восьмиметровых труб большого диаметра, сняв ненужные, что проложены от камеры углесосов до безумных печей "Союзгидро...". Навалившись всей сменой такие трубы можно перетащить и смонтировать в штреке, который начнём проходить. Оставалась проблема забоя.

За смену предполагалось продвигать его на два метра, и на два метра снова придвигать к нему монитор. Забегая вперёд, скажу, что природа нам помогла, и мы сразу начали проходить по четыре метра за смену, но всё равно двухметровые отрезки труб были нужны. Я мог, конечно, на такие отрезки порезать одну из труб большого диаметра, но и они для двух проходчиков, работающих в забое, были тяжелы. До зарезу нужна была хотя бы одна толстостенная бесшовная труба диаметром сто миллиметров. Вот её бы мы и разрезали на четыре куска. А по мере ухода забоя на восемь метров, собрав в забое всю смену, мы вбрасывали бы в став большую трубу. И снова на восемь метров можно штрек продвигать.

... и тут вспомнил я о геологах. У них буровые трубы рассчитаны на большое давление.

... Выпросив у Гагкаева, заместителя начальника шахты по общим вопросам (осетина, давнего знакомого Плешакова, выписанного им из Осетии в прошлом году в период становления нового треста), выпросив у Гагкаева грузовик, я вместе с двумя своими рабочими покатил по дороге в гору вдоль Ольжераса. Там, по слухам, в районе бывших концлагерей, где мы два года назад вместе с Черных мёд пили следом за водкой, геологоразведчики бурили глубокие скважины, там и управление их находилось.

... Второй раз после пятьдесят пятого года в том же месяце октябре оказался я на опушке осеннего леса. И снова глаз не мог отвести от неописуемо красочного лесного пожара, от смешенья деревьев, полыхающих всеми оттенками от бардовых, багряных, малиновых до оранжевых, жёлтых, лимонных и ржавых. И снова этот пожар обрамляла зелёная хвоя тайги, и вкраплены были в неё узкие чёрные пирамидочки пихт.

И с ликованием всех этих жарких цветов в ясный солнечный день под небом прозрачным и голубым праздник входил в мою душу. И все горести отошли, а впереди было интересное дело, которое захватывало меня целиком.

... Великое дело – природа. Живя в каменных городах-лабиринтах, мы разучиваемся её замечать, и немало теряем, становясь равнодушным к дивному миру, что нас окружает. Я относительно много поездил, и везде восторгался красотой нашей Земли. И везде она разная, и везде непохожая, но везде красива, гармонична, и везде восхищался я и скромной прелестью лесотундры с огоньками жарких цветов, и неохватной ширью дикой тайги с её реками и озёрами, с валунами гранитными у границы с Финляндией, со Столбами у Красноярска, с перекатами сопок до вечно белоснежной Белухи на юге Кузбасса, и ровной далью степей с вкраплениями озёр, перелесков в Предказахстанье. А ещё есть невысокие горы Урала, сплошь покрытые лесом, где виляет меж гор железнодорожная колея, открывая всё новые и новые чудные виды. Умиротворённые смешанные леса Среднерусской равнины и покатые дали заливных лугов в поймах рек. Изумителен Крым с его скалами у вершин Крымских гор и отрогами гор с чахлым лесом, уходящими в синее-синее море, с его волнистой береговой полосой. Грандиозен роскошью природы Кавказ. И прекрасны Кременские леса с песчаными плёсами на изгибах Северского Донца, и Кубанская степь в двуглавым Эльбрусом на горизонте, и несущиеся в ущельях ручьи и речонки с навесными мостами в горах Закарпатья, хмурый лес у стального Балтийского моря в Прибалтике и её же зелёные в золотистых лучах поля меж лесами. А чего стоит Греция с множеством островов и с гармонией строений древних эллинов, в пейзаж вписанных органично! А Пелопоннес, а незабываемый остров Закинтос, глядящий на юго-восточную оконечность итальянского сапожка. И безводная земля Палестины, где каким-то чудом всё же что-то растёт, тоже красива по-своему.

И над всем земным этим великолепием – купол то белёсого, то голубого, то ярко синего неба, то безоблачного, то с плывущими безмятежно белыми кудрями облаков или с низкими тучами, мрачными и тревожными. А в голубизне купола неба висит днём солнечный диск, посылая с лучами своими радость жизни и краски её. А ночами там безраздельно господствует тьма и рассыпаны звёзды бесконечно далёких миров, или луна, наша вечная спутница, летит посреди встревоженных облаков, или, если их нет, заливают божественно голубовато-зеленоватым светом луга и леса, отблеском стали ложится на поверхности рек, или серебром отражается от снегов зимних равнин и от лап заснеженных елей и сосен.

Земля прекрасна везде и всегда и во всех своих ликах, если только грубое вмешательство человека, не искорёжило, не обезобразило её вид.

И осень – апофеоз этой земной нечеловеческой красоты.

... вот и сейчас среди зажжённого осенью леса иссини стальная вода холодной реки, в которой плыли отражённые редкие ватные облака, и кружевные узоры белых вспененных брызг, вскипавшие на бесчисленных перекатах, и водяная невесомая пыль, относимая ветром до самой дороги, всё ликовало, праздновало последнюю вспышку расцвета перед неизбежным оцепенением грядущей зимы. И даже серая галька и булыжники, серые и желтовато-коричневые, устилавшие по берегам и на отмелях ложе чистого, прозрачного Ольжераса, казались яркими и нарядными.

Машина подъехала к конторе геологоразведочной экспедиции. Вокруг здания одноэтажной деревянной конторы, построенной на скорую руку, валялись в беспорядке бухты кабеля, тросы лебёдок и сами эти лебёдки с выпиравшими между боковинами щёк зубчатыми колёсами, электродвигатели и трубы. Последние, правда, были уложенные в штабеля. Трубы были точно такие, как на "Полысаевской-Северной", я их сразу узнал, – бесшовные, толстостенные, и именно такого диаметра, какой был нам нужен.

Спрыгнув на землю, я отправился к начальнику экспедиции. Им оказался молодой энергичный жизнерадостный человек, который понял меня с полуслова, едва я представился и начал рассказывать ему о нашей беде. Он вызвал одного из своих подчинённых и приказал выдать нам дюжину труб. И без всяких доверенностей, накладных и расписок. И даже без пресловутой бутылки, которую, кстати сказать, я даже не позаботился прихватить, настолько была велика ещё вера во взаимопомощь советских людей. И он её оправдал. Трубы он просто так нам подарил, безвозвратно. А разве бы я не помог, если б ко мне обратились? Ну а бутылку я зря помянул. С бутылкой к начальнику не пойдёшь, дешёвка это, Владимир Стефанович. Бутылка годится для работы, чтобы он трубу для нас спёр. Я воровать пока не собирался ни у кого.

Начальник же, отдав приказание, доброжелательно предложил мне всегда обращаться к нему, если у нас возникнут с чем-либо трудности. Почему я не использовал эту возможность, чтобы завязать с человеком контакт?.. Молод был, и по глупости не нуждался в контактах. А как это вот самое безразличие обедняет нам жизнь!

... искренне и тепло поблагодарив геологов за бесценный подарок, пожелав им всем массу благ и успешной разведки и ещё особо поблагодарив за приглашение обращаться, я со своими рабочими

погрузил восьмиметровые трубы в машину, откинув задний борт кузова. Пятиметровые хлысты труб, не поместившиеся в машине, высовывались наружу и, изогнувшись, свисали к земле. Чтобы не растерять их по дороге, и чтобы нас трубами в кузове не помяло, пришлось крепко увязывать их тросами. Сделав эту работу, мы тронулись в путь, то есть покатали обратно. Теперь мир был радостен и прекрасен вдвойне: и от красоты внешней и от душевной человеческой щедрости, и от, чего там греха таить, от удачи.

В шахтных мастерских нам разрезали трубы на двухметровые части, приварили фланцы быстроразъёмных соединений, изготовили переходники от бурильных труб к нашим большому магистральным. Конечно, это могли и должны были сделать мы сами, но Плешаков не дал нужные нам до нарезки бензорез и сварочный аппарат: «На первых порах пользуйтесь мастерскими». Неудобно это было до крайности – всё тащить в мастерские, часто из шахты, а потом в шахту опять везти и тянуть все железки. Но я переубедить Плешакова не смог, не сумел, а к Крылову после отказа начальника шахты пойти постеснялся. Получилось, что я их как бы сталкиваю. Надо было сразу к Крылову идти.

... С трубами дело решилось. Не было вот ещё желобов, но тут выход сам собой напрашивается: транспортёрные решетки. Ну, борта вдвое пониже, но для начала – сойдёт. При нарезке штреков угля не так уж и много. Таким образом, к проходке с первого дня после пуска мы приготовились.

Я рассчитал, вычертил и представил Крылову паспорт буровзрывных работ и паспорт крепления штрека. Он эти паспорта утвердил. Схема выемки угля тоже была продумана мною в деталях. Это были столбы по восстанию до верхней границы шахтного поля, оконтуренные печами у почвы с обеих сторон. Между десятиметровыми (по ширине) столбами – метровый охранный целик для защиты угля при выемке последующего столба от завала обрушившейся породой из столба предыдущего. Длина заходки, то есть ухода за один производственный цикл, тоже десятиметровая.

Перед выемкой она у почвы отделяется от столба сбойкой между разрезными печами. Сбойка эта нужна лишь на смену для разбуривания пласта и крепится просто – стойкой под распил. Итого – десять на десять метров у основания и на девять с половиной в высоту. Сколько это получится?.. Девятьсот пятьдесят кубометров, тютелька в тютельку. И если помножим их на удельный вес угля (теперь бы "массу" сказали), то выходит тысяча тонн и сто пятьдесят тонн в придачу. Но придачу эту в расчёт не возьмём – пусть

будет в резерве на случай... тогда вот и останется ровно тысяча тонн – суточная проектная мощность всего гидрокompлекса.

Из этого в расчётах и исходил. Работаем в двух столбах. За сутки обуриваем одну заходку, шпуров заряжаем взрывчаткой, взрываем (надежда на гидроотбойку невелика, на всякий случай готовился и к иному исходу). За сутки смываем взорванный уголь, тем временем в соседнем столбе готовим тысячу тонн на следующие сутки.

Предстояло теперь рассчитать, как взорвать эту тысячу. Прежде всего – обурить. Длина бурильной штанги для ручного сверла два метра. Придётся бурить составными. Но больше двух штанг не составишь – вряд ли потянет ручное электросверло, да и бурильщику нагрузка чрезмерная. Если бурить навстречу из обеих печей (их размеры входят в размеры заходки), то внизу всё хорошо удаётся, но вот вверх-то даже по вертикали из крайних печей больше шести метров никак не пробуришь, а по центру лишь пять. Как же быть с тремя с половиною – с четырьмя с половиною метрами, что сверху не обуренными стоят. Стало быть, надо ещё одну печь проходить у кровли столба и как раз посредине. Оттуда веером верхнюю часть заходки отлично разбуришь...

Начались расчёты шпуров, расположения их и количества необходимой взрывчатки. Вышло ровно четыреста килограмм аммонита. Поначалу это число меня засмущало, никогда в угольной шахте такого количества не взрывал. Но ведь и тысяча тонн тоже немало. Посчитав, сколько взрывчатки выйдет на тонну, я успокоился – не больше, чем в лаве.

Но сразу взрывать четыреста килограмм бесполезно – в массиве уголь зажат, и ему некуда разлетаться. Надо сделать сначала вруб, и лучше всего его сделать внизу, взрыв вышибет из нижнего слоя уголь в печи и в сбойку – вот и обнажение получилось. Теперь надо рвать слой за слоем снизу доверху, и кускам взорванного угля будет место, куда помещаться. Однако и тут незадача. После первого взрыва, если только взорвать ряд шпуров, оборвёт провода к электровзрывателям в остальных зарядах – и взрывчатка пропала, и уголь не взорван, и вообще работать больше нельзя. Но существовали электродетонаторы с миллисекундным замедлением. Они и помогли задачу решить. Ряды шпуров со взрывчаткой, расположенные над врубом, взрываются каждый миллисекундой позже предыдущего, хотя ток был подан одновременно ко всем и теперь безразлично, оборвутся ли где провода – все взрыватели в действии.

Итак, я разработал паспорт буровзрывных работ и пошёл к Крылову его утверждать. А того взяли сомнения, не пришедшие мне в голову, а достаточен ли ток взрывной машинки, чтобы более полусотни взрывателей в одной цепи подорвать?

Решено было это дело проверить – провести испытания на поверхности, во дворе главного вклада ВВ (были ещё и подземные склады на горизонтах).

... Тут я должен сделать одно отступление. В октябре, когда одна смена рабочих была мною набрана, Плешаков издал приказ о назначении моим помощником Свёрдлова Роальда Яковлевича, с мая прошлого года работавшего помощником начальника одного из проходческих участков. Это был тот самый Свердлов, что усилиями супруги при становлении нашего треста стал ненадолго (до моего возвращения из комбината) начальником гидрокомплекса. Симпатии в то время к этому человеку, бесосновательно занявшему моё место, я, естественно, не питал, хотя ни разу не видел его и в лицо не знал. Впервые увидел сейчас, когда он пришёл на участок. Был он высок и не узок в кости, но немного нескладен. Возможно, нескладность эта происходила от вида одежды. Был он в кирзовых сапогах, чёрных бриджах и старой студенческой тужурке, ставшей ему слегка тесноватой.

Голова у него была соразмерно большая с густыми чёрными волосами и густой чёрной щетиной на щеках, тщательно выбритых – щёки его, как у Плешакова, синели. Он не был красавцем, но лицо его было незаурядно, своеобразно – такое сразу запомнишь, непростое лицо, что в нём было искреннее, спокойное, умное, что не могло не привлечь.

... Я, человек незлопамятный по природе и к людям расположен доброжелательно, к помощнику своему неприязни не испытал, хотя и вспомнил прошлогоднюю историю, больно меня уязвившую и заставившую помчаться к Кожевину, к недоброй памяти Ковачевичу, наконец, к Линдену. Но сам Свердлов был тут не причём, он под меня не подкапывался. Да и жена его о моём существовании не подозревала. Это всё минхерц Соколов, а она только этим воспользовалась.

Роальд оказался человеком порядочным, инженером толковым, мигом схватывал всё на лету, мы с ним сразу сработались, и никогда разногласий между нами не возникало.

... Так вот, получив указание от Крылова, мы со Свердловым направились к начальнику склада ВВ за Ольжерасом, неподалёку от устья его, там, где дорога, идущая с промплощадки вдоль речки

прямо на склад, не дойдя до него сотню шагов, отворачивает наверх в гору к штольне.

... Выложив на лужайке в складском дворе все детонаторы, нужные нам для взрыва в заходке, и соединив их как надо, мы укрылись за углом здания склада, и начальник крутнул взрывную машинку. Хлопнул взрыв, миллисекундных во времени замедлений разрывов слух наш не различил. Мы вышли из укрытия и пошли осматривать цепь. Провода лежали в порядке, и все детонаторы взорвались. Опасения Крылова не подтвердились, и мы тут же составили акт испытаний.

Именно в это время по дороге наверх пропылил грузовик, и сразу за ним раздался визгливый, болезненный вой. Пыль рассеялась, и мы увидали на повороте большую палевую собаку – она лежала, скребла дорогу передними лапами и, подняв морду, визжала от боли. Задние ноги её раздавил грузовик – это и от нас было видно.

– Надо её пристрелить, чтоб не мучилась, – сказал, наконец, кто-то из нас.

Начальник склада вынес из помещения малокалиберную винтовку и коробочку с сотней свежих блестящих патронов. Вскинув винтовку, он выстрелил и не попал. Собака лежала и взвизгивала по-прежнему, только, обессилев, уже передними лапами не скребла. Тогда начальник открыл беглый огонь, посылая в неё пулю за пулей. Изредка пули попадали в собаку, её туловище вздрагивало при этом. Но от этого ничто не менялось. Собака корчилась в муках.

Тогда винтовку взял Свердлов. Прицелился, сделал несколько выстрелов, но не попал.

Тут и я, вспомнив, что в юности стрелял более-менее метко, храбро сказал:

– Дайте-ка мне. Я попробую. Я хорошо когда-то стрелял. В ухо надо стрелять, прямо в мозг.

Мне отдали винтовку. Я прицелился в ухо, нажал спуск, уверенный, что прекратил собачьи мучения. Не прекратил. После выстрела всё осталось, как было. Я снова выстрели в ухо – опять промахнулся. Я выстрелил в третий раз – вздёрнулся бок, я попал, но не туда, куда нужно.

Мы расстреляли десятки патронов, но результат был нулевой.

– Эх вы, стрелки, – сказал начальник язвительно, как будто сам был не из нас, и, взяв винтовку, пошёл к дороге. Там, в двух шагах от собаки, выстрелом в ухо, он прикончил её.

... не так-то просто существо живое убить.

... Память плохой помощник в далёких воспоминаниях. Что-то ушло навсегда или скрывается в недоступных закоулках моего подсознания, что-то сместилось во времени, и не знаешь, куда его прилепить. Что-то всплывёт неожиданно и не к месту. Приходится многое сравнивать, сопоставлять.

... Проектом своим я предусматривал проведение печи у кровли посередине каждого угольного столба. Это всё было пока на бумаге. Но вот одна печка у кровли посреди нашего шахтного поля была. Это был бремсберг для доставки крепёжного леса, пройденный, когда участок начинали готовить к обычной добыче. Но тут поле отдали гидрокомплексу, все горные работы в нём прекратились, а никому не нужный бремсберг остался. Ну, я сразу сообразил, что его можно как печку использовать, как только пришёл к выводу, что надо будет печи и у кровли пласта проходить. До неё я намеревался довести аккумулирующий штрек, оконтурить под ней внизу первый столб, и далее, пятясь назад, нарезать и отрабатывать обратным ходом другие столбы, тем временем подвигая аккумулирующий штрек во вторую часть нашего шахтного поля, чтобы и его отработать также обратным ходом. Можно, разумеется, сразу вести штрек до конца, но это задержало бы нарезку столбов ещё месяца на три, а очень хотелось быстрее начать очистные работы – и самому интересно, как будет всё получаться, и уголь стране начнём давать не через полгода, а раньше ровно наполовину.

... И вот в этой готовой печи неожиданно для себя я начал эксперимент, имея в виду последствия, идущие далеко и в правильном для нас направлении. В октябре, когда у меня была набрана рабочая смена, пришла ко мне тройка сотрудников кемеровского НИИ. Пришли они, почему-то минуя начальство, а, может, начальство их ко мне отослало, но решение я сам принимал. Так вот, эти ребята предложили провести после пуска гидрокомплекса при проходке штрека или печей испытание анкерной крепи. Об этом креплении я знал с прошлого года, но и в голову мне не пришло её у себя применить. И вот приходят и предлагают. А мне и самому интересно!

– Но зачем же ждать до пуска три месяца? – ухватился я за эту идею, – у меня есть готовая выработка. С обычным креплением, правда, но мы её можем перекрепить.

Интуитивно я как-то уразумел, что именно эту печь надо крепить анкерами. Ну что толку в штреке или в нижних печах. Хорошо, ну будут, допустим, они выработку держать, так и наша деревянная крепь хорошо её держит, и трудоёмкость крепления у нас не велика, и анкера вряд ли её снизят заметно... А вот верхняя печь... анкера

ведь кровлю пришипят над выработанным пространством, когда уголь под ним будет вынут, и, возможно, будут какое-то время держать её, позволяя полностью смыть взорванный уголь, оберегая его от завала породой и безвозвратной потери.

Проектировщики "Созгидромех..." всерьёз опасались, что кровля пласта, сложенная крепким песчаником, будет висеть на огромных пространствах и затем сразу рушиться, приводя к тяжёлым последствиям: ударная волна пройдёт по выработкам, сметая всё на пути... Но я уже знал, как она "зависает", и понимал, как не худо бы её, наоборот, поддержать. И анкерная крепь – это и надо было проверить – могла стать такой вот поддержкой.

... Научные сотрудники со мной согласились, и через неделю на шахту пришёл грузовик с анкерами – стальными двухметровыми стержнями как раз по диаметру наших шпуров с резьбой на одном конце и пропилами – на другой, куда вставляются клинья. Привезли и клинья, и шайбы, и гайки, и специальный гаечный ключ с фиксированным натягом и... большую кувалду. Но это вот зря. Кувалдой мы и сами бы расстарались.

... Вентиляционные двери были открыты, шахтостроители обмыли крепь штольни водой, и она засияла, как новая, и по штольне потянуло сквозняком общешахтной струи.

Мальшев со слесарями установил вентилятор частичного проветривания на свежей струе и проложил в печь кабель с разъёмом для подключения электросверла. Я послал в печь Паули и Петрука, куда они протянули вентиляционные трубы и под руководством научных сотрудников принялись за работу. Ну, это лишь сказано – под управлением. Никакого управления не было. На одном анкере показали, что делать нужно, а больше и показывать было нечего. Всё было проще пареной репы. Я стоял рядом и наблюдал.

Не снимая крепления, Паули и Петрук у борта печи прямо через верхняк пробурили шпур в кровле на всю длину штанги, затем вставили в прорезь стержня плотно вошедшую в него узкую часть стального клина, всунули стержень с клином в шпур до упора, надвинули шайбу, за ней вручную навинтили гаку на резьбу стержня, торчащего из-под верхняка, и мощными ударами кувалды вбили штырь в шпур сколь возможно. При этом клин (это надо домыслить) влез глубже в прорезь в штыре, раздвигая в стороны обе его половины, которые вжались в породу стенок шпура, расклинив анкер...

Оставалось только вращением гайки притянуть верхняк к кровле с необходимым натягом, чтобы стянуть двухметровую толщу породы над выработкой. Вот для этого и был нужен специально изготовленный ключ.

Если гайку крутить обычным ключом, как найдёшь, когда нужно остановиться? Не дотянешь – натяг будет слаб, порода не стянется, и прослойки под собственной тяжестью расслоятся, не будут работать как единое целое, ну, а дальше понятно... Перетянешь – чрезмерным усилием можешь анкер выдернуть из шпура.

В институтском ключе всё это предусмотрено, и как только гайку завернёшь до требуемого натяга, так рукоятка ключа вокруг гайки начнёт проворачиваться, сколько теперь не крути – и на микрон гайку не сдвинешь, что и было продемонстрировано. После этого так же пришили второй край верхняка у противоположного борта, выбили стойки рамы с обеих сторон, и остался висеть наш верхняк без всякой поддержки.

... Так, шаг за шагом, перекрепили всю печь на сто с лишком метров. И остались на этом пространстве одни верхняки, и сделалось в печи попросторней, но и как-то не по себе без привычной глазу опоры верха о почву. Наверху точно клеём приклеены к кровле распилы, но они подсознанием не воспринимаются как крепь. А сознание мало тут чему помогает. Вспомните, как я качался на мачте перехода линии электропередачи через Томь... Я знал, что всё с запасом рассчитано, что мачта не переломится, и ветром меня не сдует – а вот, поди ж ты, безумный страх сковал все движения. Так и здесь – точно идёшь по незакреплённой выработке и ждёшь, что вот-вот обвалится, хотя знаешь, что это не так. Тут страх и из опыта тоже – без стоек и несколько метров кровли, не рухнув, обычно не простоят.

... К концу октября все магистральные трубы были уложены, сварены: две нитки – водоводные из насосной до шахты, две – пульповодные туда же из крытых отстойников, завершённых как здание и покрашенных розовой краской по красному кирпичу, от чего они стали даже нарядны.

Пульповоды от отстойников на укосинах, прикреплённых к транспортёрной галерее, перебросили через Ольжерас. После перехода через реку их спустили к земле и проложили далее вверх по Т-образным железобетонным опорам. Этот спуск и подъём я проморгал в чертежах, не заметил и вовремя не исправил. Он был совершенно не нужен и вреден. Надо было чуть дальше провести трубы

вдоль галереи, чтобы подъём начать без этого спуска, тогда бы вода или пульпа стекали в отстойники без помех и не застаивались бы в этом колене при аварийном отключении углесосов.

... Водоводы, шедшие из насосной в траншее, чуть выше склада ВВ плавно из неё выбирались наверх к пульповодам на уширенные с этого места поперечины железобетонных опор. Уклон водоводов был выдержан повсеместно.

Далее четыре нитки трубопроводов, утеплённые стекловатой и обмотанные наискось внахлёт рубероидом, пройдя на высоченных опорах поперечный овражек, входили в большую деревянную будку, где все четыре трубы соединялись поверху перемычкой, от которой к каждому трубопроводу вёл короткий отвод с задвижкой на нём. Это позволяло переключать воду в любую трубу, куда нужно, а куда не нужно её не "пускать". На метр ближе этого соединения в пульповоды были вварены два отростка с задвижками – для сброса пульпы при возможных авариях.

Я в этой будке с переходами и задвижками не видел особой необходимости, считал её даже ненужной, но и вреда от неё кроме небольшой потери напора не было никакого. Раз построили – пусть стоит. И оценил я возможности, предоставляемые ею, лишь полтора года спустя, когда аварийно забутили углём один пульповод. Тут я сразу сообразил, как её можно использовать, чтобы вместо недели, а то и всех двух, за день аварию ликвидировать. Но об этом в своём месте.

... Ну, а от будки переключения все четыре трубы, укутанные теперь уже вместе в стекловату и рубероид, по опорам поднимались в гору до штольни, уходили в ходок выше неё, доходили до камеры углесосов. Что ещё можно добавить?.. Магистралей было вдвое больше, чем нужно. И правильно совершенно. На случай аварии всегда был резерв.

Пришло время опрессовать напорные водоводы, о чём я ранее упоминал. Эту работу должно проводить субподрядное СМУ, но у него вышло рассогласование с подрядчиком. Накануне неё ОШСУ взяло и засыпало траншеею, в которой на двухметровой глубине уложена часть водяных магистралей

... ничего не поделаешь, не откапывать же опять. Да это, в конце концов, и не важно, если трубы давление выдержат.

... Итак, монтажники приступили... В подземной углесосной заглушили водоводы заглушками, у насосной – врезали в них штуцеры, подсоединили небольшой, но способный поднять давление до

ста атмосфер поршневой насосик, ну и манометры, соответственно. Я, согласно нашему уговору заранее предупреждённый, стою у манометра, наблюдаю.

Вот наш насос закачал водовод, задвижка за ним перекрыта, теперь поршнями застучал маленький насосик, подкачивая воду в заполненный водовод. Да и много ли её надо – ведь вода практически несжимаема. И поползла стрелка манометра по делениям циферблата. Быстренько поползла, вот уже рабочие шестьдесят атмосфер миновала, всё идёт хорошо, нарастает давление, держат силу стеночки труб. Так в момент и до требуемых испытаниями восьмидесяти дойдём. И тут... стрелочка р-раз, резко так назад закрутилась и упала на нуль. Всё... В трубе где-то разрыв.

... монтажники пошли искать место разрыва, с ними увязался и я. Место порыва нашли недалеко по воде, проступившей сквозь рыхлую глину, порыв был в траншее. Вот она цена торопливости, несогласованности... Были бы трубы открыты, вмиг бы заварили порыв и продолжили испытания. А так – хватай в руки лопаты, и копай в мокрой глине двухметровую яму. Полдня на это ушло. Докопались. Очистили. Заварили. Начали всё сначала. И всё в точности повторилось, только порыв был в другом месте, но тоже в траншее.

Следующий день не отличался от предыдущего. Мне надоело без толку сидеть у манометра – будто дел у меня других не было никаких, кроме как с монтажниками ходить, порывы в траншее отыскивать. А трубы рвались именно там. Оно и понятно. Внизу, на уровне промплощадки, давление выше всего. Я предупредил начальника СМУ, чтобы они позвали меня, когда трубопровод давление станет держать, когда стрелка манометра встанет, как вкопанная, иначе акта не подпишу. Он обещал, а я начал заниматься другими делами, которые наваливались на нас: работы на стройке шли к концу.

Я инструктировал рабочих, все кому положено, в том числе и Свердлов, и Малышев, машинисты и слесари находились рядом с монтажниками во всех частях разбросанного гидрокомплекса, контролировали работы, которые тут же и делались скрытыми, перенимали что-то из навыков и помогали, если случалась нужда.

... И тут я неожиданно познакомился с неизвестным мне дотоле явлением, о котором в институте не говорили, или и говорили, да я, возможно лекцию пропустил.

Блуждающие токи.

На шахте уголь, погруженный в вагонетки, из штолен вывозили электровозами. Они разъезжали и по промплощадке, таща платформы и "козы" с оборудованием, материалами и лесом. Эти электровозы не походили на виденные мной ранее шахтные электровозы с громоздкой – на всю платформу – батареей аккумуляторов. Наши электровозы были с дугой, как трамвай. Поскольку шахта не газовая, то во всех откаточных выработках подвешена медная троллей. Дуга электровоза, скользила по ней, снимая постоянный электрический ток, который приведя в действие двигатель, через колёса и рельсы возвращался назад к источнику разности потенциалов.

Разъезжая по промплощадке, позади АБК электровозы заворачивали к лесному складу и к мастерским как раз напротив ОФ и наших отстойников. И вот вижу я, что по какой-то причине шесть железобетонных колонн, на которых покоилась возведённая два года назад наша пристройка к обогатительной фабрике, взяты в стальные обоймы: уголки пущены по рёбрам колонн, а по периметру к ним приварены поперечины. Сначала подумал, что опоры усиливают: видно где-то допустили промашку и, спохватившись, её устраняют. Однако дело повернулось не так... Подвезли к пристройке компрессор, и отбойным молотком начали долбить бетон внутри обойм. Я подошёл посмотреть, в чём дело. Мне охотно показывают: «Смотри! Вот что блуждающие токи натворили».

И действительно... бетон был сбит до центра колонн, до арматуры и дальше, а самой арматуры – не было. Лишь дырки в бетоне, по стенкам покрытые ржавчиной. Ну, тут и дураку станет понятно, в чём дело. А меня всё же в школе и в институте чему-то учили. Ток-то не только по рельсам течёт, хотя, по мне, там ему течь всего и сподручней, а и в стороны, и довольно таки далеко, отклоняется по земле, особенно в сырую погоду, проникая с особой охотой в металлические проводники, соприкасающиеся с землёй – сопротивление току там меньше. А поскольку ток в троллее, на рельсах, в земле постоянный по направлению, то и получается что-то вроде гальванической ванны: с одного электрода атомы металла уносятся, на другом – они отлагаются. Не знаю, где осели унесённые атомы стали, то есть, правильнее, железа, но унесло-то их из арматуры наших колонн. Вот и ещё один наглядный урок я получил. Железобетон надо очень тщательно от земли изолировать там, где ток постоянный вблизи может течь по земле. Возьмёт и заблудится. Ток-то блуждающий.

Он может быть очень маленьким, слабеньким, но, отвечаясь, действует он месяцами, годами, а известно: капля и камень точит. Так вот и здания ни с того, ни с чего валятся вдруг. Хотя, как справедливо заметил иностранный загадочный консультант, ни с того, ни с сего ничего не бывает, ни с того, ни с сего кирпич на голову не упадёт. Всему есть подготовка, причина, но её мы частенько упускаем из виду.

... Занятый другими делами, я на время об опрессовке забыл. А потом спохватился – что-то долго меня не зовут. Тут монтажники мне заявили, что трубопроводы опрессованы, акты подписаны представителем треста и в трест же сданы.

Я метнулся к Ложкину Николаю Ивановичу. Он об этом не знал ничего. Я попросил его разузнать, кто же в тресте такую свинью гидрокомплексу подложил. Он обещал, и кое-что узнал у главного инженера треста, Филиппова. Филиппову позвонили из горкома партии и сказали: «Монтажники жалуются: Платонов чересчур к ним придирается. Пришлите инженера из треста акты об опрессовке труб подписать». Филиппов и послал инженера из отдела главного механика треста, ничего даже Ложкину не сказав, хотя акты должен подписывать представитель заказчика, а заказчиком от имени треста юридически дирекция выступала. Но это юридически и формально. А фактически дирекция чья? Треста. Трест фактический и заказчик. Так что обвинить Филиппова в превышении полномочий возможности не было. Фамилию негодяя, который без меня акт подписал, Филиппов назвать отказался. Впрочем, зря я его обругал. Человек подневольный, приказали – и подписал, возможно, не глядя. А возможно, какое-то время (но не сутки, естественно) трубы держали давление, не восемьдесят атмосфер, а где-нибудь шестьдесят. Работали же мы вначале на этом давлении без порывов.

... По поводу горкомовского вмешательства я Ложкину с возмущением говорил: «Ну чего они не в своё дело суются? И какое право имеют?» – На что, усмехнувшись, Ложкин мне отвечал откровенно:

– Парадоксально, конечно. Но в нашей стране перекосы повсюду. Возьмём вот пример: шахта имеет деньги, и деньги большие, но не имеет власти употребить их разумно, да и вообще как-либо употребить, кроме как на мелочь какую. Власть наша советская – горсовет денег почти никаких не имеет и потому сделать самостоятельно тоже ничего не может, а потому и власти как таковой не имеет. Горком партии же, не являясь властью формально, и денег за душой имея меньше, чем горсовет, делает всё что захочет. Ну, не всё, разумеется, но многое очень из того, что ни шахте, ни тресту, ни горсовету делать никто не позволит.

... тут я немного от хозяйственных дел отвлекусь.

К истории города.

Роясь в прошлом году у Ложкина в проектной документации после освобождения от диспетчерской службы, я нечаянно набрёл на интересные синьки и пояснения.

Город здесь задумывался не сразу. В сорок шестом году Сталину доложили об огромных запасах коксующегося угля в открытом во время войны месторождении в Кузбассе. Положили план освоения месторождения. Предлагалось постепенно вводить в действие шахты и угольные карьеры с посёлками при них, как это было принято. Но воодушевлённый победой Сталин эти планы перечеркнул: «Будем строить образцовый социалистический город. А рабочих на шахты и на разрезы возить в электричках». И предложил в честь прошлогодней победы дать городу имя "Победа".

... время шло год за годом, год за годом шли чертежи кварталов, домов, общественных зданий, и в рамке под ними слово "Победа" исчезло, а появилось иное обозначение города "Томусинск на Междуречье", ну, вроде "Франкфурт на Майне" или "Ростов на Дону". Но это название не прижилось. Видимо, длинновато. Железнодорожную станцию называли коротко "Томуса". Название попробовали на город перенести, но для образцового города вышло несколько примитивно. Тут кто-то придумал просто и хорошо "Междуреченск". Это название в чертежах окончательно и утвердилось. А с присвоением безымянному поселению официального статута города и в его имени.

... Город существовал большей частью на планах, расчерчен улицами на ровные квадраты кварталов, из которых в натуре пока обозначились три и прямая широкая улица с двумя проезжими полосами, разделёнными сквером, протянувшаяся от железнодорожного полотна до Сыркашинской горы, которая, вклинившись между Усою и Томью, развела их далеко друг от друга. Улицу называли проспектом, Коммунистическим. И хотя слова Хрущёва о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», ещё не были произнесены, мы уже бодро шагали к светлому будущему по Коммунистическому проспекту.

... Памятуя приглашение первого секретаря Междуреченского горкома партии Турчина, я стал регулярно к нему заходить; работы, мне кажется, у него было ещё очень мало, или он в курс дела ещё не вошёл, и он охотно меня принимал. Говорили мы с ним почти на

равных (я всё же дистанцию соблюдал, понимал, как вести себя надо). Турчин был со мной всегда дружелюбен, внимателен.

... Всё в одночасье переменялось. Как-то говоря о том, что строительные работы на всех объектах начинают запаздывать, планы срываются, всё делается спустя рукава, я не выдержал и, напомнив, что ввод гидрокомплексов был записан в директивах XX съезда КПСС, необдуманно бухнул:

– Кругом одна болтовня, а дела нет почти никакого.

... надо было видеть в тот миг лицо любезного Турчина. Оно разом окаменело. Глядя на меня пристально, он медленно произнёс тоном каким-то железным:

– Так вот ты оказывается какой?! – словно враз разглядел во мне вражескую личину.

Я даже поёжился.

... на этом наша беседа иссякла. Больше к Турчину заходить меня не тянуло.

... Возможно, и этот наш разговор свою каплю добавил в чашу раздражения мною непосредственного начальства. Я ведь и в Москву обо всём еженедельно докладывал. После отъезда Трофимова Плешаков дал мне шифр, и я с переговорного пункта за счёт шахты звонил в Министерство и ничего не утаивал, и то, что нашей шахтой и трестом не делалось ничего, говорил. А кому это понравится?

... Обретая жизненный опыт, из своих наблюдений, из бесед с Филипповым, Плешаковым и Ложкиным и особенно после турчинского «так вот ты какой?» – я начал постепенно приходить и к обобщению: то, что раньше казалось мне чистой случайностью, частностью неприятной, но частностью всё же – на самом деле частностью не является. Это – система, и системе этой присуще нечто противное социализму и демократии (для меня эти понятия были тождественны). И это противное, мерзкое, прежде всего, – нетерпимость к иному мнению. Но не может же никто быть всегда правым, не ошибаться... Вон Сталин был всегда прав...

Почему то, что сказал подчинённым наш Плешаков или скажем там Соротокин, должно ими считаться истиной в последней инстанции. Но здесь всё же можно решиться и возразить, хотя это чревато серьёзными неприятностями. Если же "истину" изрёк сам Хрущёв – это всё. Так только, и точка. Обсуждению и критике не подлежит. А

ведь Хрущёв – человек, и как любой человек может в чём-нибудь заблуждаться. Ещё древние римляне понимали: «Errare humanum est».

Да что там Хрущёв, съезды партии, "коллективный разум" её, сколько дурастей натворили. Почему ж и теперь, когда всем стало ясно, что без обсуждения и без критики можно придти чёрт знает к чему, почему ж и теперь нельзя обсуждать решения руководства, критически оценивать их и осуждать наших лидеров за неправильные шаги. Это не во вред нашему делу, только на пользу, чтобы от явных глупостей предостеречь. Я немного перехватил, сказав, что решения руководства, съездов, Хрущёва обсуждению не подлежат. Подлежали, и ещё как обязательно подлежали! Всенепременно! Даже специально собрания на всех уровнях проводили для обсуждений, вплоть до участков. Только странными выходили обсуждения эти, все высказывались только в поддержку принятого или только ещё намечаемого к принятию постановления, в духе, как скажут позднее, "всеобщего одобрения". И даже о глупостях и просчётах, которые, какое-то время спустя, становились всем очевидны, упорно не говорили, замалчивали, не анализируя, не делая выводов из ошибок, как бы вообще забывая о них. И каждое новое слово вождя, даже если от него и пахивало дурачеством несусветной, принимали, как Откровение и одобряли.

... Это меня настораживало. Так ничто развиваться не может. Именно тогда я записал в одной из тетрадок: «Человек не может воспринимать всё в точности, как остальные. Каждый видит явление с какой-то собственной стороны, если это не какой-то всеобщий закон, вроде Закона всемирного тяготения, хотя бы в силу особенностей своей психики, а у него существуют ещё и свои собственные интересы. Поэтому единого мнения всех людей по всем без исключения вопросам просто не может существовать. Насажение его – противоестественное насилие. И не очень надёжное и долговременное, если доводам логическими человека не убедить, если доводы сами неубедительны, если человека не заинтересовать результатами убеждения. В лучшем случае его можно запугать и заставить повторять то, что нужно сильным мира сего. Хотя я и не исключаю – и недавняя наша история даёт тому массу примеров в СССР и Германии, – что большой круг людей, не приученных мыслить, и даже мыслящих, но лишённых необходимого знания, можно оболванить без применения силы, приучить придерживаться бездумно стандартных общепринятых (или хитроумно общенавязанных) взглядов. Так жить легко, это не требует никакого умственного усилия. Но ведь это духовная

мертвечина. Живой человек тем и хорош, что неодинаков с другими, что обладает неповторимой индивидуальностью, своими особыми характерными чертами, своим собственным в те или иные моменты взглядом, настроением, и уже только поэтому не может не воспринимать действительность по-особому, не придавать ей свою собственную окраску, даже если и не касаться различия интересов людей. Это всегда было так, так есть так и будет. Но у нас это индивидуальное своё видение проблемы человеку выразить не позволяют; иные же, из-за навязанных шаблонов мышления, искренне (а может и не вполне) полагают, что все люди Земли должны чувствовать то же и так же, как они сами, или, чаще, как начальство велит.

Обладая какой-либо властью, такой не мыслящий или запуганный человек постоянно прививает насильственно людям, зависящим от него, только своё или ему тоже навязанное восприятие мира. И когда это случается – это страшно. Люди превращаются в бессмысленных роботов, в автоматов, в толпу с рецептом на все случаи жизни, в котором, может быть, даже кое-что жизненно важное и учтено, только не мнение, не нужда, не состояние отдельного человека. Всеобщая насильственная нивелировка людей, невозможность высказать мысли неизбежно ведут к застою».

Не очень складно написано, неполно, сумбурно. Но всё же мысль можно понять. И что интересно, написано это за двадцать лет до "эпохи застоя"; за тридцать лет до того, как публично эпоху эту таким именем окрестили, я употребил это слово. Сейчас прочитал и чуточку возгордился: «Эко я прозорливо сказал». Но ведь это серьёзная истина, непонятная обалдуям из Политбюро и их подпевалам. Но каким надо быть идиотом, кретином, чтобы до неё не дойти. Или прохвостом и подлецом, кому нужны только власть и жирный кусок, а судьбы народа, страны безразличны. Сам я ошибался частенько, давал (тут не раз из-за полного отсутствия информации) на время себя одурачить, но уж это-то я понимал.

...Я ничего не знал и не чувствовал, но видно в нашем хозяйстве и в нашей промышленности не всё было ладно, и надо было что-то предпринимать. И Хрущёв объявил об упразднении промышленных министерств и возврате к ленинским принципам (постоянной палочке-выручалочке!) управления народным хозяйством на территориях – к совнархозам. В этом был определённый резон. Слишком большая централизация лишает оперативности, глушит

инициативу руководителей предприятий. Всего ведь сверху не предусмотреть, да ещё в такой огромной стране.

А наши глаза раскрывались. К нам начали поступать иностранные оригинальные и переводные технические издания вроде таких, как "Шахтная крепь за рубежом" или "Шахтный транспорт...", и мы убеждались, что далеко мы не первые в мире во всём, как учили при Сталине.

Анкерная крепь была первым простейшим примером. Теперь вот прочитал в книжке о транспорте, что СТР, который считался у нас чуть ли не верхом технической мысли, лет на пятьдесят устарел. Какой это был "верх" – я познал в первые дни работы на шахте и подробно об этом уже написал. А на Западе в лавах работали другие конвейеры, исключая лишь США. Там конвейеров не было вовсе, там уникальные условия на мощных горизонтальных пластах с крепкой кровлей позволяли вынимать уголь камерами без крепления кровли, оставляя лишь междукамерные опорные целики, как в Союзе на соляных шахтах делалось. Взорванный в камерах уголь в США грузили погрузочными машинами в самодвижущиеся большегрузные вагонетки с дизельным двигателем и на автомобильном колёсном ходу. В Европе условия были более близкие нашим, в Англии и ФРГ работали лавы. А в лавах на пологих падениях у них уложены надёжные транспортёры. И нехитрая вроде вещь делала их надёжными и пригодными к изменяющимся условиям, а вот мы в Советском Союзе за железным занавесом своим до таких простых вещей не додумались. Их лавный рештак: не тонкостенное стальное корытце, а жёлоб из высокого качества стали. Борта его под прямым углом отгибались от днища, и под таким же углом загибались сверху над жёлобом с обоих торцов. И в этих жёстких пазах с обеих сторон ползли две мощные корабельные цепи, между которыми – скребки. Такому транспортёру нестрашен изгиб (в разумных пределах), цепи просто не могут вылезти из рештака – некуда, верхние загибы мешают. А прочность конструкции не даёт ставу собраться в гармошку, да и нет той цепи, вылезшей из рештака, которая став бы стянула. Такой транспортёр позволял без особенных осложнений работать в лавах со слабою кровлей, так как можно было сразу за проходом комбайна ветвь транспортёра придвигать вплотную к забою, сводя к минимуму обнажённую кровлю. Не говорю о том, что он прекрасно работал ещё с одной новинкой, почерпнутой нами из иностранных журналов – с секционной металлической крепью, придвигаемой после прохода

комбайна гидравлическими цилиндрами к забою, как раз над изогнувшейся придвинутой транспортёрною ветвью. Дальше – больше. Сами комбайны ползли по мощному транспортёру, как по направляющей, это позволило проходы этих комбайнов в обе стороны сделать рабочими, а, перейдя на узкий тридцатисантиметровый захват (вместо полтораметрового у "Донбасса"), избавиться от неповоротливо-громоздкого отрезного бара и, увеличив скорость прохода, повысить производительность добычи угля таким узкозахватным комбайном раз в десять против "Донбасса". До такой революции в лаве наши конструкторы не додумались. Теперь лет двадцать будут передирать зарубежные образцы, так ничего производительнее их не создав.

... А может, и мелькала своевременно мысль и у нашего инженера, да ей в министерстве ходу не дали. А заинтересованное предприятие своими силами сделать ничего не могло. Тому будет у меня в будущем году наглядный пример.

На заводах же, разбросанных по территориям совнархозов, смотришь, ценную мысль и подхватят и в жизнь проведут. Если в одном министерстве один "дуб" или какой-нибудь Ковачевич решает, то совнархозов по областям и республикам наберётся до сотни, и не везде же дубы их возглавят, глядь – и умница где-то окажется, всё же выбор...

... наивные мысли.

... Много думалось обо всём, когда зарядили дожди. Тучи растрёпанные, рваные низко ползли над домами, задевая, казалось, за крыши, даже мысли придавливая сырой своей тяжестью к самой земле. Две недели лили дожди, не переставая почти. Налетевший шквал ветра раздёрнет тучи на миг, разметав клочья их в разные стороны, и мелькнёт выше их в беспредельной выси кусочек небесной лазури, и затянет его тут же мутною серою плёнкой, которая сразу начинает густеть, и, темнея, чернея, опускается вниз влажной тяжко давящей массой и разряжается непрерывным дождём. Мутно, мокро и сыро было и на земле, и в душе, и не хотелось из дому выходить. Но выходить было надо, но и сидя где-нибудь в каком-нибудь кабинете, я видел в окнах однообразное повторение одного и того же, и дикая тоска вселялась в меня от этой картины... Две недели монотонно бились об оконные стёкла отяжелевшие ветви мелколистной акации, словно просились в дом, в помещение, где сухо, чисто, тепло... Крупные капли барабанили в стёкла, секли низенькие истерзанные кусты. Порывы ветра пригибали и пригибали их ветки, не давая распрямиться, и вдруг

швыряли тонкие прутья вразброс. От бросков этих акация вздрагивала, отряхивалась веером брызг, как отряхивается собака, гордо выпрямлялась на миг, и тут же горбилась под напором ливня, несомого ветром.

На тусклом фоне запотевшего заплаканного стекла я чертил пальцем профиль любимой, но линии эти сразу же оплывали, растворялись в сумраке комнаты, и никакое воображение не могло извлечь из небытия милый образ, тоненькую фигурку в белом девичьем платье...

... Но думы, думами, и личная жизнь вдребезги пусть, а время идёт и идёт. И дожди непрерывные кончились, наконец. И снег выпал, и довольно глубокий. А четвёртого октября – ошеломляющее известие: впервые в истории человечества запущен искусственный спутник Земли. И не где-нибудь в хвалёной Америке, а в СССР. Спутник крутился над нашей планетой, и, слушая слабенькие его позывные: «бип-бип-бип», – я невольно гордился своей страной – нет, не одним лыком мы шиты.

... А третьего ноября на околоземной орбите летал уже второй советский спутник Земли с собакой на борту. Он был виден невооружённым глазом с земли в темноте вскоре после захода солнца. На земле – темень, ночь, звёзды высыпали на небе, а спутник в вышине солнцем подсвечивается. В газетах писали, где и когда спутник виден после захода солнца. Пролетел он и над нами, и во время самое подходящее. Мы приготовились, вышли на улицу, устремили глаза в сторону, откуда он должен был появиться. И появился, минута в минуту. Вспыхнула маленькая звёздочка среди звёзд у горизонта и понеслась к центру неба быстрее, чем любой самолёт, и, очертив четверть сферы, погасла во мраке, войдя в тень земли. Всё-таки здорово! Так недавно всё это было фантастикой.

... спутники, разумеется, не спускались. Недели через две собака погибла: пищи, видимо, не хватило, а, может, и кислорода. А вскоре появился первый космический анекдот:

– Чем отличается земля от нашего спутника?

– На спутнике собачья жизнь кончилась.

А анекдот-то с подмигиванием, антисоциалистический анекдот. Хорошо хоть за анекдоты сажать перестали.

Седьмого ноября в Междуреченске прошла первая демонстрация. Сорок лет Октября. На сколоченной наспех дощатой трибуне – руководство горкома, треста и горсовета... Плешаков во главе нашей колонны, я иду позади, вместе со всеми. Всё-таки здорово!

Страна Советов живёт и уверенно смотрит в будущее... Ах, если б я знал, куда она смотрит...

За праздниками и декабрь сразу подкрался. И половина его пролетела, и тут строители, наконец, предъявили к сдаче мой гидрокомплекс.

В Государственную комиссию по приёму гидрокомплекса в эксплуатацию включили и меня, в списке в самом низу. Выше мне по чину быть не положено.

Началось всё прозаично с прогона воды в шахту по обеим трубам водоводов, выкачка её углесосами из зумпфа (угля-то пока ещё не было), подача в отстойники и заполнение всех пяти железобетонных отсеков.

... ну и зрелище, скажу вам, предстало на отстойниках пред очами комиссии, когда все пять отсеков заполнили доверху, и комиссия вошла в узенький коридор между железобетоном резервуаров и кирпичными стенами здания.... Это была...

... водная феерия.

Из всех наружных стенок железобетонных отсеков хлестали струи, фонтаны на всех уровнях от низа до потолка. Струи круглые, плоские, распылённые веером изливались, откуда только могли. А могли они, скажем скромно, повсюду. Это выходила наружу халтура, там щепку не вытащили, там пыль на старом слое не смыли, не выщербили бетон, или вибратором-уплотнителем недостаточно поработали. Хотя я и следил, контролировал, но за всем же не уследишь, работы одновременно велись в разных местах. Представьте теперь, что было бы без надзора...

Каскад потоков даже выдавшую виды комиссию привёл в замешательство. Сам Соротокин был, казалось, немало смущён. Филиппов, как председатель комиссии, осмотр немедленно прекратил, приказал остановить испытания до устранения течей, после чего комиссия удалилась.

... Радости от этого было немного, но где-то на задворках души торжествовало злорадство: писал, предупреждал, говорил, что так делать нельзя – теперь вот расхлёбывайте.

... Насосы и углесосы в пробной работе показали себя хорошо. Трубы тоже пока нигде не рвались, но ведь и давление в них было втрое меньше проектного: гидромонитор с соплом и задвижкой в забой ещё не поставили, и вода беспрепятственно из трубы уходила на слив.

... но задержка была не за нами, теперь в этом все могли убедиться и убедились.

А неделю назад в кабинете Крылова, когда шло первое совещание с участием всех сторон, я доложил Высокой комиссии, что мы, шахта, то есть, сделали всё зависящее от нас и обеспечим с первого дня после пуска проведение аккумулирующего штрека. Но дальше (тут я краски сгустил – мы бы с магистральными трубами выкрутились и сами, но уж очень меня возмущало бездействие руководства шахты и треста), через два месяца, работать по нарезке столбов и добыче угля мы не сможем из-за отсутствия труб. Труб для этих целей у нас нет ни метра.

При этих словах Филиппов, председатель комиссии, побагровев, стукнул кулаком по столу:

– Как это нет труб?! А ты где был? Под суд, сукин сын, пойдёшь у меня!

Я чуть было не взорвался в ответ на хамское обращение: «Сам ты сукин сын!» Обычно меня принимали за очень спокойного, выдержанного человека, а во мне всегда страсти кипели. Но умел себя сдерживать. И здесь я "сукиного сына" – что делать – сумел проглотить. Перебранкой и оскорблениями ничего не решишь, есть средства подейственнее.

... Я стоял за столом, как и прежде, докладывая, и нарочито спокойно, тоном, не дрогнувшим и не выразившим моего возмущения, сказал, словно отмахнулся от мухи:

– Сначала я попросил бы всё-таки выбирать выражения, – и далее медленно, чётко выговаривая слова, продолжил, – а что касается сути вопроса, то он в этой вот папке. – И я демонстративно, не без налёта дешёвой театральности, поднял закрытую папку свою над столом, и, положив её снова, развязал беленькие тесёмочки.

– По поводу того, что генподрядчиком не заказаны трубы, не предусмотренные проектом, но необходимые нам для работы, мною ещё в прошлом году были направлены четыре письма в трест и комбинат. В том же году я передал две заявки на трубы, материалы и оборудование в отделы снабжения шахты и треста. В этом году заявки мною повторены и направлено двадцать одно письмо в трест, комбинат, министерство. Только на ваше имя, – я повернулся к Филиппову, – в текущем году я отослал восемь писем. Номер (я называю номер) от (я называю число), номер такой-то от... номер такой-то... номер такой-то... номер такой-то... номер...

Тут Крылов прерывает меня:

– Достаточно!

А Филиппов заткнулся, что называется. Конечно, умным меня за эту выходку при всём желании не назовёшь. Но таков уж характер. Всю жизнь не мог хамства и безответственности терпеть. Не позволял достоинства человеческого унижать, даже если это не шло мне на пользу. Хуже, что иногда это и делу наносило ущерб.

Я сел, комиссия занялась другими вопросами. А я ликовал: «Ловко я отделал Филиппова! Ай да Ложкин! Ай да Николай Иванович! Правильно надоумил документальные следы действий своих оставлять. Как же это сейчас пригодилось», – думал я, складывая бумаги и завязывая тесёмочки.

Вряд ли я тогда себе дал отчёт, как настроил против себя этих бонз, хотя и не исключая, что кое-кому лужа, в которую посадил я Филиппова, пришлась по душе. Но в целом мне следовало бы понимать, что под суд-то они меня отдать не сумеют, а вот растоптать меня – раз плюнуть для них. Не сработала интуиция, не подсказала, как я перед ними не защищён. Что я один на один с этой бандой. Даже от Мучника нет в комиссии никого, и сам к нему давненько не ездил, не вводил в курс, какие и как трудности преодолевал, готовя комплекс к работе. Да и к Линдену бы наведаться не мешало, особенно перед пуском, испросив предварительно через красавицу секретаршу аудиенцию у него.

... не ощущал для себя я опасности в справедливейшем социалистическом государстве, раз я с делом справляюсь, раз претензий ко мне нет никаких. Полагал: раз я сделал и сделаю всё, чтобы работы велись на участке нормально, и не просто нормально, а хорошо, то и сам чёрт мне не страшен. Это моё недомыслие шло, конечно, от отсутствия опыта работы, а природного ума не хватило, слишком забита была голова прекраснотушными фразами. А ведь знал поговорку, что один в поле не воин. Знал-то знал, но знание – не ум.

... и сейчас, глядя в багровое лицо председателя, я размышлял: «Вроде мы с ним одной Веры, поклоняемся одному Богу, служим одной Цели, но почему между нами такая пропасть вражды... Весь он с белёсыми редкими волосами на голове, с пшеничными бровями на красном лице мне противен до омерзения. А по бешеным огонькам в его обычно невыразительных с выцветшими зрачками глазах вижу, что и он меня лютой ненавистью ненавидит... Нет, не одному Богу мы поклоняемся, а если и одному, то как-то слишком по-разному».

... потянулись дни ожидания.

... В один из таких тусклых дней Свердлов позвал меня к себе в гости. У него была двухкомнатная квартира в доме на въезде, в которой, когда я вошёл, оказалось много народу. Всё москвичи, сокурсники Роальда с Красногорского разреза большей частью женатые, и девица из редакции местной газеты, они давно знали друг друга. Тут же была и жена Роальда и его четырёхлетняя дочь. О дочери ничего не скажу, но жена его сразу мне не понравилась, не показалась, хотя и была миловидна, в меру полна, ну, быть может, несколько тяжело-вата. Но не телом своим не пришлось она мне по вкусу, а вульгарностью, властностью в голосе и ещё чем-то неуловимо мне неприятным. Развязность что ли какая-то была в ней. Я вообще-то никудышный психолог, но неприязнь моя, выяснится, была обоснованной.

... все москвичи были очень раскованы, не стыдливы. В шумной компании грубые вещи, которые не принято по имени называть, они обсуждали, нисколько не стесняясь, говорили со смешком и о вещах довольно интимных, чего мы, провинциалы, никогда себе не позволяли. И это тоже мне не понравилось, хотя раскованности их я позавидовал – насколько легче жить без ненужной зажатости. Но и меру знать следует, говорить можно и надо свободно решительно обо всём, но, смотря как говорить, какими словами. Их же слова грубые, неприличные в присутствии женщин, совсем не смущали, да и женщины сами не отставали от всех. Циниками большими показались мне столичные жители. Удивило меня то, что чуть ли не каждый из них, отправляясь в туалет облегчиться, громогласно об этом оповещал. Да, это потребность естественная, но не самая эстетичная, и незачем о ней вообще говорить. Я в присутствии женщин и втихомолку в уборную сходить не решался – это, конечно, конфузливости через край. Заморочки моего воспитания. Глупо, но было такое. Но и в другую крайность тоже бросаться нельзя.

... из москвичей хорошо я запомнил лишь двух. Шатскую, девицу не яркую, обыкновенную, корреспондентку газеты, и Бориса Чаплина, и то, очевидно лишь потому, что он был сыном Чаплина Николая, бывшего в двадцатых годах генсеком ЦК комсомола, в тридцатых – занимавшего крупный партийный пост и расстрелянного в тридцать седьмом году или в тридцать восьмом. Вообще в этой компании почти все были дети "врагов народа". У Свердлова,

например, расстреляли отца – главного инженера завода. У всех было тяжёлое детство, для вступления в комсомол и поступления в вуз им приходилось от отцов отречься, да и вузы, наверное, не все для них были открыты, недаром же столько их из незаурядных семей в горняках оказалось. Тут, может быть, меньше к происхождению придирались – профессия не из элитарных.

Эти ребята знали многое из того, о чём я и догадаться не мог, о чём и моё окружение и сокурсники в институте понятия не имели. Судили они обо всём резко, уверенно. Что значит столица, среда! Там ведь и нелегальные книги ходили, и доверительные разговоры тайно велись...

После двадцатого съезда началась реабилитация людей расстрелянных, уничтоженных не по приговору суда. Николая Чаплина оправдали посмертно. Борисовой матери выплатили солидную компенсацию за убитого мужа и дали отличную квартиру в Москве, куда Боря вскоре после нашего знакомства и перебрался. Сначала он работал в Институте горного дела Академии наук СССР (ИГДАН), потом его избрали вторым секретарём одного из московских райкомов (по статусу соответствовавших обкомам), вероятно, сказались старые связи отца. В шестидесятых годах Борю направили послом во Вьетнам, откуда он вернулся заместителем министра иностранных дел, сохранив этот пост даже во времена перестройки, при Шеварднадзе. Правда, круг обязанностей его ограничили хозяйственными делами.

... Ни с одним москвичом близко я не сошёлся. И вообще не сошёлся никак. Может быть потому, что мы редко встречались, может быть потому, что слишком разными мы были людьми, слишком отличные были у нас интересы. Знать не могу, что у каждого было внутри, а снаружи – цинизм, выпивки, деньги, женщины и карьера.

... Строители между тем долбили отбойными молотками бетон, расширяя едва заметные щели, замазывали выбоины жидким стеклом.

Мы у себя подготовили всё, что было нужно для начала работы. Гидромонитор стоял в камере возле дробилки, нацелясь в "ось" штрека, находившегося пока в массиве угля.

Никто не мог предсказать, будет ли уголь водой отбиваться при давлении не выше сорока атмосфер, которые мы могли к забою подать, да мы на это и не сильно рассчитывали. Поэтому я загодя составил паспорт буровзрывных работ, а в забое наготове лежали электросверло и буровые штанги.

... Через неделю после первой попытки строители снова предъявили объект к сдаче. Комиссия склонялась акт приёмки гидрокомплекса подписать, хотя всяких прорех было ещё предостаточно. Тут мне пришлось применить всё своё красноречие и железную логику, переходящую в настоящий шантаж: что же будут шахта и трест докладывать в комбинат, в министерство, если мы после пуска не сдвинемся ни на метр, а будем доделывать работу строителей?.. Моя настойчивость помогла, пуск отложили до тридцать первого декабря, утвердив длинный перечень недоделок, которые строители обязались устранить к этому сроку.

... но они мало что сделали к этому сроку, и тридцатого декабря я предупредил председателя, что принимать гидрокомплекс в таком виде нельзя, и я акта не подпишу.

– И без тебя обойдёмся, – отвечал мне Филиппов...

Тридцать первого декабря акт был подписан с оговорками, что в течение января строители ликвидируют все недоделки. Моей фамилии в списке Государственной комиссии уже не было. Гидрокомплекс вошёл в состав шахты на правах простого участка.

... нечего и говорить, что после первого января никто из строителей на шахте не появился. Пришлось своими силами недоработки их устранять.

Приближение Нового года ознаменовалось приказом Министерства, разрешившим перейти с непрерывки на единый выходной день в воскресенье тем шахтам, которые семидневный план добычи угля могут выполнить за шесть дней. Это было движением к нормальной человеческой жизни.

По моим наблюдениям Плешакову было на это всё наплевать. Но Крылов оценил, что появится свободный день для профилактического ремонта шахтных машин и механизмов, без чего техника барахлила, и железной рукой провёл такое решение в жизнь.

... жить стало легче. По воскресеньям, да и то в одну первую смену, стали работать лишь ремонтные службы. А это – не более двухсот человек из пяти тысяч работников шахты.

Мы со Свердловым оценили разумность и твёрдость Крылова. Да и механика Малышева перемены тоже касались. У нас везде был резерв, профилактику можно вести в будние дни. В воскресенье ему

пришлось бы работать лишь при крупной аварии. Но от этого и я с Роальдом не застрахованы.

... Должен сказать, что на шахте с приходом Крылова установился жёсткий порядок. Расхлябанности он не терпел. Это мне в нём очень нравилось. Другое дело – методы, способы, которыми он этого добивался...

Сам Крылов много работал. Кроме технической политики, о чём говорил, отправляя меня в командировку, он участвовал в создании комплекса для разработки мощных пологих пластов и взял на себя много текущих дел, в частности проводил одну-две планёрки. Остальные проводил появившийся у него заместитель. Плешаков совсем устранился от этого дела. Это вот странно. Техническая политика и... текучка. И непонятно, чем теперь занимался сам Плешаков?

... Планёрки Крылов проводил в обычном для него жёстком, даже жестоком стиле. Грубо обрывал пытавшихся возражать, так что скоро прекратились такие попытки, отметал все доводы по снижению задания на смену. Величину эту, он всегда навязывал сам. Это уже смахивало на самодурство.

... Но вернёмся к переменам, намечавшимся с первого января. С нового года Хрущёв ломал заведённый прядок работать в учреждениях по ночам. Днём надо работать, ночь для сна предназначена. На ночь должны оставаться только дежурные и диспетчеры. Это, естественно, не касалось производств с непрерывным рабочим циклом. И линейного надзора на них. Ну, а шахтное, трестовское, комбинатское, министерское руководство могло теперь по ночам отдыхать

... Судя по не очень отчётливым признакам, Никита Хрущёв был большой любитель застолий, и не раз высказывал мысль, что совместная пьянка... простите, застолье, как ничто, сплачивает коллектив. И вот, накануне Нового года, партия или Политбюро, или лично Никита Сергеевич – кто их там разберёт! – предложили встречать Новый год в коллективах, ликвидируя тем самым изъян в коммунистическом воспитании, когда в праздники наше сплочённое общество распадалось на семейные, приятельские ячейки, что противоречило принципам коллективизма, не связывало людей в эти дни стремлением к общей цели... Но тогда я воспринял этот призыв, как хорошее начинание. У меня ведь не было никакой семейной ячейки, а одиночество в праздники – штука грустная, согласитесь.

... На шахту, однако же, я не пошёл, меня с ней пока мало что связывало. Да никто и не приглашал. А пригласили меня в Томское ШСУ, где Новый год встречали всем управлением в собственном клубе, Миша Китунин, Юля и Тростенцовы.

... я внёс свою долю в уплату за столик и стал готовиться к празднику. Маминими стараниями я был чуточку приодет. Мама купила отрез коричневой шерстяной ткани и заказала в своей мастерской мне костюм. Сшили его так себе, не очень уж чтобы... но в целом я себе и знакомым казался нарядным. Год спустя я убедился, как он нелеп. Пиджак был, в общем, приемлем, но брюки... Подвела меня устаревшая мода и собственная не наблюдательность. Был же, был я в Москве, но никакого внимания на то, в чём теперь люди ходят, не обратил, жил в плену отживших уже представлений. Сам себя наказал, следуя старым флотским и институтским традициям. Я настоял, чтобы брюки сшили шириной не менее сорока сантиметров. Какая безвкусица! Но тогда я считал себя шикарно одетым – это был мой первый штатский костюм. Две белые пикейные сорочки я купил в Москве, там же и галстук, и красивые запонки. Белоснежные пикейные манжеты мои выглядели из рукавов пиджака ещё до того, как Кеннеди был избран президентом Америки и ввёл эту моду. То есть он ничего не вводил, просто все стали ему подражать, и мода сама собой появилась. Так вот рубашка у меня пикейная – белым треугольником на груди, галстук в тон костюму подобран и заколкой с каким-то камнем пришпилен, чтобы на сторону не сползал, белые манжеты высовываются, ну носки там, туфли – тут проблем не было... Жертвой "моды" не я один оказался, вспомните Маяковского: «Я достаю из широких штанин...» Годы спустя, слушая запрещённый и заглушаемый "Голос Америки" а в нём передачу о Международном философском симпозиуме, я услышал такую вот фразу: «На это советскому академику никто не сумел возразить, и он гордо шёл по проходу, а его широкие брюки развевались, как флаги победы». Вот и мои тоже так развевались.

... Вечером в назначенный час, а именно в десять, я вместе с Китуниными вошёл в клуб Томского ШСУ, с ними меня беспрепятственно впустили в чужой коллектив. Клуб был хоть и временный, деревянный, но просторен и состоял из двух залов. Первый зал – он же и вестибюль или фойе – использовался как зал танцевальный, во втором – зрительном – стояли столики, сервированные на шесть

персон каждый. Мы отыскиали свой столик, и по рюмочке выпили и слегка закусили, и вернулись в танцзал.

... музыка играла, но танцующих не было, огромный зал пустовал, немногочисленная ещё публика жалась к стенам. Я всматривался в незнакомые лица, искал по привычке, нет ли красивых женщин, чтобы ими полюбоваться. Но ничего примечательного не нашёл.

В вальсе вдруг смело закружилась одинокая пара, весь танец так и протанцевала одна, в танго к ней робко присоединилась вторая, а затем ещё несколько пар, а потом как хлынуло, хлынуло, и зал стал тесен, так всё в нём завертелось, затанцевало. И тут я заметил у дверей в зрительный зал невысокого роста хрупкого молодого мужчину и с ним такую же хрупкую изящную женщину, не обжёгшую взор красотой, но весьма милую и необычайно приятную. Я пропустил два танца и, видя, что они не танцуют, осмелел и направился к ним через зал, чтобы её пригласить на танго. После того, как я впервые с Галей Левинской на танец решился, я запросто танцевал в Междуреченске на дружеских вечеринках. Фокстрот я танцевал хорошо, танго – отлично, только вот с вальсом по-прежнему у меня была закавыка. При изрядном подпитии, когда я строгий контроль над ногами терял, они сами кружились, как нужно, но на трезвую голову – никогда.

... Я не знаю, почему я выбрал именно эту женщину, к тому и замужнюю, по всему... Видно, судьба!.. Я пригласил её – и она согласилась. Мы танцевали с ней танго, и танцевать с нею было легко. Она словно вся отдавалась партнёру, сливаясь с ним и со звуками музыки. Весь танец с ней, наслаждаясь движением, я проболтал без умолку. И это вторая странность была. Обычно танцуя, я совершенно не знал, о чём с незнакомой женщиной говорить. Ну, скажешь ей парочку комплиментов о том, как мила, и как с ней танцуется хорошо. А дальше – полный паралич, ничего выдумать не могу. И уже танец не в радость, и мучительно ждёшь, когда он, постылый, закончится. А с Августой Сухаревой, так звали милую женщину, мы легко говорили о чём угодно на свете, как близкие, давно знакомые люди. Я, не стесняясь, расспрашивал её обо всём, что было мне интересно, она на всё мне отвечала. Я узнал, что она замужем, работает в плановом отделе ТШСУ, а до этого год после окончания института работала в Прокопьевске. Там и с мужем познакомилась. Мужа, Геннадия Буравлёва, после образования у нас треста, перевели сюда из

Прокопьевска. Он работает инженером связи в тресте, а окончил Одесский радиотехнический институт... Тут музыка прекратилась, и я отвёл её к мужу, поблагодарив за доставленное удовольствие с ней танцевать. И мужу представился и заговорил с ним непринуждённо, будто давно был с ним, как "с Пушкиным на дружеской ноге".

... После танго зазвучал фокстрот, и, видя, что Гена не собирается с собственной женой танцевать, я вновь её пригласил. Так весь вечер мы с ней и протанцевали, весело, беззаботно, чего сроду со мной не бывало.

Лишь вальс мне давал передышку. Я не был пьян, и вальса боялся. Музыка оборвалась около полуночи. Народ повалил в зал, где всё смешалось и спуталось. За столик с Китуниными я не попал, а сидел меж Геной и Августой, там наполнив бокалы шампанским, мы и встретили Новый многообещающий год.



Рис. 10. В канун Нового, 1958-го, года



Рис. 11. В окрестностях Междуреченска

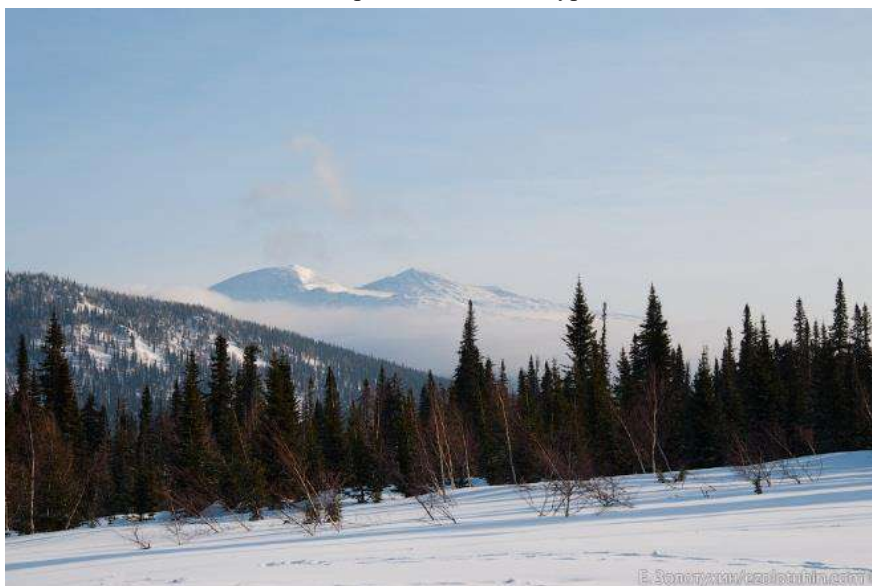


Рис. 12. Тайга Горной Шории, вдали вершина Горного Алтая Белуха

1958 год

... Дальше я мало что могу вспомнить. Память не сохранила. Тогда-то я помнил всё, а после выпивки даже и обострённо, хотя внимание, возможно, рассеивалось, но то, что нужно, прочно в голове застревало. Я долго не мог понять и поверить, когда, оправдываясь, мне говорили: пьян был, ничего не помню, что было. Случаю в моей практике (с Геннадием Краденовым) я значения не придавал – ведь это было отключение лишь на мгновенье, когда я, через перила перевалив, летел в реку. Да ведь и трезвый разве помнит миг краткий паденья. Вот я в Кемерово на институтском велосипеде по лесной тропке гоню под уклон, колесо на корневище подскакивает, с ним подскакиваю и я, и – и земля уже перед носом, еле руки выбросить вперёд успеваю. Что я – помню полёт? И ничуть не бывало. Вот – подскок, вот – земля, и никакого перехода меж ними. И уже землю носом пашу, благо руки его чуть прикрывают.

Так-то вот.

Думаю, снова в танцах зал закружился, а быть может, сразу же показали "Карнавальную ночь" с Людмилой Гурченко, тогда ещё юной, а потом вновь танцевали вплоть до четырёх часов ночи (или, если хотите, утра), когда по давно заведённой традиции второй раз встретили Новый год в ноль-ноль часов по Москве, после чего и начали расходиться. Я проводил Августу с Геной до подъезда дома, где они жили, а жили они там, где и Свердлов. Там мы распрощались, причём милая пара пригласила меня заходить и назвала номер квартиры. Я на эту любезность сказал им: «Спасибо, непременно зайду».

... Праздник закончился. Второго января я впервые давал первой смене наряд на начало проходки. За нарядом последовала планёрка, на которой я почти два года уже не бывал. Я уселся позади всех начальников шахтных участков и слушал, как шла изрядно забытая мной перекличка:

- Первый участок?
- Сто тридцать тонн.
- Второй?
- Девяносто.
- Что? Сто десять и ни тонной меньше...

- Одиннадцатый?..
- Восемнадцатый?..
- Двадцать первый?..
- Гидрокомплекс?

Слово это прозвучало на планёрке впервые, и все разом за- тихли. В тишине я чётко ответил:

- Два метра.

Зал взорвался гомерическим хохотом. В хохоте участковых начальников звучала издёвка: «Гора мышь родила!» Но что они понимали, эти начальнички. Только тупо язвили "хитродобыча". Крылов участия в хохоте не принял – он то знал, что к чему, и молча записал мои метры в книгу нарядов...

Больше всего насмеялся над нами Аладышев, начальник добычного участка, плешаковский любимец, нахал, сердцеед. Он был холост и, похоже, неотразим и для девиц, и для дам с опытом и без оного. Красив, высок, атлетически сложен, но без вульгарности. Роскошная шевелюра зачёсана назад. Особенно хорош бывал он весной или осенью в серой шляпе, слегка сдвинутой вниз на глаза набекрень. Старше меня года на три, участок его план всегда выполняет, и деньги, как говорят, гребёт прямо лопатой. От этого может быть он так самоуверен. В прошлом году купил "Волгу", катает девиц. Может быть, именно это больше всего женщин в нём привлекает? Да нет, внешность у него действительно хороша. Но человек, чувствуется, скверный, дерьмовый.

... но посмотрим, посмотрим, как он будет смеяться, когда мы очистные работы начнём.

Выйдя с планёрки, я переоделся в спецовку и поехал в шахту. Телефонной связи из шахты с насосной и отстойниками не было; как я ни требовал этого, телефоны там не поставили. Связь была лишь из камеры углесосов с диспетчером шахты и с кабинетом участка через него. Это создавало огромное неудобство, приходилось посылать нарочных, а, чтобы дать сейчас команду запустить в насосной насос, я был вынужден выставить человека на пригорке у поворота дороги, откуда и штольня наша видна, и насосная у реки. Все команды передавались условленными взмахами рук.

Убедившись, что в забое всё готово к началу работы, я выслал рабочего из шахты, тот взмахом руки приказ передал, второй рабочий – тот, что на повороте – его повторил, и машинист юркнул в здание насосной станции.

... из насадки стволе гидромонитора зашелестела струя воздуха – приказ, стало быть, выполнен был, – а через пару минут и водяная струя ударила в грудь забоя. Увы, уголь струёю не отбивался. Давление было для этого недостаточно.

Мониторщик, как рыцарь, закованный в латы, в толстых резиновых брюках и сапогах, в резиновой куртке и с резиновым капюшоном на голове, медленно вращая штурвалы, поворачивал ствол, направляя струю в разные точки забоя. Уголь не отбивался нигде. Я стоял позади и печально смотрел на рештак, по которому к решётке дробилки стекала чистая речная вода, ничуть незамутнённая даже. Рядом со мной стояли Свердлов, Малышев, мастер и тоже переживали.

Тут мониторщик опустил ствол вниз к самой почве угольного пласта – и струя вдруг стала на глазах углубляться в забой. Мы переглянулись со Свердловым и приказали водить струёй понизу по всей ширине забоя...

Через несколько минут, отведя в сторону ствол, мы промерили щель двухметровой затяжкой, она вся вошла в щель, не достигнув её окончания. Высота щели была невысокой – сантиметров двенадцать, но и это был подарок природы. В основанье пласта залегал пропласток мягкого угля. Это и само по себе было очень неплохо, значит, вруб будем делать по низу струёй, это и надежду на отбойку вышележащего угля над врубом у нас возродило – быть может, ударом струи выше вруба над обнажённой плоскостью будем куски или глыбы угля отваливать. Эта надежда быстро погасла: сколько мы ни били в уголь над щелью струёй, уголь не скалывался – был крайне крепок.

Надо было переходить к варианту с взрывчаткой, и я об этом сказал мониторщику, благо взрывчатка была заблаговременно выписана, а взрывник её предусмотрительно получил. Безусловно, схему буровзрывных работ пришлось менять на ходу, на глазок, без всяких расчётов – при готовом-то врубе шпуров и взрывчатки вдвое меньше потребуется... Гидромониторщик быстро забой обурил, взрывник затолкал трамбовкой в каждый шпур по паре цилиндрических патронов аммонита, глиняной забойкой затрамбовал и, спустившись в камеру углесосов, крутанул взрывную машинку.

Раздался взрыв, углесосную затянуло сизым сладковато-вонючим дымком. Он быстро рассеялся – ВЧП работал исправно, – и мы полезли наверх. Забой был завален отбитым взрывчаткой углём. Тут снова дали воду в забой, запустили углесос, застучала дробилка, и в пятнадцать минут уголь был смыт подчистую и выкачан из зумпфа.

Мониторщик с помощником взялись за топоры, поставили первую раму, в метре за нею вплотную к забою вторую... и на этом работу закончили, хотя забой был к дальнейшей работе снова готов. На первый раз было достаточно. Почин был удачным. Два метра штрека были пройдены, как и планировалось, и не за смену, а, фактически, за половину её. Обо всём этом, мы без всякого уговора никому не сказали – зачем же козыри свои открывать.

Что значит всё-таки интерес?! О возможности вруба водой кроме нас, забойщиков и проходчиков так никто никогда не узнал. Все держали язык за зубами. И без слов, и без договоров все разом смекнули – болтать нам невыгодно. Сразу бы нормировщики норму повысили: меньше шпуров, меньше затраты труда на бурение, зарядание – стало быть меньше расценки за метр пройденной выработки, меньше заработок рабочих, труднее план выполнять. Надзору ведь тоже не безразлично, сколько рабочие зарабатывают. При хорошем заработке – и дисциплину легче держать. Кроме того, раз нам проще штрек проходить, то и месячный план не составит труда выполнить и перевыполнить – а это премия всем на участке, а не только высокий заработок мониторщиков, и ещё маленький плюс – на взрывчатке у нас экономия получается, перерасхода не будет. Да и на бурении электричество экономим.

Перед второй планёркой я доложил Крылову, что уголь струёй воды не отбивается, что проходку ведём буровзрывным способом. Стало ясно, что и очистные работы в дальнейшем будем вести с помощью взрывчатки.

На планёрке на новую смену я снова назвал два своих метра, и хотя это вновь вызвало язвительную пересмешку, но общего хохота не было. И понятно, повторение не смешно.

... Прикинув открывшиеся возможности, я понял, что в марте мы не только доведём штрек до закреплённой анкерами верхней печи, но и столб угля под ней оконтурим печами для выемки. И об этом я доложил Крылову и получил от него задание спешно готовить проект под названием "Система разработки пласта III шахты 'Томь-Усинская' № 1-2 гидравлическим способом длинными столбами по восстанию с выемкой по падению обратным ходом". Собственно, это была камерная система, но "камера" была символом буржуазной хищнической добычи, и я старался избегать этого слова, хотя ничего хищнического у нас не было, а потери угля я намеревался снизить против обычной системы раза в два, в три.



Рис. 13. Людмила Сухарева

Как я неоднократно упоминал, система разработки пласта давно сложилась у меня в голове, надо было только оформить её на ватмане, в чертежах, и написать пояснительную записку. Этим я занимался урывками весь январь, совмещая руководство участком с этой работой.

... Наши ребята тем временем наловчились за смену дважды взрывать уголь в забое, смывать и крепить, подвигая его уже не на два метра за смену, а на целых четыре. Чуть позже, когда будут готовы составные штанги, они начнут бурить шпурсы сразу на всю эту длину и уже за раз, а не в два приёма станут брать эти четыре метра. За сутки выходило двенадцать метров проходки.

... ну, и я на планёрках уже не два метра, а четыре в сменном задании называл, а вскоре и восемь, после того как мы миновали печи "Союзгидромеханизации" и начали проходить две выработки. Второй штрек, параллельный аккумулирующему, нам нужен будет в последующем для подачи воздуха на участок за счёт общешахтной струи. А пока воздух в забое давал ВЧП, установленный на откаточном штреке.

В этих заботах январь пролетел незаметно, и зашелестели листки февраля, срываемые с отрывного календаря. Но, прежде чем продолжить рассказ о делах производственных, отвлекусь на перемены в личных делах.

... В ближайшую после Нового года субботу вечером с бутылкой шампанского в руке я постучал в дверь квартиры моих новых знакомых – электрических звонков в квартирах у нас не было по причине отсутствия таковых. Дверь мне открыли сразу, не спрашивая. В проёме стояла невысокая миловидная девушка, полненькая, но в меру, полнота эта даже ей шла. Да, так вот, на пороге стояла эта самая девушка, глядя на меня вопросительно.

Смущённый от неожиданности – я ожидал увидеть Августу или Гену, – я спросил: «Здесь Буравлёв Геннадий живёт?»

Здесь, – ответила девушка, – да вы проходите...

И тут за спиной её показалась другая девушка, худая, высокая, но с лицом, красотой меня сразу сразившим. Я как увидел его – так и глаз не мог отвести. Смотреть на неё было уже наслаждением. Я и смотрел, не двигаясь от порога, с шампанским в руке.

– Да проходите же, – снова пригласила меня пухленькая, прехорошенькая, совсем ещё юная и, как показалось, весьма смешливая девушка.

Я вошёл.

– Гены и Августы нет сейчас дома, – продолжала она, предлагая раздеться.

В прихожей Я передал ей бутылку, снял шапку, галоши. повесил пальто.

– А теперь давайте знакомиться, – девушка не выпускала инициативы из рук и протянула мне маленькую ладошку.

Я осторожно пожал её тёплые пухленькие прелестные пальчики: «Владимир Платонов».

– А я Лида Сухарева, сестра Августы.

Я перевёл глаза с Лиды на высокую статную девушку и снова восхитился её красотой.

– Люся Сухарева, – улыбнулась она, но руку не протянула.

Девушки усадили меня за стол, и мы непринуждённо разговорились. От них я узнал, хотя по фамилиям сам догадался, что они сёстры Августы. Лида – самая младшая, затем Люся, Августа, и ещё одна, самая старшая. Та живёт с матерью и отцом недалеко от Казани на станции Высокая Гора.

... я огляделся. В квартире была одна комната, и хотя четвёртая сестра жила далеко, я всё же не мог удивлённо себя не спросить, где они тут все помещаются?

Между тем время шло, а Августы с Геной всё не было. Я почувствовал, пора собираться. Распрощавшись с девушками, я вышел в подъезд, тут Лида, вышедшая вслед за мной, напомнила мне о шампанском, протягивая оставленную в прихожей бутылку. Но я взять её наотрез отказался:

– Всё равно ведь придётся её здесь распивать...

... Второго посещения я не запомнил. Но не быть его не могло, иначе не зачистил бы я в этот дом, и бутылку шампанского за знакомство мы, конечно, распили и не одну.

Итак, я в Люсю влюбился с первого взгляда и ходил в этот дом только, чтобы увидеться с нею, чтобы взглянуть на божественное лицо, при виде которого сердце у меня замирало, хотя, надо признаться, оно в пропасть не обрывалось, как в пятьдесят первом году. В первый раз всё бывает острее... Ходил я ним не реже раза в неделю и быстро сдружился этими славными, чистыми и прелестнейшими людьми.

... дела на участке шли хорошо. Мы наращивали продвижение работок, начальство ни малейшего недовольства моей работой не проявляло, ни разу не сделало мне ни одного замечания, и я уверенно шёл к намеченной цели подготовить участок к добыче угля в марте месяце.

... и тут.

Если бы меня молотком ни с того ни с сего оглушили, это бы не было так неожиданно и внезапно...

... Двадцать шестого февраля утром – я утренний наряд проводил – заходят на участок Свердлов и Малышев и говорят, только что видели, на шахту приехал Мучник и прошёл к Плешакову. Ну что ж, это понятно, не с меня же ему начинать. Значит, на наши дела решил посмотреть.

... я заканчиваю наряд, рабочих ещё в кабинете полно, как входит к нам Плешаков, но без Мучника, а с подтянутым сухоощавым человеком средних лет и среднего роста, смуглым, чернявым, в костюмчике светло-коричневом, и говорит без всяческих предисловий:

– С завтрашнего дня начальником гидрокомплекса будет у вас Буравлёв Андрей Иосифович, – и показывает своими глазами на сухопарого.

У меня глаза на лоб, верно, полезли. Как же так?! Ничего заранее не сказал, не предупредил, никаких претензий не выказал... И на тебе... Подлости такой я ещё в жизни не видел. И не знаю, что же мне делать? Как же мне на это всё реагировать? Но держусь, вида не подаю, что это удар, что задет, да что там задет – убит, уничтожен. Плешаков между тем продолжает, услышав вопрос: «А что будет с Платоновым?»:

– Платонов у Буравлёва будет помощником.

Тут уж я совсем глупо спрашиваю у него:

– А как же Свердлов?

– Он будет вторым помощником.

... ну, такого ещё не бывало, чтобы два помощника у начальника, да ещё на участке, дающем в сутки всего полторы сотни тонн угля от проходки... но начальству много, видно, позволено...

... страшно дорабатывал я этот день. Я даже не догадался спросить какие всё же мотивы смещения моего, как обосновано это в приказе. И впервые задумался, что я ничего не могу предпринять и к Линденау, к Кожевину не могу обратиться, раз Плешаков с Мучником сговорились, раз Мучник меня так подло сдал. Сейчас бы я всё же потребовал объяснения у Плешакова, и съездил бы к Мучнику, а после выяснения всех обстоятельств – с жалобой к Линденау, – я ведь ничего не терял! Но тогда спасовал, и гордость чёртова не позволила за должность бороться. Только ахал, ах, дурак, ах, дурак, почему с Мучником еженедельный контакт не поддерживал, не рассказывал, как сами справляемся со всеми проблемами, как успешно начали работу и неплохо ведём. Почему за два года я ни разу не напомнил о себе Линденау? Нет пощады и прощения дураку...

На завтрашний день появился приказ без всякой мотивировки: просто назначить Буравлёва начальником, а помощниками – Свердлов и меня. Мне оставалось только догадываться, как Плешаков (вероятно, с Филипповым сговорившись) сумел ловко мне за всё отомстить. Нет, похоже, они меня не чернили, просто Мучника убедили, что участок не рядовой – всё же тысяча тонн, – и сюда бы надо начальника с опытом. А Мучник сосватал сюда Буравлёва с "Полысаевской-Северной", где тот начальником участка работал.

... на завтрашний день Буравлёв вместе со мной и со Свердловым давал первый наряд. А ещё через день, с первого марта, в масштабах бассейна был начат эксперимент, повергший меня совсем в удручённое беспросветное состояние, вернувший меня к первым месяцам начала работы. Впрочем, экспериментом он тогда не считался, им он сделается через месяц, а тогда утверждалось новое положение навсегда. Институт помощников начальников, равно как и горных мастеров упраздняясь, вместо них на участках оставались три сменных помощника с обязанностями горных мастеров и правами дачи наряда. То есть я одним махом возвращался в исходное состояние, с чего на шахте работу свою начинал. И вместо интересного дела – унылое наблюдение за рабочими в шахте и замер пройденных метров за смену.

... бей в шахте баклуши, обходи забои, и убедившись, что всё обстоит в них в порядке, рабочие трудятся, механизмы исправны, нарушение техники безопасности нет, дремли себе где-либо в защищённом от сквознячка тупичке. Но и дремать-то не очень сподручно, холод сквозь спецовку, под которой фуфайка ватная и ватные брюки, всё равно проползает, и тогда, чтобы хоть немного согреться засунешь за пазуху бензиновую лампу, потомка известной две сотни лет рудничной лампы с предохранительной сеткой вокруг язычка пламени – но много ли пользы от горящего фитилька?! Нет, не такой будущности себе я желал. Так бездарно губить своё время и жизнь? Не решать каких-то задач, быть униженным беспредельно – было мне вынести не под силу...

И я заметался в поисках выхода. С шахты я решил уходить. Я разослал письма знакомым ребятам в Гидроугле, в том числе и Славе Суранову, и даже от отчаянья Людмилу просил разузнать, нет ли где в комбинате или в образованном совнархозе отдела гидродобычи, чтобы попробовать туда перебраться. Славу я тоже просил мне ответить, нет ли вакансий в их институте. Напрямую идти к Мучнику не хотел – не мог, не хотел унижаться перед непорядочным человеком. Он, хотя бы приличия ради, перед тем, как сдать

меня, со мною поговорил! Как-никак мы с ним лично были знакомы. Впрочем, не более, чем с Плешаковым.

Ответы поступили мгновенно, но были неутешительны. Славик писал, что вакансий у них сейчас нет, но в Луганске на Украине совнархоз образовал отдел по гидродобыче, «об этом лучше всего у Лёхи Коденцова узнать, он там в больших чинах ходит». Ну, о чинах Славик сильно преувеличил, но связи у того действительно были, он стал старшим научным сотрудником в окружении (вот тут роль Игорь сыграл!) близком к председателю Луганского совнархоза, коим после ликвидации министерств, стал Антон Саввович Кузьмич.

Но пока Украина в моём сознании не зацепилась, и я Коденцову, конечно, не написал. Я искал работу в Кузбассе.

Людмила в своём письме приглашала приехать: «Очень хочется с тобою поговорить. Кстати что-нибудь и с устройством на работу уладим. Я бы на твоём месте сделала так: проработала до августа там, а потом поступила в аспирантуру в наш институт. В комбинате есть подотдел гидродобычи, но нужны ли туда люди, я не смогла узнать...»

... на это письмо я ей не ответил, в аспирантуру меня пока не тянуло. Мне хотелось реального дела, хотя, если по правде, какое реальное дело в отделе или в подотделе?! Но в Кемерово я в марте всё же приехал и совсем неожиданно для себя. Меня вызвал Крылов: «С апреля гидрокомплекс становится добычным; ясно, что к очистным работам вы его подготовите. Но система разработки пласта не утверждена горным округом Госгортехнадзора. Поскольку систему проектировал ты, и здесь ни у кого она возражений не вызывает, то тебе и в горном округе её защищать. Словом, выписывай командировку на три дня и поезжай в горный округ систему свою утверждать».

Приехав в Кемерово, я зашёл в магазин, купил бутылку марочного муската и отправился на ночлег в общежитие своего института. Остановиться в гостинице мне как-то в голову не пришло. Непривычно для меня это, видимо, было. Однако же в Осинниках останавливался... но то, можно сказать, от безвыходности... Впрочем... бутылка вина настроения улучшает. Значит, увидеться с Людмилой хотел.

... Общежитие и институт всё ещё на азиатском берегу Томи, хотя новые здания в центре уже выстроены. Переселение отложили до лета. Новый год, учебный, – в новом здании начинать.

В общежитие я попал затемно, в институте спросил, где найти секретаря комитета комсомола, и мне и кабинет, и комнату её указали. Не помню, где я встретил её, в коридоре ли института, направляясь к её кабинету, то ли застал её в комнате общежития, в дверь

постучав... да, у неё была своя комната – как преподавателю и комсоргу, стало быть, выделили.

Но самой встречи не помню, как сказано. Вижу себя стоящим в её комнате. Не раздеваясь, вытаскиваю из портфеля бутылку вина, ставлю её у стены у дверей. Почему-то продолжаю стоять. Или это мне сейчас только кажется, что я во всё время нашего недлинного разговора стою.

... а она на стуле сидит предо мной посреди своей комнаты – красивая ослепительно, видно был пик цветения её красоты. И как выпукло подчёркнуты груди под свитером или кофтой. Она словно создана для обожания. О, как я люблю её в этот миг! Ноги её – в чёрных туфлях на каблучке и в чулках то ли шёлковых то ли фильдеперсовых телесного цвета, и так они ей ладно пришлись, так изящный изгиб икр подчёркивают, и так, на коленях натянутые, блестят – дух просто захватывает. Очень красивы и обольстительны колени её, как раз под линией чёрной юбки, лежащей поверх. И кружится у меня в голове, до того она мне желанна! Но мы говорим о другом, о чём-то для меня сейчас несущественном, то есть на самом деле существенном, о работе; она по-прежнему рекомендует в аспирантуру мне поступать... Но разве для меня сейчас это важно? Мне важно понять, о чём она со мной хотела поговорить, я ловлю её взгляд, вслушиваюсь в интонации голоса, но они спокойны, нет, не чувствуется в них интереса ко мне, и разговор наш быстро исчерпывает себя. «Да, не любит», – это с горечью я окончательно понимаю и завожу речь о ночлеге:

– Можно где-либо здесь, в общежитии, заночевать?

– Можешь у меня оставаться, – она жестом показывает на вторую кровать в её комнате.

Всё смешалось у меня в голове после такого. Это ведь можно понять, как... но я быстро трезвею. Да, каким же счастьем было бы остаться сейчас у неё. И я бы с восторгом остался, если бы она жестом ли, словом, мне показала, что я ей не совсем безразличен как человек, как мужчина! Что я не просто старый знакомый, сокурсник. Но этого нет, и в голове бьётся строчка письма: «Я не люблю тебя, Вова». И я резко взрываюсь. Насилую себя, переламываю:

– Нет. Лучше я переночую у кого-либо из студентов.

Она встаёт и уходит из комнаты. А я стою, размышляю... Нет, как мне ни больно, я правильно поступил. Спать рядом с ней? Но она меня бы к себе не пустила, ночи на "Нахимове" и у тёти в Алуште ещё так свежи в памяти!.. Спать в одной комнате с нею?.. Но сейчас вряд ли бы я так безмятежно уснул. Да, пытку страшнее трудно и выдумать...

Людмила входит и, возвратившись, говорит мне, в какой комнате есть свободная койка.

Я беру свой портфель, подхватываю в руку бутылку, ощущая себя за это презреннейшим крохобором, говорю: «До свиданья!» – и ухожу. Нет, это не крохоборство, с бутылкой. Я хотел её с нею распить, если бы встреча у нас получилась хоть немного теплее. И вообще мне на эту бутылку плевать! Но я не хочу, не могу, чтобы она это вино распивала с другим каким-либо мужчиной.

... В комнате у студентов я откупориваю вино, и мы осушаем стаканы за будущие удачи.

Утром я просыпаюсь, когда в комнате нет никого. Студенты на лекциях. Одевшись, я спускаюсь к Людмиле, к ней на этаж, стучу в дверь, но не получаю ответа. Я нажимаю на ручку – дверь заперта; стало быть, Людмила уже в институте. Жаль, опоздал, не досказал всего, что хотел, всего, о чём ночью мысли роились, но жалеть уже поздно. Примостившись на подоконнике в коридоре против двери, я пишу на листочке бумаги: «Я сухой человек (имея в виду свою худобу, сухощавость). Сухой аспирант – это ужасно». Ужасно звучит сочетание звуков, этих "сх", "асп", что для меня, как ни дико, это немало важно. Я сворачиваю листочек в трубочку и засовываю в ручку двери Людмилиной комнаты и ухожу. Теперь навсегда. Спустя много лет я вспомнил об этом последнем вечере с любимой, прочитав у Мольера:

Раз вы не можете в счастливой стороне,
Как всё нашёл я в вас, всё обрести во мне,
Прощайте навсегда. Как тягостную ношу
С восторгом, наконец, я ваши цепи с брошу.

Да, цепи я сбросил. Хотя, положим, никакого восторга у меня это не вызвало. Было горько оттого, что эта красивая, умная женщина не любит меня.

А пятьдесят лет спустя она мне написала: «Я всегда любила тебя. "Не люблю" – написала в плохом настроении».

Разве можно в это поверить? При последнем свидании она этих слов не сказала, ни намёком не показала, что не безразличен я ей. Если любила, могла ли так безразлично отнестись к моему уходу от неё навсегда. Не понимать, что я никогда после этого не вернусь, она не могла. Однако, не удержала.

... Правда, судьбе было угодно ещё дважды ею меня поманить, но я выдержал, не поддался. Всё же верно было сказано кем-то: «Счастье стареет, если его слишком долго ждать...» Этой судьбе было также

угодно устроить ещё две мимолётные встречи, но всё уже было давным-давно решено, в этот раз ею, в последовавших – мною самим.

... В Кузнецком округе Госгортехнадзора меня принимает в своём кабинете главный инженер горного округа. Выслушав, с какой целью я прибыл к нему, и мельком взглянув на великолепную кальку на голубой полупрозрачной материи, снятую маркшейдерами с моего чертежа, главный вызывает начальников всех отделов горного округа.

... За длинным столом, они, передавая друг другу, рассматривают чертёж и пояснительную записку. По ходу дела я даю пояснения.

... в итоге, после короткого обсуждения, главный инженер заявляет:

– Я не могу утвердить этот проект, так как по Правилам Безопасности из очистного забоя должно быть два выхода. У вас же гидромониторщик из забоя может выйти лишь по одной единственной выработке – разрезной печи.

Я возражаю по существу. Мне почему-то и в голову не приходит в защиту свою сослаться на аналогию, на прецедент с "Полысаевской-Северной". Утверждён же в округе проект системы разработки пласта Полысаевского I-го, там тоже один выход из очистного забоя.

– Но гидромониторщик находится не в очистном забое, – я стараюсь придать голосу своему убедительность, – он у края его, в печи, в подготовительной выработке, пройденной в целике и хорошо закреплённой. Это ведь всё равно, как если б забойщик находился на вентиляционном или транспортёрном штреке у лавы. В случае обрушения в лаве – у него только один путь отхода, по штреку, где он находится. Второго пути у него нет. Проход через лаву завален...

... Разгорается спор, прерываемый обеденным перерывом. После него обсуждение начинается снова. Я упорно доказываю, что в проекте нет отступления ни от духа, ни от буквы Правил Техники Безопасности.

... часть сотрудников округа склоняются принять мою сторону, часть – колеблется в нерешительности. Наконец, главный инженер ставит точку в непомерно затянувшемся обсуждении. Подвинув к себе голубую красивую кальку, там, где в правом верхнем углу заблаговременно тушью начертано:

"Утверждаю": Главный инженер
Кузнецкого округа
Госгортехнадзора СССР

ставит тушью свою длинную размашистую подпись и дату.

Всё. Проект утверждён. В этот момент я счастлив. В Междуреченск возвращаюсь победителем, хотя удивлён, что пришлось так

долго доказывать очевидную истину. Тем не менее, толика гордости за себя есть, что скрывать. Однако общее настроение препоганое. "Прощанье с Людмилой" далось мне тяжело. Как ни криви душой, а не было для меня драгоценней её человека.

На шахте я передаю утверждённые документы Крылову, рассказав о споре со специалистами округа, и приступаю к исполнению своих бессмысленных нудных обязанностей. В первую же освободившуюся минуту отправляюсь к Сухаревым-Буравлёвым. К этому времени я стал у них завсегдатаем, и мы часто устраивали дружеские пирушки непременно с танцами. И здесь, в приветливом доме, едва увидев в Люсю Сухареву, изумительное лицо её, но совсем в другом роде, чем у Людмилы Володиной, я задохнулся от счастья. Володина ушла в забытьё, её место враз заступила другая. «Люся, ты победила», – произнёс я про себя, имея в виду её победу в сердце моём над кемеровской Людмилой. Фраза эта свидетельствовала только о внутреннем моём состоянии. Никакой борьбы за меня, к несчастью моему, не было; ни той, ни другой я был не нужен, иначе дело могло обернуться совсем по-другому, и в каждом случае совершенно по-разному.

Тридцать первого марта было объявлено об окончании эксперимента со сменными помощниками, и само слово эксперимент прозвучало впервые. Ни слова не было сказано, что он окончился полным провалом, но было именно так. Возроптали во всесоюзном масштабе начальники участков, хотя до бунта было, конечно, ещё далеко. Сменный помощник отвечал только за свою смену, и о её работе, оцениваемой тоннами или метрами, заботился прежде всего. В результате очередная смена заставляла зачастую неподготовленные к работе забои. То есть, было всё то, что происходило у меня в первый месяц работы на шахте... Один начальник за тремя сменами не успевал проследить. Кроме того, на него свалилась вся участковая "бухгалтерия", весь учёт, подготовка технической документации, согласование всех возникавших вопросов с отделами управления шахты и, прежде всего, с отделом нормирования.

Я и Свердлов вновь стали помощниками начальника комплекса, в смены были назначены горные мастера. Это было уже веселее.

С первого апреля нам был установлен план добычи угля – четырёхста тонн в сутки, – и мы начали очистные работы в первом столбе.

... и в первый же день случился неожиданный казус.

Буравлёва в тот день на шахте не было, а возможно это было до Буравлёва, я провёл первый наряд, отправил первую смену в шахту,

подписал взрывнику путёвку на получения аммонита и детонаторов и собирался идти на планёрку, как ушедший взрывник возвратился и сказал, что начальник участка вентиляции, им тогда был Калугин, путёвку на взрывчатые вещества подписать отказался.

Я тут же снимаю телефонную трубку, девочка с коммутатора соединяет меня и Калугина.

– Это Платонов, – говорю я. – В чём дело? Почему вы взрывнику моему не подписываете путёвку?

Трубка мне отвечает:

– У вас гидромонитор не заблокирован с ВЧП.

– Что?! – переспрашиваю я, озадаченный нелепым поворотом пустячного дела. – А зачем его нужно блокировать?

– По Правилам Безопасности оборудование в тупиковом забое, проветриваемом ВЧП, должно быть заблокировано с ним.

Я расхохотался:

– Но это же касается искроопасного электрооборудования!

– Нет, это касается всех механизмов в забое...

– С электрическим двигателем, – парирую я, продолжая зависшую фразу.

Калугин молчит, и я риторически вопрошаю, не желая с ним спорить:

– Но гидромонитор тут причём? Это даже вовсе не механизм, а труба на шарнире, из которой хлещет вода, искр, как известно, не высекающая...

Тут Калугин проявляет строптивость:

– Монитор не должен работать, если выключен ВЧП. Люди в непроветриваемом забое не должны находиться.

– Но они туда, не включив ВЧП, не пойдут.

– Они могут забыть...

Тут выдержка мне изменяет, продолжать в таком тоне этот несуразный разговор я не могу и вскипаю:

– Но ведь и проходчик с лопатой, идущий в тупиковый забой, может забыть включить вентилятор?! Так что же, прикажете и лопату проходчика заблокировать с ВЧП? Но ПБ этого ведь не требуют. Хотя, в принципе, лопата опаснее монитора, при ударе её о породу искра выскочить может. Лопату блокировать с ВЧП! – не могу я уняться. – Это же глупость!

Калугин, однако же, не сдавался, но тон его стал не очень уверенным, и как-то в словах его намекнулось, что это абсурдное требование исходит из треста, и даже от главного инженера его, от Филиппова.

Минуя почему-то Крылова, возможно, его не было на наряде, я позвонил прямо Филиппову:

– Антон Порфирьевич, – пожаловался я ему, – Калугин взрывнику не подписывает путёвку из-за того, что монитор не заблокирован с ВЧП.

– И правильно делает, – отрезал Филиппов.

– Что же тут правильного, – настаивал я и привёл свои доводы.

Но Филиппов не хотел меня слушать.

– Люди не должны работать при выключенном ВЧП.

– Но они и не работают, они никогда и не выключают его, воздух им самим нужен прежде всего.

– Они могут забыть, – логика Филиппова и Калугина подозрительно совпадали, – и начать работать в забое.

– Но и проходчики, если не надо в забое бурить, а только крепь ставить в нём, могут забыть, однако же...

Главный инженер не дал мне закончить и стоял на своём.

Нет смысла приводить здесь весь наш диалог.

– Конечно, – вздохнув, уже по инерции чисто, заканчивал я с ним разговор, – в принципе всё, конечно, возможно. Можно и монитор заблокировать с ВЧП. То есть не сам монитор – это как раз неосуществимо физически, – а насосы в насосной, чтобы воду качать не могли. Но для такой блокировки надо пускатели тех и других линий в два километра связать. Да и не знаю, есть ли в Союзе пускатели, позволяющие блокировать оборудование, работающее на таких разных напряжениях тока. Всё-таки – триста восемьдесят вольт ВЧП и шесть тысяч – насоса... Мне такое не по плечу, у меня просто знаний не хватит, тут надо подключать институт. Хотя это легче, наверно, чем лопату проходчика с ВЧП.

Не пойму, как у него хватило терпения выслушать все мои возражения и заключительную тираду. Больше говорить было нечего, и, сказав ему: «Извините за беспокойство. До свиданья», – я положил трубку.

Первая смена, взрывчатки не получив, простояла в забоях.

На втором наряде, отправляя смену в шахту с прежним заданием, я рассказал о случившемся подошедшему Свердлову. Мы весело с ним посмеялись над тупостью человеческой, хотя весёлого тут было мало – сказалась привычка с юмором к неприятностям относиться – и я, ничего не согласовывая ни с кем, снова выписал

взрывчатку для взрывания угля в заходке. Взрывник с путёвкой ушёл, но на этот раз на участок он не вернулся.

– Дошло, – сказал Свердлов.

И тут зазвонил телефон. Я прижал трубку к уху:

– Слушай, Платонов, – раздался в ней голос Филиппова, – кто эту историю с блокировкой затеял?

Ну, что мог я ему на это сказать? «Да вы же Антон Порфирьевич её и затеяли», – но доказательств у меня не было никаких, к тому же лишний раз дерзить начальству мне не хотелось, да и неловко – всё же годами он много старше меня.

– Калугин, наверное, – помешкав, ответил я, – или кто-то его надоумил...

Филиппов, ни слова не говоря, отключился.

... Вечером в дружном семействе новых знакомых, сидя с Геной на обширном диване в окружении милых прелестниц, я пересказал в лицах красочно всю эту историю, чем немало всех позабавил. Смеялись все от души.

Но вернёмся к делам.

... Первая смена в первый день выемки угля из столба обурила десятиметровую заходку ручными электросвёрлами с составными четырёхметровыми штангами веерообразно из нижних и верхней печей и из сбойки между печами на всю мощность пласта, вторая смена зарядила шпуры и, взорвав четыреста килограмм аммонита, получила более тысячи тонн хорошо измельчённого (до десяти сантиметров) угля, который успешно за две последующие смены и смыли. Всё было отлично. Но несколько смен уходило на подготовку заходки. Трудоёмко было обуривание, следовало в дальнейшем подумать о колонковых свёрлах вместо ручных. Много времени уходило на изготовление глиняной забойки – пыжей. Не было ещё полиэтиленовых шлангов, которые позже, загоняя в шпуры и под давлением в них воду подав, стали использовать вместо этой забойки. В общем, было немало проблем и задач для решения.

... Кончился весенний месяц апрель с его тающим снегом, с ожиданием в душе радостных перемен, которые всегда возрождаются вместе с весной.

... подвели и итоги первого месяца работы по добыче угля. Среднесуточная добыча в апреле составила четыреста восемьдесят тонн. План был перевыполнен на двадцать процентов, и это сразу обернулось весомой прибавкой к окладу – надзор бешеную премию получил, и у

рабочих были заработки отличные, пять тысяч, в среднем, помнится, получилось. А когда у подчинённых заработки хорошие, ими легко управлять. Все указания без пререканий исполняются мигом.

... Оклад мой в то время был чуть больше двух тысяч пятисот рублей. Аванс – тысяча – был прочно забыт, и сейчас в первых числах месяца мая я мог ожидать, как бывало, ещё тысячу двести (ежемесячно из зарплаты высчитывали 13%-ный налог).

И вот, прихожу я после получки домой, вытаскиваю из кармана пачку сотенных купюр и небрежным движением – знай, мол, наших! – бросаю её на свой письменный стол. Мама так и ахнула – больше шестидесяти красивых хрустящих бумажек самого большого достоинства!

– Никогда в жизни столько денег зараз в руках не держала!

... Мы уже знали, что никогда никому Плешаков премию полностью не выплачивал, всегда находил предлог, чтобы срезать её хотя бы наполовину. Но нам выплатил всю. Свердлов, у которого, в отличие от меня, был опыт получения премий, прокомментировал сразу:

– Ради первого раза выплатил всё...

Тут самое время сказать, что с премиями нам в этом году повезло. Вездесущий Никита Хрущёв усмотрел, что в заработках шахтёров тарифная ставка или оклад составляют меньшую часть. Большая же – накручивается благодаря прогрессивке и премиям. И решил ликвидировать беспорядок. Совет министров принял решение повысить с первого января этого года тарифные ставки рабочих (умолчав стыдливо, как водится, об одновременном повышении норм) и оклады надзору. Размер премии ограничили потолком в сорок процентов. Раньше верхнего предела премиям не было никакого, хоть тысячу процентов мог получить, если план, скажем, процентов на сто перевыполнишь, и если Плешаков её не убавит. Хотя это, конечно, за гранью возможного.

Мало того. Если раньше премию платили по результатам работы за месяц, не беря во внимание, как работали в прошлом, то теперь обязательным становилось дополнительное условие: выполнение плана с начала года. Как бы ты в этом месяце не сработал, пока не погасишь должок, если он у тебя накопился с начала календарного года – никакой премии тебе не видать. А надо ещё и в плановую себестоимость уложиться и в нормы расхода леса, материалов, электроэнергии и ВВ. Словом, получение премии становилось проблемой. Но пока не у нас. С первого января новая система оплаты труда вводилась в Европейской части Союза. Введение её в восточных

районах отложили на год. Так что нам удалось ещё застать блаженные времена для шахтёров, и этот год стал для нас нашим первым и последним чрезвычайно денежным годом.

... Была у Хрущёва ещё одна нехорошая задумка. При невыполнении плана платить надзору восемьдесят процентов оклада. Но мысль эта вызвала такой резкий и всеобщий протест, что была похоронена. Вряд ли, впрочем, протест тут что-то решил. Просто Никита вовремя одумался: при хроническом невыполнении плана большинством шахтных участков в Союзе кадры начали бы разбегаться. Только большой заработок в шахту людей привлекает, не из любви же на опасный и каторжный труд под землю идут.

Итак, свою первую премию мы получили сполна. Но и прогноз Свердлова полностью подтвердился. Мы наращивали добычу. Соответственно нам из месяца в месяц план увеличивали, но мы так его перехлёстывали через край, что должны были бы получать по десять-двенадцать тысяч рублей, но ни разу планка не поднялась выше шести-семи тысяч. Это тоже неплохо, но всё же... кровные Плешаков отбирал, придираясь по малейшему поводу и без повода. Чаще всего фигурировала захламлённость выработок, это номер беспроигрышный – чурку или щепку нехитро в выработке найти, даже если их нет. Жаль, что не додумались мы ни разу опротестовать плешаковский приказ – пусть бы попробовал доказать: акты о наличии щепок не составлялись. Примера не было, все покорно молчали...

... Зато себя Плешаков ни единожды не обидел. Оклад у него был министерский – самая большая шахта в Союзе – десять тысяч рублей. И премии получал много лет ежемесячно не менее этого. Одна из подруг Люси Сухаревой, с которой и я подружился, служила в сберкассе и по секрету (тайна вкладов охранялась законом!) поведала мне, что у Плешакова на книжке более миллиона рублей. Сумма в те времена фантастическая. Автомобиль "Москвич" стоил восемь тысяч рублей, а "Победа" – двенадцать.

... но каково было моё удивление людской ненасытностью, когда летом, зайдя по какому-то поводу в трест, я увидел на столе секретарши в приёмной заявление Плешакова, уехавшего в отпуск, на имя управляющего с просьбой оказать ему на лечение материальную помощь в размере оклада. На заявлении была резолюция: «Бух./Выплатить 10000 рублей. Евсеев». Так я узнал, что не все люди в Советском

Союзе равны, есть категория людей, обладающих недоступными простым смертным привилегиями. Это начальство, начиная с руководителей предприятий, работники партийных, комсомольских и профсоюзных комитетов, органов светской власти, не считая начальствующий состав армии, МВД, КГБ. Они, кроме должностных окладов и оплачиваемого ежегодного отпуска, ежегодно получают так называемые лечебные в размере оклада, путёвки в привилегированный санатории, лечатся в специальных больницах и поликлиниках. Это меня возмутило. По Конституции все мы равны, и разница может быть только в окладах в зависимости от должности, занимаемой человеком. А у этих людей заработки и так высоки. Неужели Плешаков, получающий в год как минимум 120 тысяч рублей, нуждается в 10 тысячах для лечения? При том, что лечение в Союзе бесплатное...

... В июне как-то сами собой распределились обязанности между мною и Свердловым. Свердлов стал только горными работами заниматься, горных мастеров контролировать, мне Буравлёв поручил надзор за поверхностью: насосной станцией, отстойниками, трубопроводами, а в шахте – лишь углесосная станция оставалась у меня под контролем. Кроме того, на мои плечи легла вся техническая документация, ежедневный учёт добычи угля и проходки, месячные замеры и согласование норм выработки с отделом нормирования. Формально разделение это никак оформлено не было, и, работая большей частью теперь на поверхности, я оставался, как Свердлов, подземным помощником. Оклад мой сохранился без изменений, и подземный стаж тоже шёл. Для этого мне надо было соблюсти необременительную обязанность – пятнадцать раз в месяц переодеться в шахтёрскую робу и отметить в ламповой. Правда, переодевшись, я в шахту всё же ходил, то есть ездил, но, пробыв там часок, заглянув в углесосную, а иногда и на ведение горных работ из любопытства взглянув, я пешком возвращался вниз на отстойники. Разумеется, и наряды я рабочим давал. Тут сложилась такая практика. Буравлёв, как правило, был на первом наряде и по утрам решал все вопросы с шахтным начальством. Мы со Свердловым, чередуясь, давали второй и третий наряд. Часто на наряде бывали мы оба, кто-то, дав один наряд и сделав, что нужно за смену, успевал придти к следующему наряду, чтобы поболтать, узнать новости или, наоборот, поделиться своими, обсудить положение дел.

... Ещё в первый месяц работы на шахте, согласуя какую-то норму, я познакомился с нормировщиком, который вёл наш участок. Это был

высокий худощавый, но не узкий в кости, экономист, годом раньше меня окончивший Харьковский институт, Виктор Мирошниченко. Потом он исчез из моего поля зрения, вернее я исчез из его, оторвавшись от горных работ на два года. Запустив гидрокомплекс, я вновь начал в отдел нормирования заходить: надо было рассчитывать и утверждать нормы выработки для рабочих. И снова столкнулся там с Виктором. Он стал нормировщиком гидрокомплекса, хотя вёл и другие участки.

После разделения обязанностей со Свердловым нормирование осталось делом моим, и наше общение с Мирошниченко продолжилось. Работалось с ним мне легко. Все вопросы решали мирно, без споров, мои доводы он принимал во внимание и, найдя в справочнике нужные данные, по представленным мною объёмам работ выводил норму выработки, не особо для рабочих обременительную. Словом, мы хорошо относились друг к другу, но за пределами шахты не встречались нигде никогда, даже в компаниях; несомненно, они были разные и не пересекались ни разу.

... Занимаясь механической частью, зайдя как-то в подземную углесосную, я заметил, что ни один из двух углесосов не был включён, между тем как дробилка работала, и вода несла через неё в зумпф уголь, смываемый из забоев.

– Василий Ионович, – сказал я Долгушину, который в ту смену замещал заболевшего машиниста, – так ведь недолго и прозевать, пульпа перехлестнёт через край, и углесосную, да и штрек углём завалим.

– Владимир Стефанович, а вы посмотрите, – Долгушин подвёл меня к краю бетонной стенки колодца, в который была опущена дуга всасывающей трубы углесоса.

Я стоял и смотрел на чёрную поверхность бурлящей в колодце воды. Пульпа в зумпф из шахты прибывала и прибывала, а уровень её в зумпфе не повышался ни капельки. Я смотрел с удивлением и вдруг хлопнул себя рукою по лбу:

– Да это ж сифон!

– Так точно, – рассмеялся Долгушин.

Оказалось, машинисты сразу приметили – после включения углесоса уровень пульпы в колодце начинает стремительно понижаться, несмотря на постоянный приток её из забоев. Чтобы всас углесоса не хватил воздуха невзначай – тогда бы прервался поток, и пришлось бы заново углесос водой заливать и заново запускать – стали на время углесос выключать, останавливать. Тут и заметили, что уровень пульпы при остановках выше определённого не повышается, а поток шурует

через остановленный углесос, проворачивая рабочее колесо с лопастями... Ну, ребята смышлёные, сразу поняли, что к чему. С тех пор так и делали. Запустят углесос, как только вода потечёт из забоев, качнут, чтоб она по трубам пошла, и выключат. Вода, а за нею и пульпа, по трубам выйдя из шахты, вниз летят самотёком, образуется разрежение – перепад-то какой, сто метров ровно! – оно то и тянет уголь с водой по трубе из колодца без всякого углесоса... Видели, как шофёр переливает из бака бензин в бутылку по резиновой трубочке?.. Ртом потянет, чтобы в трубочку из бака его засосать, а потом быстро опустит. И бензин сам идёт через колено подъёма, лишь бы был перепад, то есть бутылка была ниже бака. В механике и гидравлике это сифон.

... Ну, у нас то высота подъёма первоначального намного больше – метра два или три, но до Торричеллиевых десяти далеко. Вот и гонит атмосферное давление пульпу в трубу, где давление упало из-за возникшего разрежения.

– Ну, молодцы, – говорю я, восхищённо, быстро смекнув, что у нас ещё один резерв появился: и рабочие колёса углесосов меньше изнашиваются (хотя пульпа и идёт через них, но, крутясь вхолостую, они меньше чувствуют абразив), а стало быть, меньше ремонтов, и экономия электричества получается. Если бы у нас был мотор-генератор, то мы и сами могли бы в шахтную сеть давать своё электричество. Но генератора не было, и электроэнергию мы дополнительно не вырабатывали, а вот о том, что без всякой энергии со стороны, мы уголь качаем – молчок. Где-то и перерасход может возникнуть, и он этим резервом покроеется. И за экономию электричества положена премия, правда, грошовая... но за перерасход – полное лишение премии. Это иметь в виду надо.

Вот такие перемены в работе у меня наступили, стал я заниматься механической частью нашего гидрокомплекса. Не самими механизмами. Этим Малышев занимался: профилактические ремонты, устранение мелких поломок в насосах и углесосах, пускателях, вентиляторах, свёрлах. Я же – как бы это выразиться точнее – организовывал бесперебойную согласованную работу всего комплекса, чтобы все и всё было в нужное время в нужных местах. И текущий контроль вёл, разумеется. При серьёзных авариях и с Малышевым приходилось работать, а иногда даже и Свердлова подключать.

В совместных делах я с Виталием подружился. Он начал приглашать меня в дом. Жил он с женой в трёхкомнатной квартире родителей. Отец его, человек роста большого и сложения мощного, заведовал горторготделом.

Виталий показывал мне свои фотографии, они у него всё время новые появлялись. Он неплохо фотографировал, кроме того, разные штучки смешные устраивал, делая по два снимка на один кадр на фоне чёрного одеяла. То изумлённо сам с собою здоровался, то сам себе давал прикурить, ну, на снимках не сам себе, а второй такой же Виталий подносил горящую спичку к папиросе в зубах у первого, точно такого, Виталия. Он объяснил, как это у него так получалось: в одеяло воткнута иголка, и при первой съёмке на кадр, он находится слева, при второй – с правой стороны от метки, ориентируя положение рук, спички ли, папиросы. Но я штучками этими не заразился... А он всё уговаривал меня тоже начать фотографировать и обзавестись собственным аппаратом. Я робел, не решался – всё же незнакомое дело непросто освоить. О былом алуштинском опыте фотографирования и печатания фотографий я как-то забыл.

Но Виталий не унимался. «Приличная камера не так уж и дорого стоит, – убеждал он меня, – вполне тебе по карману. Тысячу двести рублей...» – А в ответ на то, что я ничего не умею, позвал меня наблюдать за работой. Несколько вечеров я провёл у него в затемнённой наглухо ванной, смотрел, как проявляет он плёнки, печатает фотографии. При этом Виталий без конца повторял: «Залог успеха – чисто с мылом вымытые руки». И этот девиз я на всю жизнь усвоил.

... В конце концов, я убедился, что и в самом деле не боги горшки обжигают, и на покупку решился. Я съездил в Сталинск и купил там ровно за тысячу двести фотоаппарат "Зоркий-3", проверив его, как меня наставил Виталий. Аппарат щёлкал исправно, перемотка крутилась, диафрагма изменялась по желанию, и ширина щели в шторках менялась в зависимости от установленной выдержки. Объектив "Юпитер-8" был с хорошей светосилой: один к двум, и просветлённой цейсовской оптикой, на чём Виталий настаивал непременно. Линза отсвечивала голубизной.

... Да, конечно, тысяча двести рублей для меня деньги посильные. Но это всегда так говорят, когда в сети заманивают. Купи, мол, вот это. Это недорого. И в самом деле, недорого. Но, купив, понимаешь вдруг, что этого мало. Что эта покупка лишь начало для трат. Она понуждает к последующим издержкам, и так без конца. Нужны увеличитель, бачки и кюветы, рамка для прижимания фотобумаги, пинцеты, резак, красный фонарь, наконец, а потом бесчисленно плёнка, бумага, проявители, закрепители... За исключением этих последних, ничего в области купить было нельзя – не было в магазинах. К счастью, неугомонный реформатор Хрущёв – и за это ему

большое спасибо! – продвинул новое дело: "Товары – почтой". Прейскуранты товаров лежали на почте, и можно было на почте, предварительно заказ оплатив, через некоторое время их получить.

... я выбрал в преysкурантах нужные мне принадлежности, отослал перевод вместе с заказом в Москву в "Посылторг".

Через месяц я всё заказанное получил.

К этому времени я обзавёлся учебником. "25 уроков фотографии" у себя в книжном магазине купил.

... Исповедуя постоянно напоминаемое мне Малышевым правило мыть руки с мылом перед занятием фотографией, я с большим рвением взялся за дело, и, хотя в искусстве фотографирования особо не преуспел, всё ж большинство снимков моих оказалось несравненно выше любительских.

... Жизнь моя внешне постепенно налаживалась, кончилась моя духовная изоляция, и муки любви к не любившей меня разом исчезли, вытесненные новым моим увлечением. Я получал много писем, у меня появились приятели и друзья, с которыми я весело, беззаботно проводил всё свободное время, не заботясь о будущем. Я жил настоящим и, довольный большими заработками, ни к чему в то лето и не стремился.

Я часто бывал у Китуниных, где стал совершенно своим человеком, заходил к Свердлову, в какой-то мере человеком со стороны, но которого принимают и приглашают, но милее всех были мне сёстры Сухаревы с Геною Буравлёвым. Августа и Лида, как мне казалось, искренне радовались моему приходу, Люся была приветлива, но держалась сдержанней, суше чем непосредственная, открытая Лида. А мне она нравилась больше и больше, и я был от неё уже почти без ума.

Гена и девочки были начитанны, с ними интересно поговорить не только о наших местных событиях, но и о вещах отвлечённых, поделиться впечатлением о кино, о прочитанной книге. Была у них тяга, свойственная и мне, сделать жизнь духовно насыщеннее. Наставника в этом деле не было никакого, шли мы на ощупь, и каждый дошёл до того предела, до которого самостоятельно мог добрести. При другом окружении мы могли бы продвинуться дальше. Но его у нас не было. Само оно к нам не пришло, а рискнуть оборвать пресную жизни и ринуться в неизвестное, никто из нас не решился.

... Приобщению к литературе, к искусству, помогали книги, неизвестные ранее книги, хлынувшие потоком в наш маленький книжный магазин. Были тут и "Испанский дневник" Михаила Кольцова,

и Фейхтвангер, его "Успех" произвёл на меня тогда сильное впечатление. Были Горький и Симонов, Стефан Цвейг и Хемингуэй, Вера Панова и Вера Кетлинская.

"Идиота" запрещённого до того времени Достоевского я читал запоем, продираясь, сквозь трудные, вязкие, как мне казалось тогда, фразы его языка, но простые и ясные для меня вот сейчас, когда недавно его перечитывал.

По подписке – а подписывать я начал решительно всё, такой был голод на книги – шла классика русская, советская, иностранная. Пушкин, Лермонтов, Есенин, Толстой Лев и Толстой Алексей, Фёдор Гладков, Арагон, Франс, Чапек...

... читая взахлёб разных авторов, я на двадцать шестом году своей жизни вдруг почувствовал, как вкус мой, хотя и с большим опозданием, определился. Я уже не смог бы читать там какого-либо Ажаева. Я, прочитав полстранички в начале, столько же в середине и страничку в конце, мог сразу вещь слабую от талантливой отличить. Вкус к языку у меня был и раньше, но теперь он обострился, я не просто мог по стилю определить, чьему перу принадлежит то или иное произведение известных писателей, но и в совершенно незнакомом авторе мог по стилю угадать талант или бездарность.

... А ещё недавно совсем, в институте, я на равных, без разбора читал, например, и превосходных Бальзака, Стендаля и любую советскую белиберду.

Теперь, прочитав в "Иностранной литературе" пьесу Артура Миллера "Рокко и его братья", я сразу обнаружил в нём большой литературный талант, а вот роман Бабаевского "Кавалер золотой звезды" в "Октябре" или "Знамени", невозможно читать – чушь собачья, а стиль там и не снился, хотя его нарасхват хвалили в газетах, в отличие от Дудинцева, которого буквально затюкали за очернительство нашей действительности. А вот он то, как раз, писательским талантом не обделён, и пишет увлекательно, искренне, честно.

... С романом Дудинцева вышла у меня незадача. С января пятьдесят седьмого я начал регулярно получать "Новый мир" и "Октябрь", "Иностранную литературу", читал их без пропусков от корки до корки – и романы, и повести, и пьесы, и стихи, и публицистические статьи, и литературную критику... Новый мир открывался перед глазами, хотя и в дозированных количествах, в той же мере мышление моё развивал. Я уже не принимал всё на веру, а пытался

самостоятельно оценить и осмыслить, что при скудости информации (само это слово в повседневность ещё не вошло) было совсем не легко. Но уже сомнению подвергал многие статьи в "Правде" и в "Литературной газете". Так я возмутился, когда обругали Дудинцева, и, сгоряча, даже письмо ругателям отослал, хотя... и в этом была незадача, прочитал лишь вторую половину романа его "Не хлебом единым...", номер "Октября", где первая часть была напечатана, на почте пропал, мне его, несмотря на все поиски, не доставили, а библиотеки журнал не выписывали. Так что судить мог я только по второй части романа, но и этого было достаточно, чтобы понять, что Дудинцев хороший правдивый писатель, не очернитель.

А вот травля Пастернака после присуждения ему Нобелевской премии как-то прошла мимо меня, хотя я об этом после в газетах читал. Вероятней всего потому, что его я, в общем, тогда и не знал. У тётки Наташи среди сохранённых ею книг, подлежавших уничтожению в доме отдыха академии имени Сталина, была половинного формата тонюсенькая книжонка его в мягкой обложке, стихи о войне. Эти стихи я в своё время прочёл, они мне не понравились, показались слабыми, и я о Пастернаке забыл.

И вдруг в прошлом году газеты подняли звериный вой. В Италии, кажется, напечатали его роман "Доктор Живаго".

И какими только бранными словами не оскорбляли поэта на страницах газет, на собраниях советских трудящихся.

Запомнилась фраза одного из рабочих, ставшая крылатой с тех пор: «Я романа не читал, но Пастернака осуждаю».

Пастернака исключили из Союза писателей СССР, Правление Союза и его Московская организация требовали высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства.

Из-за опубликованного на Западе его стихотворения «Нобелевская премия»:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Тёмный лес и берег пруда,
Ели, сваленной, бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, всё равно.

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так почти у гроба,
Верю я, придёт пора
Силу подлости и злобы
Одолест дух добра.

Пастернак был вызван к Генеральному прокурору СССР, где ему было предъявлено обвинение по статье "Измена Родине". Правда, обвинение осталось без всяких последствий – было доказано, что напечатали без ведома автора.

Вот такие у нас были порядочки, вот такая свобода слова, свобода печати

... Журналы вводили меня в круг явлений современной культуры, особенно "Иностранка", там были вкладки с рисунками и репродукциями картин современных художников мира, там писалось о музыке, об архитектуре, кино, об экспериментах в театрах. Там я узнал о чешской "Латерна Магика", там прочитал пьесу Павла Когоута "Такая любовь", буквально взбудоражившую меня тем, что я уже постигал и о чём начинал только догадываться, пьесу, вывернувшую наизнанку мир однопартийной тоталитарной системы. Пьеса шла сразу в двух планах: один официальный, как обо всём у нас (и у них, видимо, там) говорили, – шёл на сцене. И сразу за поставленным эпизодом на киноэкране прокручивалась та же сцена, но не так, как её только что сыграли актёры, следуя принятым догмам и установкам, а так как это было в действительности. Пьеса ошеломила меня откровенностью, с какой вскрыла всё то, что смущало меня, что я ненавидел, и о чём только догадывался. Всё в нашем обществе живо, везде за прикрытием фраз обман и двойная мораль.

Пожалуй, ничто тогда так меня не продвинуло в неприятии родного социального зла, как эта пьеса Когоута. Тут я не уверен – талант ли писателя или столь обнажённая правда захватили меня. Но, по всему, и написано, было талантливо, сейчас мне трудно об этом судить: пьесы нет под рукой.

... В силу того, что я был начитан и во многих сферах сведущ, я, вероятно, был неплохим собеседником, если речь шла не о делах бытовых. Рассказы мои слушали и даже передавали. Это однажды из меня сотворило мистификатора.

Летом пятьдесят седьмого года в Брюсселе проходила Всемирная выставка. Я о ней много читал в разных журналах. План выставки и фотографии павильонов были вклеены в "Иностранке". Вернувшись из отпуска, я об этой выставке рассказывал много интересного со знанием дела, с описанием мелких деталей, подробностей. Рассказы мои предавали другим, и, вероятно, кто-то, предположил, что я был на выставке. И пошёл по Междуреченску слух, что я побывал летом в Брюсселе. Даже малознакомые люди меня останавливали на улице, спрашивали, что и как там в Брюсселе. Я с охотой отвечал, что-то рассказывал. Слуха этого, я, забавляясь, не подтверждал и не опровергал. Напрямую меня о поездке никто не спросил, а от косвенного вопроса я уходил, отвлекая рассказом о чём-либо неожиданном, любопытном, что было мною почерпнуто из вполне любому доступных источников и в самом Междуреченске, но которых никто почему-то не потрудился прочесть. Так я и остался человеком, побывавшим в Брюсселе. Что ж. Вольному воля. Кто хочет верить – пусть верует! Зачем же разочаровывать людей!

... К музыке меня приобщила купленная мной радиола. Классика тогда часто звучала по радио. Пластинки, правда, в то время я покупал преимущественно танцевальные, с модными мелодиями танго, фокстротов и вальсов, да других в Междуреченске у нас просто не было.

Приёмником я пытался ловить "Голос Америки", но ни разу не поймал: то ли мощности передатчиков не хватало, чтоб достичь центра юга Сибири, то ли местность наша для приёма коротких волн не годилась. А вот "Голос Японии" я ловил, и частенько, но это были какие-то скучные бесстрастные передачи... но иногда и они давали возможность взглянуть на себя со стороны, которой мы были враждебны.

... Оставался нерешённым вопрос о дальнейшей работе – вечно быть помощником я не хотел, я чувствовал в себе достаточно знаний и сил, чтобы самостоятельно управляться с несравненно большим хозяйством, чем наш гидрокомплекс. А и он здесь мне не светил. Хлынувшие с апреля сумасшедшие деньги приглушили на время остроту болезненного вопроса, но не сняли его. Просто я отложил на время его разрешение, благо было мне всего двадцать шесть, и казалось, что силам моим и молодости не будет конца, и времени, чтобы карьерой своей озаботиться – предостаточно. Вечное заблуждение молодости – никогда его недостаточно.

... а на работе забот прибывало. Как учитывать добычу участка? Вопрос возник после первой недели добычи, когда все три

тысячетонных рабочих отсека отстойника были заполнены. Сколько пульпа несёт с собой угля? Ультразвуковые и радиоактивные плотнометры не давали ответа. Точность их показаний при колеблющейся в очень широких пределах плотности пульпы была очень мала, вообще никакой не было точности. Везде, где их испытывали, они показывали чёрт знает что. Так что мы их даже и ставить не пробовали. В конце концов, Крылов согласился с моим предложением поручить замерять объём угля в отстойниках маркшейдерскому отделу в перерывы между сменами. Разность между прежним объёмом и новым принималась за сменную добычу угля, правда. Маркшейдер делал замеры высоты толщи угля нивелиром по мерной геодезической рейке, устанавливаемой в определённых точках на чрезвычайно сложной поверхности угля, залитого водой. Подход к этим "точкам" был возможен по периметру каждого из бассейнов и по двум поперечным железобетонным балкам над ними.

... Да, я упустил в своё время сказать, для чего вообще были нужны эти отстойники. В принципе пульпу можно бы было из шахты прямо на ОФ подавать. Но это в принципе. В частности же, процессы обогащения ювелирно идут при строго определённом соотношении воды и угля. Мы такого соотношения выдержать не могли, у нас могла временами из забоев поступать лишь вода, временами же – пульпа такой гущины, что и воды в ней почти не было видно.

Только этой цели служили наши отстойники – накопить уголь в них, а потом, опять размывая, откачать равномерный состав углесосами, установленными в помещении ниже днища отсеков.

Поскольку приходил маркшейдер один, то держал мерную рейку наш машинист углесосов или помощник его. И они здорово держать её наловчились. Но об этом попозже... А сейчас вот о чём. Рейку ставили на уголь чаще всего под водой – перелив воды шёл в канавку по верху отсека, и при закачке пульпой тот был всегда заполнен водой... Иное дело при выкачке – тут пульпа выпускалась через трубы вниз, и было всё на виду.

... Режим моего дня определялся работой. Теперь мне редко приходилось вставать ни свет, ни заря и спешить, не забыв плотно позавтракать, на первый наряд. Если и приходилось на него иногда попадать, то только после ночной смены, когда я, совершив часа за четыре обход, успевал часа три поспать на отстойниках... На второй наряд я шёл к двум часам, и, если в шахту не ехал, то часам к шести возвращался домой, и весь вечер у меня был свободен. Хуже было,

если после предыдущей ночной смены я вновь к десяти шёл на вечерний наряд. Весь день тогда перебит. Утром немного поспишь, днём немного пободришься – и опять часов в пять надо лечь поспать. А в девять надо вставать, чтобы поужинать и к наряду не опоздать. Ох, как же трудно это вставание вечером. Вроде уже и проснулся, но сил подняться нет никаких – и снова сном забываешься на минутку, и тут же вздрагиваешь: не опоздать! Но встать невозможно. Ну ещё бы минут пять подремать! Полежишь, глаз на часы приоткроешь – ну ещё хоть минуточку. И когда, измотавшись в мучительных бореньях с собой, понимаешь, что тянуть дольше нельзя, вскакиваешь, собрав волю свою – и тогда уже всё бегом.

... На третьем наряде мы обычно встречались со Свердловым, кто-то наряжал смену в шахту, кто-то к тому времени выезжал, и тогда удавалось переброситься словом о том, о сём, над какой-то глупостью посмеяться, позлословить о ком.

... Как-то так сидим мы со Свердловым в кабинете среди наших рабочих, и входит в нарядную Лиференко, конструктор из ВНИИГидроугля. Его проходческий комбайн испытывался в одной из наших печек. Лазанье по печам в мои обязанности не входило, но я из любопытства заглянул в забой посмотреть на чудо проходческой техники, как уверял Лиференко, мужчина в летах и с опытом большущим работы.

... комбайн был ажурен, как башня Шухова или Эйфеля – сразу доверия не внушал, сразу слишком лёгким казался для тяжёлой работы, хотя стоял на почве на гусеницах, как танк. Из ажурной конструкции высывался вперёд на консолях барабан, наштипованный армированными "победитом" зубками... Ползущие гусеницы прижимали машину к забою, вращавшийся барабан касался угля и обязан был, качаясь между кровлей и почвой, своими зубками снимать стружку с него, а вода, бившая между гусеницами из трубы, подсоединённой шлангом к напорному ставу, должна была сколотый уголь смывать... но не смывала, нечего было смывать.

... И всё вроде правильно было. Только вот ведь беда. Коснувшись забоя, царапнув зубками уголь чуть-чуть, машина заходила в ужасающей тряске, грозящей разрушить конструкцию, и реактивной силой отбрасывалась назад. Однако ползущие гусеницы толкали комбайн на забой – и снова он отлетал, как пушинка... Было забавно смотреть на бьющуюся, словно в эпилептическом припадке машину. Она как задиристый петушок на грудь забоя насакивала и тут же отскакивала от него, вздрагивая и трясясь. Ясно было с первого взгляда, что в самой

конструкции этой изъян, что машина никуда не годится. Либо надо массу её увеличить, и увеличить значительно, либо её распереть третьей гусеницей между почвой и кровлей, либо это сделать гидродомкратами, но в последнем случае о непрерывной подвижке и речи быть не могло, да и не в ней собственно суть, работать можно и циклами, но тогда надо всё изменять. И как Лиференко такой простой истины не понимал?

... Естественно, через пять минут этакой тряски в машине что-то ломалось, какая-то деталь отлетала. Сломанную деталь отправляли в мехцех, где по эскизу, тут же набросанному Лиференко на клочочке бумаги, деталь усиливали или заменяли на новую. «Вот теперь-то, – оптимистично заверял нас Лиференко, – машине не страшны никакие поломки!» Они и в самом деле не были ей страшны, поэтому она и ломалась у него постоянно. Шли за неделей недели, и так же чередой шли поломки. И это изрядно всем надоело. Забой-то стоит!

... так вот, сидим мы со Свердловым в кабинете, и входит к нам Лиференко с мятым эскизом в руке:

– Вот это ещё вот добавим, – обращается он к нам, – и тогда заработаем без остановки.

Я подписываю заказ на изготовление детали в мехцех, а Роальд не выдерживает:

- В вашей машине не хватает одной лишь детали.
- Какой? – на лице Лиференко выразился интерес неподдельный.
- Пачки аммонита! Ну и ещё детонатора.

От неожиданности лицо конструктора вытянулось, а рабочие коротко хохотнули.

Остолбеневший было от неожиданности конструктор побагровел, выругался и под хохот рабочих, хлопнув дверью, выскочил в коридор, навсегда покинув участок.

... вскоре комбайн Лиференко вытащили из шахты и отправили во ВНИИГ гидроуголь.

... В апреле я, как всегда во всей своей жизни, прозевал ледоход. О его приближении я догадался по взрывам. Иду днём по мосту на работу и вижу, как ниже моста на льду суетятся чёрные люди. Я перешёл на ближайшую к ним сторону и стал глядеть, что они делают. Всмотревшись, я увидел, что река вниз по течению красными флажочками огорожена, а люди коловоротом выбуривают лунки во льду и начинают их – не трудно было и догадаться – патронами с аммонитом.

Совершив эту рутинную ручную работу, люди со льда перебрались за дамбу и там залегли, – и сразу цепочкой, но не враз, а один за другим от берега к берегу взметнулись белые столбики битого льда, перемешанного с водой. И тут же раскаты грохота взрывов долетели до уха. Вскоре то же повторилось и дальше, и я понял, что взрывают лёд на реке, опасаясь заторов во время грядущего ледохода. Говорили, что в верховьях лёд уже таял, а у нас он пока что стоял. Вот и боялись за мост, наводнения вряд ли страшились – очень высокими и прочными дамбами и город, и промплощадка отгородились от рек. А вот если вода с льдинами хлынет с верховьев, то возникший затор у цельного льда колоссальным напором может мост своротить. Потому и взрывали лёд за мостом.

... в местах, удалённых от поселений, лёд на Томи, Мрас-су и У-су бомбили и с самолётов.



Рис. 14. Подрыв льда на реке

... Натиска льдин я, к сожалению, не увидел. Ледоход был краток. Я в это время дома отсыпался после ночной смены. Только утром лёд у нас был на реке, а на завтра – вода уже чистая, и даже отдельные льдины не плывут по реке.

... восемнадцать лет, что прожил возле рек мне не везло.

... прошла незамеченной первомайская демонстрация. А устроенная трибуна на день задержалась, и проходя мимо неё, я и Августа, дурачась, взобрались на не разобранный трибуну, откуда я и обратился с пламенной речью к воображаемым демонстрантам, выбросив вперёд руку рядом с начертанным лозунгом:

... ЭТО И МОЙ ТРУД

ВЛИВАЕТСЯ В ТРУД СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Августа, в шубке, грудью прилегла на трибуну и, оборотившись, смотрела на моё лицо снизу вверх, Гена с улицы фотографировал нас. Взявшийся в ту минуту неизвестно откуда управляющий трестом Евсеев взглянул на меня, взглядом не выразив ничего, и прошёл мимо нас, а я стушевался: «Вот, подумает, дуралей».

... А через несколько дней неожиданно-негаданно на нас обрушилось наводнение. Солнце уже хорошо пригревало, а тут ещё и тёплые весенние дождички прошумели, и снег в горах начал стремительно таять, и так же стремительно вода в наших реках начала прибывать. На метр, на два, на три, на четыре, на шесть, восемь метров уровень воды в У-су на глазах поднимался. Мутные воды её неслись под самым настилом моста. Ещё немного – и хлынут поверху через мост...

... Город, как сказано было, был защищён от паводков высокими надёжными дамбами, облицованными рваным камнем, вдоль Томи и У-су. Точно такая же дамба отгораживала от У-су промплощадку, а от Ольжераса – она защитилась насыпью попроще, безобразным отвалом из шахтной породы, смешанной частично с углём, местами втуне горевшим, там от него просачивался сквозь толщу белый резкий, глаза выедавший дымок. Так что начало подъёма воды нас несколько не беспокоило, но когда до верха дамбы вдоль У-су возле насосной станции осталось всего около метра, я понял, что надо ко всему быть готовым и принимать срочные меры. Хотя здание насосной станции метра на четыре возвышалось над промплощадкой, пол её с фундаментами под насосы, с самими насосами и высоковольтными двигателями был на три метра заглублён ниже уровня промплощадки. И если вода через дамбу перехлестнёт, то насосная и всё в ней захлебнётся мгновенно. Ну, насосам это ничто, и в воде постоит, а вот электромоторы... Изоляция проводов обмоток размокнет и... прости прощай всё к чёртовой матери на неизвестный период.

А посему я распорядился двигатели двух резервных насосов отсоединить, поднять талью и подвесить к кран-балке под крышей.

Третий – у работающего насоса – зацепить тросами полиспада, который держать наготове постоянно над ним, чтобы в момент, когда вода начнёт переливаться через дамбу, мигом его от насоса отнять и выхватить вверх. Но, прежде всего – ток, конечно же, отключить, чтобы высоковольтные шины под напряжением не оказались в воде; ящики-то, пускатели, тоже были внизу на небольшом, в метр, возвышении, и людей могло при затоплении током убить.

Проследив за выполнением своих указаний, я утром отправился домой отдыхать. Пройдя через мост и ещё раз посмотрев на нёсшийся мутный широкий поток в дамбах зажатый, я спустился с насыпи к Коммунистическому проспекту и... застыл в изумлении. Весь проспект был залит водой. На тротуарах вода стояла по щиколотку – в ботинках ещё как-то можно было пройти, на проезжей же части... улицу перейти нельзя было даже в резиновых сапогах.



Рис. 15. Наводнение

... так я и стоял в раздумье долго на тротуаре, не решаясь в ботиночках ступить в ледяную купель. Вдруг над ухом моим прозвучало решительным басом:

– Володя, а ну, залезай мне на спину!

Я обернулся. За мной стоял крупный мужчина в высоких болотных сапогах – я тотчас его и узнал – отец Малышева Витальки. Мне

было неловко лезть на спину известного в городе человека, да к тому и пожилого ещё, и я начал благодарить его и отказываться. Но он на меня сердито прикрикнул, и я послушно обхватил его шею, поджав свои длинные ноги, так что коленями сжал бока перевозчика. Зав торговым отделом шагнул после этого в воду и перенёс меня через улицу на другой тротуар. Тут мы обсудили с ним, как вода могла залить город, не перевалив через дамбу. И сразу пришли к выводу, который вскоре и подтвердился: через ливнёвку. Дело в том, что город наш строили более или менее добросовестно, и ливневая канализация – бетонные трубы под улицами – отлично работала. После дождя асфальт улиц и тротуаров сиял, отмытый от пыли и грязи до блеска, а вода сквозь решётки сливалась в подземные трубы и по ним уходила в реку: урез воды был обычно ниже трубы городского коллектора. На случай подъёма воды сливная труба закрывалась мощной стальной заслонкой – шибером. Все предыдущие годы вода к коллектору и близко не подступала, и у коммунальщиков города просто-напросто память отшибло, и они забыли его перекрыть. Шибер не опустили...

... сейчас же, поднявшись выше коллектора, вода из реки свободно вошла по трубам ливнёвки под улицы города и стала изливаться на них через решётки. Тут спохватились, конечно, послали людей, и трубу перекрыли, прекратив дальнейший доступ воды – иначе, пожалуй, залило бы и первые этажи. А так, легко, слава богу, отделались.

Наутро дня следующего, выйдя из дома, я обнаружил, что мостовая суха. Вода в реке стала спадать, шибер подняли, и с улиц вода по коллектору слилась снова в реку, а мы в насосной облегчённо вздохнули и опустили двигатели на место.

... Отход свой от горных работ, совершившийся постепенно, я воспринял с облегчением и не потому только, что теперь больше я под небом на поверхности земли находился, а главным образом по той причине, что всё в шахте менялось не к лучшему. Официально ничего не меняя в документации, Буравлёв всё больше и больше отступал от продуманной мною системы... Только первый столб был отработан с в соответствии с утверждённым проектом. Кровля верхней печи была пришпилена анкерами и превосходно держалась. Уголь разбуривали снизу и из верхней печи точно по паспорту буровзрывных работ, и каждый раз после взрыва в заходке лежало более тысячи тонн хорошо измельчённого подготовленного к смыву угля. Он легко смывался водой за две-три смены без всяких потерь.

Кровля, удерживаемая анкерами, зависала над выработанным пространством метров на пятнадцать, не меньше, не заваливала угля и рушилась огромными сундуками вдалеке от забоя... Разумеется, нас мучило любопытство, как же всё там происходит, и мы, я и Свердлов, как последние идиоты, вбегали в выработанное пространство, вмиг взлетали на глыбы породы, и, торопливо шаря лучом фонаря внутри купола вывала, всматривались в него. Никаких расслоений и трещин там не было, видны лишь были уступы и неровные прямоугольные впадины от вывалившихся сундуков, и вывод сам собою напрашивался, что прежде чем трещины расслоения станут глазу заметны, кровля рухнет вниз... Так что лучше больше не бегать, рискуя быть расплюснутым в блин. Задержавшись на миг на гребне глыб свалившегося песчаника, мы тут же и поворачивали, стремглав большими скачками влетали в печь под спасительную защиту угольного целика и крепи – кто час нового обрушения мог предсказать?

И вообще предсказать невозможно, где опасность тебя поджидает. Я вот на рештаке чуть было не погиб, а вот дичайший случай с нашим выпускником Анатолием Старцевым в прошлую зиму меня ужасом передёрнул. Анатолий работал сменным механиком на каскаде ленточных транспортёров между двумя горизонтами. С ленты в промежуточный бункер вместе с углём попал отрезок бревна, попросту – чурка, и расклинилась между стенкою бункера и лентой на барабане. Ну, конвейер, естественно, стал, несмотря на натужное завывание двигателя. Толик, дежуривший в смене, выключил транспортёр и полез в бункер с ломом в руках (вот в Союзе работа для инженера!), чтобы вывернуть чурку. Ломом вывернуть чурку не удалось, топора, чтобы вырубить, не было. Тогда Толик приказал мотористке стать в хвосте транспортёра у кнопок пускателя и по условленному сигналу – взмаху лампой – среверсировать транспортёр, дать обратный ход барабану и ленте. Сам, будучи в бункере, схватился за чурку, чтобы выхватить, если задний ход её выдернет.

То ли мотористка сигнал перепутала, то ли просто ошиблась, и по сигналу включила ленту не так, тут же опомнилась, дала ход обратный, но было поздно – запястье правой руки практически перерубило – кисть висела на сухожилиях, кровь хлестала ручьём. Толик успел добежать до медпункта, благо это было недалеко. А оттуда на шахтной санитарной машине его сразу, остановив течение крови, увезли в городскую больницу, где хирург, недолго думая, отсёк ему кисть. Микрохирургии не было в те времена, сейчас могли бы пришить.

... я спуускался вдоль ленты часа через два после этого случая, и мне по свежим следам всё рассказали. Случай этот на меня подействовал страшно: я вдруг живо примерил его на себя и содрогнулся от ужаса, представив, как он бежал, держа левой рукой правую кисть, висевшую на предплечье.

... Как прихотлива судьба. Толика больше я не встречал, хотя он работал на шахте – ему нашли инженерное место в конторе. Но кто мог подумать, что Толик Старцев породнится с Китуниными. Сын Толика – его на свете ещё не было – женится на дочери Юли и Миши, тоже не существовавшей ещё. И что ещё удивительней при обмене квартир эта юная пара попадёт в ту квартиру, к которой жили когда-то Китунины, и которую сдали при переезде в Белово.

Но вернёмся к нашим горным работам.

... Во втором столбе, печь под кровлей, хотя она была пройдена до конца, анкерами не закрепили. Буравлёв не продолжил связь с институтом, анкера в мехцехе не заказал. Сам я не вышел ещё из прострации, оттого, что не волен был что-то решать, и не вмешивался ни во что. Пропави ты всё пропадом! Как хотите – так и работайте! Я теперь только волен исполнять, что прикажут... Но бурили и взрывали ещё добросовестно при начавшейся выемке второго столба, и уголь смывался по-прежнему хорошо... Всё ж недостаточно быстро, как оказалось, едва взяли мы там вторую заходку. Сказался отказ от крепления анкерами. Кровля стала рушиться у забоя, обрезаясь у целика. Не мгновенно, к счастью, не сразу, часов через шесть или десять, но и этого было достаточно, чтобы глыбами завалить часть угля. Этот уголь пропал безвозвратно. Потери росли, и мы из столба выдавали меньше угля. Выручало лишь то, что вскоре мы и третий столб запустили в работу. Выручало в смысле выполнения плана...

... а столбы всё новые и новые нарезали, и печи верхние пока в них проходились, но и тут при выемке Буравлёв всё "упростил". Зачем, дескать, тратить время и силы на бурение сверху. Достаточно один низ отпалить. Верхняя часть пласта, зависая, будет рушиться вниз, и от удара о почву раздробится сама на куски, доступные смыву.

Тут я позволил себе возразить и свои сомнения высказать:

– Уголь очень крепок у нас. Будет глыбами обрушаться и на мелкие куски не расколется.

Свердлов меня в этом сомнении поддержал, и не то, что именно меня поддержал, а независимо от меня высказал аналогичное мнение о предложении Буравлёва.

Но Андрей не прислушался к нашему голосу, и даже малове-рами нас обзывал в добродушной, правда, беззлобной форме. И сде-лал так, как хотел.

... Всё получилось, как мы и предсказывали. Глыбы не взорван-ного угля над пустотой действительно обрушались, в чём никто и не сомневался. Но рушились они, как и следовало ожидать, огромным сундуками, которые сами разбиваться на куски никак не хотели, очень уголь был крепок – прямо стальной монолит. Вдобавок к этому, они валились не на твёрдую почву, как в печи, верх которой был закреплён анкерами, а на остатки не смытого разрыхлённого угля, что отнюдь не способствовало дроблению их. А вот вымывать мелкий уголь из-под таких глыб стало намного сложнее... И в забое появилась кувалда. Ею мониторинг и помощник его дробили огромные глыбы, не очень успешно. И угля из очистного забоя идти стало меньше, часть его заваливало обрушившейся кровлей, и потери угля непомерно росли.

Но Андрей решения своего не менял, а мы со Свердловым больше "не возникали". «Почему?» – удивляюсь сейчас. Потому ли, что выкручивались за счёт ввода всё новых и новых забоев и план выполняли? В целом, понемногу среднесуточная добыча росла, воз-раставший план выполнялся, премии, хотя и урезанные Плешако-вым наполовину, мы из месяца в месяц пока получали. Неужели за два-три месяца мы так к премиям этим привыкли, что нам стало на всё наплевать? Неужели жить привыкли по поговорке: «Нам абы гроши, да харчи хороши»? Наверное. И, возможно, из-за расхожде-ний во взглядах я стал удаляться Буравлёвым от горных работ, к мо-ему полному удовлетворению, ибо горько было смотреть на всё то, что творилось в забоях. На поверхности у нас не было, и быть не могло никаких разногласий, в работу насоса, к примеру, не очень вмешайся, хотя... со временем дело дойдёт и до этого.

Итак, взрывать верхнюю часть пласта прекратили, верхние печи не анкеруем, спрашивается: а для чего их тогда проходить? Такой вопрос был неизбежен, и он неотвратимо возник. Но и тут Буравлёв остался верен себе: в проекте не изменил ничего. На бумаге всё со-хранялось, как было... На деле их засекали в конце месяца, чтобы предъявить к месячному маркшейдерскому замеру, после чего про-ходку их прекращали. За месяц столб с якобы пройденной печью по-гашался, и при новом замере маркшейдеру объясняли, что печь была пройдена до конца и, выполнив своё назначение, исчезла вместе с

выработанным столбом. То, что печи при выемке исчезают, было сущей правдой – не может она сама по себе как некое отвлечённое понятие висеть в пустоте без угольных стенок и почвы, которые уже в вагоны загружены, а может и в коксовых печах сожжены, или в завале лежат под обрушившейся породой. Маркшейдеру оставалось лишь записать длину печи. А у нас появился новый "резерв" – метры непройденной печи, которые будут оплачены, но пока не принадлежат никому. И этой "химией" надлежало заняться мне самому, поскольку учёт на меня был возложен. Андрей в тонкости не вникал, поэтому появилась возможность распоряжаться самостоятельно какой-то толикой мифических метров. Большую часть мы со Свердловым разбрасывали проходчикам пропорционально их выработке, повышая их заработок. Но кое-что я оставлял для себя про запас, для оплаты непредвиденных незапланированных работ и для поощрения, "дополнительного премирования" особенно добросовестных слесарей и машинистов, "направляя" их в забой на несколько смен "в случае крайней необходимости" для проведения <иллюзорных> печей".

И снова думаю, почему, видя, что в результате всех этих буравлёвских нововведений, сводившихся к одним "упрощениям", наращивание добычи шло медленнее, чем могло бы, потери угля возросли вместо имевших быть десяти процентов (и то лишь в охранных целиках) до пятидесяти и до семидесяти порой, почему я молчал, почему не бил в колокола? Мне ведь было не по себе видеть это бездумное и безумное хищничество. Почему я не воспротивился ему, а покорно служил?.. Объяснение просто. Не в больших деньгах всё же дело. Прослыть доносчиком не хотел. Вспомните разговор Достоевского с Сувориним: если бы они услышали, что затевают убийство в Зимнем дворце – то побежали бы предупредить? Ведь оба, понимая, как это страшно, друг другу ответили: «Нет». Общественное мнение их оплевало бы, навесив клички доносчиков и предателей (такое революционное оно было тогда!), и это для них оказалось страшнее – гражданская смерть... Вот и меня мучает тот же вопрос. Что мог я поделать? Доложить по начальству? Но быть стукачом я не мог, тут не только боязнь осуждения окружающих, сама мысль не пришла об этом мне в голову, и придти не могла – с детства я стукачество лютой ненавистью ненавидел.

Но с себя вины не снимаю, смелости не хватило уйти. Тут надо бы было наперекор сразу встать. Подать заявление, и не Плешакову, понятное дело, и не Евсееву, а в комбинат, с копией Мучнику. Не могу здесь работать по такой-то причине. И всё. Струсил, не признаваясь в

этом себе, не восстал, начал сотрудничать, а высокие заработки помогли заглушить робкие угрызения совести. А финал вырисовывался угрожающий. Время работы гидрокомплекса на отведённом ему шахтном поле в результате такой "скоростной отработки столбов" скукоживалось безмерно. И, не достигнув проектной мощности в тысячу тонн, мы должны были думать о подготовке к переходу на новое шахтное поле. Но никто не задумывался об этом. Всё плыло само собой по течению. И меня, признаться, теперь мало волновало всё это. Когда-то я собирался сделать конфетку из гидрокомплекса, образцовую гидрошахту, и все предпосылки были для этого. Условия здесь для этого, как сказано, идеальные – лучше в Союзе и не сыскать... Но не дали, и теперь, когда от меня ничего не зависело, я не думал об этом. Лишь "добросовестно" делал то, что поручено, а остальное для меня – трин-трава.

Сейчас я увлёкся механической частью, присутствовал при разборке насосов и углесосов, электродвигателей, смотрел на их внутреннее устройство. В принципе я это всё знал, но тут оно было в действительности, в натуре. Видел, какие части изнашиваются и как, где бывают чаще поломки и как они устраняются. Раньше я и понятия не имел, например, что время от времени надобно шабрить латунные подшипники скольжения высоковольтных электромоторов, а теперь учился, как это делать. Или как обмотку наматывать.

... мало теперь в шахте бывая, я на свежем воздухе шагал кратчайшим путём по трубопроводам на поверхности в треугольнике: насосная, углесосная и отстойники. А поскольку отстойники находились рядом с ОФ, которой передали пристройку с горизонтальными центрифугами, я облазил всю фабрику досконально изучил все процессы от отсадки и до флотации. Там я и с директором фабрики познакомился.

Летом этого года он с делегацией советских обогатителей ездил во Францию и ФРГ. Возвратившись, он рассказывал об увиденном, о технике, главным образом, и, конечно, об обогатительных фабриках обеих стран. Сравнение уровня технической оснащённости, автоматизации всех процессов, производительности оборудования было явно не в нашу пользу. Мы отставали, и сильно, во всём. Больше всего меня поразило, что на обогатительных фабриках ФРГ, сравнимых по мощности с нашей, перерабатывавших по пять тысяч тонн угля в сутки, работало вместо пятисот человек – пятьдесят.

... с пятьдесят шестого года, когда к нам стала поступать иностранная техническая литература, я знал, что на Западе техника лучшего качества и производительнее, чем наша. Но чтобы настолько?!

... Как-то в городе собрали линейный надзор всех строительных управлений, куда Миша Китунин меня затащил, и показали нам "секретный" фильм, заснятый во время поездки министра строительства в Англию... Вот к застройке жильём подготовлена строительная площадка. Целый квартал. Улицы вокруг него заасфальтированы, машины не застревают в грязи. Коммуникации к будущим домам подведены. Из земли торчат, где нужно, стояки водопровода, канализации, концы кабелей. Осталось выстроить дом, и не надо после этого перекапывать дороги, что делалось у нас повсеместно после укладки асфальта возле выстроенных домов. Все работы англичане спланировали заранее, чтобы дурной работой не заниматься. Нам бы так! Но у нас сначала построят, а потом планировать начинают, при этом зачастую руша построенное. В чём же дело? Об этом стоит подумать. То ли потому, что англичане сдают всё "под ключ" и, наверное, лишь после этого получают оплату, а не за выполненный объём, что подталкивает наших строителей несвязно выхватывать сначала наиболее дорого оплачиваемые куски, как моих забойщиков наименее трудоёмкие в моей первой самостоятельной лаве, то ли почему-то ещё. Одно ясно, есть какой-то порок в нашей системе, но глубокие раздумья откладываю на потом, а потом забываю задуматься.

... В начале лета Люся Сухарева устроилась работать телефонисткой на коммутаторе в только что выстроенном через дорогу обочь АБК здании телефонной станции треста. Я часто видел её голову в раскрытом окне на втором этаже. Этот небольшой ведомственный коммутатор обслуживал и негустую городскую телефонную сеть... Автоматизацией тут пока и не пахло, всё было как в фильмах об октябрьском перевороте: барышни, вставляя штекеры в гнезда, соединяли абонентов друг с другом.

Так и у нас. Снимаешь дома телефонную трубку и слышишь в ней девичий голосок: «Номер двенадцать», к примеру. И говоришь номеру этому: «Соедините меня с квартирой Малышева» или, допустим, с гидроучастком. Девушка шнуром соединяет нас и даёт туда зуммер, звонит, попросту говоря. Там поднимают трубку, если есть кому поднимать, и начинается разговор. Девушка в наушниках слушает и, убедившись, что связь состоялась, от нас отключается.

... ничего удивительного, что при таком способе связи у чересчур любопытных девиц возникает соблазн быть в курсе событий,

с кем и о чём говорят люди, знакомые им или к кому у них есть интерес... Словом, телефонные барышни были в курсе всех новостей самых свежих, а подчас и интимных.

Не допускаю, что Люся с её честным максималистским характером занималась подслушиванием. Но она вполне могла быть наслышана обо всём от своих менее щепетильных товарок. Во время моих набегов к трём милым сёстрам кое-какие секреты и тайны людей в болтовне вылезали наружу. «У царя Мидаса ослиные уши», — ну как можно тут удержаться и не щегольнуть такой новостью, к тому же известной только тебе одному. Это свыше сил человеческих... И Люся, при всей её сдержанности, не была исключением.

... Коммутатор работал круглые сутки, и девушки дежурили там посменно, то с утра, то после обеда, то в ночь. И когда ей выпадала третья смена, а мне предстояло идти на вечерний наряд — мы с Люсей сговаривались, чтобы на работу вместе идти. Я встречал её, и мы шли ночным городом, поднимались к мосту, и вдвоём шли по боковому настилу, а под нами струилась чёрная ночью вода, в глубине реки отражались мазки фонарей, дрожащие, словно озябшие существа, и мне становилось почему-то немножечко жалко этих дрожащих утонувших огней, точно они были живыми. А быть может, это мне только казалось, что мне жалко огней, а жалел я себя самого, точно такого же одинокого среди людей в эти тёплые тихие ночи, когда нервы обнажены беспредельно и кончиками их ощущаешь и малейшее движение воздуха, и мерцание звёзд, и трепет листка, и шорохи шин далёких автомобилей, и шаги любимой тобою женщины рядом с собой.

Через много лет воспоминание об этом выразится словами:

Смотрю, как рассыпью
в ночной речной воде
искрятся звёзды в глубине
на самом дне,
как, коченея
в ледяной её утробе,
они дрожат там
в лихорадочном ознобе,
подобном моему,
но по другой причине:
да, да, любовь!
Но не к лицу мужчине
кричать во всеуслышанье о ней —
любви загубленной моей.

... В один из таких вечеров, когда на длинном-предлинном мосту разговор наш иссяк, и наступило молчание, и был слышен только стук её каблучков, я вдруг решил:

– Люся. Я люблю тебя.

Господи! Опять я начал не с того. Я так ничему и не научился с любимыми. Только с нелюбимыми мог делать, что нужно, а нужно ухаживать, приглашать на танцы, в кино, пытаться поцеловать – и тогда сразу бы стало ясно, надо ли эти слова говорить. Слова эти как завершение уверенности, что тебя не отвергнут, будут нужны.

– Но мы ещё так мало знаем друг друга, – помедлив, отозвалась она.

... дальше можно было не слушать. Мы это уже проходили. Конечно, это ещё не отказ, но фактически прозвучал приговор, не оставивший надежды на будущее. Это даже и не «Ты мне нравишься, Вова, но я не знаю...» Я ведь не предлагал ей сразу замуж за меня выходить... Тут, даже если ты и влюблён, ещё можно подумать... Значит, нет ни малейшего чувства. Что ж. Раз так – ничего не поделаешь. Остаётся на чудо лишь уповать, но чудеса редко случаются.

... Я не знаю, помогало ли это лучшему узнаванию – но всё лето мы превратили в непрерывный пикник. Всей компанией по утрам в воскресенье мы уходили в поход. Предложил кто-то однажды уйти вверх по Томи, провести день "на природе" и на плоту вернуться обратно. Сделать плот можно было из брёвен, что лежали повсюду на берегах. По большой воде из леспромхозов в верховьях Томи и У-су сплавливали лес молею. При спаде воды масса брёвен застревала в прибрежных кустах, мелководье и перекаты тоже ими были усеяны... Мысль эта понравилась, её подхватили и Сухаревы-Буравлёвы, и только что приехавшие в Междуреченск мой сокурсник Пётр Кушнеров и Володя Тимошин, тоже наш выпускник, курсом позже, и другой Володя, Мамонтов по фамилии, совсем юный выпускник МГИ, работавший мастером на Красногорском разрезе, как-то приставший к нашей компании и ставший с ней неразлучным: ему Лида понравилась. И ещё какой-то москвич, мне совсем незнакомый, практикант, может быть, неизвестно кем приглашённый, и молоденькая аптекарша – Люсины подружка ближайшая.

Поскольку брёвна сплавлять нужно, я в субботу заказал в мехцехе сорок скоб, мне их к вечеру приготовили, и наутро я с тяжким грузом – чай в скобе килограмм не менее полутора – явился первым на место сбора. Своим грузом я поделился с подошедшей мужской

частью нашего общества. С котомками за плечами – а Мамонтов с саквояжем в руке – почему, неизвестно, в которых были бутылки вина и съестные припасы, мы весёлой гурьбой, непрерывно хохоча и дурачась, вышли к Томи и пошли по грунтовой дороге в виду её берега вверх по течению, навстречу взошедшему солнцу.

через два часа, обогнув справа Сыркашинскую гору, мы вышли к небольшой деревушке – с десятков домов, – где перед двором первого дома женщина с девочкой на лужайке доила корову. Мы спросили её, не продаст ли она нам молока?

– А сколько вам нужно?

– Да хоть всё ведро.

Женщина согласилась, додоила корову и подала нам ведро, полное молока. Мы, достав свои кружки и хлеб, расселись на зелёной траве вокруг ведра и слегка подкрепились перед ещё дальней дорогой.

... молоко было тёплым, парным, вкусным необычайно – мы успели порядочно проголодаться, да и вкус настоящего молока давно подзабыли, сколько лет одним магазинным довольствовались. Так что дно ведра ждать себя не заставило.

После этого непредвиденного привала мы продолжили путь до полудня и, перейдя вброд небольшую протоку, обосновались на островке с густым тальником, ивняком. Там среди кустов нашлась крохотная полянка, на ней мы, собрав сушняка, в изобилии валявшегося на берегу, развели большущий костёр. На костре мы, конечно, ничего не пекли, не варили, – но как быть у реки без костра?! С ним веселее.

... Мы распечатали бутылки муската и закусили превосходное вино прозаической закуской: хлеб, соль, сыр, колбаса и консервы.

... Вода в заводи была упоительной и глубокой. Мы плавали, загорали на гальке плоского берега перед кустами, снова бежали к воде, снова плавали и ныряли, непрерывно друг над другом подшучивая; поднырнув хватали девушек за ноги, тянули на дно и, услышав их отчаянный визг, отпускали. Накупавшись досыта, мы принялись устраивать плот для обратного путешествия. Молодёжь по воде подгоняла брёвна, Гена с Петей прижимали их плотно друг к другу, я скреплял их, обухом топора загоняя в них железные скобы... Плот был сколочен, но слегка притопился, когда на него взгромоздилась вся наша орава, и брёвна под нами заходили легонько, что не внушало доверия к прочности нашей постройки. Вот было бы весело, когда бы он под нами рассыпался посередине реки.



Рис. 16. Острова на Томи

– Эй, команда, на берег! – скомандовал Гена и пошёл вырубать на острове слеги... Двумя поперечными слагами – благо скобы ещё оставались в запасе – мы плот укрепили. Набросали между слагами вороха срубленных веток, чтобы можно было сидеть не в воде, а на них, ибо над плотом выступала вода на пять сантиметров при полной загрузке... Не хотелось мочить одежду, связанную в узлы...

... бредя по колена в воде, мы вывели плот с отмели, где собирали его, на глубокую воду, взобрались на него и, оттолкнувшись шестью, благополучно отплыли, пустившись в свободное плавание вниз по реке, подправляя шестью, если он поворачивал на мелкое место. Плот медленно плыл по течению там, где в промежутках меж перекатами вода была глубока. На перекатах несло нас стремительно – только успевай поворачиваться с шестью! – из воды выступали солидные валуны. Вот бы радости было с ходу врезаться в них!

Временам мы приставали к берегу где-нибудь в тихой заводи и вновь купались до одурения, и, наплававшись вдосталь, продолжали свой путь на плоту.

Мамонтов, почему-то одетый, в узких брюках с подтяжками, в клетчатом пиджаке и в башмаках на толстой подошве – в городе его называли "стилягой", стоя у заднего края плота, фотографировал нас. Он этим и отвлек наше внимание. Плот с разгона вылетел на

очередном перекате на мель. Резкий удар потряс хлипкое сооружение, но оно всё же выдержало его – только Мамонтов с камерой опрокинулся навзничь. Но не расшибся – с той стороны было достаточно глубоко. Сам вид Мамонтова, в брюках и пиджаке барахтающегося в воде, вызвал у нас хохот неудержимый. Жаль, плёнка раскисла, и снимков, такой ценой сделанных, мы не увидели.

Смех, в конце концов, оборвался, когда Володя влез снова на плот. Девочки выкручивали его штаны и пиджак, а мы шестами безуспешно пытались сдвинуть плот с места. Он не поддавался... Пришлось мужчинам слезть с него в воду и руками толкать. Но и так мы сдвинуть его не могли: плот намертво засел на булыжниках. Тогда и женщины покинули плот, но и такой, облегчённый, он не поддавался нашим усилиям... Однако все мы чему-то учились и правило рычага знали с детской поры. Срубив несколько тонких деревьев на берегу и орудя ими, запустив их под плот, мы медленно сдвигали его по булыжникам, и он, наконец, закачался в воде, поднявшись над нею. Рычаги в сторону полетели, и руками мы вывели плот на глубоководу подальше от переката.

Дальше наше весёлое путешествие продолжалось без происшествий. Часа за три мы достигли города Междуреченска, отпустив дальше плот самостоятельно плыть по реке.

... Прогулка всем так понравилась, что теперь каждое воскресенье мы устраивали подобные вылазки на природу с непременным возвращением на плоту всё той же компанией в течение всего этого длинного лета.

... В будни на такие походы у нас не было времени, тут иногда к вечеру мы шли всё к той же к Томи и оставались на берегу вблизи города, играли в волейбол на лужайке у дамбы и валяли, как всегда, дурака... В такие дни домой мы возвращались раньше обычного, когда солнце ещё не зашло. Продираясь сквозь прибрежные заросли, я изображал дикого фавна, в шутку ловил Люсину подругу и, поймав, обнимал, выражая намерение утащить её в лес, болтая при этом без умолку всякие безобидные глупости. С Люсей я почему-то этого себе позволить не мог. Ну, не мог подбежать и вот так шутливо обнять, и наболтать ей что-либо на ухо. Сила какая-то сковывала меня. И была сила эта – любовь.

... повторялась история с Людмилой Володиной.

... А, между прочим, думалось иногда, что и ей хочется подурчиться так же вот беззаботно. Ну, казалось бы, подойди к ней, шути

толкни в воду, обними, посмотри, что из этого выйдет – рассердится или примет игру?.. Нет, не мог себя пересилить, боясь невзначай обидеть её. Скажете: «Какая глупость дремучая!» Это я понимал. Ведь сразу всё и выяснится до конца. И если ей неприятно заигрывание – надо рвать все отношения, и как можно скорее. А-а-а, вот в этом-то, видно, и суть – рвать не хотелось, хотелось надеяться.

... Вот так идём мы однажды с берега, пробираясь между конструкциями из железобетона, брошенными строителями так давно, что они проросли травой и кустами. Солнце ещё высоко, отражается бликами от чёрной стоячей воды в ямах на этой начатой и заброшенной стройке. Ямы, наверное, для установки конструкций и вырыли.

... Над одной из ям – с края в край метра три – досточка. Люсина подруга вступает на эту дощечку: хочет над ямой по ней эти три метра пройти, делает шаг... дощечка обламывается посреди, а подруга... вмиг с головой под воду уходит "солдатиком". И на поверхности пусто – только чёрная вода взволновалась.

Мы и осознать ничего не успели – голова вынырнула из воды, глядя на нас испуганными глазами. Мы вокруг ямы столпились, готовые хохотом разразиться, но Гена хохот опередил:

– Ты хоть плавать умеешь?

– Нет, – только и ответила голова и скрылась с поверхности.

Я рванул пряжку ремня, чтобы с себя сбросить брюки, но реакция Гены упредила меня – он о брюках не думал. Очертя голову он бросился в яму и тут же вынырнул, таща за волосы отчаянную подругу. Ну, тут уж мы, ухватив их руками, вытащили обоих из ямы.

... а за ремень стало стыдно мне нестерпимо – нашёл время, когда человек погибал. Впрочем, другие и этой попытки не сделали. Лишь Гена не рассуждал, и уважение моё к нему ещё более возросло. Человеком он был настоящим...

Вспоминая те времена, я могу сказать, что если и не был счастлив вполне, то и несчастным назвать себя не могу. На работе переживаниям некогда предаваться, в часы же свободные у меня были товарищи и друзья, остроумные весёлые собеседники. Тихая любовь к Люсе согревала меня. Со мною были мои книги, и музыка прочно входила в мою жизнь, благо тогда по радио всё ещё часто передавали хорошую музыку, классику, если хотите.

... приёмник не выключался у меня целыми днями, даже когда я засыпал. Сон у меня был замечательный, и никакие звуки ему никогда не мешали.

... После ночной смены я пополудни крепко заснул, и во сне охватило меня ликование. Просыпаясь, я чувствовал, что пронизан весь ощущением небывалого безмерного счастья, радостного, солнечного, перехлёстывавшего через край... Я лежал, слушая дивную музыку, счастливый до невозможности передать это своё состояние – в жизни не бывает такого безмерного, беспредельного, беспричинного счастья взхлёб. И это не был минутный восторг, что бывает от наивысшего из человеческих наслаждений – близости с женщиной, даже самой желанной. Нет, это было другое. Это было не наслаждение, это было нечто гораздо огромней, безграничней и выше его. Каждая клеточка тела во мне ликовала, захлёбываясь от этого выплеснувшегося неизвестно откуда, и захлестнувшего меня потока беспредельного счастья. Счастье было во мне, я сам был источником счастья, и оно держалось во мне ещё долго, после того как закончилась музыка. Когда смолкли последние звуки, радио объявило: «Мы передавали Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром в исполнении победителя Первого международного конкурса пианистов в Москве Вана Клиберна».

... Первый конкурс пианистов Москве только недавно закончился, и в последние дни непрерывно передавали концерты в исполнении победителей и лауреатов.

... готов отдать на отсечение голову, что большинство людей за всю жизнь не испытало подобного состояния. Мне доведётся ещё только раз лет через сорок его пережить. Есть в мозгу, очевидно, центр такого непомерного счастья, до которого человеку не докопаться, и который не может произвольно он взбудоражить. А вот дивная музыка его краешком зацепила и привела в возбуждение, и возбуждение это держалось и после того как источник его – звук, извлечённый пальцами Клайберна, – растворился, угас. Лишь минут через десять погасло во мне ощущение необычного беспредельного счастья.

... станет понятно теперь, почему у меня появилась пластинка с записью этого концерта Чайковского в исполнении того же самого пианиста с тем же самым оркестром. Я и сам, и с друзьями часто слушал её, и всегда музыка эта меня волновала до восторга, но своеобразно того фантастического ощущения счастья я вызвать не мог... Так вот, с началом, положенным этой пластинкой, у меня дома начали возникать концерты классической музыки. Приходили Гена, Августа, Лида, Люся – тоже любители классики – и неизменная подружка её, так отважно шагнувшая в яму.

Какое же это чудо – музыка, классика. Как это звуки, в искусственно вызванных сочетаниях, могут так потрясающе воздействовать

на чувства, на души людей?! Не перестаю этому удивляться. Не меньше, чем Кант звёздному небу над головой и нравственному закону в себе. Как это звуки могут звучать так прекрасно, как они могут так всецело захватить, пленить твою душу? Непостижимо! Когда я слушаю инструментальную музыку классиков в исполнении превосходных оркестров под управлением великолепнейших дирижёров, я всегда безраздельно в их власти. С первых же тактов музыка завораживает меня, я попросту в ней растворяюсь, уже не помня себя. Я – обнажённые нервы, я – состояние, что вливается в меня вместе с чудными звуками. Я плыву с нею и в ней, волнуюсь в её бесконечных волнах, наслаждаюсь безмятежностью сельских полей, неожиданно прерываемой тревожным рокотом отдалённого грома, предвещающего бурю, грозу. И уже сам окунаюсь в боренье стихий, в страдания человека, в его торжество.

Приходишь в себя, обретаешь способность к мышлению лишь после того, как объятия звуков распались, но ещё долго пребываешь под впечатлением пережитого. Какое же счастье, что природа наделила меня этой способностью чувствовать музыку, пить глазами взахлёб красоту земную природы, а порой и неземную её красоту, проникать в глубину и тайны поэзии, ощущать прелесть речи и испытывать от всего этого наслаждение...

... Танцевальные вечера устраивались у Сухаревых в их новой, на этот раз из двух комнат, квартире, которую они получили весной этого года. Вечером, направляясь к ним в гости, я захватывал пару бутылок марочного вина или шампанского – водку у них никогда мы не пили... По приходе начиналась обычная болтовня, потом Люся отправлялась на кухню жарить картошку и отбивные – выходили они у неё превосходно, Августа винегрет сочиняла. Что делала Лида – не помню. Мы с Геной бездельничали. Правда, я Августе иногда помогал вытаскивать огурцы из трёхлитровых баллонов.

... Стол у них всегда казался мне праздничным, за ним было весело, милые лица, на нём – бутылки, еда, красочно выложенная и возбуждавшая аппетит.

Танцы начинались по окончании пира. Танго, вальсы, фокстрот. И властное желание танцевать охватывало меня. Танцам я отдавался самозабвенно, как в детстве игре, не зная усталости, словно навёрстывал в юности упущенное опьянение растворённостью в движениях и звуках упоительного полёта... Я танцевал все танцы один за другим то с Люсей, то с Августой, то с подружкой, то с Лидой. И, накопив кой-какой опыт (вечеринки и у Китуниных, и у Свердлова),

я уяснил, что женщины танцуют по-разному. Одна на другую совсем непохоже... Грубо говоря, их можно было разбить, классифицировать, сказав по-учёному, на четыре главные категории.

К первой принадлежали те женщины, что танцуют томно, расслабленно. Они своё тело словно бы растворяли во мне, и уже кружилась не пара, а единое существо, опьянённое музыкой, танцем и чувственной близостью. Такой была Августа. Танцевать с ней – одно наслаждение.

Люся была в другой группе. С ней танцевалось чётко, отточено и... отстранённо. Все па были словно математически выверены, но было в этом механистичное что-то. Не с живой женщиной совершаешь танцевальный полёт, а... не скажу с манекеном – всё же живое разгорячённое танцем лицо, живые губы, глаза, но в танцах с нею было деревянное нечто.

К третьей группе я относил тех, с которыми не было чувственного слияние в танце, но был общий согласованный грациозный полёт, придававший танцу сказочное изящество. Скользишь с нею танго точно по натёртому сияющему паркету в белом зале с колоннами с позолотой или по льду празднично залитого огнями катка – и в движениях наших изысканная раскованность. Ты летишь, ты плывёшь в таком восхищении, как в полётах во сне. С такими женщинами танцевать мне приходилось случайно, среди моих знакомых их не было, но именно такой вот лёгкий виртуозный полёт без намёка на чувственность, я любил больше всего.

Ну, а в четвёртой группе все те, кого приходится волочить за собой, на себе, как мешок. Но это уже, простите, не танец.

... и хотя танцы с Августой были чертовски упоительны, а с Люсею нет, я, по известной причине, приглашал Люсю чаще других. Это ведь тоже блаженство – держать руку любимой и спину ли, плечи, талию её обнимать!

... Как-то, зайдя в магазин, я увидел огромных размеров коробку с надписью: "Настольный хоккей". Я попросил посмотреть, раскрыл, вставил в гнездо металлическую фигурку с изогнутой клюшкой и шайбу перед ней положил. Толкнув стержень, я послал шайбу клюшкой вперёд, а затем, фигуркой нагнав, поворотом забил шайбу в сетку ворот. Этим участь моя была решена. Я стал хоккеистом. Тренировкой добился того, что, двигая рычаги и вращая их, я точно мог пас посылать другим своим "игрокам", и бить по воротам. Простой механизм был великолепно подогнан. Изготовление было отменным, точным, как у хороших часов, тут мне мог помешать

лишь игрок противной мне стороны. Передо мной была настоящая вещь, и я купил её, выложив около сотни.

... да, никаких люфтов, зазоров, в моём "Хоккее" не было совершенно. Удары по шайбе были точны, повороты резки и всегда таковы, как игроку было нужно. Тут, в самом деле, можно было руку набить до полного мастерства. И, вероятно поэтому, настольный хоккей стал любимой игрой и моей, и Миши Китунина, и Гриши Тростенцова. Они специально приходили ко мне и играли, да что там играли – сражались с остервенением. Стола нам не хватало, он стеснял нас в движениях, и мы клали "хоккейное поле" на пол между вытянутыми ногами, и игра начиналась. Судья вбрасывал шайбу в центр поля, каждый их двух игроков норовил первым зацепить её клюшкой, захватить и мгновенно же передать другой железной фигурке, от неё к третьей и быстрыми пасами, чтобы противник не успел шайбу перехватить налету, подогнать её ближе к воротам и ударить по ним. Партии длились два тайма, по пять минут оба. Выигравший восторга своего не скрывал. Проигравший вставал, с унылою миной уступая место судьбе (обычно нас было трое), и принимал его обязанности на себя, ожидая нетерпеливо, когда истекут скучные для него обе пятиминутки.

... Неожиданно в мою квартиру среди бела дня ввалился Миша Китунин и с ним... Юра Корницкий, бывший секретарь комсомольской организации института, а сейчас первый секретарь обкома комсомола. Он в Междуреченск приехал в командировку, и Миша затащил его в гости ко мне... Мама готова радушно принять гостей, но не за этим они к нам нагрянули, не это было поводом для внезапного посещения. Миша специально привёл ко мне Юрия на хоккей... Он сразу потребовал коробку, я разложил игру на полу, и он начал с Корницким сражаться.

... и надо было их видеть!

... видеть, как двое взрослых мужчин, занимающих солидные должности – Миша только что стал начальником Томского шахтостроительного управления, – сидят на полу друг против друга и, забыв обо всём, с детским азартом яростно гоняют по "полю" между ног хоккейную шайбу.

Я схватил аппарат и щёлкнул затвором. Увы, снимок пришёлся на последний кадр плёнки, вырванный из катушки. И хотя "герои" мои получились неплохо, я не стал распечатывать изодранный кадр, не желал портить свою репутацию.

... Десятидневные сборы.

Это было весной, когда снег уже стаял. Военкомат вызвал на сборы офицеров запаса. Сборы проходили в городе, без отрыва от производства. Хотя... от производства всё-таки отрывали: сборы проходили в дневное время.

В зале – большой, без перегородок, квартире верхнего этажа недавно сданного пятиэтажного дома – собрались угольщики с разреза и с шахты, шахтостроители и просто строители. В этом зале и проходили занятия. Были там кроме меня и все наши, то есть Китунин и Тростенцов и Кушнеров, и Тимошин, и ещё Боря Пундель, мой соратник по факультету, с которым никаких точек соприкосновения у меня не возникло. Мы нигде не встречались, кроме как на планёрках.

... Да, так вот, выходим мы по окончании занятий на лестницу – а там дыму – не продохнуть! Резь в глазах у всех, кашель. Мы, конечно, толпой ринулись вниз от пожара. Пробегая по лестнице мимо квартиры на втором этаже, видим, как из трещины в штукатурке валют, как из трубы, клубы серого едкого дыма. Тут, ясно, мы начали изо всех сил тарабанить в дверь этой квартиры с воплем: «Пожар!». Кто-то бросился искать внизу телефон, звонить на "пожарку", кто-то видел огнетушитель площадкой выше и метнулся туда. Мы с Мишей в дверь квартиры, из стены которой вырывается дым, продолжаем стучать, а, нашарив в непроглядном дыму кнопку звонка, и её нажимать что есть силы, подняв в квартире трезвон.

Тут дверь распахнулась, в дыму на пороге появилась пожилая седовласая женщина в серьёзных очках и, на удивленье спокойно для чрезвычайного происшествия, посмотрела на нас, и покачала головой укоризненно:

– Инженеры... а хуже ребяташек – звонком балуетесь.

Мы возмутились:

– Да вы же горите! Дым, смотрите, пожар!

– Пожар?! – женщина переспросила язвительно. – Печка топится. Строители ваши так вот построили!

Все взглянули на трещину... и вдруг разом грохнули хохотом, корчась в конвульсиях от внезапного приступа смеха, и, казалось, сама лестница в судорогах извивалась, выплёвывая нас на улицу через дверь.

... К Володе Тимошину, перебравшемуся к нам из Кемерово, где он был на комсомольской работе, к концу лета, когда он получил квартиру, приехала молодая красавица-жена Нина Семёнова, отчасти похожая на грузинку. Лицо у неё красоты было дивной, и вся она была

хороша, мила, естественна и людям открыта, редко встречается гармоничный такой человек. И эта пара потянулась ко мне, мы почувствовали друг к другу симпатию, которая сближает, притягивает людей. И если симпатия не переросла в крепкую дружбу, то потому лишь, что времени не хватило. Виной был мой длительный двухмесячный отпуск, снова отпуск через полгода и внезапный отъезд.

... в июне-июле появился на шахте у нас Изя Львович. До этого он на другой шахте где-то работал, но рассчитался по причине мне неизвестной. Приехал сюда, надеясь устроиться. Кстати вспомнить, что именно его рассказ о практике в Томусе определил мой выбор шахты при распределении после защиты дипломной работы. Он пошёл к Плешакову, но Плешаков его на работу не принял, а ему очень хотелось остаться, и он зашёл к нам на участок посоветоваться, как ему быть. Посоветовавшись со Свердловым, мы предложили ему оформиться пока к нам гидромониторщиком. Вскоре уходил в отпуск один из наших горных мастеров, и Изя мог бы временно его место занять. Следом за первым в отпуск пойдут и другие – смотришь, Изя так в мастерах у нас и закрепится.

Андрей Буравлёв идею эту одобрил, и через несколько дней Изя работал у нас мониторщиком... Пока же он болтался совсем неприкаянный, даже место в общежитии ему обещали только через неделю. А я жил в то лето один и предложил ему до получения общежития пожить у меня.

... да, жил я всё лето один, мамы не было. В тот год начал действовать новый пенсионный закон – и за это Хрущёву поклон, так как впервые у людей появилась гарантия куска хлеба при болезни и в старости. Маме исполнилось пятьдесят пять, и она законом этим воспользовалась. Ушла из артели на пенсию. Пенсия была весьма небольшой, всего четыреста пятьдесят рублей, но и заработок-то был не ахти какой – семьсот рубликов. А пенсия зависела от заработка. И от стажа. Стаж-то достаточный был... Получив первую пенсию, мама укатила на лето в отпуск на юг, на Кубань к тёте Любе. Я купил ей билет, и впервые в жизни она ехала в купейном вагоне, да ещё и в мягком в придачу.

Между прочим, в Междуреченске знали её биографию, знали, что служила она в Красной Армии, участвовала в Гражданской войне. Её часто приглашали к пионерам на встречи, и она о днях тех героических лет детям рассказывала. Об этом и в местной газете писали.

... Муза Александровна, прочитав о ней в газете, сразу же предложила начать хлопоты о назначении персональной пенсии маме. Но

для этого надо было собирать документы, в архивы писать – мама заниматься этим не захотела, халатно махнув рукой на эту затею. А зря. Людей с такой биографией в молодом Междуреченске не было, и вполне могло статься, что ей бы восстановили партстаж с девятнадцатого года. А это помогло бы и персональную пенсию на республиканский уровень вытянуть – тысячу двести рублей, как минимум, а то и тысячу пятьсот... Я в эти дела тогда не вникал, был занят своими заботами, денег у меня было вдоволь, и я по молодости своей, по глупой своей близорукости сам ничего не предпринял. Шанс был упущен.

... Итак, мама уехала, а Изя стал жить у меня. Его вселение мы отметили своеобразно. Сидя почему-то на полу, мы выставили две бутылки шампанского и бутылку питьевого спирта, который иногда продавался в междуреченских магазинах. Подливая в шампанское спирт, мы стаканами пили это "Северное сияние", даже, по-моему, ничем не закусывая.

... по правде сказать, "Северным сиянием" называли смесь шампанского с водкой, так что то, что мы пили, следовало бы как-то иначе называть. Скажем, "Двойное северное сияние" или "Самое северное-северное сияние", или "Полярное сияние", наконец.

Последствий этого возлияния я совершенно не помню, но, если судить по тому, что я сижу и вот эти строки печатаю, они трагичными не были.

... и с чего взбрела эта дурь в головы взрослых балбесов?!

... В эти дни к нам на участок приехал в командировку китаец – аспирант Московского горного института.

... к "братскому народу" мы испытывали самые тёплые чувства, – ничуть не догадываясь, что через десять лет эти братья в нас станут стрелять, ну и мы в них, само собой разумеется, – и поэтому изо всех сил мы старались, чтобы им было у нас хорошо – ещё бы, угнетённая нация, едва только сбросившая "оковы империализма" – и обращались с ними по-доброму, дружески, предупредительно. Должен отметить, что никто не наставлял нас, как вести себя с иностранцами. Да и зачем? Они ж коммунисты.

... Этого аспиранта я пригласил к себе в гости, интересно было живого китайца порасспросить, как там у них в Китае.

... тут мы с Изей во всю постарались. Всё было чинно. Бутылки стояли на столе в центре комнаты, и выбор был, но не очень большой: портвейн, мускат, кагор, сливянка, шампанское, водка и спирт опять-таки же. В общем, стояло всё то, что было в тот день в продовольственном магазине. Сухих вин тогда я не пил, да их в Сибирь и

не завозили, пожалуй. Бывало в магазине сухое шампанское, но его я не любил – кислое очень. Не любил и шампанское сладкое – переслащено. Покупал полусладкое или полусухое.

Да, так вот бутылки красили стол этикетками, хлеб, масло, сыр, колбаса были выложены на тарелки, в двух вазах на ножках лежали грудой китайские яблоки и мандарины (они круглый год не переводились у нас).

На сей раз мы с Изей не смешивали ничего, пили весьма осторожно и только шампанское, и потчевали нашего дорогого китайца, предлагая для выпивки то, что он предпочтёт. Гость наш охотно с нами перекусил, но от спиртного наотрез отказался. То ли Мао-Цзедун пить не велел, то ли гость наш таким был непьющим. Ну, это личное дело его. Я неволить никого не люблю.

Разговор наш начался с гидродобычи – он на эту тему писал диссертацию, потом на технику перекинулся, и тут я узнал, что наши насосы служат на китайских гидроучастках без профилактики раз в десять дольше, чем здесь вот у нас. Так я впервые узнал о двойных стандартах в отечественном машиностроении. То, что похуже – для нас, для себя. За рубеж идёт всё отменное. Себе лили лопатки для рабочих колёс из простой стали, а за границу из нержавейки более прочной. И чистота обработки была выше класса на два... Дальше беседа пошла о жизни людей, и он признавал, что живут китайцы хуже нас, намного беднее... Не обошли и политику, но что о ней говорили – не помню, а помню, что мнения наши не всегда совпадали. Я пытался логическими доводами переубедить моего визави, но наткнулся на отпор твердокаменный: «Так Мао сказал».

Из деликатности я не стал убеждать нашего гостя, что и Мао не всегда может быть прав. Противопоставлять себя Мао, спорить, ссориться мне не хотелось.

Проведя часа три в обстановке непринуждённой раскованности за разговором столь содержательным, мы дружески и расстались, "братья навек".

... но осталось недоумение – что?.. успели и их уже так оболванить? «Так Мао сказал!» Нет, это не довод. Не ошибается только сам Господь Бог, да и то, как сказать. Вон ангелам кажется, что и он с Адамом ошибся. Да и вообще мнение есть, что Бога не существует. А человеку свойственно ошибаться. Ещё римляне понимали: *Errare humanum est*. Нет в истории гениальности, которая в чём-нибудь не ошиблась. Правда, и сам я до недавнего времени думал, что одно

исключение есть, хотя точно не знаю, думал ли об этом вообще. Но, похоже, был под гипнозом. Но умер великий гипнотизёр, и правда открылась, что он то налгал и наошибался поболее других, а я ложь за истину принимал. Нет, «Мао» не довод.

... прошло много дней, Изя работал у нас на участке и уже место получил в общежитии, и не в том эковском, где я два месяца жил, а в нормальном пятиэтажном, построенном в городе, но уходить от меня что-то не собирался. А меня он начал стеснять, тяготить. Слишком разные мы были с ним люди, невероятно далеко отстояли наши стремления и интересы. Сказывалась психологическая несовместимость: постоянное общение с ним стало меня раздражать. Но выгонять его было неловко, и я терпел в надежде, что он сам догадается: пора и честь знать... Но он почему-то никак не догадывался.

Прошло ещё десять дней, и я, наконец, намекнул ему, что мне иногда надо кого-либо к себе привести, но я не могу в его присутствии этого сделать. Я лгал, приводить к себе мне было некого, но как иначе скажешь ему?.. «Изя, ты мне осточертел до...» – так ведь обидится, да и мне не совсем по душе с человеком так невежливо обращаться.

К счастью, Изя всё-таки после этого понял, что ему пора убраться и на следующий день перебрался в своё общежитие, избавив меня от душевных терзаний.

... через месяц он стал у нас горным мастером взамен мастера, ушедшего в отпуск. Всё шло, как и было задумано.

... Пришла пора, наконец, приступать к продлению аккумулирующего штрека во вторую часть нашего участкового поля. Да что-то собраться никак не могли. Случай помог.

... Комбайн Гуменника.

Кто был зачинателем, мне доподлинно неизвестно. Скорее всего, ВНИИГидроуголь. Это дело прошло мимо меня. К нам прибыл для испытаний проходческий комбайн Якова Гуменника. Его и запустили для проходки этого штрека.

... Я был занят на поверхности чем-то серьёзным и не видел, ни как комбайн к нам привезли, ни как в шахту его затащили. Узнал лишь, что комбайн заработал. Свердлов отзывался о нём хорошо, зато Малышев чертыхался. С появлением комбайна у него совсем не стало покоя. У комбайна было одно слабое место, казалось бы чепуховина – контакты пускателя. Дело в том, что напряжение тока в шахтных выработках согласно ПБ не могло превышать трёхсот восьмидесяти вольт. А поскольку двигатель мощный, то сила тока в нём велика. Контакты,

хотя и были они из самого электропроводного материала, из серебра, после каждого выключения двигателя подгорали, вновь включить двигатель невозможно – ток не идёт через плёнку нагара. Приходилось вскрывать пускатель на комбайне и зачищать контакты. Только, почему это делать заставляли механика? – С этим электрослесарь управится.

... о самом изобретателе, сконструировавшем комбайн, мы не слышали никогда. Теперь, наведя справки о нём, узнали, что имеем дело с личностью легендарной...

Яков после окончания горного техникума стал начальником механических мастерских на шахте "Байдаевская" в Сталинске. Там у него и зародилась идея, там он и мастерил потихоньку из подручных материалов действующую модель комбайна. Там на шахте он её и испытывал, и доводил.

Комбайн представлял собой две платформы с гидродомкратами для бокового распора. Сначала распиралась нижняя платформа на гусеничном ходу. Вторая платформа с рабочим органом двигалась в забой осевым гидродомкратом по направляющим нижней платформы. Когда тот влезал в угольный массив на всю глубину, боковые гидродомкраты верхней платформы распирали её, домкраты нижней – ослабляли распор, освобождая ходовую часть, и та на гусеницах подъезжала под верхнюю, после чего цикл повторялся.

Сам рабочий орган представлял собой вращающийся диск, усеянный зубками по трём радиальным лучам, с забурником, выступающим немного вперед.

Испытания модели комбайна показали, что, хорошо врезаясь в уголь, она не выдерживает заданного направления, забирая по дуге большой окружности вправо. Гуменник сразу нашёл выход из положения. Поместил перед диском три вращающихся луча с фрезами. Фрезы крутились в плоскостях перпендикулярных плоскости вращения диска. Сложение этих вращений обеспечило устойчивое движение комбайна по направлению и чудесным образом увеличило скорость разрушения материала забоя, скорость проведения выработки.

Добившись безотказной работы уменьшенной копии будущего проходческого комбайна, Гуменник предложил изобретение Минуглепрому в надежде построить комбайн в натуральную величину на заводе. Но великие печи в министерстве и в его отраслевых институтах забраковали идею, и Гуменник остался, что называется, на бобах.

... но слухами земля полнится, и, я думаю, не везде вхолостую работали спецотделы, спецчасти на предприятиях. Слухи о чудесном "кроте", который вгрызается в землю с быстротой небывалой,

докатались до Минобороны. Там оценили возможности машины для рытья в грунте подземных ходов сообщений при создании линий и узлов обороны. Гуменник был вызван в Москву и... на два года исчез – мобилизован для создания и испытаний комбайна. На заводах оборонной промышленности по его образцу изготовили несколько рабочих машин, испытывали в разных грунтах, и везде они себя зарекомендовали отлично. Гуменник был с честью (и немалой денежной суммой) отпущен на волю. Кроме того, военный министр, подарил ему лёгкую машину-амфибию.

... Тут и в Министерстве угля спохватились, Мучник тоже оказался сторонником этой машины. По его просьбе Яков один из опытных образцов приспособил для гидродобычи угля. Попросту выбросил из-под него транспортёр и всунул под рабочий орган трубу, в которую при работе по шлангу подавалась вода для смыва сколотого угля.

...явление Якова в Междуреченске было эффектным... Я был на дамбе между флотохвостохранилищем и У-су. Вижу, по сталинскому шоссе мчится зелёная легковая амфибия. Не доезжая до моста, машина резко сворачивает в мою сторону, съезжает по каменному откосу в реку, переплывает её, въезжает на дамбу, проезжает мимо меня к нашему АБК... Это был форс высшего класса: на кой чёрт мне сдался ваш мост, я и без него могу через реку перебраться.

... Когда я от своих неотложных дел немного освободился, я немедленно отправился в шахту поглазеть на знаменитый комбайн. Уже внешний вид его показался внушительным – машина солидная, не какая-то дрыгалка лифференковская. Малышев как раз закончил очередную зачистку драгоценных контактов, в забой подали воду и включили комбайн.

... и чудо случилось. Простите за банальность сравнения, но иначе не скажешь никак: комбайн на глазах полез в наш крепкий уголь, как нож в масло. Минута, другая – и он на метр углубился в массив. Подобного я и предположить-то не мог. Это просто здорово было. Это было красиво.

Но тут снова подгорели контакты: привод рабочего органа выключили – надо было ходовую часть подтянуть. Он ведь не был комбайном непрерывного действия, он работал циклически. Но и так, с непрерывными остановками, он бы мог за смену отмахать двести метров, если бы эти контакты не подгорали. Тут я должен напомнить, что при буровзрывных работах по двести метров не за смену – за месяц проходили лишь рекордсмены.

... Малышев принялся вскрывать коробку пускателя, чистить контакты. Я не стал больше ждать, всё было ясно.

Хотя даже и пятидесяти метров комбайн у нас ни разу не проехал за смену, всё же с непрерывными остановками он быстро продвигал штрек, оставляя за собой сводчатую выработку в ненарушенном взрывами целике, не нуждающуюся в креплении. Мы, пожалуй, за месяц могли вскрыть вторую часть поля участка, если бы комбайн неожиданно не въехал в горельник. Предвидеть этого было нельзя... Когда-то, тысячу или сто тысяч лет назад, часть пласта у выхода на поверхность возгорелась и узким языком выгорела метров на сто вглубь пласта, а выгоревшее пространство завалилось мелкими кусками обрушившейся породы, обожжённой, как глина, до красного крепкого кирпича, и в это крошево с ходу въехал комбайн. Диск комбайна засыпался – мы самую верхнюю часть пласта отрабатывали в непосредственной близости от поверхности. Машинист комбайна момент прозевал, не успел назад комбайн вовремя выдернуть.

... Началась эпопея извлечения его из завала. Руководили работами Буравлёв и Свердлов. Я заглянул посмотреть, как это делается.

... по бокам задней части комбайна, торчавшей в штрек из горельника, частоколом поставлены стойки. Вверху на их торцах с той и другой стороны вдоль забоя под кровлей уложены восьмиметровые рельсы. На рельсах – вплотную затяжки до откоса осыпавшегося горельника. Ударами кувалды загоняли рельсы в кучу разрыхленной огненно-красной породы, после чего рабочие руками выгребали её между рельсами из-за затяжки. Как только им удавалось расчистить немного пространства над рельсами, туда всовывали очередную затяжку и под её прикрытием очищали комбайн от породы, пока не доходили до края затяжки. И так – бесчисленное количество раз: затяжка, кувалда, вбивание рельсов, выгребание породы...

Время от времени машинисты включали задний ход машины, но безуспешно. Осыпавшаяся порода крепко держала её. И разборка породы медленно, шаг за шагом, под затяжкой, под рельсами продолжалась.

... наконец, разборка завала продвинулась до рабочего диска, – я как раз вторично пришёл посмотреть – при очередном заднем рывке комбайн чуть сдал назад, сдал ещё, и пополз, пополз из ловушки. Ну, конечно, мы все дружно заорали: «Ур-ра!» Всё. Надо думать, что делать дальше.

... это случилось в августе. Буравлёв ушёл в отпуск, а я был назначен временно исполняющим обязанности начальника гидро-комплекса.

В августе суточный план нам подняли до шестисот тонн, но мы, совершенно для меня неожиданно, с первых же дней стали план этот перевыполнять, да и ещё как перевыполнять – на целую треть. Теперь на планёрках о добыче на грядущие сутки я небрежно бросал: «Восемьсот тонн!», и все коллеги помалкивали. Что-то не было у них настроения хохотать, как над первыми метрами в январе. Ни один не мог назвать более трёхсот тонн.

... ничего ровно в горных работах я за месяц не мог изменить и не изменил ничего. Возобновить взрыв верхней части пласта я не мог, так как верхние печи пройдены не были. А добыча росла. Мы к проектной мощности подбирались? Почему же так уголь пошёл?.. Где тут собака зарыта? Неужели комбайн Гуменника нам так помог?.. Посчитал. Нет, не то, причину следует искать в другом месте.

... и я быстро её отыскал. Чудеса начинались в отстойниках.

... Вообще-то отстойники я и раньше начал использовать, чтобы чуть развязать себе руки, и добавить приплату добросовестным поверхностным машинистам, их тарифная ставка была значительно меньше, чем у машинистов подземных, а в условиях работы разницы практически никакой. И для этого я воспользовался следующим обстоятельством. Фабрика, на которую мы перекачивали уголь из наших отстойников, ежедневно с восьми утра останавливалась на ремонт, до двенадцати дня профилактикой занимались. Мы, естественно, уголь в это время туда качать не могли. Из восьми часов в первую смену машинисты только полсмены занимались этой работой, а четыре часа били баклуши. Не всегда – тоже иногда ремонтами занимались, – но частенько дела не было у никакого: какой там ремонт, если всего два углесоса. Тут директор фабрики меня попросил, чтобы в первую смену за четыре часа после двенадцати перекачивали из отстойников как можно больше угля, так как шахта в первую смену обычно только расквашивалась. Вот у меня и мысль промелькнула, а не перевести ли первую смену с повременной оплаты труда на сдельщину, чтобы рублём пробудить интерес машинистов к интенсивной перекачке угля. Хотя это был только предлог для защиты перед начальством моей задумки, а задумал я хитрую запутанную механику... Мои смены при такой оплате труда окажутся в неравном положении. В первую смену

время возможной работы по выкачке угля у машинистов в два раза меньше, чем у других смен. Поэтому и расценка за тонну перекачанного угля в первую смену должна быть вдвое... выше, конечно. Но бывают на фабрике и простои, в чём мы никак не повинны. Так вот эти простои "по фабричной вине" оплачивать повременно.

Этой мыслью я поделился до отпуска с Буравлёвым, он одобрил её, но сам к Крылову с ней не пошёл, предоставив мне весьма сомнительную привилегию убеждать главного инженера в целесообразности этой затеи.

... Крылов с доводами моими согласился на удивление быстро. Сразу вызвал к себе начальника отдела нормирования, поручил рассчитать нормы и расценки, что мигом и сделали, и приказ о порядке оплаты труда машинистов углесосов отстойников в тот же день был и подписан.

... это развязывало руки мне для манёвра: фабрика поступающий от нас уголь учесть никак не могла, а маркшейдерами откачанный уголь между сменами не делился. Поэтому я за первой сменой мог произвольно записать больше угля, чем было, по высокой расценке, а вторую провести по тарифу, по повременной оплате, если угля было мало.

... и риска, главное практически никакого. Кто там через недели и месяцы будет сравнивать простои у фабрики и у нас? Я и наши простои в случае срочных ремонтов оговорил.

А поскольку машинисты, как и все рабочие, сменами еженедельно менялись, то и небольшая от меня прибавочка к заработку доставалась всем, никто не был в обиде... Тут, естественно, сразу возникнет вопрос о морали. Как же быть с нравственным законом во мне, о котором я в своё время много писал? Что же, он во мне испарился?.. Нет. Он оставался во мне. И в отношении частных лиц я не переступил через него. Что касается предприятия, государства... Раз со мной поступили нагло, бесстыдно – я не чувствовал себя связанным моральными обязательствами с бесчестным руководителем шахты. Больше того, появился азарт, как хитрее обвести Плешакова. И для себя оправдание было: не для себя я стараюсь – для рабочих участка. Но и для себя тоже – чем лучше они работают, тем мне легче с работой справиться, тем у меня, у надзора больше возможности премию получить.

Ну, а по-честному если, то все мои оправдания липовые. Их просто нет. Захотел так вот – и сделал. И доволен был, что это у меня получилось.

... А ребята на отстойниках были смышлёные. Но ребята – это к словцу. Двое из них, местный шорец Кызласов и украинец Кожухарь, были старше меня, и один лишь Матросов был совершенным юнцом. У Матросова гулял ещё ветерок в голове, А Кызласов и Кожухарь были степенны, толковы.

Раз захожу в углесосную к ним и упираюсь глазами в стальную рогульку между красной и чёрной кнопками выключателя маленького насосика, предназначенного для откачки просачивавшейся через бетонные стенки воды, стекающей по каналу в зумпф в углу углесосной. От рогульки вниз – стержень с поплавком на конце. Смотрю, наблюдаю... Уровень воды в зумпфе повышается, поплавок со стержнем приподнимаются, поворачивая рогульку, и верхний рог её упирается в чёрную кнопку и включает насос. Вода в зумпфе снижается, поплавок со стержнем за ней следует вниз, и нижняя рогулька нажимает на красную кнопку – отключает насос. Просто всё до предела, а приятно, что рабочие сами придумали: «Молодцы!» Чего не сообразили конструкторы, проектировщики, инженеры, наконец, о чём мы с Малышевым и не подумали – есть дежурный, включает, когда вода соберётся и выключает после откачки. А они сами в мехцехе из подручных материалов сварганили: насос начал включаться и выключаться автоматически.

Ну, как таким рабочим не приплатить, хотя бы они и для себя только старались?!

А они, в свою очередь постарались для гидроучастка, таким образом, какого я и предвидеть не мог. Я писал о замерах угля маркшейдером из маркшейдерского отдела, когда рабочий мерную рейку держал. И тут хитрый ум российских рабочих (смекалка, если хотите) сделал выводы, не предусмотренные ни маркшейдерской службой, ни мной, предложившим эту самую процедуру замера.

Мы со Свердловым начали примечать, что не сходятся наши прикидки добычи за смену, за сутки с тем, что маркшейдерский отдел после замеров и вычислений нам выдаёт. И часто не сходятся. Ужасно не сходятся.

... вот даёт, например, нам утром работник маркшейдерского отдела справку о том, что за истекшие сутки в отстойники поступило из шахты восемьсот тонн угля, причём бóльшая часть ночью. Ночная смена забойщиков, только что выехавшая из шахты лишь переглядывается между собой: они всю ночь простояли из-за какой-то поломки.

– Владимир Стефанович, – говорит мне мониторщик Петрук, – ночью даже насосы нам не включали.

Я только пожимаю плечами:

– Хорошо. Я разберусь, – хотя вижу, что Петруку разбирательство это не нужно. Но для меня это случай уже окончательно вопиющий, несмотря на то, что все делают вид безразличный, будто ночью ничего не случилось, и я иду на отстойники разбираться. Разговариваю с Кожухарём, осторожно выспрашиваю, как на деле производят замеры.

– Маркшейдер не отходит от инструмента, мы же держим мерную рейку в местах, где он нам укажет, – говорит Кожухарь и далее продолжает: – Если отсек нами откачан частично, и уголь весь на виду, то я на оставшийся уголь рейкой давлю, что есть силы – сантиметров на двадцать иногда удаётся вдавить, чтобы считалось что угля в отсеке меньше осталось. Если замеряем в отсеке, куда уголь из шахты идёт, и он доверху залит водой, то, рейкой нащупав уголь, приподнимаю рейку повыше, чтобы больше казалась добыча.

– Ну и ну, – только и сказал я, – поаккуратней надо бы всё же. – И ушёл, прикидывая в уме, что и при таком обмане больше пятидесяти тонн лишнего угля не получишь. Собака где-то в другом месте зарыта. Тут либо маркшейдер спутал, при втором замере другой отсек замерял, либо Кожухарь не всю правду сказал. Не чуть-чуть рейку приподнимал над углём в полном отсеке, залитом водой, а в пустом, куда бы рейка ушла целиком, он держал её неглубоко от поверхности. Тут сотни тонн смогли появиться. Не думаю, чтобы такое часто случаться могло, – тут совпадение нужно, – но совсем исключать этого тоже нельзя... Ничего не выяснив окончательно, я махнул на это дело рукой. Пусть на совести маркшейдера всё остаётся, он несёт ответственность за замеры...

... разумеется, пока это нам не в ущерб.

... И снова я обращаюсь к угрызениям совести. Я всегда был щепетилен до крайности и считал себя порядочным человеком, образцом честности, можно сказать, в частных с людьми отношениях. Но когда я слегка обманывал государство, у меня и тени подозрения не возникало, что веду себя бесчестно и не порядочно. Ни когда набивал башмаки на току колхозным зерном, ни когда таскал виноград их колхоза в корзинке, ни когда уносил сахар, печенье и яблоки со склада ОРСа, ни когда писал "перекреп", чтобы оплатить неоплачиваемую заделку купола или уборку породы, ни теперь, когда приписывал метры не пройденных нами печей или использовал произвольно завышенную расценку на перекачку угля. Ну, допустим, последние шли людям на пользу. И угрызений совести тут я не чувствовал никаких. Ну, а первые ведь – для себя. А ведь тоже угрызений совести не было. Хотя следовало бы честно признать, что я вор. Но тогда ведь и ломка сирени и груш – воровство, и его тоже

следует ещё более строгой меркой судить – тут уже частным лицам я ущерб наносил. В чём же дело? Почему, себя считая нравственным человеком, совершенно безнравственно поступал. Неужели дело тут в общественном мнении? В том, что общество – не государство! – не считает всё это чем-то зазорным, а, пожалуй, даже ещё и видит ухарство в этом, и своим бесстрастным, а то и сочувственным молчанием подогревает азарт?.. Трудный вопрос. Но, конечно, лучше бы этого мне не делать... Но ведь жизнь сама подталкивала иногда. Да и не всегда это было!.. Трудно себя обвинять, но и оправдывать невозможно. Так что оставим неразрешённым этот вопрос...

... ну, а взять у такого, как Плешаков – тут сам бог повелел. Он сам всех обирал – так почему же в возможных пределах не отплатить ему той же монетой?! Нет, не чувствую тут я никаких угрызений. И не буду это скрывать.

Между прочим, ещё в первые месяцы работы моей на шахте то ли за захламлённость выработок, то ли за что-то ещё Плешаков вздумал вычесть какой-то процент у меня из зарплаты. И приказ подписал. Это у него в обычной практике было, и инженеры мирились. А мне некто до этого рассказывал, что если человек с вычетом не согласен, то лишить его денег можно лишь по суду. Не знаю, верно ли это. Тогда не было времени этим всем заниматься, потом я об этом забыл. Так вот я на приказе, когда мне принесли его для ознакомления, вместо того, чтобы написать: «С приказом ознакомлен», написал: «С приказом не согласен», – и у меня бухгалтерия ничего не вычла из заработка, и в суд на меня Плешаков не подал – что ему нечего делать, чтобы с каждым инженером ежедневно судиться?! Вот таков гусь, пользуясь безропотностью людской, обирал народ беспощадно. Так о каких угрызениях совести можно тут говорить?

... Итак, временное начальствование своё я начал с резкого "подъёма" добычи. И работал весь месяц совершенно спокойно. Только дважды у меня ёкнуло сердце.

... когда комбайн Гуменника вытаскивали из завала в горельнике, я пришёл на отстойник во время маркшейдерского замера. Глянул... и сделалось мне не то чтобы дурно, но довольно-таки не по себе... Прошлая смена чересчур постаралась. Весь отсек был с верхом забит, ах, если бы углём, – ярко-красный конгломерат пламенел над водной гладью, оттеснённый к углам и стенкам переливного канала. «Да, – размышлял я, – нагорит мне за это, и, как пить дать, тысячу тонн угля снимут с участка».

Однако маркшейдер приступает к замеру, безучастно взирая на то, что он замеряет. А сможет у него дальтонизм?

... в ту же смену мы моментально скачали на фабрику эту пламенную улику.

... Второй раз мне стало не по себе, когда маркшейдеры подбили бабки за месяц. Оказалось, что мы добыли угля больше, чем его было в пласте на выработанном за этот месяц участке. А ведь какие ещё были при этом потери?!. Тут стоило призадуматься. Это-то как оправдать? Наконец мысль сверкнула: «На худой конец, если начнут прижимать, покаяться и сознаться, что тысячу, две тысячи тонн кирпичной щебёнки нечаянно вместо угля в отстойник скачали».

Но не успел я как следует прикинуть, что говорить, как пришёл Роальд и принёс весть, что маркшейдеры за нас нашли убедительнейший ответ, до которого я бы никогда не додумался: в пласте – местное утолщение.

... ох, и поохотали мы вместе с Роальдом – он, конечно, догадывался, что химичат у нас, на отстойниках, но я в это дело предпочитал не посвящать никого. Но маркшейдеры молодцы! Это ж надо такое придумать! И ничем теперь не докажешь, и не опровергнешь ничем!

... Если бы отдел получал выгоду от нашей добычи? Так нет, никакой ему выгоды не было. И агента своего мы там не держали. Что же толкнуло маркшейдеров химию нашу прикрыть? Поняли, видно, что где-то крупно прошляпили, да в ошибке признаться не захотели – за такое по головке не глядят – да и ошибку найти не могли, – как её искать в отгруженных тоннах! – ну и родили "местное утолщение". Свой промах прикрыли! О сущности же не догадались. Всё по-прежнему осталось при замерах угля... Ну, а машинисты стали работать поаккуратнее.

... С апреля нас начали донимать порывы трубопроводов высоконапорной воды. Опрессовка была явно липовой. Трубы были бракованные... Хорошую мину Филиппов нам подложил. Если бы не было второй нитки, ни рубля премии за весь год мы бы не получили... И благо бы рвались трубы там, где к ним доступ открыт. Нет, как назло – всё внизу, в засыпанной части! Впрочем, это было не ново, там же был самый высокий напор.

Так вот и работали постоянно: пока одну нитку латали, вода в шахту шла по второй. Рвалась вторая – уже по первой можно было качать. Пришлось создавать специальную бригаду аварийщиков со сварочным аппаратом.

... в лихорадке жили от этих порывов. Устранение их занимало много времени. Пока отыщешь на трассе место порыва – не всегда

ведь вода в глине дыру пробивала, это было при порывах в верхней части трубы. Если труба лопнула сбоку или внизу, то вода растекалась в траншее и наружу могла выйти метрах в двух, в трёх, в четырёх. Пока лопатами в глине до трубы доберёшься, пока до порыва дойдёшь, пока яму расширишь и углубишь, чтобы сварщик мог над трубой колдовать: вырезать рваный кусок и заплату приваривать – сколько времени на это уйдёт! Целый день!

... работа нудная, бесконечная для меня, за трассы я отвечаю. Но и тут без трагикомедий не обходилось.

Выше поворота от Ольжераса, но ниже будки переключения, там, где водоводы вылезали из земли на опоры, монтажники укладывали трубы не в траншеи, а по склону оврага, после чего на них бульдозером нагребли двухметровый слой глины. Чуть ниже по склону лепились хибарки самовольных застройщиков, так называемый "самострой", с заборчиками крохотных дворишков, огородиков, с маленькими сарайчиками и непременными на одно очко будками для отправления естественных надобностей.

... и надо же, чтобы именно в этом вот месте разворотило трубу, вывернув края трещины водовода по падению склона!.. Струя, вырвавшись из трещины под напором, слизнула два метра глины перед собой и, ударив из промоины с немалой силой, проломила глинобитную стену сарайчика и противоположную ей стену на высоте полутора метров. Сарайчик мгновенно заполнился водой до этой отметки: в щель между рамой двери и запертой дверью она не успевала стекать.

Воду в насосной сразу переключили на другой водовод: увидели, что манометр упал, и бригада аварийщиков отправилась вверх по трассе искать место порыва. Я, будучи в шахте, увидев внезапное отключение – что это значит, я знал хорошо, – тоже пошагал вниз по трубам, чтобы работами руководить (так полагалось, хотя и без меня бы управились). Там у сарайчика, у места порыва, мы все и сошлись. Вода из отключённого трубопровода не текла, но промоина сама за себя говорила. В этом месте и начали глину раскапывать. И тут же из домика рядом с сараем выскочили мужчина и женщина. Женщина бросилась к двери сарая, распахнула её, вода хлынула из сарая волной, окатив женщину до самого пояса.

– Что же вы делаете, мерзавцы, – завопила она и подступила к нам с бранью: У-у, проклятые выродки! Поросёнок в сарайчике захлебнулся.

... Мы не были настолько циничными, чтобы расхохотаться при этом известии, согласитесь, комичном в иных обстоятельствах,

или грубо от неё отвязаться: «А вы самовольно не стройтесь в том месте, где селиться не разрешается»... Нет, мы глубоко сочувствовали их потере, их горю, несчастью, но что мог я сказать. Только:

– Мы ведь в этом не виноваты, тут дело случая. Это ведь и наша беда, это авария.

Вряд ли эти слова их утешили. Заплатить за погибшего поросёнка за счёт шахты никак я не мог. Вот если бы они у меня на участке работали, я бы как-нибудь исхитрился... Но они у нас не работали. А перед шахтой, допустим, в суде они были совершенно бесправны – самострой!.. незаконный застройщик.

Единственное, что мы для них сделали, это быстренько починили повреждённый сарайчик и посоветовали со стороны водовода прикрыться железом, хотя бы старыми транспортёрными решётками.

... Очередной разрыв трубопровода произошёл через несколько дней чуть пониже. Домов тут не было, но трубы там хоть и на склоне присыпаны, но немного и в траншее притоплены. Струя не пробилась наружу, а вода растеклась в обе стороны от порыва, размягчила глину вокруг, расквасила и сочилась из-под неё.

... я стоял и в раздумье затылок почёсывал: где начать, чтобы сразу в точку порыва попасть и дурную работу не делать. Раздумье было глубоким, но тарахтенье бульдозера на дороге я услышал.

Я выскочил вверх на обочину. Руку поднял. Бульдозер остановился.

– Выручи, друг, – говорю я бульдозеристу, – столкни вниз эту вот глину, – я махнул вниз рукой.

Парень попался покладистый, сразу поперёк дороги бульдозер свой развернул, опустил нож вниз до отказа и, осторожно спускаясь по склону, сдвинул толстый слой глины сверху вниз метра на два. И тут же сам в глиняной липучке увяз. Намертво. Ни вперёд, ни назад!

... тут я занервничал. Мало того, что дело не делалось, так ещё и бульдозер чужой утопил. Очень занервничал, испугался, что здорово мне влетит за моё самовольство. Молод был, несмышлён. И не привык к тому, чтобы меня кто-то ругал.

Я снова поднялся вверх на дорогу. Может подмога откуда придёт... Бульдозерист в глине подёргал, подёргал машину, но увяз ещё глубже, и занятие своё прекратил.

... на дороге внизу запылел самосвал. Снизу шла пятитонка. Я махнул ей. Машина остановилась. Шофёр согласился помочь. Достал трос, зацепил за машину, второй конец бросил бульдозеристу,

чтобы тот набросил петлю на крюк, после чего оба полезли в кабины. По взмаху, согласованными рывками, стали дёргать утопленника. Бесполезно. Он только трясся, но с места не сдвинулся.

– Порожня машина, – констатировал, выскакивая из кабины, шофёр, – не тянет. Нужна гружёная, – отцепил трос и уехал.

... А где её, гружёную-то, возьмёшь? Тут только людей возят, да лес на лесной склад иногда. А лес – это не груз!

... я расхаживал в тоске по дороге, солнце пекло мне в макушку, как назло жарко и радостно. «Ему бы заботы мои», – чертыхался я про себя, голову прикрывая ладонью... Рабочие лениво лопатами обкапывали траки бульдозера.

Делать нечего. Надо идти начальству шахты докладывать о происшедшем, трактор просить... но я медлю – не люблю нахлобучки – хотя рассчитывать не на что.

... И что бы вы думали? Минут через двадцать сверху идёт самосвал, нагруженный тяжёлой породой. Откуда он взялся? Зачем? Из шахты породу выдавали в вагонетках и тут же сваливали в овраге в отвал.

... ну, снова мы подцепили к бульдозеру трос. Рывок тяжёлого самосвала внушительен. К тому же и гусеницы бульдозера мы чуть-чуть откопали. Словом, бульдозер подался назад, траки на колесе провернулись, гусеницы пошли, и уже своим ходом он вылез из ямы.

А нам уже недалеко до трубы. Порыв вскорости откопали, а тут и Малышев приволок на своём мотоцикле, на буксире, сварочный аппарат. Трубу заварили.

... Сварочные работы приходилось вести беспрестанно. Но, наряду с электросваркой, надо было и резать металл: вырезать в трубах разорванные участки, заплаты, заготовки для переходников и колен и ещё много всячины разной... Резать же было нечем. Отдел снабжения шахты по неизвестной причине не мог достать нам ни бензорез, ни автоген. Мы то и без них резали – куда денешься? Но резали тем же сварочным аппаратом, конечно, в другом совершенно режиме. Это нас нисколько не устраивало. От него линии реза неровные, с наплывами, две поверхности хорошо подогнать друг к другу нельзя, да и с электродами в тесной яме поворачиваться не очень сподручно... О бензорезе мы сокрушались на каждом наряде. Каждый день я в отдел снабжения заходил – безрезультатно.

... и однажды после наряда подходит ко мне наш проходчик, по фамилии Антонюк:

– Владимир Стефанович, на Красногорском разрезе мужик керосинорез продаёт. За сто пятьдесят рублей.

Цена, скажем, плёвая. А где он его взял я интересоваться не стал – в магазинах "средства производства" при социализме не продавались. Ясно, что спёр или на том же разрезе, или где-то на складе. Но это меня не касалось, я просто принял к сведению сообщение Антонюка.

Встретившись с Малышевым, я спросил у него, существенна ли для нас эта разница: бензорез или керосинорез?

– Да один чёрт, – отвечал он. – Только один на керосине работает, а другой – на бензине.

– Вот что, – сказал я Антонюку на ближайшем наряде, денег у нас на участке для покупки, сам понимаешь, нет. Но в заначке у меня есть шесть метров неучтённой проходки, это рублей на триста примерно. Я эти метры тебе запишу, ты в зарплату из этих трёхсот возьмёшь сто пятьдесят, а остальные оставишь себе. Хорошо?

– Хорошо.

– Значит, договорились.

... через два дня на столе лежал новенький блестящий золотистой латунью керосинорез с двумя шлангами, редуктором и набором горелок.

Баллоны с кислородом на шахте имелись – проблема резки труб была решена.

... В это же время я решил начать приплачивать по пятьсот рублей в месяц (всё теми же метрами) Василию Ионовичу Долгушину. Он числился у нас машинистом подземной углесосной станции (там ставка была наивысшая), но на деле почти там не работал, он на деле давно возглавлял бригаду ремонтников высшей квалификации. Кроме того, что Долгушин умел решительно всё по электрической и механической части, он был ещё безотказен – неоценимое и редкое качество. Его не надо было упрашивать задержаться после работы, если на то была крайняя надобность. Он сам никогда ни за что не уйдёт, пока всё не будет закончено.

Ну как же не повысить зарплату такому рабочему! Легальных способов для этого не было – социалистическая система оплаты труда такие "мифические" для неё категории, как трудолюбие, добросовестность, безотказность, отказывалась учитывать. Вот поэтому я для исправления несправедливости использовал нелегальные способы.

К Долгушину за его человеческие и рабочие качества благоволил весь надзор. И Свердлов, и Малышев, и все остальные хотели сделать доброе для него.

... и вот я – от Долгушина, разумеется, втайне – стал его время от времени "посылать" в помощь проходчикам, так что за месяц ему как раз дополнительно пятьсот рублей набежало.

Но когда получка пришла, и Василий Ионович обнаружил, что ему причитается больше положенного, он – не скажу возмутился – он просто твёрдо сказал: «Не заработанных денег получать я не буду».

Мы со Свердловым принялись его уговаривать:

– Василий Ионович, вы заработали больше. Одних сверхурочных вам бы тысячу рублей выплатить надо. Но не можем мы выплатить. Запрещено сверхурочно работать.

... кое-как уломали его.

– Ну, хорошо, – сказал он, – я получу эти деньги, но с условием, что на них устроим с бригадой пикник.

Не пикник он сказал, как-то иначе, но хорошо (упаси бог – не выпивку!), смысл был слова таков. Ну что с ним поделаешь?! Пришлось согласиться.

... и вот Василий Ионович приглашает меня, Малышева и Свердлова. Мы выходим из кабинета за ним, направляемся к мосту, переходим дорогу и рельсы, идём к Лысой сопке по дамбе мимо хвостохранилища от любопытных взоров подальше. Там на зелёном откосе выше каменной облицовки газеты расстелены. На них слесари из бригады Долгушина ставят бутылки с водкой, стаканы, режут хлеб, колбасу, раскладывают пучки зелёного лука.

... в тесном дружном кругу, опрокинув враз по стакану, принимаемся за закуску. Лук сочно хрустит на зубах, колбаса и хлеб после водки и с голоду – вкуснее не надо! Солнце издали где-то над Томью посылает не жаркие предвечерние лучи. Тепло разливается по всему телу и становится так хорошо и от водки, и от этого далёкого низкого солнца, и от дружелюбных рабочих, оттого, что работаем мы согласно, разумно, уважая друг друга.

... Разумеется, хорошее отношение рабочих ко мне объяснялось не только моей доброжелательностью к людям, к рабочим, не только простотой манер моего обращения с ними (не допуская, однако, амикошества), но, прежде всего, высокими заработками. Во всяком случае – большинства... Истинное представление о "симпатиях" ко мне этого большинства вскоре составилось совершенно случайно из-за небольшой неприятности...

... Зарплату участка, так повелось с первого месяца после пуска нашего гидрокомплекса, я получал в кассе бухгалтерии самолично, и сам же её выдавал рабочим, надзору.

... и вот, в очередной раз, мне позвонили из бухгалтерии и сказали, чтобы я шёл за зарплатой. Я пошёл в кассу с портфелем, взяв, как и положено, сопровождающего. В этот раз им Малышев оказался. Кассирша открыла нам дверь, и мы расположились у неё за столом. Она отсчитала около полусотни пачек с купюрами различных достоинств, перекрещённых бумажными ленточками, в основном – пачки банкнот сотенных и полусуток. Я и Малышев за счётом её наблюдали, и потому, не пересчитывая деньги второй раз, я под надзором недрёманого малышевского ока уложил все пачки в портфель.

... На участке я высыпал кучу пачек на стол, и стал пересчитывать деньги. Не хватило пятисот рублей, то есть пачки синих пятирублёвых купюр. Ни одной синей пачки не было в куче вообще. Я и Малышев стали припоминать, какими купюрами выдавала нам деньги кассирша. Я припомнил отчётливо всё, как, в каком порядке она деньги считала, как их мне подавала. Пачки синих пятирублёвок я в руках не держал. Малышев тоже вроде не видел такой.

Мы вернулись к кассирше и сказали, что она, возможно, ошиблась, а мы невнимательно за счётом следили, нам недодано пятьсот рублей. Та ответила, что проверить это можно лишь по остатку в конце рабочего дня. Другой возможности нет. Я и сам понимал это прекрасно, потому и безропотно подождать согласился.

Но пока делать нечего – я начал выдачу денег по ведомости.

В конце конторского рабочего дня мы с Виталием снова были у кассы. Ответ кассирши меня удручил: «Лишних денег в остатке нет». Зажилила, стало быть, хапнула... А ничем не докажешь! Ушами хлопать не надо!

При пяти-шеститысячном ежемесячном заработке пятьсот рублей не такая уж значимая потеря, а всё равно на душе остался неприятный осадок.

– Ну да бог с ними, с пятью этими сотнями, – закончил я свой рассказ о нашей оплошности Свердлову на третьем наряде, продолжая выдавать деньги рабочим...

Но Свердлов не поддержал моего восклицания. «Обычно в таких случаях сбрасываются на участках», – сказал он, бросил свою кепку на стол и обратился к рабочим:

– Я думаю, мы с вами не обеднеем, если сбросимся по несколько рубликов, чтобы покрыть недостачу. Лучше всего, по-моему, пропорционально заработку, так справедливее. С тысячи – рубль. Так почти все пятьсот рублей наберём, – и бросил пять рублей в кепку.

Предложение это отказа не встретило. Многие деньги бросали в кепку охотно, но большинство всё-таки жалось: норовили пятёрку заменить тройком, или бросали рубль вместо трёшницы.

... я смотрел на этих людей, и не было предела моему изумлению. Я уже и денег тех не хотел. Я понять их не мог. Что за люди?.. Мы ни за что, ни про что им приплачивали по триста-пятьсот рублей ежемесячно. То есть кому-то за что, но большинству просто так, из человечности что ли: зачем деньгам пропадать в прорве безликого государства, а у них семьи, жёны, дети, родители...

И эти вот люди разово не хотят пожертвовать от души сотую часть, нет, не заработка своего, а того, что мы им незаконно приплачивали, от нашего бескорыстного дара.

Будь мы негодяи, рвачи, мы бы только с некоторыми из них, с особо доверенными, могли сговориться, как я сговорился ради резки металла с Антонюком. Хочешь лишних пятьсот рублей получить?.. Вот тебе дополнительно тысяча – пятьсот себе заberi, пятьсот нам отдай!

... Нам и в голову такое придти не могло, а ведь мы могли бы за год просто обогатиться, тысяч по десять-пятнадцать я, Свердлов, Малышев, Буравлёв, наконец, дополнительно ежемесячно получать... Чуть позже, в Донбассе, работая в обкоме компартии, я имел немало случаев убедиться: у кого такая возможность была, тот так и делал. Большинство начальников шахт – за всех не ручаюсь – группам особо доверенных рабочих платило с таким вот расчётом. Правда, многие из них делали это для оплаты банкетов с начальством, как было заведено, но могло у кого-то и прилипнуть к рукам, тут ведь всё делалось безотчётно. Поди-ка, проверь!

... Если мы и обманывали частенько шахтное руководство, то из самых благих намерений, во благо развития производства. А если и имели от этого корыстный свой интерес, то не прямо, а опосредствованно от хорошей работы участка через премии, которые нам Плешаков наполовину срезал. Да и полные премии были бы малой частью того, что могли получить, если были бы совершенно бесчестными.

... кепка на столе пролежала три смены. Когда Свердлов отдал мне её, я насчитал в ней двести семьдесят рубликов. Что ж. И на этом спасибо.

... Все деньги за день всем трём сменам раздать бывало никак невозможно, а остаток полагалось к концу дня в кассу сдавать. Но я никогда не сдавал, что же?.. рабочим ночной, скажем, смены, а бывало и утренней, если деньги выдали поздно, специально за ними на шахту второй раз приходиться?

... я засовывал пачки не розданных денег в карманы, и, уходя в этот день после всех, в двенадцатом часу ночи, шёл по мосту, неся и по сто пятьдесят, и по двести тысяч порой. И никогда у меня не было страха, что на меня нападут и ограбят. Я не думаю, чтобы шло это от храбрости – не было никакой особой храбрости у меня – а была это просто беспечность оттого, что у нас в Междуреченске ничего подобного не случалось.

... утром я на первом наряде и после него деньги всем раздавал окончательно.

... В августе месяце, в пору временного начальствования моего случалось всякое интересное.

Вот приходит ко мне, минуя почему-то начальство, профессор Московского горного института доктор Нурок, заведующий кафедрой открытых горных работ. Здоровается, представляется. Я встаю, представляюсь ему. Он рассказывает, что сейчас со своими сотрудниками и аспирантами проводит на Красногорском разрезе испытания и, узнав, что на шахте есть комплекс гидродобычи, поспешил к нам, чтобы с ним познакомиться.

– Вы не можете мне вашу гидрошахту и горные работы в ней показать?

– С удовольствием, – говорю я, – сейчас машины как раз вторую смену в шахту везут, мы с ней и уедем.

... В шахте мы пробыли часа полтора, посмотрел Нурок, как мы уголь смываем, а больше и показывать нечего – как бурим, взрываем, я ему на словах рассказал. Возвращаясь по желобам из забоя, вышли мы в углесосную, и здесь он нашу дробилку увидел, молотковую, эксцентричную.

– Эх, мне бы такую портативную дробилку для испытаний, – вздохнул он.

Я вспомнил геологов, как они мне помогли, и сказал:

– Я могу дать вам дробилку.

Он оживился:

– В самом деле?

– Конечно, – подтвердил я. – У меня есть запасная дробилка, ни где не учётная. От шахтостроителей по наследству досталась. Она мне не нужна. Эта, – я кивнул на работающую дробилку, – надёжно работает, да и любую поломку в ней несложно исправить, был бы сварочный аппарат. Так что присылайте машину, и мы вам погрузим её.

Нурок не знал, как и выразить благодарность.

Дробилка у меня и в самом деле в старых выработках была надёжно упрятана. Каким-то образом при сдаче она на баланс шахты не перешла, а я её с первыми машинистами на всякий случай запрятал. О ней ни одна душа, за исключением тех машинистов, не знала, даже Свердлов. Да я и сам давно о ней позабыл, а тут, кстати вот, вспомнил...

Мы вышли из штольни. День был солнечный, яркий. Приятно было после шахтной прохлады погреться в горячих лучах. До конца смены оставалось много часов, и я предложил профессору спуститься вниз до промплощадки пешком. Я не хотел идти по жаркой пыльной дороге, а сразу за лесным складом вывел его к нашим трубам, полого спускавшимся вниз четырьмя воедино укутанными стекловатой и рублином нитками. Опасности соскользнуть с широкой плоской поверхности не было, и я помог профессору взобраться на трубу, пока было низко, пока опоры ещё едва из земли выступали. Через две-три минуты мы углубились в заросли дикого густого малинника, росшего по обоим склонам оврага, и по ходу своему срывали крупные сладкие ягоды.

У дощатой будки я предложил Нурку сойти с труб, дальше овраг пересекала лощина, трубы висели над ней на опорах, переметнувшись от края до края, и идти над "пропастью" мне всегда было жутко. Так что я не столько беспокоился о профессоре, сколько страшился собственной трусости. Иногда колоссальным усилием воли, я заставлял себя вопреки ужасу своему бегом проскочить эти несколько метров на большой высоте. Чаще же я спрыгивал на подступивший вплотную откос и обходил неприятное место дорогой, после чего снова на трубы влезал.

... так мы сделали и сейчас.

Сойдя с труб и обойдя будку сверху дорогой, мы снова спустились к трубам там, где они разделялись: две нитки ныряли в глину на склоне и, завернув под землёй, уходили к насосной, там как раз и захлебнулся несчастный поросёнок в сарае – я не преминул развлечь немного Нурку рассказом об этом происшествии. Две другие трубы – пульповоды, – подвернув слегка вправо, круто спускались вниз к Ольжерасу. По сузившееся крутой трубной "дорожке" идти было труднее, мы то, молодёжь, легко с этим справлялись, мотались по ней туда и обратно. Но утруждать пожилого человека я не мог, не хотел и повёл его по тропинке под трубами. Здесь мы снова полакомились малиной, густо усеивавшей кусты.

... Наш непринуждённый разговор закончился вопросом профессора:

– А почему вы в аспирантуре не учитесь?

На что я ответил:

– Всё как-то некогда было, всё-таки пуск гидрокомплекса, период освоения ещё не закончился.

– Приезжайте в аспирантуру к нам, как станете посвободнее, – проговорил мне на это Нурок, – мы будем вам рады.

Я поблагодарил профессора за любезное приглашение и сказал, что непременно об этом подумаю.

... ни черта не подумал. И как спустя многие годы об этом жалел. Как только Нурок уехал, я в сутолоке повседневных дел тотчас о нём и забыл... жил одним сегодняшним днём, о будущем не заботился совершенно.

А дробилку на следующий день мои доверенные рабочие погрузили в приехавшую машину.

... Через несколько дней мне позвонил Филиппов:

– Слушай, Платонов, не отлучайся сейчас никуда, я подъеду на шахту, хочу посмотреть гидрокомплекс.

Не прошло и пяти минут, как он заглянул в дверь нашего кабинета. Я встал, вышел навстречу, и мы отправились переодеваться. Я – в раздевалку итээровской мойки, он – в мойку начальника шахты. Встретились мы в шахтёрских робах в конце коридора на задах АБК возле медпункта и вышли на улицу через дверь, которой обычно не пользовались: отсюда в больницу увозили травмированных. Там у подъезда постоянно дежурила "скорая помощь". Сейчас возле неё у порога стояла "Победа" Филиппова. Заднее сиденье укрыто толстым красным ковром с чёрным орнаментом. «Для чего? – я сразу не понял, сообразил чуточку позже: – чтобы, выйдя из шахты, не пачкать обивку грязной спецовкой».

... Филиппов и я вслед за ним влезли в машину на это сиденье, шофёр вырулил на дорогу, и мы поехали вверх... Не доезжая до штольни – машине к ней не проехать, "Победа" остановилась возле лесного склада. Мы вышли и, пройдя под навесом над рельсами, последовали гуськом – Филиппов впереди, я за ним, поотстав – к штольне гидроучастка мимо штабелей брёвен, на которых в три ряда гнездились с полсотни шахтёров, греющихся на солнышке в ожидании машины.

Проходя мимо них, шага не замедляя, Филиппов бросил им панибратски:

– Здорово, мужики!

... секундная пауза.

Те разом, как на плачу, как сговорились, слаженно гаркнули:

– Здорово, барин!

Филиппов, набычившись, словно ничего и не слышал, устремился к чёрному отверстию штольни, только шея его, розовая всегда, стала багровой. Я за ним поспешал, корчась, губы прикусывая до крови, чтобы не прыснуть, не хохотнуть: как здорово это у них с "барином" вышло.

... В забой мы пришли в момент – хуже некуда! Кровля как раз обвалилась, из-под завала торчали глыбы угольных сундуков, от которых мониторщик с помощником кувалдами отбивали куски и ногами стаскивали их в жёлоб.

... посветив лучом своей лампы вглубь выработанного пространства, Филиппов только вздохнул:

– Потери очень большие.

Я промолчал. Что мог я на это ответить? Что если бы не устранили меня, такого бы не было? Уголь завален был безобразно. Но не буду же я кляузничать сейчас. В своё время надо было бороться. Было стыдно и горько. Пропадите вы пропадом!..

Выйдя из шахты, мы уселись на роскошный ковёр в испачканных угольной пылью спецовках. Ехали молча. В АБК возле мойки мы с ним расстались. Он, помывшись, поехал в трест, я – поплёлся в нарядную.

... Мало своих нам было событий, так ещё и американцы их нам подкинули. Высадились в Ливане. Ну, естественно, повсюду митинги и протесты. В нашем раскомандировочном зале две смены сошлись – если по списку – больше трёх тысяч. Выступавшие клеймили агрессора. Вылез за трибуну и я. Возмущение что ли смелости мне придало. Речь моя была коротка. Помянув Гитлера, мюнхенский сговор, и то, что потакание агрессору лишь разжигает его аппетит, я вызвался, если потребуется, ехать в Ливан добровольцем, чтобы американским агрессорам противостоять.

... аплодисментов вроде бы не было. Как и последователей.

Позже у Сэлинджера прочитаю слова психоаналитика Вильгельма Штекеля: «Признак незрелости человека – то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости – то, что он хочет смиренно жить ради правого дела». Стало быть, я был незрелым.

... Среди ночи у меня зазвонил телефон: в насосной авария. Звоню тут же Малышеву и говорю, что тоже на шахту иду.

– Подожди на углу, – тот отвечает, – я на мотоцикле за тобою заеду.

... ночь. Темно. Сыро. Только что прошёл дождь. Тарахтит мотоцикл. Я усаживаюсь на заднее сидение, обхватив руками корпус

Виталия, и мы несёмся, что есть сил по проспекту, взлетаем на насыпь перед мостом, проскакиваем скользкий от влаги накладной стальной лист перед настилом. Поскользнувшийся на листе мотоцикл заносится вправо. Шаркнув по грани пешеходной дорожки, а затем посчитав нам рёбра по прутьям ограды, он, бездыханный, валится набок. Охая и чертыхаясь, мы выбрались из-под него и стали себя ощупывать. Всё болит, но кости, вроде бы, целы. Виталий ставит мотоцикл на колёса, пробует его завести. Тот не заводится. Превозмогая боль в правой руке и в правой ноге, помогаю Виталию катить мотоцикл. Благо насосная недалеко, за мостом сразу.

... Виталий со слесарями начинают разборку двигателя насоса, я стою, вниз не спускаясь, на стальной рифлёной площадке возле дверей, словно на капитанском мостике, и оттуда наблюдаю за производимым ремонтом. Вниз спускаться не хочется – саднит нога, да и надобности во мне никакой. Без меня превосходно там обходились... Зачем я поехал? Помогать Малышеву катить мотоцикл?

... Что за лето такое насыщенное! Сажу в кабинете, вдруг вбегают ко мне машинист углесоса с отстойников, Кожухарь, вместе с помощником. Правая кисть у Кожухаря в крови.

Я сразу к нему:

– Что случилось?

– Пошёл в мехцех топор наточить, и точилом мне средний палец оторвало.

Я так и ахнул:

– Как же ты так, голова, неосторожно точил?! – а сам думаю, как же помочь ему, человеку в таком положении. Палец уже не пришьёшь, что же делать?

– Это ведь, – говорю, – и больничный лист тебе не дадут. Травма бытовая, не производственная, свой топор ведь точил.

... Наш реформатор, Хрущёв, человек в сущности своей неплохой, хотя и с дурцой от неограниченной власти, по наущенью чьему-то решил, что народ наш в такой степени обленился и не хочет работать, что себя постоянно помаленьку увечит в быту, чтобы не ходить на работу, а зарплату по больничному листу получать. То голову камнем проломит, то ушибётся, порежется, то руку ли, ногу ли, ребро переломит... И, чтобы людей от привычки такой отучить, с согласия верного защитника прав трудящегося человека – Совета профессиональных союзов – в прошлом году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о запрещении оплачивать бюллетени в связи с травмами, не связанными с производством, в течение первых пяти дней.

– Ладно, – продолжаю я Кожухарю, – быстро придумай что-либо убедительное, будто несчастный случай по производственной причине произошёл в углесосной и немедленно же в медпункт – травму зарегистрируй. Акт мы на участке составим. Получишь больничный и страховку за палец. Палец-то всё равно не вернёшь, а деньги не лишние.

Может это вырвалось у меня непроизвольно и получилось цинично – очень жаль было мне его пальца, но одних сочувствий ведь мало.

... акты на участках составлять не любили, за производственный травматизм наказывали и премий лишали. Поэтому, если ушиб был небольшим, то рабочему на участке до выздоровления давали отгулы с оплатою, разумеется, тут тоже "резерв" наш не лишним бывал. Но заставляли в медпункте регистрировать травму, чтобы, в случае непредвиденных осложнений, акт можно было составить хотя бы задним числом. Но у Кожухаря не ушиб, не царапина, поэтому, плюнув на всё, я, Свердлов и Малышев составили акт, подписали, и Кожухарь деньги за палец свой получил. акт как-то незамеченным мимо начальства прошёл. Всё обошлось без неприятных последствий для нас. Хотя деньги, конечно, не палец.

... Вообще же, в этом году Никита стал распоясываться. После разгона "антипартийной" группы Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова – так в официальном сообщении говорилось, решивших Хрущёва с постов главы партии и правительства снять и определить, для начала, в министры сельского хозяйства, он стал совершенно вне критики. Но мы оставим критику на потом, а отметим, как на формулировку, приведённую выше, народ реагировал. Если раньше двое пьянчужек сойдутся и начнут искать третьего собутыльника, чтобы совместно бутылку водки купить, то они так и приставали к прохожим с вопросом: «Третьим будешь?». Отныне вопрос звучал по-иному. Подходили и спрашивали: «Шепиловым будешь?» То есть, примкнёшь? Находчив народ! И как удивительно это сразу весь Союз облетело?! С тех пор и до снятия Никиты Хрущёва эта фраза звучала на каждом углу.

... Ну, это так, любопытный курьёз. Мне изгнание Молотова и Кагановича из ЦК и из партии не понравилось. Парочку этих верных подручных тирана я и на дух не терпел, но присутствие их в Президиуме ЦК, считал я, в какой-то степени демократизирует партию. Если несколько человек, находясь в меньшинстве, могут перечить

первому секретарю, и с ними ничего от этого не случается, это может придать смелости и остальным высказывать собственное мнение, говорить правду в глаза. В противном случае – остаётся лицемерный подхалимаж. Так оно и случилось. Не сдерживаемый никем Никита начал творить чудеса год от году ошеломительнее.

... Экономика наша, видно, начала давать ощутительный сбой, хотя мы, внизу, ничего об этом не знали. Косвенно о неблагополучии в советском хозяйстве те, кто хотел, могли догадаться по замене министерств совнархозами. Я не догадался. Глаза мне приоткрыло второе решение. В этом году "по просьбе трудящихся" отменили подписку на Государственный заём. В том, что это соответствовало чаяниям трудящихся, сомневаться не приходилось. Но вот как отменили? Прекратив проводить тиражи выигрышей и погашения облигаций всех Государственных займов. "По просьбе трудящихся", стремящихся помочь своему государству, погашение облигаций было отсрочено на двадцать лет (это для первого, сорок шестого года, заменившего все предвоенные и военные займы; все остальные соответственно году выпуска ещё далее отодвигались). Словом, настроение у советских трудящихся было вроде, как в песне: «Забота у нас простая, забота наша такая, жила бы страна родная – и нету других забот». Ан, нет. Были и другие заботы. Зарплата, исключая тяжёлую индустрию, у людей была нищенской. И начавшееся погашение облигаций становилось подспорьем, вспомните нас с Петей Скрылёвым в Прокопьевске в пятьдесят пятом году.

К пачке облигаций сорок шестого года у людей добавлялись и добавлялись облигации займов последующих годов, и накопилось уже предостаточно. А чем больше ценных бумаг, тем и выше шансы на выигрыш и, особенно, на начавшееся их погашение. Даже у нас с мамой, а при её минимальной зарплате и моей стипендии, хотя и повышенной, так ли много мы могли накопить, даже у нас раз в два-три месяца погашалось по сторублёвке.

И коль скоро государство, пусть и по просьбе особо сознательных трудящихся отказывается от своих обязательств, объявляет, как сейчас бы англофилы сказали, дефолт, то оно, выходит, нуждается в помощи. А нуждается кто? У кого неважно в хозяйстве. Тут и я сделал вывод, что государство наше – банкрот.

Дальше – больше. Вдруг явилось Постановление: с января пятьдесят девятого начать семилетку (о текущей пятилетке, стало быть, надобно было смиренно забыть?!). И объяснение смехотворное: надо

иметь план на более длительную перспективу. Пять лет слишком мало... Тут лишь дурак не поймёт, что трещит по швам текущая пятилетка, что не будет сделано многое из того, что намечено. Что три первых года настолько провалены, что за два оставшихся не наверстать ничего. А чтобы отчёт оттянуть, а там, авось, вывезет, придумали семилетку. Ловкачи! Своя рука – владыка. Нам и закон – не закон.

... Ещё раньше выяснилось, тоже внезапно, что в стране катастрофически не хватает угля. Хрущёв бросил клич, подсказанный людьми недалёкими, строить мелкие комсомольские шахты в Донбассе, на выходах пластов под поверхность, вскрывая их примитивно уклонами, проходимыми по пластам. Комсомольскими их потому называли, что строили их в основном комсомольцы, по призыву, набору, по разнарядке.

И снова недоумение: подобные шахты нерентабельны. Это ведь только дыру чтобы заткнуть! Снова любой ценой?!

... И в жилищном строительстве произошли перемены. Но тут как раз было разумно. Хрущёв, будучи в Англии, увидел маленькие квартирki с низкими потолками и сразу загорелся идеей: при тех же стенах вместо четырёх сделать пять этажей, и на каждом этаже квартир тоже побольше. Сейчас все хаотят его за "трущобы", но вспомните – большинство населения в городах не имело квартир, люди жили семьями в одной комнате в коммуналках и в самостроях, Нахаловках и Шанхаях, в этих трущобах без всяких кавычек. И хотя предложенное Хрущёвым жильё было тесным и неудобным до крайности, но оно решило большую проблему: миллионы и миллионы семей переселились из коммуналок в собственные, пусть и плохонькие, квартиры. Большое дело сделал Никита при весьма ограниченных средствах. Слишком много шло на военку. Он попробовал её приструнить и на этом споткнулся... Но это не для моих мемуаров.

... Вместо займов была введена лотерея. Раз в квартал. Билеты стоили дёшево, всего три рубля. И впервые их никто не навязывал. Покупай, если хочешь, а не хочешь – не покупай.

... Наряду с новшествами не забывали и старых приёмов, чтобы "двинуть вперёд" экономику. Обстрипывали рекорды, устраивали почины, движения за перевыполнение норм. Плодили новых стахановых, демченко, виноградовых, кривоносов... Вот и теперь родили "метод Мамаю".

Где-то в Донбассе в городе Краснодоне бригадир забойщиков, некто Мамай, выступил на совещании с призывом к шахтёрам Союза добывать тонной больше, чем за смену предусмотрено нормой. ЦК

партии почин этот одобрил, все газеты его подхватили, призывая работать по методу Мамаю, странно как-то умалчивая, по какому всё-таки методу, в чём метод сам заключался. Предложить добывать тонной больше – простите, не метод, это всего лишь призыв, пожелание, цель, наконец, если хочется очень. Метод же – как этой цели достичь. Но об этом молчок. Тем не менее, лозунг подхватывали и насаждали везде: в сельском хозяйстве – вырастить лишней центнер зерна, в лес-промхозе – дополнительно сплавить бревно, сталевару – тонну металла сверх нормы сварить, рыбаку – парочку рыб дополнительно выловить.

Всё это хорошо, разумеется. Но где же всё-таки метод, скажите? И не может быть одного всеобщего метода для зерна, для угля, для бревна, для стали, для рыбы. Чушь это самая несусветная! Но все делали вид, что чуши этой не замечают... Опять вся страна оглупела...

... Снова я сижу в кабинете, разбираюсь с бумагами, смена только что в шахту уехала. Открывается дверь. Входит чистенький, гладенький молодой человек в чёрном костюме при галстуке (цвета галстука не запомнил). Представляется:

- Я инструктор обкома партии (имярек).
- Я Платонов. Исполняю обязанности начальника гидрокомплекса.
- Вы, товарищ Платонов, о методе Мамаю знаете?
- Как не знать, – говорю, – газеты читаем.
- А как вы метод Мамаю у себя на участке внедряете?
- А зачем нам метод Мамаю внедрять? (Говорим, будто оба о методе что-либо знаем). Мамаю сам по себе, мы сами по себе.
- Как так?! – удивился инструктор и на меня, как на чудо, уставился.

– А зачем нам Мамаю, мы и без него неплохо работаем.

Тут инструктор уже взъерепенился:

- Вы недооцениваете почин Мамаю, одобренный ЦК партии.
- Ага, почин – это уже нечто другое.
- Почему же недооцениваю. Почин очень хорош, если Мамаю больше угля даёт. Только нам Мамаю ни к чему и ему подражать мы не будем.

Инструктор аж задохнулся:

- Да вы понимаете, что говорите?
- Я начинаю злиться уже помаленьку:
- Понимаю. Привык за свои слова отвечать. Бригада Мамаю добывает по тонне угля сверх плана на человека, а у нас каждый забойщик по семнадцати тонн сверх плана даёт. Что же нам снизить до тонны?

Ну, тому и крыть меня нечем. Поднялся, взбешённый:

– Вы не понимаете политического значения почина Мамая! – и ушёл, хлопнув дверью.

... вечером я рассказал о пикировке с инструктором Малышеву и Свердлову. Ну и поохотали же оба, и я за компанию.

Чувством юмора ребята не были обделены. Свердлов особенно. Любил рассказывать анекдоты, но похабщину – никогда. Признавался: «Мне нравятся безобидные анекдоты. Например, идёт австралиец весь избитый, в синяках и кровоподтёках, в руках – два бумеранга. Навстречу ему другой. Спрашивает: "Что с тобой?" "Да вот, – отвечает, – купил новый бумеранг, а старый выбросить не могу!"». Я посмеялся, мне анекдот тоже понравился.

Или вот, приходит Свердлов на наряд и уже с порога:

– Хотите, новый анекдот расскажу?

А было это в дни визита бирманского премьера У-Ну. Хрущёв тогда брался с борцами за независимость колониальных народов, и визиты экзотических личностей в национальных нарядах стали обычным явлением. Мы их в кинохронике видели. Премьер Индии Джавахарлал Неру в белых кальсонах в Москве щеголял, а У-Ну, натурально, был в юбке. Побывал в стране и известный китайский писатель Го-Мо-жо. Этот в принятой там униформе – синие куртка, штаны... это я анекдот предвараю, чтобы вам, о временах тех несведущим, было понятно.

Так вот, Свердлов свой анекдот начинает:

– Приехали в Москву Го-Мо-жо из Китая, а У-Ну из Бирмы. Ну, как полагается для гостей развлекательные программы, посещение предприятий, встречи с трудящимися.

Го-Мо-жо как писателю предложили пойти в детский садик посмотреть на советских детей. Он согласился... Разумеется, воспитательниц в садике предупредили, чтобы они деток подготовили приветствовать известного человека. Они сделали это и ждут.

А в последний момент к Го-Мо-жо в компанию напросился У-Ну... Приезжают они в детский сад. Деточки по линейке выстроены и приветствуют хором, как их учили:

– Здравствуй дядя Го-Мо-жо и... – после секундной заминки, – Го-Мо-жопина тётя!

Я упоминал, что все москвичи были гораздо непринуждённее, свободнее нас. О многом судили иначе, продвинутой нас были в

жизни, многое понимали, и кое-что знали о том, о чём мы и не догадывались. Мы, я то во всяком случае, оставались правоверными коммунистами, надеясь, что от всех безобразий можно избавиться, наш строй можно улучшить, сделать его демократичным и человечным.

... видимо, в разговоре, конец которого я застал, войдя в кабинет, о таких Свердлов отозвался: «Правоверные ортодоксы». Я вида не подал, но это меня сильно задело. Я считал себя критически мыслящим человеком. Вот только пища для мыслей моих была скудна и, по большому счёту, я никем иным, как правовернейшим ортодоксом, в то время и не был.

... От Свердлова, я невзначай узнавал о том, что казалось немыслимым, о национальной вражде, например. Сам он был смесью национальностей – каких?.. мне это было не нужно. Кажется, мать у него армянкой была, а отец, если судить по фамилии... но разве всегда нам фамилия что-либо говорит?

... Лермонтов знал русского Миллера и Иванова из немцев.

... в запальчивости Свердлов, разгораясь, выкрикивал: «Ара!» – и говорил о взаимной ненависти грузин и армян... А я, дуралей, в это самое время позволял убедить себя, что национального вопроса в эсэсэср не существует вообще. Вот ингушей и чеченцев вернули из ссылки, всё честь по чести. Правда, такого о немцах Поволжья или крымских татарах я не слыхал, может, они назад не просились?! Но о них я как-то забыл. Много было такого, о чём я не думал, оболваненный демагогической трескотнёй. Вот в чём причина моего незнания жизни, что ни о чём, кроме того, что лежало совсем на виду, не задумывался. Думающий человек и по крупичкам, по косвенным данным мог бы правдивую картину нашего общества нарисовать.

... Но о серьёзных вещах, кроме работы, естественно, мы никогда ни с Малышевым, ни со Свердловым, ни с Геною Буравлёвым не говорили. Больше так, зубоскалили.

... поводов для этого было больше, чем предостаточно.

... В горкоме партии появился новый секретарь. По идеологии. Человек молодой, увлекающийся, энергичный. Мыслящий неординарно... Но прежде напомним, что город наш за исключением посёлка строителей и самостроев, лежал на плоской местности между реками Томь и У-су. Ниже города реки сходились. Томь, отвернув от своей гряды сопок, сбоку впадала в У-су. Однако официально считалось, что это У-су в Томь впадает. Но какая нам разница! Вверх

по течению реки расходились, очистив пространство для нашего города, и это пространство замыкалось невысокой Сыркашинской горой, Сыркашами, естественным водоразделом меж реками с юга. Эта сопка служила пределом разрастанию города.

... но вернёмся к секретарю. На городской конференции комсомола, он выступил с пламенной речью, призвав юную смену завершить очередной долгострой, закончив её поистине исторической фразой, достойной стать рядом с мифическим призывом политрука, обращённым к двадцати восьми мифическим героям-панфиловцам, защищавшим Москву:

– Товарищи комсомольцы! Отступить дальше некуда! – Позади Сыркашинская гора!

... зал от хохота повалился.

В одном из своих докладов, он коснулся отношения к критике. И помянул неожиданно Николая Васильевича Гоголя:

– Когда Николай Первый посмотрел "Ревизора" Гоголя, он сказал: «Всем попало, а мне – больше всех!» Вот так, товарищи комсомольцы, мы должны воспринимать критику!

... своеобразный был поворот. Раньше классиков марксизма-ленинизма в пример ставили. Но всем это очень понравилось. Зал аплодировал.

... Всё же самым потешным был случай с афишей фильма "Семь грешников". На афишной тумбе возле кинотеатра... Да, забыл. В городе выстроили кинотеатр на полпути между моим кварталом и подножьем пресловутой Сыркашинской горы. Утверждал вид кинотеатра снаружи, несомненно, горячий поклонник Малевича – он был раскрашен, как шахматная доска, полуметровыми квадратами белого и чёрного цвета, отчего солидное здание выглядело одновременно и легкомысленно и по тюремному мрачно.

Так вот, на круглой афишной тумбе возле кинотеатра был наклеен большущий плакат. Изображались на пьедестале три обнажённые грации (мраморные, конечно), а внизу вокруг них семь мужчин – не статуи, не обнажённых, а одетых, и довольно прилично – в костюмы.

... очевидцы рассказывали, увидев афишу, идейный вождь города опешил, потом тумбу вокруг обошёл и ушёл к себе в горком партии.

Когда он дошёл, в кабинете директора кинотеатра затрезвонил звонок телефона. Директор трубку поднял, и тогда идеолог спросил из неё:

– Послушайте. Что же это такое? Что у вас на тумбе висит?

– Афиша нового кинофильма, – ничего не поняв, спокойно ответил директор.

– Но там же голые женщины! Подростки ходят и смотрят. Это же моральное разложение!

– Но афиша в Москве отпечатана, – лепетал директор теперь уже не спокойно, растерянно.

– Закрасить немедленно!

... из кинотеатра вышел штатный художник с ведёрком краски и кистью, быстро обрядил граций в платья и ушёл.

... К вечеру о происшествии слух до меня докатился, возможно, Свердлов принёс – он был в дружбе с корреспондентами местной газеты, а они обо всём раньше других узнавали. Придя вечером к Буравлёвым, к Сухаревым, то есть, конечно, – вот к чему приводит нежелание жены сменить собственную фамилию – не знаешь, вечно путаешься, как и сказать, к кому, собственно, я пришёл. А если пришёл сразу к обоим?.. Да, вечером я им эту историю красочно пересказал. Ну и поохотали Гена и девочки!

... Свердлов свёл меня с москвичами в редакции, я там часто бывал, потешался над их рассказами. Ну, разве можно было спокойно прочесть в протоколе следователя нашей прокуратуры такую, к примеру, вот фразу: «Труп лежал на протяжении десяти километров от Междуреченска». Ничего себе, трупик!

... Пока я на шахте был человеком как бы сторонним, никто меня не трогал, только членские взносы платил. Но весной этого года мне навязали комсомольское поручение. По странному стечению обстоятельств – я не афишировал прошлого своего – меня назначили редактором сатирической шахтной газеты. Ни газеты, ни редакции, ни даже названия не было. Надо было всё создавать.

... И вскоре подобралась компания. Интеллигентный молодой инженер, Дик Евгений, нормировщица из отдела нормирования, Тамара, ещё несколько человек, которых не помню, и рисовальщик – художник.

... собрались мы на своё первое совещание и стали ломать голову, какое придумать название для газеты, оскомины не набившее. Все эти "ежи", "сквознячки", "крокодилы" порядочно надоели, хотелось чего-то более свежего. Но, сколько мы не шевелили извилинами своих больших полушарий, родить ничего не смогли и на том же, практически, "сквозняке" и остановились, чертовски устав от мыслительного процесса. "Свежий ветер", назвали мы свою стенгазету... Сейчас бы я любое другое название придумал, ну, "Скорпион", скажем, "Змея". Ручаюсь, в то время оно бы было в новинку.

Газету мы выпускали два раза в месяц, и было это кошмарным мучением. Насколько легко было зубоскалить по всякому поводу, настолько трудно было что-то придумать, чтобы и предмет критики посильнее ужалить и читателей рассмешить. Не было среди нас юмористов-сатириков. Плоско всё получалось. Да ведь и выдохнуться было пора после первого номера, упражняясь на одних и тех же объектах. Темы для упражнений в сатире, в сарказме были весьма ограничены. Высмеять Плешакова, Филиппова, инструктора из обкома было нельзя. Тут даже запрета официально не требовалось, кстати, мне парткоме разрешили газету вывешивать без просмотра. Тут охранительная самоцензура срабатывала, на уровне подсознания или инстинкта: знали, что можно и чего нельзя никогда... Мальчиками для битья оставались заместитель Плешакова по быту Гагкаев и отдел снабжения шахты, подчинённый ему. Невеликое поле для остроумия.

Быт и снабжение оставались объектами, для критики разрешёнными, во все советские времена. Впрочем, быт и снабжение были самым больным местом в жизни советских людей. Существовали ленивые вороватые управдомы, нерасторопные снабженцы вроде вне всякой связи с порядками в нашей стране. Вот и позволяли здесь выпускать пар всеобщего недовольства. Всё бы у нас было уже замечательно, если бы они под ногами не путались и не гадили.

... так что все заметочки наши, стишки и карикатуры вращались вокруг одних и тех же людей и схожих событий, и всё это мне до чёртиков надоело и удовлетворения не приносило, хотя сами сборища редколлегии вносили "изюминку разговора в пресное тесто существования".

Газету мы выпускали, как отмечено, самостоятельно, не согласовывая ни с кем. Как только наклеивали печатные тексты на лист ватмана, и художник завершал оформление – так мы сразу и вешали её в раскомандировочном зале.

... Лишь через несколько месяцев после слишком лихого налёта на плешаковского заместителя Плешаков возмутился, вызвал к себе тёплую нашу компанию и изволил выразить недовольство.

... в итоге нас обязали каждый номер носить перед выпуском на цензуру в партком.

... Упражнялись мы в скудном своём остроумии, потешались над глупостью не только в газете.

... Малышев приносит мне на подпись отпечатанную заявку на оборудование, запчасти, материалы для гидрокомплекса на пятьдесят девятый год.

Я листаю страницы, просматриваю позиции, всё хорошо, всё предусмотрено. Вдруг – что такое? – «Ось штрека – тысяча триста метров».

– Что за чушь, Виталий? Послушай.

– Подписывай, – отвечает Виталий.

Я поднимаю голову, смотрю Витальке в глаза... и... всё понимаю.

– Подписывай, – говорит он вторично, – посмотрим, какие там специалисты сидят.

Я не выдержал, расхохотался и заявку размашистой подписью подписал. Малышев заявку забрал и передал её в отдел снабжения шахты.

... дни идут, а мы ждём, когда будет за шуточку нам нахлобучка. Но её нет, хотя по данным разведки все заявки участками поданы, и сводная отправлена в трест. Под ней подпись Гагкаева.

Нетерпение наше растёт. Малышеву в отделе снабжения удаётся копию посмотреть. Всё так и есть. В сводной заявке ось штрека проходит отдельной строкой. Тысяча триста метров. Больше никто не добавил.

Теперь ожидание наше весёлое, теперь нам разнос – одно удовольствие: выставили дураками Гагкаева и снабженцев его, и главного механика шахты – он заявку визировал.

... но разнос что-то медлит. Одна надежда на связи в тресте, чтобы о дальнейшей судьбе заявки узнать. Кто, не помню, может быть даже Гена, доносит: трестовская заявка ушла в комбинат, в ней наряду с вещами сугубо материальными, осязаемыми, и наша ось симметрии штрека прошла, абстракция воображаемая... Потому, видно, и не разглядели её?!

Дальнейшее нам неизвестно. Получил ли кто из трестовских работников втык в комбинате – кто у вас дурака там валяет! Или ось перекочевала в Москву в министерство и отправлена дальше в Госснаб, где в Госснабе чиновник посмеялся над министерскими или, не найдя в справочниках завода-изготовителя этих осей, вычеркнул ось и пометил: «В Союзе не производится»...

... А Тамара была явно равнодушна ко мне. Когда мы, склонившись в тесноте над листами, думы думали тяжкие, как бы это позадиристей написать или карикатуру сделать смешнее, она, будто нечаянно, прижималась ко мне, клала руку свою на мою, волосами своими касалась лица, и запах женских духов заставлял его вспыхивать, но... Тамара была некрасива, и я не испытывал влечения к ней. Как товарищ она была превосходна, но долго ли может длиться

дружба между женщиной и мужчиной, если одна равнодушна к другому, а другой к ней, как раз, равнодушен.

Дружбы не получилось, но с Тamarой мы стали видеться чаще. Она стала "вести" наш участок в отделе нормирования, вместо внезапно исчезнувшего Мирошниченко.

... Чуть позже мне рассказали, что, напившись до положения риз в какой-то попойке, Виктор избил милиционера, попавшегося ему на пути. Последствия нападения на... "при исполнении служебных обязанностей" – могли быть, как говорится, чреватые... но какая-то могучая сила в один день с шахты его рассчитала, сняла с воинского учёта в военкомате, выписала в паспортном столе горотдела милиции, и Виктор отбыл в неизвестном никому направлении. Не исключено, что все расчёты и выписка происходили уже без него... Через год от самого Виктора я узнаю, что его родной дядя был заместителем председателя Кемеровского совнархоза. Всё понятно.

... Мой "роман" с Люсей Сухаревой к осени не продвинулся ни на йоту. О своей любви я больше не говорил, она была мила со мною, любезной, даже иногда забегала к нам на участок, когда я давал там наряд, отчего у меня ёкало сердце, и радость охватывала меня при виде лица её, так пленявшего меня красотой. Но так же быстро, как забегала на миг, она вновь убегала на свою телефонную станцию, перекинувшись со мною лишь парочкой слов. От Свердлова не укрылось, что я не вполне равнодушен к хорошенькой посетительнице, но выбор мой не одобрил. После одного такого набега он мне заметил:

– Я бы на твоём месте младшую предпочёл, – намекая на пухленькую милую Лиду.

Я промолчал. Каждый выбирает по вкусу. А красота, как известно, понятие относительное. Тут объективных критериев нет, любовь всегда субъективна.

... Люся была стройна, высока, но худюща, пожалуй, чрезмерно. И ноги её не блистали безупречностью форм, как у Володиной, – тоже были худы. Но это меня несколько не волновало. Я и сам был костляв чрезвычайно... так что тут мы с ней как раз были квиты. Я обычно на лица засматривался, если, конечно, всё остальное не было уродливо.

Что касается Свердлова, то его пристрастия к полненьким женщинам было известно. И жену он выбрал при теле, и теперь вот, после отъезда жены, любовницей, белокурою Бэлою обзавёлся, женщиной в меру упитанной. Он её не от хорошей жизни завёл. Жена, забрав дочку, укатила в Москву, и, по всему, в Томусу возвращаться не собиралась. Роальд высылал ей весь свой оклад до последней копейки, сам жил на

премии, благо они пока были. Ходил он, как прежде, в потёртой ту-
журке от студенческой формы и бриджах с большими накладными за-
платами на коленях. Тем не менее, он женщинам нравился, хотя что-то
не очень было заметно, что жена, да и Бэла, позаботились бы о внеш-
нем виде его. Всё же деньги у него пока что водились, а у Бэлы и воз-
можности были одежонку достать, она в горторготделе работала.

... вот у Свердлова и жена, и любовница были, а у меня ни той,
ни другой хотя я одевался всегда аккуратно, с претензией на некий
дендизм. Но ведь я любовниц пока не искал, мне хотелось любви,
мне нужна была только любимая женщина, хотя сексуальная сто-
рона в этой любви очень даже не исключалась. Я был мужчиной, не
евнухом, и плотские желания одолевали меня нестерпимо. Но хоте-
лось, чтобы это было с любимой, но с любимой не выходило. «Лю-
бимая! Меня вы не любили», – по-есенински точно.

... Среднесуточная добыча в августе составила восемьсот тонн.
Вышедший из отпуска на работу первого сентября Буравлёв, придя
на участок после планёрки, обращаясь ко мне и к Роальду, произнёс,
усмехаясь вроде бы добродушно:

– Ну, тут вы без меня рекорды ставите!

Но в смешке этом удовлетворения я не услышал. Померещи-
лось мне на миг скрытое раздражение. Ещё бы: в июле – шестьсот
тонн с небольшим, а в августе – восемьсот.

Сейчас я бы ответил: «Вашиими стараниями». Но тогда ни я, и ни
Свердлов, по-видимому, не читали о подборе директоров на американ-
ских заводах. Судить не могу, правда ли это или вымысел, будто Форд,
дав какое-то время директору поработать, отправлял его в отпуск.
Если и без надзора директора предприятие чётко работало, Форд та-
кого директора оставлял. Значит, хороший организатор, умело дело
поставил, так что и без его поминутного вмешательства всё идёт хо-
рошо. Ежели без директора предприятие сбило, то дело организовано
плохо, без постоянного понукания и контроля директора оно не идёт,
и, соответственно, в услугах такого директора Форд не нуждался.

... Так что, Андрей Иосифович, это ваша заслуга, что мы работали
хорошо, следовало бы польстить Буравлёву. Но мы тогда об этом не
знали. И в ответ на смешок Буравлёва я усмехнулся: так получилось.

... В Советском Союзе руководителей оценивали совершенно
иначе. Если без начальника работа не ладилась, то считали: вот какой
отличный начальник, как он есть – так работа идёт хорошо; стоит ему
отлучиться, без него – полный провал, заместитель не может спра-
виться с делом. Это всё, в скобках замечу, оттого, что в советском

народном хозяйстве никакая организация не ночевала, всё держалось на воле, на крике начальства, на страхе; инициатива у подчинённых задавливалась. А тут на тебе – без начальника сработали лучше!

... Ближе к середине сентября после трёхнедельного перерыва мы пошли в последний поход по Томи. Вода была холодна, и купаться мы не собирались. Просто хотелось денёк провести на природе – посидеть у костра и вернуться домой на плоту. Кому-то из нас пришла в голову нелепая мысль – в тот момент нелепой она никому не казалась – пойти вверх по Томи не по правому низменному азиатскому берегу по грунтовой дороге, как мы обычно ходили, а по левому, европейскому, лесом над высоким обрывом.

Мы перешли мост, по которому через Томь вывозили уголь с Красногорского разреза, прошли краем разреза у берега и углубились в тайгу. Нас не насторожило, что берега Томи были чисты, на гальке на берегах и на отмелях – ни брёвнышка не валялось.

... да, тайга – это не прогулка по лесу, как мы себе представляли. С первых шагов нам пришлось сквозь неё продираться. Между высокими кедрами – сплошной бурелом. Стволы, толстые, полуистлевшие, обросшие мхом, преграждали дорогу. И не просто было взобраться на них, перелезть через них – мешали сухие торчащие ветви, кустарники, проросшие сквозь их густоту. Да и сами стволы были часто настолько трухлявы, что ступишь – провалишься в ствол по самую грудь. Этак, сразу поняли мы, можно руки и ноги переломать. Но воротиться назад не хотелось – день пропадал. Вырубив крепкие палки, мы прощупывали и стволы, и кустарники – это делать нужда нас принудила: под кустами и между ними были провалы и ямы. Как догадываюсь, от вывороченных с корнями и давно истлевших деревьев.

... Длинной цепочкой – было нас более дюжины человек – медленно продвигались мы сумрачною тайгою над Томью. И спуститься вниз было нельзя – река текла под самым обрывом, и не было под ним и полоски земли.

Путь был тяжким, наконец, под обрывом забелела широкая полоса гальки, булыжников, – а за протокой напротив – остров, где мы всегда пировали. И тут нас впервые обеспокоило, что нигде брёвен не было видно. Между тем день заметно клонился к закату, солнце почти зацепилось за лес, а на отмели и на реку легли длинные тени от кручи и кедров на ней.

... Что делать?.. Прежде всего, подкрепиться. Пикник на булыжниках с чахленьким костерком закончился быстро. Надо было всерьёз подумать о возвращении. Солнце скрылось за лесом, и яркие

зелёные пригорки на другом берегу померкли. Сумерки ощутимо сгущались. Холодало... Думать о том, чтобы ночью брести по таёжному бурелому назад, мог бы лишь сумасшедший. Ночевать у реки на холодных булыжниках у костра – тоже радости мало. Надо было переправляться через реку.

Я разделся, связав вещи в узел на голове, и сунулся в воду. И тотчас выскочил из неё. Вода льдом обжигала! Сразу вспомнил давнишний сентябрь, сентябрь пятьдесят первого года!.. Кто-то тоже попробовал – и метнулся к берегу, ошпаренный, как и я. Стало ясно, лезть в воду голым нельзя, всю одежду и обувь мы на себя натянули. Осторожно в одежде мы входили в реку – было холодно, но терпимо. Но переплыть Томь в одежде никто бы из нас не решился. Да и не все из нас плавать умели... Надо было искать брод. С лета помнилось: застревали на перекатах, там было самое большее по пояс, по грудь. Но где отыщешь сейчас перекат? На обозримом пространстве их не было, и нигде на реке не улавливал глаз излома поверхности, что говорило б о мели. Река неслась ровно и широко.

Не оставалось иного, как двинуться напрямик. Однако едва первые зашли в реку по грудь, как поняли – с быстрым течением не совладать. Тогда мы подхватили друг друга под локти, перемежая низкорослых с высокими, и косой цепочкой устремились на глубину. Но и эта попытка не удалась. Вода накрыла авангард с головой, и мы отступили. Не вышло напрямик форсировать реку... Мы выбрались на галечник, дрожа от холода в мокрой одежде. А над рекой была ночь, и только звёзды, мерцающая в воде, едва подсвечивали поверхность.

Но вынырнула из-за невидимого далёкого леса на другом берегу, за У-су где-то, луна, осветила окрестности, и тот берег Томи перед пригорками засиял, заблестал, и река осветилась. Тут и заметили мы, что наш маленький галечный пляж слегка выдаётся узкой косой вперёд в реку, наискось по течению. И – чем чёрт не шутит! – может быть, коса продолжается и под водой, и будет река там помельче.

Мы снова сцепились локтями и двинулись по косе, вступили в воду, погружаясь, всё глубже и глубже. С воздуха в мокрой одежде в воде вроде бы даже было теплее... Авангард движется без поддержки, он уже на середине реки. Вода перед ним по горло и снесла бы их непременно, но задние не дают им уплыть – они ещё не вошли в глубину и течению могут противиться. Вся цепочка продвигается медленно, шаркая по булыжникам, полируя ботинками дно. Но упорно, упорно косо в реку уходим, благо вода выше горла высоких

не понимается. Я иду посредине, слева с Лидой сцеплен, справа – с кем, уж не упомню. Мне вода выше груди подступила. Лида ойкнула:

– Ой, у меня ноги ото дна оторвались!

– Держись, Лида, крепче, мы тебя вынесем, – говорю ей, а сам думаю: «Наверно, и Гена, и Августа тоже где-то между друзьями болтаются».

... вот и мне вода плещет в подбородок под губы, Лида – та уже горизонтально плавёт. Мы с кем-то её держим под локти. Тот, кто справа, держит меня. А спереди радостный крик:

– Мелеет! Вода нам по грудь.

Да и сами мы видим, как из лунной воды поднимается чередой цепь фигурок людских. Передние уже все на виду, им там всего по колена. И у меня вода ниже груди опускается, и Лида дно ногами нашупала. Всё! Вздох облегчения у всех вырвался разом. Как нам с бродом всё-таки повезло! Минута – и все мы на берегу. Стягиваем мокрую одежду с себя, выкручиваем. Сами дрожим от холода на ветру. Натягиваем отжатые, но сырые, брюки, рубахи. Но от этого не теплее. Вытягиваемся один за другим на дорогу и рысцою бежим, чтобы хоть немного согреться. Но это нисколько не помогает. И сколько ещё километров бежать? Десять, восемь, двенадцать?

Чувствую, что поход закончится воспалением лёгких. А путь ещё так безрадостно длинен.

... чудеса всё же случаются, что бы об этом не говорили, я много примеров этого приводил. Нас нагоняет бортовой грузовик. Мы голосуем. Грузовик останавливается, мы набиваемся в кузов и... минут через пятнадцать ссыпаемся в Междуреченске на проспект, промёрзнув до самых костей. И первый вопрос: «У кого дома есть водка или хотя бы вино?» Увы, таких нет. Никто из нас спиртного в запасе не держит – покупаем в магазине при надобности. Бросаемся в поздние, ещё не закрытые, магазины. В винных отделах – хоть шаром покати! Никогда не бывало такого. Полки пусты. Ни водки, ни, даже, вина. Ни бутылки, ни капли!

Горечи нашей словами не описать! С каким наслаждением тяпнул бы я для сугрева стакан водки сейчас! С постными лицами расходимся по домам, чтобы горячим чаем отогреть окоченевшие внутренности и – быстрее под тёплое одеяло.

Утром обзваниваем друг друга. Слава богу, всё обошлось. Все здоровы. Не простудился никто.

... Сентябрь положил начало переменам необратимым. Уехала к матери под Казань Лида. Малышев засобирился в Донбасс почему-то. Родители его тоже куда-то переезжали.

... В волейбольной команде Томского ШСУ, где Августа, Люся и Гена были непременно игроками, появился высокий плечистый красавец с густыми кудрявыми волосами. Куда с таким мне тягаться! Он стал появляться у Сухаревых, оказывая явные знаки внимания Люсе. Та, впрочем, к нему особого интереса не выказывала, и я поначалу не придал никакого значения появлению в нашей компании нового человека. Да, собственно, в нашей компании никогда он и не был. Совершенно чуждый мне человек приходил к моим добрым знакомым, Августа, Люся с ним о делах волейбольных болтали, больше он и не сходил ни с кем.

... С середины сентября я взял двухмесячный отпуск – столько за два года у меня накопилось. Я, пожалуй бы, довольствовался и одним, а за второй взял бы денежную компенсацию, да с этого года компенсацию давать запретили, как и накапливать отпускные дни более чем за два года. Всё, что сверх того – пропадало...

Получив двенадцать тысяч рублей отпускных, я из Сталинска поездом выехал в Новосибирск (по нашей железной дороге пассажирские поезда всё ещё не ходили).

В Новосибирском аэропорту Томилино я вспомнил: – если брать билет сразу в оба конца (туда и обратно), то выходит десятипроцентная скидка. Так и сделал. Взял билет до Симферополя через Москву и обратно, сэкономив двести рублей. Дата вылета из Москвы в Симферополь указана не была, обратный билет был действителен в течение года.

Полёт до Москвы проходил, как и в прошлом году, с посадками в Омске и Свердловске.

... В Москве я поехал по адресу, данному Августой, к родственникам её, неким Альтшулерам, где намеревался заночевать. (Мысль о гостинице мне в голову не пришла). Августа заранее написала письмо, и разрешение на остановку было получено. Так оказался я в Москве на почти никому тогда неизвестной тихой улочке с тополями и со странным названием: "Матросская Тишина", там жили Альтшулеры. Кто мог подумать, как прославится на весь мир эта улица по названию тюрьмы, возможно и давшей ей это имя. Что тут было первично, я узнать не сумел. Альтшулеры говорили, что вроде бы в достопамятные времена здесь был дом сумасшедших – лечебница для

буйно помешанных русских матросов, из-за их "тихих" воплей, оглашавших мирную улицу, её "Тишиной" и прозвали в насмешку. На этом моё любопытство и кончилось. Матросская Тишина прогрела после путча девяносто первого года и мятежа девяносто третьего. Туда незадачливых мятежников на отсидку свозили.

... неудачливых, незадачливых. Недаром сказано было:

Мятеж не может закончиться удачей –

В противном случае его зовут иначе.

... Семья Альтшулеров из четырёх человек – отец, мать, двадцатилетняя дочь Виолетта и сынишка двенадцати лет – вся помещалась в одной большой комнате пятикомнатной коммунальной квартиры, где жили ещё четыре семьи. В большой кухне у каждой семьи был свой стол, пять столов. Примусов не было, газовые печки стояли. Их я не считал.

На пять семей была одна ванная комната и один туалет, куда временами выстраивалась целая очередь. Такого никогда мне видеть не приходилось. Так что квартирный вопрос меня не испортил. Но увиденное мне не понравилось крайне. Ведь это же ад! Однако, какое дело до всего этого мне?

... Входя в этот дом, я очень заинтригован был Виолеттой. От Августы знал, что она ровесница Люси, то есть девушка ещё молодая. Люся же само Виолеттино имя произносила с такой пренебрежительной насмешкой, что почудилась мне почти не скрытая ревность. «Вероятно, красотка», – думал я, уезжая из Междуреченска. С таким именем иной быть нельзя.

... Виолетта оказалась девушкой молодой высокой, стройной и... некрасивой. Я обманулся в своих ожиданиях.

Сын у Альтшулеров – обыкновенный подросток. Он показал мне беспорядочную коллекцию русских и иностранных монет, которую из-за малочисленности и бессистемности и коллекцией-то нельзя было назвать. Так, сбор Богородицы. Вспомнив, что у меня осталась в Алуште подобная "коллекция", только обширнее – осколок архангельской жизни, я пообещал ему её привезти, о чём сейчас сожалею. Были там между прочим монеты, если и не уникальные, то весьма редкие. К тому же – это материальная память. Но, когда жизнь ещё впереди, о памяти просто не вспоминаешь, она вроде и не нужна. Это вам, люди, наука. Храните следы жизни своей и предков своих сколько возможно. Из поколения в поколение – и тогда цены в вашем роду вам не будет. И не будут потомки ваши Иванами

родства не помнящими, и будет за плечами у них опыт предшествующих поколений. В этом я совершил немало промашек, о чём беспрестанно горюю. Но наставить меня было некому.

... Я познакомился с Виолеттой, поговорил с ней и попросил её поводить меня по московским театрам по её выбору, добавив, что, конечно, хотелось бы в Большом побывать. Она согласилась с условием, что будет вместе с подругой. Я плечами пожал – какая мне разница – и дал денег, чтобы она купила билеты и мне, и себе, и подруге.

... пришла пора на ночь укладываться. И о комнате такое составилось впечатление, что в ней, кроме кроватей, нет ничего. Кровати старших Альтшулеров, их дочери, сына стояли вдоль стен. В середине комнаты втиснулась раскладушка для меня. Спал я без просыпу. Утром вставал очень рано. Такая привычка выработалась ещё с институтских лет, а на шахте на всю жизнь закрепилась...

Поднявшись, когда и в комнате, и в квартире все ещё спали, я оделся и отправился в туалет, так что никто меня и не видел. Это спасло меня от общественного позора.

Через час начали подниматься соседи, захлопали двери, в кухне загремела посуда. День начинался. И начинался он с туалета, с умывания в ванной, с приготовления еды.

... и тут, не сразу, а какое-то время спустя, разгорелся скандал. Некто в углу туалета узрел скомканные клочки газетных бумажек. С этого началось.

– Кто это сделал? – склочный голос взвился визгливо. – Это вы? Вы только что вышли из туалета!

Другой женский голос с возмущением возражал. К ним подключились другие, высчитывая, кто за кем в туалет заходил. Но поскольку непрерывный очереди не было, были и перерывы, то вычислить виновника происшедшего не удалось, и тогда скандал возвысился до истеричного крика. Поминали друг другу все прошлые прегрешения. «Ты вообще не убираешь квартиру!» – вопила одна. «А у тебя плита засрана с прошлого года!» – орала другая. «А ты...» «Ты...» «Ты...».

Весь этот гвалт напоминал знаменитый скандал в Вороньей слободке, с тем лишь отличием, что виновника отыскивали там быстро... обнажили филейные части Васисуалия Лоханкина и подвергли их публичному поруганию.

... здесь Васисуалия не нашли.

Он, бедняга, с ушами пунцовыми от стыда, сидел, затаившись, в комнате у Альтшулеров, не смея поднять глаз от пола. Боже! Как

в молодости мы бываем глупы. Сейчас бы без тени смущения я вышел из комнаты и сказал прозаически:

– Дамы и господа! Стоят ли эти бумажки затеянной свары?! Их выбросил я, и я всё сейчас уберу – только скажите куда. Дело в том, что у нас в Сибири в туалетах использованные бумажки нельзя спускать в унитаз – застрянут в междуэтажных ловителях в трубах канализации. Поэтому в туалетах есть вёдра или корзины. У вас этого нет. Не желая засорять ваши сточные трубы, я нашёл такой выход. Извините.

... Это сейчас. А тогда молодой двадцатилетний человек тихонько трусил, молил, как бы о нём кто не вспомнил.

Наконец, безобразная перепалка закончилась, жильцы разошлись по комнатам, по делам, на работу, и я, осмелев, прошмыгнув пустым коридором и выскочил из квартиры.

Первым делом я поехал навестить Самородову Зину. Жила она с матерью и отцом и меньшим братом своим в одной комнате в двухэтажном доме почерневшего дореволюционного кирпича на юго-западной окраине столицы возле котлованов и рытвин, окружавших старый кирпичный завод. Местность унылая и запущенная. Теперь там Черёмушки. Впрочем, Черёмушками местность эта и тогда называлась.

Зину, к счастью, застал. И первыми словами её, прежде «здравствуй», были:

– А час назад от нас ушла твоя мама. Она ночевала у нас. Сейчас ушла посмотреть на Москву и сказала, что устроится на ночь в гостинице.

Вот это да! Вот так случай! Какая досада! Где теперь её мне искать? Вечером обыскивать все гостиницы? Бессмысленно! Сколько гостиниц в Москве? Не считал, но думаю много. Все обзвонить не успею. Вот незадача. Выходит, письмо о моём отъезде мама не получила и выехала от Любы, не зная, что меня дома не будет. И вот в Москве я её чуть было не встретил.

Я поехал на Казанский вокзал. Поезд на Сталинск отходил завтра после обеда. Ясно, что мама поедет на нём. Там надо и встретиться с ней. Это сделать легко при выходе на перрон из вокзала. Старые порядки ещё сохранялись, двери открывали за полчаса до посадки. Особо думать тут нечего. Надо завтра приехать минут за сорок, за час, стать у закрытых дверей – тут в толпе пассажиров я обязательно увижу мамашу.

Ну, а пока, пока я снова поехал осматривать ВДНХ. День был ласковый, солнечный. Выставка снова очаровала меня. Прежний

восторг охватил меня при виде ажурных бело-розовых, кремовых павильонов, утопавших в зелени елей, лип, тополей. Лет через десять я найду их нелепыми...

Экспонаты: снопы гигантской ветвистой пшеницы, угольные комбайны "Донбасс" – комбайна Гуменника не было! – стальные передвижные крепи с гидродомкратами, отечественные транспортёры, экскаваторы не вызвали моего любопытства. В восхищение привёл меня радиокومбайн размером со старомодный комод. В один корпус было встроено всё: и большой многодиапазонный приёмник, и проигрыватель для граммофонных пластинок, и хороший, как уверяли проспекты, магнитофон. Телевизора не было. И стояла эта махина порядочно, как машина "Москвич". Но я мог это позволить себе, и стал узнавать, где можно такую штуку купить. Оказалось – нигде. Это был выставочный образец, серийный выпуск не был налажен. Обычная советская практика, в чём убедился спустя несколько лет. Для выставки сделали, медали и премии получили, а там – и травушка не расти.

... и как в прошлом году я отдал должное дешёвым столовым и ресторанам на выставке и, само собой разумеется, пивного зала не миновал. Это всё было на высоте.

... Вечером мы с Виолеттой собрались в театр: ей удалось взять билеты на оперу в Музыкально-драматический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. На лестничной площадке Виолетта позвонила в соседнюю дверь. Дверь отворилась, из неё вышла девушка, нарядно одетая для театра. Виолетта представляла меня ей, а я стоял изумлённый. Передо мной было чудо, богиня, красавица. И при этом живая, общительная. Она принялась расспрашивать меня о Сибири, и весь путь до театра, который мы проделали неизвестно на чём, я развлекал их рассказом о наших краях, о разных историях. Разумеется, у меня хватило ума не касаться производственных дел, хотя, возможно, о поросёнке я рассказал.

... Театр невелик, но наряден. Опера, музыка, голоса нравились мне, но слушал я, как говориться, вполуха – всё внимание приковала прекрасная незнакомка.

В антрактах я угощал своих спутниц шоколадом, газировкой, мороженым. Подруга-красавица казалась довольной и не скрывала своего благоволения ко мне.

Но всё кончается рано или поздно. По ночной узкой улочке, ярко освещённой шарами матовых фонарей, мы двинулись вместе с толпой в сторону Большого театра в надежде поймать по дороге

такси. У меня после такого праздничного вечера не было в эту позднюю пору никакого желания тащиться до дому на автобусах с пересадками, стоять на остановках.

... такси подлетали одно за другим. Я бежал к ним с поднятой рукой, но их перед носом у меня перехватывали шустрые москвичи. Я приуныл, мы миновали Большой и вышли на угол площади имени Свердлова (Театральная ныне), как вдруг, обогнув тротуар, вывернулась "Победа" с шашечками и резко затормозила возле меня. Шофёр открыл дверцу и сказал нам: «Садитесь!» Я усадил девушек на сидение сзади, сам сел рядом с шофёром и взглянул на него. В шофёре я узнал отца Виолетты. Он тронул машину и заметил мне, что раскатываться в такси – дороговатое удовольствие.

– Ну, один-то разок можно позволить, – поскромничал я, имея десять тысяч в кармане.

Вмиг мы были доставлены к дому (я расплатился по счётчику), после чего благосклонность божественной спутницы ещё более возросла. Она просто не скрывала своего восхищения мною. Я, ошеломлённый её красотой, и Люсю Сухареву забыл, с которой, похоже, будущее мне хорошего не сулило.

... прощаясь, красавица выразила надежду, что мы с ней ещё встретимся. Это было приятно. Я был пленён... Тем не мене, что-то в этом стремительном расположении ко мне обольстительной девушки, которая мужским вниманием обойдена быть не могла, меня настораживало... Может быть, невзначай, но как-то уместно выказанный интерес к моему заработку в разговоре по дороге в театр?

О себе я давно судил трезво и достоинствами своими в женских глазах нисколько не обольщался. Я не урод, приятен лицом, худ, ростом высок, но не нравятся ли ей больше, чем я, мои высокие заработки, театр, угощение и такси.

... и я силой подавил желание завести с ней интрижку или роман. Это могло для меня болезненно кончиться... Влюбиться легко – разлюбить трудно.

... Утром следующего дня, я поехал в панорамный кинотеатр, о котором в газетах читал. Круглое здание на Кутузовском проспекте я нашёл очень быстро. Но билетов в кассах ни на один сеанс не было. Не было их и на завтрашний день. И невозможно было добиться, как можно билеты купить, так как не было их и на послезавтра, хотя на послезавтра билеты ещё не продавались... До начала первого сеанса оставалось несколько минут, очередь зрителей толпилась у входа в

зрительный зал, и я полюбопытствовал у одного мужичка, где он билет свой купил. «На производстве распространяли», – получил я ответ. Я был озадачен. Выходит, билетов мне не видать.

И тут явилась нелепая, невозможная мысль: «А не поехать ли мне в ЦК комсомола?»

... в ЦК я попал в нужный отдел, в комнату, где за столами сидели инструкторы: парень и девушка. Я рассказал им, показав комсомольский билет, что я инженер с шахты в Кузбассе, из Междуреченска, что в самой тайге. Сейчас я проездом в Москве, и хотел поехать в панорамный кинотеатр, но билеты там купить невозможно – их распространяют на предприятиях...

Мои собеседники оживились – видно, бедняги, скучали без дела, повели меня в соседнюю комнату, где сидел только один человек, и стол был один, и восторженно начали ему объяснять, что я, мол, молодой инженер, приехал сюда из Сибири, из далёкой тайги, с переднего края комсомольской стройки (так они выразились!) и что человеку с такой биографией (!) надо непременно помочь.

... чёрт возьми! От такой аттестации я и сам одурел.

Молодой человек снял телефонную трубку, навертел диск телефона и, назвав себя в трубку, сказал: «Продайте один билет на пятнадцатый сеанс в счёт брони ЦК комсомола Платонову». Положив трубку на рычажки, он обернулся ко мне:

В пятой кассе спрósите билет для Платонова. Желаю удачи!

Поскольку дело с билетом, как я понял, улажено, я воспринял его пожеланье удачи не в панорамном кино, а везде и во всём (хотя, возможно, он и не имел в виду этого), за что сердечно поблагодарил его и инструкторов, принявших во мне такое участие.

После этого я ещё куда-то забрёл и там, спохватившись, что могу к отходу поезда опоздать, помчался на Казанский вокзал. Конечно, я приехал не за час и не за сорок минут до отправления поезда, а за пятнадцать. Двери на перрон были раскрыты, и толпы возле них не было. Пробежав через зал, протолкавшись сквозь толчею возле касс к перронной кассе, я купил перронный билет и выскочил к поезду.

Перрон был пуст. По нему не спешили запоздавшие пассажиры, только по несколько провожающих стояли у вагонных дверей... Я пробежал вдоль вагонов, приликая на мгновение к стёклам, чтобы разглядеть, нет ли мамы внутри. Мамы в плацкартных вагонах не оказалось. Не было её и в коридорах купейных вагонов, которые, мне на горе, выстроились именно так – коридором к перрону. Двери

в купе были закрыты, и, по всему, мама сидела в каком-то купе совсем рядом за закрытой дверью. До чего же было обидно!

Пройти по вагонам, заглядывая в купе, времени не осталось – поезд уже отправлялся... Вот исчез и последний вагон, а я один на перроне остался с чувством безмерной досады, что так оплошал. Досадовал я и на маму: не могла до отправления постоять в коридоре или хотя бы в купе двери открыть, хотя понимал, что досадую зря. Откуда ей знать, что я в это время в Москве, и не только в Москве, но и за стенкой вагона.

... Ума не хватило в поезд зайти и поехать – на первой остановке и вышел бы.

... Ближе к вечеру я поехал в панорамный кинотеатр, без осложнений купил в пятой кассе билет для Платонова и прошёл в зал смотреть кинофильм.

Место оказалось отличным, в центре амфитеатра. Свет потух, а перед глазами, уходя за затылок, на грандиозном экране разворачивались цветные картины видового кино.

... Объёмный звук тоже был поразителен.

... вот перед нами каскад петергофских фонтанов. Шум падающей воды слышен явственно спереди. Вот зал (кинокамера то есть, и зал вместе с ней) въезжает между двумя рядами фонтанов; струи, взлетая, плывут мимо лица с двух сторон. Шум нарастает, он бьёт в оба уха, слева и справа... Наконец, всё позади. Звуки доносятся сзади, они где-то за головой.

... Впечатление колоссальное, потрясающее.

Ещё больший эффект производит изображение. Он неожидан. У изображения нет с боку границ в поле зрения, взгляд упирается в бесконечную ленту картины, и кажется, что ты сам в ней, внутри. Мы, я вместе с залом, мчим за рулём открытой машины, впереди ветровое стекло и капот и петляющая дорога в горах. Вид изумительный. Но ещё изумительней – ощущение езды, ощущение скорости и кружения на поворотах. На виражах машина резко кренится то влево, то вправо, но я не вижу наклона машины. Это зал вместе с ней и со мною круто клонится влево, на фоне гор и синего неба, серпантинная дорога, обступившего её леса; кружа, зал выпрямляется, чтобы тут же уйти вниз правым краем, взметнув левый край резко вверх. Дух захватывает от бешеной гонки.

... уже нет ни машины, ни гор. Впереди только небо и бескрайнее море в волнах с барашками. Виден нос быстрого глиссера, за

которым весь зал подсакивает на волнах. Зал вздымается, зарывается носом, рушится, опрокидываясь, назад; качается то слева направо, то справа налево. У кого-то кружится голова. Кому-то становится плохо. Кого-то выводят из зала. Что поделаешь?.. Укачало.

Выхожу довольный пережитыми ощущениями, но с пониманием – это для любителя острых чувствований, не желающего прилагать никакого труда, чтобы пережить их в натуре, не в зале. Художественному фильму это вроде и ни к чему.

... В Большой театр Виолетта билеты купить не смогла. Их вообще нет в известных театрах на ближайшие числа. Я отдаю ей четыреста рублей и прошу, если это удастся, купить по три билета на кучу спектаклей в Большом, во МХАТе или где-то ещё на первое, второе, третье число ноября и далее вплоть до пятнадцатого, до окончания моего отпуска, а сам в тот же день улетаю в Крым, в Симферополь.

... Из Симферополя на автобусе втягиваемся в горы, в леса зелёные и желтеющие на макушках холмов, поднимающихся широкими волнами к подножиям вершин Чатыр-Дага и Демерджи. Машина между ними петляет по узкой дороге, натужно тянет вверх к Ангорскому перевалу.

На перевале короткая передышка для тех, кого укачали крутые и частые повороты. Для меня это лишь остановка. Меня никогда не укачивает.

От перевала дорога, как законами природы положено, спускается вниз. С десятков витков – и вот оно перед глазами, долгожданное Чёрное море. Не яркое, летнее, синее, а белёсое, светлое необычно, так что стёрлась граница его там далеко, где оно в дымке смыкается с нежной светлой голубизной осеннего неба. Был конец сентября.

... оно не было красивым, это водянистое море; скучным и монотонным казалось оно издали мне, но сердце моё защемило, заньло сладковатую болью, словно ожидало свидания с чем-то дорогим, невозвратным, как воспоминание о далёкой любви к незабытой и дорогой ещё женщине.

Чувство, совершенно доселе мне незнакомое, растрогало меня прямо до слёз. Осознание в себе новых душевных движений было сладостно, только сладость эта была приправлена изрядной долей печали: мне двадцать шесть, а я всё один.

... машина, мягко шурша шинами по асфальту, въехала на набережную Алушты.

... В Алуште никаких изменений. Я спал на своей прежней кровати в углу комнаты-кухни. Дядя Ваня и тётя Наташа размещались в большой комнате. Бабушка, по случаю тёплой осенней погоды, пребывала большей частью на своём сундуке на веранде... Тёти Дуни не было. Возможно, она находилась в лечебнице, возможно на время взяли её в Евпаторию, куда к Левандовскому приезжала сестра, адвокат из Ростова.

Встретили меня радушно. На фигурном столике стиля изошрённого рококо времён мадам Помпадур появилась бутылка "Столичной", что для этого дома было не характерно. Сочетание света и теней на барочном столе с двумя фаянсовыми тарелочками с блеском бутылочного стекла и шершавостью ломтиков серого пшеничного хлеба было так выразительно, что я схватил камеру и щёлкнул затвором при свете электрической лампочки. Забегая вперёд, скажу, что снимок получился эффектным, я им дорожил. Кстати, только сейчас удивился, почему в Москве не снял божественную красавицу? Я любил фотографировать красивые лица. А-а, я видел её только вечером. Тогда всё понятно.

... всю последнюю декаду сентября стояла ровная солнечная погода. Было много дешёвого и хорошего винограда, и впервые я мог покупать его, сколько хотел.

Днями я купался и загорал. Вечером перед заходом солнца за горы я выходил на прогулку по набережной. В будке-киоске я заказывал двести грамм водки и стаканчик крем-сода. Выпив водку большими глотками и запив её газировкой, я шёл на танцевальную площадку "Метро", чуть выше того места, где впоследствии выстроили курзал. К этому времени становилось темно, лишь скользкая цементная стяжка площадки в окружении кипарисов освещалась огнями спрятанных между деревьями фонарей.

... всё оставалось неизменным в Алуште.

... пропуская вальсы, которые, в сотый раз повторяю, мне не всегда удавались, я танцевал все фокстроты и танго, приглашая каждый раз новую женщину, но за всё время из них мне не приглянулся никто, и второй раз ни с одной из них я больше не танцевал. Не нравились они мне.

Но в один из таких вечеров я увидел очень милую девушку, молоденькую совсем, юную, почти школьницу. Она стояла у кипарисов в кругу зрителей и женщин, ожидающих приглашения. А, напомним, кончался сентябрь, был мёртвый сезон, молодых людей

обоего пола практически не было, и особенно не доставало мужчин. Так что многие дамы скучали...

... по глазам прехорошенькой девушки было видно, как ей хочется танцевать. Что-то было в ней от Наташи Ростовской, впервые попавшей на бал. Но проходил танец за танцем, а никто к юной милой красавице не подошёл. Пожилые мужчины, знакомясь на танцах, имели определённые виды на женщин. Молоденькая красавица им была не нужна.

Я из танцующей публики самым был молодым, и видов никаких не имел, а девушка мне очень понравилась, и немного жаль мне стало её, что стоит вот такое хрупкое чудо, устремлённое к танцу, не замечаемое никем. Но не жалость, не жалость – сколько было вокруг неприкаянных женщин, милое личико девушки подтолкнуло меня к ней подойти. Я пригласил, глаза её вспыхнули, и она согласилась. А на меня нашло вдохновение. Стих нашёл. Я танцевал с ней легко и свободно, непринуждённо болтая о пустяках – всё же жизненный опыт что-то же значил. Я не вспомню, о чём говорил, помню только, что от моей болтовни она непрерывно смеялась. А это немало ведь значит. И это воодушевляло меня.

Проводив после танца её туда, где она до танца стояла, я сказал ей: «Спасибо за доставленное удовольствие с вами потанцевать», – и отошёл.

... Музыка, отдохнув, загремела. Девушка стояла одна, и никто её на новый танец не пригласил. А была она так прелестна – я не выдержал и пошёл снова к ней. Танцевала она с упоением, щеки её разрумянились, глаза заблестели, лицо светилось радостью неподдельной, вся она была ритмом музыки цепко захвачена, взята в плен, и танцевалось мне с нею изящно, словно скользил на балу, демонстрируя всем красоту отточенных па нашей пары. Всю прелесть скользящего полёта над танцплощадкой. И снова мы мило, танцем захваченные, разговариваем обо всём, и я её нисколько не стесняюсь и даже признаюсь ей в том, что в вальсе не умею кружиться.

Музыка кончилась. Я отвёл её, но не ушёл. Стал рядом с нею. И тут грянул вальс. Я заскучал, повторил, что вальс танцевать не умею, но тут она потянула меня: «Давайте попробуем! Я поведу»... Я рискнул, и... произошло непредвиденное. Ведомый этой хорошенькой девочкой, я полностью ей подчинился, я забыл, что я не могу... и ни разу не сбился – мы летели, кружась.

– Ну вот, – сказала она, – а вы говорили, что не умеете вальс танцевать.

– Это лишь вы смогли сотворить со мной чудо, – смеясь, отвечал я ей комплиментом.

Дальше весь вечер мы были с ней неразлучны. Я не отводил её больше, за танец не благодарил – мы отбросили эти условности. Мы останавливались, не расцепив наших рук, там, где музыка замолкала. Так и ждали новой мелодии. И с началом её вновь неслись, как единое нечто, то по плавным, то (в танго) крутым, резким волнам. Этот вечер мог стать началом влечения сильного... но в перерыв между танцами ко мне неожиданно подошёл элегантно одетый мужчина лет сорока с небольшим. Он извинился и попросил меня отойти с ним на минутку. Я отошёл с ним за кипарисы. И тут он мне сказал:

– Вы весь вечер танцуете только с моей дочерью. Вы уже сложившийся человек, взрослый мужчина, у вас могут быть какие-то намерения, а она ещё школьница...

Я сразу всё понял и позволил себе его перебить:

– Разве похож я на человека с плохими намерениями? Просто мне не с кем здесь танцевать. А дочь ваша, очаровательная девочка, скучает, смотрю. Ей тоже не с кем здесь танцевать. А танцевать ей, вижу, так хочется! Но не приглашает никто. Так почему не доставить удовольствие ей и себе? Вы же видите, что она очень довольна, ей нравится танцевать. И честью клянусь, ничего плохого я ей не сделаю. Мы потанцуем, а потом вы отведёте дочку домой.

Отец милой моей старшеклассницы кивнул головой, и я, испросив разрешения к его дочке вернуться, вновь с ней окунулся в волшебный мир танца, то томящий – замедленный, то искрящийся и стремительный.

... Когда танцы закончились, я отвёл хрупкую подругу мою, так удивительно скрасившую весь этот вечер, к родителям и сдал её в целости и сохранности. Мы тепло простились и больше, как это ни грустно, не встретились. Может быть потому, что больше на танцы я не ходил.

Тётя Наташа сказала мне, что видела в городе Лену Полибину. В тот же день я поднялся на гору мимо "Метро" и дачи Ценского к "вилле" мамы Лены Полибиной и, точно, Лену застал. Она была не Полибина, об этом я знал, но фамилию Данилевич носила ещё по инерции. Что-то не заладилось у неё с мужем, которого она знала с детства своего в Ленинграде.

... Поскольку Лена скучала одна, я предложил ей скучать вместе. Печаль не сходила с лица этой некогда задорной девушки-хохотуньи. Она и сейчас могла посмеяться, если вспоминали о каком-то курьёзе, но смех её был коротким.

... от давней влюблённости и следа не осталось, сердце больше не млело при виде её, но добрые чувства к ней сохранились, как к милому и дорогому мне человеку. И ей, так мне казалось, общество моё не было неприятным.

Мы с ней встречались на городском пляже – народу, на стыке сентября-октября, там было немного. Мы брали два лежачка, лёжа на них, загорали, плавали в море, фотографировали друг друга. Случай помог ей сделать снимок почти уникальный. Спуск был нажат в момент, когда выходил я из моря, и волна мне ударила в спину, но ещё не распалась на брызги, окружив меня ореолом тонкой плёнки воды. Я смеюсь, словно чувствую это, погружённый почти по пояс в завиток просвечивающей волны, готовый рухнуть на берег белой бушующей пеной. Я как бог! Я – Афродита, рождённая из пены морской!

Временами под вечер мы спускаемся с нею по склону от "виллы" на пляжи Рабочего уголка. Проходя в санаториях мимо теннисных кортов, мы выпрашиваем у сторожей мяч и ракетки. Играть мы не умеем, только начинаем учиться, но сам бег, точные удары ракетками по мячу увлекают нас и доставляют огромное удовольствие.

В первых днях октября мы съездили в Ялту, побывали в Ливадии, посидели на пирсе в порту, на том, куда приземлился Степан Лиходеев, но тогда мы об этом не знали. Поездка вроде бы удалась, но Лена была всё время печальна.

... Весь октябрь – изумителен! Небо ясное, солнечно. Тихо. Случайны белые ватные облака. Солнце нежное, мягкое. Нет жары изнуряющей, а море кажется теплее, чем летом. О причине догадаться не трудно. Нет разницы температур. В воздухе – двадцать два, в воде – двадцать по Цельсию. Расчёт прозаичен, но от этого чудо осени, становящейся золотистой уже и в низинах, чудо неги у синего моря не становятся менее удивительными и прекрасными. Как люблю я тебя, мой чахоточный Крым, ныне отданный на поруганье вандалам. Что они из тебя сотворили.

«... Мы, оглядываясь, видим лишь руины».

... Как-то зашёл разговор у меня с тётей Наташей об учениках тёти Дуни: мы рассматривали альбом её фотографий. «Это вот Пятаков, сын председателя райсовета, – угадывал я детские лица. – Где

он сейчас?.. Это вот личико Ивановой Светланы – четвероклассницы. Я тогда в седьмом классе учился. А когда она стала уже семиклассницей, я – выпускник – на неё частенько заглядывался. Очень была миловидна и очень мне нравилась».

– А Светлана сейчас в Алуште, в школе литературу преподаёт, – вставил Иван Павлович, а тётя Наташа рассказала, что Светлана закончила пединститут в Симферополе, вышла замуж. Фамилия мужа Сосюра (я такого, кроме украинского поэта, не знал), но она уже с ним разошлась...

... После такого вот сообщения мне очень захотелось увидеть Светлану. По части знакомств я был сейчас намного смелее того, когда-то очень застенчивого, десятиклассника, мог подойти и к незнакомому мне человеку. Со Светланой знакомы мы не были, хотя я знал её, как-никак три года в одной школе учились.

... надо только составить план своих действий. Прежде всего, где я могу её встретить? В самом деле, не пойдёшь к ней домой: «Здравствуйте! Я пришёл к вам знакомиться». Но это дело решалось довольно легко. В школе я узнал расписание занятий и в нужное время занял позицию по её дороге домой, за углом возле школы у церкви.

Углядев, что она вышла из здания школы – я её сразу узнал, мало она изменилась, я будто бы невзначай вывернулся из переулка и лицом к лицу столкнулся с чрезвычайно красивой и милой женщиной в чёрной юбке и в белой вязаной кофточке. Нежный овал лица её красили милая улыбка, карие глаза и волны каштановых волос, спадавших за мочкою уха.

... я влюбился с первого взгляда.

... с первого ли? Лет восемь назад сколько взглядов бросал?

Я решительно подошёл к ней, поздоровался, назвался, пошутил, что отметил её ещё с четвёртого класса, когда учительницей её была моя тётя.

Светлана сразу же справилась о здоровье Е.Д. – о беде её она знала, попечалилась о такой страшной судьбе.

В разговорах об общих знакомых я проводил её за Алушту до красивого особняка с колоннами и большой открытой верандой, ограждённой парапетом. Дом стоял в субтропической зелени, в кольце сосен и кипарисов. По пути к дому она рассказала, что отец её (командир партизанского отряда в войну, а затем директор винсовхоза "Алушта") умер, а она живёт сейчас с мамой, бывшей медицинской сестрой, в этом старом директорском особняке. Я бы лично его ни на какой новый не променял.

... Светлана пригласила меня войти в дом. Мы поднялись по ступеням на первый этаж. Нет, пожалуй, всё-таки на второй. Первый этаж, полуэтаж – это будет вернее, занимали кухня, кладовые, разные подсобные помещения. Выше помещалась квартира из нескольких больших и высоких комнат, но я их не видел. Светлана ввела меня в гостиную. Обставлена она была по нынешним понятиям скромно, но, несомненно, со вкусом. (Мне она показалась роскошной).

На полу – огромный ковёр, у стен – диван, кресла. Всё красивое, не казённое – с приятной в полумраке зелёной узорчатой обивкой. Вокруг большого стола расставлены стулья с такой точно обивкой. Справа от входа – чёрное пианино.

Но что больше всего меня поразило – на стенах висели картины. Много картин. Не меньше десятка, наверно. И не бумажные репродукции, что печатались на разворотах советского "Огонька". Это были писанные маслом холсты разных размеров в дорогих старых рамках, тускло отсвечивавших потемневшею позолотой... Не могу судить, были ли то подлинные картины известных или неизвестных художников, или копии с них, но они мне понравились чрезвычайно, породив ощущение, что коснулся я какой-то иной, духовно насыщенной жизни... От картин комната, пожалуй, больше всего и казалась богатой, хотя достаточно было и всего остального. Одно пианино... Как же бедно мы жили!

Мама Светланы, как сама она выразилась, музицировала немного и была большой поклонницей Фредерика Шопена. Я легко с нею разговорился, она была общительна и вместе со Светланой расспрашивала меня о Сибири, о моей работе. Я обо всём им рассказывал, выбирая самые яркие эпизоды, изредка вклинивая в свой рассказ и свои вопросы о школе, о переменах в Алуште. С горечью я узнал, что прекрасный приморский парк металлостов, бесхозный по причине безразличия местного горсовета, не стал украшением города, а прихвачен властями Украинской республики, огорожен непроницаемыми панелями, и жителям города вход туда запрещён.

К концу этого разговора я почувствовал, что Светланина мама прониклась ко мне симпатией. Что до Светланы – она была любезна, приветлива, слушала и расспрашивала меня с интересом. Для первого раза и это немало.

... меня, разумеется, угостили. Виноградом, инжиром, восхитительными грушами "Бера", налили в бокал редкого вина из коллекции совхоза, вкусного очень.

Перед моим уходом разговор коснулся некоего кинофильма, о котором много тогда говорили. Он как раз шёл в Алуште. Ни я, ни Светлана его не видели, и я пригласил Светлану сходить фильм посмотреть. Она согласилась, и мы сговорились о месте и времени встречи.

... ниточка завязавшегося знакомства не оборвалась, и это было чудесно. Шёл я домой окрылённый, согретый прекрасным чувством любви к очаровательной женщине.

... При очередном визите на гору, к "Ценскому", в разговоре с Леной, я мимоходом упомянул, что встретил в Алуште Иванову Светлану, на что Лена прореагировала с убийственным безразличием: «Не знаю такой». А чего я хотел?.. Что разделит восторг мой по этому поводу?! Не понимаю, зачем я ей это сказал?.. Очень, наверное, захотелось поговорить о любимой. Но ей то это к чему? Тем не менее, пренебрежение это задело. Но, естественно, я и вида не подал.

Поглощённый мыслями о Светлане, с Леной я встречался всё реже, и реже и даже не помню, кто из нас раньше уехал из Крыма. Мы, по-моему, даже не распростились. Впрочем, мне не впервой. В первый раз сбежал от неё в пятьдесят первом году – все помыслы о Володиной были. Теперь вот снова не хватило элементарного такта. И как всё это совместить с моим рыцарским почитанием долга и чести?!

... Через день после первой встречи со Светланой, я в назначенный час, захватив фотокамеру, бродил возле кинотеатра "Южный", что чуть ниже рынка и рядом с готелем "Таврида", который и до возмутительного хрущёвского подарка Крыма Украинской республике почему-то назывался готелем. Я в те времена полагал, что из-за внешней убогости его так претенциозно прозвали. Ан нет, кто-то смотрел далеко.

Тут же подошла и Светлана. Небо хмурилось. Неслись серые клочковатые облака. Светлана в светлом плаще-пыльнике была очень собой хороша, являя резкий контраст дню сумрачному с холодным порывистым ветром. Первое о ней впечатление не обмануло меня.

... Нашумевшего фильма я, понятно, не помню. Я его не смотрел, я спутницей своей любовался, вглядываясь в профиль лица, освещённого слабым светом экрана. Это было гораздо приятнее.



Рис. 17. Светлана у кинотеатра "Октябрь"



Рис. 18. На веранде директорского дома

На другой день погода наладилась, и я зачастил в милый дом, не забывая о своей фотокамере. Я отщёлкал всю плёнку, снимая Светлану и маму её у них на веранде. В конце концов, Светлана отобрала у меня аппарат, и на последний кадр сняла меня самого.

Проявив плёнку в алуштинской "Фотографии", я отметил дюжину удавшихся кадров и заказал с них отпечатки.

Когда я принёс фотографии Ивановым, Светлана воскликнула:

– Прекрасные снимки! Но ведь это дорого страшно!

Я уклонился от прямого ответа:

– Не очень.

Заплатил я, помнится рублей пятьдесят или сто. Для меня это были не деньги... Надо сказать, что, успев быстро привыкнуть к неслыханным бешеным заработкам, я перестал замечать, что у других-то людей денег в обрез. Я питался у тётки Наташи, как всегда, жил на всём готовом, только фрукты покупал на базаре, но и в голову мне не пришло, что живут они скудно, на зарплату не ахти какую.

Тётка Наташа, считая, что я деньгами сорю, попросила:

– Дал бы ты, Володя, нам рублей триста-пятьсот.

Я смутился и тут же полтысячи отсчитал. Почему не тысячу, две – жадным я не был. От полнейшего бездумья всё это. Сколько просили – столько и дал. Попросили пятьсот – дал пятьсот. Попросили бы две тысячи – дал бы две тысячи. А то невдомёк, что не очень приятно просить, даже у близкого человека. Никогда себе этого не прошу. Но теперь этого не поправишь. Всё надо вовремя делать.

Бабушка тоже меня попросила (опять сам не догадался) дать ей на свечки десять рублей:

– Сама-то до церкви я не дойду, дам рубль на свечку соседке, она и поставит. А у меня денег нет. Наташа мне не даёт.

Я дал бабушке пятьдесят рублей, она тут же спрятала их под матрас на постели.

... Не вспомню, в какой день после моего знакомства со Светланой, но не сразу, конечно, я съездил в Ялту и привёз оттуда большую коробку отличного шоколада – набор, ассорти. "Золотая рыбка" золотом было написано на круглой коробке. Я преподнёс её вместе с цветами Светлане. За цветы она мне сказала спасибо, за коробку бранила, но заставить меня забрать её не смогла: я наотрез отказался.

... неожиданно встретил на набережной Козлова. Дядя Ваня рассказывал мне о бедах, постигших эту семью, как всегда с оттенком некоторой недоброжелательности к людям. Мать у Ростика

умерла. Отец, бывший наш завуч, исключён из партии и изгнан из школы: подделал документы офицера-фронтовика, получал военную пенсию. На самом деле офицером он не был, в армии не служил, порошу на фронте не нюхал.

Ростик после института (он железнодорожник-строитель) где-то работал, женился, родился ребёнок. Пристрастился к спиртному. С женой разошёлся, с работы за пьянку уволили. Вернулся в Алушту. Устроился прорабом на стройке.

... На набережной мы обнялись по-братски, хотя раньше особой близости не было между нами. После обычных расспросов, что, как, где и когда? – Ростик сказал:

– У тебя заработок на шахте большой. Давай отметим нашу встречу в ресторане.

Ясный намёк, что за встречу платить должен я, мне не понравился. Никогда не был я крохобором, и тридцати-пятидесяти рублей мне было не жалко. Но не люблю, когда мне пытаются что-либо навязать, что-то решать за меня.

Тем не менее, мы зашли в ресторан "Волна", в тот, что напротив санатория "Красное Криворожье". Я бы с удовольствием предпочёл "Поплавок", но он был властями снесён, в море даже рельсовых свай не осталось.

... заказали мы водочки, закуски, горячие блюда и просидели часика два, "вспоминая минувшие дни и..." – дальше пришлось бы перефразировать Пушкина.

... Октябрь переваливал за половину в ярком сиянии солнца, синеве удивительно спокойного моря, в красках деревьев в горах, тронутых желтизной, ржавчиной, кое-где и багрянцем между зелёными скоплениями сосен. С каждым днём эти краски спускались всё далее вниз, к побережью, замелькали уже здесь и там среди вечно-зелёных магнолий, лавровишен, туи и кипарисов.

По воскресеньям мы со Светланой автобусом уезжали купаться на пустынные пляжи Рабочего уголка. Вода была упоительна, погода, как на заказ: «море смеялось».

... Возвращаясь с пляжа в автобусе с редкими пассажирами, я смотрел на Светлану, сидевшую у окна. За окном синее море, бликами вспыхивая, уходило в голубизну неба, и не было края меж ними. Мимо окон плыли тёмные кипарисы, зелёные сосны, широколистые желтеющие платаны, лунно-голубые невысокие ели, пламенеющие

красным огнём кусты неизвестных растений, залитые золотыми потоками солнца в неземной тишине. Я смотрел на профиль Светланы, его мягкие чудные линии пленяли меня, я глаз не мог отвести от неё.

Золотистые полосы света переползали по полу, по сиденьям, по нашим коленям, рукам, падали на лицо. И лицо её в этом золоте было так нежно, так волнующе вдохновенно, что я не выдержал и окликнул её:

– Светлана!

Она обернулась, лицо её оказалось перед глазами и заслонило весь мир.

– Светлана, – повторил я, – я люблю вас.

Светлана подняла глаза на меня и на признание ответила неожиданно. Она спросила:

– Володя, у вас нет девушки?

Я ожидал услышать в ответ, что угодно. Но такого вот не предвидел, смешался. Не нашёлся, как на это ответить. А нужный ответ был так прост: «У меня нет любимой»... Больше говорить было не о чём. Моё признание принято не было.

... всю дорогу до дому мы промолчали.

... А я уже был влюблён в эту женщину, и не было сил сразу с нею расстаться. Вечера я теперь почти ежедневно проводил у Светланы. Уютно горела в тёмной комнате настольная лампа под абажуром. Светлана проверяла ученические тетради. Мама её, сидя рядом, вышивала, выходила в другие комнаты по делам. Я сидел на диване и сбоку смотрел на лицо, милее и дороже которого в мире не было ничего. Вновь ощутил я себя маленьким мальчиком, очутившимся в предвоенном году: точно так вот любимая девочка в городе Энсо готовит уроки за столом под лампою с абажуром, рядом мама её что-то шьёт, я сижу на диване, люблюсь милым лицом. Всё точь-в-точь, как и было...

... удивительно, как в жизни многое повторяется!

... Иногда Светлана поднимает голову, зачитывает отрывки из сочинений учеников десятого класса, из сочинений, которые она проверяет... и я не могу удержаться от смеха. Мы в их годы были смышлёней и более развиты, а прошло с тех пор всего девять лет. Я понять не могу, отчего за такое короткое время школьники превратились в непроходимых тупиц, что ни фраза – курьёз! Больших глупостей и нелепостей – не придумать!..

Я по памяти, придя домой, записывал изумительные фразы великовозрастных обалдуев – такого придумать нельзя! Но, как все мои записи, и они были мамой утеряны, и я не могу никого ими повеселить.

... Закончив дело с тетрадками, Светлана оборачивается ко мне, и мы ведём долгие разговоры о работе, о жизни, о литературе, об отношениях между людьми. Я не пытаюсь повернуть разговор на наши с ней отношения, о чём тут можно ещё говорить. Я ей не неприятен, это понятно, но каким-то внутренним чувством я понимаю и то, что вне зависимости от того нравлюсь я ей или нет, из Алушты она никогда не уедет, в Крыму у неё связи, многочисленные знакомства, влиятельная родня в Симферополе в облисполкоме, в обкоме. И если бы даже наши с ней отношения склонились в сторону благоприятную для меня, то всё равно ничего у меня бы не вышло: нет для меня здесь работы.

Вот когда бы следовало вспомнить Нурка, об аспирантуре подумать? А я шёл наезженной колеей и не представлял, как легко поменять одну профессию на другую. Что человек с образованием и головой приложить свои силы может в разнообразнейших сферах. Знания у меня были, не было головы. Но это пустой разговор. Для того чтобы что-нибудь изменить, нужно время. А его-то и не было у меня. Всегда я опаздывал. Был бы умным, в этом году диссертацию защитил.

Положение казалось мне тупиковым, да оно и было таким.

Тем не менее, тихие домашние вечера рядом с женщиной, которую любишь, были пленительно хороши. И не хотелось их прерывать. И померкли перед ними огни Большого театра, и полетела в Москву телеграмма:

КУПЛЕННЫЕ БИЛЕТЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЕМУ
УСМОТРЕНИЮ НЕУСТОЙКА МОЙ СЧЁТ РАЗУМЕЕТСЯ.

... Шёл конец золотистого, бурого, но ещё кое-где и зелёного месяца октября. Мы по-прежнему по выходным выезжали на пляж, вечерами ходили в кино, больше в летний кинотеатр, где однажды я здорово оконфузился.

... как-то мы припоздали, уже все зрители сидели на скамейках, но свет пока не был погашен. Идя впереди Светланы, я торопливо бочком пробирался между спинами и коленями зрителей двух соседних рядов, бёдрами отирая спины переднего ряда, икрами ног скользя по коленям, сидящих в нашем ряду. И всё было бы ничего, если бы на моём пути не попала толстенная тётка, в мясистых коленях которой я просто увяз. А она, негодяйка, как гаркнет вдруг на весь зал:

– Лезут тут всякие, а ты их вонючую задницу нюхай!

Я, как ужаленный, в коленях у тётки переверотился, кровь бросила в голову от стыда, что меня так опозорили на глазах у Светланы. Светлана, как положено воспитанному человеку, и бровью не повела. Будто ничего не слышала, будто этот вопль нас не касался. К счастью, наши места были близко, мы сели, и свет сразу погас. Начался сеанс, и во мраке стыд мой рассеялся и забылся. Но ту проклятую тётку я не забыл, и с тех пор по рядам пробираюсь передом к носу сидящих. И перед глазами у них не зад мой, а застёгнутая ширинка. Допускаю, что это им нравится больше. Я ж, проходя, каждый раз про себя говорю: «Пардон, мадам... адью, мадам!»

После просмотра кино в каждое воскресенье мы поднимались на горку у набережной возле метеорологической вышки, откуда я когда-то бесплатно смотрел фильмы. Сейчас поднимались полюбоваться на фейерверк.

Дело в том, что секретарь Алуштинского горкома к радости отдыхающих оказался страстным поклонником огненной феерии, и денег на иллюминацию неба у моря приказал не жалеть... В жизни не видел столь яркой, обширной и хитроумной пляски огня. Никакие салюты, в том числе всесоюзные в годовщины Великого Октября, ну никак не дотягивают до того, что творилось на алуштинской набережной в октябре тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. Бесновались огненные колёса, разбрызгивая снопы красных искр; слепящие крутящиеся спирали раскручивали в небе пламенеющие хвосты; разноцветьем вскипали высокие пирамиды; взлетали и рассыпались ракеты синие, жёлтые, белые, зелёные, красные... Лопались в небе клубочки разрывов – и стекали вниз водопадом мерцающих звёзд... нет, не могу перечислить всего, что там было, всех этих всплесков горящей стихии, встречаемых ликованием толпы.

... люди рукоплескали, было очень красиво.

... При одном из прощаний в первых днях ноября Светлана сказала, что не сможет встретиться со мной завтра: учителям поручили обойти закреплённые за ними дома накануне намеченной на январь Всесоюзной переписи населения.

– Но я могу пойти вместе с вами, – отозвался я, не желая пропускать свидание.

– Правда? – оживилась Светлана. – Тогда приходите, мне будет веселее.

... Во второй половине дня после уроков мы пошли на доставшийся Светлане участок. Это были хибарки на склоне холма за рекой Демерджи, так называемый самострой, социалистические трущобы.

Я подобные и в Кемерово встречал, и в Междуреченске, но не подозревал, что они есть в Алуште. Выглядели они безобразно, неряшливо. Домики, если убогое это жилище домиком можно назвать, были сколочены кое-как из ящиков, досок, фанеры, ржавых железных листов, из всякого подручного хлама. Иногда встречались и мазанки. Улиц не было. Вились узкие тропки. Идешь по тропке, идешь и не знаешь, в какой тупичок она тебя заведет. Кое-где перед низкими вросшими в землю хибарками огорожены подобия двориков. На изгородь шло всё, что попало под руку, начиная от рваных панцирных сеток, спинок железных кроватей, и кончая... бог знает чем.

... я впервые попал в мир такой незнакомый.

... Мы стучали в закрытые двери. Открывали их женщины, как правило, молодые, многие с грудными младенцами на руках. Мы с опросными листами садились за стол, спрашивали о составе семьи, о доходах и источниках этих доходов, о месте работы хозяйки, мужа её... О месте работе других членов семьи догадались не спрашивать. Слишком уж они были малы.

И – странное дело – многие молодницы не знали, где работает, чем занимается муж. Это меня поразило больше, чем убогость жилья и его обстановки в сером свете, сочившемся сквозь косые маленькие окошки, бедность одежды, занавесок, скатертей, покрывал – иногда даже очень опрятных, но застиранных и выношенных до предела.

Каковы же духовные связи, думал я, в этой семье, и есть ли любовь и стремление к чему-то иному, выходящему за пределы животных потребностей. Или это просто сожителство по крайней нужде. Женщина для мужчины – удовлетворять половые потребности и обслуживать быт: стирать, готовить еду. Мужчина для женщины – только какая-то в жизни опора. Пусть и плохонькая, ненадежная, но другой-то ведь нет! И кормилец, какой-никакой. Впрочем, редкий мужчина один без помощи женщины мог в советское время обеспечить семью. Так что и это на женские плечи ложилось. Да и у женщины половые потребности есть, есть потребность в семье, инстинкт материнства. Это и удерживало столь странный союз, для меня непонятный.

... так попали мы в мир незнакомый и совершенно мне чуждый – будто другая планета, и становилось мне горько и больно от дикости человеческого бытия в наше "светлое" время. Да и моя ведь среда, чуточку окультуренная, жила теми же самыми помыслами за немногим, за небольшим исключением.

... Несколько вечеров провели мы со Светланой в страшном мире нищеты беспросветной во всех отношениях. И вещественной, и

духовной. Но ни разу себе не задал я вопрос: «Почему так живут люди в стране, называемой социалистической? Где социальная справедливость? Почему никому нет дела до этих людей?» Нет, скользил бессознательно, отмечая противоречия вопиющие, но не анализировал их и не делал выводов для себя. Почему? Не потому ли, что знал: «До такого уровня мне не опуститься ни при каких обстоятельствах».

Да, удивился я, но «душа моя страданиями человеческими уязвлена» – нет, не стала. Понимал я, безусловно, что социализм – это не богадельня, что здесь – каждому по труду. Но эти-то люди работали... Почему же в уровне жизни такой страшный разрыв?.. А о богадельне я зря. Богадельни тоже и при социализме нужны для больных, престарелых. Но и богадельни должны быть благополучны, опрятны...

В ноябре задождило, я чихал, из носа лилось непрерывно. У тётки Наташи нашёлся ментоловый карандаш, который когда-то меня от насморка избавлял. Но такого насморка у меня ещё не было, и карандаш оплошал. Понюхаю – становится чуточку легче, но минут через пять начинает лить снова, и я нюхаю карандаш опять и опять... К ночи я нанюхался до того, что впал в ненормальное состояние, лихорадочно возбуждённое. Сердце делало, наверное, тысячу ударов в минуту (пульс я не считал), билось, рвалось из груди. От этого я долго не мог заснуть, пребывая в состоянии полубредовом. Временами думалось – умираю. Всё же забытьё пришло. Зыбкий прерывистый полусон. Мне снились голые женщины. Я их обнимал, но они ускользали, и я просыпался, распалённый неистовым желаньем. Я засыпал, но желание и во сне не оставляло меня. Снова были объятия, нагое женское тело обжигало меня сладострастием, и... свершилось – я коснулся его, вошёл в глубину, слился с ним... и проснулся, дыша тяжело, сердце прыгало, желание разряжалось блаженством. Но и оно, наслаждение это, ощущалось с неестественным искажением под воздействием, будь он проклят, ментола.

... утром проснулся я совершенно нормальным, здоровым. Сердце билось спокойно, насморк пропал. Я готов был к новым свиданиям.

Седьмого ноября прошёл со Светланой в колонне праздничных демонстрантов. День был серый, – изредка накрапывал дождь, – и скрашивали его только красные флаги и транспаранты. Портреты наших "вождей" – не в счёт. Они никогда ничего собою не украшали... А десятого ноября я простится с любимой, не питая иллюзий на будущее, и выехал в Симферополь. Два месяца вынужденного безделья порядочно надоели, тянуло к работе. Если месяца отдыха всегда было мало, то два месяца – слишком много.

... Я выехал их Алушты пополудни. Небо разъяснилось. Автобус с надсадой шёл в гору, оставляя по левую руку скалистую лысину Чатыр-Дага, окаймлённую понизу и зелёной (сосновой) и ржавой (лиственной) лентами леса. За окном пробегали каменистые срезы возле дороги, скудно поросшие дубовым подлеском, с редкой щетиной стеблей, выгоревшей ещё с лета травы, ветер лениво колыхал их среди осыпей жёлтого, серого и светлого коричневатого щебня.

Что-то до горечи дорогое было в мелькавших мимо меня низкорослых дубках, корявых, чахоточных, с опалёнными листьями скорчившихся у дороги, в иссохшей, изборождённой морщинами трещин бурой корке земли с ржавыми опавшими листьями, в хаотичном нагромождении глыб серого камня.

... день угасал. Большое красное солнце катилось по плите Чатыр-Дага и растекалось по ней огненной лавой. Красные отсветы падали на лица едущих пассажиров. Перевалив через горы, автобус, виляя, мчал меня вниз к Симферополю. Солнце село, но было ещё светло, когда я вылез из автобуса в аэропорте за час до вылета самолёта. Рейс задержали, пассажиров отвели в аэропортовскую гостиницу, где не было мест, и где для нас в коридорах поставили раскладушки. Я улётс я и мигом уснул. Утром меня разбудили: самолёт вылетал. Я погрузился в него и часа через три приземлился в столице.

... В Москве тёплая поздняя осень.

Из Алушты я захватил свой мешочек с монетами и, заехав к Альтшулерам, я отдал его мальчику, как обещал. Обещания свои я всегда выполнял. О чём сейчас глубоко сожалею. Нет, не о том, что обещания выполнял и не о том, что отдал, а о том, что пообещал. «Никогда не поддавайтесь первым порывам, – кажется, Бисмарк сказал или Наполеон, – они часто бывают чересчур благородными». Прежде подумайте, не обернётся ли ваш порыв против вас.

От Альтшулеров я тут же уехал. Не вспомнил о прекрасной юной соседке, а направился к брату Володи Мамонтова по адресу, который он дал. Дом его я отыскал на углу улицы Чкалова и площади Курского вокзала в глубине двора, застроенного большими высокими зданиями. Нахожу квартиру по номеру. Она в полуподвале. На звонок открывается дверь, в ней молодой ещё парень, на Володю совсем непохожий. Представляюсь ему. Он протягивает мне руку: «Сергей», – говорит, что Володя писал обо мне, и показывает квартиру. Да, это полуподвал – окна на уровне тротуара. Но совсем не такой, каким я его представлял. В книгах читал о сырых полуподвальных квартирах с мокрой, обвалившейся штукатуркой. Ничего

подобного нет. Здесь сухо. А какая квартира! Три огромные комнаты с высоченными потолками, коридор огромных размеров, кухня, ванная, туалет. Света достаточно – солнечная сторона. И ещё – очень тихо. Рядом бушует вокзальная площадь, по улице Чкалова – части Садового бешеного кольца – в десять рядов мчатся автомобили, а здесь, в глубине каменного колодца, тишина абсолютная. Брюки прохожих не мелькают в окне, не стучат каблукками женские ножки.

... да, квартирка Мастера на Арбате была, конечно, скромнее, но, видно так же тиха и уютна, думаю я полвека спустя. Неудобно спросить у Сергея, кто же родители, что такую квартиру смогли получить. Пробыв до полдника у него, уезжаю во Внуково и к вечеру вылетаю в Новосибирск.

В Новосибирск прилетаю к обеду следующего дня. Здесь зима, снег лежит по колена. Лёгкий мороз. А я без пальто, в лёгком костюме. Ехать в город, ждать вечернего поезда – желания нет. Хотя и молод, а на улице пробирает дрожь. Возвращаюсь в аэровокзал. Узнаю, что сейчас вылетает на Сталинск десятиместный АН-2, и билет ещё есть. Не раздумывая, покупаю билет и бегу на лётное поле к маленькому биплану. Небо облачно, тихо, полёт будет спокойным.

За мной захлопнули дверь. Я уселся последним на скамейке у правого борта. Осмотрелся. Внутри, как в коридоре. По бокам две скамьи, и на каждой по пяти человек (вместе со мною). Иллюминаторы круглые, точно на морском корабле. Коридор упирается в кабину пилотов. Их два. Они шествуют мимо нас по проходу, перед тем как зарыть дверь в кабину один из них указывает на корзину с пакетами из плотной серо-синей бумаги и на бак в хвосте самолёта. Всё понятно без слов: рвать – в пакеты, бросать – в бак в хвосте.

Я сижу, свернув шею в иллюминатор. Завертелся пропеллер, внизу побежала земля. Метров двадцать, не более и, чувствую, – мы зависли. Здорово! Почти без разбега.

... Новосибирск скрылся из глаз, летим ниже облачности, спокойно, даже в ямы воздушные не попадаем. И тут по земле ветерком потянуло, сверху видно: зазмеилась позёмка. Облака подозрительно снизились, вместе с ними снизился и самолёт. Полепил снег, гуще, гуще – и уже почти ничего не видеть за его сплошной пеленой. Завыла пурга. Видимость до предела упала. Самолёт на бреющем полёте идёт над лесами, над щетиною пихт, торчащих из белого снега. До земли сто метров, не более. Но и пихты скрываются за рядами плотного снега.

Самолёт ухнул в провал – внутренности к горлу швырнуло, дух занялся... Выровнялись, летим – снова яма, снова острое ощущение

внизу живота. Но этого мало. Ветер начинает нешуточно нами играть. То вздёрнет вверх нос самолёта, так что еле удерживаемся на скамье, чтобы в хвост не уехать, то наклонит к земле – минута... и врежемся! К тому ж и сбоку на бок качает. В иллюминаторе против себя вижу крыло, оно то вздымается вверх, заслоняя собой весь белый свет, то совсем исчезает из виду, и самолёт летит на боку, а мы, – лёжа на фюзеляже. Потом постепенно выравниваемся.

... через пять минут первый возле кабины хватается за ручку и бежит в нос самолёта. Через десять – блюют семь человек. Пока держимся трое, я в том числе. Не скажу, чтобы чувствовал себя хорошо, мучило слегка, но терпимо.

Полёт занял чуть более часа. Вот и Сталинск уже показался, и ветер, похоже, чуть поутих, снега не стало. Проплыли под нами домны и дымные трубы металлургического гиганта, показался аэропорт. Самолёт завернул круг на посадку... и неудержимая тошнота хлынула к горлу, я вскочил, бросился за пакетом и едва успел голову всунуть в него – вывернуло меня наизнанку.

... а самолёт между тем катил по утрамбованной, твёрдой аэродромной земле.

Вот обидно – минуту не выдержал! Вылезаю из самолёта, а самого продолжает качать. Сама мысль о поездке в такси в Междуреченск выкручивает меня. Больше ехать никуда не могу. Кое-как на автобусе добираюсь до дома Славы Суранова и сваливаюсь у него на диван, как был, в костюме и шляпе. Славик хватается за фотоаппарат и фотографирует меня, растерзанного полётом, между своими детьми.

К вечеру я отлёживаюсь, прихожу в нормальное состояние, мы ужинаем фирменным Славиным блюдом – горячими макаронами с маслом и любительской колбасой, предварительно выпив по стакану портвейна.

Утром, взяв такси, я умчался в свой Междуреченск. Дела, которые я там застал, меня не обрадовали. Малышев рассчитался и уехал в Донбасс. Вместо него явился с "Польсаевской-Северной" Быков. Буравлёв его выписал. Вместе с новым механиком учредили и новую должность: помощник механика – так и хочется выругаться! Малышеву и не подумали помощника дать. Заместил должность смуглый высокий жилистый Можаровский, по образованию техник.

План в ноябре участок не выполнил, и зарплата моя за вторую часть месяца оказалась непривычно скудной – полторы тысячи всего получил, и ох, как это почувствовалось. Что там ни говори, а с большими деньгами жить веселее. Впрочем, тут же пришло утешение. На

шахту поступил совместный приказ комбината и обкома нашего профсоюза: за занятое первое место в социалистическом соревновании среди добычных участков бассейна в третьем квартале наш гидрочасток премировался ста тысячами рублей, из коих двадцать процентов выделялось надзору, так что я ещё тысячи две получил. Ни в каком соревновании мы, разумеется, не участвовали, нас кто-то в комбинате и профсоюзе соревновал. По итогам работы... Следом за ним получаем решение министерства и ЦК профсоюза угольщиков: за второе место в Союзе по результатам работы за третий квартал нас премируют двумя сотнями тысяч, из которых и мне четыре тысячи обломилось. Вот уж воистину – деньги идут к деньгам.



Рис. 19. На У-су уже поздняя осень

... Меня замечать, пока я был в отпуске, Буравлёв поставил Львовича Изю. Справился, ничего... только рабочие неделю смешили меня анекдотами из Изиной практики. Большинство из них не запомнил, но кое-что в памяти зацепилось.

... Вот проходчики брошены на рытьё котлована возле насосной, рядом сварщик работает: к трубам фланцы приваривает. Тут

вдруг тухнет сварочная дуга. Сварщик кричит, обращаясь ко Львовичу: «Нет земли на трубе. Дайте землю». Изя быстро командует ближайшему землекопу: «Паршин, сюда! Кидай землю на эту трубу».

... все, и сварщик, и землекопы валяются на землю от хохота.

Непрофессионалу сейчас поясню. Сварка велась электросварочным аппаратом, электрический ток от него по проводу подходит к прутку электрода. Вторым электродом служит "земля", оголённый конец второго провода от аппарата прижимается (камнем или ещё чем-нибудь) к предмету, к которому что-то приваривают; в данном случае это труба, к которой приваривают фланец. "Нет земли на трубе" – значит, нет контакта трубы с проводом сварочного аппарата. По какой-то причине – труба, может, сдвинулась – провод от трубы отошёл. Вот сварщик и просит Изю этот провод прижать. Изя же понимает буквально... и землю даёт.

Это похоже на анекдоты, что в шахте рассказывают о новичках: «Посылают такого: поди, пригони козу к лаве. Он, понятное дело, из шахты выходит, где-то бродит, ловит козу, к концу смены пригоняет её... Все очень довольны. Кроме этого новичка, понявшего, что его одурачили. Я упоминал, что "козой" шахтёры называют вагонетку для доставки леса, на ней вместо кузова по углам четыре длинные чурки торчат.

... Дальше случай уже с бензорезом. Резчик закончил вырезку из листа и просит Изю, находившегося как раз у баллонов, выключить бензорез (то есть перекрыть вентили на двух шлангах, по которым к резаку поступают пары бензина и кислород). Изя бросается к слесарям: «Ребята, где тут рубильник, надо выключить бензорез!»

... В другой раз бензорезчик сокрушается: «Кислорода совсем мало осталось, заглушку не вырежу». Изя советует: «А ты его экономь, экономь. Вентилёк прикрути, а бензинчику-то побольше, побольше». Снова все заходятся в хохоте: сталь режется при высокой температуре, а она в пламени возникает при определённом соотношении бензина и кислорода.

... На участок прислали на практику рабочих – китайцев. Там, в Китае идёт строительство гидрошахт, вот их и прислали у нас поучиться. Я посмотрел их в работе. Что сказать? Трудолюбивы и добросовестны до предела. Когда практика закончилась, и наступило время расчёта, они, получив зарплату, от премии категорически отказались: это нам не положено. Все наши объяснения, увещевания, уговоры разбивались о камень: «Мы не заработали этого». Так и

уехали, премию не получив. Как бухгалтерия из этого казуса выкрутилась? Полагаю, что выкрутилась, и не без пользы для кое-кого. Вряд ли премия ушла в бюджет государства.

... Оба отстойника шламовых вод нашей ОФ переполнились шламом. Из одного шлам грузили, но начали поздно, – надо было бы годом раньше начать, – по второму от шламопровода тѣк ручей по угольной пыли до переливного колодца, вода при этом не осветлялась и, в таком виде, не могла быть принята фабрикой. И вот Пleshаков и Крылов приказали завернуть ручей шламовых вод к нам в колодец водозабора. Наши протесты не помогли. Пришлось подчиниться, хотя все понимали, что установленные у нас насосы, могут работать только на чистой, ну, пусть слегка замутнённой воде.

... наши проворные хлопцы быстро пробили "тоннель" под насыпью шоссе и железной дорог, отделявшей шламохранилище от колодца водозабора, уложили в канаву трубу и засыпали. А чёрный поток с мельчайшими частицами угля, однако недопустимых для насосов размеров, потѣк к всасов насосов. Насосы, разумеется, стали. Пришлось искать выход. А он был только один – держать открытым тарельчатый клапан на трубе забора воды из реки, то есть разбавлять шламовый поток чистой водой. Но и при этом насос не выдерживал более суток работы. Их у нас было три. Раньше всегда был резерв. Теперь такого резерва не стало. Наступили тяжѣлые времена. Из трёх насосов два постоянно в ремонте. Может быть, это предвидя, Малышев и расстался с участком.

И ещё появилась одна неприятность, невидимая пока. В то время, когда наш насос останавливался, шламовая вода, из колодца через тарельчатый клапан по водозаборной трубе устремлялась в реку. Но река льдом покрыта, засыпана снегом, и никто об этом покуда не знал.

... По вечерам и в будни, и в дни выходные я по-прежнему захаживал к Сухаревым и Китуниним, но всё чаще стал бывать на холостяцких вечеринках у Свердлова. Там в комнате стоял стол, задвинутый в угол. На столе выстраивалась батарея бутылок и чистых стаканов при них, и стояли тарелочки с бутербродами. Каждый пил, что хотел, сколько хотел, и когда ему вздумается: шѣл к столу и сам себе наливал.

... в лёгком подпитии я танцевал с чувством горькой безрадостности – нет со мною любимой. Звуки рвали мне душу пьяной тоской, и – хотя и дешѣвка, но в тон настроению – казались прекрасными. С первых тактов новой мелодии, поравнявшись в танце со Свердловым, я, не подумав, воскликнул:

– Какая прекрасная мелодия!

– Прекрасная мелодия?! – переспросил удивлённо Роальд.

Тут я понял, что сваял дурака, спьяну приняв пошлую песенку за нечто другое.

Патефон между тем, жалуясь, пел:

Я не поэт и не брюнет,
Не герой – объявляю заранее, –
Но буду ждать и тосковать,
Если ты не придёшь на свидание.

Итак, я по́нял, что сваял дурака и покраснел от стыда, но уже танцы далеко нас развели, и лицезреть красный стыд было некому кроме партнёрши.

... Раз повёл меня Свердлов к Юре Орфееву. Был такой помощник начальника на одном из участков. Я его знал только в лицо, и ещё знал о нём, что он сын главного инженера комбината "Кузбассшахтострой". Одна из двух комнат квартиры Орфеева была обставлена с претензией на салон, и жена его, Гера, претендовала на роль светской львицы и в свободе своего поведения могла бы дать вперёд сто очков любой шлюхе из высшего общества, хотя в том обществе принята не была. Слухи, сплетни, вся личная жизнь всех знакомых и незнакомых пережёвывались весь вечер до мелочей, от чего мне стало не по себе. О многом, что для меня всегда было под неперенным запретом, что никогда не могло быть высказано вслух о жизни интимной, Гера болтала непридуманно, и притом открыто тестом совершенно бессовестным.

... в заключение она показала нам гвоздь сезона, салона или как хотите это зовите. Она заявила хвастливо, что обучила кота онанизму, а Юра с готовностью продемонстрировал нам умение кота. Кот вспрыгнул на валик дивана, Юра сунул руку свою сзади между ног развращённого зверя, и тот, руку Орфеева оседлав, стал ёрзать по ней своим маленьким членом. Видно было, что удовольствие получает.

... всё это было так отвратительно, что нога моя больше не преступала порога этой озабоченной сексуально квартиры.

... Как-то в декабре, возвратившись с работы, слышу в комнате звонок телефона. Подбегаю, беру трубку. В ней голос кого-то из сокурсников: «Володя, тут (он адрес назвал) наши все собрались. Немедленно приходи!» – и, причины не объяснив, голос сразу и отключился. Но я подчиняюсь. Всегда приятно встретиться со своими ребятами из КГИ.

Выхожу, подхожу к указанному мне дому, поднимаюсь на третий этаж. Жму кнопку звонка. В прихожей сбрасываю пальто на кучу навалом лежащей одежды. Вхожу. В комнате шум, гвалт небывалый. Останавливаюсь у косяка, пытаюсь понять, что здесь происходит.

... от дверей до окна через всю комнату – длинный стол, скатерть белая и бутылки, бутылки, бутылки. Водка, вина, коньяк и шампанское. Груды апельсинов и жёлтых китайских яблок с красным пятном на боку и тарелки с нарезанной колбасой, ветчиной, салом, солёными огурцами, винегретом, сыром, мясом крабов, тресковой печению с жирным стальным блеском. За столом по обе стороны кагэишники – и не думал, что столько нас много, а во главе стола у окна... в штатском костюме сидит мой генерал, мой любимый Гусаров.

Завидя меня у дверей, генерал поднимается, выходит из-за стола и идёт мне навстречу. Я шагаю вперёд, и мы, встретившись в середине комнаты, обнимаемся. Как я счастлив и горд. Это здорово как – попасть к генералу в объятия, да ещё у всех на виду! Это такое отличие! Генерал по-прежнему ценит меня. Он усаживает меня рядом с собой, говорит, что приехал сюда по путёвке "Общества по распространению научных и политических знаний" и, узнав, что я здесь, захотел непременно увидеть меня. Всё дальнейшее расплывается в тостах, продолжается пир товарищества и братства студентов.

... пьян я не был, хотя ничего и не помню, и домой прибыл самостоятельно.

... Этой зимой я снова пристрастился к лыжным забегам. Видно, горечь неразделённой любви гнала меня в бег, в забытье и бездумье. В захватывающем полёте скольжения по лыжне исчезали беды и горести, оставалось одно ликование тела и духа. «Ну какой же русский не любит быстрой езды!»

Лыжи, ботинки с жёстким креплением, прижимавшим их к лыжам мгновенно, я мог себе позволить купить. И вернувшись с работы после второго наряда, но ещё засветло, а частенько и в самом разгаре ясного зимнего дня, выходил я за город, мчался по твёрдому насту к Сыркашинской горе, тяжело поднимался на эту безлесную сопку и со свистом летел круто вниз, а воздух упруго бил мне навстречу, смягчая падения, которыми неизбежно завершался такой крутой спуск. Поднявшись и отряхнувшись от снега, я, оскальзываясь, снова лез на вершину и скользил вниз уже иначе, наискось полого склона длинным шагом с проездом – так мне нравилось больше всего. Катанье без приложенья усилий не доставляло мне полного удовольствия. Всегда приятно преодоление трудностей, если они не безмерны.

Эти часы скольжения по земле – а, скажите, как отличить их от полёта над ней! – наполняли всё тело ощущением силы, молодости и счастья, выметая начисто тяжкие мысли. Молодость мыслилась бесконечной, мысли же, мысли – они преходящи...

... В декабре дела на участке складывались неплохо, если не брать в учёт постоянный аврал в насосной станции. Мы даже план перевыполнили немного, процента на три, но всё же премия нам полагалась приличная. Однако Буравлёв эту премию погубил. Верхоглядство его, шапкозакидательство сыграло с нами злую шутку. Ничего не хотел принимать во внимание и учитывать. Легко было и без этого обходиться, когда было сверх плана и двадцать, и сорок процентов при неизменных расходах электричества, леса, взрывчатки – всё на тонны добычи отлично делилось. Но теперь-то, когда тонн этих в натяг, надо было считать, считать и учитывать. Свердлов в сердцах мне говорил:

– Я Андрея предупреждал много раз, надо наладить учёт расхода материалов. Всегда надо знать, в каком мы положении, чтобы во время меры принять. А Андрей только отмахивается – у нас перерасхода не может быть никогда.

– Как делают на участках? – продолжал посвящать меня в хитрости Свердлов. – Там учёт леса ведётся до куба. Если план выполняется, но намечился леса перерасход, тут же сговариваются с ближайшим участком, у которого месячный план наверняка будет завален, – им теперь любой перерасход нипочём, – и выписывают свой лес на этот участок. И премия обеспечена. А у нас... Всё Андрей виноват.

Да, премии надзор участка лишили потому, что участок норму леса на тонну угля перерасходовал, и всего-то на какую-то сотую кубометра! Было обидно: из-за такой чепухи!

... К Новому году, выслав деньги Мамонтову Сергею в Москву, я заказал два набора шоколадных конфет. Одну коробку, поменьше, за восемьдесят рублей, я просил его отправить в Алушту Светлане. Вторую, чуть больше, рублей за сто двадцать, – мне, в Междуреченск. Сергей просьбу исполнил, и коробку огромных размеров (с мой настольный хоккей) я получил точно в срок. В ней было десятка три крупных, величиною с ладонь, шоколадных зверушек: медведи, волки, зайцы, белки, лисицы. Фигурки были полыми – на коробке написано: конфеты с ликёром.

... с этой огромной нарядной коробкой, перевязанной накрест красной шёлковой лентой, я и пошёл встречать Новый год к Сухаревой Людмиле.

... а может быть, то и не Новый год был по нашему календарю, а Новый, но по старому стилю, двумя неделями позже, когда Люся отмечала день рождения своего...

1959 год

С огромной нарядной коробкой, перевязанной накрест красной шёлковой лентой, я пошёл встречать Новый год <по старому стилю> к Сухаревой Людмиле – четырнадцатого января у неё был день рождения, двадцать три года исполнилось. Я всё ещё был к ней не вполне равнодушен, несмотря на большую влюблённость в Светлану.

... но Светлана была далеко. И ничего там мне не светило...

... Как же я был поражён, когда вслед за мною в квартиру Гены и Августы ввалилась ватага незнакомых парней, и с ней кучерявый красавец – волейболист Николай. В руках он нёс чучело рыженькой белки, подстреленной им на охоте. Белочку он передал Люсе в подарок вслед за моей коробкой.

... я сразу почувствовал, что белочке отдано предпочтение:

– Прелесть какая!

Я понимал, что самый незамысловатый подарок, сделанный любящими руками, для влюблённого неизмеримо дороже любой драгоценности, купленной нелюбимым. И не в подарке тут дело. Тут предпочтение отдано человеку, любимому. Нелюбимым был я. Одно утешение – я белочку не убивал.

Николай откровенно за Люсей ухаживал, Люсе нравилось это. Она рдела от удовольствия.

... Я в этот вечер явно нервничал, хотя и скрывал натужным весельем свою боль от такого неожиданного удара. Почему неожиданного? Ещё с осени следовало этого ожидать, когда Николай стал в их семье своим... Но всегда удар для меня получается неожиданным. Я был несчастен, и этого, видимо, окружающие не могли не заметить.

Спустя несколько дней среди ночи меня поднял телефонный звонок. Звонить могли только с участка – вероятно авария. Но аварии не было. Мужской голос сказал:

– Платонов, веди себя как мужчина!

Сдуру, спросонок я закричал:

– Кто это говорит? – хотя и знал неопровержимый ответ на подобный дурацкий вопрос: «Все говорят!»

К счастью, трубка так не откликнулась – отключилась, не дождавшись ответа на дурацкий вопрос.

Этак у нас упражнялись многие ИТР, чтобы начальству как-либо досадить. Звонят среди ночи с чужого шахтного телефона и говорят голосом изменённым: «Иванов, ты дурак!» Тот спросонья обязательно спросит: «Кто говорит?» – после чего получает ответ: «Все говорят!» – и гудки отключения.

Мама испуганно спросила меня, словно почуяв угрозу:

– Кто это позвонил?

Я плечами пожал:

– Так, дуралей какой-то ошибся...

Конечно же, это звонил Николай.

Так печально начался знаменательный год, изменивший всё дальнейшее направление жизни. Но тогда я этого никак не предчувствовал.

Письмоносица принесла весточку из Алушты. Светлана писала: «Приезжаю домой из Симферополя, а здесь меня ждёт... Ваша телеграмма и подарок. За последнее сержусь: не надо было этого делать... Несколькими днями раньше пришли снимки... они мне очень понравились... дело... в общем тоне, настроении. Снимки видовые, на мой взгляд, не только удачные, а замечательные...»

... с тех пор, как я приобрёл аппарат, я с ним практически не расставался, всюду таскал его с собой на плече. В Алуште, кроме Лены, Светланы, я снимал и море, прибой, облака, деревья, и горы, и город, его улицы, улочки при солнце и в пасмурную погоду. И снимки – все как один – получились у меня превосходные. А ведь навыков не было никаких, и фотоэкспонетра не было. Выдержку, определял по освещённости на глазок, составив таблицу для часов дня, широт, времён года. Но и глубиной резкости оперировал.

Это письмо порадовало меня, как и полученная впервые доплата за выслугу лет, что-то около пяти тысяч рублей.

... В январе прочитал о кончине Сергеева-Ценского. Известие задело меня. Я лично с писателем не был знаком, хотя много раз проходил мимо его дома, но смерть его зацепила горечью личной утраты. Тётя Наташа не раз с ним встречалась, рассказывала о нём, о его выступлениях на собраниях актива в райкоме. Восхищалась его яркой, богатой, образной речью. В ответном письме Светлане я писал о горечи от ухода из жизни незаурядного человека: «Словно потеряна частица себя самого, словно в тебе что-то навеки исчезло бесследно...»

... С первого января Кузбасс перешёл на новую систему оплаты труда. Надзору повышались оклады (мой до трёх тысяч возрос), рабочим – тарифные ставки, но взамен ликвидирована прогрессивка, и ограничена премия.

Изменились названия профессий рабочих. Вместо навалотбойщиков или забойщиков первой, второй руки – рабочий очистного забоя (р.о.з., сокращённо) и не какой-то там первой, второй руки, а первого и второго разряда. Спустя несколько лет "рабочего" изменили на "горнорабочего", вместо р.о.з. стали г.р.о.з. – гораздо внушительнее.

И гидрокомплекс, название которого в прошлом году Плешаков опустил до гидроучастка, отныне стал просто девятнадцатым участком – всеми способами хотел лишить нас исключительности, шаг за шагом понижая наш статус. Это нас задевало. Что такое обычный участок? – Одна лава или штрек. А у нас столько объектов! Но что делать? Проглотили и это.

В январе план добычи угля мы кое-как всё же выполнили, но премии снова не получили, и виной тому был не лес (приняли меры), а беспринципность и соглашательство Буравлёва.

... ещё летом, прикинув, к чему приведут безумные темпы погашения наши столбов, я доложил Буравлёву, что в шестидесятом году мы полностью выработаем своё шахтное поле в пределах этого горизонта. Пора думать о подготовке нижнего горизонта. Начинать тянуть туда трубы, засекать углесосную камеру. Будем ли мы сами заниматься этой работой или поручат её РВУ существа не меняло. Пора начинать... И вот, вернувшись из отпуска, нахожу, подготовку к переходу на горизонт +245 метров мы начали... извините – кроме мата тут крыть больше нечем... – начали с того, что засекали с нашей штольни уклон. Проходка вниз всегда тяжелее, чем вверх, но нам-то она не нужна. Большой тупости трудно представить. Да мы снизу, пустив углесосную камеру, эту выработку прошли бы за пару недель!

Не могу понять, почему Буравлёв на это пошёл. Тут надо было костями лечь – заупрямиться.

А сейчас мы лишались всех преимуществ и приобретали такую обузу, что и за год расхлебать не удастся. Надо было вниз за забоем тянуть скребковый транспортёр, а уголь из забоя лопатами кидать вверх, что, согласитесь, тяжелее, чем кидать его вниз, не говоря о том, чтобы совсем не кидать, смывать уголь водой. Дальше – пласт обводнён, с кровли вниз стекала вода и скапливалась в забое, затопляя его, значит

надо будет, опережая забой, делать приямок, и воду насосом выкачивать. Для чего это всё?! Если проще снизу эту выработку проходить.

... Как бы там ни было, с первого ноября уклон засекли, но продвинулись всего на три метра. Декабрь дали нам на раскачку, но уклон далеко не ушёл. В январе на него план спустили – сорок метров на месяц. (Снова охаю, повторяясь! Да мы бы все его 150 метров в две недели снизу играючи отмахали!). А сверху у нас с ним дело не ладилось. И проходчики наши не имели опыта проходки уклонов, хотя дело не хитрое, но муторное, – не в этом главная суть. Главная в том, что кровля сочилась, и с водой, натекавшей в забой, мы справиться не могли. По колена в воде долбили опережающий приямок-колодец – бурить бесполезно: аммонит размокает в воде и электровзрыватели перемакает. Винтовой насосик, который должен выкачивать воду, постоянно ломался. Больше им занимались, чем всем остальным. А возня с транспортером?! А кидание угля из-под воды лопатами вверх! Каторга – не работа!.. Я посмотрел на эту хреновину, извините, на эту затею, плюнул и возблагодарил Господа Бога за то, что освободил меня от горных работ.

План проведения уклона мы позорнейше провалили, метров пятнадцать всего за месяц прошли. И премия, заработанная на главном, на добыче угля, ухнула из-за этой безмозглой затеи. Было досадно. Второй месяц подряд!

... Я всё чаще и чаще бываю у Свердлова. К Сухаревым демонстративно не захожу. Что мне там делать, хотя дружеские отношения с Геней и Августой сохраняются, но встречаюсь с ними случайно, на улице.

У Свердлова в его пустой и просторной квартире – ежесубботные танцы. Я танцую напропалую со всеми особами женского пола, не отдавая никому предпочтения, ни одна из них мне не нравится. Самая приятная среди них, невысокая, в меру полненькая белокурая Роальдова любовница, выглядела бы, пожалуй, и миловидной, если бы не форма носа её, у переносья он вроде бы вдавлен, и это очень портит её. Не могу быть уверенным, нравилась ли она ему самому или просто нужна была для удовлетворения природной потребности. Жена Роальда не собиралась возвращаться к нему их Москвы, а он в семье к регулярной половой жизни привык, и ему труднее было от неё воздерживаться, чем мне, непривыкшему. Сужу по себе. Лишь женившись, я понял, как это тяжело. Неделя командировки без Лены – мучение, после месячного пребывания в санатории я просто с ума

сходил без неё. Потому и заводили, вероятно, мужчины отпускные романы, но я этого сделать не мог. Тут желание быть только с любимой, тут и невозможность измены – такой я уродился! Был такой моральный запрет, что ли, во мне. Может кому-то это диким и глупым покажется – всю жизнь такие муки терпеть, но, не осуждая других, сам таким быть не мог. Мне всегда нужна была единственная, любимая.

... Да, секс серьёзная штука. Свердлов в одном разговоре, но не со мной, а при мне, категорически утверждал: «Секс – главное в жизни мужчины».

Я промолчал – говорили-то не со мной, но с Роальдом внутренне не согласился. Про себя, возможно, и возмутился. Половую жизнь во главу угла, понимая, что без неё существование мужчины превращается в пытку, я ставить тогда не хотел. На первое место тогда, да и несколько позже, деятельность, созидание, творчество у меня выходило. Ну а секс – это необходимое приложение, обязательное для счастья.

А сейчас, после прожитой жизни, я, оглядываясь, понимаю, что я был не прав. Меня то самого секс, ну пусть в утончённом облагоороженном виде – любовь, только одна любовь и швыряла по жизни. И только любовь к женщине, к любимой, единственной подталкивала меня совершать те или иные поступки. Повернись любовные отношения иначе, я мог бы переехать и в Кемерово, там стать профессором, я мог бы остаться и в Междуреченске и там сделать карьеру, хотя в тот момент и казалось, что там нет никакой перспективы – через несколько месяцев после отъезда положение круто в мою пользу изменится, – но у меня там не было никого, кто бы меня до этого там удержал. В Луганск я приехал, конечно, случайно, как мог, например, приехать в аспирантуру в Москву. Но уж когда встретил ту, что была мне нужна, все мои метания кончились, здесь я мог и для деятельности развернуться. А первичной была всегда любовь к женщине. Творческие мотивы оказались лишь поводом, ведущей силой всегда была женщина, секс (не в примитивном, естественно, смысле). Допускаю, что у других мужчин может быть иначе, и даже нередко иначе совершенно, если для них главное – секс, секс без любви. А это часто бывает.

... Между тем на участке работа шла ни шатко, ни валко. После того, как комбайн Гуменника заехал в горельник, после того как вытащили его из завала, Буравлёв, продолжая аккумулирующий

штрек, вместо того, чтобы оторвать его в этом месте от почвы и, соблюдая минимально необходимый уклон, вновь выехать на почву пласта за горельником, проехав мимо него, дал команду обойти завал, не отрываясь от почвы. В результате при объезде уклон не был выдержан, на протяжении десятка метров штрек легонько "нырлял", и в этом месте выемка получилась. А вода, как известно, в открытом русле вверх не течёт. Я в этих делах не участвовал, но, увидев, начал гадать, что шеф дальше предпримет. А он просто поставил в этом месте проталкивающего. Тот продвигал уголь в воде лопатой по желобам до начала нормального их уклона. Не очень умная выдумка.

Сводчатый штрек комбайн "проехал" дальше без приключений. Но непривычно и жутковато было идти две сотни метров по выработке, где не было даже анкерного крепления. Поэтому штрек после выдачи "Гуменника" на поверхность решили всё-таки закрепить деревянными рамами. А в месте перегиба желобов природа взяла своё, не помог и рабочий, при особо мощном потоке угля, хлынувшем из очистного забоя, эту часть штрека замыло, заилило, пришлось желоба поднимать – сколько можно разгребанием заниматься? Но пробираться теперь по нему можно было лишь согнувшись в три погибели. Можно было бы всё же штрек тут в кровле поднять, но Буравлёв и этого снова не сделал, а горнотехническая инспекция, видать, сюда не добралась. Иначе бы остановили работы. Так тут всё и осталось.

Доведя штрек до конца, решили проветривать его за счёт общешахтной депрессии – и тем самым перенести ВЧП из штольни на аккумулирующий штрек ближе к очистным забоям. До поверхности по данным маркшейдеров из последней печи было всего двадцать метров, вот и решили из неё пробить шурф. Вообще-то шурфом называется вертикальная выработка, проходимая с поверхности и закреплённая колодезным срубом, но какая, в сущности, разница, если мы пробьём его изнутри. Так нам намного легче. Мне интересно было взглянуть, как эта проходка выглядит не на чертеже, а в натуре – всё же несколько необычно: забой-то над головой. И я не раз забегал туда посмотреть на работы. Всё было обычно. Только бурили вверх. После взрыв кучу угля смывали, клали звенья сруба до целика, снова бурили, взрывали, смывали, крепили. В очередной раз в ночной смене после взрыва я забрался на кучу обвалившегося угля, породы, земли, задрал голову и увидел дыру, а в ней – чёрное небо и звёзды. В эту ночь выбились на поверхность.

Устье шурфа основательно закрепили. К борту приколотили стремянку. Свердлов днём выбрался по ней из шурфа. Выбились мы, он сказал, на склоне сопки в тайге; он не поленился пройти к тем местам, где мы камеры погасили, и увидел провалы. Я загорелся желанием самому на всё посмотреть и, выкроив время, отправился в шахту.

По лестнице я выбрался из шурфа, огляделся. В самом деле, вокруг меня были пихты и никаких признаков жизни. Снег лежал белый, не запылённый. Солнце ярко светило. Вправо вела цепочка следов, я, ступая след в след, пошагал по ним, угружая в снегу по колена, догадавшись, куда они меня приведут. И точно. След Свердлова вывел меня прямо к провалам. Почва с деревьями провалилась в пустоты – первые камеры мы вымыли дочиستا. Кровля обрушилась, а за ней и поверхность. Да ровненько так опустилась: квадратами со стороной метров в десять-пятнадцать. Стенки этих ям словно ножом чётко обрезало. Удивительно: яма, провал, а в ней снег, из него вверх пихты торчат, ровненько, только у краёв слегка покривились.



Рис. 20. Дивный, сказочный мир Томусы

... Ну, скажу я вам, и вид открывался отсюда! В беспредельность и в бесконечность. Гряды, гряды сопки одна за другой без конца и без края. Нет, край всё же был, но отчаянно далеко. На горизонте, километров за двести, возвышаясь, белизной и бликами солнца сияла вершина Белухи. Дикий край. Грандиозная тишина. □



Рис. 21. Трёхглавая вершина Белухи

... уже летом я снова ходил к нашим провалам. То же самое. Только не было снега, зеленела трава, в ней горели "жарки" – цветы густого жёлтого цвета, ближе даже, пожалуй, к оранжевому. Гряды сопок тоже были бесснежны, вблизи – различимо оцетинились пихтами, кедрами, вдаль – уходили слитно тёмно-зелёными валами, ну а за всеми за ними – Белуха, как и зимой, ослепительно белоснежная.

Я решил и налево сходить, и вышел на срезанный склон. Там заброшенно высилась высокая квадратная башня из красного кирпича, к ней наклонно поднимались ажурные ржавые фермы транспортных галерей без транспортёров. Под землю уходили стальные трубы диаметром около метра. Это был комплекс для добычи камня, песка и закладки их в шахту, в выработанное пространство. Первоначально так проектировали: слоями обрабатывать снизу, а в выработанное пространство закладывать и заиливать. Так и построили. А потом Плешакову удалось протолкнуть свой проект обрушения. А всё выстроенное забросили, не испробовав. А ещё неизвестно, что лучше. Вся Германия работала в то время с закладкой. И, возможно, производительность была бы выше, если бы те же "Донбассы" ползли не под зыбкой кровлей под затяжками, а под массивом угля.

Вот так. Безумное расточительство! Миллиарды рублей, несчётно труда. И так на каждом углу. Взять хотя бы наши камеры по проекту! Или заброшенную железную дорогу из ниоткуда и в никуда у Томи! Фермы, блоки, столбы, котлованы... Да какая же экономика выдержит это хозяйственное распутство, какая страна?!

... При всей бесшабашности я по натуре хозяин. Если бы мне дали объект, я из него бы сделал конфетку при минимальных затратах и при наибольшей отдаче для людей, для страны. Но никому это было не нужно...

... отвлекаясь от дум своих грустных, я взглянул ещё раз на Белуху – красавицу, повернул и спустился в шурф, в подземную черноту.

... К нам на участок на преддипломную практику прибыл студент-пятикурсник Огнёв. С горного факультета Сибирского металлургического института. А у нас кто-то из мастеров в январе взял отпуск, и мы временно приняли Огнева на место горного мастера. Ну, скажу вам, и фруктом оказался этот Огнёв. Я таких нахалов сроду не видел. Ни черта тонкостей наших не зная, он с первых дней начал мною со Свердловым руководить, пытался указывать, что надо делать. Да было бы, где указывать! В принципе горным мастером, да что там мелочиться – начальником участка, – не раз говаривал я, – может быть любой председатель колхоза, любой мало-мало грамотный человек. Лишь бы кто-то паспорта крепления, буровзрывных работ, управления кровлей ему разработал и выдал. Никаких ему знаний не нужно, был бы на участке хороший механик. Свердлов по этому поводу выражался иначе, но, в сущности, ту же мысль проводил: «Горная наука по точности стоит на втором месте после богословия». Всё это так. Но всё же кое-что надо и знать. Огнёв, конечно, не Изя, да и не требовалось от него ничего, кроме того, как следить, чтобы стойки крепления на нужном расстоянии друг от друга ставили, да уметь замерить, сколько метров прошли, и ещё передать на наряд состояние камер. Тем не менее, он совал всюду нос, что само по себе даже похвально – для того и практику у нас проходил – но при этом держал себя вызывающе. Много раз мне хотелось поставить на место этого распоясавшегося молодчика, но, глядя на Свердлова, а Огнёв формально ему подчинялся, глядя, как Свердлов невозмутимо внимал безапелляционным благоглупостям Огнева, не принимая в расчёт ничего из его болтовни, я сдерживался, напуская на себя столь же невозмутимый вид человека, равнодушного к глупостям: «Чёрт с тобой! Мели, Емеля – твоя неделя».

«Но какой же наглый характер, – не переставал я удивляться, – далеко может пойти».

... слишком далеко он не пошёл, но к Мучнику примазался, кандидатскую диссертацию защитил и работал научным сотрудником в Институте горного дела Сибирского отделения Академии Наук СССР, когда Мучник туда перебрался, снятый с директорства в семидесятых годах: не ладил с министром. Вернее, министр не ладил с гидродобычей. Ну, коль её у нас, где для неё идеальные условия были, довели до ручки с благословения Мучника, то поневоле с ней не заладишь.

Обо всём этом я узнал совершенно случайно в восьмидесятом году, когда в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минуглепрома СССР просматривал журналы "ЭКО" Сибирского отделения Академии Наук. От угольных дел я давно отошёл, и не они интересовали меня, а главным образом экономика производства, но вдруг натолкнулся на серию резких статей в защиту гидродобычи, которая после взлёта на рубеже шестидесятых годов совсем захирела. Статьи были разносные, и разносили они не мелкую сошку, а самого министра угля Братченко. Его уличали во лжи, в невыполнении обещаний, в срыве постановлений партии и правительства. Статьи были подписаны Огневым, инициалы совпадали, а знание проблем технологии подтверждало, что это был наш практикант.

Поскольку Братченко был ставленником Леонида Брежнева, то, зная досконально о нравах в нашей партии, я сделал вывод, что министр попал в немилость, дни его сочтены, что сверху дали добро на "огонь по этому штабу".

Каково было моё изумление, что после таких погромных статей Братченко и пальцем не тронули. Залп прогремел вхолостую. Как могло случиться такое в те время. Как пропустил цензор в печать эти статьи? Невероятно! Но факт.

... В феврале у нас начались серьёзные неприятности.

Иду вечером в десятом часу на работу и, перейдя мост, вижу в темноте суматоху у колодца водозабора: горит костёр, в свете его теньями мельтешат человеческие фигуры. Спускаюсь с насыпи, подхожу, а там весь участок, то есть смена, конечно, и распоряжается Свердлов. Увидев меня, говорит:

– Участок две смены стоит. Нет насосам воды. Не можем поднять тарелку клапана на водозаборе. Видно, заилило.

... иногда, когда насосы стояли, и не было большого притока шламовых вод, закрывали тарельчатый клапан, чтобы зря реку не загрязнять. Совесть всё же была. Прорезывалась...

Я вхожу в круглую железобетонную будку над колодцем водозабора, кладу руки на штурвал винта, связанного штоком с тарелкой. Вращая его, мы поднимаем и опускаем тарелку, открывая доступ воды из реки или перекрывая его.

... на сей раз штурвал – ни туда, ни сюда. Тут ясно: закрыто. Тарелка села на клапан. А на неё, видно, столько легло угольной мелочи, что винту груз не осилить, да ведь и не груз только один, а и вязкость сопредельного шлама.

– Уже всё перепробовали, – посвящает Свердлов меня. – И концом длинной трубы пытались сгрести шлам с тарелки, и лопатами воду раскручивали в колодце, вихрем надеялись шлам взмутить, во взвешенное состояние его привести и тарелку поднять. Всё без толку. Я вот у горноспасателей выпросил легководолазный костюм, сейчас (назвал имя слесаря) наденет его и полезет узнать, в чём там дело.

Увы, костюм оказался слишком узок для слесаря. Названный слесарь не смог в него влезть, да и никто влезть не смог ни из слесарей, ни из горнорабочих. Все были мужчинами плотными, да и ещё в ватных брюках и стёганках – не полезешь же голый в резине в январскую воду?!

... в общем, все перепробовали – никто не залез.

– Ну что ж, – сказал я, – дайте и мне попытаться.

Я переделся в насосной в ватную робу и в сапоги, ребята растянули водолазный костюм. Через раструб – широкую резиновую трубу в области живота – я всунул ноги в резиновых сапогах, просунул в штанины костюма. Затем тем же путём, только вверх, продел руки в рукава резинового скафандра, резина запястья плотно стянула. Дальше мне помогли на голову натянуть круглый шлем – костюм мне подошёл. Я оказался самым изящным. При росте метр семьдесят восемь я весил пятьдесят три килограмма. Сам не пойму, как душа в таком теле держалась!

И вот я в костюме. Перед глазами – стекло, против рта – дырка, через неё и дышу. На животе раструб раскрыт. Ну, его быстро скрутили в жгут и перевязали верёвкой. Подтащили баллон с кислородом, шланг от него всунули в дырочку перед ртом и чуть приоткрыли вентиль редуктора. Я вдохнул струю кислорода и... задохнулся. Не смог

выдохнуть. Напор струи был слишком велик. Выдернув шланг, я попросил уменьшить давление. В два приёма его под дыхание подогнали.

Меня опоясали ремнём с аккумулятором лампы, перевязали грудь, пропустив верёвку подмышками, чтобы за концы верёвки меня можно было тащить. Для страховки ещё две верёвки привязали к ремню. Договорились и о сигналах. Дёрну раз за верёвку – спуск. Три частых рывка – быстрый подъём.

Снова всунули шланг в отверстие шлема. Дышалось нормально, легко. Плохо только, шланг никак не крепился, не очень надёжно держался в отверстии. Я его просунул поглубже, чтобы не выскочил – возникло другое неудобство: конец жёсткого шланга упёрся мне в челюсть под носом над верхней губой. Больно давил. «Ничего, – думаю, – потерплю».

В этом снаряжении, с включённой шахтёрской лампой в руках вступил я в будку, развернулся и по лестнице, сваренной из арматурных прутьев, стал опускаться в колодец. Достиг уровня чёрной воды, погружаюсь в неё с головой и понимаю, лампа мне ни к чему. Света её я перед глазами не вижу – абсолютная тьма. Так плотна муть чёрного шлама в воде... Всё придётся делать на ощупь. Тут я ощутил, что сделал большую ошибку, не надев рукавиц. Руки ломит от нестерпимо холодной воды. Дико ломит, но пока что терплю. Придерживаясь одной рукою за шток, я продолжаю спуск вниз... И – осечка! Костюм раздулся, и я, как пузырь, не могу опуститься. Вода выталкивает меня вверх. Вспоминаю, в детстве читал, что в легководолазных костюмах есть в шлеме клапан вверх, на него надо затылком давить, чтобы стравливать воздух. Я об этом забыл, а теперь мой затылок до верха раздувшегося шлема не достаёт. Но я пытаюсь бороться. Хватаясь за нижние поперечины лестницы, пытаюсь усилием рук опустить своё тело... Тщетно. Поступающий кислород вместе с выдыхаемой углекислотой распирают меня сильнее, сильнее – я готов пробкой вылететь вверх. Дёргаю за верёвку три раза, наверху едва успевают выбирать верёвку, так выносит меня подъёмная сила, хотя я и притормаживаю подъём, цепляясь за перекладины лестницы...

Вот я наверху, Знаками я прошу отстегнуть ненужный аккумулятор, который только мешает, и спустить мне на верёвке какой-нибудь груз. Как ни странно, меня понимают мгновенно. Секунда... и ко мне на верёвке спускают стальную болванку. Я пропускаю её между ног, зажимаю коленями, и камнем опускаюсь на дно. Только

теперь в полной мере чувствую непомерность ноющей боли в кистях рук, высунутых из манжет скафандровых рукавов – вот, дурак, за-был попросить рукавицы! И совсем нестерпима боль от шланга под носом, похоже, он кожу уже до кости пропорол.

... однако – "взялся за гуж – ...".

Терплю и пытаюсь под штоком нащупать тарелку. Но её нет. Шток уходит в плотно слежавшийся шлам. Я руками разгребаю его, пытаюсь добраться до клапана, но убеждаюсь в бесполезности этих усилий. Края ямки, что удаётся мне выкопать, мигом и оплывают. Ничего не выходит.

Дёргаю за верёвку три раза, хотя тащить меня и не надо, по лестнице выбираюсь из колодца и выдёргиваю ненавистный мне шланг. Боль под носом стихает.

Я минуту раздумываю. Может быть, стоит натянуть рукавицы, взять лопату и взмутить ею шлам над тарелкой в то время, как верху будут крутить штурвал в попытке выдернуть её из засосавшего шлама. Но мысль тут же отбрасываю – не выйдет у меня ничего, не мог же руками до тарелки добраться. Слишком толстым был слой угольной мелочи, не взмутить мне её – и если бы в воде не оплывала она.

А может быть стоит попробовать – вдруг повезёт! Но, вспомнив о немислимой боли под носом, лишуюсь всякого мужества: «А ну его к чёрту! Всё равно это надолго нас не спасёт. Нужны радикальные меры».

... Мне развязывают живот, вытягивают меня из костюма, и я рассказываю о том, что нащупал в колодце.

... посоветовавшись, решаем, что ничего мы ночью не сделаем, что "утро вечера мудрёнее", и расходимся по домам.

... К утру собираемся в кабинете. Приходит на наряд Буравлёв. С усмешкой ко мне:

– Ты тут, говорят, геройские поступки совершаешь! Что же клапан-то не открыл?

Я от злости молчу: – «Сам полез бы, открыл».

... Муза Александровна, узнав, что я дышал из баллона с кислородом для бензорежа, ахнула:

– Володя, ты мог отравиться! Так же нельзя. Технический кислород не очищен, в нём могут быть ядовитые примеси.

А я об этом не знал. И не думал. Кислородные баллоны все на вид одинаковы, что технические, что медицинские. Но раз так, то надо бы для отличия на технический кислород наносить жёлтую риску, что

значит: «Внимание!» – но у нас всегда через пень колоду всё делается. Слава Богу, мне повезло. Мой кислород не был отравлен.

... а на наряде Буравлёв принимает решение немедленно изготовить гидроэлеватор (эжектор) для очистки колодца. Быков, новый механик, чертит эскиз, резчик и сварщик принимаются за работу. Вместо сопла ставим насадку. Через два часа элеватор готов. Опускаем шланг, по которому шлам должен всасываться в устройство, где эжектор создаёт разрежение, – дальше шлам будет гнаться струёй. Мутим воду в колодце, как можем, на минутку (на остатках в трубах воды) запускаем насос. Вода хлещет из напорного патрубка элеватора в котлован (вот для чего его рыли), но шлама в ней нет, вода совершенно прозрачна. Элеватор не работает – не сосёт. Мы и насадки меняли, делая толще, тоньше струю. Проку не было никакого, нужен был точный расчёт. Быков сделать его не умел. А участок стоял. Пришлось спешно звонить Мучнику, просить прислать Мулина, бывшего главного механика "Полысаевской-Северной", работавшего у него в институте.

На другой день приехал Мулин, сделал расчёт, набросал эскиз. Сварщик начал готовить новый эжектор.

... а участок третьи сутки стоит.

В конце концов, элеватор готов. Подсоединяем его к водоводу, даём на сопло под высоким давлением воду и... ура! Из напорного шланга в котлован бьёт струя густой чёрной суспензии, в колодце уровень воды стремительно понижается. И штурвал закрутился, и шток по резьбе вверх пошёл, за собой потянул и тарелку, открывая клапан, а с ним и доступ речной свежей воды. Гидрокомплекс оживает.

Ай, да Мулин! Каков молодец! Вот что значит – специалист. Качать его! Но он ускользает. А Быкову – грош цена.

Через неделю снабженцы привозят небольшой шламовый насос, мы ставим его у колодца, и отныне в обязанности механика Быкова входит по утрам в воскресенье чистить колодец от шлама, что осел за неделю. Входит-то, входит, а зачастую занимаюсь очисткою я. Не я персонально – слесари, машинисты, но я организую и контролирую. Почему так случилось – потом.

Из-за трёхдневного простоя мы не сумели выполнить месячный план в феврале. Премии нет. В марте план выполняем, но должок за февраль не погашен. Премии нет. Сукин сын, этот Никита! Не причём здесь Никита – всё Буравлёв!

... С марта сыплются неприятности одна за другой. Молодцы из насосной после остановки насоса, забыли на ночь выпустить воду из трёхкилометровой трубы. За ночь став прихватило морозцем, мы лишились одного водовода. Не смертельно пока, перешли на резервный, но и там может случиться порыв или какая-нибудь чертовщина. Правда, к осени на водоводах порывы труб прекратились – видно слабые места мы в них залатали. Но можно ли поручиться, что все?..

Размораживать став – моя прямая обязанность. За поверхность я отвечаю. Начинаю, естественно, сверху – там участок открытый, там просто. Бензорез вырезает окошко в трубе. Чуть повыше по склону под трубою разводим костёр, а на него – покрывку от МАЗа. Горит долго и жарко. Лёд тает в трубе, и водою стекает в окошко. Так спускаемся ниже и ниже, режем трубы, зажигаем костры.

Хуже дело там, где трубы уходят в землю, в траншею. Земляная защита не помогла, вода в трубе и под нею замёрзла, а до трубы добраться непросто: тут надо мёрзлую глину отогреть и долбить, рыть глубокий колодец – ниже трубы на полметра – и там резать окошечки и костры разводить. Дело то же, но усилий стоит каких?!

Доползаем по склону до Ольжераса, где за ним на промплощадке стоит котельная. Тут, решаю, костры не нужны, раз пар рядом есть. Договариваюсь в котельной с начальником, тянем шланг от неё и – в окошко. Перегретый пар хлещет из шланга, вмиг съедает лёд перед собой, и мы проталкиваем шланг в трубу всё дальше и дальше. Тут ни ям, ни лишних окошек не надо. На десятки метров шланг влезает в трубу. Триста метров льда на этом участке растопили за пару часов. А внизу, за рекой Ольжерас, на самой промплощадке льда в трубе нет. Оно и понятно. Время летних порывов ещё показало, что здесь жар под землёй. Раскалённый докрасна шлак. Часть площадки у берега Ольжераса отсыпалась шахтной породой, а в ней было немало угля. Уголь, медленно окисляясь при слабом доступе кислорода из воздуха, разогревался до красного каления и "горел" годами без отвода тепла под прикрытием толстого слоя рыхлого шлака. Точно так, как горят терриконы. Тут вода и в лютый мороз не замёрзнет.

... трубопровод был чист, льда нигде не осталось. Мы быстро наложили заплатки на все окошечки и качнули воду насосом. Вода в шахту дошла, стрелка манометра поднялась и победно держалась. То, на что отводился месяц расчётами Буравлёва, мы успели за четверо суток, правда, спали урывками, тут же на шахте.

Утром я доложил Буравлёву:

– Водовод к работе готов.

И услышал в ответ без обычной ироничной усмешки:

– Молодцы! Тебя к ордену представлять надо!

– Что ж меня? Надо всех...

... к ордену меня не представили.

За что? Обычная наша работа. Рутинная...

На какое-то время жизнь вошла в колею: наряды, обходы углесосной, насосной, отстойников, в чём особой надобности и не было. Мог бы и дома сидеть, если бы не надобно было в ламповой пятнадцать раз отмечаться, – вызвали бы при острой нужде. Может быть, потому и полюбил в ночные смены ходить. В двенадцатом часу ночи уедешь с рабочими на машине, заглянешь в углесосную в шахте, всё ли у ребят там в порядке, и – на волю, вниз, на отстойники. Если ветер, буран – спускаясь внутри пыльной цепи галерей рядом с лентами, несущими уголь, по ступеням у бункеров, где пылица угольная – не продохнуть. Зато не холодно. Жарко. По стене – толстая труба с огненным паром. Если на воле покойно – идёшь по морозцу то по ставу, то тропиночкой среди облетевших кустов вкусной летом малины.

... ночь тиха. Между чёрными свечками пихт снег бледно лежит по обе стороны балки. Вдали впереди – промплощадка, освещённая смутно, силуэты неясных зданий, кое-где на них пятна жёлтых окон. А над всем висают кудри белого пара из фабричной трубы. Но это вдали теплится жизнь, здесь, окрест – ни души. Темень. Белый снег скрипит на тропинке. Небо чёрное в крупных и ярких звёздах, как на юге, на Кубани, в Крыму. Вокруг них россыпи малых звёзд, неразличимых почти, сливающихся в сплошные туманности.

А когда царствует в небе луна – всё безмолвие разом превращается в сказку. Склоны гор струятся зеленовато-серебряным светом, и долина затоплена ледяным серебром. Лёд замёрзшей реки тускло манит далёкой дорогой, пролётшей сквозь холмы и леса. Нет, не мне красоту лунной ночи писать, лучше Пушкина, Бунина, Стендаля, Бальзака, Гюго её не опишешь... Только чудно раскрыты глаза на это сказочно неземное пространство, и во всём своём существе ощущаешь красоту, радость, мир и покой. И счастье. Не есть ли счастье само в созерцании неопишуемой красоты?

... Ольжерас минуя всегда в галерее. Лёд здесь тонок, местами чернеет, струится, вода – тёплый ручей стекает из штольни нижнего горизонта.

... отстойники рядом. В жестяном от мороза брезентовом шахтном костюме вхожу в жаркое помещение. Свет здесь тусклый, но тепло и уютно. По-домашнему ровно урчит углесос, выполняя работу. Щёлкают выстрелы отопления, заставляя непривычного вздрагивать, но я к ним привык.

... Поздоровавшись с машинистами:

– Всё нормально, ребята?

– Всё, Владимир Стефанович, – я поднимаюсь по лестнице вверх, где под крышей вид на бассейны. На площадке в правом углу – ВЧП с паровым калорифером (верх отстойников трубами не отапливается), рядом лежат сухие доски, заготовленные мною давно. Расстилаю их в пяти метрах впереди вентилятора, снимаю резиновые сапоги, раздеваюсь, отсыревшую брезентуху (куртку, брюки) – оттаяла быстро в тепле – и сырые портянки вешаю на жутко горячие трубы у калорифера и включаю вентилятор. Бьёт струя горячего воздуха. Я под неё на доски ложусь в своём лёгком х/б и в горячем потоке под гул вентилятора засыпаю мгновенно.

... Без пятнадцати шесть, отдохнувший, в сухой, хранящей жар, робе я появляюсь в мойке, переодеваюсь и иду на наряд.

... иногда маршрут мой меняется. Я сначала спускаюсь к насосной, а потом иду на отстойники, в шахту не уезжая, но от этого суть не меняется. Всё работает ровно, спокойно.

... однажды на отстойниках не застаю машинистов внизу, в углесосной. Углесос работает, и пульпа из второго отсека из нижней трубы хлещет в канал, в котором в центре колодец пульпозабора. В этом, в общем-то, нет ничего необычного. Значит, оба вверх поднялись, уголь там размывают, хотя и один всегда с этим справляется. Поднимаюсь и я, вижу: оба на балке у монитора. Один, мокрый, – в чёрной угольной грязи с головы и до ног – возится со стволом монитора. Второй, сухой, ему помогает, ствол поддерживает. Я подхожу:

– Что случилось?

Сухой мне отвечает:

– Да вот (называет фамилию) подсоединял ствол к монитору, да и выронил, и с ним вместе свалился в отсек, вниз, в пульпу, которую к углесосу пустили.

Ствол, улетаая вниз, угодил насадкой ему прямо в карман куртки, ну, натурально, и его за собой потянул. Хорошо хоть второй человек рядом был и помог выбраться из отсека.

... а в стволе том пуда два, между прочим. С таким грузом нехитро в пульпе и утонуть. Вот была бы история! И кто бы ответил? Проектировщики, что на балках не предусмотрели ограждения, или мы, что ограждения не поставили. Предупреждаю, чтобы работали поосторожней. Я отсылаю обоих вниз помыться чистой водой и развесить одежду на трубы, а сам принимаюсь струёй монитора размывать "склон" под углом осевшего угля. Минут через пять мой "утопленник" возвращается, чистый и одетый в сухие фуфайку и ватные брюки, что хранятся на случай для наружных работ. Ещё раз внушаю ему, чтобы один над отсеком никогда ничего не делал, передаю ему "управление" монитором и отправляюсь спать на своё место у вентилятора.

... неприятнейший на отстойниках случай у меня был летом прошлого года. Раз, тоже ночью, прихожу на отстойники – там дежурил Моторин, молоденький машинист, уголь в ту смену мы на фабрику не качали, – открываю дверь, ступаю через порог и... плюхаюсь ногой в воду на верхней ступеньке лестницы-спуска в машинное отделение. Оно всё залито водой, только верхушки моторов и углесосов над ровной поверхностью высятся. Вода залила и ступеньки, ведущие в помещение высоковольтной подстанции, и подбирается там к щели под дверью в подстанцию.

... первая мысль: «Где машинист?» Что есть силы кричу:
– Мото-о-рин!

В ответ мне ни звука. И сразу тревога: «Что могло тут случиться? Уж не утоп ли?»

Пробираюсь в подстанцию, черпая воду высокими резиновыми сапогами. Распахиваю дверь и вижу: Моторин клубочком лежит на фуфаечке на полу жаркой подстанции и сладко посапывает. Спит сном праведника, негодник. Я – к нему, левой рукой вздёрнул его за шиворот перед лицом своим, как котёнка, да как влеплю ему по уху правой рукой.

– Что же ты, сукин сын, делаешь! – кричу я ему: – Ещё чуть и подстанцию залило бы, и тебя разрядом убило!

... после затрещины я остываю. Моторин проснулся, виновато молчит. Ну что с него взять! Сосунок! Зря я его так ударил. В первый раз на человека руку поднял. И на кого, на рабочего! Не сдержался. Пережил, испугался, что парень пропал. И сгоряча выместил зло. Неприятно... Но о позорном поступке некогда размышлять, надо спасать положение. Пробираюсь к насосу для откачки воды. Он

включён (автоматика... ясно!). Крутится тихо, исправно, но вхолостую: вода прибывает, выходит, он не сосёт. Надо проверить храпок на всасывающем шланге. Но до него рукой не дотянешься – он ниже пола, в колодце. Делать нечего, плюхаюсь лицом в чёрную воду, шарю рукой. Так и есть. Храпок облеплен мелкой щепой. Все дырочки с боков перекрыты, и отверстие внизу щепкой заткнуто. Отдираю присосавшиеся щепки и выбрасываю наверх. Моторин их на плаву подбирает. Всас очищен... моторчик насосика загудел под нагрузкой. Уровень воды на глазах понижается: по стенкам, по полюсе отмокшей штукатурки на них это сразу заметно.

Полчаса – и пол углесосной свободен, только лужицы между фундаментами, на которых углесосы стоят. Но обмотки моторов замочены. Двигатели наверняка выведены из строя, включать их нельзя. Категорически предупреждаю Моторина и, умывшись, ухожу вверх сушиться и спать.

Утром с Мальшевым прозваниваем двигатели всех углесосов. Всё верно, изоляция проводов отсырела, сопротивление её току близко к нулю. При включении короткое замыкание неминуемо. Я удручён. Сумеют ли снабженцы быстро достать новые двигатели. Два дня мы продержимся без откачки – два отсека пусты, уголь примут, а дальше?

Мальшев, видя моё состояние, утешает:

– Не горюй, Владимир Стефанович, завтра всё будет в ажуре. За сутки изоляцию высушим.

Он распоряжается притащить сварочный аппарат (а это ведь, в сущности, трансформатор), устанавливает его на режим наибольшего тока и подсоединяет к обмоткам моторов.

Положив руку на корпус двигателя, чувствую, как он теплеет. Вскоре от обоих поднимается сухой редкий пар. Двигатели стоят сутки под током. Снова замеряем сопротивление изоляции. Оно – бесконечность. Всё. Можно работать.

Так было в прошлом году. Сейчас Виталия нет, и немного грустно от этого. Всё идёт прахом.

... В эту зиму миловидная высокая, похожая на казачку, крепко сбитая медсестра из здравпункта положила глаз на меня: «Что вы, Владимир Стефанович, бледный такой? А у нас есть солярий. Заходите, я быстро загар на вас наведу». Разумеется, я с удовольствием согласился. Моё слишком белое тело самому мне не нравилось.

... и теперь, помывшись после смены, почти каждый день я захожу в кабинет, до трусов раздеваюсь и становлюсь перед "соллюксом" – мощной ультрафиолетовой лампой. Зоя даёт мне синие очки и включает эту самую лампу. Комнату наполняет резкий запах озона, не очень приятный, а я подставляю лучам свою кожу спереди, сзади, с боков. На минуту сначала, потом на две, три, четыре и так до пятнадцати.

Через месяц я смугл, как приехавший летом с Чёрного моря. Знакомые, не выдавшие меня больше месяца, с удивлением спрашивают: «Володя, ты что, с курорта вернулся? Был наверно в Сухуми?» Я улыбаюсь, не подтверждая, но и не опровергая этих предположений.

А с Зоей у меня начал завязываться не роман, но нечто такое... такое... В общем, стал я к ней домой заходить. Была у неё однокомнатная квартирка, чуть поменьше моей. Комната в кружевных занавесочках, вышивках и над всем господствовала стоящая в центре кровать. Огромнейшая, двуспальная, пышная. Эта кровать призывно манила.

... Поначалу мы баловались безвинно, я её обнимал, потом стал целовать. И от этого баловства кровь вскипала, вскипала, и в один из таких вечеров я Зою повалил на кровать. Стал её помогать... и я думаю, что она б отдалась, если бы я пообещал ей жениться. Но вот этого обещать я не мог. Брать обманом никогда никого не хотел, а женится я мог лишь по любви, не иначе. А любви к ней и не было у меня. Мне нравилось её целовать, обнимать и зайти хотелось подалее. Вожделение жгло. Но желание обладать – не любовь, и поэтому Зоя слов желанных от меня не дождалась, и попытки мои снять с неё трусики отразила железным переплетением ног. Я не мог их расплести, как не старался. Физически Зоя была намного сильнее меня – я вообще-то слабак, только ноги выносливы, но и они отнюдь не сильны. Так что Зоя легко справлялась с моими поползновениями. Вообще могла бы отшвырнуть меня, как котёнка. Но ей нравилась эта игра, мы подолгу сражались, распалённые, раскрасневшиеся, пока я, обессилев вконец, не прекращал все старания.

Но всему есть предел. После нескольких неудачных попыток, оконфуженный я перестал к ней и домой заходить, и в здравпункт больше к ней не заглядывал.

... загар очень скоро сошёл, я вернулся в прежнее состояние. Зоя же, спустя месяца три, вышла замуж за нашего Можаровского, от чего наши приятельские с ней отношения не нарушились. Она оставалась мила и любезна со мною, если нам приходилось нос к носу столкнуться.

... как только загар мой исчез, весь линейный надзор нашей шахты призвали в здравпункт. Благо зал был приличных размеров – все в нём поместились. Проходил всеобщий и необычный медицинский осмотр, посложней, чем в школе у допризывников.

Кроме обычных в таких случаях процедур (пульс, давление, стетоскоп) предлагали отжимать силомер правой и левой рукой, дуть через резиновую трубку в никелированный объёмный цилиндр, причём из большого цилиндра начинал выдвигаться второй, поменьше, с рисками на боку. Объём лёгких измеряли, понятно. И ещё целый ряд действий производили над нами. Но совсем необычным, чего никогда в жизни ещё и уже не встречалось, было вот что. Нас поочерёдно усаживали на стул, просили закрыть рот, плотно сжать губы, сделать вдох через нос и спокойно выдохнуть воздух. По окончании выдоха зажимали нос прищепкой с резиновыми прокладками и жали кнопку секундомера. Рядом с сестрой стоял врач и записывал, кто, сколько выдержит без дыхания.

... пришла очередь, я уселся на стул. Медсестра мой нос защемила, и стрелка секундомера, видная мне, пошла по кругу. Когда она обошла полный круг, врач стал пристально вглядываться в меня, а ещё через тридцать секунд молча, взмахом руки стал подзывать своих коллег. Те сгрудились вокруг, я испытывал затруднения, но держался, глядя, как нестерпимо медленно завершает стрелка секундомера свой второй оборот. Жар хлынул мне в голову, но я терпел. Вот стрелка и верхнюю риску пересекла, я ещё пару секунд с усилием выдержал для того, чтобы результат не был оспорен, и, сорвав с носа зажим, вдохнул полную грудью.

– Две минуты, – сказал врач восхищённо и утратил ко мне интерес. Лишь миг наслаждался я своею физической победою над всеми нашими крепышами. Никто не выдержал и минуты.

... На участке всеми документами по-прежнему заведовал я. Вёл книги учёта замеров, кто сколько метров прошёл и сколько есть метров резервных, никем не пройденных, чтобы потом проходчикам их добавлять пропорционально их действительной выработке и добросовестному отношению к делу. Как-то не успев днём завершить все дела, я занялся бумагами на вечернем наряде. Наряд давал Свердлов, он сидел за столом посредине, я за столом примостился на лавке с торца. Перед столом стоял Паршин, проходчик, и препирался со Свердловым. Я, склонившись над журналом учёта и рассчитывая проходку за месяц, в разговор их не вслушивался. Паршин вдруг отошёл от стола и подошёл ко мне справа сбоку.

– Вы мне заработок прибавьте, – нагло сказал он, обратившись ко мне.

Я глаза поднял на него удивлённо:

– С чего бы это вдруг?

– Мне этого мало.

– Вы больше не заработали, вот ваши метры.

– Нет, вы добавьте... (он, кажется, сумму даже назвал).

– С какой это стати я буду больше платить, чем вы работали?! – с раздражением сказал я и только тут ощутил, что от него несёт перегаром, что он попросту пьян.

Паршин не отставал и настаивал.

– Идите, проспите, – сказал я. – Завтра, на свежую голову, поговорим.

... я и мигнуть не успел – скулу обожгло болью. Это Паршин обрушил мне на лицо свой тяжёлый кулак. К счастью, в этот момент я голову от него отвернул, склоняясь к бумагам, и удар прошёл вскользь – быть бы иначе мне в жестоком нокауте. Но и мысль ещё не успела скользнуть – только боль, как рука Свердлова в броске метнулась перед глазами. Он вскочил и ударом руки через стол прямо в челюсть – и удар страшен был – опрокинул Паршина навзничь так, что тот, пролетев через весь кабинет, выбил дверь, вылетел в коридор, там шмякнулся на пол, вскочил и исчез.

Тут же Свердлов в милицию позвонил. Я сходу написал заявление, которое один из рабочих забрал, чтобы завтра утром в милицию отнести.

... утром мне из милиции позвонили, сообщили, что по заявлению моему завели уголовное дело.

Трезвый Паршин на наряде утром не появился. Днём он подослал своих представителей с просьбой забрать заявление. Я наотрез отказался. Я бы любую обиду простил, но в морду бить себя безнаказанно не позволю. Исповедуя заповеди Христа, я с одной категорически не согласен. Если бьют меня по правой скуле, то с какой стати я должен ещё и левую подставлять?

... Паршин, не рассчитавшись, с шахты пропал, как и из города тоже.

... Когда в марте, ближе к апрелю, кататься на лыжах стало совсем невозможно – снег был влажным, сырым – на меня нашло новое увлечение: настольный теннис, пинг-понг. Я ещё осенью купил в Москве

полный набор для игры: сетку, ракетки, мячи-шарики, но всю зиму он пролежал без движения. А сейчас вот вспыхнул к нему интерес.

... не без помощи наших товарищей, Миши Китунина и Григория Тростенцова, ставших во главе Томского ШСУ, в кирпичной коробке строящегося здания городского узла связи строители временно соединили три комнаты в зал, настлали пол, оштукатурили стены и поставили теннисный стол.

Я игроком был азартным и в игре не знал утомления. Я упивался радостью от мгновенных бросков, от удачных ударов ракеткой, стремительно через сетку посылающих шарик. Взятый трудный мяч наполнял меня счастьем, как и точный скользящий удар по нему, закрутивший его, отчего он летел не туда, куда думал соперник и парировать который не мог.

Такой же азартной была и Августа Сухарева, и хирург Закурдаев тоже бывший непременным участником игр. Люся Сухарева играла реже, Гена и Изя почти никогда. Изредка в зал заглядывал Свердлов, но не играл.

... С нашей лёгкой руки настольный теннис входил в моду среди наших знакомых. И на шахте в раскомандировочном зале у глухой стены появился теннисный стол. Но на шахте редко играли. Хотя раз или два Августа приходила сразиться со мной. Всё же шахта была в стороне, на отшибе.

... В марте совершенно неожиданно и без особого повода у меня случилась резкая стычка с Крыловым. После ночного наряда и планёрки в кабинете Крылова, он задержал меня, когда все расходились. Не было никого из линейных начальников, только в первом ряду оставались два главных: механик шахты и энергетик.

Я подошёл к главному инженеру и, опёршись рукою об угол стола, стал отвечать на его вопросы. Он был недоволен. Чем? – не помню. Я держался с достоинством, не лебезил, как иные, говорил, очевидно, не очень почтительно.

Это вызвало сильнейшее возбуждение в главном механике. Он вдавился в спинку сиденья и замахал на меня руками:

– Платонов! Ты как перед главным инженером стоишь?!

Я оторвал ладонь от стола, выпрямился:

– А что? Как я обязан стоять? Не по стойке ли смирно? Но я не в роте... – Слова о роте сорвались с языка невзначай. Не я их придумал. Просто недавно от рабочих слышал, и хотя они не ко мне относились,

а употребились в рассказе, но фраза эта мне весьма не понравилась. Солдафонство какое-то плоское. И вот нате же – сам такое сказал.

Эти слова взорвали Крылова:

– Платонов, ты что себе позволяешь! Я же могу стереть тебя в порошок.

Тут уже бешенство мной овладело, но я сдержался, поняв, что кричать неуместно, невыгодно. Я внешне спокойно и холодно отпарировал:

– А что, собственно, вы мне можете сделать?! Место помощника начальника участка я в Союзе найду как-нибудь. И потом, почему вы мне тычете? Я ведь к вам обращаюсь на вы.

Крылов промолчал, подавив вспышку гнева.

На этом наш разговор и закончился. Однако в дальнейшем он учёл мой ответ и на планёрках, обращаясь на ты к начальникам шахтных участков или помощникам их: «Аладышев! Сколько ты дашь во вторую смену?» – он подчёркнуто вежливо спрашивал у меня: «Платонов, а что будет у вас?»

... Что ещё запомнилось в эту переломную зиму и начало весны кроме труб и работы? Вечеринки. Не все – все слились в непрерывную ленту, но одна была неожиданной.

Я получил приглашение на свадьбу людей совершенно мне неизвестных. Может Изя Львович это устроил? Он, живя в общежитии, многих там знал.

... и сижу я на свадьбе то ли в Изином общежитии за столом, то ли в некой квартире, разглядываю невесту. Нет, она совсем не красавица, но лицо привлекательное. Жених? Чёрт его знает – жених как жених, парень крепкий, обыкновенный. Оба, как, впрочем, и все, люди не нашего круга. Люд простецкий. То ли техники, то ли рабочие... и как-то я оказался рядом с невестою, по другую сторону от жениха.

Ну, естественно, все пили изрядно, что ни тост – то стакан водки, и перепились, конечно, (я как раз пил очень умеренно, осторожно), начали выяснять отношения, кулаки замелькали. Драка вспыхнула, как облитый бензином костёр. Кто кого бил и за что, я не понял. Всё смешалось и завертелось. Все вскочили из-за стола и мельтешащим клубком (руки, головы, ноги) выкатились в коридор и на улицу: дело было в комнате первого этажа.

Комната вмиг опустела, в ней лишь я и невеста сидим за столом. А девица высокая, стройная, ладная и лицом после выпивки хороша притягательно. Ну, я её и обнял, и она не противилась, и мы начали с ней целоваться. А приятно невесту вот так целовать, когда

она хороша и шею твою обвивает руками, долго так целовать, без удержу. Но послышался гвалт, мы отпрянули и уселись невинно и чинно, словно так и сидели всё время...

... вот дела-а.

... И ещё. Грянул гром с ясного неба. Николай, с декабря так усердно ухаживавший за Люсей, тоже вдруг – раз, и женился! Но не на ней, на какой-то другой, говорят, молоденькой и смазливой девице. Да, не позавидуешь Сухаревой Людмиле. Жаль её. Для неё какой же удар. Сам подобное пережил. Но меня теперь это всё мало касалось.

... А на грани зимы и весны меня выбрали в комитет комсомола. При распределении ролей в комитете мне достался не сектор печати, как привычно я мог ожидать, а главнейший – производственный сектор, где как раз я не представлял, чем заняться. Это ведь не ученье, не институт. Но совсем не печалился этим, жизнь подскажет – по опыту знал.

... весна вошла в силу. Май, листва и по склонам жарки загорелись, а у нас вновь пошли аварии чередой. Почему-то в насосной машинисты внезапно отключили насос, и машинисты из углесосной не успели промыть пульповод, закачанный пульпой. Уголь в нём и осел, наглухо закупорил его, а по шахтному – забутил. Как и в случае с водоводом сразу перешли на резерв и добычу не прекратили. Но в рабочее состояние пульповод, забученный углём, надо было приводить как можно скорее. Мало ли что со вторым может случиться.

Самым трудным участком и тут оказался тот, что внизу от будки переключения до Ольжераса. Но, конечно, тут было несравненно легче. Пульповод-то весь пролегал на опорах. Снизу сбоку в трубах вырезали окошки и выскребали по кусочку слежавшийся уголь. Так очистили нижнюю часть пульповода и собирались наложить на дырки заплаты, как пришла мне в голову мысль: «А ведь может когда-то и повториться. Что же, резать окошки по-новому?» И я приказал над отверстиями к трубе приварить фланцы быстроразъёмных соединений и все дырки в трубе закрыть заглушками с таким же фланцами, притянув их хомутами, забивая в их проушины клинья. Теперь в будущем ни резать, ни заваривать не придётся... Фланец снял – и готово.

А когда мы поднялись до будки, где пульповоды и водоводы вместе сходились, и где был переход через задвижки между всеми четырьмя трубопроводами, где были сливы из труб, перекрытые тоже задвижками, я понял, что дальше резать пульповод ни к чему. Закрутив все задвижки и оставив открытыми две, я закачивал воду в забученный сверху пульповод. По сигналу – телефона не было в будке, и

я выставил махальщика на бугре – насосная останавливала насос, а я задвижку слива из пульповода быстренько открывал. Вода из него устремлялась наружу, увлекая за собой часть угля, который она в трубе собой наплатала. Три такие прокачки – и вода пошла в шахту по пульповоду, что означало: он чист. Словом, справились за два дня.

Не успели мы это дело уладить, как судьба припасла нам новую пакость: забыли шламопровод от отстойников до хвостохранилищ. А резервного шламопровода не было. Самое неприятное в том заключалось, что большая часть трубопровода (от обогатительной фабрики до Лысой сопки) пролежала на глубине полутора метров под горизонтальной, плоской, как стол, промплощадкой. Тут приходилось рыть очень глубокие колодцы – на полтора метра ниже уровня трубы, чтобы было куда из неё шламу сливаться, однако подпочвенные воды их заполняли мгновенно. Приходилось таскать к вырытым ямам насос, на козлах перебрасывать электропроводку и воду непрерывно выкачивать, чтобы в яму могли залезть бензорезчик и сварщик.

В трубе, как обычно, прорезали окошки и, качнув углесосом воды, вымывали сколь можно шлама из трубопровода и заваривали окошко. Мало радости было топтаться в болотных резиновых сапогах в жёлтой глинистой жиже, в выпачканной этой глиной одежде, с вымазанными скользкой глиной руками, которые не обо что обтереть. Главное же паскудство в том заключалось, что заплату на прорезанное окошко не удавалось никак наварить. Сверху, с боков всё выходило отлично, а внизу постоянно в щель сочилась вода, и шов не варился. Мы час-другой выжидали, пока вся вода стечёт из трубы, но она собиралась, видно, вечно сочиться, а нам предстояло до второго пришествия ждать. И никто не знал, что же делать...

... Я смотрел, смотрел на эту бесконечно сочащуюся из трубопровода воду... и меня осенило. Всё решалось удивительно просто. Почему это сразу в голову никому не пришло?! Если через окошко заложить валиком глины низ этой трубы перед отверстием, то течь воды прекратится на время, пока она перед валиком собирается и через валик не перельёт. Мы тем временем успеем нижнюю половину окошечка заварить, разделив заплату надвое. Ну, а потом через верхнюю часть отверстия вытащим глину и преспокойно верхнюю половину заплату приварим.

... всё так и вышло. Сейчас это кажется мелочью, не стоящей выеденного яйца. Просто смешно. Но тогда мы от радости прыгали, оттого что справились с непокорной трубой.

... Странные явления происходили вообще этой весной в конце месяца мая.

Прихожу днём в насосную станцию. Стал вверху на "капитанском мостике". Смотрю, как внизу копошатся электрослесари, сдвигая заднюю крышку с большого (в мой рост) электродвигателя, чтобы шабрить подшипник скольжения. Машинисты следят за работой соседнего насоса, на манометр поглядывают... Вот слесари, отодвинув крышку к стене, сели передохнуть, прежде чем заняться подшипником. И в этот момент раскрытый высоковольтный электромотор с обнажёнными концами обмоток сам собой провернулся и закрутился быстрее, быстрее, полностью набрав обороты.

... это великое счастье, что люди в нём сейчас не возились.

На мгновенье остолбенев, я скатился вниз по корабельным ступенькам, озадаченный: что и почему так случилось? Машинист по ошибке включил не тот ящик-пускатель? Так нет. Я всё видел: возле ящиков на ограждённой площадке не было никого. Я, захватив машиниста, подбежал к ящикам, чтобы проверить. На пускателе этого двигателя рукоятка горизонтально стоит, при включении – она вертикальна.

В голову стали приходить разные мысли, в том числе и такая, что через неплотно закрытую задвижку перед насосом, с двигателем которого работали слесари, от тока напорной воды работающего насоса, завертелся и этот насос и закрутил двигатель. Эту мысль тотчас пришлось и отбросить, так как задвижки и на всасывающей трубе, и на напорной оказались закрытыми до отказа. В те секунды, когда мы проверяли пускатель, задвижки, за спиной у нас двигатель сам собой стал. К сожалению, в суматохе никто не запомнил, в какую сторону закрутился мотор. Хотя это мало бы чему помогло.

Собравшись все вместе, машинисты, электрослесари, я и подошедший в этот момент механик начали обсуждать всесторонне случившееся, но совершенно впустую. По всем мыслимым и немыслимым законам природы при имевшем место быть состоянии пускателей и задвижек двигатель не мог закрутиться. Состояние это отвергало любую гипотезу. Только нечистая сила могла так пошутить. Или импульс какого-то мощного внешнего электромагнитного поля. Но это было сверх всякой возможности, потому что поблизости никаких источников этого поля не было, и быть не могло. Так ничего не решив, мы разошлись, занявшись своими делами.

... Или вот. Я иду от адмбыткомбината к насосной и с изумлением вижу, как из-за насосной взлетел вверх бак автогенного аппарата и, описав по параболе крутую дугу над двухполосным шоссе и

колеёй железной дороги, плюхнулся в хвостохранилище... Я, испугавшись – не случилось чего ли с людьми, помчался к насосной. Подбегаю и вижу: автогенщик тащит бак автогена назад. Обошлось, бог миловал. Оба не пострадали. Но отчего ацетилен в автогене взорвался?.. Этому тоже вразумительного объяснения не нашли.

... А дня через два, выйдя со Свердловым из АБК и направляясь домой, видим, что неподалёку от нашей насосной невзрачный мужичонка подходит к деревянному столбу, на котором подвешены высоковольтные провода, подводящие ток к нашим двигателям. Подходит и спяну, наверное, обнимает его, и начинает по нему быстро карабкаться вверх.

Мы издали оба как заорём:

– Стой! Мужик, ты что, одурел?! Там же шесть тысяч вольт! Убьёт! – и бросились к нему со всех ног.

Мужик на наши вопли внимания не обратил, направления движения не изменил и, прежде чем мы до него добежали, ухватился за поперечину, где гирлянда и провода. Я не помню, проскочила ли молния, только нашего "верхолаза", очевидно, шарахнуло. Чем, конечно, понятно, и он в мгновение ока слетел со столба и распластался под ним на земле.

– Всё, конец», – подумал я сразу. – Крышка, – сказал Свердлов вслух.

... тут, однако, нам пришлось глазам своим не поверить: мужичок шевельнулся, приподнялся немного, на ноги встал и нетвёрдой зигзагообразной походкой двинулся к нам. Мы его обругали, но он и ухом не шевельнул и прошествовал мимо. Вот уж действительно пьяному море по колено.

... Года два спустя в Луганске, на "Яновке", машинист насосной нечаянно коснулся рукой подвески высоковольтного провода (тоже шесть тысяч вольт) и... превратился в почерневшую голову. Неисповедимы дела Твои, Господи!

... Быков, новый участковый механик оказался пропойным пьяницей. Часто с утра он уже был невменяем и валялся в одной из канав у насосной. Слесари и машинисты относились к нему с нескрываемым пренебрежением, не пытались его как-то укрыть, оставляя его там, где он свалился до тех пор, пока сам не отрезвеет и не подыметя.

Пьянство Быкова ударило по мне. Буравлёв не мог не знать о его поведении, но не предпринимал ничего, я помалкивал – доносительство

было мне всегда отвратительно, а участок должен работать, и волей-неволей мне за Быкова пришлось выполнять часть работы. И принимать решения по механической части, и запчасти изыскивать, следить, чтобы вовремя завезли электроды, керосин, карбид кальция для автогена и баллоны, естественно, с кислородом. Следовало бы, конечно, всерьёз поговорить с Буравлёвым, резко поставить вопрос: а зачем нам механик такой? Но, повторяю, в глазах моих это выглядело фискальством...

К лету от всех этих аварий, всех ремонтов, чем за Быкова занимался, к концу дня я начал весьма уставать, и не столько физически, сколь от нервного напряжения: где-то что-то срывалось, где-то кто-то подвёл, и мне надо было срочно находить выход из положения. Я об этом упомянул в разговоре с Музой Смоленцевой.

– Ну, Володя, – сказала она, – это нервишки у тебя начинают сдавать. Надо немножечко подлечиться, – и назначила мне гальванический воротник.

Процедуры делались в нашем здравпункте, и я исправно прошёл весь положенный курс. То ли это мне помогло, то ли то, что обстановка разрядилась заметно: не рвались водоводы, не забучивались пульповоды, чистка колодца водозабора из авральной превратилась в рутинную, слесари выполняли её без надзора начальства, но мне стало легче, переутомление, кончилось. Ну и к делам на поверхности Буравлёв подключил Можаровского, он до этого в шахте исключительно занимался – бездельнику Быкову там "помогал".

В мае я энергично начал возрождать прошлогоднюю традицию, предлагая снова уходить в воскресные плавания по Томи. Но дело этот раз не заладилось. Поначалу мешали мои занятия у колодца, позже, когда стал в воскресенье свободен, всё равно не клеилось как-то. Былые связи, привязанности рассыпались, всё шло вкривь и вкось. Вроде в принципе все были согласны, но за лето так и не сходили в поход.

... Реже, реже бывал я у Гены и Августы, и у Китуниных с Тростенцовыми, всё чаще посещал вечеринки у Свердлова.

... А до этого в апреле, в самом конце, перед майскими праздниками, нас всех, выпускников КГИ, пригласили в Кемерово на встречу. Не понятно, по какому же случаю. Юбилея вроде бы не было. Первому выпуску через два месяца только четыре года исполнится, а осенью – девять лет основанию КГИ. Может, так отмечали переход института в новое здание в центре. Встреча была именно там.

С поездкой у всех всё просто устроилось: дирекция ли института тресты задействовала, или с горкомом партии был договор, но всем, и горнякам, и шахтостроителям выписали командировки. От Сталинска одним поездом ехали все.

Поездка воспринималась как праздник, как отрыв от рутины, но меня она ещё и немножечко волновала. Волновала встреча с Людмилой. После нашей безрадостной встречи она вышла замуж за студента пятого курса. Но не это было мне интересно. Мне любопытно было взглянуть, какой она стала, кое-что у неё расспросить, уточнить – я тогда рассказ о ней начал писать под названием "Актриса". Написал две страницы и выдохся, ничего придумать не мог, получалось как-то, нежизненно. Может, выведу что у неё. Кроме того, я прихватил с собой фотографии, их много у меня накопилось, и были они совсем недурны. Хотел показать, что и без неё не пропали, живём, работаем и ещё кое-чем занимаемся.

В Кемерово мы провели один день. Здание института понравилось, новое, светлое на красивой улице Весенней. По гулким пустым коридорам мы, собранные со всех районов Кузбасса, шли толпой, заходили в пустые просторные аудитории, потом в зал с ровным паркетным полом. В зале разбились на кучки, расспрашивали друг друга о жизни, обменивались новостями. Зал, как улей, гудел. Там я и увидел Людмилу. Она переходила от одной группки к другой. Это меня не устраивало, мне хотелось встречи наедине. При её приближении я уходил к другой группе, и в этом столпотворении мне удалось с нею не встретиться. Я и не разглядел её хорошенько.

А она? Впрочем, по своей близорукости (на людях она очки не носила) вряд ли она могла заметить меня. Да и зачем?

Дальше день выпал из памяти. А вот танцы в конце дня запомнил. Вальс я переждал, в себе не был уверен, а когда зазвучало танго, я подошёл к бывшей любимой и пригласил танцевать. Я взял в правую руку ладонь её, левой смело обнял за талию – былой робости, как и смятения, не было – и повёл её резко ритмично, отдаваясь велению музыки и рассматривая ту, которую недавно ещё обожал. На ней – просторное чёрное платье, но и оно не могло скрасть размеры её непомерного живота – ясно, беременна. Я смотрел на лицо – подурнела, нет свежести, чистоты. Ничто не дрогнуло во мне, не отозвалось былой болью. И оказалось, что говорить мне с ней не о чём. И какой частью тела я думал, желая похвастаться перед ней? Ей тоже дела не было до меня.

Танцевала она, должен отметить, безукоризненно, отзываясь мгновенно на все мои неожиданные движения, а импровизировать я любил, но однообразие ведь скучно и в танце.

– А знаешь, – удивлённо проговорила она, – ты неплохо танцуешь.

«Это могло намного раньше случиться, если бы был у тебя хоть какой-то ко мне интерес», – чуть не вырвалось у меня, но я вовремя спохватился: ну к чему теперь эти слова.

... и всё же чувство горечи я испытал, оттого что всё проходит бесследно, былых чувств, былой радости, трепета не вернёшь. После танцев я с ней не остался и фотографиями перед нею не хвастал. Не нужно всё это.

Однако пятнадцатого мая в день, когда она родилась, написалось стихотворение "Ко дню твоего рождения", но его я, по-моему, не отослал. А может эти стихи сложились и не тогда, а раньше или лет тридцать спустя, когда мысль о воспоминаниях зародилась, чтобы снова лет на десять заглохнуть:

Вот и пришла весна,
которую так долго, нетерпеливо ты ждала:
простая, русская, неяркая вначале,
но сердцу милая весна.

Осев, растаял грязно-белый снег,
текут ручьи, повсюду грязь и лужи,
берёзки голые беспомощны,
но им уже покой зимы не нужен.
И, радостно приветствуя весну,
готовят к празднику зелёную листву.

Так и расстались мы с зимой...

Прошло немного дней –
и молодой листвой деревья шелестят...
И, терпкий горький запах источая, черёмуха цветёт.
В начале мая уже нарядна и свежа
любимая тобой весна.

В начале мая и твоя весна...
И вижу я, как ты оживлена
за праздничным столом, внимая
речам друзей, задорно поднимая
к губам стакан искристого вина,
как пьёшь его до дна.

И весело тебе.

И хмель отважно бродит в голове,

и молодость в тебе кипит,
и пред тобой ещё стакан налит.
Лукавой ты улыбкой даришь всех,
очарованием пленяя даже тех,
кто не любил тебя. Дана
была тебе счастливая черта:
огонь твоей души, горя,
прекрасным блеском освещал глаза
И я, любя горящий взгляд,
хотел бы всё вернуть назад...
Но знаю я, сейчас другой
твой ловит взгляд.
Чужой рукой ласкает волосы тебе,
и всё его. И шея, где
едва пробившийся пушок.
И локон, свесившийся на висок.
И губы влажные, знакомые
до боли. До боли, да. Прости –
мы все ведь иногда грустим.
Тех дней, когда мы были вместе,
ничем не воскресишь, прошли.
И это горькое: "Прости" –
приходится писать уже чужой невесте.

... ночной поезд увозил нас из Кемерово в Сталинск. Для чего была эта встреча?

... Рассказ я не сумел написать. Слишком бедна была фантазия у меня, не умел построить сюжет, был совершенно беспомощен психологически. Людей мало знал, в их внутренний мир не мог проникать. Так что на двух страницах и остановился. Графоманом я не был, и хотя иногда делал небольшие записочки для себя, но писать забросил и несколько лет не прикасался к перу, хотя втайне рассчитывал, что с жизненным опытом придёт и умение всё, что волнует меня, что пережил, описать. Надежды не оправдались. Можно научиться писать, стать писателем невозможно, им нужно родиться. А рядовым пошлым писакой я быть не мог, их и так слишком много. Я некоторое понятие о чести имел.

... По возвращении из Кемерово, в конце мая, меня вызвал Крылов и спросил, как мы думаем дальше работать? Почему он с этим вопросом обратился ко мне, не к Андрею?

– Что ж, – говорю я, – на грязной воде насосы работать не могут. Всё на грани аварии и остановки. Не работа, а мука – непрерывный ремонт. Выход только один, заменить все насосы мощными углесосами. Кстати, в прошлом году ВНИИГидроуголь запустил в серийное производство углесосы Татькова с таким же расходом, как и наши насосы, и давлением до тридцати атмосфер. Вот поставить бы их на наши отстойники, и шламовую воду завернуть в оборот. Атмосфер десять-двадцать получим в забоях, а больше нам и не надо, раз уголь струя не берёт. Для смыва достаточно.

– Углесосы на отстойники так не поставишь. Места нет, – возразил мне Крылов.

– Пристройку делать придётся к отстойникам.

– А ты её спроектируешь? – спросил он неожиданно, переходя со мною на ты, что считалось признаком расположения.

– Спроектирую.

– Ну, тогда за дело берись.

– Хорошо.

В тот же день я пошёл на отстойники, рулеткой замерил длину стен, расстояние до дороги, на листе ватмана набросал контуры помещения с фундаментами для трёх углесосов (принцип прежний: в работе, в ремонте, в резерве). В площадь, ограниченную дорогу, всё удачно вписалось, а остальное уже ерунда – арифметика. Ну, пусть не арифметика, а стройдело и сопромат – это не имеет значения.

Дома, обложившись справочниками и выписками из журналов метеорологических наблюдений, я прикинул размер перекрытия и затем рассчитал всю конструкцию. Перекрытие и двутавры подвижной кран-балки я опёр на колонны из железобетона.

Просуммировав вес перекрытия с наибольшей нагрузкой от снега и ветра за период многолетних метеорологических наблюдений, вес двутавровых балок и кран-балки, я от получившегося у меня числа оторопел. Большое число получилось.

На мой взгляд, чтобы выдержать эту нагрузку тут только колонны египетских храмов годились. Да, да, восемь колонн в поперечнике метр на метр и не меньше. Это крайне обескуражило, но я решил проверить расчётом свою интуицию. Справочники расчёта железобетонных конструкций лежали передо мной, непрерывно двигались на логарифмической линейке движок с бегунком – и вот передо мной результат. Тоже ошеломительный. При всех сознательно мною завышенных коэффициентах надёжности, при всех дополнительных

допусках на незнание, как это иногда называлось, сечение каждой из восьми упомянутых мною колонн не превысило двадцати сантиметров на двадцать! Это было уж слишком!! Как могли эти "спички" такую нагрузку держать?! Восприятие чувственное не хотело смиряться с доводами логики и расчёта. И от себя самовольно я для большей солидности этих колонн на каждую сторону по пять сантиметров. Чуть дороже, но надёжность гарантирована на двести процентов.

... Прошло несколько дней, и проект пристройки к отстойникам был готов в чертежах. Кирпичные стены у меня несущими не были, и я принял их без расчёта в два кирпича только как ограждение и теплоизоляцию. Но фундамент под них я рассчитал – не хватало мне трещин при возможной усадке!

С чертежами и запиской с расчётами я явился к Крылову, не утаив, что дал чуточку лишку в сеченье колонн. Он кивнул, приняв к сведению, вызвал снабженцев и приказал заказать все материалы и оборудование для начала строительства согласно приложенной мною спецификации.

... В те же дни, обходя куцые владения свои в шахте, я решил заглянуть и в забой, давненько не был, а нельзя отрываться от главного, от кормильца нашего очистного. Долго я с грустью смотрел на струю монитора. На забойщика в резиновой робе, что полоскал ею груды, глыбы угля. При ударе струи куски отлетали вглубь забоя, в завал, потому приходилось направлять струю вверх них. Там, за преградой, вода накапливалась, поднимаясь выше и выше, озерцом разливаясь за угольным валом и, достигнув вершины, перелившись, вызывала подвижку угля к монитору, где ногой и кувалдой помогали движению, направляя его в желоба. Уголь смывался безнапорной водой. Струя, скорость её, никак не работала.

Сколько раз я глядел на безрадостную эту картину. Нет, вначале она была не безрадостна, не печальна, когда соблюдали все паспорта, когда взорванный уголь дробился на славу. Дело шло энергично и весело. Уголь так и несло к желобам, хотя... струя и тогда точно так же забрасывала воду за уголь... И тогда смыв угля шёл против струи. Но тогда меня это несоответствие не волновало нисколько, я его просто не замечал – уголь шёл непрерывным потоком. Но теперь... когда большей частью в желобах лишь журчала вода или минутами в них не было вообще ничего?.. Сколько раз мы бездумно смотрели на это?.. И меня вдруг озарило: если печи, весь столб на сорок пять градусов развернуть, то струя вдоль забоя будет гнать уголь от первой,

ставшей верхней, печи ко второй, ставшей нижней, и частично уголь в неё загонять. Ну а тот, что остался, при ударе струи позади него о щелик, отражённой назад частью разбитой струи будет тоже с силой заталкиваться в печь, к желобам. Скорость смыва повысится.

Набросав схему выемки из диагонально наклонённых печей (диагональными столбами я систему назвал), я решил показать её Крылову. Он выслушал меня с интересом, одобрил и поддержал, порекомендовав очередной столб готовить предложенным способом. Но это уже от меня не зависело.

... кроме Крылова я о схеме своей не говорил никому, но о ней как-то быстро узнали. Ну, бесспорно, Крылов рассказал Буравлёву. Не могу знать, что почувствовал тот, но энтузиазм выказал чрезвычайный, за идею вроде бы ухватился.

... и ни с того, ни с сего в городской газете появилась статейка о предложении инженера Платонова и о выгодах, что сулит изменение в системе разработки пласта.

Не могу догадаться, кто подбил редактора на публикацию, кто, как говорится, инспирировал это дело. Сам Крылов? Или Свердлов со своими корреспондентскими связями. Впрочем, вряд ли редакция на похвалу сама бы решилась без согласия шахтного руководства. Но явно не Плешаков меня похвалил.

Знакомые поздравляли меня, словно я революцию произвёл в угольном деле. Это было, конечно, не так. Мелочишка всё это было, но самолюбие щекотало приятно.

... ликование длилось недолго. Буравлёв начал вносить в проект свои изменения, что его ухудшало и было для меня неприемлемо. Потом кто-то ещё предложил дополнения, на нет сводившие все преимущества моей схемы. Я отчаянно отбивался, хотя быстро осознал, что сопротивление моё бесполезно. Сам я ничего поделывать не мог... и утратил к своему предложению интерес, перестал им заниматься, и оно так и завяло. Почему не пошёл я к Крылову? Нужным не счёл – я ему ведь докладывал. Я просто плюнул на всё – не моё это дело и в обязанности не входит.

Так я дошёл до мысли, что один без поддержки сделать я ничего не могу. Не заручившись вовремя покровительством Мучника, Линденау, в общем-то, благоволивших ко мне, я не сделал необходимых шагов, чтобы стать под крыло и Крылова. С ним можно было поладить, он разумные мысли ценил. Но не таков был мой независимый дурацкий характер, чтобы мог я себя переломить, склонить голову.

Многие сочтут и считали моё поведение глупым. С точки зрения обывателя, они, вероятно, правы. Я прямым путём шёл в неудачники. Это и я понимал, но зависеть ни от кого не хотел и по наивности думал, что поддержкой мне может стать только партия. И я подал заявление в партию. Рекомендации мне дали мама, Миша Китунин и горком комсомола. В июне на партийном собрании шахты меня приняли кандидатом в члены КПСС, горком партии это решение утвердил.

... и потекли безмятежные летние дни. Время от времени чисто мужской компанией – Гена, Свердлов, я, кто-то ещё – уходили на берег Томи напротив разреза, на откосе каменной дамбы грели кости и подставляли жаркому солнцу свои телеса, побледневшие за зиму.

... и на охоту я чуть было летом этим не угодил. Вообще-то я не люблю подобных занятий: охота это убийство, а убийство мне отвратительно. С чувством вины вспоминаю воробья и собаку, в которых стрелял. Но тут случай вышел особый и возбудил моё любопытство. Случайно вдруг узнаю, что наш машинист, шорец Кызласов, по выходным сопровождает на охоту начальство. У Плешакова он проводник. Не раз водил его на медведя. Я шутиливо попенял машинисту, что меня на охоту ни разу не взял. Шутил потому, что всякому ясно: не Кызласов брал Плешакова, а тот его. Тем не менее, Кызласов мне обещал, что при случае, когда сам пойдёт, с собою прихватит меня. Случай в скором времени не представился, а мои дни в Междуреченске были уже сочтены, хотя я об этом ещё и намёком не был поставлен в известность Тем, Кто всем управляет.

... проходил июнь, вдруг обнаружилось, что от стенки здания отстойников прокопана до дороги канава, и вдоль неё, и назад, там, где я намечал стены пристройки. Неужели под фундаменты вырыли? Надо будет в стройцехе узнать...

... между тем вся промплощадка покрывалась сетью дренажных траншей. Их копали люди с Кавказа, загоревшие, горбоносые, жилистые. Прикатила с юга бригада шабашников на заработки, и Плешаков их аккордно нанял: я вам дам такую-то сумму, вы мне – столько-то метров траншей. Надоели ему стоячие лужи после таянья снега и после каждого очередного дождя. Время было месяцем ограничено. А так – ваше дело. Хоть за месяц, хоть за неделю. И тут я увидел, что такое аккордный наряд и солидные деньги. И недорого за траншеи платили, но в целом сумма получалась изрядная. И немало нашлось бы желающих в короткое время её получить. Да работать так не хо-

тели. Люди эти, армяне или грузины, а, быть может, чеченцы или выходцы из Осетии, рыли землю бегом, если можно так выразиться. Шесть утра – а они уже роют в канавах, черенки лопат безостановочно мелькают перед глазами, словно в канавах не люди – машины. Восемь вечера – а они ещё там. Вот вам стимул ударной работы. Не нужны ни Стахановы, ни Мамаи. И социалистическое соревнование ни к чему. Ну, его я давно принимал за пустую формальность, как пустую традицию, как обветшавший костюм. И не греет, и выбросить жалко. Почему за него так цеплялись? Не желали в глаза правде взглянуть?

... Лето выдалось на редкость спокойным, ничто не рвалось, не ломалось, всё крутилось исправно. Пьяный Быков исчез с горизонта, отчего стало легче работать. Можаровский управлялся с делами, и дни мои после полудня стали свободны, пусты. Отдохнув, вечерами от нечего делать забредал я на звуки городской танцплощадки. Там одна зелёная молодёжь. Для них я старик. Двадцать семь лет. Но молоденькие девчонки танцевали со мною охотно. Покружившись немного, я уходил: ни одна из них мне не нравилась. До поры. Появилась вдруг недавняя школьница – выпускница-красавица Алла. Густые чёрно-чёрные волосы шапкой обрамляли обворожительное молодое лицо. Я к ней устремился и за вечер никому не отдал. Во всех танцах мы были вместе до закрытия танцплощадки, после я пошёл её провожать и проводил до... свердловского подъезда. Как же раньше я её не видал?..

Разговор у нас по дороге не клеился. Я был вроде в ударе, но увлечь свою спутницу разговором не смог. На площадке перед дверью квартиры выяснил, в августе она едет поступать в институт, и что, собственно, мне надеяться не на что...

... а до чего была хороша! Вполне можно влюбиться.

... И я снова к Свердлову зачастил. Там во время одной вечеринки все, подвыпив, куда-то исчезли, в квартире остались лишь я и девица, приятная, загорелая, гибкая. Шла о ней такая слава: «и всем желающим даёт». Я обычно держался подальше от обольстительной этой девицы, но тут желание меня к ней потянуло. Я обнял её. Была она и упругая, и в то же время податливая, тёплая и почему-то в ночной тонкой рубашке. Я голым почти оказался, сам не знаю, когда это успел. Мы лежали в постели, она обвила мою шею руками, её горячие влажные губы впились в мои, совершенно лишая разума.

... но она не уступила. «Не сегодня, милый, не сегодня», – шептала она. Чёрт её знает, почему не сегодня. Может быть, месячные были в тот день у неё?

Я сомлел. Успокоился и оделся. "Не сегодня" не наступило. Это был последний вечер у Свердловла.

... и среди летнего безмятежья – удар. В общем-то чепуховый, но неожиданный и для меня непривычный. Крылов вынес мне выговор за загрязнение реки.

... насосы наши на шламовой воде не желали работать, и мы их подпитывали речной. Клапан в колодце водозабора после злосчастного случая всегда был открыт. При работе насосов всё проходило нормально, вода шла из реки и, разбавив грязную воду, всасывалась насосами. При остановках угольная вода, наполняя колодец, через клапан перетекала в трубу водозабора, проложенную по дну поперёк всей реки, и изливалась в неё из торчащих вверх сетчатых "граммофонов", оставляя за ними вниз по течению длинные шлейфы угольной пыли, осевшей на дно.

... я пошёл объясняться к Крылову:

– В чём я виноват? На шламе работать нельзя. Либо надо быстро строить пристройку, либо участок остановить, чтобы реку не загрязнять. Зачем делать из меня дурака?

Крылов воспринял всё очень спокойно. Меня не ругал (не за что!), значения выговору никакого не придавал. Из беседы я понял одно: шахту за загрязнения реки оштрафовала санитарная инспекция. По начальству надо было теперь доложить о принятых мерах и виновных всех наказать. Вот и приняли меры. Нашли крайнего, то есть меня, и вклеили мне выговор.

Практика эта была общепринятой. Выговоры сыпались непрерывно на всех. Редкий начальник или помощник его не нахватывал их в год до десятка. В конце года их чохом снимали, чтобы в новом году начать заново выносить. Но я к этому не привык. У меня выговора не случалось ни разу. Да и никто на нашем участке их ни разу не получал. Поэтому выговор я воспринял болезненно и особенно потому, что он был не обоснован, несправедлив. Если наказывать, то того, кто приказал шламовую воду в колодец водозабора пустить.

... этот выговор переполнил чашу терпения, хотя я об этом ещё не догадывался.

Выйдя от Крылова, я у штaketника столовой увидел Сухареву Людмилу. Остановился, перекинулся пустяжными фразами, хотя сердце и дрогнуло – ещё равнодушен к ней был. Но об этом ей не сказал. Год назад всё было сказано на мосту. Слово оставалось за нею... Я молчал, не ухаживал, ждал – может в этом ошибка. Но достаточно я

перед Володиной унижался, повторять прошлое не хотел. Мы с Люсей часто встречались в компаниях – весь прошлый год я у них, можно смело сказать, проторчал. Я оказывал ей знаки внимания и... получил Николая. Я за это её не виню. Глупо. Сердцу любить не прикажешь... Но и мне после этого было ей о своей любви говорить не с руки.

... вот и сейчас поговорили о вещах незначительных, посторонних, необязательных и разошлись. На прощание я её сфотографировал у штакетника.

Ночью, когда я по мосту возвращался с участка домой, мысли невеселы. Спустя много лет я так вспомнил об этом:

Грущу. С моста я над рекой,
несущей воды подо мной,
гляжу на точки огней –
свет отражённых фонарей.
Там, в зазеркалье, под водой,
они мерцают вразнобой,
Но фейерверки их игры –
Недолговечные пиры.
Их радость жизни, их печаль,
Течением уносит вдаль.
И почему-то жалко мне
их в этой чёрной глубине.

... Шли последние июльские дни. Я взял отпуск и улетел в Крым, в Алушту. Но улетел-то не сразу. Доехал сначала до Сталинска. на станции купил билет на поезд до Новосибирска и слонялся на привокзальной площади в ожидании его отправления. Остановился у газетного киоска, взял книгу с прилавочного развала. "Время жить и время умирать", Э. М. Ремарк. Имя мне ничего не сказало, оно мне неизвестно. Такого писателя в Союзе не издавали. Но книги я мог выбирать по нескольким фразам, по стилю – вкус сложился. Мне достаточно было чуть прочитать, чтобы понять, чего книга стоит.

... я прочёл треть странички в начале, треть в середине, в конце, и почувствовал, что держу чудо, что писал её замечательный писатель. Я её тотчас же и купил.

... рядом крутилась лотошница с пачками лотерейных билетов. Я выбрал подряд пять билетов, расплатился, билеты держу в руке. На беду, в этот миг взгляд падает на киоск с жигулёвским бутылочным пивом, и пить захотелось неудержимо. Я пошарил в карманах – мелочи нет, сотню разменивать не хотелось, и я, сдвинув два верхних билета, вернул их лотошнице, а на сдачу пивом загасил свою жажду. Ох, и дорого мне обошлось это пиво. Верхний сдвинутый мною билет обернулся спустя две недели мотоциклом с коляской.

Но его у меня уже не было. Подарил... Почему бы билеты снизу не сдвинуть? Всё проклятый автоматизм: карточную колоду всегда сверху сдвигал.

Отойдя от пивного киоска, я нос к носу столкнулся с Алёшей Коденцовым. Он только с поезда. Из Луганска приехал в командировку. А я и забыл, что он уже там.

Лёша рассказывает: руководители совнархоза (Кузьмич!) увлечены гидродобычей, строят несколько гидрошахт, гидрокомплексов, приглашают на работу специалистов, а при институте обогащения угля создано отделение гидродобычи во главе с Валентином Игнатьевичем Караченцевым, руководителем моего дипломного проектирования.



Рис. 22. Что же дальше?

... тут я и припомнил – да мне же Слава Суранов писал, когда я после понижения в должности намеревался шахту покинуть: «... много наших в Донбасс перебралось. Все в восторге... Квартыры им дали вне очереди. Это, правда, не говорит, что жилищный кризис там кончился. Просто блат большого масштаба с председателем совнархоза... Советую обратиться к Лёхе Коденцову. Он там высокий чин и блат имеет». Как же я всё это забыл?!

И вот Лёша передо мной. Приглашает приехать в Луганск. Даёт мне адрес Караченцева. Мы прощаемся: на мой поезд объявили посадку.

... В Новосибирске Илом пренебрегаю, сажусь в реактивный Ту-104, они только начали летать. Вылетаем в десять утра. В десять утра в Москву прилетаем. Ощущение странное, словно время застыло. Ну не чудо ли?!

В самолёте просторно. В спинки кресел встроены откидные столики. Стюардесса при взлёте предлагает конфеты – леденцы "Театральные", а часа через два нас кормят обедом. На откинутый столик ставят поднос, разделённый на секции. В самой большой – тарелка с куриной булдыжкой, с картофелем "фри" и зелёным горошком, в меньшей – тарелочка с хлебом, в третьей – чашечка кофе. Славно. Славно. Вот и мы Запад хвалёный нагонять начинаем.

В Москве еду к Самородовой Зине. Родители её получили малометражную квартиру в новостройке, в знаменитых Черёмушках. Зина открывает мне дверь, и... глаза её округляются. Взгляд упал на мои широченные брюки. «Что ты, – шепчет она, – что ты, Володька! Здесь такого не носят давно». – И тащит меня в магазин. Там мы с ней выбираем узкие брюки приятного бежевого цвета, бледно-сиреневые летние туфли и настоящий мужской светло-серый берет. Хватит в дамских беретах расхаживать!

Теперь я выгляжу вполне современно и отправляюсь на американскую выставку в Сокольники.

... у ворот длинные трубчатые перила разрезают толпу на узкие ручейки стоящих друг другу в затылок людей. Но здесь билеты не продают. И я не могу узнать где. Очередники на вопрос мой не отвечают, молчат. Наряд милиции только пожимает плечами. Наконец кто-то шёпотом из толпы говорит: «За углом, за забором». Обхожу по жаре нестерпимо длинный железобетонный забор, что напротив, за угол завернул – там замусоренный пустырь и дальше снова бесконечный забор. Ясно, надул, гад, бессовестно.

Возвращаюсь к входу, за которым призывно маячит золотистый анодированный американский геодезический купол, известный мне до тонкости по описаниям. И вновь ни у кого узнать не могу, где продаются билеты. Ничего не пойму. Заговор какой-то молчания.

Раздосадованный, вспоминаю о прошлогодней любезности и еду в ЦК комсомола. В знакомой комнате сидят другие люди. На просьбу мою реагируют странно. Смотрят на меня ошалело: с Луны, что ль, свалился!

– На американскую выставку? Да вы с ума сошли...

То есть с ума сошёл, что с подобной просьбой в ЦК обратился. В верхах к ней отношение неприязненное. Особенно после скандальнейшего хождения в советский народ вице-президента США Никсона с пачками стодолларовых купюр. То ли он их совал в руки прохожих на улице Горького, то ли сами прохожие нарасхват вырывали их у него (склонен верить последнему), наплевав на достоинство самого безбедного человека планеты в самой счастливой в мире стране.

А мне выходка Никсона очень понравилась. Не зашнурованный, живой человек...

Нашим вождям чувства юмора всегда не хватало – чёрный юмор Сталина в счёт не берём, им бы просто над выходкой Никсона посмеяться и порадоваться пополнению валютных запасов страны (и подумать о причинах отсутствия у людей к себе уважения). Вместо этого – брызги ядовитой слюны на простецкого парня, вице-президента Америки.

Знал я, знал, что он нам не друг, но его непосредственность хороша. В то же время меня озадачила наша социалистическая толпа, что бездумно и жадно хватается дензнаки.

... Ничего не добившись, ничего не узнав, еду к Курскому вокзалу в дом во дворе, в квартиру в полуподвале, к Мамонтову Сергею. Он встречает меня как старого друга. Оставляет меня ночевать. Я рассказываю ему о своих неудачах. И рассказ этот для меня оборачивается сказочной удачей.

– У меня есть билет на завтра на выставку. Я тебе его дам, вот – бери! Мне мой товарищ корреспондентский пропуск на выставку дал, я по нему туда в любой момент попаду, – говорит мне Сергей, показывая пропуск и вручая заветный билет с указанием даты и часа.

... В назначенный час я у входа на выставку. Подстраиваюсь в хвост правого ручейка и смотрю, продвигаясь, вперёд. У самых ворот под навесом прилавок, за ним – два молодых долговязых американца; рядом с ближним на прилавке стоит миска с кучей значков.

Вот проходит молодой человек, протягивает американцу билет, тот забирает билет и жестом руки указывает на миску. Проходящий берёт из миски значок и идёт за ворота на выставку. За ним следующий, он нагл: после жеста он залезает в кучу значков пятернёй и загребаёт целую жменю. Американец молчит. Но дурной пример заразителен. Третий тоже зачерпнул целую горсть. Американец молчит, но в лице его разливается ярость. Он придвигает миску к себе. И теперь сам достаёт и протягивает значок проходящему.

Мне противно свинство наших людей – не стесняются жлобство своё выставлять перед миром.

... пришёл мой черёд, я у прохода. Отдаю свой билет, получаю значок и прикалываю его на лацкан пиджака. Значок простенький, но приятный, кружочек с трёхкопеечную монетку. Снаружи кольцом белая окаёмка с буквами USA. Белая же полоса вертикально делит внутренний круг на две половины: синий и красный. Вот и всё.

Первым делом иду к куполу. Вся несущая часть его собрана из правильных стальных треугольников. Между ними листовая алюминий. Анодированный. Он то и золотится на солнце. Огромное более чем стометровое пространство перекрыто ажурным куполом без всякой поддержки. От пола вверх тянутся ряды этажерок – никакой красоты, лишь конструкции вроде наших строительных сборных лесов, только их металл аккуратненько обработан, прямо вылизан. Выглядит всё несолидно как-то и хлипковато. Но – с другой стороны – всё понятно: времянка. Быстро собрали и быстро же уберут. От этажа к этажу – лестницы с корабельными стальными ступенями, вроде тех, что в насосной у нас. На площадках по обеим сторонам за стеклом экспонаты: и одежда, и обувь, и спортивные костюмы и инвентарь, и разнообразная бытовая техника. От обилия красивых вещей берёт оторопь: да, нам далеко до них, долго гнаться... Глаз не знает, за что зацепиться. И, ага – вот оно: шерстяной костюм для подводного плавания, тут и ласты, и маска, и акваланг – двойной баллон со сжатым воздухом и редуктором с циферблатами, и подводное ружьё на кручёной резине с гарпуном, и фотокамера в оболочке, непроницаемой для воды. Это меня восхищает. Вот бы всё это купить! Деньги у меня есть, но экспонаты не продаются.

Спускаюсь вниз, иду к другой "этажерке". Перед ней на столах ряд цветных телевизоров, на всех экранах вижу идущего молодого мужчину, худощавого, стройного, и не сразу узнаю в нём себя. Где-то видеокамера подсматривает за нами и передаёт на экраны изображения проходящих людей. Чётко всё, красочно, сочно – цвета

натуральные. Я впервые смотрю со стороны на живого, двигающегося себя глазами постороннего человека и, по правде сказать, молодой человек в пиджаке, узких брюках мне нравится. Почему мне с женщинами так не везёт?! Не всегда, не всегда, но с любимыми.

Осмотрев чудеса американской лёгкой промышленности, а их великое множество, я спускаюсь туда, где нет конструкций и сумерки. Над большой и пустынной площадкой под верхом купола висят десять киноэкранов и на каждом свой цветной кинофильм. В глазах рябит, они не успевают охватить, обежать все экраны, все кадры, что мелькают, показывая всесторонне Америку. Хочется ухватить всё, рассмотреть поподробней, но это невысказано. Выбираю крайний экран и смотрю на него. Да, красива Америка, сколько ярких цветов! Но один, как ни странно, преобладает над всеми. Странно – ибо цвет этот наш, красный цвет. Вся Америка красная!

... Вот подходит к прилавку малыш, покупает мороженое и... получает такую тарелку, что руками не обхватить, и на ней гора белоснежного лакомства. Таковую не съешь и за час! Чёрт возьми! Мне бы в детстве такую!

... да, Америка...

... Однако не всё же на мелькающие картинки смотреть. Выхожу из купола на простор, направляюсь к площадке с автомобилями. По дороге толпа, свалка – торжище. Расторопные молодцы, родные русские ребята, нахватили охапки буклетов и теперь меняются ими, торгуясь отчаянно, до хрипоты, похваляясь особой ценностью именно тех, что у них... Как же это я прозевал? Ведь пачки буклетов, проспектов лежали у экспонатов. Иногда целые книжки, брошюры. Были они и у выставки автомобилей, эти – лучше всех и красивее – такие меняли одну на пять-шесть других. А я не знал, что их можно брать. Я бросаюсь упущенное навёрстывать, увы! – всё расхватывали! Вот досада!.. Но тут американец вынес ещё огромную кипу автомобильных альбомов. Толпа – сразу к нему, и десятки рук миглом тянутся к кипе, рвут, хватают, кто сколько сможет схватить. Я в суматохе успеваю одну книжечку выхватить. Всё. Толпа разбежалась. Американец уходит, я листаю страницы – до чего же красивые, элегантно легковые авто. Да что в книжку смотреть – вот они, рядом. Огромные, шикарные, длиннее и вместительнее наших "Побед". Те – курицы перед орлами. Мощность моторов невысказанная – до трёхсот лошадиных сил, на спидометрах – цифры за двести. А как дивно окрашены! Вся палитра цветов, сочных, ярких, голубых, си-

них, красных, изумрудных, оранжевых, белых. И у всех машин покраска в два цвета. Низ – в один, а на линии окон плавный переход кверху в другой, с нижним цветом сочетающийся гармонично.

Любуюсь: не машины – чудо, мечта. Воплощение скорости и красоты. В быстрый бег устремлённые линии. И всего пять тысяч долларов (двадцать тысяч рублей по официальному курсу) за такое великолепное механическое существо (эту грацию вещь трудно назвать).

Обхожу все машины – одна лучше другой. Есть машины в разрезе, то есть в них снаружи отпилена часть и видно внутреннее устройство. А одна – с дверцами настежь – стоит на поворотном круге, в неё можно залезть, порулить, всё пощупать, но туда тянется очередь. Стоит ли время терять? – Оно на исходе. До конца "сеанса" – считанные минуты. Я бесцельно слоняюсь меж павильонами, пытаюсь ещё не увиденное охватить. День невысказанно жаркий. Очень хочется пить, а тут вдруг сатураторная установка, ну точь-в-точь как наша, а может и наша, с двумя высокими стеклянными конусами, что у нас для сиропов, здесь они заполнены непрозрачным напитком цвета чёрного кофе. Я немедленно устремляюсь к ней. Подхожу. Надпись на корпусе "Пепси-кола", и дают напиток этот бесплатно в бумажных стаканчиках.

Я прошу. Мне нацеживают стаканчик. Подношу его жадно к губам, и... шибает в нос запахом смазанных дёгтем сапог. Рука застывает... Пахнет невкусно, но так хочется пить, что, охраняя своё обоняние, зажимаю двумя пальцами ноздри и отпиваю глоток... Сладковатая газировка с незнакомым, но приятным привкусом. Залпом допиваю стакан до конца. Жажда ослабла, но не исчезла совсем, а за вторым стаканом идти вроде бы неудобно. Я верчу головой и замечаю неподалёку ещё одну сатураторщицу, и быстро иду к ней. Выпиваю стаканчик описанным способом. Да, напиток хорош, если бы только не отвратительный запах. Но жажду второй стакан полностью погасил. Это я замечаю. Родную газировку или томатный сок, который очень любил и пил непрерывно стакан за стаканом, мотаясь по жаркой душной Москве, не сравнить. Напиться ими не мог, хотя пил с утра до ночи. А тут два этих стаканчика желание пить отрезало напрочь. «Здорово всё-таки, – думаю я, – вот только запах...».

Между прочим, сейчас, полвека спустя, когда пью пепси-колу в России или за рубежами страны, я прежнего запаха не нахожу, но и жажду она так хорошо утолять перестала.

... за оставшиеся секунды бегло осматриваю дом. "Типичный", как на табличке указано. Одноэтажный дом. В плане – точное "Т",

вход от ножки, коридор посередине её, в конце он расходится в оба крыла. Слева в ножке – комната для прислуги, библиотека, гостиная. Справа – ванная комната, туалет, кухня. Всё сверкает белым кафелем, никелем. В крыльях дома – спальни, комнаты для жилья. Цена дома такая же, как у автомобиля – пять тысяч долларов, двадцать тысяч рублей. Вполне мог бы на свой заработок такой дом себе в Алуште построить, но в Союзе это немыслимо. Да и не двадцать тысяч рублей они стоят, нас правительство держит за дураков. Действительный курс рубля ниже раза в три-четыре.

... Из Москвы лечу в Симферополь и на троллейбусе по новой, расширенной и спрямлённой по указанию Хрущёва дороге попадаю в Алушту. Там жара невозможная. Днём в комнате не заснёшь – голое тело в поту. Иду в магазин и за сто рублей покупаю большой вентилятор с мягкими резиновыми лопастями. При вращении они сливаются в призрачный круг, и он мерно покачивается взад-вперёд на оси.

... расстилаю матрас на полу, накрываюсь лёгкой простыночкой и впадаю в послеобеденный сон. Вентилятор обдаёт меня со стола струёй свежего воздуха.

Просыпаюсь простуженным. Вот те на! За четыре года работы в Сибири не простудился ни разу в дичайших порой обстоятельствах (в мокрой робе на сильном морозе). Ни разу не заболел. Когда заболел кто-либо из надзора, и на меня ложилась дополнительная нагрузка, я вздыхал с искренней завистью: вот счастливец, болеет! Мне бы так хоть недельку одну поболеть, отдохнуть от работы.

... правда, в прошлом году здесь вот, в Алуште, сильнейший насморк схватил, но тогда была поздняя осень, ветер, сыро, дожди. А теперь в жару от паршивого вентилятора и чиханье, и сопли, и слёзы!

Уложив вентилятор в коробку, я задвигаю его в дальний угол и не включаю его до отъезда. С тех пор малейшее движение лопастей в магазине, в кабинете, в гостях повергает меня в болезненный трепет. Мне мгновенно неможется, и я ускользаю от ветерка при первой возможности.

Нанеся визит в привлекавший меня с прошлой осени дом, я не застал Светлану в Алуште. На каникулы она уехала в Ленинград. Одноклассник я тоже не встретил. Впереди не ждало меня ничего, и в какой-то момент написал я письмо Караченцеву в Луганск. Ответ пришёл моментально, и был краток предельно: «Тов. Платонов! Считаю возможным устроить вас в институте или на гидроучастке. Подробности обсудить можно при встрече. В. Караченцев».

... отпуск был на исходе, я попрощался с Алуштой, с тётей Наташей, с бабушкой, не предполагая, что больше не увижу её. Всё мы торопимся, суетимся, в суете невнимательны к близким, близоруко считая, что ничто от нас не уйдёт. А спохватишься – поздно! И назад ничего не веротишь.

... Из Симферополя до Луганска самолёты в те времена не летали, и я вылетел в Сталино (ныне Донецк). В соседнюю область. А там разберусь, как дальше добраться... Возможно, автобусы ходят, поезда, пожалуй, наверняка. В аэропорту Сталино узнаю, что вот-вот отправится до Луганска нерейсовый грузопассажирский самолёт. Покупаю билет и спешу на посадку. Самолёт внушительен. Да это же транспортный "Дуглас", американский, с войны. Внутри него нет обшивки, дюралюминиевые дуги каркаса выступают, как рёбра животного. Будто попал внутрь выпотрошенного кита.

... посреди самолёта кучей навалены ящики и пакеты, чем-то наполненные мешки. По обоим бортам – узкие дюралюминиевые скамейки с редкими на них пассажирами. Присаживаюсь на скамейку и я. Жёстко, не очень удобно, но ничего, лететь можно, благо недалеко...

Через час мы садимся в Луганске на грунтовый аэродром на бугре. Город где-то внизу, но за деревьями и кустами вверху и на склоне разглядеть его невозможно. Я беру возле лётного поля такси, прошу довезти до гостиницы...

Гостиница необычна, такую архитектуру лишь на картинках видал. Стиль чешский или немецкий. Есть признаки средневековья, элементы поздней готики что ли. Здание четырёхэтажное, из красного кирпича, но карнизы и вертикальные выступы силикатные, серые с желтоватым оттенком. Цоколь мраморный, чёрный. Позднее узнаю: её строили пленные немцы после войны и по собственному проекту.



Рис. 23. Гостиница "Октябрь"

Номера свободные в гостинице есть, беру одноместный. Номер удобен, есть туалет, есть и ванна. Стены толстые. Тихо. Ночь сплю очень спокойно.

... утром выхожу на поиски института. Улочками поднимаюсь наверх, где мне указывают на институт напротив высокого здания школы. У дубовых дверей на доске из чёрного мрамора – золотом герб Украинской ССР и золотом буквы: УКРНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ. По другую сторону такая же мраморная доска: УКРНДІВУ-ПІЛЛЯСБОГАЧЕННЯ. Так, так. Украина...



Рис. 24. Здание института Укрниуглеобогащение

В приёмной директора спрашиваю Караченцева. Мне говорят, что его сейчас нет в институте, уехал на пуск гидрокомплекса шахты № 7 "Белянка".

- Далеко эта шахта? – задаю я вопрос.
- Километров двадцать в сторону Коммунарска.

Что ж, ничего, как-нибудь отыщу... На автобусе еду на автостанцию, проезжаю мимо гостиницы, на привокзальной площади выхожу. Здесь справа стоянка автобусов и низкое здание с окошками касс, возле которых толпятся люди. Жарко. Жарко. Солнце палит. В Междуреченске в конце августа жары такой нет. Что значит юг, Украина.

Смотрю расписания по направлениям. Ага, вот оно – Коммунарск, Паркоммуна (Парижская Коммуна. Ныне Перевальск), Белянка, Белое.

Спрашиваю у людей:

– Шахта № 7 "Белянка" это в Белянке?

– Нет, – говорят, – до седьмой автобусов нет. Надо вам на белянском автобусе проехать шахту "Сутоган" и, не доезжая до Белянки, сойти у железнодорожного переезда. А там в сторону через степь и бугры по дороге пешком, если машина случайная не подхватит.

Я так и делаю. От переезда иду вверх по пыльной дороге. Машин нет, и вообще дорога безлюдна. Отмахал километра четыре, пока за холмом показались домишки посёлка. Стандартные двухквартирные коттеджи на два входа с участками, огороженными штакетником. За ними видится шахта. Небольшая, из новых, из комсомольских, вскрытая уклоном. Слева кирпичное здание в три этажа – комплекс для обезвоживания угля, добытого гидроспособом. Перед ним, ещё левее, обвалованный пруд прямоугольной формы. Он возвышается над промплощадкой у пологого склона к оврагу. Там же, ниже него, насосная станция. Всё понятно. Это отстойник для шламовых вод. Посреди него вровень с водой край трубы большого диаметра, в неё идёт перелив верхней плёнки воды. Это водозабор. Тут пора призадуматься: пруд небольшой, вода вряд ли будет хорошо осветляться.

... по трубе, проходящей по валу от строения комплекса, в отстойник льётся вода, стало быть, углесос в шахте работает. Вокруг труб и строения суетится масса людей, что-то делают, бегают, крутят задвижки. Я иду к ним... и в момент всё пустеет. Моментально все провалились, как в землю. И точно. Успеваю у уклона перехватить запоздавшего. Он кричит в ответ на бегу, что в шахте авария, дальше я не могу разобрать, что там вышло из строя – углесос ли, или трубу порвало. Но зачем так бежать – не пожар!

Снова глянул в сторону бассейна: да, вода в него из трубы не течёт, значит, пуска сегодня не будет. Делать нечего, захожу в здание посмотреть, что там сделано нового для обезвоживания угольной пульпы.

... поднимаюсь по лестнице в здание. Всё обычно, как на нашей ОФ, только меньше, и флотации нет. Вверху грохот для разделения угля на классы по крупности и для сброса сквозь сита воды. Нет. Есть новшество. Перед грохотом в рог закрученный раструб с изогнутой сеткой – предварительный сброс большей части воды со шламом. Всё правильно, здесь предварительных крытых отстойников нет, пульпа прямо из шахты. Этаж ниже – там центрифуга, она воду из мелочи отжимает. Вкруг неё в одиночестве отмеривает шаги высокий худоща-

вый мужчина в светло-сером костюме и в белоснежной рубашке с расстёгнутым воротом. Взгляд мой падает на туфли его – зеркально блестят, и ловлю себя на мысли: «Как же он их не запылить ухитрился?».

Понимаю чутьём, что он ходит, осматривая оборудование этого комплекса. У меня та же цель, и я присоединяюсь к нему. С ним молча всё здание и обхожу. Но внизу, увидев уголь в реожелобах, не могу сдержать удивления:

– Но это же вчерашний день техники!

Мой спутник, а вернее тот, кому я в спутники намеренно навязался, молчит.

Вот обход закончен, мы выходим на волю, и тут я начинаю разбор. Разбор очень критический:

– Плохо, что нет резервного оборудования. Плохо, что нет водовода второго. Но это, впрочем, может быть допустимо, если трубы надёжны. А вот то, что нет пульповода в резерве, просчёт очень большой. От забучивания гарантии нет. Аварийная остановка насоса – и трубы забиты углём. Что тогда? Стоять несколько суток?

– Нет, в Кузбассе у нас всё по-иному, – продолжаю я свой монолог, – на всё есть резерв.

– Зато у вас в Кузбассе гидрокомплексы строили по пять лет, – вдруг резко обрывает меня мой собеседник, – а мы за пять месяцев всё построили.

Я пожимаю плечами. Это не довод. Построить быстро, но плохо – заслуга невелика. Но ответить не успеваю: в устье шахты возникает толча мokrых грязных людей. В ней угадываю Караченцева, хотя он в робе и в каске и углём выпачкан весь. Вся толпа окружает моего собеседника, оттирая меня, и Караченцев ему что-то докладывает.

Я спрашиваю у ближайшего человека:

– Это кто, в светло-сером костюме?

– Худосовцев. Первый зам председателя совнархоза.

Вот те на! А я то так запросто по неведению с ним разглагольствовал, критиковал...

Все черномазые удаляются в мойку, а, помывшись, бегут к машинам и небольшому автобусу. На ходу Караченцев мне говорит, чтобы завтра я был у него в институте в восемь утра. Он садится в машину вслед за Худосовцевым и с ним уезжает, за ними следуют все легковые машины с начальством. Остаётся автобус. Я к нему подхожу, но он забит до отказа работниками совнархоза и института. Даже на подножке

стоят. Мне втиснуться некуда. Шофёр еле-еле захлопывает дверь, и автобус скрывается за курганом. Я остаюсь один возле шахты. Так-то вот, одному мне не хватило места нигде. Мне смертельно обидно небреженье Караченцева. Места были в машинах у Худосовцева, у другого начальства, мог бы Валя кого-либо попросить, пристроить меня. Знал, наверное, что автобус под завязку заполнен. Мог, хотя бы сказать: «Видишь, Володя, мест в автобусе нет, не могу тебя посадить». И обиды бы не было. А так получилось, что я, как оплётанный, был брошен в степи.

Я постоял, постоял, глядя на пыль, поднятую на дороге машинами, и пошёл через степные бугры к своему переезду, откуда доехал на попутке до оригинальной гостиницы в немецком стиле под названием "Октябрь".

При гостинице – ресторан "Украина", и хороший, надо сказать, ресторан, готовят отлично, и блюда стоят недорого, обед в нём и ужин немного скрасил нехороший осадок от "встречи" с Караченцевым. Впрочем, кто я? Надо знать своё место.



Рис. 25. Ул. Ленина. Слева сквер Пархоменко, справа – здание совнархоза

Лёг я в тот день очень поздно, и утром проспал, взглянул на часы – а там почти восемь. К Караченцеву на десять минут опоздал, за что получил нагоняй. Он на ты обычно меня со студенческих лет называл, а тут на вы заговорил, что с ним случалось, когда был очень зол: «Что вы себе позволяете? Раз назначено в восемь, значит, и быть надо

в восемь. Зам председателя совнархоза вас, что ли, ждать должен?!» Ну и дальше в таком же духе, так что я на всю жизнь зарубил, хотя это всё знал и раньше: ждёт тот, кто нуждается, в ком нуждаются – тот не ждёт.

... Сорвав зло, Валентин Игнатьевич собирает со стола в папку бумаги, и вдвоём мы шагаем напрямик в совнархоз. Снова вниз, мимо покоем стоящего помпезного здания Дома Техники, в короткий "проспект" к углу улицы Ленина. Здесь на самом углу в большом тёмном здании, первый этаж которого занимал гастроном, временно разместился на трёх этажах совнархоз. Здание для него строится где-то вверху неподалёку от института...

... Поднимаемся в приёмную первого заместителя. Здесь Караченцев меня оставляет на случай, если для беседы понадобится, а сам заходит в кабинет Худосовцева. Я не понадобился. Через пятнадцать минут Караченцев выходит из кабинета и передаёт мне письмо Худосовцева на бланке Первого заместителя председателя Луганского совнархоза к Первому заместителю председателя Кемеровского совнархоза с просьбой откомандировать горного инженера Платонова в распоряжение Луганского совнархоза. С этим письмом мы возвращаемся вместе, и по дороге Валентин Игнатьевич предлагает мне варианты: или берёт он меня к себе в отделение, или я буду назначен начальником одного из гидроучастков, коих в области шесть на стадии пуска. «Подумай, пока будешь рассчитывать». И далее, уж не знаю, всерьёз или в шутку, мне говорит: «Если выберешь шахту, есть перспектива. Через год сдаётся возле Луганска гидрошахта на пять тысяч тонн. Можем тебя там главным инженером назначить. Придём, я сейчас Шалимову позвоню». Я не спрашиваю, кто этот Шалимов, но, придя в институт, узнаю, что это управляющий трестом "Ленинуголь" в Луганске. Караченцев по телефону договаривается с последним, что он тотчас примет меня.

... Вот и трест "Ленинуголь". Управляющий, грузный любезный мужчина (ну, любезный понятно – за спиной у меня совнархоз), уговаривает меня оформить в его трест перевод:

– У меня в тресте три гидрокомплекса будет пущено в сентябре. Поработаешь год и на новую гидрошахту "Луганская" № 1 тебя главным инженером назначим.

... что они, сговорились?

Я беру письмо от него к управляющему трестом "Томусауголь" Евсееву с просьбой о переводе в трест "Ленинуголь". Это на тот случай,

чтобы не ехать в Кемерово, если козни на месте переводу не будут чинить. Я могу взять письмо и непосредственно к Плешакову, но боюсь, что он, как всегда, какую-либо подлость устроит. Откажется уволить по переводу, скажет: «Бери расчёт по собственному желанию», – а зачем мне терять оплату за переезд и подьёмные? Если же и Евсеев так себя поведёт, ну, тогда с письмом Худосовцева в совнархоз ехать придётся.

Я прощаюсь с Шалимовым и ухожу, не подозревая, что в этот год он немало мне крови попортит. И ни коим образом не полагая, тем более, что через десять лет ровно, на служебной ступеньке я окажусь выше Шалимова и короткий период он будет у меня под началом, не формальным, но фактическим, что более важно...

И вот тут я совершаю глупость, простительную разве юнцу, но непростительную никак человеку с четырьмя годами опыта работы за плечами. Был опыт работы, опыта о себе позаботиться не было. Или просто такой легкомысленный был? Ничегошеньки заранее не узнал о местах возможной работы, об условиях в которых жить мне придётся.

... вероятно, время меня поджимало, отпуск кончался, но ничего не случилось бы, если бы я на два-три дня из отпуска опоздал. Вместо того, чтоб объездить все гидрокомплексы, прочитать пояснительные записки проектов шахт, составить представление об условиях работы, выбрать наиболее для себя подходящую и оговорить зарплату, я откладываю всё на потом, забираю в гостинице вещи, еду на аэродром, вылетаю в Москву и Новосибирск, поездом доезжаю до Сталинска, до Междуреченска – на такси, и приступаю к работе.

Буравлёв в отпуске. На хозяйстве за начальника Свердлов. Я ему говорю о своём спонтанном решении выехать, иду в трест, регистрирую и оставляю в приёмной письмо Шалимова к нашему управляющему. Если тот вопрос не решит... Но никто не стал мне перечить. Никто не вызвал для беседы, не поинтересовался о причинах ухода, никто не горевал о потере такого "первоклассного специалиста", да я на это и не рассчитывал. Своё отношение ко мне все давно показали.

Евсеев наложил резолюцию на полученное письмо с указанием Плешакову. Плешаков во исполнение резолюции подписал приказ о моём увольнении по переводу в трест "Ленинуголь" после отработки двенадцати дней. Всё сделано по закону. Хотя мог бы и не задерживать. Но бог с ним!.. Оказалось, не бог – две недели этой задержки имели более чем досадные последствия для меня.

А пока на уме: «Пролетят две недели – и свободен, как птица».

... Первый визит нанюшу, разумеется, Сухаревым. Одетый по столичному элегантно, вызываю всеобщее одобрение, особенно Мамонтова Володи, которого застаю там в гостях. Сам Володя давно в башмаках на толстенной подошве и в брюках дудочкой щеголяет, – стилига, мне пока до него далеко, мои брюки только заужены, но я впереди моды, после первого неудачного опыта, бежать теперь не хочу, я ей буду следовать, на полшага от неё отставая, да и то не всегда. Мода часто уродлива. Как штаны, уширенные безмерно...

Начинается разговор, и меня ошарашивают новостью, взбудоражившей Междуреченск до коллик... Но не все в нём смеялись.

Белокурая Бэла – любовница Свердлова – собралась в июле в отпуск на Юг. Само собой, через нашу столицу, Москву. Других путей из Сибири на Юг не было в те времена, если, конечно, не ехать туда со многими пересадками. В Москве Бэла хотела на парочку дней задержаться, и Роальд дал ей адрес своей московской квартиры и к жене рекомендательное письмо. Что подательница сего есть одна из его хороших знакомых, известный и нужный в Междуреченске человек из горторга, и он просит на несколько дней её приютить.

Ну и та приютила... Подательница с письмом чуть припоздала. То есть выехала она и доехала вовремя, но ещё до её отъезда почтой ушло в Москву другое письмо от неизвестной доброжелательницы Роальда, посвящённой в интимные подробности личной жизни его (тут единодушные подозрения пали на Геру Орфееву), предупреждавшей свердловскую супругу, что приедет к ней некая Бэла с рекомендацией от Роальда, так вот эта самая Бэла, не только хорошая знакомая её мужа, но и любовница.

Пребывавшая в неведении Бэла переступила порог московской квартиры, подала хозяйке квартиры письмо, закрыв дверь за собой... Что произошло после этого, никому неизвестно. Однако по Междуреченску слухи пошли. Не Орфеева ли их распускала?... Злые языки говорили, что, прочитав рекомендательное письмо, хозяйка тут же вцепилась в волосы Бэлы, и изрядный их клочок выдрать успела, прежде чем та вырвалась из дружелюбных объятий разъярённой жены. Другие говорили, что дело было несколько иначе. Что жена у любовницы всё лицо изодрала ногтями, и ту еле отбили. Кто её отбивал – неизвестно опять же. Всё дальнейшее полным мраком покрыто. Как провела Бэла московские ночи и дни, как отдыха-

лось на юге с исполосованным царапинами лицом или с сильно поредевшими волосами. Но недаром народная мудрость гласит: время лечит. За месяц, проведённый Бэлой у южных морей, никаких следов потасовки на лице у неё не осталось. И ничем не докажешь, было что-либо с нею, или нет. Вот и верь после этого слухам!

... И ещё одна новость. Но эта новость не слух, эта новость наглядная. Вместе с Люсей, Геной и Августой на диване Лида сидит. Вот с чего Мамонтов тут вдруг появился! Но, однако же, нет. Ничего здесь Володе не светит. Лида замуж выходит за лейтенанта-танкиста. И приехала с ним в Междуреченск свадьбу справлять. Юра, так зовут лейтенанта, с Лидой дружит с далёкого детства и сейчас, окончив танковое училище, сделал ей предложение. В ЗАГС они в ближайшее воскресенье идут и меня приглашают на свадьбу.

В воскресенье свадьба и состоялась. Юра парень плечистый, стройный, красивый (в будущем – генерал, военный атташе при НАТО в Брюсселе). Лида, хорошенька, пухленькая малышка, как и прежде прелестна, смешлива и сияет от счастья. Ни застолья, ни ЗАГСа не помню. Очевидно, в воскресенье был какой-то на участке ремонт, и я задержался с утра на работе. Пришёл в разгар танцев. Все вокруг были радостно возбуждены, крутилась пластинка, музыка влекла, и я сразу окунулся в праздничный водоворот.

Танцевал я со всеми. И с Лидой, желая ей на ухо счастья, и с подругами Люси, и с Люсей – нравилась она мне, будь малейший намёк, что я не совсем ей безразличен, всё могло бы пойти по другому. Но такого намёка я и сейчас, с ней танцуя перед отъездом, не ощутил, хотя знала она, как и все, что я с шахты рассчитываюсь.

И сейчас с Августой в танце, видя полное равнодушие Люси, я с горечью проговорил:

– А ведь могло бы быть две свадьбы сейчас.

Августа и бровью не повела, будто не слышала. Не придавала значения? Не поняла?

... потом я унаю, что она всё услышала и поняла, и очень хорошо поняла. И упрекнула Людмилу...

... А Люся старой девой так и осталась.

На другой день Лида с Юрой сразу же уезжают.

... Кое-кто из горнорабочих, узнав, что я перебираюсь в Донбасс, подходит ко мне, спрашивает, а нельзя ли и ему туда за мной вслед переехать? Но всё это не очень серьёзно. А вот Долгушин и

Цыганков – те настроены решительно, и я обещаю выслать им вызов, если они решатся поехать, чтобы они получили подъёмные, и чтобы им и их семьям оплатили путь и провоз багажа.

... И вот день накануне отъезда. Я маме наказываю сидеть и никуда не двигаться без моего позволения. Как-то сложатся дела у меня на новом месте, а крыша над головой человеку нужна обязательно, пусть и за тысячи километров.

Мы с Мамонтовым засиживаемся у меня допоздна. В первом часу ночи, прихватив бутылки шампанского и муската, вдруг решаем направиться к Сухаревым прощаться. Это наглость, конечно. Такого себе я раньше не позволял. Но сейчас мне всё трын-трава... Поднимаем трезвон, наполняя переполохом квартиру... Наконец, нам открывают. В дверях Гена, Августа, Люся, полуодетые, заспанные. Впускают нас, бегают, суетятся, второпях одеваются в полный наряд, начинают готовить закуску...



Рис. 26. Прощай навсегда, Междуреченск. Боль моя и печаль

... Утром я уже в поезде, а через день и в Луганске. Начинается новая полоса в моей жизни.

ЭПИЛОГ

1960 год

... Пробыв в Луганске два дня, я снова уехал на шахту, наведываясь домой лишь с субботы на воскресенье. В одну из таких вот суббот почтальонша принесла мне на завтрашний день вызов на переговорный пункт нашей почты: у меня не было квартирного телефона. Я терялся в догадках, кто это собирался мне позвонить?

На почте, куда я в назначенное время пришёл, я узнал, что вызов из Кривого Рога. Но кто в Кривом Роге знает меня?.. Людвиг! Ну, конечно же, Людвиг Потапов, с которым мы встретились в прошлом году на набережной в Алуште. Узнал откуда-то, вероятно, мой адрес и тоже о совместном отпуске хочет поговорить.

Меня вызвали в кабину, я взял трубку:

– Алло!

– Здравствуй, Вова, – сказала она.

Это было так неожиданно, что я вздрогнул, чарующий голос узнав.

– Здравствуй, Люся, – сказал я.

– Вот, узнала твой адрес и решила позвонить тебе.

Боже, как молод был этот голос и как сразу он всё во мне воскресил! Словно и не было этих мучительных лет. Словно я прежний влюблённый мальчишка слушаю музыку трепетных слов юной девочки-женщины над рекой, дивно красивой в сполохах пламени коксовых батарей.

– Но что ты делаешь в Кривом Роге? – прерывая чудесное сновидение, говорю я.

– Мы ведь живём здесь, – отвечает она.

(Мы – это значит она с мужем и сыном).

– Я преподаю вентиляцию в Горном институте.

Что же дальше?

Что же говорить дальше, выходя из ошеломлённого состояния, соображаю я лихорадочно, но не могу сообразить ничего. Сердце бьётся толчками. Неужели я люблю её до сих пор? Почему так волнует меня её голос? Всё же конечно её «не люблю». Но зачем она мне позвонила? Вот об этом надо спросить, но моя деликатность

меня загоняет в тупик: «Вроде грубо, бестактно». Но, возможно обижаю и отсутствием любопытства, заставляя говорить в трубку мало-значущие слова: как устроился, как живу?

И меня снова околдовывает её голос. «Только не поддаваться, только не поддаваться, – твержу я себе, – ничего кроме новой боли не будет». Но мне хочется сейчас увидеть её, её лицо, её глаза – близко, близко. Может быть, глядя в них, я нашёлся бы, что ей сказать, но что скажешь в телефонную трубку?

И она, видимо, поняла. О, как она всегда всё хорошо понимала, когда дело касалось её!

– Не могу говорить по телефону, – глухо сказала она. И в этих словах её столько было желания сломать проклятую трубку, что я усмехнулся: мне тоже на миг захотелось вытащить из неё этот бархатный голос.

А она уже деловито мне говорила:

– Когда ты идёшь в отпуск?

Я снова усмехнулся. В одном, кажется, я не ошибся.

– Не скоро.

– Мне бы хотелось тебя увидеть...

– Мне тоже было бы интересно увидеть тебя, – вежливо проговорил я.

– А ты не мог бы взять отпуск или командировку дня на три и приехать. Я хочу тебя видеть, – сказала она так, как она говорила, когда я летел к ней по первому её слову.

«Только не это, только не это, – убеждал я себя. – Ничего хорошего из этого не получится, даже если забыть о былом. Да и ведь не забудешь. Слишком много в нём было страдания, отчаянья, горя и так мало радости, счастья. Две недели ровно за целых семь лет. Нет, я не мальчик, чтобы начинать эту муку сначала». Я, похоже, ещё люблю её, хотя за год ни разу и не вспомнил о ней. Меня взволновал молодой её голос, эти слова: «Хочу тебя видеть», но чувство неприятия её уже сильнее любви к ней. Но я не могу грубо ответить: «Нет, не хочу», – но и не могу выдумать никакого предлога. Наконец, говорю совершенно уже несурзное:

– Командировки мне к вам не дадут, а отпуск... у меня сейчас, как всегда, туго с деньгами, – честно лгу я. Честно потому, что с деньгами у меня сейчас действительно туго, а лгу, потому что (и она знает это) так было у меня не всегда.

– Ну, это пустяки. Я могла бы тебе выслать...
– Знаешь, мне как-то неловко, я не привык брать деньги у женщин...
– Вот ещё глупость! Нам надо увидаться.
И тут ко мне возвращается разум:
– И к тому же меня ни на день не отпустят, сейчас столько работы, всё время в шахтах сидим...

И тут нас разъединили...

Она могла повторить, продолжить заказ. Я вежливо подождал минут двадцать. Не продлила... Всё поняла. Говорить было не о чём.

Я стоял в тёмной будке перед чёрным стареньким аппаратом, вернувшим меня к ощущениям молодости, её радостей и желаний, горести её и потерь.

«Чего она хочет? – взвинчивал я себя, раздражаясь. – Неужели она полагает, что я до сих пор влюблён в неё до безумия. Да если бы и так, то куда я приеду, к кому: к ней, к мужу?.. Взяла бы сама ко мне и приехала, если так надо. Нет, ко мне выбраться она никогда не могла». Да и не хотелось мне её видеть, если по правде сказать. «Счастье стареет, если его слишком долго ждать», – кто-то сказал и, по-моему, сказал это правильно.

1963 год

... Весной вдруг неожиданно получаю письмо от некоего Сидорова. Обратный адрес: Кривой Рог. Кто у меня в Кривом Роге?.. Людвиг Потапов... да, Людмила ещё. Сидорова не знаю.

Вскрываю конверт и из письма узнаю, что это муж Людмилы Володиной. Что-то в там, в семье у них происходит неладное, и он просит меня к ним приехать, чтобы вместе во всём разобраться. Странно... странно – вы не находите? Словом, смотрю я в письмо, "как в афишу коза". Я то причём? С Сидоровым не знаком, ни разу его и не видел, с Людмилой контактов у меня никаких. Правда, в шестьдесят первом она мне звонила – видно уже тогда с мужем у неё не так что-то было – но я оказался приехать... И вообще, обо мне откуда он знает? Кто и что ему обо мне настучал? Может быть, Людмила оказалась не девственницей? Боже мой, но кто в двадцать шесть этому значение придаёт?! И опять же, я к этому никакого отношения не имею... Несерьёзно всё это.

Нет, дело видно не в том. Она всё же неординарная женщина, и ей надо, чтобы в ней это ценили. Он же, по-видимому, обычный мужчина, видит в ней лишь жену и домохозяйку, и благоговения перед ней у него нет. Богиню, как я, в ней не видит. Представляю, какие она ему сцены закатывает? И она в отместку ему, вероятно, письма мои прочитала – вот как любили меня, вот как мне поклонялись!

Взять хоть письма мои, –
я всегда их боялся до смерти.
Разве можно не жечь,
разве можно держать их в руках?
Как их вновь ни читай,
как их вновь ни сличай и ни мерь ты,
Только новое горе
разыщешь на старых листах.

Характер-то вздорный был у неё. Ну, а муж, как Григорий, решил мне морду набить. Разумеется, это лишь домысел мой и не более. Но я им не завидую. Получилось, как в песенке:

Если невеста уходит к другому,
То неизвестно, кому повезло.

Да, выходит, жизнь её больно ударила. Не ценила того, кто носил бы её на руках, а теперь вот, похоже, жалеет. Я не злорадствую. Это было бы глупо. Ведь любовь от оценок никак не зависит. Если я кого не люблю, то какое мне дело до того, что тот по мне с ума сходит, что молится на меня? Это, может кому и приятно, но не мне, да и тому, полагаю, не очень. А и тягостным может стать такое влечение с той же долей возможности. Тут претензий у меня к ней нет никаких. Только вот почему голову мне задурила, столько лет бедовал...

... Всё же Сидорова я не понимаю никак. Ну, когда-то любил её, ещё до их свадьбы. В чём же хочет он разобраться? Что, не надо было любить?! Писем ей не писать? Дико выглядит как-то. Нет, не иначе морду хочет набить... Один хмырь уже так со мной разбирался.

Но оставить письмо без ответа некорректно, невежливо. Отвечаю доброжелательно сдержанно, что разбираться с ними мне не в чем, я семью их не знаю, никогда не общался. В жену его был когда-то влюблён, но она меня не любила, и между нами не было ничего. А сейчас я люблю другую, прекрасную женщину и фотографию ему прилагаю, чтобы он мог прелесть её оценить. Тут я правилу своему не давать никому чужих фотографий, кроме лиц, изображённых на них, изменяю и вкладываю в конверт снимок Лоры, очаровательной

в домашнем халате, где она на постели сидит. Захотел, видимо, показать, что и без его Людмилы не пропадаю, что счастливей меня в мире нет. Никому знать не надо, как я снова несчастен.

... А правилу своему, стало быть, раз в жизни вот изменил... Я уже ранее где-то писал, что ни в какие приметы не верю, человек я трезвый, несуетный нисколько, не могу допустить, что по фигурке ли, карточке, по портрету можно "порчу" на людей навести. Умерщвлять за многие километры, уколом иглой в место, где быть сердце должно, – чепуха, чушь несусветная! Так бы быстро все всех врагов своих извели, и вечный покой на земле воцарился. Тем не менее, я не считаю этичным без ведома человека, которого я снимал, отдавать фотографию другому лицу. Так что поступок этот нисколько не красит меня. Зря я это сделал. Хвастун!

Сидоров мне на письмо не ответил. Да и нелепо было бы отвечать – "мальчика не было". Возможно, я написал и Людмиле, выразив удивление, но не помню такого.

... В конце сентября получил неожиданное письмо от Людмилы. В нём она писала, что задержалась с ответом: «Мальчишки ящики почтовые потрошат постоянно, и твоё письмо соседка у них случайно отобрала и с большим опозданием».

Я удивился. Выходит, всё-таки я ей написал одновременно с письмом её мужу в начале весны. Вероятно, спросил о причинах желания её мужа во всём со мной разобраться.

Людмила писала, что сынишка её астмой болеет, в Кривом Роге плохо ему. А вот в Кемерово были в отпуске летом – всё было прекрасно, нормально дышал. По этой причине собирается она в Кемерово переехать, и до её отъезда нам необходимо встретиться.

Этим "нам" она добилась обратного. Я уж точно о желании встретиться не мог написать. И её привычка выдавать то, что хочется ей, за то, что хочется нам, меня последние годы бесила.

Встретится с нею было бы любопытно, занятно с ней бы о многом поговорить. Уж теперь бы я её не боялся.

Я её уже не любил, но и равнодушным к ней не был в глубине подсознания. По ночам являлась мне только она, никто из других любимых мне в те годы не снился. Часто-часто мне снились безумные жаркие сны, где я, задыхаясь от счастья, обнимал её, целовал, молодую, нагую, красивую. Мы сливались в объятьях, но в конечном итоге ничего не выходило у нас. Просыпался я взбудораженный

сладостным сном до неистовства, до предела, но неудовлетворённый никак. А это, скажу вам, мучительно.

Но встречаться в жизни мне с ней не хотелось. Сладкие сны никогда не сбываются. Это только во сне была она нежной со мною и любила меня, и любил я, безумно.

Наяву же, трезвея, вспоминал я, что она меня никогда не любила и кроме горя ничего не дала, но нечаянно встретить её было бы мне интересно. Мы и встретились бы, если было бы "мне" вместо "нам". Такта что ли ей не хватало.

Это "нам" сразу ставило её в положение надо мною. А я этого больше терпеть не хотел. Отношения надо строить на равных, не диктовать своевольно, к чему она со мною в Сибири привыкла.

«Я совсем изменилась, – писала она, – огрубела, закаменела».

Да, несладко сложилась, видно, жизнь у неё и по ней больно ударила. Жаль было её, но чем ей поможешь? Чувства прежнего не было. Я ответил ей письмом сочувственным, вежливым, корректным. Написал, что встретиться было бы интересно, но никаких предложений для такой встречи не сделал.

... и всё думал, почему же она за три года закаменела. Ведь была всегда так жизнерадостна и общительна, всегда было столько друзей у неё. Это я на одной ней заиклился, и меня жизнь была дольше, круче, сильнее. До предела отчаянья доводила. Семь долгих лет, а теперь уже вот двенадцать. Я всего себя отдавал ей всегда, и взамен получал лишь холодность и равнодушие. Ну, сказала бы раз: «Не люблю» и на этом поставила б точку. Нет, держала на поводке, неопределённо подавая надежды. Мало сказать, не любила. Не жалела несколько меня. А я всё же не огрубел, ничто не закаменело во мне. Я по-прежнему был людям открыт. Видно сущую правду сказала она: «Слишком разные мы с тобой люди». А казалось, столько общего было. И поэзия, и... и сказать дальше нечего. Люди одной поэзией не живут. А вот "ошибки Сталина" её не волнуют. А меня волновали его преступления. Она жила для себя, для себя лишь, добавлю. Да, все люди живут для себя, но тут есть и различия. Я ведь тоже жил для себя, но в любви себя забывал и готов был жить для любимой. Да, я жил для себя, но хотелось мне жить хоть немного и для людей, мне всегда хотелось сделать людям приятное, доброе. Не был я к бедам чужим равнодушен. Даже глупости совершал вроде тех попыток пойти в бой добровольцем в Египте, в Ливане, на Кубе,

потому что думал так людям, в беду попавшим, помочь. Пусть сейчас понимаю, что посылы те были ложными, что служил бы я лишь амбициям лиц, очень часто недобрых, но тогда этого я не знал, и порывы мои искренни были. В этом разница между нами. И о чём после этого говорить?

... на моё письмо Л. В. не ответила.

1964 год



Рис. 35. Леночка. В день первой встречи

Весной я встретил чудесную женщину, пианистку, ту самую Леночку, что играла Глиеру в далёком пятьдесят первом году. Мы полюбили друг друга, и Лена стала моею женой. Сразу же после свадьбы мы укатили на юг, сначала в Сочи, потом в Крым к тётке Наташе.

... Чуть ли не на второй день нашего пребывания у тётки Наташи, возвратившись днём с моря, и открыв дверь с улицы Энгельса (с Урицкого уже не ходили, изолировавшись совсем от соседей), я увидел молодую женщину за столом на стуле возле самых дверей. Перед ней стояла тётка Наташа и с ней разговаривала. У ног женщины был большой чемодан. Женщина повернула на скрип двери голову... и я увидел Володину. Вот уж чего я не ждал!

Она была с маленьким красивым сынишкой лет четырёх и вероятно намеревалась (однако же!) остановиться у тётки Наташи.

Я не выдал волнения. Мы поздоровались. Но толчок в груди всё же был. Чёрт возьми! Она всё ещё казалась красивой. Но как же она огрубела, заматерела! И следа не было той юной, свежей девушки, которая сохранялась в ней до двадцати семи лет, когда я в последний раз видел её до беременности. Теперь она выглядела вполне созревшей и ещё красивой матроной. И сразу вспомнилось всё. О, сколько юных мечтаний было связано с ней, сколько боли любовной. Да, сердце дрогнуло у меня. Дрогнуло, но и только. Рядом со мной было юное существо, моя Лена, и её я любил сейчас больше всего, больше всех она была сейчас мне дороже. Я, конечно же, понимаю, что непозволительно повторяюсь. Сколько было уж этих, кого – больше всех! Но, однако же, это было истинной правдой всегда. И осталось бы истинной правдой, если бы женщины, кого я любил, меня в тот момент полюбили. Я уж знал свой характер и свою к любимым и любящим навеки привязанность.

Полста лет жизни с Леной показали всё это, доказали, что я в себе не ошибся. Нет, пожалуй, той новизны, той остроты ощущений, той страстности, с которой я Леночкой восторгался, мы постарели, но она до сих пор мне желанна, и по-прежнему люблю я её, и по-прежнему для меня нет женщины дороже на свете, и чем дальше, тем больше нежность к ней заливает мне сердце, что не мешает мне, к несчастью, быть и резким, и вспыльчивым, и раздражительным, в чём каюсь перед собой ежедневно, и, раскаявшись в чём-либо, снова грешу и люблю. Сэ ля ви...



Рис. 36. Любимая



Рис. 37. Богиня

... Очевидно, тётя Наташа объяснила Людмиле, что я здесь, и с женой, и потому у неё та не может остановиться. А намеренье было. Это можно вывести из того, что Людмила заговорила о путёвке в ялтинский санаторий, куда она направляется, и что ей одну ночь только нужно переночевать. Было странно, однако, почему же она напрямиком не проехала в Ялту, до ночи было ещё далеко, и она бы была уже в своём санатории.

В тётинной комнате располагались мы с Леной, в кухне спала тётя Наташа (дяди Вани и тёти Дуни не было, первый был в санатории, а вторая – в больнице, пожалуй), и Наталья Дмитриевна сказала Людмиле, что может ей предложить только веранду, на что Людмила ответила: «Это меня устраивает вполне». Тут надо добавить, что веранду Н. Д. остеклила, и она стала комнатой со стеклом во всю стену.

... А тётя уже на газовой плите согрела большой бак с водой, из-под кровати вытащила оцинкованную ванну и вместе с Людмилой начала купать на веранде Андрейку, так мальчика звали.

После купания мальчик уснул, Людмила, Лена и я вышли на улицу. День ещё не угас, мы неторопливо спустились к троллейбусному кольцу и от него прошли к морскому вокзалу. Лена о чём-то оживлённо говорила с Людмилой, я, занятый своими размышлениями, молчал, и лишь время от времени их разговор доходил до меня, и я вклинивался в него краткими репликами.

Лена была проста и естественна. В Людмиле проскальзывал гонор и снисходительность старшего к младшему. Говорила она менторским тоном, покровительственно называя Леночку "деткой". Ох, как меня эта "детка" корёжила и бесила. Какая она тебе детка? Она лишь на четыре года моложе тебя, а педагогический стаж у неё, между прочим, твоего уж не меньше... Как мне хотелось взорваться. Но грубо её обрывать – некрасиво, тонко же её подколоть не сумел. Как-то не к месту я растерялся. Увы, я часто теряюсь при наглости. До сих пор сожалею, что не одёрнул Людмилу, позволил ей говорить таким тоном.

У моря я поближе рассмотрел лицо своей бывшей любимой. Да, оно здорово огрубело, но особенно неприятна была густая сеть тонких красных прожилков на щеках ближе к носу. Отчего бы? По этому поводу разное говорят. Говорят, от вина, потребляемого неумеренно. Но я давно бездоказательным разговорам и слухам не верю. Вероятно, причина была, но какая – не знаю.

... Ночью разбудила нас суета. На веранде. Людмила и тётя Наташа возились с Андрейкой. Мальчишечка задышался, у него приступ астмы начался, и я вспомнил, что Людмила писала об этом, собираясь перебираться в Сибирь. Почему не уехала?

Вскоре всё прекратилось. Женщины как-то справились сами, и мальчик уснул. Скорую помощь не вызывали.

... Рано утром тётя Наташа и Лена ушли на рынок за овощами и фруктами. Я же полуодетый, то есть в майке и лёгких спортивных штанах, делал свою обычную утреннюю зарядку на улице у порога.

Вышла Людмила.

– Вова, – обратилась она, – ты не можешь поспрашивать у соседей, не сдаёт ли кто комнату? Я хочу путёвку в санаторий продать и остаться на отдых в Алуште. Путёвка у меня не заполнена, – и она в доказательство (будто бы я и так не поверил) показала путёвку, не помню в какой, санаторий на двадцать четыре дня с печатью и подписями и пустыми строчками там, где пишут фамилию, имя и отчество счастливого обладателя.

Мне эта просьба как-то не очень понравилась – не хватало мне этой заботы!

– У соседей нет сейчас комнат свободных, – сказал я, зная от тётки Наташи, что у всех всё переполнено, даже сарайчики.

– И потом. Как же ты с сынишкой будешь питаться, ведь в столовых очереди по два часа. Всё же разумней устроиться в санатории, и о питании для мальчика там можно договориться. И, думаю, ему разрешат жить с тобою в палате. Стоит попробовать. Это лучше, чем отдыхать дикарём.

Я говорил это искренне, не отдавая отчёта, что на это можно и иначе посмотреть. А посмотреть можно было. Мне не очень хотелось, чтобы она жила рядом с нами. Тётя Наташа, наверно, Лену уже посвятила в историю моих отношений с Людмилой, как я ту безумно любил, а не посвятила, так посвятит. И я чувствовал, как нехорошо будет Лене, если Людмила перед глазами будет крутиться всё время.

Мне б, например, было весьма неприятно, если б около Лены вдруг появился её бывший муж.

Трудно сказать, что тут было решающим, мне и Людмилу было искренне жаль, не хотелось, чтобы она по очередям и квартирам с мальчиком мучилась. Легко отдохнуть дикарём молодому и одному, но с годами... да к тому же с ребёнком...

– Так что советую всё же в санаторий поехать.

Людмила вспыхнула, рванула дверь на себя, вскочила в кухню, тут же и выскочила, появилась в дверях, таща в руках чемодан и сынишку.

– Люся, подожди же, – попытался остановить я её, – я мигом оденусь, помогу хоть донести чемодан...

Но она пулей проскочила мимо меня и застучала каблуками своих босоножек по ступеням каменной лестницы. Вздорная, своеправная, привыкшая считаться только со своими желаниями, она и тут сама собою осталась, хотя никто и ничем тут обязан ей не был.

Я вбежал в комнату, натянул быстро рубашку и брюки, выбежал, сбежал по ступенкам до поворота – Людмилы не было на Урицкого. Я помчался вниз дальше, перепрыгивая ступеньки, выскочил на улицу Горького, но и там, в людской толчее, не увидел знакомой фигуры.

... мне её было жаль. Мне хотелось проститься с ней по-доброму, по-хорошему, проводить её, посадить в троллейбус, автобус, такси или в то, что там подвернётся. Чувствовал, как уязвлено её самолюбие, но не я его уязвлял. На что рассчитывала она?

Всё же я сочувствовал ей, хотя она мне никогда не сочувствовала. У меня даже мысль мелькнула, когда я по ступенькам сбежал, польстить её самолюбию, написать ей на прощанье стихи. В голове стихов в тот момент не возникло, но был, сомнительный, правда весьма, вариант. Сомнительный потому, что стихи были посвящены и отданы другой женщине, и это не совсем порядочно выглядело бы. Но кто узнает о том? Никогда она с Ларисой не встретится. Да, именно это стихотворение, посвящённое ей (других у меня попросту не было), к случаю подходило: «Тебя я не ищу за гранью ожидания...»

«Лариса никогда не узнает об этом, – мысленно оправдывал я себя, – а Людмиле это будет бальзамом на рану, уязвлённая гордость удовлетворение хоть какое получит». А быть может, это я себя так убеждал, втайне же, наоборот, сам хотел уязвить – вот я какой, а ты не ценила! Всё может быть, душа человечья – потёмки, в том числе для себя самого, себя в лучшем свете, чем есть, часто мы сами себе представляем.

И вообще, говоря честно, это была в любом случае сделка, сделка с совестью, мелкая сделка, но сделка, а я страсть не люблю всё, что дурно пахнет. И когда мне, бывало, на ум приходили удачные мысли, остроты, я их второй раз никогда не высказывал. Заготовки за экспромт выдавать было стыдно. Это явно для меня фальшью пахло.

Бегство Людмилы спасло меня на сей раз и от сделки с совестью, и от фальши – вранья.



Рис. 38. Лена и Людмила на набережной Алушты